



Улик Варандж

IMPERIUM

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ПОЛИТИКИ

Улик Варандж
(Фрэнсис Паркер Йоки)

(Francis Parker Yockey)
Ulick Varange

Ulick Varange
(Francis Parker Yockey)

IMPERIUM

THE PHILOSOPHY OF HISTORY AND POLITICS

Улик Варандж
(Фрэнсис Паркер Йоки)

IMPERIUM

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ПОЛИТИКИ

*Перевод с английского
Н. М. Селиверстова*

Санкт-Петербург
«Русский Миръ»
2017

Улик Варандж (Фрэнсис Паркер Йоки). Imperium. Философия истории и политики / Пер. с англ. Н. М. Селиверстова; предисл. Б. В. Маркова. — СПб.: Русский Мирь, 2017. — 543 с.

ISBN 978-5-904088-25-5

Данное произведение создано в русле цивилизационного подхода к истории, хотя вслед за О. Шпенглером Фрэнсис Паркер Йоки считал цивилизацию поздним этапом развития любой культуры как высшей органической формы, приуроченной своим происхождением и развитием к определенному географическому ландшафту. Динамичное развитие идей Шпенглера, подкрепленное остротой политической ситуации (Вторая мировая война), по свежим следам которой была написана книга, делает ее чтение драматическим переживанием. Резко полемический характер текста, как и интерес, которого он заслуживает, отчасти объясняется тем, что его автор представлял проигравшую сторону в глобальном политическом и культурном противостоянии XX века.

Независимо от того факта, что книга постулирует неизбежность дальнейшей политической конфронтации существующих культурных сообществ, а также сообществ, пребывающих, по мнению автора, вне культуры, ее политологические и мировоззренческие прозрения чрезвычайно актуальны с исторической перспективой текущего, XXI столетия.

С научной точки зрения эту книгу критиковать бессмысленно. И не потому, что она ненаучна, а в силу того, что поднимаемые в ней вопросы, например патология культуры как живого сверхорганизма, по меньшей мере недостаточно исследованы или замалчиваются из либеральных соображений.

Книга адресована самому широкому кругу читателей, безразличных к политике, а также к судьбе человечества в целом.

© Издательство «Русский Мирь», 2017
© Селиверстов Н. М., перевод, 2017
© Марков Б. В., статья, 2017
© Палей П., оформление, 2017

Б. В. Марков

МЕССИАНСКОЕ ВРЕМЯ

Фрэнсис Паркер Йоки — американский политический мыслитель (18.09.1917—16.06.1960). Его родители, потомки переселенцев из Ирландии, привили сыну любовь к европейской культуре. Йоки рос вундеркиндом, развивал музыкальные и художественные способности. Он учился в Мичиганском университете (1934—1936), затем перешёл в Джорджтаунскую школу дипломатической службы, получил степень бакалавра в Аризонском университете и закончил с отличием Юридическую школу университета Нотр-Дам в 1941 г.

Его главная книга «*Imperium: Философия истории и политики*» была издана в 1948 г. под псевдонимом Улик Варандж. На немецком она была издана в Тюбингене в 1976 г.¹

Йоки видел будущую Европу как империю-нацию, миссия которой состоит в сохранении белой расы от угрозы, наступающей с Востока.

Наибольшее влияние на Йоки оказала морфология Освальда Шпенглера, понятие политического Карла Шмитта, культур-философская концепция расы Х. С. Чемберлена, геополитические идеи Карла Хаусхофера.

Йоки увлекся идеями сначала марксизма, потом национал-социализма, и придерживался правых взглядов всю свою жизнь, включая антисемитизм и антиславизм. В последние годы он изменил свое мнение о России, искал контакты с лидерами коммунистических государств. Йоки совершал поездки в течение 1950-х в Восточную Германию и, предполагают, даже в СССР,

¹ *Yockey Francis Parker. Chaos oder Imperium? Das Abendland zwischen Untergang und Neubeginn / Aus dem Englischen übersetzt von Ursula von Gordon. Tübingen, 1976. 661 S.*

пытаясь установить связи с коммунистами. Также известно, что Йоки встречался с Фиделем Кастро в надежде на кубинскую поддержку антиамериканского союза. Из-за этого Федеральное бюро расследований взяло его под контроль. В 1960 г. он был арестован, а вскоре найден мертвым с пустой капсулой цианида в камере тюрьмы в Сан-Франциско, оставив записку, где утверждал, что совершил самоубийство.

В противоположность успокаивающим мифам о государстве всеобщего благоденствия Йоки выступал с беспощадной критикой Америки, страны, переполненной чужаками и подчиненной международной еврейской клике. Поэтому даже нацистская партия Дж. Рокуэлла, который стоял на платформе антибольшевистского национал-социализма, дистанцировалась от Йоки из-за его антиамериканской позиции, из-за его готовности работать с антиссионистскими коммунистическими правительствами и движениями.

Первый и главный вопрос — зачем представлять российскому читателю такую книгу. Раньше такие работы шли по ведомству антипропаганды: посмотрите, что думают о нас наши враги, разве они не расисты? (На той стороне тоже публиковали наиболее одиозные работы наших авторов с той же самой целью, но изображали их как врагов свободы и демократии.) Тот, кто возмущается «ужасным прошлым», может сравнить прежнюю пропаганду с нынешними информационными войнами, та, хотя грубее и примитивнее, зато артикулирована, а потому явлена и подлежит критической рефлексии. В сравнении с новыми видеотехнологиями «способность суждения» оказывается малоэффективной. Отвечая на поставленный выше вопрос, можно сказать, что тексты, прямо и честно высказывающие претензии, содержащие аргументы в защиту своей позиции, не нужно запрещать. Наоборот, если поставленные проблемы волнуют общество, оно должно включиться в их обсуждение.

Йоки — популярный среди интернет-читателей автор. Поэтому встает вопрос, раздувают его тексты недовольство людей, или наоборот, успокаивают тем, что он набрался смелости и разоблачил сложившуюся действительность как неподлинную. Академическая машина с ее аппаратом критики и комментирования нейтрализует политические тексты. Это дает повод левым критикам обвинить университетскую философию в аффирмативности. В этой связи как авторам, так и критикам можно напомнить о необходимости осторожного обращения с техниками письма, полученными в процессе образования.

Никто не будет спорить, что недовольство людей как-то отражает действительность. Раз они недовольны, им чего-то не хватает. Но нельзя забывать о самих желаниях, которые субъективны. У всех они разные. Даже если не вникать в качественные различия и ограничиться количественными параметрами, то у молодых потребностей больше, а возможностей меньше. Поэтому они более радикальны. К тому же они не переживали разочарований от политических перемен. Во всем нужна мера.

Для теоретиков работы Йоки не слишком интересны. Его аргументы против либерализма и догматического марксизма и других когда-то модных течений сегодня уже не новы. Вместе с тем они соответствуют настроениям современных народов Европы, испытывающих страх перед волнами мигрантов. Для практических политиков работы Йоки интересны тем, что он критикует социальный порядок, а не только выражающие его теории.

Характерный для политических революционеров тезис — хватит объяснять, давайте изменять мир — не учитывает социальной и политической функции теории. Она является формой не только рефлексии, но и производства общества. Собственно, любой автор, и Йоки не исключение, пишет с надеждой на то, что это поможет жить лучше.

Политический текст — это не научный трактат, а, скорее, своеобразный перформанс. Он воздействует как речевой акт, а не как пропозиция, предполагающая рефлексию о критериях значения. В таком же стиле написан и «Закат Европы», послуживший и стимулом, и образцом для «Imperium». Ученая критика находит в таких текстах зерно истины вроде «цивилизационного подхода» и таким образом нейтрализует их воздействие. Сегодня труды Ницше, Шпенглера, Хайдеггера и других становятся материалом для постановки университетских курсов. Однако книги названных мыслителей продолжают жить вне университетов, и в этом легко убедиться, заглянув на соответствующие сайты. Судя по гневным репликам в адрес ученых критиков, якобы умерщвляющих все живое, заинтересованная публика непосредственно воспринимает написанное как пророчество или откровение. Но для ученого в трудах Ницше, Шпенглера, Хайдеггера и других содержится много непроверенного, экспериментального, провоцирующего. Это скорее литература, а не наука. Означает ли сказанное, что перед нами политические, а не философские тексты? Такая оценка является поспешной и неточной прежде всего потому, что их авторы, хотя и увлекались политикой и даже пытались давать советы вождям, в конце концов дистанцировались

от тех практик, для легитимации которых использовались их теории.

Конечно, философия и политика, критика и революция взаимосвязаны. Обнаруживая границы обыденного опыта, раскрывая обусловленность ценностей и относительность научных истин, философия сама нуждается в ограничении. Всегда стоит вопрос, кто говорит. Философы позиционируют себя то викариями мирового духа, то рупорами государства, то идеологами перемен. Такие амбиции сегодня кажутся уже смешными. Дискуссии часто топят существо дела в болтовне. Отсюда надежда на гениев и вождей, которые интуитивно чувствуют ритм истории и всегда действуют наверняка. Но кроме мудрых политиков есть и шарлатаны, политические авантюристы. Кому-то удастся воодушевить людей и поднять ставки, но потом появляется другой медиум, и так без конца. Разного рода пророчества и откровения, как и всякие убеждения, должны быть артикулированы и проверены в ходе публичной дискуссии. Философия как форма критики настоящего нуждается в постоянной модернизации, и это происходит в процессе философских споров. Их можно, конечно, запретить или просто объявить ненужными, но от этого разногласия не исчезнут, а только будут загнаны внутрь. Если по закону можно преследовать за действия, а не за убеждения, то любой человек имеет право предъявлять свои претензии другому. К сожалению, механически отделить действия и высказывания невозможно. Тем более оскорбительные высказывания уже являются речевыми действиями, в ответ на них нельзя ответить: «Да, я знаю», — они требуют ответных действий, часто переходящих в физическое насилие.

Для людей, оказавшихся в состоянии поражения, важно выйти из него, не повторяя опыта ресентимента, ненависти, мести, жажды реванша, конструирования образа врага и нагнетания страха. Основанное на этих чувствах единство недолговечно. Чувства необходимы, но тоже должны проверяться и подкрепляться. В отношениях отдельных людей, а также групп, обществ и государств задействовано множество факторов, и ни один из них не является главным и единственным. Понимание их взаимной игры предполагает философские дискуссии, которые полезны хотя бы в том отношении, что обнаруживают риски принимаемых решений. К сожалению, философы не всегда могут договориться даже между собой, так как, не оставляя камня на камне от сложившихся убеждений, они утрачивают основания, на которые можно опереться. Однако сомнение предполагает несомненное,

поэтому никто не может избавиться от груза очевидностей, которые являются условием возможности жизни в том или ином обществе, в то или иное время. Правильно читать книгу Йоки — значит читать медленно, то есть по-философски обстоятельно, не впадая в пафос, а понимая исторические обстоятельства и трезво оценивая последствия реализации его предложений в условиях современности

Для начала попробуем разобраться, что критиковал и к чему призывал Йоки, и главное, какие средства изменения мира он допускал. Нет сомнения, симпатию вызовет его разоблачение махинаций финансового капитализма. Но вряд ли все согласятся с выводом, что они осуществляются исключительно евреями. Чтобы помочь читателю разобраться с такими проблемами, нужно, во-первых, осуществить рациональную реконструкцию объемистого сочинения Йоки, а во-вторых, сопоставить предлагаемые им решения с другими проектами возрождения идеального государства или империи.

В начале прошлого века, в эпоху чрезвычайных ситуаций, люди проводили границу между своими и чужими, однозначно решали вопрос, кто друг, а кто враг. Сгоравшие в пекле мировых войн и революций, они не могли думать по-другому. Следующему поколению, жившему в относительно мирное и благополучное время, такие оппозиции казались слишком жесткими. Наступила эра либерализма, мультикультурализма и толерантности. Сегодня снова складывается чрезвычайная ситуация, и мы уже не можем утешаться прежними иллюзиями благополучной эпохи. Немыслимый ранее всплеск националистических настроений способствует интересу к этнонационалистической, геополитической, консервативной литературе. Становится ясно, что под разговоры о правах человека, о свободе и демократии на территории бывшего СССР образовались враждебные государства. Поскольку мы все живем в окружении не слишком дружелюбных соседей, следует знать, что за камень они держат за пазухой, и на всякий случай соблюдать осторожность. В наше гламурное время полезно читать подобные книги и правильно их воспринимать.

Нужно признать, что каждый человек, каждый народ имеет право считать себя избранным и заявлять об этом. В чем можно упрекнуть Йоки и других стоящих на националистических позициях авторов, так это в призыве заткнуть рот тем, кто не разделяет их позицию. Почему европеец — эталон человека, почему все остальные народы должны модернизироваться по европейскому

образцу? Поскольку книга Йоки направлена против русских, евреев и даже американцев, то интеллигенция, представляющая интересы перечисленных народов, должна достойно ответить на этот вызов, а не произносить истерические речи на тему угрозы фашизма.

Что касается ответа на претензии, высказываемые Йоки в отношении русских и евреев, к ним, конечно, нужно отнестись с долей юмора, но не забывать при этом о страданиях, которые причинили нашим народам «добрые европейцы». И мы должны им время от времени напоминать об этом, вскрывая причины взаимной ненависти и страхов. Даже если при этом выяснится, что мы пока еще не можем жить мирно, то лучше отгородиться границами и таким образом сохранить себя. Конечно, Россия сегодня ослаблена, а Европа объединилась, но очередной поход на Восток вряд ли будет успешным для Запада. Да и не о войне сегодня надо думать, а искать пути мирного сосуществования, причем не только русских и европейцев, но и учитывать разбухенный Восток. Именно с этой целью стоит прочитать книгу Йоки и продумать претензии, которые он высказывает от лица европейцев, продумать последствия создания из Европы «Империиума», некоего «Четвертого рейха». Не эта ли мечта лежит в подсознании европейцев? Если есть такие амбиции, важно знать, как они будут осуществляться. Претензия на всемирно-историческое значение успешно осуществлялась там и тогда, где и когда это оказывалось приемлемо для других людей и народов. Поэтому необходима диагностика ценностей, общего состояния европейской культуры. По мнению Йоки, европейские ценности имели позитивное значение до Великой французской революции. Буржуазная эпоха, наоборот привела европейцев к деградации. Капитализм с его революциями и мировыми войнами уже не является привлекательным.

Организмизм, квалитативизм и научно-техническое мировоззрение

Тема целостности становится все более актуальной в методологии науки и в политическом мышлении.¹ Книги О. Шпенглера, К. Шмитта, Э. Юнгера, Х. С. Чемберлена, Э. Никиша и др. начали переиздаваться, однако их методы и понятия квали-

¹ Солонин Ю. Н. Целостность гуманитарного знания. СПб., 2015. 642 с.

фицируются как ненаучные. Между тем именно в эпоху расцвета цифровых технологий проявляется граница количественного подхода и обнаруживается потребность в качественном анализе. Наука была своеобразной религией Просвещения, но постепенно оказалась подчинена технике. Можно отметить сходство анти-сциентизма с политической теологией К. Шмитта.¹ Сначала наука воспринималась как классификация, затем как объяснение природы и, наконец, как всеобъемлющее мировоззрение, включающее логику, этику и философию. Развитие науки и техники стали главными критериями прогресса, от них ожидали решения социальных проблем. Наука обещала устранить войны, болезни, нищету, саму смерть. Поскольку разум является общим для всех, то он связывает людей в мировое целое.

Такой порядок, по мнению Йоки, был чисто механическим и бесцельным. После Первой мировой войны настала новая фаза истории. В самой науке постепенно победили неклассические теории, в которых на первое место выдвигалась не материя, а человеческий разум. Наука «одухотворилась», ее основанием была признана культура и душа, которую отличает символическая деятельность. Так материализм выполнил свою миссию и был преодолен. Однако «исчезновение реальности» привело к преклонению перед техникой, которая понимается чисто функционально, она не связана с постижением истины, которую искала высокая наука. Ее задача — получение энергии и подчинении ее воле человека. Технологии обслуживают промышленность, хозяйство, политику. Им важна не теория, а практический результат.

Представители консерватизма опирались в своих размышлениях на ценности и традиции, а представители либерализма отстаивали рациональность. При этом все они критиковали капиталистическую экономику, а заодно обслуживающую ее науку и технику. Суть проблемы в том, что наука и техника вовсе не нейтральны, они не являются только инструментами, служащими для удовлетворения потребностей людей. Логика технологий нечеловеческая, и она трансформирует сознание. Сциентистский подход можно назвать новой формой отчуждения, которая была неизвестна Марксу. Отсюда антисциентизм можно квалифицировать как разновидность критики идеологии, для которой идеологией является сама наука и техника. Поэтому на нее обрушились и слева, и справа представители «критической теории» и консер-

¹ Шмитт К. Политическая теология. М., 2000. 336 с.

ваторы. Адорно и Хоркхаймер считали рационализм следствием капитализма и в своей «Диалектике просвещения» раскрыли его репрессивный характер. Они указали, что позитивизм — это своего рода мифология буржуазного общества. Консерваторы, наоборот, критиковали рационализм за то, что он привел к «разволшебствованию» мира, сделал человека безродным и бездомным космополитом. Иррациональность, к которой взывает Йоки, не является диалектическим самоотрицанием рациональности. Это проявление самой жизни, судьбы культурного организма.

Йоки осуществил разгромную критику существующих подходов к пониманию истории. Он не оставил камня на камне от учений Дарвина, Маркса и Фрейда, назвав их разрушителями души западной культуры. Теорию естественного отбора он связал с капитализмом. Ее нельзя расценивать как истинную или ложную, ибо она опирается на очевидность конкуренции. Теорию классово́й борьбы Йоки связал с еврейским мессианизмом, а психоанализ — с буржуазией. Все эти формы мировосприятия объединяет ресентимент. Принимая во внимание тенденциозность его критики, нельзя отмахиваться от всех замечаний. Йоки собрал основные возражения против этих концепций, и хотя они уже не имеют прежнего влияния, следует знать их недостатки.

Йоки отрицал плоский эволюционизм как упрощенную модель развития, согласно которой постепенно, шаг за шагом человечество строит цивилизацию, основанную на рационализме и гуманизме. Он был верным последователем шпенглеровской программы морфологии культуры. Им реконструированы «культурно-символические» предпосылки формирования образа природы и раскрыты «природные» основания формирования образа культуры. Очевидно влияние витализма и гештальт-психологии на такое понимание мировой истории. Экспликация взаимосвязи логики жизни и логики причинности опирается на философскую антропологию Хельмута Плеснера. Различая понятия типа и рода, Шпенглер оригинально и вместе с тем основательно развил метафоры организма и растения применительно к описанию специфики культуры.¹ Особый интерес вызывает концепция организма. Обычно органы мыслятся инструментально, но если орудие функционально, то органы могут заменять друг друга. Кроме того, отношения органа и тела сложнее, чем у деталей машины. Наконец, органы обеспечивают приспособление к среде,

¹ См.: Подорога Б. В. Идеологические корни философии истории Освальда Шпенглера // Вестник РГГУ. 2014. № 10 (132). С. 57—66.

но они же и препятствуют этому. Согласно теории «выключения тела» человек дистанцируется от воздействия окружающей среды за счет использования орудий. Этой «конструктивистской» программе Плеснер противопоставлял целостный подход и использовал понятие «жизненного круга». Органы и тело, как писал Плеснер, во-первых, эквипотенциальны, т. е. работу больного или утраченного органа может заменять другой, во-вторых, одновременно трансцендентны и имманентны.¹

Шпенглер придерживался органицистского поворота, который произошел в немецкой философии в конце XIX века. Он исходил из противоположности души и тела, которые соотносятся как возможность и действительность. В противоположность конструктивизму Кассирера, Шпенглер трактовал «мир» как непосредственное переживание. Каждый наблюдатель устроен по-разному, и в зависимости от личных предрасположений составляет особенное представление о мире. Напрашивается аналогия с квантовой механикой, в которой учитывается роль приборов в познании. Но на этом пути исследователя поджидает опасность релятивизма. В противоположность Гуссерлю, нашедшему выход в интерсубъективности, Шпенглер считал, что единство обусловлено не переговорами, а первичными мифами, выражающими судьбу народа. Отсюда природу нужно описывать научно, а историю — поэтически. «Природа» и «история» понимаются Шпенглером как два способа постижения мира. Историческое или поэтическое восприятие более раннее. «Природа» более зрелый или, как его оценивал Шпенглер, более «старческий» способ овладеть действительностью, он связан с городской жизнью, где властвуют деньги и обмен, подсчеты и расчеты. Поэтому механическое понимание мира постепенно становится общепринятым. Оно, доказывал Шпенглер, является односторонним, поэтому всегда необходим качественный подход. В качестве примера он приводил образ «живой природы» Гёте как нечто, являющееся непосредственным созерцанием становления и развития. Его мир был организмом, который постигается методами не количественного измерения и причинности, а морфологии, учитывающей качественные особенности мира.

Разделяя воззрения Бергсона на время как длительность, указывая, что механистическое естествознание описывает мир как ставшее, наличное, настоящее, т. е. в пространстве, Шпенглер

¹ Плеснер Г. Ступени органического и человек: введение в философскую антропологию. М., 2004. 368 с.

считал, что история — это мир во времени, в становлении. Вместо гомогенного пространства предлагается качественная топология, учитывающая особенность мест, в которых существуют описываемые явления. Шпенглер предрекал революцию в познании, результатом которой станет победа морфологического подхода. В перспективе он мечтал о появлении единой физиогномики всего человеческого. История изучает организмы большого стиля, за телами она открывает души. Понимание истории как органического процесса трансформации первоначального феномена предполагает, что каждый культурный организм в центре души хранит идею своей судьбы.

Морфология культуры

Весь XIX век, утверждал Шпенглер, старался уничтожить границу между природой и историей. Чем историчнее старались думать, тем последовательнее применяли механистическое мировоззрение, внедряли конструктивистские модели природы в чувственную картину истории. Машинный принцип целесобразности лежит в основе материалистического понимания истории.

Шпенглер ставил проблему радикально: знание связано с природой, а жизнь — с историей. Речь, видимо, идет об образах истории и природы. В этой связи возникает вопрос, возможна ли история как наука? Отвечая на него, Шпенглер признавал, что во всякой личной картине мира постоянно участвуют оба элемента. «Никогда не бывает природы без отзвонков живого или истории без отзвонков причинности».¹ Чем глубже переживается истина, тем меньше ссылок на причинные связи и случайные обстоятельства. Гёте даже природу описал без ссылок на законы и причины. Шпенглер сомневался, что социальные, физиологические, этические феномены связаны как причины и следствия. Но что это: две сферы реальности, два способа существования или два способа познания? В зависимости от ответа возможны три исследовательские программы. Одна реализуется в форме естествознания, другая — как история и третья — как теория познания, распадающаяся на методологию естественных и гуманитарных наук. Но практически существует большое разнообразие концепций, в которых используются различные подходы. Например,

¹ Шпенглер О. Закат Европы. Новосибирск, 1993. Т. 1. С. 222.

существует история природы и история науки, возможен исторический подход и в естествознании, например геология и биология рассматривают свой предмет в развитии.

Точно так же существует трансцендентальная гносеология, имеющая дело с априорными формами познания, и историческая эпистемология, изучающая эволюцию мысли.

Физиогномика Шпенглера — это перенос искусства портрета в гуманитарные науки. Систематик познает ставшее, причем по частям, художник — становящееся, целое. В качестве примера Шпенглер сравнивал Эдипа и Лира. Первый напоминает фигуры эвклидовой геометрии, то есть поверхности без глубины, так как для античного человека нет истории, события случайны и абсолютны. Наоборот, король Лир — продукт аналитической геометрии и инфинитезимального исчисления, его идея — судьба, а не рок. В отличие от античной драмы положений Шекспир создал драму характеров. Современная трагедия, писал Шпенглер, возникает из чувства неумолимой логики становления.

Из пестрой картины исторических фактов можно извлечь формы — великие культуры. «Данная нам как некое историческое явление в образе памяти история китайской или античной культуры морфологически представляет собой полную аналогию с историей отдельного человека, животного, дерева или цветка. Если мы хотим узнать ее структуру, то сравнительная морфология растений и животных давно уже подготовила соответствующие методы».¹ Прафеноменом, типом истории является культура. К созревшим культурам Шпенглер причислял китайскую, вавилонскую, египетскую, индийскую, античную, арабскую, западную и культуру майя. Русская культура — созревающая. К еще не достигшим зрелости культурам Шпенглер относил персидскую и хеттскую.

Культура состоит в воплощении души в материальных и телесных формах, в языке, традициях. Она тесно связана с местом, с хозяйством, обустройством территории. Душа культуры в фазе ее детства выражается в мифах. Зрелая культура характеризуется властной насыщенностью форм, стареющая культура — сухим рационализмом. Шпенглер уверен, что культуры имеют свои ритмы и длительности. Хотя он говорил о закате культур, тем не менее допускал длительное существование старой «засохшей» культуры в форме цивилизации. Старую культуру сменяет молодая, но не обязательно путем нашествия, завоевания и разруше-

¹ Там же. С. 169.

ния. Во всяком случае предсказывая, что на смену стареющему Западу лет через 300 придет молодая Россия, в отличие от Йоки он не предполагал неизбежности новой мировой войны.

Шпенглер использовал в качестве основы своей реконструкции мировой истории морфологию Гёте. Он смело констатировал сходные органические формы разных культур, что и позволило ему говорить по аналогии с закатом античного мира об упадке европейской культуры, вступившей в стадию цивилизации. «Как листья, цветы, ветви и плоды выражают во внешнем виде, форме и способе произрастания существование растения, так и этические, математические, политические и хозяйственные образования играют ту же роль в существовании культуры».¹ Отсюда возникают смелые аналогии египетской культуры и социализма, «души» которых озабочены устойчивостью хозяйства. «Все без исключения великие создания: формы религии, искусства, политики, общества, хозяйства, наук во всех культурах одновременно возникают, завершаются и угасают... внутренняя структура одной вполне соответствует всем другим».² Например, он смело проводил аналогии между походами Наполеона и Александра. Использование сравнительного метода зоологии и палеонтологии позволяет реконструировать в истории особенности государственного устройства, исходя из особенностей художественного языка.

А. В. Перцев³ в присущей ему ироничной манере довольно скептические оценил вклад Шпенглера в понимание развития культур. Он отметил, что занятия математикой оставили неизгладимый след в способе мышления Шпенглера, и, несмотря на заявляемый качественный подход в науках о духе, которые имеют дело с уникальными индивидуальностями, тот видел в исторических событиях повторяемость и сходство, а не различие. Имея в виду интерес математиков к истории, можно согласиться с замечанием А. В. Перцева, если опираться, например, на реконструкции Бадью, а не Фоменко. Но все же определяющим кажется влияние морфологии Гёте.

Судя по умонастроениям 20-х годов, немцы чувствовали себя посторонними в Европе, где заправляли делами англичане с французами, именно между ними шла борьба за мировое

¹ Там же. С. 176.

² Там же. С. 180.

³ Перцев А. В. О. Шпенглер: попытка создания прикладной всемирной истории // Шпенглер О. Воссоздание германского рейха. СПб., 2015. С. 143—223. 224 с.

господство. Любопытна эволюция взглядов Шпенглера на расстановку сил на международной арене. Вначале признается приоритет Англии, которая контролировала, по подсчетам Йоки, 17/20 поверхности Земли. Даже Наполеон, утверждал Шпенглер в «Закате Европы», исполнял роль английского миссионера. После войны Англия перестала «править морями», и в «Воссоздании германского рейха» он говорил уже о приоритете Франции. Шпенглер хотел соединения сил Германии и России, чтобы преодолеть торгашеский дух английского капитализма.

Судьба и причинность

Противопоставляя закону причинности судьбу, Шпенглер имел в виду, что в законе сконцентрирован опыт прошлого, а судьба повернута к будущему, и это очень важно для истории, которая должна помогать осмыслению настоящего и предвидению будущего. Понятие закона, предполагающего причинно-следственные связи, применительно к истории оказывается весьма проблематичным. Исторические законы оказываются настолько общими и тривиальными, что при объяснении событий приходится прибегать к ссылкам на многочисленные конкретные условия и обстоятельства. В результате оказывается, что законы, по сути, и не нужны. Но считать историю случайным сцеплением событий тоже нельзя. Остается возможность рассматривать культуры по аналогии с наделенными сознанием, душой организмами, для описания которых витализм и философия жизни использовали понятие судьбы. Сегодня это понятие успешно вытеснено генетикой. Но нельзя забывать, что ее историческими предпосылками были телеология, холизм и витализм.

Важно не впадать в экономический детерминизм или фатализм. Читая Шпенглера и Йоки, невольно подозреваешь, что за критикой дарвинизма и материализма скрывается их признание. Только на место материальных условий, например «способов производства», ставится «душа культуры». Справедливости ради следует отметить, что Шпенглер резко выступал против редуционизма. Социально-экономические и ценностные феномены несводимы друг к другу, отношения между природой и историей, материальными факторами и духовными феноменами не являются причинно-следственными. Физикалистская методология неприемлема в истории. Шпенглер предлагал вместо объяснения исторического процесса понимать «судьбу» культуры. В новейшей

драме у таких писателей, как Ибсен, Стриндберг, Клейст, Шоу, он находил влияние механицизма: они конструируют, а не творят, вместо того чтобы раскрыть судьбу, ищут мотивы событий. На передний план у них выходят социальные, экономические и прочие «вопросы», решая которые, надеются определить человеческую природу. Между тем в истории нет законов, ее события суть символические явления идеи, поэтому вопрос не в том, что такое они сами по себе, а в том, что они означают.

Шпенглер, видимо, был под впечатлением ницшеанской критики историзма и его концепции вечного возвращения того же самого. Он настаивал на соответствии исторических фаз в развитии различных культур и не оставлял ни одной из них, будь то европейская, арабская или русская, иного завершения, как рождение, зрелость и, наконец, закат. Но даже у людей детство, юность, зрелость и старость протекают по-разному. Дети исполняют человеческое предназначение или судьбу по-другому, чем их родители. Повторение, как доказывали Кьеркегор и Ницше, допускает большую степень свободы. Под властью закона отдельные индивиды всего лишь его элементы, а повторять можно по-своему. Вариации и даже аномалии происходят не только на уровне способа действий, но и на структурно-образном уровне. Отсюда значимость формы — морфологии и физиогномики. Ученый, поэт, художник, хозяйственник — это органы культуры. Поэтому результаты их творчества тоже выражают душу культуры, свидетельствуют о ее расцвете или застое.

Кажется, предсказывать исторические события по чертам лица на портретах эпохи — это то же, что гадать на кофейной гуще. Если обоснование релевантности морфологии ссылкой на Гёте еще как-то убеждает, то отсылка к физиогномике, очередная популярность которой была обеспечена Лаватером в середине XIX столетия, в начале XX столетия уже была явно архаичной. Шпенглер трансформировал псевдонаучную физиогномику в некую «научную» эстетику и предложил типологию исторических персонажей, хотя и не такую, как у структуралистов. За образец он брал художника, который сочетал в портрете индивидуальное и родовое, типическое лицо.

И все же в этом «физиогномическом» предположении что-то есть. Если попытаться выразить проект Шпенглера на современном языке, то отчасти он раскрывается в визуальном повороте. Исторические события нужно понимать как знаки, каковыми выступают лица, деяния, жесты. Визуальная антропология и социология работает с такими знаками, которые воспринимаются не

как понятия, осмысление и значение которых определяет поведение почитывающего их человека, а как стимулы переживаний и поступков. Способность визуальных, оральных, ольфакторных и прочих невербальных знаков выражать жизнь и судьбу культуры и вызывать те или иные переживания раскрывается в физиогномике Шпенглера. Конечно, он впадает в пафос: «Широкая физиогномика всего существования, морфология становления всего человечества, достигающая на своем пути до высочайших и последних идей: задача проникновения мироощущения не только своего собственного, но и вообще всех душ, в которых вообще до сего времени появлялись великие возможности и чьим воплощением в области действительного являются великие культуры».¹

Шпенглер указал на единство таких культурных форм, как наука и искусство, и даже находил аналогии между математикой и политикой. Конечно, временами его сравнения вызывают недоверие. Он работал несколько грубовато, но, имея в виду, что он был первопроходцем и торопился набросать эскиз нового образа истории, можно не цепляться к деталям и высоко оценить его культурологический подход к науке, экономике и политике. То, что Шпенглер называл организмами и судьбой, у Фуко получило название эпистем и стратегий. И хоть он не ссылался на немецкого мыслителя, сходство «Слов и вещей» с «Закатом Европы» неоспоримо. Другое дело, что Фуко жил во время устойчивого развития капитализма и стоял на позициях структурализма. Но сегодня снова настает фаза «мессианского времени», и мы уже не можем утешаться структурами, мы смотрим в будущее и пытаемся предвидеть судьбу.

Кто же все-таки Шпенглер, традиционалист или модернист? С одной стороны, использование понятий прафеномена и судьбы дают повод определить его позицию как консервативную, направленную против новых конструктивистских подходов. Шпенглер критикует конструкции разума и доказывает, что он произрастает на определенной исторической почве. Натуралистическое понимание истории заставляет искать органические связи, каковыми являются климат, территория, род, язык, миф, религия, традиция, хозяйство, война и другие действия, которые соотносятся не только с умозрением, но и с конкретными условиями жизнедеятельности. Совокупность этих органических предпосылок определяет судьбу культуры. С другой стороны, такие отдающие

¹ Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. С. 229.

нафталином понятия, как «дух времени», «судьба», у Шпенглера именуют иные темы, нежели у романтиков XIX века. Судя по метким критическим замечаниям, Шпенглер понял Канта лучше, чем тот понимал сам себя. Он вполне обоснованно упрекал его продолжателей в том, что они не уловили дух времени, не пытались осмыслить и проверить интуиции Канта в условиях современности. Шпенглер прозорливо заметил, что Кант не вполне использовал возможности своего революционного поворота в теории познания, особенно тогда, когда настаивал на априорности форм чувственности и рассудка. Напротив, органический или морфологический подход позволяет увидеть изменение самих форм.

Внимательное чтение «Заката Европы» убеждает, что переход от одного мировоззрения к другому так или иначе опосредуется историей мысли и отличается от изменений моде. В пылу полемики с рационализмом и эмпиризмом Шпенглер занижал роль рефлексии. Но сам он оставался мыслителем и сторонился участия в политике. В отличие от Стефана Георга, он не претендовал на роль вождя и отказывался даже от профессуры. Таким образом, на деле он высоко ценил свои интеллектуальные открытия и понимал их роль в истории.

Что такое капитализм?

Как ни странно, понятие капитализма не получило четкого определения у Маркса и введено в обращение, скорее, Зомбартом и Вебером.¹ В формационной модели истории капитализм — это определенная фаза развития общества, которая характеризуется через наемный труд, прибавочную стоимость и отчуждение. Капитализм — это общественный способ производства и частный характер потребления. Вещи и люди превращаются в товары. Достаточно четко были описаны противоречия и кризисы капитализма, разработана теория классово-борьбы. Образ капитализма изменился в XX столетии. Это чувствовали неоллибералы, обратившие внимание на производство социального, культурного и символического капитала. Вопреки мрачным прогнозам Маркса, капитализм научился выходить из кризисов, а главное, справился

¹ Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения. М., 1990. 808 с.; Зомбарт В. Капитализм и евреи. Собр. соч. В 3 т. СПб., 2005—2008.

с рабочим движением и стал мирно жить с профсоюзами. Поэтому Лукач и участники Франкфуртской школы раскрывали экзистенциальные и культурные формы отчуждения. Структуралисты методично раскрывали связь идей и вещей. Лиотар вписал в капиталистическую экономику производство знания, которое тоже стало товаром. Фуко достаточно полно реконструировал взаимосвязь знания и власти. Делёз дополнил марксизм шизоанализом и охарактеризовал машины желания как дальнейшее проникновение капитализма в интимный мир человека.

Когда заходит речь о единстве общества, обычно начинают искать национальную идею. Преувеличение ее роли свойственно и консерваторам, и либералам. Разница в том, что одни считали идеи продуктами разума, а другие — выражением «души» культурного организма. Согласно морфологии Шпенглера и Йоки культурная идея органична, она сверхлична и является продуктом организма, а не интеллекта. Человек — существо символическое, осмысляющее все, что попадает в поле его внимания. Человек может сформулировать идею, попытаться ее реализовать или, наоборот, деформировать. Поскольку возможны различные интерпретации, то в состоянии бифуркации, когда материальные факторы находятся в неустойчивом равновесии, все зависит от решения, являющегося политическим в точном значении этого слова. В органицистской программе изучения культуры, естественно, идее отводится центральная роль, но способ, каким она воплощается, отличается от конструктивистских моделей. История — это жизнь, а не техническое конструирование, это некий органический процесс развития общественных форм, а не бюрократические попытки их контроля и регулирования под нужды капиталистической экономики. Как политик, Йоки хотел оставаться прагматиком, он заинтересован не в улучшении мира, а в том, что можно сделать в мире, который подчиняется своим законам. Органический подход предполагает, что нужно делать должное, соответствующее судьбе, тем жизненным обстоятельствам, в которых мы оказались.

Крах атеизма и материализма, пророчествовал Йоки, приведет к возрождению религиозности. Человек сегодня сильнее, чем раньше, переживает непостижимость жизни, он готов к героическому подвигу. Искусство выродилось в безобразие и хаос, декадансу нужно противопоставить возрождение классических эстетических ценностей. Точно так же публичное, коммерческое и уголовное право, защищающее интересы капитала, должно быть выброшено на свалку, новое право должно быть подчинено

политике. Взамен принципа богатства нужно ввести подчинение авторитету, необходимо ликвидировать диктат экономики как фундамент, она важный, но не основной элемент здания. Вместо обслуживания борьбы индивидов за добычу она должна способствовать процветанию политического организма.

Йоки не слишком определенно описал «хорошую» экономику, которая должна прийти на смену капиталистической «экономике». У Шпенглера позитивная программа развернута полнее, содержательнее, а главное, более приемлемо. Если Йоки по молодости лет схематично различал мышление и реальное существование, то Шпенглер в своей поздней работе «Воссоздание германского рейха» со знанием дела предлагал набор воспитательных, правовых, экономических и политических реформ, которые будут способствовать восстановлению государства.

Как известно, после Первой мировой войны на Германию были наложены репарации, которые должны были возместить потери победителей. Неумелые действия правительства привели к чудовищной инфляции, которая до сих пор остается абсолютным рекордом. В современной России, хотя и в меньшем масштабе, это повторилось в 90-е годы, затем в 98-м и, наконец, снова в 2014-м. Все это заставляет задуматься, что же такое деньги и налоги. Решение отдано финансистам, но они, как и юристы, решают функциональные проблемы, их мало волнует вопрос, как принимаемые ими меры отражаются на настроении людей. Но именно эта сторона дела и должна интересовать политиков. Если обратиться к новейшей истории, то можно заметить взаимосвязь инфляции с политическими революциями. После прихода к власти сильного лидера национальная валюта быстро укреплялась, явно опережая экономические достижения. Это значит, что цена денег зависит не только от товарной массы, но и от доверия к ним. Как таковые, деньги — это средство расчета, мерило стоимости, масштаб, мера, позволяющая сравнивать ценность разных товаров. Таким образом, обменивая один товар на другой, мы думаем в деньгах, т. е. прикидываем в уме их стоимость. Как мера расчета, деньги должны быть устойчивым платежным средством, и поэтому их изготовление является делом государства. Изначальная форма инфляции — уменьшение количества серебра в монетах, при переходе к бумажным деньгам государство увеличивает их количество для покрытия своих производственных расходов.

При капитализме происходит разделение движимого и недвижимого имущества, и, таким образом, становится трудно

контролировать обеспеченность денег и акций. Деньги из товара превращаются в платежное средство, в вексель, обеспеченность которого гарантируется «честным словом» того, кто его выпи- сывает. Но на заднем плане остается валюта, отсюда колебания курса денег. Государство старается удерживать свои деньги от падения искусственными ограничительными мерами, но это неэффективно. Поэтому часто предлагают вернуться к валюте, имеющей золотое обеспечение. Беда в том, что сегодня такой нет. Кроме того, например, в царской России был самый большой зо- лотой запас, но это не уберегло рубль от инфляции. Английский фунт, хотя и не имел такого обеспечения, не упал ни на пенни, ибо не потерял доверия. Самое обидное — это, конечно, расходо- вать национальное достояние на покрытие убытков, вызванных бездарной политикой. Именно она вызывает недоверие к нацио- нальной валюте, и эта моральная оценка относится не только к деньгам, но и к правительствам. Чаще всего последним сред- ством повышения доверия является его смена. Сегодня следует учитывать, что курс валют определяется не только внутренними достижениями той или иной страны, но и внешней политикой. Но и здесь решающей оказывается степень доверия к правитель- ству страны.

Йоки, как и Шпенглер, — радикальный критик капитализ- ма. Во многом повторяя аргументы Маркса, они отвергали как либеральный социализм, так и большевистский коммунизм, и были сторонниками национал-социализма. Противопоставление общества и государства сложилось в эпоху Просвещения. Гоббс и Руссо отстаивали приоритет гражданского общества как форму взаимосвязи людей на основе разделения труда и общественного договора. «Общество» как форма порядка представляется Йоки вялой и аморфной, оно являет собой картину деградации как вла- сти, так и людей. Основной упрек буржуазному обществу состо- ит в том, что оно нивелирует не только аристократию, но также рабочих и крестьян. Превращая землю и труд в простой предмет купли и продажи, социум отрывается от связей с почвой, ста- новится искусственным образованием, в котором существенные субстанциальные качества людей заменяются функциональ- ными. Жизнь становится спектаклем, где люди больше не живут, а только исполняют роли, играют и обозначают. Консервативные мыслители единству на основе «чистого разума» противопостав- ляли единство «крови и духа» и взывали к эпохе, которая изоби- ловала «великими сердцами» и «высокими умами», которая была богата битвами, где лилась кровь, а не произносились речи.

Э. Юнгер критиковал бюргерское понимание рабочего через призму договорных отношений как несостоятельное, а также разоблачал социалистическую поэтизацию рабочего как идеального образа человечества. Шпенглер считал рабочих сословием, в то время как крестьян — расой.¹ Они связаны с почвой, со стихийными силами бытия. Поэтому им нужна не формальная, а реальная свобода, выражающаяся во владении землей и орудиями труда. Считая буржуазную демократию исторически обреченной, Э. Юнгер предвидел ситуацию прозрения рабочего, энергию которого мечтали направить на укрепление государства: «наша вера в том, что восход рабочего равнозначен новому восходу Германии».² Свобода и порядок соотносятся не с обществом, а с государством, и образцом всякой организации, по Юнгеру, является организация войска, а не общественный договор. Во время восстания единичный человек — служащий превращается в воина, масса превращается в войско, а отдача и выполнение приказов заменяет общественный договор. Так, рабочий выводится из сферы эксплуатации или сострадания в сферу войны, и вместо адвокатов у него будут вожди. На место пролетариата, который не имеет отечества, был поставлен немецкий рабочий, призванный господствовать в мире.

Консервативная революция

Сравнительный анализ идей Йюки с проектами политической теологии и тотальной мобилизации обнаруживает отличие романтического понимания народа как органического целого от концепции немецкого рейха Шпенглера и кайзерства Шмитта.³ Также можно отметить различие терминов корпорации и народного организма у Шпенглера, Юнгера и Мёллера ван дер Брука.⁴ Несмотря на отличие консервативной и национал-социалистической идеологии, одна превращается в другую. Шпенглеровская концепция народного тела является альтернативой индивидуализму и представляет собой попытку построения народного единства как государственного целого.

¹ Шпенглер О. Воссоздание германского рейха. 224 с.

² Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. СПб., 2000. 79 с.

³ Blumenberg H., Schmitt C. Briefwechsel 1971—1978. Fr./M., 2007. 309 S.

⁴ См.: Мёллер ван дер Брук А. Миф о вечной империи и Третий рейх. М., 2009. 368 с.

Фашистская идеология использует расовый миф с целью создания образа врага. Она работает не с народом, а с массами, зажигая энтузиазм толпы истерическими речами и факельными шествиями. Сравнительный анализ поучителен в том отношении, что показывает предел, который не следует переступать тем, кто пытается реанимировать дух народа.¹ Обычно это используется совсем для других целей нежели те, о достижении которых мечтала консервативно настроенная интеллигенция. В обычной жизни люди заняты своими повседневными делами и не задумываются о высших целях. Наоборот, в чрезвычайных ситуациях они способны объединяться на основе идеологий. Побеждает тот, кто наиболее красиво и убедительно говорит. Однако воодушевление проходит и в постстрессовой фазе, люди склонны искать внешних и внутренних врагов, они живут жаждой мести и реванша.

Консерватизм считают политическим модусом традиционализма. Консерваторы или правые заботятся о сохранении традиционных (буржуазных) ценностей. Но философский консерватизм имеет мало общего с защитниками буржуазного общества. Наоборот, оно расценивается как завершающий этап разрушения традиции. Столь же неоднозначно соотношение консерватизма и национализма. Связь между ними, конечно, есть. Национализм опирается на местные традиции и устои. Но и консерватизм — это не космополитизм. Его сторонники борются за сохранение рода, нации, государства, семьи, сословий. Государство мыслится как родина. Сословие связано с трудом, профессией. Род и семья — это биологическое и одновременно культурное наследие, это порода и, наконец, раса. Все это нуждается в культивировании, и без надлежащей воспитательной работы придет в запустение и приведет к вырождению. Однако консервативная политика в образовании на практике сегодня проводится лишь в отличающихся суровостью католических школах, куда богачи отправляют своих избалованных детишек.

В философском консерватизме речь идет о единствах органического типа. Например, нация — это не просто граждане, имеющие право избирать и быть избранными в парламент. Народ — это не толпа и не безликая масса, ищущая хлеба и зрелищ. Вообще, настоящие граждане государства не являются продуктом социальной инженерии, их патриотизм складывается на

¹ См.: Mohler A. Die Konservative Revolution in Deutschland 1918—1932. ARES, 2005. 641 S.; Breuer S. Anatomie der Konservativen Revolution. Darmstadt, 1993. 232 S.

основе территории, истории, культуры, языка и поддерживается общими интересами. Почва и кровь, выживание, образ жизни, привычки, быт и уклад, дом и семья, труд и профессия, положение в обществе связывают людей в целое. Современный капитализм разрушает устои традиционного общества. На место органических приходят организационные отношения, одновременно происходит дифференциация и интеграция, но уже по-другому, чем в сословном иерархическом обществе. Партии, профсоюзы, профессиональные сообщества являются гораздо более слабыми формами единства по сравнению с клановыми и родовыми союзами. Правда, по сравнению с теми объединениями, которые складываются сегодня, партии — это образцы союзов. Конечно, их подточила бюрократия, но их еще можно и нужно спасать. Иначе наступит конец политике.

Консерватизм кажется уделом стариков, его выражением является брюзжание по поводу новаций. Но консерваторы бывают и агрессивные. В политике они занимают правую сторону дискурса и отстаивают высшие цели в противовес либеральным ценностям. Консерватор считает, что человек живет не ради себя, а ради исполнения высших ценностей. Иерархическое государство само по себе является ценностью, но оно же является инструментом реализации культуры, науки, нравственности, социального порядка. Основой органического государства является семья, а забота о подрастающих поколениях, воспитание детей и образование юношества ложится на плечи старшего поколения. Отсюда патриархальность консерватизма, его связь с церковью, которая всегда поддерживала традиционные ценности. Наш российский консерватизм был довольно бесхитростный, его главный лозунг: «За веру, царя и отчество!» Выражается он в бескорыстной службе государству, которое, впрочем, обязано достойно содержать своих верных слуг, чтобы они ни в чем не нуждались. Устойчивый порядок — лучшее противодействие коррупции.

Мир и раньше не был хорош, но новый порядок оказался вообще бессмысленным. Отсутствуют цель и смысл, оправдывающие политическую деятельность. Не существует ни истинного государства, ни истинных вождей, не осталось ни одной партии или движения, отстаивающего некую высшую идею. Несмотря на мнимое разнообразие, в партийном мире властвуют профессиональные политики, отстаивающие интересы финансовых кругов. Даже если находятся вожди, которые пытаются пробудить в людях высшие интересы, требуя дисциплины и ответственности, они не получают поддержки элиты. Она боится народа. Вме-

сто народа, по сути, осталась лишь текучая масса «индивидов», лишенных органических связей. Общество удерживается от распада чисто внешними структурами. Сословия превратились в классы, а сегодня исчезли и они. На место традиционных родовых, трудовых, сословных союзов пришли корпорации, основанные на материальных интересах. Иерархическое общество превратилось в массовое, где периферия принудительно организуется центром, который вынужден вмешиваться во все сферы жизни, вводить все больше ограничений. Тенденция к усилению роли государства — закономерная реакция на распад общества, на превращение народа в толпу.

Связь государства и нации следует продумывать как в либеральном, так и в консервативном аспектах. Нужно обсуждать проблемы гражданского общества, но не забывать об образе традиционного государства-нации, олицетворяемого верховной властью. Иначе патриотизм и национализм останутся политическими мифами. Раньше идеалом была империя, соединявшая множественность наций во имя одной цели. Сегодня тоже возникают наднациональные объединения, что дает пищу для новых размышлений о сетевых империях. Критическое отношение одинаково необходимо по отношению и к романтической, и к натуралистической, и к конструктивистской версиям национального государства. Сегодня стоит думать не о возрождении символов крови и почвы, а о возрождении духовных основ общества.

Человеческая природа сама во многом является производной от технологий, в том числе и социальных. Более того, она меняется в меньшей мере под воздействием просвещения, а в большей — под воздействием образа жизни и складывающихся на его основе привычек. Чрезвычайно важно понять механизм формирования и изменения габитуса (комплекс привычек, желаний) людей. Это нужно прежде всего для выстраивания долгосрочной политики. Она планируется исходя из экономических возможностей. Между тем основу государства составляет антропологический потенциал общества. Эффективный и актуальный политик знает жизнь и представляет реакцию населения на процессы модернизации. Но этого недостаточно. Если он будет исполнять желания народа, развития не будет. Политик — это тот, кто не только прислушивается к общественному мнению, но и формирует новую породу людей. Разумеется, он не может это сделать в одиночку. Но тому, кто принимает решения, важно знать, какими технологиями это осуществляется. Медицины и генетики тут недостаточно. Необходимо стимулировать развитие социальной

педагогике. Между тем она построена в основном на школьном образовании (в детсаде готовят к школе, в школе — к университету, а в университете — к исследованию). Это важный, но не достаточный институт социального кодирования. Сегодня мы видим, что университеты не выполняют своей главной задачи воспитания ответственных руководителей. Университетские преподаватели ограничились задачей подготовки ученых и специалистов, менеджеров и инженеров и уже не представляют, какими социальными качествами должны обладать выпускники, а главное, не знают, как они формируются до или вне школы. Не только школа, но и семья подвергается эрозии. Дело не в том, что в цивилизованных обществах падает рождаемость, а еще и в том, что родители и взрослые уже не способны дать детям необходимое воспитание. Это не только моральный вопрос. Забота о подрастающих поколениях — основной закон эволюции общества. Успешно развиваются те, кто находят для этого эффективные технологии. Современная профессиональная подготовка научных и технических специалистов должна включать гуманитарные знания, необходимые для выбора таких ценностных ориентаций, которые бы соответствовали культурным традициям человечества, способствовали возрождению и развитию России.

Протест против партий и ставка на государство характерны для немецкой интеллектуальной элиты накануне Первой мировой войны. Это время критики либерального проекта Просвещения, разочарования в социализме и интернационализме и неожиданный взрыв патриотизма и даже национализма. Отсюда новое понимание политики. Партии, парламенты обвинялись в коррумпированности, в ход пошла мобилизационная политика. Государство провозглашалось как сверхличный организм, имевший более высокую ценность, чем индивиды. При этом много говорилось о деградации людей, вырождении человеческой породы, об утрате ответственности, угрожающей процветанию государства. Одни утверждали, что все зависит от судьбы народа, а не от людей, другие, наоборот, рассчитывали на волевою решимость вождей. Нередко обе крайности совмещались в одном сознании. В «Закате Европы» Шпенглер писал о судьбе, понимая ее как органическую заданность, или, говоря модными сегодня понятиями, как набор культурных «мемов», конфигурация которых составляет программу развития той или иной культуры. В «Воссоздании немецкого рейха» Шпенглер писал о необходимости воспитания элиты в духе служения государству, т. е. связывал

процветание культуры с человеческими качествами. Такое же сочетание противоположных позиций имеет место у Хайдеггера, который то взывал к судьбе народа, то, наоборот, к вождям, которые слышат зов бытия. Но и на другом крыле, например у Беньямина, мессианские ожидания сочетались с марксистскими идеями, у Адорно и Лукача критика отчуждения и аффирмативности дополнялась гегелевскими схемами тотальности.¹

В работе «Пруссачество и социализм» Шпенглер модифицировал либерально-демократическую модель, дополнив ее искусством государственного управления.² Основную работу он возлагает не на партийную, а на государственную бюрократию. И в поздней работе «Воссоздание немецкого рейха» Шпенглер детально прописывает, как создать систему образования, выпускающую государственных служащих, которые должны прийти на смену партийным функционерам. Йоки уже не питал подобных иллюзий. В рыночном обществе имперские чиновники являются анахронизмом. Птенцы империи, как когда-то аристократы после буржуазных реформ, мирно досыпают ночи в своих постелях. Деградацию старой аристократии, высших чиновников, политиков и военных, а также творцов искусства и ученых отмечали все представители консерватизма. Пришедшие им на смену «эффективные менеджеры» не создают ничего нового, а пытаются придать товарный вид уже сделанному и продать как продукт массовой культуры.

Историю вершат люди, которые руководствуются как своими интересами, так и представлениями об интересах государства. Историки больше уважают тех, кто общее ставит выше частного. Однако бывает и так, что руководствующийся своими чувствами правитель реализует дух времени лучше, чем тот, кто исходит из интересов народа. Оценивая деятельность Наполеона, Шпенглер отметил, что он не понимал смысла того, что делал. Он видел в Англии конкурента, а между тем способствовал продвижению буржуазного общества, идеология которого была сформулирована английскими мыслителями. Поэтому было бы односторонне сводить историю к эскалации имперских настроений, не учитывать, что в Европе развивалось буржуазное общество, где главным считалась личная свобода.

¹ Адорно Т. В. Негативная диалектика / Пер. с нем. Е. Л. Петренко. М., 2003. 374 с.; Беньямин В. К критике насилия // Учение о подобии. М., 2012. 290 с.; Лукач Д. История и классовое сознание. М., 2003. 416 с.

² Шпенглер О. Пруссачество и социализм. М., 2002. 228 с.

Сегодня государство представляется как бюрократическая и военная машина, а общество — как моральная общность. Согласно либеральным мыслителям, государственный аппарат должен находиться под контролем юристов, экономистов, дипломатов и, наконец, общественности, которая может участвовать в обсуждении решений, касающихся жизненных интересов граждан. Однако в тревожные периоды истории государства вновь осознаются как нечто не только сверхличное, но и сверхчеловеческое, выступают как разбушевавшиеся демоны, ведущие борьбу не на жизнь, а на смерть. Как Молох они приносят в жертву своих граждан, не повинуюсь доводам рациональности и экономической целесообразности. Империализм XIX столетия — очередная ступень глобализации мира, освоение водной и земной поверхности Земли в процессе географических открытий и последующая колонизация, наконец, мировые войны, причиной которых была борьба за передел мира.

Неудивительно, что Йоки, Шпенглер и Хайдеггер, а также либеральные критики, например Адорно и Маркузе, демонизировали капитализм еще сильнее, чем это делали марксисты. Гуманизм, свобода, права человека, демократия — все под подозрением, во всем видится какой-то «микрофашизм». Чрезмерное расширение понятия, как известно, приводит к инфляции. Если любая инновация — это всего лишь форма развития капитализма, то на каком фоне он обретает свои определенные черты? Сегодня, когда рабочий класс «растворился» не только на Западе, но и у нас, когда большинство теоретиков склоняются к мнению, что единственным классом истории остается буржуазия, вопрос «кто такой рабочий?» уже не кажется актуальным. Для жителей мегаполисов, оторванных от земли и родовых связей, кризис национального государства, семьи, системы образования и даже смерть человека уже не вызывает ни страха, ни сожаления. Капитализм плоти, когнитивный, культурный капитализм — это новые формы порабощения людей, которые анонимны и незаметны. Кроме того, уже мало кто решается протестовать против комфортабельного образа жизни.

Чаще всего кризис возникает из-за беспечности, корысти и вырождения правящей элиты, представители которой забывают о народе и занимаются партийными играми с целью личного обогащения. Йоки, попавший под обаяние немецкой консервативной философии, был критически настроен по отношению к обществу торгашей. Он описал последствия рыночной экономики, которая, как коррозия, разрушила традиционные челове-

ские общества, раскрыл деградацию как элиты, так и народа, и в качестве лекарства предлагал вернуть докапиталистические отношения. Теоретики, считающие долг мотором капитализма, забывают, что кроме денежного долга есть моральный, основанный на обязанности, ответственности, чести и достоинстве. Конечно, еще не все продается, и никогда капитализм не сможет охватить все сферы жизнедеятельности людей. Тем не менее его экспансия продолжается. Сегодня рынком освоены считавшиеся ранее неэкономическими отношения. Наука, искусство, культура — все это стало производством капитала. Ученые и художники — это тоже предприниматели. Ученый производит знание, которое продается как товар; профессор производит, а студент присваивает символический капитал, который конвертирует в деньги, родители инвестируют свою заботу в детей и тем самым производят человеческий капитал. Даже развлечения и покупки — это не что иное, как воспроизводство общества потребления. Кажется, все это нейтрализует революционный пафос. Но на деле люди видят поляризацию богатых и бедных, причем богатство приобретает путем финансовых спекуляций, которые являются способом отъема денег у трудового народа. Тот факт, что трудящимися, то есть умственными пролетариями или «прекариатом», стали клерки и профессора, ничего не меняет, они зарабатывают деньги, в то время как прибыли спекулянтов и топ-менеджеров трудно назвать заработком.

На самом деле реальная экономика напоминает город, где современные небоскребы соседствуют со старинными зданиями. Конечно, новые формы жизни рано или поздно трансформируют и подчиняют традиционные уклады, но новое не становится тотальностью, всегда остаются не охваченные капитализмом территории. И если предлагать тактику современной революции, то можно посоветовать бороться за расширение таких территорий, не уступать их рынку и коммерции. Подлинный способ быть состоит в борьбе за сохранение человеческих отношений. Да и в охваченных товарным производством и расчетом прибыли социальных пространствах можно вести борьбу за их очеловечивание. Капитализм не превращает общество в пыль, народ — в толпу, не обрекает на отчуждение и одиночество. Может быть, функциональные связи соединяют людей гораздо прочнее, чем личностные отношения, которые не могут быть опорой рыночной экономики. На их основе складываются семейные организмы и небольшие моральные и духовные сообщества, основанные на дружбе и доверии, на ответственности и чувстве долга.

Критика либерализма и коммунизма

Левые либералы тоже критикуют капитализм. Т. Адорно утверждал, что время буржуазии прошло, и нельзя после Освенцима, утешаться прежними иллюзиями гуманизма и рационализма. Как и Йоки, он критиковал философию разума, которую вдобавок обвинил в том, что она-то и привела к тоталитаризму. Абсолютная идея воплотилась в устройстве концлагерей, к которым Фуко добавил тюрьмы, психбольницы, а также фабрики и учреждения образования. Как альтернативу метафизике, фундаментальной онтологии, психоанализу и экзистенциальной философии Адорно предложил проект негативной диалектики, согласно которой свобода достигается критическим отношением к любым государственным институциям. Как консервативная, так и критическая теория одинаково страдают подозрительностью, недоверием к мышлению, языку, к благам цивилизации, которые расцениваются как формы закабаления людей. И точно так же предлагаемые ими формы эмансипации имели, если не худшие, то все же отрицательные последствия. Призывы к патриотизму и ответственности ущемляли личную свободу, а отказ от «тоталитаризма» обернулся примирением с абсурдной капиталистической действительностью.

Либерализм, убежден Йоки, бежит от трудностей в комфорт, от мужественности в женственность, от героизма и реальной истории в конформизм. Хотя Йоки не дожил до перформативной теории пола, однако чувствовал, что борьба за равноправие должна оставаться в определённых границах. Несмотря на то что окружающая среда, к которой адаптируется человек, является искусственной, тем не менее природные различия не исчезают. Больше того, на их основе держатся такие социальные институты, как семья, которая, может, уже и не является «экономической ячейкой общества», однако как институт воспитания детей она, конечно, незаменима. Несмотря на веру либералов в универсальность рынка и экономики, еще не все можно купить. Скорее всего, не только любовь, но и остальные человеческие чувства, такие как забота о детях и родителях, ответственность и патриотизм, тоже не подлежат экономическому учету. Попытки превратить все эти качества в социальный или человеческий «капитал» выводят за пределы «экономики».

Эпоха капитализма, по мнению Йоки, закончилась в 1900 г. Начало XX века — время борьбы за власть, главным орудием которой становятся не деньги, а сила. Конечно, за деньги можно ку-

пить и силу. Сегодня любая акция, в том числе военная, удастся, если она материально обеспечена. И все же деньги нельзя мыслить посредством метафоры «желтого дьявола», они являются важным цивилизационным достижением. Положительная функция денег в том, что они позволяют путем обмена решить конфликты, обычно разрушаемые насильственно. Проблема с деньгами в том, что сегодня они как бы двойные. Одни заработаны трудом, а другие являются результатом спекуляции на бирже. Но, как говорится, деньги не пахнут, и от этого страдает трудящееся население. Ясно, что не все заработанное достается работнику, и в этом смысле отчуждение неизбежно. Вопрос в том, куда тратятся собранные в виде налогов средства?

Либеральная демократия — это идеология цивилизационного пути развития. Переход культуры в стадию цивилизации является, по Шпенглеру, началом падения Запада. Поэтому Йоки рассматривает демократию как симптом болезни, но считает ее проявлением судьбы культурного организма. Отсюда снижение критического накала. Как таковая демократия представляет собой новую форму власти, пришедшую на смену аристократической форме правления. Ее олицетворял Наполеон, который и на троне оставался демократом. Опорой демократии является народ, а не нация. Она разоблачается как форма захвата власти людьми, не имеющими на нее права ни по происхождению, ни по социальному положению. В XX веке демократия окончательно превращается в чистую политику и нередко завершается диктаторскими режимами.¹ Если К. Шмитт не осуждал диктатуру, видя в ней здоровую реакцию на кризис общества, то Йоки, как всякий американец, считал ее неприемлемой.

Протест консерваторов против демократии вызван, во-первых, тем, что в политику втягиваются народные массы, в то время как при старом порядке она вершилась правителями, а во-вторых, тем, что чрезмерное расширение сферы политического приводит к исчезновению чистой политики. Обычно народ понимается как некий «натурпродукт», вырастающий на освоенной территории, ведущий происхождение от великих предков. Это коллектив, говорящий на родном языке, звучание которого подобно узнаваемым мелодиям героических песен. Наоборот, нация определяется как искусственный политический продукт, она образуется из разных народностей в качестве граждан госу-

¹ См.: Шмитт К. Диктатура: от истоков современной идеи суверенитета до пролетарской классовой борьбы. СПб., 2005. 326 с.

дарства, которые принимают участие в выборах парламента. Конечно, такое понимание нации является слишком абстрактным, холодным. Поэтому уже на знаменах Великой французской революции присутствовали лозунги свободы, равенства и братства. Особенно симптоматично «братство», явно свидетельствующее о преемственности с мужскими воинскими союзами. Оно плавно трансформировалось в патриотизм и даже в шовинизм. Так что вывод Йоки о переходе демократии в национализм не лишен оснований. И на другом берегу политического дискурса В. Беньямин и Т. Адорно высказывали предположения, что фашизм является расплатой за демократию.

Читая Йоки, можно искренне возмущаться, можно цинично усмехаться, можно отметить исторические неточности, тенденциозную подборку примеров. Далеко не все лидеры революций занимали трон и заканчивали жизнь диктаторами. Поэтому, с какой бы целью в свое время не были написаны подобные тексты, следует читать их как некую проверку на прочность наших собственных убеждений. Вообще говоря, его высказывания можно воспринимать двояко. Во-первых, как продукт антикоммунистической пропаганды, осевший в обыденном сознании и потому самоочевидный. Во-вторых, как повод продумать саму программу коммунизма и ее практическое воплощение. Коммунизм, в отличие от либерализма, Йоки расценивает как политику на том основании, что он предполагает врага — буржуазию. Возможно, он прав, так как имел дело с классической формой либерализма. Сегодня, после американской интервенции в Югославии и на Ближнем Востоке, очевидно, что либерализм — это весьма воинственная политика, и наоборот, коммунизм — это утопия, которая не предполагает, что пролетарии займут квартиры буржуа. Оба класса — продукты отчуждения. Человек не рожден быть ни пролетарием, ни буржуа. Кроме того, рабочий добровольно продает себя как рабочую силу, и капиталист получает прибавочную стоимость вполне законно. Но на практике положение рабочего гораздо хуже, чем у буржуазии. Хотя ее отдельные представители осуждают «сладкую жизнь», однако добровольно расставаться с собственностью в большинстве своем не хотят. Наоборот, рабочим нечего терять, и они способны совершить коммунистическую революцию, то есть освободить и себя, и заодно всех остальных, включая буржуазию, от отчуждения. Вернуть человечество в царство свободного труда — такова конечная цель коммунизма. Опять-таки на деле получается по-другому. Буржуазия не хочет отказаться от собственности, а пролетариат не может больше ждать. Отсюда

вместо коммунистической революции готовится пролетарская, сначала в отдельных странах, а потом и во всем мире. Поскольку применяется насилие, появляется враг, сначала внутренний, а потом и внешний. Диктатура пролетариата переходит в мобилизационную экономику и агрессивную внешнюю политику.

Йоки объяснял деструктивный характер коммунизма как следствие рационализма и признания приоритета экономики. Как органицист, он критиковал коммунистов за механицизм. Поскольку это и является, по Шпенглеру, симптомом внутренней болезни Европы, то коммунизм является опасным врагом, ускоряющим процесс распада. Негативно расценивая проекты либерализма и коммунизма, Йоки и Шпенглер отдавали предпочтение социализму, в котором видели органичное сочетание индивидуального и общественного, национального и народного.

Можно перечислить причины как популярности, так и отказа от марксизма. Доверие к нему было вызвано: 1. Возникновением социалистических государств на основе революционного разрушения государства как орудия угнетения рабочих. 2. Крушением империализма. 3. Рабочим движением на Западе, когда компартии, профсоюзы стали важнейшими политическими факторами.

Кризис марксизма обусловлен: 1. Разоблачением сталинизма и распадом СССР. 2. Переосмыслением результатов национального освобождения. Сначала в Европе протестовали против американской агрессии, но потом разочаровались во вьетнамском социализме. 3. Отсутствием органической связи марксизма с рабочим движением. Польская «Солидарность», с одной стороны, подтвердила способность рабочих к борьбе за освобождение, а с другой — выступала против марксизма. Надо признать, что разоблачение сталинизма и маоизма во многом было литературным и журналистским актом. Но и антимарксизм не является адекватной критикой, ибо он реактивен. Антимарксизм объединил интеллектуалов критикой тоталитаризма и необходимостью защиты прав человека, но он же привел, по мнению А. Бадью, к реставрации классического понятия политического.

Образ государства в зеркале консерватизма и либерализма

Государство у консерваторов — это что-то грандиозное и явно нечеловеческое. Но даже основоположник либерализма Т. Гоббс прибегал для его определения к библейским образам

Левиафана и Бегемота. Определение государства как организма у Йоики достигает апогея. В основе либеральных концепций государства лежит метафора механизма. При этом считается, что высокодифференцированное общество соединяет людей более прочно, чем органическая целостность или моральная общность.

Время возникновения больших государств консерваторы отсчитывают с Вавилона и Египта. Именно там сложились первые сверхлические организмы, подчиняющие душу и тело индивидов уже не традициям, обычаям и групповым ритуалам, а законам, религиям, нормам государства. Конечно, и в животном царстве существуют довольно крупные организованные коллективы, в которых отдельные особи выполняют четко определенные обязанности, но там специализация закреплена генетически и не требует научения и воспитания. Человек может выполнять различные функции и тем не менее не утрачивает осознания собственного Я. Например, Гомер весьма ярко описывал конфликт интересов личности и полиса, и его тексты опровергают романтические мечты об идеальном государстве.

На европейской почве первой попыткой создания империи была, вероятно, эпопея Александра Македонского, который предпринял поход на Восток с целью объединения враждующих народов под эгидой Греции. Неудачу миссии Александра связывают с усталостью его воинов, а также с неспособностью удержать в повиновении завоеванные народы. Рим столкнулся с такой же проблемой, и Адриан уже не расширял, а сохранял при помощи валов и стен свои провинции от набегов варваров.

Христианство, институализированное в Риме как государственная религия, не подорвало, как полагают некоторые, а укрепило имперское дело в форме создания своеобразного «сетевого» сообщества, охватившего значительную часть поверхности Земли. Образ Христа развеялся на военных штандартах императора Константина, а кресты украшали щиты его воинов. И в Средние века задача крестить и цивилизовать народы была главной для христианских королей. Так возникли две империи, неосмотрительно боровшиеся между собой, в то время как нужно было преодолеть схизму и совместно противостоять мусульманскому миру. В результате обе империи распались, и образовалось множество мелких государств, ведущих междоусобную борьбу между собой. В процессе их конкуренции сложились крупные государства, которые тоже вышли на имперский простор и предприняли очередную попытку глобализации, которую называют империализмом и колониализмом. Испания, Португалия, Анг-

лия, Франция, Германия, Америка, Россия, Европейский союз выступали на арене истории в качестве главных игроков, и эта борьба еще не закончилась.

История человечества может быть рассмотрена под углом поисков способов объединения все растущего количества людей. Где же сегодня можно узреть общественное пространство? Парадокс в том, что все говорят о прогрессе, а социальное пространство деградирует. Люди уже не ищут единства ни с космосом, ни с обществом, не ориентируются на идею народа, государства или класса. На поверхности жизнь кипит, люди едут в транспорте, тесно прижатые друг к другу; не только супермаркеты, но и музеи, выставочные залы, увеселительные заведения полны людей. Однако это не та публика, что была раньше. Перед нами толпа, где каждый одиноко бродит с собственной целью, не обращая внимания на других. Отсюда проблемы современных политиков, которые пытаются создать коллективы из предателей коллектива.

Что такое государство и общество, как оно формируется и поддерживается — это непростые вопросы. Либералы и консерваторы дают на него противоположные ответы. Гоббс считал общество результатом некоего договора, согласно которому индивиды соглашаются не посягать на жизнь и собственность друг друга. Государство стоит на страже соблюдения этого договора. Хотя такое определение кажется вполне разумным, однако на самом деле никто не подписывал подобного договора. Каждый из нас сначала родился, потом воспитывался и получал образование. После этого приходится служить в армии, работать, заводить семью. Поскольку никто предупреждал об этом и не спрашивал нашего согласия при рождении, приходится принять свою судьбу. Аристотель считал, что люди являются не автономными индивидами, а общественными животными. Государство — не изобретение людей, а природная необходимость. Возможно, люди рождены жить вместе. Однако не стоит отождествлять государство, например, с муравейником, в котором функции его обитателей заранее запрограммированы. Дети не рождаются с государственным инстинктом, будучи несовершенными от природы, они формируются теми искусственными воспитательными технологиями, которые складываются у того или иного народа в процессе его развития.

В Античности единство греческого полиса достигалось на основе речей, произносимых на агоре — рыночной площади. В Риме к этому добавились зрелища, объединяющие большие

массы людей как зрителей кровавых боев гладиаторов. Христианство предложило миру новый союз членов божественной коммуны, организованной на опыте греха, любви и прощения. Эпоха Просвещения положила начало книжному единству. В эпоху Модерна искусство социального синтеза достигло наивысшего расцвета. Единодушие и энтузиазм стали продуктом специальной организации. Современные режиссеры консенсуса опираются на объединяющее и цементирующее воздействие покупок, развлечений, зрелищ и музыки.

Психоистория индустриального и постиндустриального общества развивается от пуританского отношения к труду до либеральной свободы ориентирования в форме кредита, шопинга, спорта, свободного предпринимательства. В то время как социальные дизайнеры строят общество развлечений, у интеллектуалов остается старое мировоззрение эпохи нужды. Считается, что нужно работать, а не развлекаться, что удовольствие — это не труд, а трата, допустимая как заслуженная награда. Однако субъект эпохи постмодерна отрекается от общепринятых форм жизни, он ориентируется не на родственные связи, а на индивидуальную биографию, и осциллирует не между добром и злом, а между шуткой и розыгрышем. Люди озабочены едой и любовью не как способами удовлетворения природных потребностей, а как формами собственной самореализации. На этом основании построена оптимистическая модель будущего: в процессе цивилизации человечество освободится от привязанности к «крови и почве» и объединится на основе общественного договора, а затем перейдет во всемирно-гражданское состояние. Эта вера имеет серьезную поддержку, которая сегодня реализуется как глобализация.

Предполагается, что жители мегаполисов независимо от цвета кожи в силу одинакового образа жизни становятся похожими. Но на деле мы видим, что столицы мира сегментируются по этнонациональным или религиозным признакам, и при этом жители одного «гетто» не желают иметь ничего общего с другими. Если подвести некоторые итоги, то можно сказать, что теоретики поспешно заявили о смерти богов, этносов, наций, государств, классов и т. п. Сегодня возникли серьезные сомнения относительно принципов мультикультурализма и толерантности и ведутся поиски более эффективных форм единства.

Основа политической теории — представления о человеческой природе. Одни — рационалисты и либералы — постулируют доброту, другие — эгоизм и зло. Йоки указал на противо-

речивость либеральной программы: если все люди добры, то и политика не нужна. Согласно либералам, общество — результат наших разумно регулируемых потребностей, государство же есть результат наших пороков. Но это идея, а не политика. Либерализм скорее критическая, чем позитивная программа. По мнению Йоки, «свобода» без ответственности ведет к дезинтеграции организма. В кризисные времена, подчиняясь органической необходимости, либерализм соединяется с нелиберальными группами. В результате образуются национал-либералы, социал-либералы, либеральные консерваторы и католики. Либералы присоединялись даже к анархистам и большевикам. Не менее причудливо выглядят либеральные партии в России. Настоящей политикой, по мнению Йоки, является анархизм, зародившийся в России как антизападный азиатский нигилизм.

Либерализм является продуктом Просвещения с его ставкой на разум и логику. Действительно, методы механико-математического естествознания переносились во все остальные сферы от религии и философии до истории и политики. Отсюда в социальной физике общество понимается как механизм. Его создание и функционирование предполагает учет количественных параметров. Отсюда главной процедурой становится калькуляция.

Либерализм — это рационализм в политике: государство определяется как продукт рационального общественного договора, посредством которого планировалось достижение мира и счастья для максимального числа людей. Но сами «счастье» и «человечность» понимались как усредненные, а не уникальные характеристики. Таким образом, на передний план вместо политики, требующей самопожертвования, выдвигается экономика. Кроме экономики либерализм акцентирует этическое учение о свободе. Общество понимается как свободное объединение людей на основе рационального выбора. Орудиями свободы становятся рассуждения. Поскольку люди изначально добры, нет необходимости ни в авторитетах, ни в традициях, ни в запретах. Война, насилие, политика — все отходит на второй план, споры и конфликты решаются в судах, моральные вопросы обсуждаются в публичных дискуссиях. Если раньше воинственные народы побеждали торговые, то теперь все наоборот. Искусство, философия, религия все одинаково автономны, замкнуты на самих себя. Но над всем стоит экономика и закон — патенты и авторские права подлежат защите. В XXI веке, пророчествовал Йоки, уже никто не поверит, что можно допустить обогащение одних за счет эксплуатации других, что богатство одних сопровождает

ется нищетой других, что индивид ставил себя выше государства, что благодаря масс-медиа можно управлять сознанием целых народов.

Либерализм исходил из допущения доброты. Консервативная доктрина политической антропологии исходит из дисгармоничности, двойственности, непредсказуемости и опасности человека. Это и есть собственно политическое мышление в отличие от размышления о политике. Включившись в политику, разум стал политическим фактором, начал битву за рациональность и моральность. Но, пожалуй, главный принцип либерализма — это верховенство права. Наоборот, консерваторы считали, что право не обладает абсолютной независимостью. Первоначально оно охраняло порядок, разрешало конфликты. При капитализме «верховенство закона» служит охране несправедливо нажитого богатства. Гоббс признавал, что право — это право сильного и обслуживает тех, кто его учредил.

Содержанием политики, по Йоки, является разоблачение лицемерия, аморальности, цинизма ростовщика, апеллирующего к верховенству закона, узаконивающего нищету миллионов. В отличие от монархов финансисты вообще не несут никакой ответственности за грабеж. Это апофеоз эгоизма, они не думают ни о славе, ни об истории, ни о государстве, зато подвержены коррупции, поскольку ценят только деньги. Не власть развращает людей, это делают деньги. Перехват управления экономикой и техникой в личные руки, образ «экономического человека», руководствующегося выгодой, — все это имеет отрицательные последствия для судьбы государства.

Общество как система и порядок

Т. Парсонс определял общественную систему как взаимосвязь институтов, интегрирующих традиции и роли, необходимые для существования социума. Очень эффективной для объяснения функционирования норм оказалась кибернетическая модель: институты выполняют функцию регуляторов, обеспечивающих самосохранение системы. Парсонс выделял внешние и внутренние условия самосохранения и считал особо важными ценностные параметры, которые пригодны для измерения степени реализуемости поставленных целей, приспособляемости к экстремальным условиям, стабилизации институциональных норм и образцов.

Что такое система, чем она отличается от среды, каковы факторы ее устойчивости? Исходной моделью является система с обратной связью, примером которой является термостат. По отношению к обществу тоже возникает технологическая проблема, суть которой в том, чтобы создать некий регулятор, предохраняющий его от разрушения. Н. Луман различал системы с положительной и отрицательной обратной связью.¹ Поскольку не внешняя среда, а внутренняя способность саморегулирования обеспечивает устойчивость, он важную роль отводил наблюдателю. Наблюдение и рефлексия из чисто внешнего созерцания, ориентированного на истину, становится частью и даже условием функционирования социальной системы. Но и теоретик — это на самом деле не посторонний наблюдатель, а участник социального взаимодействия. Именно он, находясь внутри системы, отличает ее от несистемы. Полученное им знание становится частью механизма саморегулирования системы.

Развитие общества — это не просто усложнение системы, оно предполагает отличие от того, что можно назвать «внешним миром». Система общества состоит из подсистем. С точки зрения частной системы, остальные выглядят как окружающий мир. Например, среди множества сел одно растет быстрее и берет на себя функции централизации. Так возникло новое различие города и деревни. Всякое изменение оказывается многократным изменением частной системы, представляет собой изменение внешнего мира и других частных систем. Отсюда для сохранения общества необходимы перегородки между системами, иначе изменения в одной из них могут взрывным путем или «эффектом домино» произвести изменения в остальных.

Луман существенно углубляет простой тезис об усилении дифференциации в процессе развития, ибо описывает трансформацию форм дифференциации. Они же являются и формами интеграции общества, которое воспроизводит свое единство через различие. Отсюда то, что с точки зрения целостности и единства кажется разинтегрированным, на самом деле оказывается сверхинтегрированным.

Если Луман, наоборот, утверждал, что современное общество достигло беспрецедентной стабильности своих функциональных систем, то Хабермас расценивал Модерн, как разинтегрированное общество, где люди уже не объединяются на основе идей. Вслед за М. Вебером он полагал, что в естествознании иссле-

¹ Луман. Н. Введение в системную теорию. М., 2007. С. 56.

дуются предметы, которые не нуждаются в понимании, ибо не имеют свободы, а социальные науки изучают поведение человека, который признает институциональные правила.¹ Социальная реальность формируется в интересубъективном опыте совместного бытия людей. Жизненный мир является пространственно-временным миром, воспринимаемым до и вне всякой науки. Он кажется несомненным, вызывает доверие, не требует никаких дополнительных обоснований, ибо подтверждает себя путем постоянного повторения одного и того же. Повседневный жизненный мир представляет собой окружающую среду коммуникации, в которой человек принимает участие с неизбежной и регулярной повторяемостью.²

Поскольку только один не может следовать правилу, постольку приходится допускать общую языковую игру, предполагающую интересубъективную значимость социальных, юридических и этических норм. Согласно К.-О. Апелю тот, кто задумал обоснование своих суждений, должен участвовать в дискуссии и аргументации.³ В противном случае он не сможет обсуждать вопрос об оправдании принципов. Поэтому проблема обоснования решается следующим образом: тот, кто хочет обосновать норму, уже предполагает ее. Принадлежность к коммуникативному сообществу является не гипотетическим, а категорическим императивом. Практическое применение разума предполагает логические и этические условия коммуникации. Логика и этика не поддаются критической проверке, они надежны в «трансцендентально практическом» смысле.⁴ Пределным основанием оказывается не «методический солипсизм», а интересубъективное единство интерпретации.

Социальное пространство представляет собой архитектурно, технически и символически обустроенную среду обитания. В ней действуют общепринятые нормы поведения, и в ответ на одни действия люди ожидают других. Общественное пространство отличается от геометрического наличием культурной символики. Существуют пространства: приватные (дом), публичные (суд, театр, университет), сакральные (храм), экономические (рынок), а также пространства развлечения и отдыха (кафе, город-

¹ См.: Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. 369 с.

² Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М., 1995. 323 с.

³ Апель К.-О. Трансформация философии. М., 2001. С. 242.

⁴ Там же. С. 312.

ские парки, центры отдыха, клубы). В каждом из перечисленных пространств существует своя «разметка», в соответствии с нею складываются социальные нормы и коды поведения. Благодаря этому каждый знает, каким образом окружающие будут реагировать на те или иные действия. В каком-то смысле это похоже на игру, например, в шахматы. Причем правила поведения во многих пространствах являются неписанными, но о них знают обитатели пространства. В других пространствах, соблюдение порядка в которых является особо значимым, вывешиваются инструкции. Благодаря этому общественная жизнь протекает более или менее нормально. Случаются аномалии и отклонения. Не все из них являются опасными. Некоторые подхватываются другими, становятся «модными», и таким образом происходит изменение общественного порядка.

Диалог индивида с социальным миром может приобретать самые разные формы: забота, жизнь, кооперация, борьба, господство и т. п. Если бы действия были спонтанными, неселективными и неартикулированными, они были бы подобны взрыву. Но даже революция или выкрик включают ритуал, технику, символ и правило. Не бывает просто революций: они подразделяются на буржуазные и пролетарские и т. п. Таким образом, существуют различные сценарии, организующие пространственные и временные взаимосвязи. Действия осуществляются не в пустоте, а в определенном классификационном поле и только благодаря этому могут быть поняты и истолкованы.

Проблема в том, что в разных культурах общественные пространства устроены по-разному. Когда люди переходят из одного пространства в другое, они должны ориентироваться. Всякий, даже самый благонамеренный, турист везет с собой «контрабанду», о существовании которой он не подозревает. Это — груз его установок и ожиданий, понятийный аппарат, а также сложные символические машины восприятия и понимания окружающей действительности. Если речь идет о научных понятиях, то они довольно быстро выявляются и контролируются. Гораздо сложнее обстоят дела с анализом разного рода ценностных предпочтений, социальных и моральных норм, а также правовых и экономических различий. Они обнаруживаются по мере накопления опыта сравнения «своего» и «чужого», а их оправдание требует достаточно трудоемкого изучения структур повседневной жизни той или иной посещаемой и изучаемой страны.

В противоположность герменевтике и теории коммуникации Йоки придерживался не вербальных, а силовых форм взаимного признания друг друга. В «Империи» он высказывался о коммунизме довольно враждебно. Советский Союз — враг Европы. Однако по мере того как там усиливалось влияние Америки, его отношение к коммунистическим странам изменилось. СССР действительно оказался причудливой смесью, казалось, несогласующихся проектов — старого имперского и нового коммунистического. Отсюда амбивалентность восприятия: Россия как большой брат — для одних и как главный враг — для других. Разумеется, эти образы во многом создавались пропагандой. Но если посмотреть на них с точки зрения обыденного восприятия, то вопрос о том, является Россия врагом или соседом, нужно решать исходя из истории и современности. Конечно, русские постоянно что-то завоевывали и осваивали. Мы не номады-кочевники, но какой-то странствующий народ. Как англичане — люди моря, благодаря освоению морей создавшие империю, охватывающую большую часть поверхности Земли, так и русские — люди поля, любят постоянно перемещаться по поверхности Земли. Территория и ландшафт определили характер империй. Расширение нашего государства основывается не только на захвате и покорении, но и на соседстве и защите. Большинство народов вошли в состав России добровольно, ибо, как правило, они подверглись агрессии с двух сторон и выбирали наименьшее из зол. Отсюда — отношения соседства. Именно на них была основана советская политика «дружбы народов». И тем не менее после цветных революций целый ряд бывших республик относится к нам крайне враждебно. Конечно, это тоже результат пропаганды новых властей, которые боятся реставрации, но тот факт, что она поддерживается частью населения, все же заставляет задуматься о том, как реально складывались наши отношения. Естественно, малые народы, особенно национальная интеллигенция, испытывали тревогу, вызванную стиранием национальных различий, исчезновением самобытных культур. Интернационализм и космополитизм уступает место национализму и, хуже того, нацизму в кризисных состояниях общества.

Книга Йоки актуальна именно потому, что мы теперь переживаем то, что когда-то пережили англичане, утратившие свои колонии, или немцы после крушения Третьего рейха. И все же отношение бывших английских и французских колоний к метро-

полиям несколько иное, чем бывших республик СССР к России. Западные представители постимперских исследований объясняют это цивилизационными различиями. Конечно, индусы жили более бедно, чем англичане, но ведь и те мало заботились о положении народа, модернизировалась в основном элита. Наоборот, в советское время российские специалисты проделали огромную цивилизационную работу и существенно улучшили уровень жизни малых народов. Отсюда различие восприятия нашей общей истории новой элитой и народом. Возвращение к старому порядку означало бы для людей, улучшивших благодаря новым покровителям свое благосостояние, утрату всего. Этот истерический страх и является источником разжигания вражды. Да он же горит и внутри России, элита которой также нажилась на захвате и распродаже «общенародной собственности». Чтобы избавиться от этого неприятного во всех отношениях факта и очерняется образ коммунизма.

Можно ли сказать, что проект Маркса сегодня окончательно похоронен. С одной стороны, национализм, с другой — капиталистическая глобализация — такова сегодняшняя альтернатива, одну из сторон которой может выбирать политика. Тогда что такое абсолютная политика, если то, из чего она выбирает, складывается независимо от политического действия?

Если Бодрийяр объявлял о «смерти марксизма» и конце политики, то Бадью, наоборот, утверждал, что именно сегодня наступает время реализации идей Маркса, которые оказались забытыми партийной бюрократией. Размышляя по этому поводу, можно отметить, что это произошло не от хорошей жизни. СССР стал промышленно развитой страной, втянулся в соревнование с Америкой и, как следствие, в гонку вооружений. Возможно, именно это, как считают либералы, обескровило Россию. Но размышляя с точки зрения сегодняшней расстановки сил, нельзя не заметить, что благодаря паритету, мы довольно мирно проживали, хоть и под железным занавесом. Так что с геополитической точки зрения, Йоки прав: государство — это граница. И поспешное их открытие, даже такое вроде бы позитивное, как разрушение Берлинской стены, чревато опасными последствиями в кризисных ситуациях.

Йоки признавал интернационал как культурную идею, которая сверхнациональна, а нации органичны, и отвергал революционный интернационал, предполагающий единство рабочего класса. Столь же скептически он расценивал демократические формы космополитизма. Обе Лиги Наций были не интернациональными, а межгосударственными организациями, так как в них

представлены не население, а государства. Если иметь в виду под государствами такие, которые подчиняются законам суверенитета и тотальности, то в первой Лиге было пять, а во второй всего два полноценных государства. Лига Наций создавалась для упразднения войн, либералы не понимали органической природы единства и ограничились передачей суверенитета государствам Лиге. Они исходили из понятия человечества, а не государства. Но «человечество», с одной стороны, исключает врагов (они тоже люди), а с другой — допускает террор против тех, кто не соблюдает прав человека и объявляет их врагами. Йоки выдвигает обвинение, что такое «демократическое» единство достигалось с помощью войны, то есть говорит о противоречивости самой программы. Действительно, это подтверждают американские интервенции против антидемократических режимов, в которых принимали участие европейские государства: война в Югославии, Иране, Ираке, Сирии. С органической точки зрения мир не может состоять из одного государства, ибо оно продукт противостояния. Государство без границ, без врагов и мятежников — это рассуждения, а не политика.

В коммунистических интернационалах, наоборот, были представлены не государства, а партии. В XIX столетии были серьезные основания считать классовую борьбу мотором истории. Раскрывая отчуждение, доказывая, что человек не рожден быть рабочим или капиталистом, Маркс видел в пролетариях людей, которым нечего терять и поэтому способных осуществить коммунистическую революцию, цель которой состояла в освобождении человека от господства товаров. Говорят, Ротшильд вздыхал по утрам: «Эти проклятые деньги!»

С середины XX века в развитых странах люди продавали себя как рабочую силу по цене, обеспечивающей безбедное существование. Отсюда снижение классовой борьбы в обществах благоденствия. Капиталисты извлекали прибавочную стоимость, в основном эксплуатируя население и ресурсы стран третьего мира, и таким образом способствовали постепенному росту международных конфликтов. Но сегодня, когда классовая борьба уступила место терроризму, забастовки кажутся более приемлемыми. Кто органичнее, классы или сословия, — покажет время. Но, кажется, время сословий прошло, а в России не получается сформировать как идейную общность даже средний класс.

«Закат Европы» был написан в годы Первой мировой войны, и в предисловии высказывалась надежда, что книга будет способствовать возрождению Германии. Тогда явно преувеличи-

валось мировое значение Англии и Франции, сегодня, несмотря на образование Евросоюза, руководителем мировой политики являются США. Шпенглер замечал усиление Америки и России, а для Германии считал достаточным быть лидером Европы. Шпенглер и Йоки, конечно, допускали выход на мировую арену развивающихся стран, но не предполагали, что это произойдёт быстро и окажется крайне опасным для Европы. В одной из лучших глав «Заката Европы», посвященной арабской культуре, не предполагается арабской весны и тем более возрождения исламского государства по образцу халифата. По мнению Шпенглера, Китай, Индия, арабский Восток — это спящие страны, отдыхающие от большой политики.

Капитализм стал таким интернационалом, который зародился в Англии, но выражал дух времени. Ему препятствует политический национализм. Йоки считал, что во всемирной борьбе на успех может рассчитывать только такая политическая единица, которая охватывает Европу и европейскую часть России. Только органический интернационал способен объединить государства, принадлежащие к единой культуре. Западный интернационал не может повлиять на Китай, Индию, ислам или Россию. Их реакция на него будет негативной. Если бы такой интернационал образовался, они стали бы объединяться на антизападной основе. Пока западной цивилизации не удалось превратить землю в арену своей деятельности и тем самым определить развитие остальных культур. Раздел Европы между США и СССР произошел в результате того, что европейские государства были отключены от политики. Образовался политический вакуум, который и заполнили другие страны, ставшие сверхдержавами. Йоки пророчествовал, Европа должна объединиться в борьбе с варварами и стать мировой державой.

Культурный витализм

Нельзя забывать о названии книги, оно не случайно. Империя — тренд Европы. Идеалом консерваторов был Наполеон, который мечтал ее объединить, но его не понимали. Наоборот, по Делёзу, экстерриториальность или детерриториализация начинается с Наполеона, когда разные популяции собираются под своды неограниченного империализма. Сегодня, когда Европейский союз стал фактом и сразу столкнулся с серьезными проблемами, эти размышления оказываются весьма своевременными.

Является Европа культурным организмом или же искусственным политическим продуктом, имеющим ограниченный срок хранения? Во всяком случае, важно определить, по каким критериям объединяться и разделяться. По Йоки, принципиальное значение имеет размежевание с чуждыми, даже враждебными культурными организмами. К таковым относится, прежде всего Советская Россия, которая при коммунистах стала азиатской.

В определении политического Йоки следует К. Шмитту. Политика опирается на различие друга и врага. Оно является принципиальным. Тот, кто руководствуется экономическими, религиозными интересами, гуманными соображениями или личными симпатиями, в конце концов ослабляет силу государства. Именно ее рост должен заботить руководителя. Политикой Йоки считал только такую деятельность, которая имеет отношение к сохранению и усилению государства.

Природа государства подразумевает мир внутри и борьбу снаружи. Сфера политики — власть, поэтому она не сводится к экономике, морали или эстетике. Враг может быть добрым или злым, красивым или уродливым — все это, так сказать, психология. Он тот, с кем возникают экзистенциальные конфликты. Политическое размежевание не ценностное, а бытийственное. Сами политики могут говорить о моральных и иных причинах враждебности, но это либо обман, либо ошибка. Друг и враг — это конкретные фигуры, они складываются не в результате антипатии и даже ненависти. Эти чувства вторичные, образы врага, формирующиеся на их основе, реактивны. Они свидетельствуют скорее о слабости внутренней структуры социума. Сверхличные организмы не испытывают ни любви, ни ненависти. Либеральные политики отождествляют врага с экономическими конкурентами и идейными противниками. Это неправильно. Йоки различал врагов общества и личных врагов. Греки называли войны со своими «агонами». Так можно называть и европейские войны, которые велись по правилам и не завершались тотальным уничтожением или закабалением населения побежденной страны. Другое дело — цивилизационно чужие, их брали в плен или уничтожали.

Проблема Другого

Решение проблемы взаимодействия культур сегодня ищется в двух альтернативных направлениях: во-первых, как продолжение попыток открытия общих оснований различных культур;

во-вторых, как стратегия мультикультурализма, признающая автономность и суверенность другого. Поскольку чужое несводимо к своему не только по эпистемологическим, но и по моральным соображениям, постольку среди основных прав человека следует признать главное право быть другим.

Первую программу отстаивает Ю. Хабермас, и на этом пути ему приходится учитывать несостоятельность модернистской универсализации разума, морали, религии и даже демократии. Другую — защищают его французские оппоненты и американские либералы-постмодернисты. Однако и они сталкиваются с тяжелыми проблемами, которые обнаруживаются в форме конфликтов, возникающих в результате миграции. Суть делиберативной политики, предлагаемой Хабермасом, состоит в том, чтобы образовать общество не только на пути этического согласия, но и за счет уравнивания интересов и справедливого сопряжения результатов. Она, таким образом, устанавливает внутреннюю связь между дискурсами этического самопонимания и юридической справедливости. Теория дискурса переносит центр тяжести на коммуникацию свободной общественности, в ходе которой достигается консенсус.

Опираясь на технику деконструкции, Ж. Деррида в докладах на тему культурной идентичности тщательно отслеживал остатки воинственного европоцентристского дискурса. Его аргументы были направлены против универсалистских притязаний теории коммуникативного действия Хабермаса и против герменевтики Гадамера, постулировавшего «добрую волю к пониманию». При изучении дискурсов о способах идентификации обнаруживается один и тот же повторяющийся прием. Его суть состоит в определении своего на фоне или на границе чужого. Чужой изображается как нечто онтологически внешнее и враждебное, от него идет угроза, и поэтому необходимо объединиться, консолидироваться в качестве «наших», забыть о внутренних проблемах. Этот старый, уходящий вглубь веков способ укрепления национальной или иной, например культурной, идентичности нуждается в особом изучении.

В западной этноантропологии изменение образа Другого стало предметом исследования. Европа, изначально осознававшая себя как носителя культуры, цивилизации, христианства, была вынуждена защищаться и нападать, осваивать и колонизировать. Для нее Другой — это варвар, не христианин — язычник, православный, мусульманин и т. п. От такого самоопределения страдала сама Европа, и мировые войны были самой высокой ценой,

которую она заплатила за гегемонистские притязания. Повторения этого следует избегать и нам, и европейцам.

Страх чужого во многом подогревается моралью. Чужие — это плохие, чуть ли не враги. Ненависть к ним во многом питается ресентиментом, возникающим в постстрессовой ситуации поражения. У нас оно вызвано распадом Советского Союза, в Европе — кризисом финансового капитализма, восстанием стран третьего мира против эксплуатации со стороны Запада. Так что моральные чувства в отношении чужих являются не совсем чистыми.

Мораль необходима, но если она претендует судить все и вся, то кто будет судить саму мораль, какая мораль является хорошей, а какая нет? Естественно, правильной кажется своя мораль. Но так невозможно договориться. Стало быть, для преодоления конфликта приходится занять внеморальную позицию. Между тем мораль царит повсюду, ею руководствуются журналисты, создающие разного рода страшилки, политики, разделяющие людей на друзей и врагов. Как известно, ею оправдываются не только революционеры, но также преступники и террористы. Получается, как говорил Лев Толстой, нет в мире виноватых. В итоге абсолютизация морали приводит либо к осуждению, либо к всепрощению.

История, как заметил Гегель, не является ареной счастья, точно так же наивна вера в государство с человеческим лицом. Именно эта детская вера и лежит в основе наших оценок современности. Однако нужно признать, что окружающая нас социальная среда не похожа на материнский инкубатор, а является сложным продуктом различных технологий. Их следует не только осуждать, но и пытаться жить с ними в согласии. Так же, как человек приспосабливается к природе, он должен приспособиться к искусственной социальной реальности, к государству, которое является если не человеческим, то сверхчеловеческим.

Статус чужого: ксенофобия и ксенофилия

Сегодня в нашем мультикультурном мире мы стоим перед радикальным вопросом уже не о другом, а о чужом. Хуже того, под воздействием террористических актов реанимируется образ врага. Расширение национально-этнических конфликтов толкает уже почти в пожарном порядке к какому-то более эффективному решению проблемы чужого, нежели принцип толерантности.

Оно ищется в двух альтернативных направлениях: во-первых, как продолжение попыток открытия общих оснований различных культур. Во-вторых, как стратегия мультикультурализма: не только по эпистемологическим, но и по моральным соображениям среди основных прав человека следует признать главное право — быть Другим. Сомнения в принципе мультикультурализма вызваны протестами местного населения, права и обычая которого не признаются приезжими. Если раньше мегаполисы выполняли роль «плавильного тигля», то сегодня приезжие создают свои анклавные и постепенно вытесняют местное население.

С точки зрения либеральной политологии, рождение современных наций протекало под знаком вражды против того, что сословные нации называли «отечеством», и против партикуляризма материнского языка, который по мере угасания чувства родства стал квалифицироваться как чужой. Примером прощания с символами отечества и материнского языка является рождение американской нации. Английское, французское и иное происхождение вытеснялось и забывалось. На место «народа», хотя это слово осталось в Конституции, был поставлен суверенитет нации. Однако новое национальное единство, как известно, сопровождалось элиминацией «чужих языков», оргией насилия и кровопролитной гражданской войной. В силу выполнения защитной функции национальное государство развивает не только подозрительность, но и реальные средства слежки, надзора за чужими. Как пример можно привести эволюцию таможни, разведки, политической полиции.

Считается, что нация — это политическое, а не этническое образование. Вместе с тем представители той или иной нации самоопределяются на основе языка, культуры, территории, труда и даже некоего родства, или «братства», как было написано на знаменах французской революции, К сожалению, мы живем в таком мире, где не действует завет: возлюби ближнего своего. Мир стал слишком тесным, и в нем господствует непризнание, виртуально он заражен расизмом сильнее, чем раньше. Для обеспечения мира еще И. Кант выдвинул концепцию Союза свободных наций, основанного на принципах равноправия. Спустя 200 лет после кантовского трактата о вечном мире появились такие надгосударственные организации, как Международный суд, Комиссия по правам человека и т. д. Сегодня возникли новые формы пацификации, порожденные глобализацией. Транснациональные компании, банки, издательства, информационные концерны существенно ограничивают амбиции правительств

тех или иных национальных государств, разрушают их классическую державную политику. Мировая общественность также институализировалась в форме разного рода негосударственных организаций вроде Гринпис или Международной амнистии. Благодаря интеграции в международные структуры снимаются негативные последствия автономизации, а национальное государство переходит в новую фазу развития, характеризующуюся открытостью границ, заинтересованностью в сотрудничестве и обмене (экономическом, культурном, информационном) с другими странами и народами. «Союз народов», как о нем мечтал Кант, и современное «мировое сообщество» — конечно, разные вещи. Миротворческие интервенции НАТО вызывают подозрение, что универсалистский проект, на словах стирающий границу между своими и чужими, оказывается формой морального ханжества. Более того, он продолжает стратегию «маленькой победоносной войны», которая считалась политиками вроде К. Шмитта хорошим средством для поддержания боеспособности населения «первого мира».

Проекты будущего Фукуямы и Хантингтона — это американские мифы. Скорее всего они не реализуются, и мир не будет таким, как Америка. Люди привязаны к своей культуре. А модернизация не тождественна вестернизации. Историческое развитие не измеряется исключительно экономическими показателями. Было бы опрометчиво утверждать, что возвращается ужасное прошлое с его насилием и войнами. Прогноз о грядущей войне цивилизаций кажется сильным преувеличением. Сравнение современных конфликтов с прошлыми, а главное, способов их разрешения, позволяет сделать вывод о том, что они вовсе не определяются человеческой природой. Совершенно недостаточно сказать, что человек зол или добр по природе, что есть полноценные и неполноценные расы. На самом деле как учение о расах, так и теория цивилизаций являются во многом идеологическими мифами. Различия людей задаются не столько природными или этническими, сколько коммуникативными факторами.

На многообразии мира обращал внимание еще Б. Малиновский. Нет культур худших и лучших, все они равноценны. Другие культуры являются зеркалами, благодаря которым они могут увидеть себя. Сегодня человек оказывается под давлением десятков культур. Конфронтация, водоворот культур сделали мир глобальной деревней. Но не надо преувеличивать близость общения. Каждый живет в своем сообществе и не интересуется другими, и это касается не только интернет-сообществ.

Требование всеобщих прав человека означает равенство перед законом всех граждан государства. Но фактически право чужого сводится к возможности предоставления убежища. В отличие от старого закона гостеприимства, согласно которому путника принимали безотносительно к тому, из каких земель он пришел, чужой — это гражданин другого государства, иностранец, права которого представляют смесь права и несправедливости. Конечно, можно говорить о некотором прогрессе прав чужого, который пользуется равенством перед законом той страны, где он пребывает. Иностранец расценивается как чужой, если не знает и не признает языка и культуры страны пребывания. Одновременно чужой — это тот, кого никто не знает. Чужой — это ничей гость, который всегда под подозрением и в этом смысле является источником фантазмов. Начиная с XVI века подозрительность государства к иностранцам превратила гостя в чужого. Речь идет о постепенной идентификации пришлых с целью обеспечения безопасности. Появляется множество циркуляров и рекомендаций, какие меры безопасности следует применять по отношению к странствующим незнакомцам.

Чужой становится темой многочисленных эмпирических исследований. Особенно большая работа проделана социологами и специалистами по межкультурным коммуникациям. Полученные результаты требуют серьезного анализа, их нельзя непосредственно переводить в какие-то постановления, или санкции. Дело в том, что они осуществляются на основе некоторых установок, которые кажутся естественными и очевидными. Однако как политика, так и законы, определяющие право чужого, существенно отличаются в разных культурах. Это определяется различием некоторых естественно-историческим путем сложившихся предпосылок и установок, которые принимаются членами группы или общества в целом как самоочевидные.

Соседство — такая форма совместного бытия, которая имеет давнюю традицию. К сожалению, мир становится теснее, а мы живем по английской пословице: хороший сосед — это хороший забор. Поэтому необходимо реанимировать искусство мирного соседства и использовать техники его поддержки. Новые формы жизни раскрывают новые аспекты чужого. Поэтому необходимо исследование истории страхов. Чего люди боялись раньше и чего мы боимся сегодня. Насколько эти страхи реальны, насколько они являются фантазмами и что они в таком случае замещают или вытесняют? Может быть, главный страх — война всех против всех, убийство, перманентное мщение, ненависть, жажда реванша?

После того как с политической арены ушло движение 60-х за мир на Земле, и особенно после падения «железного занавеса» началась эра разговоров о толерантности. На передний план вышла проблема Другого. Все говорили о диалоге как форме признания. Герменевтика и теория коммуникации стали духовными лидерами современности. Параллельно левая критика, утратившая свой объект — тоталитарное государство, — начала поиски малых форм насилия и выявила многочисленные его проявления в семье, школе, на работе. На этом фоне оформилось движение защиты прав человека. Университетские марксистки организовали феминистские движения и объявили войну мужскому господству. Движения за права заключенных, борьба против использования психиатрии в политических целях открыли для критики зоны насилия, которые прежде считались естественно необходимыми.

В ходе развития общества благоденствия люди становятся более чувствительными к различным формам принуждения. Общество освобождается от репрессивности, терпимее относится к различным аномалиям и формам инаковости. При этом оно становится похоже на гигантский профилакторий, внутри которого царит толерантность, а снаружи безумствуют опасные чужие. Но перегородки оказались одновременно непреодолимыми и слишком хрупкими. Те, кто оказался внутри общества благоденствия, не могли помочь своим отсталым соседям, а те в свою очередь, видя, как надо жить, не смогли построить постиндустриальное общество всеобщего благоденствия. Поэтому тактика терроризма оказалась самой эффективной в борьбе с развитыми странами.

Под разговоры о гуманизме, мультикультурализме и толерантности на самом деле происходит рост национализма, ксенофобии, насилия, терроризма. От этого другая крайность — тезис о войне цивилизаций. Страх чужого проснулся снова. Чужие уже рядом, более того, это уже не просто мигранты, а террористы. Это уже враги. Образ врага годится для кратковременного восстановления единства. Разумеется, когда возникают чрезвычайные ситуации, выходить из них приходится в «ручном режиме», и тогда все зависит от мудрости политиков, эффективности действий правоохранительных органов и военных. Однако долгосрочная политика предполагает профилактику проявлений ксенофобии и должна опираться на эффективные социальные технологии.

Философское исследование проблемы чужого предполагает концептуальный анализ, изучение разнообразных теоретических

дискурсов, выявление их возможностей и границ. В результате рефлексии и критики различных программ (прежде всего либеральных и консервативных) можно сформулировать более или менее общую концепцию, интегрирующую различные подходы. Методы социальной и культурной антропологии, сложившиеся при изучении традиционных обществ, должны быть дополнены с учетом особенностей коллективной и индивидуальной психологии наших современников. Опираясь на многочисленные исторические, социологические, и психологические исследования, можно выявить механизмы возникновения стрессовых и постстрессовых состояний сознания людей, оказавшихся в зоне конфликта. Как правило, именно в таких ситуациях формируется образ чужого, который воспринимается как враг.

Нет ничего кажущегося более естественным, чем различие своего и чужого, друга и врага. Мораль рекомендует нам любить чужого. Но когда различие стирается, возникает ситуация неопределенности и наблюдается рост насилия. Поэтому в чрезвычайных ситуациях снова приходится реанимировать образ врага. Так, после распада Советского Союза начались конфликты между бывшими республиками, сегодняшние Россия и Европа перестали понимать друг друга. Люди, группы, общества, оказавшиеся в ситуации поражения, должны как-то жить. Обычно в этой постстрессовой фазе процветают чувство мести и жажда реванша. Таким образом, круг насилия только расширяется. Поэтому необходимо понять, как в истории общества преодолевались подобные настроения, как общество возвращалось в нормальное состояние. Философско-антропологическое осмысление данной проблемы соединяет анализ и критику идей, настроений и телесных практик. Помимо теоретических построений необходимо, как это делал Шпенглер, исследование литературных произведений, в которых запечатлевается тот или иной образ чужого. Например, весьма перспективным представляется сравнительный анализ российской и европейской имперской литературы. Он позволяет выявить важную роль искусства и тем самым обогатить наши представления о том, какими технологиями формируются чувства и настроения людей. Особенно важной представляется аналитика символических и телесных практик. Это позволит создавать более эффективные технологии воспитания людей.

В политической философии конкурируют консервативная и делиберативная модели чужого. Г.-Г. Гадамер предложил герменевтическую модель взаимопонимания, в которой разные индивиды вступают в диалог и таким образом достигают единства.

Правда, критики отметили невозможность такой коммуникации между нормальными и ненормальными, а также между людьми, разделенными идеологическими барьерами. В работе «Включенность другого» Хабермас попытался снять враждебность, используя возможности своей теории коммуникативного действия.¹ Наоборот, Р. Жирар в своих работах о насилии использовал результаты этнографических исследований первобытных обществ и реабилитировал образ чужого, которого он изобразил как жертву. Образ чужого имеет двойное назначение. Во-первых, он аккумулирует страх, вызванный вторжением внешнего врага или появлением диссидентов, инакомыслящих в рамках своей общины. Это ведет к разрушению единства общины, которая может существовать веками и даже тысячелетиями, если люди хранят верность традиционным обычаям. Во-вторых, образ чужого необходим для подготовки искупительной жертвы, которую приносят с целью прервать замкнутый круг насилия.² Таким образом, чужой — это источник страха и одновременно лекарство от него.

Образ врага

По мнению антропологов, образ врага — это ответ на внутренние проблемы общества. Чувство «Мы» формируется на почве общей истории, места обитания, культуры, языка. Но для идентификации своих необходимы чужие. Согласно Йоки, в настоящей политике для формирования образа врага используются цивилизационные, религиозные и иные различия. Кроме противоположности друзей и врагов различают инородцев, иноверцев и, наконец, варваров. Если враг — некое премордиальное или «натуральное» образование, тогда он вечен. Если же враг ситуативен, то есть посягнул на то, что сейчас является моим, то это другая сила, которая препятствует расширению моего господства. Но тогда не бывает вечных врагов, в новых условиях возможно объединение с прежним противником. Неудивительно, что, с одной стороны, Йоки настаивал на том, что евреи и славяне — вечные враги западной цивилизации, а с другой стороны, признавал политические альянсы. Например, сегодня очевидно, что у Европы есть другой, более опасный соперник, а между тем

¹ Хабермас Ю. Вовлеченность другого: Очерки политической теории. СПб., 2001. 419 с.

² Жирар Р. Насилие и священное. М., 2010. 448 с.

недоверие к России, питаемое старыми страшилками, мешает принимать верные политические решения.

Но даже если враг вечен, с ним нужно как-то жить. Йоки допускал сохранение враждебного народа, если он сдается, отказывается от суверенитета или по крайней мере объявляет нейтралитет. Но это довольно жесткие формы господства. Сегодня достаточно превратить население другой страны в дешевую рабочую силу, использовать ее природные ресурсы для своих нужд, навязать свою культуру и образ жизни. Последний оплот идентичности — религия, но в силу ее терпимости религиозные различия не являются основанием враждебности.

Йоки, по сути, делит мир пополам, то есть опирается на понятие двух сверхдержав. Если Хайдеггер полагал, что Европа не должна включаться в гонку вооружений и должна сохранить нейтралитет, то для Йоки нейтралитет равнозначен поражению. Конструировать и интенсифицировать образ внешнего врага приходится из-за внутренних проблем, и это тоже означает, что накал враждебности может снизиться, если внутри все нормально. Йоки же прямолинейно заявлял: группа становится политической в том случае, когда настраивает людей друг против друга как врагов. Получается, что политическое мышление характеризуется как выбор «или—или». Но это и удручает. Политика оказывается не творческой, она зависит от обстоятельств, а не создает их, она слепо следует необходимости. Конечно, моделировать правителя по образцу художника и пытаться построить государство как произведение искусства — это тоже преувеличение, скорее, мечта, чем реальность, но фатализм ничуть не лучше. Если политика — это судьба, как сказал Наполеон, то не остается ничего иного, как оправдывать любую политику.

Внутренняя политика государства должна быть направлена на предотвращение появления враждебных группировок. Йоки руководствовался традиционными представлениями — организмы либо живут здоровыми, либо болеют и умирают. Отсюда попытка примирения — вторичная политика, первичная политика бескомпромиссна. На самом деле абсолютно здоровых людей не бывает. Мы только родились — и уже начали умирать. Но если бы мы не умирали, было бы еще хуже, и не только потому, что вечное возвращение одного и того же невыносимо. Сегодня критерием смерти является остановка мозга, и поэтому возникает проблема эвтаназии. Смерть по-своему гуманна еще и потому, что, умирая, мы оставляем место молодым. Глядя на своих детей и внуков, мы верим, что наш род продолжается.

Ненависть и насилие

Ничто, пожалуй, так не противно, как проявления насилия. И это особенно сильно ощущается сегодня, когда вопреки ожиданиям гуманизма, подкрепляемым верой в процесс цивилизации, мы, наоборот, сталкиваемся чуть ли не во всех сферах частной и общественной жизни с самыми грубыми формами агрессии и экстремизма. Поневоле приходишь к мысли о какой-то испорченности человека, о неискоренимости зла. Эти манихейские настроения подкрепляются фактами, которыми каждодневно и даже ежечасно наполнены ленты новостей. И нельзя сказать, что это роллинг, нацеленный на то, чтобы запугать людей. В ответ на возмущение народа различными неурядицами и злоупотреблениями власти показывают еще более страшные события. Это старый испытанный прием. Как раньше униженные и оскорбленные приходили в храм, где, сопереживая страданиям Христа, они примирались со своими несчастьями и прощали обидчиков, так и сегодня, глядя на ленты новостей, мы думаем, что все могло быть гораздо хуже, чем есть.

Есть какая-то сатанинская диалектика добра и зла, одно проявляется на фоне другого. Отсюда последствия реализации либеральных идеалов оказываются амбивалентными. В процессе цивилизации действительно люди становятся более тонкими и чувствительными и поэтому более ранимыми. Европейцы, посетившие Россию в XVIII веке, дружно констатировали грубость нравов, которую сами русские, даже наиболее просвещенные, не замечали. Просвещенный барин не гнушался рукоприкладством в отношении слуг. Но теперь мы не используем телесных наказаний и расцениваем их как насилие над личностью. В результате складывается какая-то неопределенность.

1. С одной стороны, насилие считается недопустимым, а с другой — в каких-то случаях неизбежным и даже необходимым. Например, если речь идет о достижении хороших результатов, то можно прибегать к жестким мерам. Это может быть и наказание.

2. С одной стороны, считается, что насилие применяется в чрезвычайных обстоятельствах, а в нормальной мирной жизни царит толерантность. С другой — мы видим, что в обществе всеобщего благоденствия случаются такие эксцессы, каких не было даже у самых диких племен.

Если в традиционных обществах практиковалось насилие, то у нас царит ненависть. Поневоле приходится признать английскую версию оправдания зла, согласно которой пороки способ-

ствуют прогрессу. Не отрицая агрессии, возможно, присущей человеческой природе, тем не менее необходимо продумать меру допустимого насилия, а также понять, как эгоизм, конкуренция, вражда и ненависть могут способствовать процветанию общества. Англичанин Мандевиль в «Басне о пчелах» попытался это сделать. Немец Кант назвал использование пороков для достижения вечного мира «необъяснимой хитростью природы».

М. Шелер считал любовь и ненависть однопорядковыми чувствами, легко переходящими друг в друга. Действительно, такое встречается. На добро люди нередко отвечают злом. Психологи называют такое отрицание двойным зажимом. В ответ на наставления старших молодые поступают наоборот. Поэтому возникает вопрос о том, с какими формами насилия мы сталкиваемся сегодня, как мы ощущаем давление социального порядка, какие нормы общественного и частного поведения вызывают у нас скрытый протест. Причем дело обстоит так, что мы не можем прямо и открыто высказать возражения, ибо эти нормы кажутся естественными, и тем не менее они отторгаются на каком-то глубинном подсознательном уровне или кажутся подавляющими свободу, не соответствующими идеалам справедливости. Мы приспосабливаемся, но при этом накапливается раздражение, переходящее в ненависть, из-за чего мирный гражданин хватается в руки оружие и начинает расстреливать окружающих.

Таким образом, если в чрезвычайных обстоятельствах приходится прибегать к грубым мерам прекращения мести и насилия, то в условиях мирного существования постепенно накапливается энергия ненависти. Получается, что люди обречены жить в состоянии конфликта, и остается решать, что лучше выбрать — насилие или ненависть. Однако такая постановка вопроса заранее обрекает на неблагоприятный ответ, и поэтому следует всячески избегать подобного рода дилемм. Нельзя загонять себя в угол. Но если обстоятельства все же складываются так, что мы поставлены перед выбором двух зол, то, разумеется, нужно выбирать наименьшее.

Попробуем разобраться, что хуже, прямое насилие или терпение, страдание и, как следствие, ресентимент? Поскольку обе эти формы встречаются в нашем мире и как бы разогревают друг друга, то это вовсе не умозрительный вопрос. Сравнивая потери во внутренних и международных конфликтах, которые решаются с помощью полиции или армии, кажется, что хуже всего война, в то время как ненависть дремлет подспудно и иногда прорыва-

ется в форме эксцессов. Но если обратиться к теоретикам войны, то некоторые из них считают, что если ее вести по правилам, то потери будут минимальными.

Как считают антропологи и этнографы, физическое насилие — это, во-первых, форма разрядки напряжения, во-вторых, способ очищения от коллективной ненависти. Наши предки в таких случаях прибегали к ритуалам жертвоприношения. Это кажется немыслимой жестокостью, и тем не менее жертва как губка впитывает и уносит с собой коллективный страх. Такая трактовка насилия страдает романтизмом. На самом деле можно точно так же утверждать, что наши предки не только не боялись насилия, а наоборот, всячески культивировали его. И дело тут не в бессознательных комплексах, как считал Фрейд, а в решении проблемы идентичности. В то время как наши предки конструировали образ чужого и образ врага, чтобы на этом фоне определить самих себя, мы, наоборот, говорим о толерантности и мультикультурализме. Растворив чужого в плавильном тигле мегаполисов, мы потеряли самих себя. История учит, что страх чужого — плохой способ идентификации, к которому прибегают неуравновешенные политики. Пробудив дух народа, элита делает его жертвой конфликта. Поэтому, признавая открытость разного рода конфликтов, все-таки следует просчитать их последствия и не раздувать их без надобности.

Война

Войны объясняют такими причинами, как распределение рынков, борьба за территории, ресурсы. Когда в Европу хлынули толпы мигрантов, стали говорить, что исламский мир расширяется и побеждает не военным, а совсем другим способом. Миграционная война является расплатой за то, что европейцы стремились навязать в качестве идеала свой образ жизни. Они не подумали, что люди сорвутся со своих мест, чтобы жить так, как им показывает европейская реклама. Навязав другим свое видение мира, они тем самым сделали их неспособными вести традиционный образ жизни. Впрочем, третий мир расколот. Одни хотят жить как в Европе, другие — в согласии со своими традициями. Первые эмигрируют, вторые воюют. Такова плата за культурный империализм.

Что же тогда является причиной войны? Нищету и голод, конечно, нельзя сбрасывать со счетов, но приходится учитывать

и то, что творится в головах людей. Люди воюют не за кусок хлеба, а за идею, без нее война будет проиграна. Впрочем, народ можно поднять и на основе культивирования ресентимента. Немцы жаждали реванша после Первой мировой войны и, наоборот, ощутили чувство вины после Второй. Эпоха истребительных войн XX века для Йоки — это время абсолютной политики. Он считал единственной оправданной причиной справедливой или абсолютной войны усиление мощи государства. Политиком является тот, кто понимает, что такое политика, и способствует ее разворачиванию во всех формах, включая войну. Хотя Йоки ввел понятие абсолютной войны, это не значит, что он считал ее перманентной. Война — это смерть, она оправдана, если неизбежна. В принципе, можно жить в мире и с враждебно настроенными соседями, если у государства есть достаточно сил для отпора агрессии.

Йоки указал принципиальное различие внешних и внутренних войн. Наиболее опасной и неприемлемой является гражданская война, в которой уничтожается собственное население. Задача политика в том, чтобы всеми силами оказывать противодействие появлению противоборствующих групп и классов, особенно таких, которые не просто ориентируются на чужие ценности, а практически работают на врага. Для их изоляции Йоки допускал даже создание концлагерей. Для того чтобы сохранить силу государства, необходимо единство. Лучше всего оно достигается в тоталитарном государстве, в котором граждане на первое место ставят не частные, а общественные интересы.

Конечно, как теоретик Йоки проигрывает Шмитту и другим европейским интеллектуалам. С «большевистской прямоотой» он формулирует цели политики и, ничтоже сумняшеся, защищает явно бесчеловечные способы достижения единства государства. Сегодня вряд ли кто-то, кроме фундаменталистов, поддержал бы эти методы. Да и сам Йоки, хотя и отрицал главенство правовых, моральных, религиозных критериев оценки государства, не сводил его к полицейской машине. Он определял государство как организм, наделенный душой, преследующей свои цели, имеющей свою судьбу.

Когда речь заходит о душе государства, конечно, вспоминается Гегель, который предлагал одухотворение монархии. Согласно его предложению гражданам следует не протестовать, а культивировать любовь к государству. Таким образом, речь идет не о чистках и репрессиях, а о воспитании. Государственный «инстинкт», свойственный гражданам империй, является про-

дуктом сложной воспитательной работы.¹ Но и здесь возникает вопрос о мере. Если рефлексия настраивает на критический лад, и тем самым способствует революционной практике, то насколько допустимы воспитательные и тем более дисциплинарные воздействия?

Йоки утверждал, что примерно с 1850 г. европейская политика строилась на непонимании, она была подчинена экономике, и в ней преобладал космополитизм. Произошла инфляция политики. Сведенная к макиавеллизму, к обману и интригам, она стала считаться анахронизмом. Затянувшийся мирный период с 1871 по 1914 г. также был благоприятной почвой мультикультурализма и толерантности.

Результатом двух мировых войн стал упадок Европы, потому что политики руководствовались мелкодержавными интересами, не осознавали опасности большевистской революции, в результате которой Россия окончательно отпала от Запада. И после войны они оставались заложниками идей XIX века, верили в единство на основе права и разума. Слепота проявлялась в том, что американские политики считали СССР демократическим государством.

Йоки писал свою книгу во время образования коалиции и проглядел, что против России всегда создавались военные союзы, и лучший пример — НАТО.

Дух современной политики определяет форму войны. Но открытие атомной бомбы заставило задуматься о контроле за гонкой вооружений. Люди испугались за сохранность планеты. Йоки увидел в страхе термоядерной катастрофы отголосок старых мифов о гибели мира и даже богов. На самом деле атомная бомба — это только начало. Речь идет об изобретении абсолютного оружия. По мнению Йоки, опасения или надежда, что новое оружие может опровергнуть мировоззрение европейцев, по меньшей мере наивно. В основе цивилизации лежат высшие цели, именно они определяют науку, технику, философию, все ценностные установки общества. Применение изобретенного техниками оружия для реализации воли к власти говорит о наличии высшей идеи, и она не сводится к культу материи или разума. Вопрос не в средствах вооружения. Война есть высшая степень размежевания друзей и врагов. Война — выражение варварства и лишена высокого символизма. Но она остается, как

¹ См.: *Scheler M. Vorbilder und Führer. Schriften aus Nachlass. Gesammelte Werke.* Bern, 1957. 261 S.

всякое дело человека, духовной, ее суть не зоологическая борьба за выживание, а сверхличное предназначение. Душа культуры присутствует в высокой войне, те, кто ее ведут, борются за будущее. Все это отголоски речей перед началом Первой мировой войны.

Н. Трубецкой осмыслял военное противостояние как идейное. Война идет за то, чем надлежит быть вселенной — зверинцем или храмом? Характеризуя идеологию противников, Трубецкой писал: «Здесь биологизм сознательно возводится в принцип, утверждается как то, что должно господствовать в мире. Всякое ограничение права кровавой расправы с другими народами во имя какого-либо высшего начала сознательно отмечается как сентиментальность и ложь».¹ Он предсказал, что это озверение, возведенное в принцип, отречение от всего того человеческого, что доселе было и есть в культуре, может повести к поголовному истреблению целых народов. «Этим измеряется значение той великой борьбы, которую мы ведем. Речь идет не только о сохранении нашей целостности и независимости, а о спасении всего человеческого, что есть в человеке, о сохранении самого смысла человеческой жизни против надвигающегося хаоса и бессмыслицы».²

После такого апофеоза войны попробуем вдуматься в проект вечного мира. Кант сравнивал войну с дракой в посудной лавке, но считал, что без нее в обществе будут господствовать торгаши. Война не является перманентной, она предполагает перемирие. Нейтралитет означает отказ от войны, и это равноценно утрате самостоятельности. Либералы, считающие войну анахронизмом, мечтающие о вечном мире, способствуют исчезновению политического. В различии торгашей и героев есть нечто возвышенное. Война вырывает человека из кокона индивидуального существования и ставит на путь подвига. Без политики и войн был бы глубокий застой и упадок. Но если люди могут вести частную жизнь, то это делает их жизнь комфортабельнее. К сожалению, общество благоденствия предполагает не только высокую производительность труда, но и высокую степень отчуждения. Существование в качестве политической единицы, определение врага, ведение войны, сохранение внутреннего мира, объявление внутреннего врага, власть над жизнью и смертью — все это грани бытия политического организма. Конечно, полное безумие состо-

¹ Трубецкой Е. Н. Умозрение в красках // Избранное. М., 1995. 350 с.

² Там же.

ит в том, что граждан заставляют отдавать жизнь ради достижения экономических интересов. Война — это экзистенциальное разобщение, не существует способов оправдания убийства.

Патология культуры

Йоки утверждал, что параллельно политическим и экономическим событиям, происходившим на протяжении XIX и XX веков, творилась другая история. Она заключалась в развитии культурного паразита, жизнедеятельность которого вызвала дисторсию западной политики и экономики. Под культурной дисторсией он понимал такое состояние, когда внешние формы жизни сбивают культуру с ее истинного жизненного пути. Именно это и произошло с Западом в начале XX века, и он должен четко осознать, что болен культурной дисторсией.

Если обсуждать проблему чужого с позиции трансгуманизма, то ее решение будет значительно отличаться от расхожих суждений. Оно нацеливает на поиски более глубоких причин, нежели враждебность чужих. Это и внешние причины — возникновение чрезвычайных ситуаций там, откуда приезжают чужие, и неурядицы внутри того общества, куда они приходят. Ненависть к чужому во многом определяется кризисом общества, страхом беспорядка, при котором все начинают бояться друг друга. Издавна наши предки находили выход из таких кризисных ситуаций в жертвоприношении. Разумеется, сегодня мы не можем принять такой ужасный способ восстановления единства общества. Необходимы усилия по развитию экономики и демократизации общества. Но следует признать, что эти меры не сразу приводят к оздоровлению сознания людей, которые в постстрессовой фазе истории живут с чувством мести, и таким образом остаются горячим материалом вспышек коллективного насилия. В современной Европе это можно наблюдать как среди своих, так и среди чужих. Когда царит всеобщий страх и подозрительность, всегда найдутся охотники использовать эти настроения в своих целях. Поэтому изучение психологии общества является актуальной задачей общественных наук. Философская антропология, аккумулирующая различные знания о человеке, изучающая традиции, нормы, ритуалы, сохраняющие традиционные общества от распада, открывает арсенал традиционных техник, которые могут использоваться для преодоления страха чужого и сохранения собственной идентичности.

Америка

Йоки — это американский Чаадаев. При жизни его считали ненормальным, но консервативные политики, несомненно, восприняли многие идеи, которые он озвучивал. Констатировав угасание пассионарности первых переселенцев, Йоки нарисовал впечатляющую картину деградации американского общества. Впрочем, полагал он, Америке и не была уготована судьба империи. Будучи изолированной географически, она не закалилась в боях, по сути, у нее не было реальных врагов. Разбирая судьбу Америки, Йоки пришел к выводам: первая и главная ошибка состояла в том, что Декларация и Конституция были написаны по французскому шаблону, содержащему главные принципы буржуазного общества. Вторая роковая ошибка — это победа демократического Севера над аристократическим Югом. И наконец, третья судьбоносная ошибка — это еврейский капитализм. Отсюда Америку ожидают следующие потрясения: расовая война между неграми и белыми; классовая борьба профсоюзов против руководителей предприятий; финансовая война денежных диктаторов; наконец, борьба не на жизнь, а на смерть между губящим культуру меньшинством и американским народом.

Все-таки неясно, откуда Йоки почерпнул свои идеи и почему их защищал. По мнению критиков, он романтик, бумажный мальчик, начитавшийся Шпенглера и других теоретиков национал-социализма. Но в таком случае его симпатии должны были улетучиться после того, как, участвуя в Нюрнбергском процессе, он убедился, что фашизм обернулся террором внутри и агрессией снаружи. После такого негативного опыта, казалось, всякие разговоры о тоталитарном государстве должны были умолкнуть. Либеральные критики считали, что при национал-социализме государство не укреплялось, а разрушалось. Оно, строго говоря, было не тоталитарное, а наоборот, анархическое. Фактически там властью обладала не только партия, а еще армия, бюрократия и крупные капиталисты. Фюрер в этих условиях управлял в ручном режиме, используя социальную технику и политическую механику. «Обыкновенный фашизм» проявлялся в функциональных отношениях людей. В Третьем рейхе не было ни государства, ни идеологии, ни единства вождя и народа. Была пропаганда, в которой использовали любые удачные находки, способные отвлечь внимание от реальных проблем.¹ Возмож-

¹ См.: Нойманн Ф. Л. Бегемот. Структура и практика национал-социализма 1933—1944 гг. СПб., 2015. 591 с.

но, это тоже преувеличение, если бы все было построено так, то германская армия не смогла бы покорить Европу и дойти до Москвы. Это произошло в силу того, что перечисленные силы действовали относительно слаженно, что какой-то «дух» объединял немцев. Конечно, пропаганда транслировала вовсе не то, что писали теоретики национал-социализма, но и отрывать одно от другого тоже неправильно. Все было продумано, и образы врагов были сконструированы так, что действовали магнетически.

Я думаю, Йоки и другие романтики фашизма питались еще довоенными идеями национал-социализма, о зверствах фашистов они еще не знали, а работы Ноймана, Адорно, Арндт и других тоже писались в годы войны и были опубликованы примерно в то же время, что написана книга Йоки. Видимо, мощный импульс, толкавший мыслителя в сторону национал-социализма, нужно искать в самой Америке. Разрушительные последствия капитализма, исход черного населения в города, страх перед вырождением — все это толкало в сторону махрового консерватизма. Видение Америки в либерально-демократическом ракурсе явно одностороннее. На уровне семейного и школьного образования там закладывается патриотизм, а если иметь в виду уроки истории в учебных заведениях, воспитывающих кадры внешней разведки, то очевидно, что Йоки получил все необходимое для разработки своей концепции.

Шпенглер, Йоки и Чемберлен критиковали натуралистическую концепцию расы.¹ Эту линию критики можно продолжить. Органицистское русофобство и юдофобство нуждается в деконструкции. Образ врага является весьма сложной психополитической конструкцией. Обычно он интенсифицируется не только в состоянии реальной угрозы, но и как средство скрыть внутренние проблемы общества. Вместо того чтобы менять политику, говорят, что она ведется в правильном направлении, но враги препятствуют ее развитию, и поэтому обещанное будущее отодвигается на неопределенный срок. При этом в качестве врагов чаще всего фигурируют представители маргинальных групп.

Йоки цитировал письмо Баруха Леви Марксу, опубликованное в 1928 г., в котором говорится, что еврейский народ получит власть над миром через объединение всех рас, упразднение границ и через установление всемирной республики, в которой евреи станут руководящим слоем. Когда наступит время Мессии,

¹ Чемберлен Х. С. Основания XIX столетия. В 2 т. СПб., 2012. 1165 с.

ключ к мировому богатству окажется в еврейских руках. На самом деле множество таких изречений можно отыскать и у представителей других культур и народов. К ним нужно относиться с чувством юмора. Каждый народ имеет право считать себя богоизбранным, и не стоит этого бояться. Когда-то М. Шелера сильно испугали слова В. С. Соловьева о том, что Россия объединит все народы в некий религиозный интернационал. Его не успокоили слова о том, что она будет не господствовать, а дружить с ними. Явно поддавшись ресентименту, он заметил: если другие откажутся, то русские могут стукнуть камнем по голове.¹

Йоки очищает политику от рефлексии и морализации. Политика не должна быть аморальной. Но если мораль используется цинично, она извращает войну и политику, доводя их до уровня зверства. Другое дело, что мораль и ценности бывают разные. Будь то русские, евреи или арабы — все они руководствуются своими ценностями. Поэтому политика и война — это борьба за достижение не только экономических, но и символических ценностей. Йоки предвещал эру культурной политики, когда начнется война без правил между Европой и анти-Европой, война не за экономику, демократию и права человека, а за господство в мире. Это очень похоже на картину «войны цивилизаций», нарисованную современными американскими политологами.²

Думается, что Йоки преувеличивал, приписывая стратегию и тактику мировой революции сионизму. В конце концов каждый народ, и не только европейский, мечтает стать всемирным. Важно, чтобы эта мечта осуществлялась не военными средствами. Бессильно наблюдая, как пришельцы оттесняют в Америке потомков первых европейских поселенцев, Йоки призывал к решительным действиям. Конечно, нельзя молча смотреть, как деградирует коренная нация, но задача философа разбудить ее амбиции и содействовать воспитанию национальной элиты, а не призывать на помощь погромщиков. Для гуманиста ненависть к чужому, вспышки которой не прекращаются до сих пор, — это незаживающая рана. Они испытывают чувство вины и считают всеобщее покаяние лучшим лекарством против ненависти. Переживание комплекса вины способствует толерантности, но ослабляет общество, которое перегружено чужими. Сначала они

¹ Scheler M. Nation und Weltanschauung // Gesammelte Werke. Bern, 1963. Bd 6. S. 115—221.

² Российские философы высказывались на этот счет осторожнее. См.: Трубецкой Е. Н. Старый и новый национальный мессианиззм. Избранное. М., 1995. С. 309.

начинают вести себя по своим правилам, потом добиваться автономии, а в итоге доминируют на заселенной территории.

Существуют различные концепции объяснения вспышек ксенофобии. То, что на повседневном уровне наблюдается как увеличение числа приезжих, то, что переживается обывателями как страх и враждебность, то, что выражается в форме протестов, конфликтов и даже погромов, либеральные теоретики реконструируют как результат политической пропаганды, создающей по заказу правящей элиты образ врага. Наоборот, консервативные антропологи считают формирование образа врага подготовкой к жертвоприношению, способствующему консолидации зараженного внутренним насилием общества.

Если рассуждать на основе фактов, а не поддаваться ксенофобии, то надо признать, что империя тем и отличается от замкнутого государства-нации, что привлекает на службу представителей присоединенных провинций. Что касается евреев, они несли верную службу в Австрии и в Германии. При Ратенау именно еврейские финансисты обеспечивали ее промышленный рост. В России, да и не только, не все евреи были шейлоками, большинство из них хорошо знали свое дело и были дельными специалистами. В свете этих фактов вспышки антисемитизма выглядят совершенно непонятными. Поневоле приходится признать, что общество по-прежнему прибегает к жертвоприношению, когда закланию подвергают маргинального представителя своего сообщества.

Йоки, конечно, не параноик. Несмотря на русофобство, по слухам, он искал контактов с советским правительством. Более того, свой последний приют он нашел в доме друга-еврея. Непонятную с точки зрения разума ненависть к чужим он объяснял нерациональностью самой истории. Развитие культуры он описывал в биологических понятиях, но когда дело доходило до ее символического ядра, прибегал к ссылкам на душу культуры и ее судьбу. Поэтому он не остановился на понимании чужих как паразитов, высасывающих кровь из принявшей их культуры. Тогда он не отличался бы от Геббельса. Развивая идею паразитизма, он пришел к теории дисторсии, согласно которой чужие разрушают культуру, в которую они внедряются. Когда их число превышает некую критическую массу, направление развития культуры меняется от восхода к закату. Эту конечную фазу деградации Йоки назвал ретардацией, то есть движением вспять, в обратном направлении. Внешними врагами, запустившими ретардацию Европы, по его мнению, являются славяне, и особенно русские.

Можно перечислить базисные метафоры, которые используются при описании чужих: инородцы, иностранцы, иноверцы, разного рода маргиналы и преступники. Общие формы отношения к ним: ксенофобия, расизм, шовинизм, нацизм. Но евреи — это нечто особое. Зомбарт писал, что еврейский талант часто проявляется не как раскрытие собственной самобытности, а как способность в Германии писать немецкую музыку, а в России — русскую. При этом, полагал Зомбарт, еврей не перестает быть евреем. Отсюда успешность евреев при капитализме. «Капитализм, либерализм и иудаизм тесно связаны между собой».¹ Строго говоря, еврей не иноверцы, так как европейская религия квалифицируется как иудео-христианская. К инородцам их тоже не отнесешь, так как они не имеют отечества, их родиной, как говорил Гейне, является карманная библия. Еврей — не варвары, наоборот, они внесли немалый вклад в цивилизационный процесс. Что касается капитализма, то и тут их роль бесспорна.²

Йоки использовал для описания чужаков понятия микробиологии, но его рецепция явно односторонняя. Акцент поставлен на вредоносность, виральность. Геббельс сравнивал евреев с вошью и тем самым определил их путь в газовые камеры. На самом деле микробы являются не только врагами, некоторые из них выполняют защитную функцию. Например, народы Севера считали частое мытье причиной болезни. Кожа — это мембрана, защищающая от опасных воздействий и впитывающая полезные вещества. Если бы Йоки внимательно читал Плесснера, то более пластично представлял бы границу между своим и чужим. Организм существует в окружающей среде, получает извне прежде всего пищу, которую может перерабатывать и усваивать. Для этого существуют каналы подсоединения. Точно так же обстоит дело в отношениях с другими организмами, которые связаны не только борьбой, но и кооперацией. Действительно, есть хищники и паразиты, особую опасность представляют микроорганизмы, которые не отфильтровываются кожными мембранами и проникают внутрь. Известно, что, например, многочисленное племя индейцев чероки, включая воинов, почти целиком вымерло от оспы. В Европу также попадали опасные микробы, завезенные с восточными товарами, и до сих пор время от времени возникают вспышки эпидемических заболеваний.

¹ Зомбарт В. Капитализм и евреи. Соч. В 3 т. Т. 2. С. 485.

² См.: Даймонт М. Евреи, Бог и история. М., 1994. 542 с.

Здоровье культуры определяется высоким иммунитетом по отношению к чужому и одновременно способностью воспринимать полезные внешние факторы. Конечно, биологическая модель должна быть использована в культурологии с некоторыми предосторожностями, но не стоит забывать об иммунитете. Из открытия Мечникова следует тот вывод, что безопасность организма зависит не только от непроницаемости границы, но и от внутренней сопротивляемости: реагируя на занесенное извне паразитом чужеродное вещество (антиген), организм перестраивается, вырабатывая антитела, и если не гибнет, то становится сильнее — как по Ницше. Организмы, в том числе и культурные, являются открытыми системами; чужое, внешнее является, с одной стороны, опасным, а с другой — полезным для внутреннего развития. Например, пребывание за железным занавесом напоминает профилакторий, очищенный от вирусов чужого. Но его обитатели теряют иммунитет и становятся беззащитными, если барьеры разрушаются. Таможня различает опасные и безопасные вещи, внутренняя полиция отслеживает инакомыслящих. Но на самом деле любой иностранец провозит контрабанду, находящуюся у него в голове, — это груз идей и представлений, усвоенных им с детства. Отсутствие внутреннего иммунитета проявляется в том, что люди смотрят на себя глазами чужого.

По аналогии с паразитами, раковыми клетками Йоки определял мигрантов, представителей чужих культур, группы которых не ассимилируются, не растворяются, а наоборот, как бы кристаллизуются и застывают в первоначальном состоянии. Наподобие молокан они хранят верность материнской культуре, в то время как их историческая родина продолжает развиваться. В результате они оказываются чужими как для своей бывшей, так и для новой культуры.

На примере Америки Йоки показал, что определение ее как правильного тигля этносов и наций является односторонним. Одни этносы растворяются, и уже дети приезжих становятся американцами, а другие, наоборот, как китайцы, образуют анклавов и представляют собой сообщества в обществе, иногда, как сицилийская или иная мафия, криминальные. Но опаснее всего те, кто умеют внедряться в культуру принимающей страны и использовать ее возможности для достижения своих целей. По Йоки, русские варваризируют культуру, а евреи развивают. Захватив ключевые позиции в обществе, они радикально изменяют направление развития культуры. Йоки с некоторым сочувствием описывал оевреивание России после революции: царь и его

семья были поставлены к стенке в Екатеринбурге, и над их телами был начертан каббалистический символ. Он одобрял Сталина за то, что тот постепенно избавлялся от их доминирования и сожалел, что хотя Нью-Йорк более чем наполовину заселен евреями, в Америке не замечают этой опасности.

Образ Европы в условиях современности

Согласно немецким теориям органической целостности нация — это такая духовная общность, которая присутствует во всех ее частях, институтах семьи, общины, народа в целом. При этом важным условием единства нации М. Шелер считал единство переживания, определяемое территорией. Наоборот, у французских культурологов на первом месте стоит население, а территория — на втором. Франция стремится к образованию человечества на основах свободы и равенства, и это исключает какой-либо аристократизм или веру в избранность. Шелер обвинял англичан в претензиях на мировое господство, реализуемое посредством колониализма. Он утверждал, что немцы несут с собой мировой порядок и трудолюбие и при этом признают право каждого народа на национально-культурное своеобразие. Это похоже на амбиции славянофилов.

Остатки имперских дискурсов сохраняются как у русских, так и у европейцев. Например, накануне и Первой и Второй мировых войн немецкие мыслители отстаивали необходимость существования сильного государства, играющего роль защитного панциря тела народа. Они писали о примате воина-героя, отрицающего благополучие и комфорт. Мечтали о нации как организме. Равенство, свобода и братство виделись на путях организации. Поэтому дилемма торговца и героя — это не фантазм Зомбарта и Юнгера, а коллективная мечта, ставшая символической реальностью немецкого духа. Собственно, она и была опорой консервативной революции.

Способность суждения делает свое дело. Постепенно европейцы, и русские избавляются от фундаментализма. После падения Берлинской стены все страны в унисон заговорили о возрождении. Поскольку европейцы добились в этом больших успехов, постольку их чаще всего упрекают в европоцентризме. И у нас страх «большого брата» навязчиво повторяется у элиты постсоветских республик. Психоистория российского и германского народов характеризуется острым переживанием вины. Нужно

противодействовать его переходу в жажду реванша. Ведь, глядя на то, что происходит в бывших доминионах, трудно удержаться от ностальгии по старому порядку.

Освальд Шпенглер доказывал, что Европа уже прошла пик своего развития и вступила в полосу постепенного упадка, который он назвал цивилизацией. Если культура — духовный, творческий период, то цивилизация — формальный и все более бездушный. Исходя из этого различения он предпринял впечатляющую интерпретацию истории Европы, в которой особое внимание обращал на проявления «фаустовского духа» в форме технических изобретений, социально-политических движений и иных дерзаний.

Сегодня идеи Шпенглера стали в основном достоянием историков, которые проводят параллели с другими историософиями (например, Тойнби), указывают на философию жизни как исток его воззрений и т. п. Однако возникает вопрос, может ли сегодня чтение работы Шпенглера настолько захватить кого-либо из наших современников, что подвигнет их на создание оригинальных работ, подобных тем, что писал, например, Бердяев. Утрата интереса к «Закату Европы» после Второй мировой войны связана с антидемократическими, антиэкономическими и прочими антитезами Шпенглера, с его тенденциозным описанием иррациональных сил истории. Однако сегодня эти мысли звучат вновь как актуальные и вслед за интересом к Ницше, несомненно, наступит очередь возрождения идей Шпенглера. Действительно, теперь, когда молодые уже не помнят об ужасных последствиях войны, которая в какой-то мере была вызвана пробуждением «фаустовского духа», когда для них стали очевидны недостаточность либеральной экономики и демократии, узость академической науки и культуры, репрессивность повседневного порядка, растет притягательность ярких шпенглеровских описаний сил породы, которые независимо от того, названы и учтены они или нет, оказывают воздействие на ход истории. Даже в своей цивилизационной фазе она не сводится к калькуляции и целерациональности, а по-прежнему опирается на страдание и боль, на волю к власти, на жертву и дар.

Идея Европы вновь стала предметом осмысления в 90-е годы XX столетия. Лидирующее положение в дискуссиях, несомненно, занял Ж. Деррида. Конечно, ему знакома книга Шпенглера, но он не упоминает о ней прямо по той причине, что французы хорошо помнили, к чему привели слишком прямолинейные выводы немецкого культуролога. Работа Деррида «Другой мыс»

интересна тем, что приглашает к развитию самой идеи Европы, которую нельзя понимать как нечто застывшее, например традицию, заложенную в Греции и Риме.¹ Если избрать образцом винкельмановскую Античность, то, естественно, современность должна расцениваться как закат этой традиции. Другая важная в методологическом аспекте идея состоит в поиске оснований Европы. Что является главным: наука, искусство, духовность, культура, цивилизация, религия, — а может быть, как считал Деррида, переживание тайны и ответственности? Наконец, стоит раскрыть, в соответствии с требованиями современной культурной антропологии, границы европоцентризма. Идея Европы может развиваться теми, кто не считается европейцем.

Своеобразие позиции Деррида в том, что он ставит вопрос о других ориентирах и об ориентирах Других. Если Европа в период очередного потрясения основ, вызванных распадом СССР, стремится к восстановлению, то этот шанс должен использоваться по-новому. Проект восстановления предполагает память и верность традиции, ответственность перед прошлым. Однако эта память содержит и много дурного. Прошлое, как это случилось в России, может восприниматься как «ужасное» и вызывать отвращение. Таковы ориентиры Других. Новая Европа не должна оставаться самодостаточной и самодовольной. Ее прошлое не менее ужасно, чем у других, и в этом смысле новый проект должен обладать свойствами неожиданности, непредвиденности и беспамятства, он не должен слепо продолжать ось традиции, идущей от «греко-германского» основания. Восприятие Европы как «Кар» (корень слов капитал, капитан, означающий среди прочего и острие копья) характерно на протяжении всей ее истории. Деррида предлагает отказаться от «ядерного», «центрирующего» понимания ориентира, который одновременно выступает как телос культуры. Всякая культура, если она развивается, оказывается тождественной и нетождественной сама себе. Рассуждения Деррида достаточно туманны и исключают непосредственные политические коннотации. Он позволяет себе усомниться в официальной терминологии происходящих перемен: «перестройка», «демократизация», «либерализация», «свободный рынок» и т. п. и оценивает их сквозь призму своей стратегии «призраков», согласно которой изгнанное из идеологии прошлое преспокойно живет в других дискурсах культуры.

¹ См.: *Derrida J. Das andere Kap // Die vertragte Demokratie. Zwei Essay zu Europa. Fr./M., 1992. 36 p.*

Деррида описывает новые формы борьбы за гегемонию. Она уже не мыслится как борьба за право быть столицей Европы в экономическом и даже культурном смысле. Он указывает, что противоречие раздробленности и целостности сегодня осуществляется уже не на государственном уровне. Особенно ярко Деррида описывает борьбу за новые сферы влияния — коммуникативные сети: телефон, телевидеопродукция, интернет, масс-медиа — газеты и журналы, реклама, литература, научные школы и т. д. Это обнаруживает, что сегодня университеты и издательства, владельцы газет, телеканалов и производители видеопродукции, рекламные агентства, монополисты в сфере компьютерного программирования и т. п. предприятия, распоряжающиеся «капиллярной сетью», по которой распространяется информация и духовное наследие, оказываются наиболее важной частью общества, несущей ответственность за его самосохранение. С одной стороны, они приводят к отказу от тоталитаризма, при котором контроль за информацией осуществляется посредством ограничения доступа к ней. Но с другой — они же порождают новые, часто негосударственные формы контроля за общественным мнением и духовным наследием. Эта апория, противоречие, должна быть решена путем открытия невозможного. Европа должна и может стать другой, если она хочет сохраниться.

Государственное право прекращает естественное состояние среди индивидов. Чтобы преодолеть его на уровне отношений между государствами, Кант предлагал переход к всемирно-гражданскому состоянию. Главный вопрос, возникающий при этом: как обеспечить постоянное самоограничение суверенных государств? На роль «мирового жандарма», кажется, претендует Америка. Однако недостатки такой модели «вечного мира» достаточно хорошо известны, и вряд ли кто-либо решится ее повторить.

Современность открывает новые возможности. Во-первых, после Второй мировой войны возникли новые формы пацификации, порожденные глобализацией. Транснациональные компании, банки, издательства, информационные концерны существенно ограничивают амбиции правительств тех или иных национальных государств, разрушают их классическую державную политику. Во-вторых, после Нюрнбергского процесса в декларациях международных надгосударственных организаций, и прежде всего ООН, движение за мир во всем мире приобрело конструктивный характер. В-третьих, мировая общественность институализировалась в форме разного рода негосударственных

организаций наподобие Гринпис или Международной амнистии. Вместе с тем миротворческие интервенции, проводимые ООН, вызывают подозрение, что универсалистский проект оказывается формой морального ханжества и, более того, следует стратегии «маленькой победоносной войны». В каком случае интервенция, направленная на защиту прав человека, может быть одновременно морально, политически и юридически легитимной? Нет никакого «логичного» способа соблюдения прав человека. С тех пор, как ООН прибегла к интервенции против стран, создающих угрозу международной безопасности, суверенитет национальных государств оказался под вопросом. Современный европоцентризм проявляется в том, что признаются лишь те народы, которые становятся на европейский путь развития.

Россия между Севером и Югом, Западом и Востоком

В эпоху строительства больших империй дискурс о «своих» и «чужих» претерпел радикальную трансформацию. Согласно Аксакову, Европа образована на вражде и насилии (германский дух), Россия же — это добровольность, мир и согласие, союз народа и власти, а не продукт общественного договора. Самарин считал сутью русского самосознания синтез народной и религиозной общины. Семья, род, город, государство — это такие формы единства, которые основаны на потребности жить вместе.

Национальный мессианизм выражался в утверждении русского Христа. Славянофильская его форма, представленная Хомяковым, опирается на веру в Россию как единственную спасительницу остальных народов и подстановку на место вселенского — православного, а на место православного — русского. Достоевский еще более усилил эту идею своим утверждением, что Европа проповедует не Христа, а Антихриста, что единственным народом-богоносцем остался русский народ. С. Булгаков испугался того, с какой легкостью мессианизм переходит в национализм, и предложил идею «национального аскетизма», согласно которой следует приостанавливать веру в богоизбранность и культивировать чувство ответственности. С. Н. Трубецкой полагал, что национальная гордость и готовность служить другим народам вполне соединимы. Он пояснял, что речь идет о «царственном достоинстве» по отношению к низшему и о смирении по отношению к высшему. Трубецкой видел выход из ту-

пика мессианизма в миссионизме, который предписывался Христом как необходимость «учить и крестить все народы».¹ Однако, оглядываясь на опыт колониализма, можно отметить, что мессианизм и был его важнейшей составной частью.

Если оценивать споры западников и славянофилов о своеобразии России с метатеоретической позиции, то можно выявить довольно устойчивую структуру сходств и различий, которая сохраняется до наших дней у либералов и консерваторов. Считается, что российская ментальность не совпадает с европейским этосом самодисциплины и ответственности, дальновидности и предусмотрительности. Но в ней есть и позитивные моменты. Конечно, неорганизованность и безалаберность — это плохо, но в условиях кризиса, когда старые правила не действуют, русские оказываются наиболее приспособленными. В России вслед за ослаблением роли государства резко падали экономические показатели, и страна испытывала очередное военное поражение. Отсюда парадокс свободы и власти. Проблема в том, что ослабление государственного регулирования снижает экономический и военный потенциал, а его усиление подавляет свободу и ответственность. Поэтому всегда приходится отыскивать устойчивое равновесие между ними, и только в этом случае добиваться положительного баланса на стороне свободы. Общество, где умеют не запрещать, а управлять, предполагает наряду с личной свободой высокое чувство ответственности, которая является не столько юридическим, сколько этическим актом взаимного признания друг друга.

Согласно европейскому мифу викинги были приглашены славянскими племенами на территорию сегодняшней России, чтобы создать государственный порядок.² Напротив, в христианском летописании православная вера, внедрение которой связывается в России исторически и мифологически с князем Владимиром, пришла из Византии, то есть из южного Средиземноморья. Старая, сложившаяся в русской мифологии и истории культурно-историческая ориентация «Север—Юг» сменилась в XIX веке на перспективу «Запад—Восток». «Мы не принадлежим, — писал Чаадаев в первом „Философическом письме“, — ни к Западу, ни

¹ Трубецкой Е. Н. Старый и новый национальный мессианизм. Избранное. М., 1995. С. 309.

² Контроверза норманистов и антинорманистов среди отечественных историков изучена достаточно хорошо. О ее состоянии на Западе см.: Hans Christian Sørensen. The So-Called Varangian-Russian Problem // Scando-Slavica. 1968. Vol. 14. S. 141.

к Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого. Если бы мы не раскинулись от Берингова пролива до Одера, нас и не заметили бы».¹ Эти слова подлили масла в огонь споров между славянофилами и западниками. Славянофильская ориентация завершилась в концепции панславизма согласно идеологам которого Россия и Европа представляют собой альтернативные цивилизации. В. С. Соловьев склонялся к своеобразному «религиозному интернационалу», к посредничеству между русско-православным восточным христианством и католическим западным христианством. В. И. Ленин также стремился привить к космополитическому марксизму и социал-демократии «русскую идею».

В начале века русский историк Данилевский недипломатично и даже грубо обнажил «римскую правду» (в смысле «ищите, кому выгодно») отношений между Россией и Европой. При этом он утверждал, что они не могут завоевать, победить, колонизовать друг друга, так как одна не существует без другой. Только в процессе взаимной игры сил, конкуренции и соперничества они обретают «динамическую энергию», преодолевающую безжизненную стагнацию, от которой не предохраняют накопление денег или оружия. Настоящий капитал государства — это «запас исторических сил», который медленно накапливается этносом и потом дает плоды. Наиболее важной мыслью Данилевского является идея баланса. Россия и Европа — противники, каждый из которых имеет свой интерес и одновременно не может существовать друг без друга. Поэтому они обречены на поиски равновесия, которое оказывается не статичным, а динамичным.²

В 20-е и 30-е гг. XX столетия сформировалось оригинальное философское направление русского мышления — евразийство. Евразийцы разделяли тезис об особом пути России, но отказывались от панславизма. Их соображения подкреплялись образованием Советского Союза, который восстановил географические границы Российской империи. Если учитывать расширение сферы влияния, то можно говорить и о достижении границ империи Чингисхана. СССР — это культурное единство, в котором славянские, арийские (норманские) и монгольские (тюркские) элементы, наконец, обрели единство.³ Можно соглашаться или

¹ Чаадаев П. Я. Записки сумасшедшего. Антология мировой философии. Т. 4. М., 1972. С. 96.

² Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1991. С. 435.

³ Гумилев Л. Н. В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией. Хрестоматия по истории российской общественной мысли XIX и XX веков. М., 1997. С. 16.

оспаривать некоторые выводы евразийцев. Однако очевидно, что своеобразие России следует определять по периметру «Европа—Россия—Азия».

В 70-е и 80-е годы XX столетия Л. Н. Гумилевым была сформулирована концепция «нового евразийства».¹ Основой его аргументации стало геополитическое положение России.² «Океанической власти» (Англия, США) противостоит «континентальная» (Россия, Германия, Япония) как выражение вечной планетной борьбы между морем и степью. Еще Николай Трубецкой отмечал, что своеобразие евразийского континента определяется природными факторами: лес и степь обуславливали экономические системы и уклад жизни охотников и кочевников. Этот регион между Нижним Дунаем и Тихим океаном, учреждающий «систему степей», обнаруживает общие черты (изотерма, движения ветра, континентальный климат) и является географически и антропологически интегральным. На этом базируется этнолингвистическая общность славянской, финно-угорской и туранской культур.

Входившие в состав России народы были соседями. Не сила, не «принуждение к мирному присоединению», а трезвый расчет определял решение жить вместе. Как водится, были и конфликты. Но было нечто более сильное, заставлявшее жить вместе. Россия не была империей, насильно колонизирующей доминионы. На Западе — тевтоны, на Востоке — монголы, на Юге — турки, все они требовали высокой платы за покровительство и защиту, а также обращения в свою веру. Российский протекторат обходился меньшей данью, а главное отличался веротерпимостью и толерантностью по отношению к местным обычаям и языку.

Истоки рождения государственного и культурного своеобразия России относятся к временам противоборства цивилизаций суши и моря, культур поля и степи. Очевидно, что не только российская территория, но и ментальность содержат немало азиатского. Другая история связывает восточные страны с Европой. Начиная с крестовых походов европейцы конфронтировали с арабами. Но в ходе этой борьбы осуществлялись торговые связи и культурные обмены. Понятие Востока оказывается, с одной стороны, концептом, сложившимся как абстракт социально-политических практик Запада, а с другой — предпосылкой практик завоевания и освоения Востока. Отношение Запада к Востоку оказывается, с одной стороны, колониалистическим, а с другой —

¹ Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1989. 512 с.

² Гумилев Л. Н. В поисках своего пути. С. 16.

идентификационным. Восток характеризуется как соперник Европы, как Другой, который по принципу контраста используется для понимания собственной сущности. По мнению Э. Саида, «без исследования ориентализма в качестве дискурса невозможно понять исключительно систематическую дисциплину, при помощи которой европейская культура могла управлять Востоком — даже производить его — политически, социологически, идеологически, военным и научным образом и даже имажинативно после эпохи Просвещения».¹ Из-за ориентализма Восток не был свободным предметом мышления и деятельности. Этот тезис можно усилить: навязанный ориенталистикой образ Востока во многом определил самосознание его жителей, и это последствие было еще хуже, чем колонизация.

Примером такой интеллектуальной колонизации является экспедиция Наполеона в Египет, которая обычно расценивается как чисто военная операция. 23-томное «Описание», составленное целым институтом ученых, считается побочной частью военной кампании. Это было не простое завоевание. Египет был исследован, описан и объяснен, и вместе с завоеванием это было полным поглощением инструментами западного знания и власти. «Описание» вытесняет собственную историю Египта. Хотя военная кампания провалилась, после Наполеона радикально изменился язык ориентализма, который целенаправленно приближал Восток к Европе с целью его полного поглощения. Само словосочетание «образ Востока» говорит о ведущей роли представления, воображения в ориентализме. Все начинается не с дискурса, который навязывает говорящему и слушающему, пишущему и читающему логику власти, а с видения. Таким образом, существуют какие-то отнюдь не нейтральные «машины зрения», отделяющие свое от чужого. Если обратиться к биоэстетике, возможно, там мы найдем в качестве критериев выбора того, что нравится или не нравится, не ссылки на возвышенное или на моральное, а указания на сохранение и улучшение рода. Скорее всего, образ чужого изначально выстраивается как образ соперника, врага. Дискурс власти выражает не злую волю или интересы класса, он укоренен в биологическую природу человека. Общество как суперорганизм, хотя и привносит в «свободную игру сил» элементы права и морали, однако сам общественный договор не только предполагает, но и выносит «агон», как соперничество между индивидами, на более высокий уровень этносов

¹ Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006. С. 10.

и государств. И достичь «вечного мира» — союза между государствами не удается до сих пор.

Французы и итальянцы ценили нацию выше государства, понимая ее как ассоциацию свободных людей. Точно так же союз с другими государствами французы видели как политическое единство с другими свободными нациями. Недаром они первые поддержали независимость Америки. Наоборот, в Германии нация понималась как культурное единство, задаваемое родным языком, ландшафтом, произведениями искусства. Немецкие историки считали главным условием формирования национального самосознания единство переживания, определяемое территорией. Согласно французским ученым, на первом месте стоит население, а территория — на втором. Суммируя эти мнения, можно сказать, что этос нации определяется образом жизни, культурой, хозяйством, территорией и соседями. На Западе и на Востоке, на Севере и на Юге, среди народов леса и степи, моря и рек, в зависимости от ландшафта менталитет и культура людей формировались по-разному.

Кроме внутренней миссии у нации есть еще и амбиция стать «всемирной». Франция стремилась к образованию человечества на основах свободы и равенства, и это исключает веру в избранность. Немцы несли мировой порядок и трудолюбие, и при этом признавали право на национально-культурное своеобразие. Англия претендовала на мировое господство, реализуемое посредством колониализма. Русские в основном идентифицируют себя не как белые, а как православные. Не получается ли, что для нас иноверцы хуже инородцев? На самом деле эти характеристики часто перекрещивались. При этом образы мусульманина и католика хотя и были негативными, однако вовсе не исключали признания. Русский «народ-богоносец», согласно В. С. Соловьеву, должен взять на себя всемирно-историческую миссию служить другим народам. В работе «Умозрение в красках» последователь Соловьева Е. Н. Трубецкой утверждал, что русские реагируют на зло смирением.

Главная функция православия — быть символическим щитом империи — ярко проявилась во время Первой мировой войны, когда волна шовинизма накрыла с головой народы Европы. Н. Бердяев писал: «Меня поражал, отталкивал и возмущал царивший повсюду в Европе национализм... Национальность подменила Бога».¹ При этом он считал признаком националь-

¹ Бердяев Н. А. Самопознание. СПб., 1993. С. 260.

ного мессианизма утверждение исключительной близости и первенства какого-либо народа к Христу. Классическим его выражением является ветхозаветный мессианизм, утверждающий богоизбранность еврейского народа. Поэтому нет ничего исключительного в утверждении русского Христа. Славянофильская его форма, представленная Хомяковым, опиралась на веру в Россию как единственную спасительницу остальных народов и подстановку на место вселенского — православного, а на место православного — русского. Достоевский еще более усилил эту идею своим утверждением, что Европа проповедует не Христа, а Антихриста, что единственным народом-богоносцем остался русский народ.

Согласно С. Булгакову, народная по форме и вселенская по содержанию христианская религия должна осуществиться в России. Понимания национального не как обособленного, а как универсального, входящего в синтез с другими народами, придерживался Е. Трубецкой. Если Бердяев указывал на антиномичность религиозного, национального, культурного, государственного (имперского) мессианизма, то Трубецкой полагал, что национальная гордость и готовность служить другим народам вполне соединимы. Речь идет о «царственном достоинстве» по отношению к низшему и о смирении по отношению к высшему. Он предлагал найти такую форму всеобщего, в котором бы могло существовать особенное: «подлинный Христос соединяет вокруг себя в одних мыслях и в одном духе все народы».¹ Нельзя видеть русское только в том, что это истинная форма универсального. Когда такие притязания развенчиваются, то наступает, как у Чаадаева, отчаяние. Как говорил Соловьев, Россия — или народ-богоносец, или колосс на глиняных ногах.

Наши современники, скорее всего, отказались бы нести приписываемые философами миссии. Однако следы имперских дискурсов дают о себе знать в политике, искусстве, образовании и даже в науке. Железный занавес разрушен, но среди народов Европы трогательного единства еще не наступило. Хуже того, отношения России, Европы и Америки все еще остаются весьма напряженными и недоверчивыми. Строительство империй обычно ведется жестокими средствами и сопровождается покорением других народов. Сегодня имперское прошлое используется в идеологической войне для навязывания противнику комплекса

¹ Трубецкой Е. Н. Старый и новый национальный мессианизм. Избранное. М., 1995. С. 309.

вины. Особенно эффективно это реализовалось во время перестройки, когда призывали к покаянию за «ужасное прошлое». При этом под одну гребенку попали Великобритания, Франция, Германия и Россия. На самом деле это были очень разные империи. Во всяком случае, Россия не подходит под рубрику колониальной державы, так как расширялась за счет присоединения соседей. Не стоит идеализировать имперское прошлое, каким бы оно ни было, но нужно использовать позитивную энергию «духа нации». Сегодня ответственность интеллигенции состоит в восстановлении национальной идентичности, не вызывая «гения войны». Следует осмыслить старые и искать новые формы и способы взаимопонимания людей, принадлежащих к разным культурам. Прежде считали, что язык науки является универсальным языком объяснения мира и общения между людьми. Теперь проект Просвещения расценивается как европоцентристское описание других культур. На европейских писателей и ученых легло обвинение в ангажированности. Их стали расценивать как имперских чиновников, описывающих образ жизни других народов для целей колонизации.¹ Они являются носителями языка, который сложился как выражение мужского соперничества, как самоутверждение героев-завоевателей.

Европа, изначально осознававшая себя как носителя культуры, была вынуждена христианизировать, цивилизовать, а потом и колонизировать «отсталые» народы. Для нее Другой — это варвар и нехристианин. От такого самоопределения страдала и сама Европа. Опустошительные войны и были той высокой ценой, которую она заплатила за самоопределение на основе призыва к гегемонии. Все это относится и к евреям, и к арабам, и к русским. Повторения этого следует избегать и нам, и европейцам. Особенно Европа, которая после войны оказалась как бы поделенной двумя сверхдержавами и которая сегодня обрела самостоятельность, должна если не удержаться от прежних амбиций, то по крайней мере подвергнуть сомнению способы их реализации. Сегодня европейские интеллектуалы и политики делают ставку на инвестирование культурного капитала. Однако это вызывает противодействие даже у тех, кто ориентируется на европейские культурные образцы. Страны третьего мира, в том числе и Россия, стали жертвами новой интервенции. Все

¹ Даже В. А. Подорога в своей замечательной трилогии «Мимесис» под влиянием этого стереотипа охарактеризовал классическую русскую литературу как в основном имперскую.

боятся территориальных претензий. Однако речь идет об использовании сырья, рабочей силы, интеллектуальных ресурсов, об инвестиции символического капитала, имеющего самую высокую прибыльность.

Распад старого порядка, при котором люди чувствовали себя звеньями одной цепи, сопровождается неразберихой, вызывающей меланхолию или ностальгию по прошлому. При этом на первый план снова выходят такие единства, как «этнос», «народ», «нация», «государство», которые реанимируются и идеализируются в качестве новых мифов. Политические дизайнеры, занимающиеся конструированием «русской идеи» должны помнить, что названные феномены или объединения имеют два лица. Одно — плохое, которое раскритиковано в либерально-правовом дискурсе. Другое — позитивное, выявленное консервативными историками. Если в леворадикальном дискурсе можно отметить черты ресентимента, то в правом, консервативном бросается в глаза идеализация. Нужно попытаться нейтрализовать опасность шовинизма, фундаментализма и тоталитаризма и сохранить опыт единства, в котором так нуждается наше индивидуалистическое общество.

Вопрос об идентичности обостряется как накануне побед, так и после поражений. Сегодня в постимперской фазе развития активно обсуждается вопрос о роли Европы в понимании народов Востока. Выдвигаются обвинения в культурном империализме. Они переносятся и на Россию. Более того, утверждается, что Российская империя была хуже Британской. С этим можно спорить. Достаточно сравнить произведения Киплинга и Толстого, чтобы уловить разницу отношений британцев к индийцам и русских к кавказцам. Вопросы о том, какой народ или государство «хуже» или «лучше» сегодня в постимперской, постколониальной фазе развития истории может обсуждаться сравнительно безболезненно и даже с юмором. Но следует учитывать оценочный характер этих сужений. Высказывание «Российская империя была хуже Британской» можно понимать как положительно, так и отрицательно. Хорошо организованная империя, выкачивающая ресурсы из колоний, — это сегодня уже не позитивная оценка. Ясно, что эксплуатация стран третьего мира продолжается, хотя и другими способами. Россия тоже стала прибегать к использованию дешевой рабочей силы. Все-таки раньше мы говорили о служении другим народам.

Государственная идея у нас была сформулирована графом С. С. Уваровым: «Самодержавие, православие, народность». Рус-

ские — это нечто большее, чем этнос. И по величине, и по качественным критериям. Русский народ открытый, вселенский, в каком-то смысле частично имперский. Мы не являемся колониалистами, хотя склонны увеличивать зоны своего влияния. Недаром идея мировой революции оказалась весьма близкой для наших предков. Среди русских вопросов действительно нет ничего покаянного относительно «добровольно присоединившихся» народов. Раньше ни на Западе, ни на Востоке не высказывали в наш адрес обвинения в колониализме. Российская империя, и тем более СССР, не были колониальными державами. Распространение получили смешанные браки, инородцы занимали высокие государственные должности.

Нынешние молодые люди считают себя европейцами, а иные видят себя гражданами мира и стремятся жить там, где условия существования наиболее комфортабельные. Они уже не воспринимают Россию как родину, которую следует защищать, как отечество, ради которого можно отдать жизнь, и тем более империю, требующую преданного служения. Предпринимаемые попытки возродить монархию, воодушевляют лишь небольшие коллективы, погружая остальных в состояние апатии или меланхолии. Раньше нам был присущ интерес к международному положению. Сегодня не более 20 % людей интересуются большой политикой. Правда, это еще не означает окончательного погружения в частную жизнь. Идея государства и единства населяющих его народов еще весьма привлекательна. Обычно после поражения наступает время возрождения мифов. Символы этноса обретают новую историческую форму, обнаруживающую потенциал конструктивистской вариативности в проявлениях этнического. Примером тому служит возрождение национальных обычаев, поиски исторических предков, захватывающие значительную часть общества и влияющие на экономику и политику.

К сожалению, строительство государств ведется жестокими средствами и сопровождается покорением других народов. Нельзя возразить против того факта, что движение русских на Север, а потом в Сибирь началось еще в допетровское время, что Россия занимала значительную территорию, почти 1/6 часть суши, а СССР имел еще и обширные зоны влияния. Вопрос в том, что это было? Западные политологи соглашаются, что расизм у нас отсутствовал, но наш колониализм имел якобы националистический характер. Это странное утверждение, ведь национализм тратит силы не на внешнюю экспансию, а на внутреннюю автономию. Большевики называли Российскую империю «тюрьмой

народов» и провозгласили право наций на самоопределение, вплоть до отделения. Так что постимперский период у нас уже давно был и прошел. Россия ищет новые формы единства населяющих ее народов. Как реактивное чувство, оно уже ненатурально и способно породить фантазмы, каковыми во многом и являются сегодняшние националистические мифы. Более того, они действительно опасны, ибо разжигают жажду реванша, допускающего насилие. Вот этого и следует избегать. Следует помнить о последствиях национально-освободительных движений, революций, гражданских войн и просчитать как приобретения, так и потери. Власть и собственность обычно достаются политической элите, ведущей борьбу за независимость, а снижение уровня, и даже потеря жизни остается на долю народа.

Вопросы о том, что такое современная Россия: империя, национальное государство, геополитическое целое, этнос, православная страна, носитель духовно-нравственных ценностей, особый историко-культурный тип, ждущий своего выхода на арену истории, лидер и защитник славянского мира, ставятся не только идеологами патриотических движений, но всеми радикально настроенными людьми, которые желают возрождения России. Однако патриотическое чувство, которое кажется столь же искренним, как чувство справедливости, нуждается в деконструкции. Опыт показывает, что именно переживания, кажущиеся непосредственными душевными реакциями на жизнь, на самом деле нагружены мифологемами и идеологемами, обидами и разочарованиями, которые отчасти являются наследием прошлого, отчасти порождением тягот сегодняшней жизни. Тащить этот опыт в будущее — значит испортить жизнь не только себе, но и своим детям. «Деконструировать» при этом — значит не отбросить, а скорее сбалансировать идеологию наших предшественников с реалиями современности. Традиционные проекты России и программы ее возрождения должны измениться в пользу некоего парадоксального усилия: преобразовать Россию без насилия, построить новое общество, не питаясь ненавистью к старому, а сохранив память и ответственность по отношению к прошлому.

Имперское прошлое живет в памяти народов. Можно ли его позитивно использовать? Никому не нужны соседи, живущие с сознанием побежденных и мечтающие о реванше. К сожалению, сегодня мы видим, что под глянцем толерантности и мультикультурализма таится вражда. Как нам жить сегодня, если идеи братства, интернационализма и толерантности оказались дискредитированными? Когда речь идет о голодной смерти и вы-

живании, то глупо ожидать, что в этих условиях люди станут вести себя морально. Во всяком случае, мораль чрезвычайных ситуаций иная, чем в нормальных условиях. Поэтому не стоит оценивать людей, оказавшихся в экстремальных условиях, как воплощение зла. Они живут по принципу: спасайся, как можешь. Вопрос в том, как нормализовать обстановку. Все что мы делаем — это немного затягиваем пояса и увеличиваем размеры гуманитарной помощи, а также надеемся, что наши инвестиции помогут бедным подняться на более высокий уровень жизни.

Становление национальных государств обычно сопровождается беспорядками, насилием и внутренними, гражданскими войнами, переходящими во внешние. Для обеспечения безопасности еще И. Кант выдвинул концепцию Союза свободных наций, основанного на принципах равноправия. Общительность является, по Канту, антропологической константой. Чувства и эмоции коммуникативны по своей природе и связаны со способностью суждения. Людям приходится мириться с соседством, поэтому идея всемирного гражданства не является нелепой. Это и дает повод говорить о праве всеобщего гостеприимства. И все же гостеприимство, скорее, идеал, чем реальность. Поэтому ксенософия — это удел философов. В истории народное право уступает место государственным законам и на смену гостеприимству приходит кодекс чужого. Речь идет о постепенной идентификации пришлых с целью обеспечения безопасности.

Н. Федоров накануне Первой мировой войны выдвинул самую сильную версию пацифизма. Он провозгласил начало братства и конец сиротства: пусть «все будет родное, а не чужое». Хорошо бы соединиться на духовной основе, как это предлагали русские философы всеединства, но пока время для этого не пришло, следует создавать более реалистичные проекты. Решение проблемы состоит в признании такого Другого, который не является романтической выдумкой, а живет и работает рядом с нами в рамках современного многонационального общества. В силу этого он уже понимает наш язык, разделяет общие установки и ценности. Он не может стать абсолютным скептиком или террористом, если, конечно, его не загонять в угол, например, урезая его социальные права, зарплату и заставляя думать, пить, есть и одеваться так, как это делают представители «государствообразующей нации». Включенность Другого осуществима не только в плоскости рациональных переговоров и политических договоров, но и на уровне повседневной коммуникации, лучшей формой которой является гостеприимство.

В эпоху перестройки в ходе разговоров об отношениях Европы и России был сформулирован рефлексивно-этический принцип: любой представитель той или иной страны или культуры имеет право настаивать на преимуществах своих ценностей, но должен приводить аргументы в защиту своей позиции. Публичная дискуссия приводит к общему согласию, ибо в ходе ее принимается решение, удовлетворяющее большинство. Казалось, этому принципу нет альтернативы. Оставаясь формальным, он, может быть, и есть то единственное, что может связать разных людей, живущих в разных социально-экономических условиях, воспитанных на основе определенных национально-этнических традиций. Конечно, дружбы на этом пути не достичь, но можно мирно сосуществовать. И пока мы сопровождаем действия рассуждениями, до тех пор мы способны к тому, чтобы воспринимать формальные правила, свободы и признания прав Другого как условия переговоров и как этические нормы, регулирующие деятельность.

К сожалению, не ясно, как быть с теми, кто не разделяет ценности большинства и отстаивает свои убеждения. Они обвиняются в экстремизме и наказываются разного рода «санкциями». При этом рациональные аргументы либо не воспринимаются, либо заменяются разного рода «утками». Таким образом, «дискурс общественности» превращается в информационную войну, ведущую к эскалации боевых действий. Размышляя о судьбе империй в многополярном мире, можно сделать вывод, что эра империализма вовсе не закончилась. При этом появились новые формы символического империализма, аналитикой которых и должна заниматься философия. Современное общество существует на какой-то иной основе нежели людское согласие и солидарность. Ориентация на старые медиумы не позволяет разглядеть новые формы взаимосвязи людей в общественное целое. Так называемая глобализация протекает весьма по-разному в зависимости от конкретных условий. Необходимо описание каналов, по которым циркулируют информация, деньги, культурные артефакты и иные ценности. Важно знать, какие организации и люди обслуживают эти сети. К каким последствиям приводят «инъекции» образцов европейской культуры в «тело» неевропейских народов. И наоборот, могут ли, и если могут, то как, те, кого представляют другие, представлять себя сами и тем самым влиять на другие «цивилизованные» народы. Тут тоже мало разговоров о взаимодействии культур, необходимо проследить пути трансформации и продвижения культурного «капитала». Модель современности

следует строить в гештальте не империи, а сети, состоящей из тонких каналов, по которым циркулируют люди, товары, знания и капиталы (включая культурный и символический).

1. *Религиозное единство*. Его история заслуживает внимания и сегодня предстает в новом свете. Христианство имело большой успех, потому что усилиями Павла стало сначала своеобразным «сетевым обществом», потом государственной религией Рима и, наконец, теократией. Конечно, есть объективная и субъективная религия, теология и народная вера, и от их состояния также зависит успех христианства. Церковь будет способствовать единству, если ее представители смогут воодушевлять людей. Для этого сегодня открылись новые медийные возможности. Правда, к чему это приведет, пока никто сказать не в состоянии. К сожалению, фундаментализм опрокидывает надежды на веротерпимость.

2. *Национально-территориальное единство*. Французы — изобретатели нации — понимали ее как политическое единство. Но люди не забывают об органических связях народа и земли. Как показывают экологические движения, проблемы сохранения окружающей среды и здоровья являются слишком важными, чтобы ими пренебречь, и они действительно объединяют людей. Но что это за единство? Люди представляют себя жертвами технологий, как раньше они осознавали себя жертвами дьявола или капитала. Парадоксально, но факт: человек общества потребления по-прежнему воспринимает себя как жертву. В эпоху Просвещения герой был жертвой, и честолубие возобладавало над страданием. Это значимо не только для индивидов, но и государств. Например, в теории В. С. Соловьева русский народ-богоносец представлялся как жертва, приносимая во имя спасения человечества. Сегодня разработаны профессиональные способы презентации жертвенности: евреи, африканцы, арабы, русские, украинцы, малые народности. Обыватели чувствуют себя жертвами технологий. Студенты судятся с университетами, больные — с врачами. Даже власть преподносит себя как жертву, и пример тому — эскалация образа врага.

3. *Спортивное единство*. Что приходит на смену таким медиумам единства, как вера, мораль, культура, просвещение? Если посмотреть вокруг, то можно отметить попытки использовать спорт и другие зрелища для объединения людей. Судя по поведению фанатов спорт не только соединяет, как мечтал основатель олимпийского движения П. Кубертен, но и разъединяет людей. Неудивительно, что либеральные мыслители рассматривают его как форму скрытого тоталитаризма.

4. Современное общество не зря называют обществом *потребления*. Люди меньше работают и больше потребляют. Сегодня встреча товара и желания происходит в супермаркетах. Торговля работает с желаниями, более того, посредством рекламы она их производит. Но если посмотреть на супермаркеты, можно ли сказать, что там имеет место общество?

5. Современность характеризуется резким снижением рождаемости в высокоразвитых обществах. Таким образом, можно говорить о детско-материнской нищете в обществах благоденствия. Отказ от родительского долга отчасти оправдывается дороговизной воспитания и образования детей. Но суть дела не в недостатке средств на воспитание и образование, а в недостатке родительского тепла. Низкую рождаемость нельзя объяснить ссылками только на профессиональную занятость женщин и на дороговизну воспитания. Современные государства тратят такие средства на поддержку материнства и детей, каких никогда в истории ни одно общество не вкладывало. Причина падения рождаемости лежит в изменении стандартов комфорта. Люди уже не желают обременять себя лишними заботами о других. Но и в бедных странах дело обстоит не лучше. Поскольку такой материнский капитал, как забота, уход и ласка, тоже имеет предел, постольку слишком большое количество детей неизбежно обрачивается снижением качества их воспитания.

6. «Сетевое единство». Интернет — это первое, что приходит на ум, когда задаешься вопросом о том, что сегодня соединяет людей. Народы, классы, партии реанимируются в чрезвычайных ситуациях, в мирной жизни люди являются обывателями, озабоченными собственными экзистенциальными проблемами. Автономные индивиды, испытывающие потребность в общении, участвуют в социальных сетях и разного рода виртуальных сообществах. Кажется, что современные социальные технологии гуманнее прежних, и на их основе жизнь может быть устроена гораздо лучше, чем она есть. На самом деле интернет тоже оказывается разделенным на многочисленные миры, живущие своими интересами. Кроме того, именно там распространяются игры в империю и формируются объединения людей, переживающих ностальгию по прежним имперским формам единства. Люди, утратившие веру в защищенность со стороны государства, берут реванш в форме протеста. Падение уровня жизни, инфляция, войны и волны миграции — все это ведет к росту апокалипсических настроений и соответственно к росту насилия. Поиск новых возможностей жить лучше, формирование чув-

ства уверенности, а не нагнетание страха — вот в чем состоит задача философии.

Каковы последствия модернизации России, удастся ли и на этот раз, несмотря на затянувшиеся реформы, сохранить самобытность, как это было раньше? Нарастает кризис идентичности. Тот, кто предал и очернил прошлое, уже не может сказать, кто он. Пока до этого не дошло, одни предлагают срочно взяться за восстановление отечественных традиций, другие настаивают на переоценке старых и формировании новых ценностей. В любом случае необходимо восстановление прочной иммунной системы, позволяющей сохранить себя перед натиском чужой культуры. Условием жизнеспособности общества является способность к самоутверждению. Вера в себя избавляет от страха перед чужими и позволяет мирно с ними соревноваться. Российский гражданин должен научиться любить себя, свою родину, гордиться своим славным прошлым и верить в будущее. Только так он может избавиться от страха чужого, проявлением которого, собственно, и являются терроризм и фашизм.

Герою Второй мировой войны

Was mich nicht umbringt, macht mich stärker.
(То, что не способно меня убить, делает
меня сильнее.)

Ницше

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга отличается от всех остальных. Прежде всего книгой она является только по форме. На самом деле это часть *действия*, поворотный пункт европейской истории, запоздалый, но реальный. В содержании этой книги нет ничего оригинального, кроме нее самой. Погоня за оригинальностью является проявлением упадка, а упадок Европы означает господство Варвара.

Эта книга — первая в новом ряду политической литературы, обращенной к Европе в целом. До сих пор все труды, посвященные политике, императивно адресовались только одной из европейских наций. Кроме всего прочего, эта книга знаменует конец рационализма. Она не является тому причиной — не книги, но только ход Истории способен на нечто подобное; она лишь издаст по рационализму *похоронный звон*. Так императивная сторона жизни возвращается к своему древнему истоку — воле к власти. Отныне деятельность не будет обсуждаться в терминах абстрактной мысли.

Этот текст адресован всей Европе и в особенности ее культурному слою. Он зовет Европу на всемирно-историческую битву длиной в два столетия. Европа примет участие в этой битве либо как участник, либо как добыча для внешних держав-хищниц. Если Европе суждено *действовать*, а не просто *страдать* в серии масштабных войн, она должна объединиться, и есть только *один способ* этого достичь. Западная культура тяжело больна, и продолжение болезни равносильно сохранению китайского режима в Европе.

Слово «Европа» меняет свой смысл: отныне оно означает западную цивилизацию, органическое единство, которое в качестве своих жизненных фаз породило национальные идеи Испа-

нии, Италии, Франции, Англии и Германии. Все эти бывшие нации теперь мертвы, эра политического национализма миновала. Это случилось не по *логической* необходимости, но вследствие *органического* развития истории Запада. Именно органическая необходимость является источником нашего императива и объединения Европы. Смысл органического — в его извечной альтернативе: либо делать должное, либо заболеть и умереть.

Хаос, продолжающийся в текущем 1948 году, прямо связан с попыткой предотвратить объединение Европы. Он привел к тому, что Европа оказалась в болоте, и неевропейские силы распоряжаются бывшими европейскими нациями как своими колониями.

В этой книге излагаются точные органические основания западной души, в частности императив, которым она должна руководствоваться на данном этапе. Либо Европа полностью объединится, либо она покинет историю, ее народы будут рассеяны, а достижения и умы навсегда попадут в распоряжение внешних сил. Здесь эта ситуация отражена не посредством абстрактных формул и интеллектуальных теорий, но органически и исторически. Неопровержимые выводы, которые изложены в этой книге, не требуют согласия или несогласия: они *совершенно очевидны* для тех, кто хочет действовать. Настоящий автор книги — это Дух времени, команды которого не обсуждаются, так как их санкционирует сокрушительная мощь Истории, несущая поражение, унижение, смерть и хаос.

Сразу оговорюсь, что я осуждаю ничтожные и ретроградные планы «объединения» Европы как экономической территории, создания из нее протектората как объекта эксплуатации неевропейского империализма. Объединение Европы требует не *планов*, а экспрессии. Все, что для этого нужно — это осознание того, что сегодня совершенно бесполезно продолжать мыслить экономически, в стиле XIX века. Не торговля и финансы, не импорт и экспорт, но только героизм может освободить единую душу Европы, страдающую от финансовых махинаций агентов ретардации, мелкодержавности партийных политиков и оккупационных армий неевропейских сил.

Безотлагательное объединение Европы должно произойти в такой форме, чтобы народ, раса, нация, государство, общество, воля и, естественно, экономика образовали единое целое. В этом и заключается духовное единство Европы, а ее освобождение автоматически приведет к полному расцвету остальных аспектов органического единства, имеющих духовную природу.

В силу сказанного данная книга равносильна объявлению новой войны. Она обращается к предателям Европы, ничтожным партийным политикам, которые удобно пристроились на службе у неевропейских сил, с таким вопросом: «Вы решили, что все закончилось? Вы думаете, что ваше ничтожество и позор навеки обосновались на мировой сцене, которая еще не забыла настоящих героев? В ходе развязанной вами войны вы учили людей, как надо умирать, но тем самым освободили дух, который вас же вскоре уничтожит. Это дух героизма и дисциплины. Нет таких денег, за которые можно купить этот дух, он сильнее любых денег».

И наконец, данная книга сама является первым ударом, нанесенным в большой войне за освобождение Европы. Главный враг — это предатель внутри Европы, который позволяет внешним силам морить ее голодом и грабить. Он — символ Хаоса и Смерти. Дух двадцатого века ведет с ним непрекращающуюся войну.

*Улик Варандж
Бритас Бэй, 30 января 1948 г.*

ИСТОРИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ XX ВЕКА

Получается, если мы всего лишь актируем историю, то все наши слова могут быть пустой декламацией. Но это не так, ведь на этом основании строится вся наша духовная жизнь в самом широком смысле. Строго говоря, чем является все наше знание, как не записанным опытом и результатом истории, важнейшим материалом которой служат не только действия и страсти, но мысль и вера?

Карлейль

Жизнь индивида важна только для него самого; вопрос в том, желает ли он сбегать от истории, или отдать за нее жизнь. Историю совсем не заботит человеческая логика.

Шпенглер

Перспектива

I

Из далекой внешней тьмы, где нет ни дыхания, ни звука, ни проблеска света, можно разглядеть вертящийся шарик — Землю. Межзвездные пространства озаряет только душа, поэтому все погружено во мрак, кроме этой планеты, часть которой залита светом. С далекого расстояния можно более ясно понять, что происходит на земном шаре. По мере приближения различаются континенты, на них — вереницы людей, и обнаруживается источник, излучающий свет во всех направлениях: это изогнутый европейский полуостров. На этом крошечном придатке огромного массива суши все находится в движении, и мы осознаём,

что это клокочет душа и ее эманации — сгустки идей, энергии, амбиций, замыслов, порывов, стремления к форме. Получается, что с такой высоты над землей мы обнаруживаем то, чего прежде не замечали: *присутствие чисто духовного организма*. Присмотревшись, мы видим, что поток света направлен не *вверх*, в ночное небо от поверхности Европы, но, наоборот, *вниз*, от этого духовного организма. Столь глубокое революционное открытие нам удалось сделать благодаря полному отвлечению от земных событий во внешнюю пустоту, где царствует дух, а материя различима лишь благодаря исходящему от него свету.

Дальше следуют новые открытия: на другой стороне планеты есть два острова, небольшие по сравнению с основным массивом суши. В бледном свечении, разлитом по отдельным частям этих двух островов, сразу можно узнать отражение противоположной стороны.

Но что это за внеземной феномен? Почему он наблюдается именно над Европой? Какова связь между ним и человеческим веществом, над которым он реет? Последнее образует замысловатые пирамидальные структуры и шеренги. Движение происходит по каналам в виде сложных лабиринтов. Индивиды взаимно располагаются в отношениях господства и подчинения. За пределами нашего небольшого полуострова человеческие потоки движутся горизонтально, закручиваясь в вихри, как вода в реках и океанических течениях или стада на широких равнинах. Все выглядит так, словно духовный организм придает населению полуострова некие замысловатые органические формы.

С чем можно сравнить это существо, которое мы не могли видеть, пока были привязаны к земле? В данный момент оно является единственным. Но здесь, вне земли, мы свободны от времени и пространства, имея возможность обозревать сотни поколений так же, как находящийся на земле человек следит за течением жизни плодовой мушки. В поисках чего-то подобного духовному организму, представшему перед нами сейчас, мы возвращаемся на двести поколений назад. Земной шар тот же, но пребывает почти в полной тьме. Вещи едва различимы, материя еще не прошла через перегонный куб духа и никак не воспринимается. Взгляд, обращенный вспять, уходит в пустоту. Мы позволяем в один миг смениться нескольким поколениям, и дух начинает проявляться. Слабое, но подающее надежды свечение разгорается на северо-востоке Африки. Затем новое, в тысяче миль к северо-востоку — в Месопотамии. Они обретают имена — Египет и Вавилония. Время — около 3000 лет до н. э.

Интенсивность свечений нарастает, и в каждом случае вначале ясно проступают контуры армий, выдвигающихся против внешних народов, которые воспринимаются как *варварские*.

Духовные организмы друг с другом не смешиваются, их верхние границы строгие и четкие, каждое существо имеет особый, свойственный только ему оттенок. Организмы захватывают человеческое вещество в своем ландшафте и ставят себе на службу. Вначале дают ему вселенскую идею, затем кристаллизуют в *нации*, каждая из которых воплощает одну из особых идей высшего организма. Олицетворяя разные аспекты идеи, формируются знать и жречество. Население стратифицируется и специализируется, и человеческие существа живут и реализуют свою судьбу определенным способом, который назначает высший организм, побуждающий их силой *идей*. К такому побуждению чувствителен только небольшой духовный слой каждой человеческой популяции, но представители этого слоя верно служат идее с того момента, как ее ощутили. Теперь они будут за нее жить и умирать, и в этом процессе определять судьбы популяции, из которой произошли. Такие *идеи* — не просто абстракции, последовательности понятий, но живые, пульсирующие, безмолвные императивы бытия и мышления — являются техникой, с помощью которой высшие существа используют людей в своих целях. Религии, преисполненные высоких чувств и логических обоснований, архитектурные формы, рожденные в духе этих религий и поставленные им на службу, лирическая поэзия, живопись, скульптура, музыка, дворянские и жреческие ранги, стили жилищ, этикет и платье, строгое воспитание молодежи в соответствии с этими устройствами и ради их увековечения, системы философии, математики, познания, природы, изумительные технические методы, грандиозные сражения, огромные армии, длительные войны, интенсивная экономическая жизнь для поддержания всех этих разнообразных структур, замысловато организованные правительства, следящие за порядком в нациях, созданных высшим существом для управления разным человеческим материалом — вот только некоторые из богатства форм, образующихся в этих двух областях земли. Каждая египетская форма отлична от соответствующей вавилонской формы. Если перенимается чужая идея, то она усваивается лишь на первый взгляд. На самом деле, так и оставшись непонятой, она видоизменяется и адаптируется к собственной душе.

Однако высшее существо, растрачивая себя в процессе преобразования земли, приближается к кризису. Его лихорадит, оно

начинает слабеть и содрогаться: хаос и анархия угрожают его земным воплощениям, а снаружи собираются силы, чтобы низвергнуть его и стереть с лица земли его великие творения. Тогда оно поднимается и делает величайшее усилие — уже не для внутренних свершений (искусств, философии, теорий жизни), но для формирования аппарата чисто внешней мощи: жестких правительств, гигантских армий, военного флота, индустрии для их поддержки, правовых систем для организации и упорядочивания завоеваний. Оно распространяет свою власть на территории, доселе не исследованные и даже неизвестные, затем объединяет все свои отдельные нации под началом одной, дающей свое имя всем остальным и руководящей ими в последнем великом экспансионистском усилии.

В каждом из этих существ улавливается один и тот же великий ритм. Дальше мы видим, как два роскошных фейерверка тускнеют, приобретая землистый оттенок. Гаснут они медленно, оставляя свет памяти и легенды в человеческих умах и разбрасывая свои последние великие творения по раздвинувшему горизонты ландшафту — *Империи*.

На остальных землях, за пределами этих двух территорий, ничего не происходит. Человеческие стаи отличаются от животных стад только примитивной культурой и более сложным укладом. В остальном формы их бытия лишены смысла. Эти первобытные культуры поднимаются выше экономического уровня только благодаря тому, что приписывают символическое значение природным явлениям и человеческому поведению. Но их жизнь ничем не напоминает высокие культуры, преобразившие весь египетский и вавилонский ландшафт примерно за сорок поколений от момента зарождения до последнего всплеска.

Физическое время продолжает свой ход, и века минуют во тьме. Затем, в точности как в Египте и Вавилонии, но уже с другим оттенком и в сопровождении другой музыки, свет разгорается в Пенджабе, становясь ярким и мощным. Развивается такое же богатство форм и знаменательных событий, как в двух предыдущих организмах. Новые творения в высшей степени *индивидуальны*, столь же отличны от двух культур-предшественниц, как и они друг от друга, но подчиняются тем же величавым ритмам. Перед глазами проходит не менее пышное многоцветье знати и жречества, храмы и школы, нации и города, искусства и философские системы, армии и науки, литература и войны.

Прежде чем вышеупомянутая высокая культура завершила свой путь, в долине Хуанхэ в Китае возникла еще одна. Затем несколькими столетиями позже (по нашим подсчетам, около 1100 г. до н. э.) на берегах Эгейского моря зародилась классическая культура. Обе эти культуры отмечены индивидуальностью, собственным колоритом и воздействием земных творений, но морфологически они подобны всем предыдущим.

По мере приближения классической культуры к завершению, примерно во времена Христа, в ландшафте, который она завоевала в последней фазе экспансии, возникает новая культура — арабская. Тот факт, что она появилась именно здесь, делает ее развитие особенным. Изнутри ее формы так же чисты, как у других культур; в сущности, она впитала в себя не больше чужого, чем они, — но физическое соседство ландшафтов, временная преемственность и контакт с цивилизованным населением более старого организма с неизбежностью заставили новую душу позаимствовать богатство классических творений. Однако они повлияли на нее только поверхностно: в старые сосуды она влила свое молодое вино. Отобрав и по-своему истолковав одни чужие формы и отбросив другие, она выразила свою собственную душу наперекор всем этим формам. В своей последней, экспансионистской, фазе эта культура включала европейскую Испанию в виде Западного Халифата. Продолжительность ее жизни, окончательная форма, великий кризис — во всем этом соблюдалась общая для всех культур органическая последовательность.

Примерно через пять веков уже знакомые нам проявления еще одной высокой культуры появились в далеких ландшафтах Мексики и Перу. Однако судьба ее оказалась самой трагической. В то же время, около 1000 г. н. э., зародилась европейская культура, которая уже в момент рождения продемонстрировала свое отличие от остальных в виде необычайной интенсивности самовыражения, натиска во всех направлениях духовной и физической сфер. Протяженностью своего родного ландшафта она во много раз превосходила предшественников, и с этих исходных позиций в середине своей жизни она вступила в эпоху [географических]¹ открытий, проникла во все уголки земного шара и превратила его в объект своей политики. Ее испанские представители — два во-

¹ Здесь и далее в квадратных скобках даются слова, которые, на мой взгляд, уточняют смысл сказанного автором. — *Примеч. пер.*

енных отряда Кортеса и Писарро — открыли цивилизации Мексики и Перу, уже достигшие самой последней стадии, которой свойственна изысканность материальной жизни. На фоне двух величественных империй Мексики и Перу с их развитыми до пределов, на которые только была способна их душа, социальными формами, экономико-политической организацией, транспортом, коммуникациями и городской жизнью, испанские завоеватели смотрелись как наивные варвары. Однако отсутствие у этих империй интереса к технике делало их беспомощными перед несколькими пушками и лошадьми завоевателей. В последнем акте этой драмы, продолжавшейся всего несколько лет, чужестранцы стерли эти империи с лица земли. Такой конец поучителен в плане того внимания, которое Мировой Дух уделяет человеческим ценностям и чувствам. Какой прорицатель осмелился бы заявить последнему ацтекскому императору, окруженному великолепием всемирно-исторического уровня и облеченному вселенской властью, что совсем скоро джунгли поглотят его города и дворцы, что его войско и аппарат управления огромной империей будут сметены ударом нескольких сот варваров?

Душа любой культуры строго индивидуальна, она ничего не заимствует у других культур и ничего им не отдает. Любой живущий за ее границами для нее — враг, будь то примитивный или культурный народ. Для данной культуры все они варвары, язычники, и с ними не может быть взаимопонимания. Мы знаем, что народы Запада доказали право европейской культуры на жизнь в ходе крестовых походов против высокоцивилизованных сарацин, мавров и турок. Мы знаем, как германцы на востоке, а их вестготские братья на юге веками теснили варваров-славян и цивилизованных мавров. Мы видели, как европейские корабли и армии превратили весь мир в добычу для Запада. Таким было отношение Запада ко всему внешнему.

Внутри нашей культуры зародилось готическое христианство с его соборами как возвышенными символами империи и папства, открывавшее в монастырских кельях тайны духовного мира и природы. Для самовыражения душа культуры сформировала европейские нации, наделив их индивидуальностью, в итоге заставившей каждую нацию думать, что она и есть культура сама по себе, а не особый орган культурного организма. Из деревушек готических времен выросли города, в городах развился интеллект. Ясно, что в этих городах старый спор между разумом и верой — основной вопрос ранней схоластики — постепенно решился в пользу разума. Готическая аристократия — хозяйева

земли, над которыми не было господина, если они кого-либо добровольно таковым не признавали, подчинилась идее — *государству*. Жизнь мало-помалу переходила от внутренних проблем к внешним, концентрируясь на политике, а для обеспечения политического соперничества развились новые экономические средства: старый аграрный уклад преобразовался в индустриальный. В конце этого пути ждала своего часа призрачная и страшная идея: *деньги*.

С этим явлением столкнулись также другие культуры, на той же стадии и в тех же масштабах. Постепенное нарастание его важности происходит одновременно с последовательным самоутверждением разума перед верой и достигает апогея в эпоху национализма, когда части единой культуры кромсают друг друга без оглядки на внешние угрозы. В этой точке кульминации деньги в союзе с рационализмом борются за господство над жизнью культуры против сил государства и традиции, общества и религии. В своем кратком путешествии в межзвездное пространство мы достигли отстраненной позиции, с которой смогли увидеть, как семь раз в семи высоких культурах разыгрывается эта грандиозная жизненная драма, и каждая из них в финале увенчивается великим кризисом длиной в два столетия. Мексиканско-перуанская цивилизация преодолела внутренний кризис только для того, чтобы пасть от мародеров, пришедших из-за моря.

Великий кризис Запада разразился в виде Французской революции с ее последствиями. Наполеон стал символом перехода от культуры к цивилизации как стадии превосходства всего материального, внешнего, силового, гигантских экономик, армий и флотов, огромных чисел и колоссальной техники над культурой и внутренней жизнью, которые выражают себя в религии, философии, искусствах, в господстве над внешней политической и экономической жизнью жесткой формы и символизма, в укрощении в человеке хищника и в чувстве культурного единства. Это была победа рационализма, денег и большого города над традициями религии и авторитета, интеллекта над инстинктом.

То же самое мы видели в предыдущих высоких культурах, когда они приближались к своей заключительной жизненной фазе. В каждом случае кризис разрешался восстановлением временно утраченной власти религии и авторитета, их победой над рационализмом и деньгами и финальным объединением наций в *Империиум*. Двухвековой жизненный кризис огромного организма выливался в масштабные войны и революции. Вся энергия культуры, прежде переходившая во внутренние творения мыс-

ли — религию, философию, науку, искусство, великую литературу, — теперь направлялась на внешнюю жизнь, состоящую из экономики, войны, техники и политики. В этой последней фазе наибольших высот достигал символизм власти.

Здесь мы внезапно вновь возвращаемся на землю. Мы уже не остаемся отстраненными, а должны участвовать в великой драме культуры, хотим мы этого или нет. Нам остается только выбрать, будем ли мы участвовать в ней как субъект или как объект. Мудрость, связанная с пониманием органической природы высокой культуры, дает нам ключ к событиям, происходящим на наших глазах. Если мы им воспользуемся, наши действия приобретут *значимость*, в отличие от оппортунистической, ретроградной политики недоумков, которые попытаются вернуть западную цивилизацию на прежний курс, потому что их пустые головы не в состоянии воспринять новые господствующие идеи.

III

Осознав *органическую природу высокой культуры*, мы полностью очищаемся от материалистического шлама, который до сих пор мешал нам приоткрыть тайну Истории. Смысл этого знания прост, но скрыт в глубинах внутреннего постижения, доступных далеко не всем. Из него проистекают все детали исторического мировоззрения, без которого будущее не состоится. Поскольку культура есть живой организм, она обладает индивидуальностью и душой. Поэтому в своих глубинах она не подвержена влиянию никаких внешних сил. Как у всякого организма, у нее есть судьба, есть период вызревания и момент рождения. Ей свойственны рост, совершеннолетие, расцвет, преклонный возраст и смерть. Поскольку она обладает душой, все ее проявления несут одну и ту же духовную печать подобно тому, как жизнь каждого человека обусловлена его неповторимостью. Обладая душой, отдельная культура после смерти уже не возвращается. Как и нации, которые она создает для реализации разных жизненных фаз, культура существует только единожды. Уже не будет другой индийской культуры, ацтекско-майянской культуры, классической или западной культуры, как не будет второй спартанской, римской, французской или английской наций. Будучи *живым организмом*, культура имеет продолжительность жизни, составляющую около тридцати пяти поколений в период наивысшего потенциала или сорок пять поколений, считая от первых проблесков в ландшафт-

те и до окончательного затухания. Продолжительность жизни культур может быть разной, и в этом они подобны другим организмам. Например, для человека это семьдесят лет, хотя данная цифра не постоянна.

Высокие культуры находятся на вершине органической иерархии, включающей также растения, животных и человека. В отличие от них культуры невидимы, то есть не проявляются в лучах света. Этим они напоминают человеческую душу. Тело высокой культуры образует популяционные потоки в ее ландшафте. Они обеспечивают культуру веществом, благодаря которому она реализует свои возможности. Дух, оживляющий эти популяции, соответствует жизненной фазе культуры: юности, зрелости или окончательному завершению. Как и человеку, культуре свойственны определенные возрастные стадии, сменяющие друг друга с ритмической неизбежностью. Они закладываются в нее внутренним органическим законом подобно тому, как старость закладывается при зачатии человека. Это качество, задающее *направление*, мы называем судьбой. Судьба является отличительной чертой всего живого, сущность которого можно понять, только мысля в терминах судьбы. Другой способ человеческого мышления основан на *причинности*. Этот способ предназначен для решения *неорганических* проблем, имеющих отношение к технике, механике, инженерии, систематическому естествознанию. Однако здесь он обнаруживает пределы своей эффективности, становясь абсурдным, если применять его к жизни и утверждать, что юность есть *причина* зрелости, зрелость — старости, бутон — *причина* цветка, а гусеница — *причина* бабочки.

Идея судьбы — лейтмотив органического мышления. Тот, кто считает судьбу всего лишь невидимой причинностью, не понимает ничего. Идея причинности является принципом систематического и неорганического мышления, на котором основана наука. Его цель состоит в *подчинении* вещей пониманию, оно стремится все поименовать, очертить контуры и затем связать явления друг с другом посредством классификации и каузальной сцепки. Кант — высший образец такого типа мышления в западной философии. За ним следуют Юм, Бэкон, Шопенгауэр, Гамильтон, Спенсер, Милль, Бентам, Локк, Гольбах, Декарт. К органическому направлению принадлежат Макиавелли, Вико, Монтень, Лейбниц, Лихтенберг, Паскаль, Гоббс, Гёте, Гегель, Карлейль, Ницше и, наконец, Шпенглер — философ XX—XXI веков.

Научное мышление достигает высот, познавая материю, которая обладает *протяженностью*, но не *направлением*. Матери-

альные события могут контролироваться, они обратимы, в одинаковых условиях дают идентичные результаты, периодически повторяются, поддаются классификации и могут быть успешно постигнуты, поскольку являются предметом *априорной*, механической необходимости, иными словами, *причинности*.

Научное мышление бессильно в царстве жизни, события которой неконтролируемы, необратимы, никогда не повторяются, уникальны, не поддаются классификации, рациональной обработке и не подчиняются внешней, механической необходимости. Каждый организм представляет собой нечто новое, следующее *внутренней* необходимости и уходящее, чтобы больше не возвращаться. Каждый организм обладает набором возможностей, очерченных строгими рамками, и его жизнь есть процесс актуализации этих возможностей. Способ мышления в терминах судьбы равносителен *вживанию* (*living into*) в другие организмы для понимания особенностей их жизни и необходимости. Это позволяет знать, что *должно* произойти.

Термин «*участь*» (*Fate*) относится к неорганическому мышлению. Это — стремление подчинить Жизнь внешней необходимости, имеющей религиозное происхождение, а источником религии является каузальный тип мышления. Религия предшествует любой науке, которая просто преобразует сакральную каузальность религии в профаническую, механическую необходимость.

Участь *не* является синонимом судьбы, но ее противоположностью, приписывая свойство необходимости всем *случаям* жизни, тогда как судьба есть *внутренняя* необходимость организма. Случай может забрать жизнь и тем самым завершить чью-то судьбу, но такое событие, источник которого *вне* организма, не причастно его судьбе.

Любой факт есть случай, непредсказуемый и неисчислимый, но внутреннее разворачивание жизни определяется судьбой и реализуется, опираясь на факты (благоприятные и неблагоприятные), преодолевая или же уступая им. Судьба каждого родившегося ребенка — в итоге состариться. Если вмешивается случай в виде болезни или несчастья, данная судьба может не реализоваться. Эти внешние случаи, способные возвысить человека, несмотря на его промахи, или расстроить его планы, несмотря на его самоотдачу и совершенное владение идеей своего времени, не имеют смысла для мышления в терминах судьбы.

Судьба присуща организму, заставляет его выражать свои возможности. Случай чужд организму, слеп и не связан с необ-

ходимостью, но при этом может сыграть решающую роль в актуализации организма, сглаживая или, наоборот, затрудняя его путь. То, что называется удачей, роком, участью, провидением, выражает недоумение и трепет человека перед не поддающейся разгадке тайной.

Мышление судьбой и каузальное мышление, однако, взаимосвязаны по причине общего происхождения: оба являются производными жизни. Даже самый неорганический философ или ученый, самый бестолковый материалист или механицист следует своей судьбе, своей душе, своему характеру, своей продолжительности жизни, и от этих ограничений судьбы его не избавляет свободный, безграничный полет причинного воображения. Судьба есть сама жизнь, но причинность — всего лишь способ мышления, посредством которого определенная форма жизни, а именно культурный человек, пытается подчинить все вокруг своему пониманию. Поэтому между ними существует иерархия: мышление судьбой, безусловно, является приоритетным, поскольку охватывает всю жизнь, тогда как каузальное мышление отражает только часть жизненных возможностей.

Эти отличия можно пояснить иначе: каузальное мышление способно понимать потому, что его неживой материал не оказывает сопротивления, подчиняясь в силу отсутствия собственного внутреннего побуждения любым накладываемым на него условиям. Однако когда каузальное мышление пытается подчинить жизнь, активен сам материал: двигаясь независимо, он не собирается спокойно ждать, когда его классифицируют и систематизируют. В свою очередь мышление судьбой способно к пониманию в силу того, что судьба движет каждым из нас, внутренне побуждая оставаться самим собой и за счет переноса внутреннего чувственного опыта вживаться в другие формы жизни, другие индивидуальности. Мысля судьбой, мы движемся вместе с предметом мышления, тогда как причинное мышление стоит на месте и может что-то понять только о том предмете, который также неподвижен.

Способнейшие из систематиков не только подвластны судьбе, но в своей повседневной жизни и отношениях с другими людьми все (непроизвольно) мыслят в терминах судьбы. Самый рьяный рефлексолог бессознательно применяет кое-что из психологической мудрости аббата Гальяни или Ларошфуко, пусть даже никогда и не слышал об этих духовидцах.

Два аспекта истории

Мы сделали такой четкий акцент на тотальном различии между способами человеческого мышления, представленным, с одной стороны, основополагающей идеей судьбы, а с другой — причинностью, потому что только один из них пригоден для познания истории. История есть хроника судеб завершившихся культур, народов, религий, философий, наук, математик, искусств, великих людей. Только чувство *эмпатии* позволяет понять эти ранее жившие души по сохранившимся записям. Причинность здесь беспомощна, потому что каждую секунду в жизненное море вбрасывается новый факт, и от точки его падения во все стороны расходятся круги перемен. Тайные факты никогда не записываются, но каждый из них меняет курс фактической истории. Подлинное понимание любого организма, будь то высокая культура, нация или человек, требует видеть душу, скрытую *за и под* фактами, имеющими отношение к данному существу. Эта душа выражает себя посредством внешних событий, а зачастую — наперекор им. Только так можно отделить все поистине существенное от несущественного.

Все существенное должно обладать качеством судьбы. В таком случае несущественное — это то, что к судьбе отношения не имеет. Судьбой Наполеона было назначение Карно военным министром, потому что другой человек мог бы не обнаружить разработанный Наполеоном план вторжения в Италию через Лигурийские горы, уже похороненный в министерских папках. Такова судьба Франции, что автор плана был человеком действия, равно как и теоретиком. Очевидно, что чувство, дающее возможность отличить судьбу от случайности, весьма субъективно, и более глубокая интуиция может усмотреть судьбу там, где поверхностный взгляд видит только случай. Поэтому люди отличаются также своими способностями к пониманию истории. Есть *историческое* чувство, способное видеть под оболочкой истории душу, обуславливающую эту историю. История, представшая в свете такого исторического чувства, имеет, стало быть, *субъективный аспект*. Это первый аспект истории.

Второй аспект истории, объективный, равно не поддается жесткому определению, хотя на первый взгляд это кажется возможным. Написание чисто *объективной* истории является целью так называемого описательного (*reference*), или нарративного метода представления истории. Тем не менее он неизбежно *отбирает и располагает* факты. Здесь вступают в игру поэти-

ческая интуиция, историческое чувство и вкус автора. Если их полностью исключить, результат будет не историческим текстом, а перечнем дат, также не избавленным от избирательности. Это тоже не история.

Генетический метод написания истории стремится излагать *события* совершенно непредвзято. Это нарративный метод с элементами некоторого рода каузальной, эволюционной или органической философии, позволяющей проследить развитие одного из другого. На этом пути не удастся достичь объективности, потому что сохранившиеся факты могут быть либо слишком немногочисленными, либо наоборот, избыточными, и в любом случае надо приложить искусство для заполнения пробелов или отбора. Ни то ни другое невозможно сделать беспристрастно. Именно историческое чувство определяет *важность* прошлых событий, прежних идей, великих людей прошлого. Веками Брут и Помпей считались более значительными, чем Цезарь. В 1800 г. Вульпиуса ставили выше Гёте. Уже подзабытый Менгс в свое время слыл одним из величайших художников мира. Более столетия после смерти Шекспира многие современники видели в нем посредственного драматурга. Эль-Греко не замечали еще 75 лет назад. Цицерон и Катон до конца Первой мировой войны считались великими людьми, а не тормозящими культуру посредственностями. Жанна Д'Арк не была включена в составленный Шастелленом на смерть Карла VII список всех военачальников, сражавшихся против Англии. И наконец, обращаясь к читателям из 2050 года, я могу сказать, что ни Героя, ни Философа периода 1900—1950 гг. их современники не рассматривали в тех же исторических аспектах, в которых видите их вы.

Классическая культура представлялась одной во времена Винкельмана, другой — во времена Ницше, и совсем иначе будет выглядеть в XX—XXI столетиях. Аналогично елизаветинская Англия довольствовалась трактовкой Цезаря, которую дал Плутарх, тогда как Англия *fin-de-siècle*¹ требовала, чтобы Шоу изображал Цезаря по Моммзену. Вильгельм Телль, Мария Стюарт, Гёц фон Берлихинген, Флориан Гайер — все они сегодня имели бы новые лица, потому что мы смотрим на те исторические периоды под иным углом.

Тогда что же такое история? *История есть взаимоотношение между прошлым и настоящим.* Поскольку настоящее постоянно меняется, то же самое происходит с историей. У каж-

¹ Конец века (фр.). — Примеч. пер.

дой эпохи своя история, которую дух времени¹ создает себе по душе. С безвозвратным уходом эпохи меркнет и свойственная ей картина истории. Поэтому любая попытка написать историю в духе, «как было на самом деле», равносильна исторической незрелости, а вера в объективные стандарты представления истории есть самообман, так как на передний план всегда выходит дух времени. Общее согласие современников с определенными воззрениями на историю не делает эти воззрения *объективными*, но только присваивает им наивысший из возможных рангов, который они могут иметь в смысле точного выражения духа времени, соответствующего конкретной эпохе и конкретной душе. Высшая степень истины недостижима, это удел божества. Всякий, кто разглагольствует о своей «современности», должен отдавать себе отчет, что не менее «современным» чувствовал себя человек в Европе Карла V, а в глазах жителя 2050 г. наш современник будет выглядеть столь же старомодным, как для него самого — житель 1850 г. Журналистский взгляд на историю выдает отсутствие исторического чувства у его обладателя, которому поэтому следует воздерживаться от обсуждения исторических материй — как минувших, так и пребывающих в процессе становления.

Относительность истории

История всегда имеет субъективный аспект и объективный аспект. Определяющим при этом не является ни то ни другое само по себе, но только их *взаимоотношение*. Каждый из двух аспектов может быть произвольным, однако отношение между ними не случайно и, выражая дух эпохи, является в историческом смысле *истинным*.

Все восемь культур, промелькнувшие перед нами в коротком обзоре, обладали своим собственным отношением к истории в целом, и это отношение развивалось в определенном направлении в течение жизни каждой культуры. В этой связи достаточно будет упомянуть классическую. Римляне считали Тацита, Плутарха, Ливия, Светония историческими философами. Для нас они всего лишь рассказчики, совершенно лишенные исто-

¹ Англ.: *the Spirit of the Age*, букв.: «Дух эпохи», что соответствует, в понимании автора, немецкому *Zeitgeist* — духу времени как эпохи. — *Примеч. пер.*

рического чувства. Это не порицание в их адрес, но сообщает нам нечто о нас самих. Наше видение истории характеризуется напряженностью, пылкостью, пытливостью и всесторонностью, как и вообще склад нашей западной души. Если бы история насчитывала десять, а не пять тысячелетий, мы бы непременно ориентировались на все десять.

Особым чувством истории отличаются друг от друга не только культуры, но также их разные эпохи. Несмотря на то что в любую эпоху представлены все жизненные тенденции, следует подчеркнуть, что в каждую из них доминирует только одна. Так, во всех культурах *религиозное* чувство достигает высшего развития в первой великой жизненной фазе, длящейся около пяти веков, затем оно подавляется *критической* духовностью, что продолжается несколько дольше, и далее вытесняется *историческим* взглядом, на смену которому постепенно приходит финальное возрождение религии.

Последовательность трех жизненных тенденций такова: сакральная, светская (*profane*) и скептическая. Политической фазе феодализма соответствует религия, абсолютному государству и демократии соответствуют ранняя и поздняя критическая философия, а стадия восстановления авторитета и цезаризма сопровождается скептицизмом и возрождением религии.

Внутрикультурное развитие идеи науки, или естественной философии, происходит последовательно от *теологии* через *физические науки и биологию* к чистой, нетеоретической *манипуляции природой* как научному аналогу скептицизма и восстановленного авторитета.

Эпоха, следующая за эпохой демократии, видит своих предшественников только в их чисто историческом аспекте. Только так она может чувствовать с ними связь. Однако, как станет ясно дальше, здесь тоже есть своя императивная сторона. Культурный человек всегда *един*, и сам по себе факт преобладания одной жизненной тенденции не может нарушить этого органического единства.

Индивиды любой эпохи отличаются друг от друга развитостью исторического чувства. Достаточно задуматься о разном историческом кругозоре Фридриха II и одного из его сицилийских царедворцев; о Цезаре Борджиа и одном из его капитанов; о Наполеоне и Нельсоне, Муссолини и его убийце. Политическая единица, оказавшаяся в руках оппортуниста, человека без исторического кругозора, за его невежество должна расплачиваться кровью.

В дополнение к тому, что сама душа западной культуры характеризуется наибольшей исторической энергией, она рождает людей, наделенных величайшим историческим чувством. Эта культура всегда *сознавала* собственную историю. В каждый поворотный момент было достаточно людей, понимавших его смысл. Обе стороны любого внутриз западного противостояния ощущали себя полномочными представителями будущего. Поэтому западный человек испытывал потребность в картине истории, на основе которой можно было бы мыслить и действовать. Тот факт, что культура не стояла на месте, означал также и то, что непрерывно менялась история. *История есть постоянная реинтерпретация прошлого*. Поэтому она всегда «истинна»: господствующие исторические воззрения и ценности каждой эпохи являются выражением ее особой души. Исторические альтернативы не являются *истинными* или *ложными*, но *эффективными* или *неэффективными*. Истина в религиозно-философско-математическом смысле, то есть вневременная, непреходящая, отделенная от жизненных условий, не имеет отношения к истории. Истинная история есть история, актуальная в выдающихся умах.

Историческое чувство высокой пробы присуще двум группам: тем, кто пишет историю и тем, кто ее делает. Между этими группами также существует иерархия. История пишется для того, чтобы обеспечить эпоху необходимой картиной прошлого. Затем эта картина, четкая и выразительная, обретает силу в мыслях и действиях ведущих исторических деятелей эпохи.

Наша эпоха, как и другие, обладает собственной, подобающей ей картиной истории, и при этом она не вправе выбирать одну из нескольких картин. Наши исторические воззрения определяются духом нашей эпохи. Ее характерными чертами является внешняя направленность, фактуальность, скептицизм и историзм. Она не руководствуется великими религиозными или критическими чувствами. То, что для наших культурных прародителей было предметом радости, скорби, страсти, необходимости, для нас — предмет уважения и знания. Центром тяжести нашей эпохи является политика. Чистое историческое мышление сродни политическому. Историческое мышление всегда ищет знания о том, что было, не стремясь что-либо доказать. Политическое мышление свою первую задачу видит в установлении фактов и возможностей с последующим влиянием на них посредством действия. Оба типа мышления неотделимы от *реализма*. Ни то ни другое не подразумевает некоей программы, которую хочет практически доказать.

Наша эпоха — первая в истории Запада, когда абсолютное подчинение фактам одержало победу над всеми остальными духовными установками. Это естественное следствие исторической эпохи, когда критические методы уже исчерпали свои возможности. В сфере мысли торжествует историческое мышление, в сфере деятельности центральное место занимает политика. Мы следуем за фактами независимо от того, куда они ведут, даже если вынуждают нас отказываться от облюбованных схем, идеологий, душевных иллюзий и предрассудков. Предыдущие эпохи в истории Запада формировали свою историю по предпочтениям своей души; мы поступаем так же, но наш взгляд не ограничен предзаданными этическими или критическими рамками. *Напротив, наш этический императив выводится из наших исторических воззрений, а не наоборот.*

Наши воззрения на историю не более произвольны, чем в любую другую эпоху Запада. Они *для нас обязательны* и свойственны каждому человеку, уровень значимости которого зависит от способности удерживать эти вопросы в фокусе. Если человек является эффективным представителем данного времени, значит, он руководствуется именно данной картиной истории и никакой другой. Вопрос не в том, *должен* ли он ею руководствоваться: так думать ошибочно. Он просто *будет* ею обладать, в своих чувствах и бессознательной оценке событий, независимо от своих артикулированных и вербализированных идей.

Смысл фактов

Вне связи с тем, являются ли исторические воззрения человека интеллектуально оформленными, наряду с их влиянием на его бессознательные действия, мысли и оценки, все это функционально зависит от общих свойств его личности. Некоторые люди испытывают более сильную потребность мыслить абстрактно, чем другие.

Чувство факта, историческое чувство, безусловно, не может обойтись без творческого мышления. Чувство факта в первую очередь зависит от способности видеть все, как есть, без этических или критических предубеждений о том, как должно или не должно быть, что может или чего не может быть. Факты жизни — это исторические данные. *Факт жизни — это нечто произошедшее.* Он остается фактом независимо от того, известен он кому-либо или нет, не оставив следа. Очевидно, что при интер-

претации исторических данных включается творческое мышление, а моментальная рефлексия открывает, что творческим является также процесс оценки данных истории.

Физические факты, например сопротивление, кислотность, краснота, воспринимаются всеми. Жизненные факты недоступны человеку, имеющему окостеневший взгляд на историю и убежденному в том, что целью всех предыдущих событий было сделать возможной данную эпоху, и что единственный смысл истории — «прогресс». Остатки социальной этики, предвзятые исторические представления, утилитарные догмы — все это отсекает свою жертву от духовного (inner) участия в жизни XX и XXI столетий.

В нынешнем столетии открывается новая возможность — осмысление фактов, упущенных в предыдущие эпохи и в предыдущих культурах. При этом должны восстанавливаться не мелкие случайные детали, но общая схема необходимого органического развития. Наши знания о предыдущих культурах и их структуре позволяют восстановить картину развития одних культур по аналогии с другими. Но для нас, ныне живущих, важнее всего возможность восполнить пробелы, необходимые для завершения собственной культуры. Точно так же палеонтолог реконструирует в общих чертах целый организм по единственному фрагменту черепа. В обоих случаях процесс оправдан и заслуживает доверия, поскольку всех своих представителей жизнь создает по определенным образцам. На основании сохранившегося анонимного литературного труда, подходя творчески, можно воссоздать общий духовный портрет неизвестного автора. Разве нельзя сделать этого в отношении создателя «Книги о совершенной жизни» («Das Büchlein vom vollkommenen Leben»)? Точно так же период «крестовых походов» любой культуры можно реконструировать на основе знаний об этапах ее «реформации» или «просвещения».

Сферу мышления интересуют недостающие стадии ушедших культур и будущее нашей собственной, но деятельность ищет в прошлом только ключи к своей эффективности. Поэтому роль историографии и исторического мышления оценивается по их способности обеспечивать эффективность действия.

Чувство факта служит цели, только если отброшены догмы, социально-этические идеи и критические излишества. Для чувства факта существенно, что сотни миллионов людей на определенной территории верят в правоту конфуцианских доктрин. Чувство факта *не видит смысла спорить*, истинны эти доктрины

или нет, независимо от значения, придаваемого истинности или ложности конфуцианства религией, прогрессистской идеологией и журналистикой.

Для писателя-историка XXI века самое важное в отношении клеток, эфирных волн, бактерий, электронов и космических лучей нашего времени будет состоять в том, что мы в них верили. Все эти понятия, которые наша эпоха считает *фактами*, для XXI столетия сожмутся в один факт, состоящий в том, что в свое время такой была картина мира культурного человека определенного типа. Так же мы смотрим на теории природы Аристарха и Демокрита в классической культуре.

Таким образом, *факты* тоже имеют свое субъективное и объективное содержание. Опять-таки, именно отношение между человеком и явлением обуславливает форму факта. Поэтому каждая культура имеет дело со своими собственными *фактами*, возникающими из ее собственных *вопросов*. Факт определяется тем, какой человек сталкивается с явлением: представляет ли он высокую культуру и какую именно, а также его принадлежностью к эпохе, нации, духовному и социальному слою.

В текущем 1948 г. факты Второй мировой войны в головах европейского культурного слоя — это одно, а в умах толпы, читающей газеты, — нечто совершенно иное. К 2000 г. взгляды сегодняшнего культурного слоя станут взглядами большинства, а независимым мыслителям к тому времени станет известно еще больше фактов о той войне, чем теперь этим немногим, поскольку одной из особенностей жизненных фактов является то, что на расстоянии — в данном случае, временном — их очертания проступают более четко. Мы больше знаем об истории Римской империи, чем Тацит, больше о наполеоновской истории, чем Наполеон, гораздо больше о Первой мировой войне, чем ее инициаторы и участники, а житель Запада в 2050 г. будет знать наше время лучше нас самих. Для Брута его мифические предки были фактом, но для нас важнее то, что он в них верил.

Таким образом, чувство факта как предпосылка исторического мировоззрения XX века возникает в виде *поэзии* жизни. Это прямо противоположно прозаической, убогой привязанности к материалистическим представлениям о том, что значение имеют лишь факты, подтверждающие «прогрессистскую» идеологию. Подобные представления не позволяют своим жертвам ощутить красоту и силу фактов истории, равно как и понять их смысл. XXI век, для которого новые исторические воззрения станут очевидными, сочтет фантастичной (если, конечно, обратит

на нее внимание) веру людей прошлого в то, что вся предыдущая история была лишь приближением к их уровню. А ведь именно таковы были взгляды XIX века: целые культуры, вполне равноценные нашей собственной по истокам и духовности, жили и умирали только ради того, чтобы филистерская идеология «прогресса» смогла перечислить на школьной доске их «достижения» в виде нескольких идей или технических изобретений.

Несостоятельность линейных воззрений на историю

I

Жизнь есть постоянная битва между юностью и старостью, новаторством и традицией. Спросите Галилея, Бруно, Сервета, Коперника, Гаусса. Все они были представителями будущего, хотя при жизни так или иначе потерпели поражение от господствующего прошлого. Коперник, пока был жив, опасался печататься, чтобы его не сожгли как еретика. Гаусс завещал опубликовать свое освободительное открытие неевклидовой геометрии после своей смерти, опасаясь возмущения невежд. Поэтому неудивительно, что материалисты, понося или окружая заговором молчания, отказывая в публикации или доводя до самоубийства, как в случае Хаусхофера, преследуют тех, кто мыслит в духе XX века и при этом опровергает методы и умозаключения материализма XIX века.

Взгляд на историю, присущий XX веку, должен пробиться сквозь руины линейной схемы, основанной на представлениях об истории как прогрессе от «Античности» через «Средневековье» к «Модерну». Я упомянул руины, потому что схема рухнула уже несколько десятилетий назад, но ее руины упорно обороняются. В них засели материалисты, посмертные представители XIX века, филистеры «прогресса», социальной этики, одряхлевшие адепты критической философии и разномастные идеологи.

Общим для них является рационализм. Доктрина их веры состоит в том, что история *разумна*, сами они тоже обладают *разумом*, и потому в истории все происходит и будет происходить в соответствии с их постулатами. Истоки этого трехстадийного взгляда на историю обнаруживаются у св. Иоахима Флорского, готического церковника, который выдвинул эти три стадии в качестве *мистической* прогрессии. Укреплявшемуся в своей не-

отесанности и бездушии интеллекту оставалось истолковать эту прогрессию в *материалистически-утилитарном* духе. Уже на протяжении двухсот лет каждое поколение почитало себя вершиной, к достижению которой стремился предыдущий мир. Становится ясно, что материализм — это тоже вера, грубая карикатура на предшествующую ему религию. Теперь эта вера низложена — не потому, что неверна, поскольку веру невозможно опровергнуть, но потому, что дух новой эпохи свободен от материализма.

Линейная схема более или менее удовлетворяла европейца до тех пор, пока он не знал ничего об истории помимо Библии, классических авторов и западных хроник. И даже тогда она бы не устояла, если бы не пребывала в забвении философия истории. Однако поток археологических изысканий, включая раскопки и расшифровку древней письменности Египта, Вавилонии, Греции, Крита, Китая и Индии, начался лишь немногим более столетия назад. Они продолжают до сих пор и охватывают теперь также Мексику и Перу. Эти исследования продемонстрировали исторически ориентированной западной цивилизации, что она никоим образом не является уникальной в своем историческом величии, но принадлежит к группе высоких культур сходной структуры, столь же утонченных и великолепных. Из них западная культура стала первой обладательницей энергичного исторического импульса и географического положения, обеспечивших доскональное развитие археологии, которая теперь включает в сферу своей компетенции весь исторический мир подобно тому, как западная политика в одночасье охватила всю поверхность земли.

Результаты этих доскональных археологических исследований ломают старомодную линейную схему восприятия истории, совершенно неспособную вместить новое изобилие фактов. Поскольку существовала определенная *географическая*, если не *историческая*, общность между египетской, вавилонской, классической и западной культурами, их еще можно было втиснуть в привычную общую схему, убедительную для тех, кто в нее верил. Но с открытием истории культур, достигших завершения в Индии, Китае, Аравии, Мексике, Перу, эта схема перестала убеждать даже верующих в нее.

Более того, материалистический дух, постулировавший «влияние» предшествующих культур на последующие, тем временем иссяк, а новые *психологические* воззрения на жизнь признали первичность души, ее внутреннюю неприкосновенность и поверхность внешних заимствований.

Параллельно невиданному всплеску археологической активности, которая сломала старую линейную схему, развивалось новое ощущение истории. Смена воззрений стала для западной цивилизации душевной необходимостью одновременно с исторической поисковой активностью, даже несмотря на то что им суждено было полностью выразиться только после Первой мировой войны. Интенсивное углубление в прошлое было выражением того сверхличного ощущения, что тайная история *не* поддается старому линейному инструменту, что ее *необходимо* раскрыть, поэтому факты *должны быть* тщательно изучены в своей тотальности. По мере накопления новых фактов историки более высокого уровня расширили свой горизонт, но до самого конца XIX века фактически ни один историк или философ не рассматривал культуры как отдельные организмы: параллельные, независимые и равноценные в духовном отношении. Сама идея «культурной истории» была предвестником этих взглядов и предпосылкой развития воззрений на историю, присущих XX веку. Отказ от представления, что история есть только перечисление царств и сражений, союзов и дат, стал маркером новой эпохи. Возникло чувство потребности в «универсальной истории» как результате слияния последней с политикой, правом, религией, обычаями, обществом, торговлей, искусством, философией, войной, эросом и литературой в одном великом синтезе. Одним из первых выразил эту всеобщую потребность Шиллер, хотя и Вольтер, и Винкельман создали в этом духе свои специальные истории.

Идею *тотальной*, то есть *культурной*, истории дальше развил на духовной основе Гегель, а Конт и Бокль сделали то же самое в материалистическом ключе. Буркхардт не только создал вполне совершенный образец культурной истории в своей книге по итальянскому Ренессансу, но и развил философию историографии, предвосхитившую воззрения XX столетия. Вехами на пути отказа от линейного взгляда на историю являются Тэн, Лампрехт, Брейзиг, Ницше, Мерэ. В свое время только Ницше и в меньшей степени Буркхардт и Бахофен осознавали идею XX века о единстве культуры. Через два поколения эта идея применительно к высокой культуре распространилась в высшем духовном слое Европы, став предпосылкой как исторического, так и политического мышления.

В чем же заключался линейный взгляд на историю? В отличие от философии истории, он сводился к произвольному распределению исторических материалов для трактовки и описания

без философского осмысления. Претензия на последнее была бы необоснованной в свете того факта, что с течением поколений отправной пункт эпохи «Модерна» свободно переносился из одного столетия в другое. Все писатели формулировали смысл и указывали даты трех стадий по-своему, причем их формулировки исключали друг друга. Была ли необходимость в одинаковой терминологии при столь разных подходах?

Таким образом, все это было не философией истории, но просто перечнем из трех *имен*, за которые цеплялись, наверное, по причине свойственной им некоей магии. На этом основании нельзя было к тому же систематизировать исторические факты для описательных (reference) целей, поскольку в схеме не оставалось места для Китая и Индии, а вавилонская и египетская культуры, исторически эквивалентные классической и нашей собственной, рассматривались просто как эпизоды, слагавшие *прелюдию* к классической культуре. В свете этих абсурдных воззрений тысячелетие египетской истории заслуживало лишь примечания, тогда как десятилетие нашего века посвящался целый том.

II

Основой линейных воззрений был *культурный эгоцентризм*, или, иными словами, бессознательное допущение того, что смысл всей человеческой истории сконцентрирован в западной культуре, а ценность предыдущих культур зависит от их «вклада» в нашу культуру. Именно поэтому культуры, существовавшие в областях, удаленных от Западной Европы, практически вообще не упоминались. Под «вкладом» понималось несколько технических устройств из египетской и вавилонской культур и (в основном) остатки классической. В свою очередь арабская культура почти игнорировалась (по географическим причинам). И все же западная архитектура, религия, философия, наука, музыка, лирика, этикет, эрос, политика, финансы и экономика совершенно не связаны с соответствующими классическими формами. Именно археологический склад европейской души, ее интенсивно-историческая природа, заставляет видеть в ком-то духовного предка только по географическим причинам.

Поистине, как можно верить, и верил ли кто-то *на самом деле*, что Рим Гильдебранда, Александра VI, Карла V или Муссолини обладает какой-то преимуществом с Римом Фламиния, Суллы, Цезаря? Вся эта тоска Запада по Классицизму с ее двумя

обострениями в итальянском Ренессансе и прежде всего в движении Винкельмана, фактически была не чем иным, как литературно-романтической позой. Если бы мы знали о Мекке больше, чем о Риме, Наполеон мог носить титул халифа, а не первого консула, но внутренне ничего бы не поменялось. Наделение слов и имен магическим смыслом безусловно необходимо и оправдано в религии, философии, науке и критике, но не приличествует историческому мировоззрению.

Даже во времена итальянского Ренессанса Франческо Пико писал против одержимости классикой: «Кто [теперь] побоится сравнить Платона с Августином или Аристотеля с Фомой, Альбертом и Скотом?» Движение Савонаролы, наряду с религиозным, имело также культурный смысл: в костер были отправлены классические труды. Приписывать склонность к классике всему итальянскому Возрождению — сильное преувеличение: это была *литературная и академическая тенденция*, свойственная немногим кругам, вовсе не лидировавшим в мысли или деятельности. И все же это движение было провозглашено «связующим звеном» между двумя не имевшими ничего общего культурами, чтобы изобразить историю в виде прямой линии, а не параллельного в духовном отношении чистого и независимого развития высоких культур.

Для религиозного мировоззрения с его направлениями, философией и критикой, «прогрессистским филистерством» и социальной этикой факты имеют значение только как *доказательство* и в остальном не интересуют. Для исторического мировоззрения факты являются искомым материалом, поэтому те же доктрины, догмы и истины рассматриваются как просто факты.

Таким образом, предыдущие эпохи Запада удовлетворялись линейной схемой, несмотря на ее полную безотносительность к историческим фактам. Однако для XX века, сосредоточенного на политике, история есть не просто инструмент доказательства или иллюстрации какой-либо догмы или теории социально-этического «прогресса», но *источник* нашего действующего мировоззрения. Поэтому, безоговорочно подчиняясь духу времени, ведущие умы XX века отбрасывают старомодную, противоречащую фактам линейную теорию истории. Вместо нее дух времени открыл реальную структуру человеческой истории, состоящую из восьми высоких культур, каждая из которых — это организм, обладающий собственной индивидуальностью и судьбой. Философия истории старого образца использовала факты для дока-

зательства определенных религиозных, этических или критических теорий, тогда как мировоззрение XX века черпает свою философию истории из самих фактов.

Отталкиваясь от фактов, мировоззрение XX века тем не менее субъективно, поскольку такого взгляда на историю императивно требует его историческая душа. Отдавая приоритет фактам, наше видение является специфически *нашим*; люди другого типа, находящиеся за пределами западной культуры или ниже ее, способны понять его не более чем европейскую высшую математику, технику, физику или химию, готическую архитектуру или искусство фуги. Таким образом, данная картина истории, совершенно обязательная для всех уважающих себя мыслителей, принадлежащих к западной цивилизации, не обязательна для масс, бурлящих на улицах европейских столиц. Историческая относительность, как и физическая относительность, — компетенция немногих ведущих умов. История ощущается и творится не на улицах, а в верхах. Количество людей в западной цивилизации, понявших *действительный смысл* Второй мировой войны, исчисляется в тысячах. Западная философия со времен Ансельма всегда была эзотерической. То же справедливо и для воззрений XX века, соответственно невелико число тех, для кого они являются душевной потребностью. Однако число тех, кто будет руководствоваться решениями этих немногих, составляет уже не сотни, а сотни миллионов.

В XX веке представление обо всех прошлых событиях в человечестве как лишь предварительных и подготовительных к нашей западной истории — это потрясающая наивность. Развитие, на которое потребовалось, как и в нашей истории, не менее тысячелетия, сводится к набору случайных событий; к представителям иных культур относятся, как к детям, пытавшимся наощупь добраться до тех или иных наших специфически западных идей. Однако на самом деле каждая из этих предыдущих культур уже достигла и прошла стадию, до которой мы доросли в XIX и XX столетиях, когда развились свободная наука, социальная этика, демократия, материализм, атеизм, рационализм, классовая война, деньги, национализм, истребительные войны. Предельно искусственные бытовые условия, усложненная жизнь в мегаполисах, социальное расслоение, разводы, вырождение старого искусства в чистую бесформенность — все эти хорошо знакомые нам симптомы были свойственны всем культурам.

Огромный объем исторического знания, которое должен освоить XX век, — знания, раскопанного исторической эпохой,

следующей за эпохой критицизма, — не выносит произвольного втискивания фактов истории в заданную схему, состоящую из трех магических стадий. Причем их должно быть именно три, даже если не удастся согласиться о начале первой и завершении второй, а третья стадия неограниченно продлевается с тех пор, как в 1667 г. профессор Хорн из Лейдена объявил о своем открытии «Средних веков».

Первая формулировка воззрений на историю, свойственных XX веку, появилась только с Первой мировой войной. До этого один лишь Брейзиг однозначно порвал с линейной схемой, но его предварительная работа освещала лишь часть человеческой истории. Создать же полный очерк исторической структуры удалось Шпенглеру, философу нашей эпохи. Сам он был первым, кто подчеркнул сверхличную природу своей работы, отметив, что на него только пал жребий позаботиться об исторически существенной идее, принадлежащей ему лишь условно. Он смог просто *артикулировать* то, что нащупали другие. Взгляды этих других были ограничены тем или иным специальным горизонтом, сделавшим их перспективу узкой, односторонней и косной. Как и любое произведение гения, выводы Шпенглера кажутся вполне очевидными тем, кто идет следом, но ведь его труд предназначался все-таки потомкам, а не современникам. Гений всегда обращен в будущее: такова его природа и таково объяснение обычной судьбы всех гениальных работ как в политике и экономике, так и в искусстве и философии, величие и простота которых осознаются только после ухода их создателей.

Структура истории

I

Одним из бессознательных допущений линейной схемы была идея уникальности цивилизации. Понятие «цивилизация» использовалось так, словно всякая высокосимволическая жизнь, когда и где бы она ни возникла, являлась манифестацией одной и той же сущности — «цивилизации». Вне Запада «цивилизация» была недоразвитой, спотыкающейся, неуклюжей и стремилась приблизиться к западному образцу. Эта «цивилизация» представлялась чем-то таким, что по глупости упустили предыдущие эпохи, но неким образом она снова отыскивалась в какой-то забытой книге и «передавалась» в будущее. В этом вновь проявлял-

ся рационализм, постулировавший, что люди сами творят свою историю, и объяснявший все происходящее или человеческим совершенством, или человеческими ошибками.

Однако для высшей исторической интуиции, самосознательного, великого и деятельного исторического творчества, свойственного XX веку, история есть хроника жизни восьми высоких культур, каждая из которых является *организмом*, отмеченным индивидуальностью, как и все представители любой жизненной формы. *Высокая культура* есть форма жизни, занимающая вершину органической иерархии, в которой низшие ступени представлены растениями, животными и человеком. Каждая из культур является отдельным экземпляром этого высшего рода, индивидом. Принадлежа, таким образом, к одному роду, высокие культуры обладают одинаковыми признаками, что касается общего облика, жизненных потребностей, способов самовыражения, взаимоотношений с ландшафтом и популяционными потоками, а также продолжительности жизни.

Различия между культурами заключены в их душах, их неповторимости, поэтому, несмотря на сходную структуру, их *творения* в высшей степени несхожи. В органической иерархии индивидуальность становится все более концентрированной по мере перехода от растений через животных к человеку. Культуры демонстрируют еще бóльшую степень индивидуальности, чем человек, и, соответственно, их произведения еще в меньшей степени могут внутренне ассимилироваться с другими культурами.

С окончанием эпохи материализма Запад вновь осознал, что развитие организма состоит в разворачивании души. Материя — просто обертка, средство выражения духа. Эта древняя и универсальная мудрость — первый источник освобождения нашего исторического мировоззрения от мрака и диктата механицизма. События человеческой жизни являются выражением души данного человека на последовательных стадиях ее разворачивания. Одно и то же внешнее событие несет в себе различный *опыт* для каждого человеческого существа: *опыт есть взаимоотношение между душой и внешним событием*. Два лица не могут обладать одинаковым опытом, поскольку одно и то же событие каждой душой воспринимается по-своему.

Аналогично душевные реакции каждой культуры на внешние обстоятельства — ландшафт, популяционные потоки, события и движения за пределами культурной территории — строго индивидуальны. Религиозный опыт разных культур уникален: каждая

обладает своим собственным непередаваемым опытом постижения и изображения Бога, и этот религиозный стиль сохраняется на протяжении всей жизни культуры, полностью определяя философию, науку и также антирелигиозные феномены культуры. Всякой культуре свойственна собственная разновидность атеизма, столь же уникальная, как и религия. Философия и наука любой культуры всегда зависят от ее религиозного стиля; даже материализм является лишь грубой карикатурой на основополагающее религиозное чувство нашей культуры.

Формы и содержание искусства также индивидуальны у каждой культуры: например, западная первая изобрела масляную живопись и возвысила музыку. Характерное для каждой культуры чувство числа развивает в ней собственную математику, описывающую особый числовой мир, который тоже не подлежит внутренней передаче, даже если внешние результаты могут перениматься и затем внутренне перерабатываться другими культурами. Так же индивидуальны идеи государства, нации и устройство завершающего *Имперуума* — последнего политического творения культуры.

Каждой культуре присущ собственный стиль в технике: слабый и незрелый в классической и мексиканско-перуанской, колоссальный и ошеломляющий в нашей; собственный стиль ведения войны, собственное отношение к экономике, собственный исторический характер и органический *темп*.

Каждая культура обладает особой базовой моралью, определяющей ее социальную структуру, чувства и манеры, напряженность внутреннего императива и, соответственно, этический облик ее великих людей. Эта основная мораль определяет образ общественной жизни во время последней великой фазы жизни культуры — цивилизации.

Доскональным выражением принципа индивидуальности отличаются друг от друга не только культуры, но каждая эпоха данной культуры также несет свою особую печать. Эти отличия более выражены между индивидами одной культуры, чем между разными культурами, что объясняется оптической иллюзией увеличения размеров по мере приближения. Для нас разница между 1850 и 1950 годом кажется огромной, для истории 2150 года она такой выглядеть не будет. К изучению истории мы приступаем с тем чувством, что 1300 и 1400 годы в духовном отношении были почти одинаковы, но фактически за одно это столетие произошли духовные перемены столь же разительные, как и в период с 1850 по 1950 год.

Здесь линейная схема вновь совершенно искажает историю: говоря о «древности», она подразумевает одну сущность, одну общую духовность. Но как в Египте, так и в Вавилонии происходили события, соответствующие нашим крестовым походам, готической религии, Священной Римской империи, папству, феодализму, схоластике, Реформации, абсолютному государству, Просвещению, демократии, материализму, классовой войне, национализму и истребительным войнам. То же самое можно сказать об остальных культурах — китайской, индийской, арабской, классической и мексиканской. Объем доступной информации о разных культурах сильно отличается, но его достаточно, чтобы охарактеризовать структуру истории. Между двумя последовательными эпохами египетской истории была такая же разница, как между нашими 1700-ми годами (периодом войн за испанское наследство) и 1800-ми годами (Наполеоновскими войнами). Дистанционная иллюзия имеет аналог в пространственном мире: издали горная гряда выглядит гладкой, вблизи — зубчатой.

Идея о том, что «цивилизация» существует в единственном числе, не являясь особой естественной жизненной фазой культуры, была частью идеологии «прогресса». Эта светская религия, будучи специфической смесью разума и веры, отчасти удовлетворяла внутренний спрос XIX века. Дальнейшие исследования, возможно, обнаружат ее в других культурах. Ощущение, что «с каждым днем все улучшается», является, судя по всему, органической потребностью рационализма. Поэтому «прогресс» представлялся постоянным моральным совершенствованием «человечества», движением к большей и лучшей «цивилизованности». Идеологические формулировки у разных материалистов несколько отличались, но никто из них не позволял усомниться в самом существовании «прогресса». Сомневающиеся получали ярлык «пессимистов». Идеал, в направлении которого совершался непрерывный «прогресс», был с необходимостью недостижим, поскольку при его достижении прекратился бы сам «прогресс», что немислимо.

Такая картина устраивала эпоху критицизма, но в эпоху истории все это выглядит просто еще одним курьезом, выражением специфической стадии конкретной культуры. Она стоит в одном ряду с картиной мира середины XIV века, ожидавшего неминуемого конца света, помешательством на ведьмах XVI века и культом разума XVIII столетия. Все эти воззрения теперь представляют только исторический интерес. Для нас важно, что в свое время все это было предметом веры. Что касается попы-

ток навязать старомодную идеологию «прогресса» XX веку, то они совершенно нелепы: тот, кто намерен это сделать, демонстрирует свою анахроническую бездарность.

II

Всемирная история¹ призвана охватить все события человечества — и сопровождающие развитие какой-либо культуры, и внешние для любой из них. Но эти два класса событий не имеют ничего общего. *Человек как вид* — это одна жизненная форма, культурный человек — другая. Поэтому всемирная история в этих двух случаях описывает разные вещи.

Чем человек как вид отличается от остальных жизненных форм, таких как растения и животные? Просто наличием человеческой души. Эта душа формирует для человека мир, отличающийся от мира других форм жизни. Человеческий мир — это мир символов. Вещи, которые для животного не содержат ни смысла, ни тайны, для человека обладают символическим смыслом.

За пределами высокой культуры потребность в символизации проявляет себя при формировании первобытной культуры, которой свойственна анимистическая религия, этика табу и тотема и социально-политические формы того же уровня. Такой культуре не свойственно единство, т. е. не существует единственного *первичного символа*, который актуализировался бы во всех ее формах. Подобные культуры — просто *суммы*, наборы мотивов и тенденций.

Не бывает первобытного человека без какой-либо примитивной культуры такого типа. Человек не существует как *чистое* животное. Животным свойственно только репродуктивно-экономическое бытие: вся их индивидуальная жизнь состоит в процессе питания и репродукции, над этим уровнем нет духовной надстройки.

Тем не менее человеческая жизнь в первобытности и в сфере самоосуществления высокой культуры — вещи несопоставимые. Различие настолько велико, что представляет собой качество, а не просто уровень. На фоне истории культурного человека первобытный человек выглядит зоологическим объектом. История, ход которой наблюдал во время своих иссле-

¹ В оригинале здесь и ниже: «word history» («словесная история»), что, судя по всему, является двукратной опечаткой. — *Примеч. пер.*

дований Африки Стэнли, относилась к одному типу, а сам он представлял другой тип. Такой же зоологической является история озерных жителей Швейцарии, сегодняшних китайцев, арабов, бушменов, индийцев, американских индейцев, лапландцев, монголов и остальных бесчисленных племен, рас и народов за пределами западной цивилизации.

Животное заботится только об экономике, первобытный человек видит в мире скрытые смыслы, но культурный человек содержанием своей жизни полагает высокие символы. Высокая культура полностью реформирует экономическую практику включенного в нее населения, низводя экономику на самое дно пирамиды жизни. Для высокой культуры экономика имеет такое же значение, как функция питания для индивида. Все проявления жизни высокой культуры — архитектура, религия, философия, искусство, наука, техника, образование, эрос, градостроительство, империализм, общество — стоят над экономикой. Значимость индивида является отражением его персональной связи с культурными символами. Само по себе данное суждение вынесено культурой в ответ на *антикультурные* воззрения, подобные курьезной «материалистической интерпретации истории», состоящей в том, что любой пролетарий важнее Кальдерона, потому что Кальдерон, не будучи работником физического труда, ничего не достиг в мире, весь смысл которого заключен в экономике.

Различие между историей человека как биологического вида и историей человека, служащего высокой культуре, в том, что первый, в отличие от второго, лишен высокого смысла. Человек, участвующий в высокой истории, всем рискует и умирает за идею; в первобытности же не существует сверхличных идей подобной силы, но только личные стремления, грубое вожделие добычи или аморфной власти. Следовательно, было бы ошибкой считать различия только количественными, о чем говорит пример Чингисхана: явления, которые он инициировал, имели грандиозные масштабы, но в культурном отношении вообще не имели смысла. В стремительном броске последователей этого авантюриста не было *идеи*. Его завоевания стали фатальными для сотен тысяч, возведенная им империя сохранялась много поколений после него, но она просто находилась *вот здесь*, стояла ни для чего и ничего собой не представляла. Напротив, империя Наполеона, хотя и просуществовала недолго, имела символический смысл, который до сих пор актуален в умах европейцев, то есть, как мы далее увидим, содержала зародыш будущего Запада. Высокие культуры порождают величайшие войны, но их значе-

ние не сводится к массовому кровопусканию, а состоит прежде всего в том, что люди гибнут в борьбе идей.

После того как завершает себя высокая культура, население ее бывшей территории возвращается в первобытное состояние, о чем свидетельствуют примеры Индии, Китая, ислама и Египта. Мировые города пустеют, варвары не оставляют от них камня на камне, а остатки населения вновь распадаются на кланы и племена, вплоть до кочевых. Если внешние события не разрушают все до основания, кастовая система последней стадии сохраняется неопределенно долго, но это всего лишь скелетные останки бывшей культуры, которая, как все живое, умирает навсегда. Остается память о культуре, но отношение сохранившегося населения к ее произведениям снова становится совершенно примитивным, застывшим и чисто личным.

Брошенные мировые столицы снова поглощаются ландшафтом, над которым они некогда возвышались. Эти столицы, в свое время столь же величественные, как Берлин, Лондон и Нью-Йорк, зарастают джунглями или заносятся песком пустыни. Такой была доля Луксора, Фив, Вавилона, Паталипутры, Самарры, Ушмаля, Тескуко, Теночтитлана. В последних случаях забыты даже имена величественных городов, и мы называем их по близлежащим деревням. Но теперь уже неважно, лежит ли мертвый город на поверхности, населенной несколькими кланами, которые возделывают открытые пространства, сражаются на его улицах и укрываются в брошенных постройках, или же выветрившиеся руины заметает песок.

Пессимизм

I

Любопытный феномен: когда в начале XX века на смену религиозным и критически-философским взглядам предыдущих европейских эпох пришло органически необходимое историческое мировоззрение, позавчерашние мыслители встретили его криками о «пессимизме». Посредством этого заклинания, очевидно, полагали возможным отвадить дух начинающейся эпохи и воскресить мертвый дух эпохи ушедшей. Для абстрактной неорганической мысли в этой уловке не было ничего особенного, поскольку она считала историю полем, на котором можно делать все что угодно, лишь бы заставить прошлое танцевать под свою дудку.

Слово «пессимизм» было полемическим — оно характеризовало состояние общего отчаяния, которым предполагалось приправить мнения и оценки фактов. Любой человек, использовавший это слово всерьез, тем самым обнаруживал свое намерение обсуждать всемирно-историческую философию в предвыборной манере. Очевидно, что утверждаемый факт должен оцениваться совершенно независимо от позиции того, кто его утверждает. Поэтому все крики о пессимизме являются аргументом *ad hominem*¹ и не заслуживают внимания. Факты не бывают пессимистическими или оптимистическими, здоровыми или безумными: один и тот же факт могут утверждать и оптимист, и сумасшедший, и пессимист. Охарактеризовав человека, изложившего факт, все равно предстоит ответить на вопрос о достоверности или недостоверности факта. Подход *ad hominem* сразу выдавал порочность характеристики исторического мировоззрения XX века как «пессимистического».

Термин «пессимизм» указывает только на *отношение*, а не на факты, и потому абсолютно *субъективен*. Отношение к жизни, которое Ницше постоянно порицал как «пессимизм», в свою очередь видело пессимиста в самом Ницше, и обе стороны, несомненно, были правы. Если кто-то думает, что мои планы обречены, я, естественно, сочту его пессимистом. Аналогично, если я думаю, что рухнут его планы, он будет считать пессимистом меня. Мы оба правы.

Идеологи «прогресса», самодовольные в своей надежной ментальной броне, изолирующей от любого контакта с реальностью, естественно, чувствовали себя сильно оскорбленными, когда утверждалось, что их особая вера также имеет свои временные рамки и наравне со всеми предыдущими картинами мира характеризует только душу конкретной эпохи, поэтому ей суждено исчезнуть. Утверждать, что религия «прогресса» должна уйти вслед за эпохой, удовлетворившей свои внутренние потребности, значит отрицать истинность этой религии, претендовавшей на универсальное описание всей человеческой истории. Хуже было то, что строго фактическая манера, в которой было сформулировано историческое мировоззрение XX века, делала его *убедительным* для человека XX века. Но если его невозможно было опровергнуть в ходе дискуссии, оставалось навесить на него ярлык. Так с помощью единственного слова «пессимизм» надеялись задушить историческое мировоззрение, свойственное XX веку.

¹ Переходящий на личности (*лат.*). — *Примеч. пер.*

Было бы ошибкой видеть в этом злой умысел адептов «прогресса». Ни одна эпоха не сдается без боя духу следующей эпохи. Те, кто верил в магию, разумеется, не соглашались с первыми материалистами, отрицавшими само существование ведьм. Конфликт между ставшим и становящимся не прекращается, и становящееся всегда побеждает. Так происходит не потому, что оно истинно, а ставшее — ложно, но потому, что оба являются жизненными стадиями организма, в данном случае — культуры. Истина и ложь имеют столь же мало отношения к этому процессу, как и к трансформации мальчика в юношу, юноши в мужчину, мужчины в старика. Внук не *истиннее* деда, хотя может победить его благодаря органическому преимуществу. Точно так же историческая позиция XX века вытесняет материалистическую религию XIX века. Материализм, рационализм, «прогресс» — все они обветшали, но историческое мировоззрение XX века полно сил и обещаний и готово взяться за великие фактические задачи, осуществить свои великие деяния. Сама по себе *органическая* необходимость наделяет ее качеством убедительности. В эту грандиозную эпоху, когда бывшие мировые державы за десять лет превращаются в колонии, никто, находясь в здравом уме, даже самого себя не сможет убедить в мелкой и инфантильной претензии, что за всеми этими катаклизмами стоит неуклонное «моральное совершенствование» «человечества».

Некоторые люди в какой-то момент демонстрировали проблески разума — вот и все, что можно сказать о присутствии разума в истории. Но такие люди никогда не делали истории, поскольку она иррациональна. Претензия разума на роль смысла истории была иррациональной, поскольку сама являлась продуктом истории.

Когда в революционной Франции поклонение разуму стало религиозной верой, то в качестве Богини Разума была коронована *fille de joie*.¹ Даже рационализм несет печать жизни — он иррационален.

Смысл слова «пессимизм» следует разоблачить до конца. Как было сказано, термин субъективен, поэтому относится к любому, кто убежден, что нечто обречено. Например, я говорю, что имперский Рим внутренне разложился, и по прошествии нескольких веков римская идея оказалась мертва. Разве это пессимизм? «Мой дед умер»: пессимизм ли утверждать подобное? «Когда-нибудь я умру» — и это пессимизм? «Все живое умирает» — тоже

¹ Проститутка, букв. — «девочка для утех» (фр.). — *Примеч. пер.*

пессимизм? Существует ли хоть один пример индивида, который полностью покинул пределы органического цикла своей жизненной формы и оставался на одной и той же жизненной стадии достаточно долго, чтобы засвидетельствовать случай бессмертия? Примером мог бы стать человек, проживший не сто лет (потому что никто не сомневается, что этот человек в итоге умрет), но двести или триста лет, причем в одной и той же жизненной фазе: например, соответствующей биологическому возрасту в 65 лет.

Нам не известен ни такой человек, ни такая жизненная форма. Вопящие о «пессимизме», несомненно, назовут это пессимизмом. Тогда мы должны всю жизнь сами перед собой притворяться, что мы не умрем, потому что признавать смертность — это пессимизм.

История знает о семи предшествовавших нам культурах. Периоды их созревания были морфологически идентичны, как и родовые муки, первые акты жизнедеятельности, рост, взросление, великие цивилизационные кризисы, завершающие жизненные формы, постепенное расслабление и наступление для каждой из них момента, когда, окидывая взглядом ландшафт, где себя реализовало могучее существо, мы видим, что его больше нет: оно умерло. Сознать это крайне болезненно для тех, кто скулит о «пессимизме», и мне нечем облегчить их боль. Эти семь культур мертвы, хотя было бы замечательно, если бы они существовали вечно.

II

Сама по себе наша цивилизация представляет собой стадию высокой культуры — культуры Запада. Ее тысячелетняя история показывает, что это индивидуальный организм, принадлежащий к жизненной форме «высокая культура». Можно ли, мысля фактологически, обманывать себя, что, являясь жизненной формой, она не имеет срока жизни?

Теперь вопрос можно сформулировать так: разве это «пессимизм» — утверждать, что поскольку семь высоких культур завершились, то с восьмой случится то же самое? Если это «пессимизм», тогда любой, признающий свою собственную смертность, неизбежно «пессимист». В таком случае, альтернативой пессимизму становится идиотизм.

Однако пессимизм — это позиция, и если признание того факта, что жизнь завершается смертью, кто-то считает пес-

символизмом, то он разоблачает что-то о *самом себе*: свой страх перед смертью, полное отсутствие героизма, уважения к тайнам Бытия и Становления, свой ничтожный материализм. Следует отметить, что именно подобные люди пишут и читают в своих книгах и журналах материалы о бесконечном продлении человеческой жизни. Это также характеризует *их самих*. Как увлеченно они жонглируют страховою статистикой, убеждая себя, что теперь живут *дольше!* Именно так они оценивают жизнь: чем дольше живешь, тем лучше. По их представлениям, короткая героическая жизнь достойна сожаления, она не воодушевляет. Героизм вообще выглядит глупостью, поскольку цель «прогресса» — в бесконечном увеличении продолжительности жизни.

Во времена готической религиозности были сформулированы и развиты европейские представления о бессмертии души. В эпоху материализма они были карикатурно трансформированы в бессмертие *тела*. Жрецом новой религии стал медицинский доктор, и вся литература восславляла его как высший человеческий тип, поскольку он *спасает жизнь*. И все-таки, как это ни шокирует материалистов, смерть продолжает сопутствовать жизни. Войны XX века забрали больше жизней, чем войны XIX века. Поколения продолжают выстраиваться в очередь к могиле, и даже самый трусливый материалист, который не хочет признать, что все живое всегда *умирает*, последует за всеми материалистами восьми остальных культур.

Естественно, что людей, живущих в анонимном ужасе перед личной смертью, также пугает и страшит идея ухода из жизни сверхличной души. Материалисты никогда не проявляли уважения к *фактам*: все, что не укладывалось в их шаблон, для них просто не существовало. Исторические факты *per se*¹ неинтересны для обладателей рационалистических взглядов, которые исходят не из фактов, а из критического принципа, поэтому трудно ожидать, что их увлечет историческое мировоззрение, опирающееся на пять тысячелетий истории, а не на философскую пошлость.

Любопытно, что те, кто скулил про пессимизм и отрицал, что культура когда-нибудь *умрет*, тем самым отрицал органическую природу культуры. Иными словами, отрицал то, что она *живая*. И если в последнем их убеждал материализм, то в первом — трусость. Определяющим в их позиции было то, что они

¹ Сами по себе (*лат.*) — *Примеч. пер.*

не поняли центральной идеи мировоззрения XX века. Сотни томов, написанных ими в ее опровержение и откликающихся эхом на заклинание «пессимизм», демонстрируют это с удручающей ясностью. Каждая страница говорит о фундаментальном непонимании великого тезиса, и своим непониманием они обеспечили еще одно доказательство верности этого мировоззрения, поскольку взгляды одной из эпох всего лишь отражают душу этой эпохи, и мировоззрение XX века определенно не соответствуют их мировоззрению XIX века.

Утешиться они могли бы одним великим историческим фактом: смерть данной культуры, которая, по их мнению, не является живой и поэтому никогда не умрет, не значит для них ничего особенного. Во-первых, культура рождается и умирает не за несколько лет, эти процессы измеряются поколениями и веками. Поэтому ни одному человеку не дано видеть, как возникает и исчезает культура, и ни одному материалисту не пришлось бы испытать болезненный опыт свидетеля ее смерти. Важнее то, что обычные люди в рутине повседневной жизни почти не ощущают присутствия культуры или цивилизации: и до, и после ее ухода жизнь обычных людей, по своей голой сути, есть просто жизнь. Огромное большинство рождается и умирает только для того, чтобы осуществить последние великие жизненные задачи цивилизации, когда искусственные жизненные условия иссякают, прекращаются великие войны, великие потребности, великие деяния. Конечное состояние культуры — пацифизм, но пацифизм органический, а не идеологический, который только разжигает войны.

Опять-таки, материалисты попадают исключительно среди обычных людей: какое отношение они имеют к таким великим вещам, как героизм, грандиозные войны и империализм? Поэтому как раз для них конец культуры должен быть привлекательным. Однако на самом деле весь их ужас основан на иллюзии. Переживать сегодня по поводу событий, которые произойдут в 2300 г. н. э., было бы столь же глупо, как Фридриху Великому беспокоиться о том, что будет в 1900 г. Он не смог бы даже в точности *вообразить* обстановку этого времени, поскольку не мог ее планировать; следовательно, с его стороны было бы глупо ее *страшиться*. О ней должны переживать другие. Непосредственный долг человека составляют запросы дня сегодняшнего, как сказал Гёте. У нас, современных жителей Европы, есть определенная задача, поставленная перед нами ситуацией, временем и нашим собственным внутренним императивом. Самое

большее, что мы можем сделать для формирования отдаленного будущего, — это принять все меры, чтобы облечь свою эпоху в сильную и мужественную форму, которой она требует. Та же задача будет стоять перед следующим поколением, и единственный способ что-то сделать для его эпохи — это поступать так, чтобы наше дело и пример остались после нас.

В глазах материалиста это пессимизм.

III

Многие интеллектуалы ограничиваются чтением заголовков главных книг исторической эпохи: повод для обвинения в пессимизме, выдвинутого против мировоззрения XX века, они почерпнули из названия первой книги, в которой оно полноценно выражено: «Закат Европы». «Закат» — определенно звучит пессимистически для этих господ, а больше им и не нужно. В своем эссе «Пессимизм?» (1921) Шпенглер замечает, что некоторые люди путают упадок культуры с гибелью парохода, тогда как применительно к культуре идея катастрофы в использованном слове не подразумевалась. Далее он объясняет, что это название пришло к нему в 1911 г., когда, по его словам, «западноевропейско-американский мир был охвачен плоским оптимизмом дарвинистской эпохи». Поэтому он задумал книгу, в которой выдвинул тезис об истребительных войнах, ожидаемых в ближайшем будущем — грядущей эпохе, и выбрал такое название, которое охладило бы пыл оптимистов. По словам Шпенглера, в 1921 г. он подобрал бы название, которое опровергало бы царящий теперь плоский пессимизм.

Если пессимизм определить как неспособность найти выход из положения, тогда это не относится к философии, ставящей перед западной цивилизацией одну задачу за другой. Кроме политики и экономики, которым посвящена данная работа, сделать прорыв предстоит еще западной физике, химии и технике, а также археологии и философии истории. Необходимо будет создать систему права, свободную от филологии и концептуализации. Подходов и доскональной организации, соответствующих духу XX века, требует национальная экономика. Но прежде всего должна быть преобразована система образования для совершенно сознательной подготовки новых поколений с полным учетом исторической необходимости нашего будущего, для великих жизненных задач нашей цивилизации.

Крики о «пессимизме» стихают, а историческое мировоззрение XX века со своей исторической вершины обозревает уникальный, обширный исторический горизонт, охватывающий жизни восьми завершенных высоких культур, и при этом храбро и уверенно смотрит в будущее собственной культуры, завершение которой еще впереди. Читатели в 1950 г. уже забудут, а в 2050 г., возможно, не смогут и узнать, что прежде чем родилось историческое мировоззрение XX века, нереализованная история считалась белым листом, на котором человек может писать, что ему вздумается. Такой, конечно, не была инстинктивная позиция ни одного человека действия: он должен знать, как устроен мир, чтобы продумывать все до мелочей, но даже ему приходилось делать вид, что будущее — это *carte blanche*.¹

Никто уже так не мыслит во второй половине XX столетия; бляние рационалистов и всхлипывания материалистов становятся все тише. Они уже обсуждают историю, а не свои старые пошлости. Даже их пресса теперь потчует свое читательское стадо своего рода историческим мировоззрением, согласно которому история начинается в 1870-м и заканчивается после очередной войны, причем каждая война преподносится как последняя. Подобная картина истории служила не одному поколению, но само ее присутствие в материалистической журналистике свидетельствует о крепнущей исторической ориентации эпохи. После Первой мировой войны ради воцарения «мира во всем мире» была учреждена Лига Наций, и многие представители западной цивилизации восприняли ее всерьез. Однако прошло одно поколение, и благодаря внутренней победе, которую одержало мировоззрение XX века, на новую Лигу, созданную после Второй мировой войны, на Западе никто не смотрел иначе, как на место дипломатических военных приготовлений двух оставшихся держав. Мы далеко ушли от старых времен «прогресса».

Счастье изменило тем, кто скулил о «пессимизме». Фактически, они всего лишь представляли дух навсегда ушедшей эпохи. Поэтому в нашу эпоху они анахроничны и, пытаясь вмешиваться в ее жизнь, вынуждены бороться с любой тенденцией, которую она выражает. В своих безнадежных попытках оживить прошлое они могут лишь отрицать будущее. Разве они не выглядят при этом пессимистами?

Теперь можно определеннее высказаться по поводу пессимизма, равно как и оптимизма, поскольку это две нераздельные

¹ *Карт-бланш*, здесь: чистая доска (фр.). — *Примеч. пер.*

концепции. Если пессимизм выражает отчаяние, то оптимизм — трусость и тупость. Стоит ли между ними выбирать? Это душевные болезни-близнецы. Между ними находится реализм как желание знать, что *есть*, что *следует* делать и как это можно сделать. Реализм — это историческое мышление, а также политическое мышление. Реализм не подходит к миру с предвзятым принципом, которому *должны* подчиняться вещи — именно эта изначальная глупость порождает и пессимизм, и оптимизм. Если кажется, что все пропало, то объявлять об этом — пессимизм. Оптимизм продолжает притворяться, что все хорошо, несмотря на то что это опровергается ходом истории. Из двух болезней оптимизм опаснее для души, поскольку он слеп. Пессимизм, не боясь утверждать нечто неприятное, по крайней мере способен кое-что видеть и пробуждать здоровые инстинкты. Любой командир должен готовиться и к победе, и к поражению, но тактически вторая часть его плана более важна, и ни один командир не преминет принять меры на случай поражения только потому, что кто-то назовет это пессимизмом.

Пойдем дальше: в 1836 г. сотня неординарных американцев была окружена многотысячной мексиканской армией в Аламо. Что пессимистичного было в их осознании безнадежности своего положения? Но случилось то, чего не способны понять материалисты как настоящие пессимисты. Личный состав небольшого гарнизона не позволил явно безнадежной ситуации повлиять на свое *поведение*, отказался сдаться и принял бой, думая не о своем поражении, а о том, что *еще можно сделать*.

Таким же был и настрой пилотов-камикадзе, направлявших во время Второй мировой войны свои груженные взрывчаткой самолеты на военные корабли противника. Подобный настрой не только не вписывается в глупую схему «пессимизм—оптимизм», но раскрывает сущность самого героизма. Страх смерти не мешает герою делать то, что *дóлжно*. XX век возвращается к этой героической позиции, думая о своей задаче, а не о том, что жизнь в итоге заканчивается смертью. Он не настолько боится собственной смерти и завершения цивилизации, в которой нам суждено реализовать свои возможности, чтобы пытаться их отрицать. Он хочет полноценно жить, а не трепетать перед ней. Оптимизм и пессимизм — для трусов, слабаков, глупцов и тупиц, неспособных к осознанию тайны, силы и красоты жизни. Они уклоняются от аскетизма и самоотречения, бегут от грубости фактов в мечты о бессмертии тела и увековечении мировоззрения XIX века.

Когда я пишу в 1948 г. эти строки, трусливые пессимисты помыкают побежденной западной цивилизацией, поддерживаемые неевропейскими силами. Они притворяются, что все хорошо — и это теперь, когда Европа стала добычей внешних сил и скатилась до уровня Индии и Китая. Однако дух XX века, который они ненавидят за его молодость и полноту жизни, готовится отправить их на свалку истории, куда им уже давно пора. Их позиция — ничего не предпринимать. При этом у них хватает смелости клеймить заряженных позитивной энергией носителей духа XX века как «пессимистов». Материалисты и либералы твердят о «возвращении» к лучшим условиям — они всегда *возвращаются*. Новый же дух повелевает: вперед к нашей величайшей эпохе. Он предпочитает умереть стоя, чем жить на коленях, как материалисты и другие трусы, угождающие чужакам, которые грабят и терзают западную цивилизацию.

Великий этический императив нашей эпохи, касающийся как цивилизации, так и ее лидеров, состоит в *персональной честности с собой*. Этот императив не допускает в неблагоприятной ситуации угождать чужеземцам только ради того, чтоб мирно существовать на положении раба. Человек утверждает себя, непреклонно стремясь к личной победе вопреки любым трудностям. Своего добивается тот, кто полон решимости достойно умереть, если невозможно достойно жить.

Цивилизационный кризис

I

Все культуры в своем развитии достигали точки, когда исчерпывали свои культурные (в узком смысле) способности. Такие области жизни, как религия, философия и искусство, достигали полного выражения и принимали совершенную форму. Контрреформация была на Западе периодом окончательной реализации созидательного религиозного потенциала, и с этого момента религия заняла оборону против светских тенденций, которые постепенно нарастали и наконец, с началом XIX века, взяли верх. Кант стал высшим пределом западных возможностей в неорганической философии, как его современник Гёте — в органической философии. Моцарт есть высшее достижение музыки — искусства, которое западная культура избрала как самый совершенный способ выражения своей души.

Естественно, культуре всегда были свойственны не только внутренние, но и внешние жизненные проявления: политика и войны не прекращались, будучи неотъемлемым свойством культурного человека. Но в первые века культуры, примерно до 1400 г., религия господствовала над всей культурной жизнью. Готическая архитектура, скульптура, витраж и фреска — все эти искусства служили религиозной экспрессии, поэтому первые века можно назвать эпохой религии. На смену им пришли новые тенденции, уже не столь глубокие и выразившиеся также в развитии торговли и экономического производства. Эти тенденции более урбанистичны и лучше адаптированы к внешнему миру, но в основном они по-прежнему обращены внутрь. Искусство переходит под опеку «великих мастеров» и эмансипируется от религии. Взросление культуры выражается в ее совершенстве и утонченности, высшем мастерстве. Запад достиг его в музыке, Классицизм — в скульптуре.

И Реформация, и Контрреформация представляют собой исход из религиозной эпохи. Философия получает независимость от теологии, а естественные науки бросают вызов догматам веры. В основном отношение к миру остается сакральным, но свет знания распространяется все глубже и шире. В нашей культуре это период барокко, длившийся с 1500 по 1800 г., что в Классицизме соответствует ионической эпохе.

В эти века политика отражала требовательную и созидательную стадию культуры. Душа культуры строго ограничивала борьбу за политическую власть. Армии были небольшими, профессиональными; войной занималась знать, мирные соглашения достигались путем переговоров и компромисса, все политические или военные решения подчинялись требованиям чести.

Позднее барокко породило эпоху Просвещения. Теперь все-ильным почитался Разум, и бросить вызов его всемогуществу было столь же немыслимо, как в готические времена бросить вызов Богу. Блюстителем духа данной эпохи были английские философы, начиная с Локка, и французские энциклопедисты, подхватившие их идеи.

К 1800 г. тенденция к экстерииоризации полностью возобладала над прежней углубленной духовностью взыскательной культуры. Новыми божествами стали «Природа» и «Разум», и первичным представлялся окружающий мир. Начав с исследования собственной души и предельной реализации ее созидательных возможностей во внутреннем мире религии, философии и

искусства, культурный человек теперь ощутил свой императив в подчинении внешнего мира.

Великим символом этого поворота в нашей культуре стал Наполеон, в классической — Александр. Они воплощают победу цивилизации над культурой.

С одной стороны, цивилизация есть отрицание культуры, с другой — ее продолжение. Она органически необходима, и через эту стадию проходят все культуры. Данная работа посвящена проблемам цивилизации вообще и нашим непосредственным задачам в период 1950—2000 гг. Поэтому здесь достаточно будет в общих чертах обрисовать значение для организма цивилизационной фазы.

Триумф разума оказывает огромное *раскрепощающее* влияние на культурное население. У чувств, которые ранее выражались только в строгих формах, будь то искусство, война, кабинетная политика или философия, теперь опускаются поводья, они все менее связываются культурными ограничениями. Например, Руссо призывал покончить со всей культурой и низвести культурного человека на чисто животный уровень экономики и размножения. Искусство постепенно отдаляется от строгих форм начиная с Бетховена и до наших дней. Идеал прекрасного окончательно уступает идеалу безобразного. Философия становится чистой социальной этикой, если не грубой и незрелой метафизикой материализма. Экономика, ранее служившая лишь подножием великой конструкции, теперь фокусирует на себе потрясающую энергию. Она также сдается разуму, который формулирует на ее поле деятельности количественную меру стоимости — деньги.

Разум, приложенный к политике, порождает демократию; в военной сфере на смену профессиональной армии он ставит массовую и на место договора — диктат. Авторитет и достоинство абсолютного государства в соответствии с новой тенденцией считаются тиранией, против которой развязывают ожесточенную битву силы денег, экономики и демократии. Они наносят государству поражение, в результате чего его ответственное, открытое лидерство заменяется безответственным, частным господством анонимных групп, классов и индивидов, интересам которых служат парламенты. Монархическая психология заменяется психологией толп и банд — новым фундаментом власти амбициозных людей.

Фантастически растут производство, техника, торговля, публичная власть и прежде всего численность населения. Его

огромная величина обусловлена грандиозной завершающей задачей культуры, состоящей в *подчинении всего обозримого мира своему господству*. На территории, ранее населенной 80 миллионами, теперь 260 миллионов.

Великий общий знаменатель цивилизационных идей — это *мобилизация*. Мобилизуется все: массы культурного населения и массы, покоренные им, сама земля и сила рациональных идеалов.

II

С позиций жизни всего организма эта стадия представляет собой кризис, потому что атаке подвергается сама идея культуры, и ее хранители должны выстоять во внутренней борьбе, длящейся более двухсот лет войне классов. В умах субкультурных интеллектуалов пробуждается идея, что с культурой надо покончить, что человек есть животное, испорченное развитием своей души. Зарождается философия, отрицающая существование чего-либо помимо материи; жизнь определяется как физико-химический процесс, которым управляет союз экономики и размножения, а все поднявшееся над этим уровнем — порочно. Доктрина, сводящая жизнь к экономике, исходит одновременно и от экономических лидеров, и от классовых бойцов, а самозванные «психологи» учат, что жизнь сводится к размножению.

Однако нескольким умникам, возглавляющим толпу, даже в кризис не под силу одолеть мощь организма, и он продолжает свой путь. Экспансия западной цивилизации к 1900 г. достигла точки, когда 18/20 земной поверхности политически управлялись из западных столиц. Но это достижение привело только к ужесточению кризиса, потому что столь сильная воля Запада к власти постепенно пробудила к политической активности спящие массы внешнего мира.

Еще не закончилась внутренняя война классов, как началась внешняя война рас. Истребительные войны и мировые войны; постоянное внутреннее напряжение в форме неослабевающей классовой борьбы, видящей во внешней войне только повод ужесточить свои требования; восстание цветных рас против западной цивилизации — такие формы этот ужасный кризис принимает в XX веке.

Пик этого продолжительного кризиса приходится на период между 1950 и 2000 годом, и возможно, что как раз в эти годы окончательно решится вопрос о том, суждено ли Западу завер-

шить свою последнюю жизненную стадию. Величественная цивилизация, которая в 1900 г. была хозяйкой 18/20 поверхности планеты, в 1945-м, после самоубийственной Второй мировой войны, подошла к рубежу, когда вообще потеряла контроль над планетой. Все главные вопросы мировой власти теперь решаются в двух внешних столицах — Вашингтоне и Москве. Менее важные вопросы, касающиеся провинциальной администрации, были оставлены европейским нациям-ставшим-колониями, но в силовых вопросах всем заправляют режимы, окопавшиеся в России и Америке. Там, где формальный контроль был оставлен за Европой, как в отношении Палестины, фактически все сосредоточено в руках Вашингтона. Рационы питания, политика профсоюзов, лидеры и задачи бывших европейских наций определяются за пределами Европы.

В 1900 г. государственная система Европы реагировала как одно целое, когда негативная воля Азии попыталась с помощью Боксерского восстания выдворить западный империализм из Китая. Армии ведущих государств Запада вмешались и подавили восстание. Менее чем полвека спустя по Европе уже свободно перемещаются неевропейские армии, состоящие из жителей колоний и всевозможных азиатов: негров, монголов, тюрков, киргизов, американцев, армян. Как такое стало возможным?

Ответ очевиден: из-за внутреннего раскола Запада. Раскол не был материальным — материя не в силах разделить людей, если их умы в согласии. Нет, именно *духовный* раскол поверг Европу в прах. Одна половина Европы совершенно иначе относилась к жизни, чем вторая, исповедуя другие жизненные принципы. Позиция одной половины соответствовала мировоззрению XIX века, второй — мировоззрению XX века. Раскол продолжается, и количество пищи, получаемое представителем западной цивилизации, зависит от решений Москвы и Вашингтона. Когда духовный раскол Европы прекратится, неевропейские силы больше не смогут держать волевое европейское население в повиновении.

Таким образом, первое *действие* состоит в ликвидации духовного раскола Европы. Это можно осуществить только на одном основании: *есть только одно будущее — органическое*. Перемены, которых требует культура, должны соответствовать ее текущей жизненной стадии. Мировоззрение XX века синонимично с будущим Запада, приверженность к мировоззрению XIX века означает продолжение господства над Западом культурных дестортеров и варваров. В задачу данной работы входит

определение всех оснований мировоззрения XX века, необходимых в качестве каркаса для понимания и осознанного действия. Первое — это *идея*. Не идеал, который можно выразить в виде лозунга или объяснить чужеземцу, но живое, дышащее, безмолвное ощущение, свойственное уже всем западным европейцам; у меньшинства оно вполне артикулированное, у большинства — зачаточное. Эту *идею* в ее безмолвном величии, с ее неодолимым императивом надо *прочувствовать*, поэтому она доступна только человеку Запада. Чужак не способен понять ее, как никогда не мог понять западные произведения и кодекс. На своем победном параде в Москве 1945-го варвар отдал на поругание своим городским толпам захваченных на Западе рабов и заставил их втоптать свои национальные флаги в пыль. Западный европеец, полагающий, что варвар обладает достаточным тактом, чтобы провести различие между бывшими нациями Запада, не способен понять чувств населения, проживающего вне высокой культуры, в отношении этой культуры. Завтра пленные рабы, предназначенные для удовлетворения разрушительных инстинктов московской толпы, могут быть доставлены из Парижа, Лондона, Мадрида, а также Берлина. Продолжение духовного раскола Запада делает это не только возможным, но и *абсолютно неизбежным*. На этот раскол работают обе внешние силы, а изнутри им помогают самые недостойные элементы Европы. Все сказанное, однако, адресуется только тем, кто может это понять — представителям Запада, ощущающим императив зреющего в них будущего.

Необходимо, чтобы их мировоззрение строилось на одинаковых основаниях, а мы знаем, что душа данной исторической эпохи и ее дух требуют лаконичных формулировок. Поэтому в данной работе изложены не аргументы, а *команды духа времени*. Эти мысли и оценки *не требуют доказательств*. Они не личностны, а сверхличны, и обязательны для людей, стремящихся изменить свою жизнь.

Цель нашей деятельности продиктована тем, что родина нашей цивилизации оккупирована чужаком. Наш внутренний императив и мировоззрение определяет время. Часть взглядов любой эпохи состоит в простом *отрицании взглядов* предыдущей эпохи. Каждой эпохе приходится утверждать свой новый дух перед лицом *предшественника*, который стремится царствовать в духовном ландшафте культуры даже в состоянии трупного оконченения. Утверждая себя, новый дух должен отрицать враждебный к нему старый. Поэтому мировоззрение XX века, по су-

ти, является отрицанием материализма XIX века. Очистив место от этой гнилой рухляди, XX век создаст на нем собственный, свойственный ему образ мира и жизни.

Поскольку все это пишется для тех, чье мировоззрение подвергается тотальному пересмотру, предварительный, негативный аспект должен быть выражен до конца. Формировать мнение миллионов — это задача журналистики, но человек, мыслящий независимо, испытывает внутреннюю потребность во всеобъемлющей картине. Столпами старого мировоззрения были рационализм и материализм. Мы еще остановимся на них более подробно, а пока рассмотрим только три материалистические системы мысли: дарвинизм, марксизм и фрейдизм. В XIX веке они сфокусировали на себе огромную духовную энергию, не успели выйти из моды в начале XX века, и сегодня при их содействии Европа оказалась в бездне.

Дарвинизм

I

Одним из самых плодотворных открытий XX века была метафизика наций. Раскрыв тайну истории, мы узнали, что *нации* суть различные проявления души высокой культуры. Они существуют только в пределах культуры, имеют продолжительность жизни, соответствующую достижению политических целей, и обладают относительно других наций, слагающих культуру, индивидуальностью. Каждой великой нации свойственна идея, жизненная миссия. История нации заключается в актуализации заложенной в ней идеи. Эту идею, повторяю, необходимо *ощущать* и нельзя выразить прямым определением. Любая идея, для актуализации которой культура выбрала данную нацию, является также стадией развития самой культуры. Так, европейская история на протяжении недавних столетий представлена испанским, французским и английским периодами, которым соответствовали барокко, рококо и ранняя цивилизация. Своим временным духовным и политическим превосходством эти нации обязаны исключительно тому, что в определенный период являлись хранителями духа эпохи. С уходом эпохи хранители ее духа теряли статус духовного первенства в культуре.

Ранняя цивилизация была английским периодом Запада, поэтому цивилизационная мысль и деятельность развивались по

английской модели. Все нации взяли курс на экономический империализм английского типа. Все мыслители интеллектуально англоизировались. Западом руководили английские системы мысли, отражавшие английскую душу, английский образ жизни и материальные условия. Возглавил эти системы дарвинизм, ставший популярным и потому политически эффективным.

Сам Дарвин был последователем Мальтуса и основал свою систему на мальтузианстве. Как учил Мальтус, рост населения опережает рост производства продуктов питания, что создает экономическую *опасность*, поэтому только «сдерживание» роста населения за счет эпидемий и войн, нездоровых условий жизни и бедности спасает нацию от голода. Мальтузианство всерьез считает заботу о бедных, стариках и сиротах ошибочной.

Об этой курьезной философии можно сказать лишь то, что она не имеет ничего общего с фактами и поэтому не представляет интереса в XX веке. Статистически она ни на чем не основана, в духовном отношении демонстрирует полное непонимание первостепенного факта судьбы, человека и истории, состоящего в том, что душа первична, а материя подчиняется состоянию души. Любой человек, любая нация — поэты своей истории. Рост населения указывает на присутствие жизненной задачи, уменьшение населения — на потерю смысла. Философия же Мальтуса наделяет правом на существование тех людей, которые родились на территории, способной обеспечить их пищей! При этом игнорируются их таланты, целеустремленность, судьба, душа. Это яркий пример основной тенденции материализма — *анимализации культурного человека*.

Мальтузианство учило, что соотношение между пищевыми ресурсами и населением является причиной постоянной борьбы за существование между людьми. Эта «борьба за существование» стала лейтмотивом дарвинизма. Другие основополагающие идеи дарвинизма обнаруживаются у Шопенгауэра, Эразма Дарвина, Генри Бейтса и Герберта Спенсера. В 1835 г. Шопенгауэр выступил с картиной природы, основанной на борьбе за самосохранение, человеческом интеллекте как оружии для этой борьбы и половой любви как бессознательном отборе в соответствии с потребностями вида. В XVIII веке Эразм Дарвин постулировал адаптацию, наследственность, борьбу и самозащиту как принципы эволюции. Бейтс сформулировал теорию мимикрии раньше Дарвина, Спенсер — теорию наследственности и мощный тавтологический лозунг «выживание наиболее приспособленных» для оценки результатов «борьбы».

Все это лишь авансцена, поскольку корни дарвинизма достаточно четко прослеживаются у Кальвина. Кальвинизм представляет собой религиозный вариант идеи о «выживании наиболее приспособленных», называя приспособленных избранными. Дарвинизм, в отличие от подобного теолого-религиозного подхода, профанирует и механизмирует выборный процесс: не Бог избирает, а Природа отбирает. Это по-прежнему чисто английский подход, поскольку национальной религией Англии был адаптированный кальвинизм.

Основная идея дарвинизма — эволюция — столь же стара, как и отдельные положения теории. Великая идея эволюции находится в центре философии XIX века. На ней сосредоточены все ведущие мыслители и системы. Шопенгауэр, Прудон, Маркс, Вагнер, Ницше, Милль, Ибсен, Шоу по-разному объясняют цели и механизм эволюции, но никто не ставит под сомнение саму идею. Некоторые считают процесс органическим, но большинство — чисто механическим.

Теория Дарвина имеет два аспекта, из которых мы рассмотрим один, поскольку он возымел значительные последствия: это дарвинизм как популярная идеология. Как научная система, он имеет свои оговорки, в которые никто не вникал, распространяя его газетную версию. В таком виде дарвинизм оказался весьма эффективным и модным, в свое время сильно повлияв на картину мира.

В своих телеологических допущениях эта теория, несомненно, является продуктом эпохи критицизма. Эволюция имеет цель — создание человека, цивилизованного человека, англичанина и в конечном итоге — дарвиниста. Она антропоморфна: «цель эволюции» состоит в создании не бацилл, а человечества. Она воплощает капиталистическую свободу торговли, поскольку борьба носит экономический характер: каждый сам за себя, и конкуренция решает, какие формы являются лучшими. Эволюции свойственны постепенность и парламентаризм, поскольку постоянный «прогресс» и адаптация исключают революции и катастрофы. Она утилитарна, так как любое видоизменение приносит материальную пользу. Сама человеческая душа — в XIX столетии известная под именем «мозга» — только орудие, с помощью которого определенный тип обезьяны опередил остальных и сделался человеком. Снова телеология: человек стал человеком, потому что был на это способен. Наконец, в теории царит порядок: естественный отбор происходит в соответствии с правилами искусственного выведения пород, практикуемого на английских фермах.

Дарвинизм как мировоззрение, разумеется, не может быть опровергнут, поскольку вера всегда была, есть и будет сильнее фактов. Собственно говоря, его картину мира опровергать и не требуется, потому что в таком качестве он больше ни на кого не влияет, кроме мыслителей позавчерашнего дня. Однако как система фактов он совершенно нелеп от исходных допущений до конечных выводов.

Во-первых, в природе нет «борьбы за существование»: эта старая мальтузианская идея только проецировала капитализм на животный мир. Если борьба за существование действительно происходит, то в виде исключения, потому что закон природы — изобилие. Для пропитания травоядных хватает растений, а травоядных хватает для пропитания плотоядных. Вряд ли можно говорить, что между ними происходит «борьба», поскольку только плотоядные духовно вооружены для войны. Если разобраться, то лев, поедающий зебру, не участвует ни в какой межвидовой «борьбе». Пусть даже верно обратное, но тогда надо признать, что хищник не испытывает физической, механической потребности убивать других животных. Он мог бы питаться растениями, однако его животная душа требует жить именно так, и если угодно считать эту жизнь борьбой, то так распорядилась не «природа», но его душа. Поэтому это не «борьба за существование», а внутренняя потребность быть самим собой.

Капиталистический склад ума, помешанный на обогащении, вполне естественно усматривал в мире животных интенсивное экономическое соперничество. Поэтому и мальтузианство, и дарвинизм, помещая экономику в смысловой центр жизни, являются образцами капиталистического мировоззрения.

Естественным отбором назвали процесс вымирания «неприспособленных», в результате которого освобождается место для «приспособленных». Процесс, в ходе которого виды постепенно изменяются, чтобы лучше приспособиться к борьбе, нарекли адаптацией. Средством, благодаря которому эти адаптации сохраняются в видах, стала наследственность.

С фактической точки зрения эту картину проще опровергнуть, чем доказать, и мыслители, опиравшиеся на факты (причем среди них были как механицисты, так и виталисты, например Луи Агассис, Дюбуа-Реймон, Рейнке и Дриш), сразу ее отбросили. Самое простое опровержение — палеонтологическое. Ископаемые, найденные в разных регионах Земли, должны де-

монстрировать весь спектр возможностей. Однако они представляют собой только стабильные видовые формы и не содержат переходных форм как видов, «эволюционирующих» во что-то другое. Потом, в новом слое ископаемых, в готовой форме появляется новый вид, который остается неизменным. Таковы все виды, известные сегодня и в прошедшие столетия, и не наблюдалось ни одного случая, когда бы вид «адаптировался» к переменам посредством изменения своей анатомии или физиологии, а такая «адаптация» привела к большей «приспособленности» к «борьбе за существование» и передалась по наследству с возникновением нового вида.

Дарвинистам не удастся перешагнуть через эти факты, сославшись на большие промежутки времени, поскольку палеонтология так и не открыла переходных форм, но только готовые виды. К тому же ископаемые останки вымерших животных ничем не проще современных форм, хотя предполагается, что в ходе эволюции жизненные формы постепенно усложняются. В этом проявлялся грубый антропоморфизм: человек устроен сложно, другие животные — проще, стало быть, им надо тянуться вслед за человеком, поскольку он биологически «выше».

Называя культурного человека «более высокоорганизованным» животным, мы продолжаем считать его таковым. В духовном отношении культурный человек — это совсем иной мир по сравнению с любым животным, и его не понять на основе искусственных материалистических схем.

Если бы фактологическая картина дарвинизма была верной, виды должны были бы меняться в настоящее время, превращаясь друг в друга. Это, конечно, не так. Фактически не должно было существовать никаких видов, а только пульсирующая масса индивидов, участвующая в гонке очеловечения. Но неубедительна даже сама «борьба». «Низшие» формы, более простые (менее приспособленные?), не вымерли, не подчинились принципу дарвиновской эволюции. Они сохраняют ту же форму, которую имели, как сказали бы дарвинисты, миллионы лет. Почему они не «эволюционировали» во что-то «высшее»?

Дарвинистская аналогия между искусственным и естественным отбором также противоречит фактам. Продукты искусственного отбора, такие как домашняя птица, гончие собаки, скаковые лошади, декоративные кошки, певчие канарейки, явно не обладают преимуществом перед природными формами. Значит, искусственный отбор оказался способен произвести менее приспособленные формы.

Не согласуется с фактами и дарвиновский половой отбор. Самка отнюдь не выбирает всегда наилучшего и наисильнейшего партнера — как в случае человека, так и любого другого вида.

Утилитарный аспект картины также достаточно субъективен (то есть связан с Англией, капитализмом и парламентаризмом), поскольку полезность органа зависит от его назначения. Виды, не имеющие рук, в них не нуждаются. Медленно эволюционирующая рука была бы несомненным недостатком на протяжении «миллионов лет», которые понадобились, чтоб ее усовершенствовать. Кроме того, как этот процесс *начался*? Для того чтобы орган был полезен, он должен быть готов, а в недоразвитом виде он бесполезен. Но если он бесполезен, — это не по Дарвину, поскольку дарвинизм считает эволюцию утилитарной.

На самом деле все механизмы дарвиновской эволюции просто тавтологичны. Так, внутри видов адаптируются индивиды, к этому предрасположенные: адаптация предполагает адаптацию.

Процесс отбора действует на особи с определенными склонностями, которые делают их заслуживающими селекции; иными словами, они уже отобраны: отбор предполагает отбор.

Проблема наследственности в дарвиновской картине трактуется как установление родства между видами. Предположив их родство, она обнаруживает, что они родственны, и тем доказывает их родство. Наследственность предполагает наследственность.

Полезность органа означает, что он работает на пользу данного вида. Полезность, таким образом, предполагает существование самого вида, который пользуется этим органом, но ему его недостает. Факты, однако, не указывают ни на один вид, который приобрел бы определенный недостающий орган, который был ему необходим. Жизненная форма нуждается в определенном органе, потому что она в нем нуждается. Орган полезен, потому что он полезен.

Наивная тавтологическая доктрина полезности вообще не задается вопросом: полезность для чего? То, что способствует продолжительности, может не способствовать силе. Полезность — вещь не *первичная* (*simple*), а относительная к тому, что уже существует. Поэтому именно внутренние потребности жизненной формы определяют, в чем она испытывает надобность, что было бы для нее полезно. Душа льва и его сила нераздельны. Друг другу сопутствуют рука человека и его мозг. Никто не может ска-

зять, что львиная сила заставляет льва жить именно так, как он живет. Также и рука человека не ответственна за его технические достижения. В каждом случае все определяет душа.

Первичность духовного опрокидывает дарвиновский материализм на доктрине полезности, ведь полезным может быть *отсутствие*: нехватка одного чувства развивает другие; физическая слабость развивает ум. У человека, как и у животных, отсутствие какого-либо органа стимулирует компенсаторную активность остальных: в частности, это наблюдается в эндокринологии.

III

Вся нелепость дарвинизма и вообще всего материализма XIX века является производным одной фундаментальной идеи, которая также не основана на фактах, с точки зрения нашего столетия, хотя и была важнейшим фактом столетие назад. Эта идея состоит в том, что жизнь формируется средой. Основанная на этом социология полагала, что «среда» определяет человеческую душу. Далее утверждалось, что в этом участвует также «наследственность». И все же, что такое жизнь в *чисто фактическом смысле*? Жизнь есть актуализация возможного. Возможное становится актуальным в гуще внешних фактов, определяющих только конкретный способ, которым это достигается, но не затрагивающих внутреннюю силу, выражающую себя с помощью внешних фактов, а при необходимости — вопреки им.

Эти внутренние возможности не зависят ни от «наследственности», ни от «среды», которые влияют только на каркас, в котором выразит себя нечто *совершенно новое*: индивид, неповторимая душа.

Слово «эволюция» для XX столетия означает процесс созревания и завершения организма или вида. Этот процесс не связан с действием механически-утилитарных «причин» на пластичный, бесформенный протоплазматический материал, которое ведет к чисто случайным результатам. Изучая растения, Де Фриз разработал мутационную теорию происхождения видов, а палеонтологические факты подкрепили ее свидетельствами о *внезапном* появлении новых видов. XX век не видит смысла заниматься мифотворчеством ни в космологии, ни в биологии. Истоки сокрыты от нас навсегда, но историческую точку зрения интересует *развитие* процесса, а не его таинственное начало. Для нашей эпохи описание этого начала в научной или религиозной

мифологии представляет только исторический интерес. Мы отмечаем лишь то, что эти картины мира некогда были актуальными и живыми.

Какой же видится история жизни глазами нашей эпохи? Существуют живые организмы, находящиеся на разных духовных уровнях: от растений и животных через человека до культурного человека и высоких культур. Некоторые разновидности, как свидетельствуют ископаемые остатки, существовали в прежние геологические эпохи в своей нынешней форме, тогда как остальные появлялись и исчезали.

Вид появляется *внезапно* — как среди ископаемых находок, так и в лабораторном эксперименте. Мутация — вполне подходящее определение процесса, если это понятие очистить от любых механически-утилитарных причин, которые лишь предположительны, тогда как сами мутации являются фактом. У каждого вида также есть судьба и, так сказать, отпущенная ему жизненная энергия. Некоторые виды стабильны и выносливы, другие — слабы и стремятся расщепиться на множество вариаций, утрачивая свое единство. Им также свойственна определенная продолжительность жизни: многие из них уже исчезли. Этот процесс определенно связан с геологическими эпохами и астральными феноменами. Некоторые виды, однако, переживают свою эпоху подобно тому, как некоторые мыслители девятнадцатого века живут в двадцатом.

Дарвинисты предложили также метафизическое объяснение своей эволюции. Например, Ру (Roux) утверждает, что выживает тот, кто «соответствует цели», а кто «не соответствует цели», тот погибает. Однако в таком случае процесс представляется чисто механически: о соответствии цели говорится без определения самой цели. Негели учит, что организм совершенствуется потому, что в нем заложен «принцип совершенства», подобно тому как у Мольера доктор объяснял, что средство от бессонницы действует благодаря содержащейся в нем сонной силе. Вейсман отрицает наследование приобретенных признаков, но вместо того чтобы использовать это как аргумент против дарвинизма (что было бы естественно: если каждому индивиду приходится начинать все с начала, тогда как могут виды «эволюционировать?»), он подкрепляет этим тезисом дарвинистскую картину, утверждая, что зародышевая плазма обладает латентной склонностью к полезным качествам. Но это уже не дарвинизм, поскольку если вид всего лишь реализует заложенную тенденцию, то он не эволюционирует.

Все эти тавтологические объяснения убеждали людей только потому, что они уже во все это верили, так как сама эпоха была эволюционной и материалистической. Дарвинизм объединил эти два качества в биолого-религиозную доктрину, соответствовавшую капиталистическому императиву того времени. Любые эксперименты, любые новые факты только подтверждали дарвинизм, иное им не позволялось.

XX век не считает жизнь случайностью, ареной для внешних причин. Он ясно видит тот факт, что жизненные формы возникают внезапно, а дальнейшее развитие, или эволюция, есть только актуализация того, что уже возможно. Жизнь есть разворачивание души, индивидуальности. Как бы человек ни объяснял начало жизни, он только воспроизводит структуру собственной души, поэтому материалистическое объяснение разоблачает в нем материалиста. Аналогично приписывание всей жизни какой-либо «цели» выходит за пределы знания и вступает в область веры. Однако жизнь в целом и каждая крупная жизненная форма, вид, сорт, индивид имеют судьбу, внутреннюю направленность, безмолвный императив. Эта судьба есть первичный факт истории, которая представляет собой хронику осуществленных (или неудавшихся) судеб.

Любая попытка представить человека животным, а животное автоматом — это просто материализм, стало быть, продукт души определенного типа и определенной эпохи. XX век смотрит на это иначе и видит, что внутренняя реальность человеческой души определяет историю человека, а внутренняя реальность души высокой культуры определяет историю этой культуры. Душа *эксплуатирует* внешние обстоятельства, но они ее не формируют.

Не будучи капиталистическим, XX век не видит также никакой борьбы за существование, происходящей в человеческом или животном мире. Он видит борьбу за *власть*, борьбу, не имеющую никакого отношения к низменным экономическим *причинам*. В XX и XXI столетиях очевидна именно борьба за господство над миром, которая идет не из-за нехватки продовольствия для земного населения — еды хватает. Стоит вопрос о власти, и при решении этого вопроса пища, человеческие жизни, сырье и все остальное, чем могут распоряжаться участники борьбы, являются *оружием*, а не *ставками*. При этом вопрос власти никогда не будет решен в том смысле, в каком может быть решено судебное дело. Читатель 2050 года улыбнется, услышав, что в западной цивилизации большинство верило, что Первая мировая война была «последней войной». Вторую мировую войну расценивали

так же на фоне приготовлений к Третьей. Это была ситуация, когда несбыточные мечты идеалистов-пацифистов убеждали сильнее фактов.

Дарвинизм занимался анимализацией культурного человека с помощью биологии: человеческая душа интерпретировалась всего лишь как эффективное средство борьбы с другими животными. Далее мы рассмотрим марксизм, который анимализировал человека с помощью экономики, считая человеческую душу только функцией пищи, одежды и крова.

Марксизм

Несмотря на то что именно Англия была нацией, реализовавшей идеи ранней цивилизационной фазы Запада (1750—1900), рационализм, материализм и капитализм — все эти идеи реализовались бы другим путем, даже если бы Англия исчезла в результате внешнего катаклизма. Тем не менее для Англии эти идеи были *инстинктивными* — безмолвными, не поддающимися определению, самоочевидными. Остальным нациям Европы следовало приспособливаться к этим идеям.

Капитализм — это не экономическая система, но *мировоззрение* или, скорее, часть некоего целого мировоззрения. Это образ мысли, чувства и жизни, а не просто понятная всем техника экономического планирования. В первую очередь капитализм — система *этическая* и *социальная* и только во вторую очередь — экономическая. Экономика нации является отражением ее души, подобно тому как способ заработка человека — дополнительной характеристикой его личности.

Смысл капитализма в индивидуализме как принципе жизни, в той идее, что каждый человек сам по себе. Следует признать, что это чувство не является универсальным для человечества, но связано только с определенной стадией определенной культуры: стадией, которая на самом деле завершилась с Первой мировой войной 1914—1919 гг.

Социализм — это также *этико-социальный* принцип, а не особая экономическая программа. Он является антитезисом индивидуализма, порожденного капитализмом. Его несомненная инстинктивная идея состоит в том, что отдельный человек живет ради всех.

Индивидуализм как принцип жизни полагает очевидным, что, преследуя собственные интересы, каждый человек работает на

всеобщее благо. В свою очередь социализм исходит из того, что человек, работающий на себя, *ipso facto*¹ работает против всех.

XIX век был эпохой индивидуализма, XX и XXI века — эпоха социализма. Здесь нет *идеологического* конфликта. Сама по себе идеология означает рационализацию мира деятельности. Это было главной заботой на ранней стадии западной цивилизации (1750—1900), но уже не привлекает серьезного внимания целеустремленных людей. Программы — это всего лишь идеалы, они неорганичны, рационализированы, доступны для всеобщего понимания. Однако теперь наступила эпоха борьбы за власть, и каждому ее участнику власть нужна для реализации себя, своей внутренней *идеи*, своей души. 1900 г. не мог понять, что имел в виду Гёте, когда говорил: «В жизни важна сама жизнь, а не ее результат». Прошло время, когда люди умирали за абстрактную программу «улучшения» мира. Однако люди всегда предпочитают умереть, но остаться собой. Таково различие между идеалом и идеей.

Марксизм — это идеал. Он не принимает во внимание живые идеи, но считает мир вещью, которую можно планировать на бумаге и затем воплощать в жизнь. Маркс не понимал ни социализм, ни капитализм как *этические* мировоззрения. Он понимал их чисто *экономически*, и в этом была его ошибка.

Объяснение, предложенное марксизмом для смысла истории, было смехотворно простым, и сама эта простота обладает шармом и силой. *Вся мировая история оказалась только хроникой классово́й борьбы*. Религия, философия, наука, техника, музыка, живопись, поэзия, знать, жречество, императорское и папское государства, война и политика — все это просто отражения *экономики*. Не экономики в целом, но «борьбы классов». Самое поразительное в этой идеологической картине то, что она вообще была выдвинута и воспринята всерьез.

XX век не считает нужным спорить с подобной картиной истории как с мировоззрением. Он уже отправил ее вслед за Руссо. Следует, однако, проанализировать основы марксизма, поскольку наша эпоха состоится, только если отвергнет саму тенденцию, вызвавшую к жизни марксизм.

Внутренне чуждый западной философии Маркс не смог осмыслить ведущего философа своего времени — Гегеля и позаимствовал только гегелевский *метод* для оформления собственной картины. Он применил этот метод к капитализму как форме

¹ Тем самым (*лат.*). — *Примеч. пер.*

экономики, чтобы создать картину будущего, соответствующую его собственным чувствам и инстинктам, настроенным негативно по отношению ко всей западной цивилизации. Маркс был одним из классовых бойцов, появляющихся на соответствующей стадии любой культуры как протест против нее. Движущая сила классовой войны заключена в стремлении уничтожить культуру.

Этические и социальные основания марксизма являются капиталистическими. Это вновь старая мальтузианская «борьба». Если для Гегеля государство было идеей, организмом с гармоничным сочетанием частей, то для Мальтуса и Маркса не существовало никакого государства, но только масса, состоящая из блюдущих собственный интерес индивидов, групп и классов. Для капиталиста все сводится к экономике, в том числе личные интересы. В этом плане Маркс ничем не отличался от теоретиков капитализма, не упоминавших войну классов — Милля, Рикардо, Пейли, Спенсера, Смита. Все они отождествляли жизнь не с культурой, а с экономикой. Для них независимо от того, высказывались они по этому поводу или нет, все сводилось к войне группы против группы, класса против класса, индивида против индивида. Все верили в свободную торговлю и были против «вмешательства государства» в экономические дела. Никто из них не рассматривал общество как государство или организм. Капиталистические мыслители считали вполне этичным уничтожение одних групп и индивидов другими, если при этом соблюдался уголовный кодекс. В этом усматривался высший смысл — служение на благо всех. И в этом смысле марксизм также служит капитализму. Его этика дополняла моисеев закон мести и ту идею, что конкурент является моральным злом вдобавок к тому, что вреден экономически.

Конкурентом «рабочего класса» была буржуазия, и поскольку «победа рабочего класса» считалась единственной целью всей мировой истории, марксизм, являясь, разумеется, философией «прогресса», становился на сторону «хорошего» рабочего против плохого буржуа. Потребность думать, что с каждым днем все улучшается (этим духовным феноменом сопровождается любой материализм) была обязательна для марксизма, как для дарвинизма и филистерства XIX века в целом.

Фурье, Кабе, Сен-Симон, Конт, Прудон и Оуэн тоже изобрели утопии, подобные марксизму, но они не додумались объявить их неизбежными и забыли поставить во главу угла ненависть. Их системы основывались на разуме, однако марксизм лишней

раз доказал, что ненависть более эффективна. И даже при таком условии одна из старших утопий (марксистская была в Европе последней; следующая, придуманная Эдвардом Беллами, появилась в Америке) могла бы исполнить роль марксизма, но все они зародились в странах с меньшим промышленным потенциалом, поэтому Маркс обладал перед ними «капиталистическим» преимуществом.

II

Согласно марксистской схеме, история практически стояла на месте, пока не зародилась западная культура, а с появлением марксизма ее темп неимоверно ускорился. Наконец, появилась возможность подвести итог классовой войне, не утихавшей пять тысяч лет, но вот теперь история должна закончиться. Победа «пролетариата» состояла в упразднении классов, но также она заключалась в том, чтобы начать диктовать. Диктатура пролетариата требует, чтобы было на кого распространить диктат, и в этом состояла одна из тайн марксизма, заживавшая сердца неофитов.

К моменту появления марксизма, согласно его теории, остались только два «класса» — пролетариат и буржуазия. Естественно, им приходилось вести войну до победного конца, поскольку буржуа незаслуженно получали почти все выгоды от экономической системы. *Au contraire*,¹ именно пролетариат, не получавший ничего, должен был получить все. Подобная редукция всех классов к двум была неизбежной — эта финальная дихотомия, которую предстояло в итоге ликвидировать диктатуре пролетариата, была конечной целью всей истории. Капитализмом был назван экономический строй, посредством которого неправильные люди получали все, не оставляя ничего правильным людям. По механической необходимости капитализм породил пролетариат, и так же механически пролетариату было суждено поглотить своего создателя. Какую форму должно иметь будущее, теория не оговаривает. Все объясняли два лозунга: «экспроприация экспроприаторов» и «диктатура пролетариата».

Фактически это даже в теории не выглядело планом будущего, но только теоретическим обоснованием классовой борьбы, дающим ей историческое, этическое и экономико-политическое логическое оправдание. На это указывает тот факт, что в пре-

¹ Напротив (фр.). — Примеч. пер.

дисловии ко второму русскому изданию «Коммунистического манифеста» Маркс и Энгельс высказали тезис о том, что к коммунизму можно прийти за счет перехода русского крестьянства к диктатуре пролетариата без долгого периода господства буржуазии, которое было абсолютно необходимо для Европы.

Важной составной частью марксизма было его требование активной, постоянной, практической классово-войны. В качестве оружия для нее, по понятным причинам, были выбраны фабричные рабочие — сконцентрированные и обездоленные, поэтому легче поддающиеся агитации и организации в революционное движение для достижения совершенно негативных целей марксистского кружка.

Здесь, по данной *практической* причине, в картину истории и жизни вползает ненависть, и по этой же причине «буржуа» (по Марксу, просто механические детали механической эволюции) наделяются злобой и пороком. Ненависть полезна для разжигания войны, которая не может возникнуть сама собой, а лучшим средством для разжигания ненависти, как считал Маркс, были *неудачные* забастовки, возбуждавшие больше ненависти, чем удачные.

Абсурдные теории труда и стоимости выдвигались только ради побуждения к *действию*. Маркс разбирался в журналистике и безапелляционно заявлял, что работает и создает экономическую стоимость *только* тот, кто занят ручным трудом. По этой теории изобретатель, первооткрыватель и управляющий являются экономическими паразитами. На деле, разумеется, ручной труд есть только *функция* первичного, предварительного труда организатора, предпринимателя, администратора, изобретателя, создающего стоимость. Тому факту, что забастовка могла остановить предприятие, придавалась огромная теоретическая важность. Однако, как сказал философ, на это способна даже овца, попавшая в механизм. Простоты ради марксизм отрицал даже вспомогательную роль творческой деятельности. Она *не* имела стоимости, в отличие от ручного труда. Маркс понял смысл пропаганды задолго до того, как о ней услышал лорд Нортклиф. Чтобы массовая пропаганда была эффективной, она не должна быть слишком простой. Это правило Маркс применил довольно лихо: история есть борьба классов, вся жизнь есть борьба классов; у них есть богатство, давайте его отберем.

Марксизм приписал верхним классам капиталистические инстинкты, а нижним — социалистические. Это было совершенно неоправданно, поскольку марксизм апеллировал к капи-

талистическим инстинктам низших классов. Верхние классы изображались соперником, урвавшим себе все богатство, и нижним классам предлагалось отобрать его. Это капитализм. Суть тред-юнионов чисто капиталистическая, они отличаются от работодателей только родом поставляемого товара: вместо вещей продают человеческий труд. Тред-юнионизм является развитием капиталистической экономики и не имеет ничего общего с социализмом, поскольку основан на своекорыстии. Он противопоставляет экономический интерес работников физического труда экономическому интересу работодателя и менеджера. Это все тот же Мальтус со своей «борьбой за существование», только в новой компании: человек против человека, группа против группы, класс против класса, все они против государства.

Социалистический инстинкт, напротив, устраняет любую борьбу между составными частями организма. Он исключает как ненадлежащее обращение работодателей с работниками физического труда, так и саботаж общества классовыми бойцами. Капитализм убеждает себя, что «борьба за существование» органически необходима. Социализм знает, что в подобной «борьбе» нет необходимости, что она патологична.

В отношении капитализма и социализма нельзя утверждать, что один из них истинный, а другой ложный. Они оба инстинктивны, имеют одинаковый исторический ранг, но первый принадлежит прошлому, а второй — будущему. Капитализм — это продукт рационализма и материализма, и он был движущей силой XIX века. Социализм же соответствует эпохе *политического империализма*, авторитета, исторической философии, сверхличного политического императива. Дело не в терминологии, не в идеалах, но в чувстве и инстинкте. Предположив, что один «класс» несет ответственность перед другим, мы начинаем мыслить социалистически независимо от того, как сами определяем свое мышление. Мы можем называть это буддизмом: для истории это не имеет значения, однако мы будем мыслить именно этим способом. Если мы используем терминологию капитализма, а практикуем социализм, от этого не будет вреда, поскольку в жизни важны только практика и действие, а не слова и наименования. Разновидности социализма отличаются только тем, что один эффективен, силен и смел, а второй неэффективен, слаб и нерешителен. Однако сильное, смелое и эффективное социалистическое чувство вряд ли станет пользоваться терминологией, подобающей противоположному типу мышления, поскольку сильной, восходящей, полной жизни свойственно созвучие слова и дела.

О капиталистической родословной марксизма свидетельствуют его идея «классов», представления о труде и одержимость экономикой. Маркс был евреем, и поэтому с детских лет впитал ветхозаветную идею, что труд является *проклятием*, наложенным на человека за его грех. Свободный капитализм расценивал труд так же, считая его чем-то таким, от чего надо избавиться, чтобы получать от жизни наслаждение. В Англии, классической стране капитализма, идеи труда и богатства были главными критериями социальной значимости. Богатые не должны были трудиться, «средний класс» должен был трудиться, но не был бедным, а бедным приходилось трудиться, чтобы дожить до следующей недели. Все многообразие позиций относительно труда в жизни наций XIX века показал Торстейн Веблен в своей «Теории праздного класса».

Атмосфера марксистской утопии в целом такова, что после «победы» пролетариату не придется трудиться. Завершив «экспроприацию» пролетариат сможет уйти на заслуженный отдых и даже сделать бывших работодателей своими слугами.

Такое отношение к труду не является универсально-человеческим, но связано с английским капитализмом. Никогда прежде в западной культуре не царило ощущение, что работу следует презирать. Фактически после Реформации все ведущие теологи выражали позитивное отношение к труду как к высокой, если не высшей ценности. К этому периоду относится идея о том, что труд равносителен молитве. Теперь этот дух снова возобладал, и социалистический инстинкт видит в труде не наложенное на человека проклятие, ненавистную обузу, от которой можно избавиться с помощью денег, но содержание жизни, земную сторону его вселенской миссии. Марксизму же свойственна противоположная оценка труда по сравнению с социализмом.

Аналогично не имеет ничего общего с социализмом и марксистская концепция «класса». Изначально в западной культуре общество делилось на *сословия*, в первую очередь — по *духовному признаку*. Как сказал готический поэт Фрейданк,

В трех лицах создал нас небесный наш отец:
Да будут смерд и рыцарь, а над ними — жрец.¹

¹ В оригинале, английский перевод таков: God hath shapen lives three, / Boor and knight and priest they be. — *Примеч. пер.*

Это не *классы*, а органические категории. После Французской революции возникла идея, что общество структурировано в соответствии с денежной массой. Для обозначения определенного экономического слоя общества был применен термин «класс». На этом термине и остановился Маркс, потому что жизнь для него была просто экономикой, пропитанной, как и он сам, капиталистическим мировоззрением. Но с точки зрения социализма количество денег определяет общественный ранг не более, чем армейский. Социальный статус при социализме связан не с деньгами, а с авторитетом. Поэтому социализму не известны «классы» в марксистско-капиталистическом смысле. Он видит средоточие жизни в политике, поэтому несет в себе определенный воинский дух. Вместо «классов» как отражения богатства он использует *ранги*, соответствующие авторитету.

Марксизм столь же помешан на экономике, как современная ему английская среда. Он начинал и заканчивал экономикой, сосредоточившись на небольшом европейском полуострове и не принимая во внимание прошлое и настоящее остального мира. В сущности, марксизм просто намеревался воспрепятствовать ходу западной истории, для чего в качестве способа выбрал классовую войну.

Классовая война велась и до марксизма, но эта «философия» вооружила ее теорией, утверждающей, что ничего другого в мире не происходит. До появления марксизма низшим слоям была свойственна зависть, которая теперь получила этическое основание: ее одну сочли добром, а все остальное — злом. Богатство было объявлено аморальным и преступным, а его обладатели — архизлодеями. Классовая война уже воспринималась не просто как соперничество, а как битва добра и зла, поэтому она стала более жестокой и беспредельной, чем обычная война. Западные мыслители наподобие Сореля отвергли эту попытку снять с классовой борьбы все ограничения чести и совести; Сорель уподоблял классовую войну межнациональной, подразумевая защиту тех, кто не участвует в конфликте, соблюдение правил ведения войны, уважительное отношение к пленным. Марксизм рассматривал противника как классово-военного преступника. Противник подлежал не ассимиляции новой системой, но уничтожению, порабощению, истощению голодом, преследованию.

Таким образом, марксистская концепция классовой войны выходила далеко за пределы политики. Политика есть деятельность, связанная с властью, а не с мезтью, завистью, ненавистью или «справедливостью». К тому же классовая война не имеет от-

ношения к социализму, который насквозь политичен и считает побежденного противника членом нового, более крупного организма, обладающим теми же правами и возможностями, как все, кто уже находился в его составе. В этом отношении марксизм тоже наследует капитализму, который склонен морализировать политику, изображая противника исчадием *зреха*.

И наконец, марксизм отличается от социализма тем, что является религией, тогда как социализм представляет собой инстинктивный организационно-политический принцип. У марксизма были своя библия, свои святые, апостолы, инквизиция, ортодоксия и ересь, догматы и экзегезы, священные тексты и схизмы. Социализм свободен от всего этого, он заинтересован в сотрудничестве людей с одинаковыми инстинктами. Даже теперь идеология для социализма не очень важна, и с течением десятилетий ее значение будет только уменьшаться.

В то время как социализм создает формы будущего, марксизм катится в прошлое вместе с остальными остатками материализма. Миссия западного человека не в том, чтобы разбогатеть благодаря классовой войне, а в том, чтобы реализовать свой внутренний политико-культурный императив.

Фрейдизм

I

Подобно дарвинизму и марксизму, фрейдизм имеет не культурное, а именно антикультурное значение. Все три являются продуктами *отрицательной* стороны цивилизационного кризиса, разрушающими старые духовные, социальные, этические, философские ценности и заменяющими их грубым материализмом. Те, в чьем распоряжении были все старые ценности западной культуры, нашли себе новое божество — принцип критицизма. Дух XIX столетия — это дух *иконоборчества*. Почти все выдающиеся мыслители склонялись тогда в сторону нигилизма: Шопенгауэр, Геббель, Прудон, Энгельс, Маркс, Вагнер, Дарвин, Дюринг, Штраус, Ибсен, Ницше, Стриндберг, Шоу. С другой стороны, некоторые из них также были провозвестниками будущего, духа XX века. Однако их главный настрой был материалистическим, биологическим, экономическим, научным — направленным против души культурного человека и присущего ему восприятия смысла жизни.

Система Фрейда не дотягивает до их уровня, но вписывается в ту же традицию. Она атакует душу культурного человека не с экономического и биологического флангов, а с фронта: средством отрицания всех возвышенных импульсов души на этот раз выбрана психологическая «наука». Со стороны создателя психоанализа этот штурм был сознательным. Он говорил о Копернике, Дарвине и самом себе как о трех великих обидчиках человечества. Доктрина Фрейда несла печать его еврейского происхождения, и в своем эссе «Спротивление психоанализу» («The Resistance to Psychoanalysis») он говорил, что эту систему не случайно создал еврей и что евреи являются ее прирожденными адептами, поскольку им пришлось пережить изоляцию и враждебность. По отношению к западной цивилизации Фрейд был духовно изолирован и мог находиться только в оппозиции к ней.

Фрейдизм является еще одним продуктом рационализма. Он отдает душу на растерзание рассудку и обнаруживает, что она устроена чисто механически. Понять ее очень просто: источником всех духовных явлений оказывается половое влечение. Это стало еще одним из тех удивительных и грандиозных упрощений, которые гарантировали любой доктрине популярность в эпоху массовой журналистики. Дарвинизм был популярным представлением о том, что смысл жизни всего на свете заключается в стремлении превратиться в такое животное, как человек, который в свою очередь стремится стать дарвинистом. По Марксу, смысл человеческой жизни в том, чтобы низшие заняли место высших. По Фрейду, смысл человеческой жизни в сексуальности: актуальной, оптативной, коннативной или еще какой-нибудь. Все три учения — разновидности нигилизма, которому духовно противостоит культурный человек. Последний подлежит ниспровержению посредством его анимализации, биологизации, экономизации, сексуализации, дьяволизации. Для дарвинизма готический собор — продукт механической эволюции, для Маркса — попытка буржуазии одурачить пролетариат, для Фрейда это образец застывшей сексуальности.

Опровергать фрейдизм и бесполезно, и невозможно. Если все сводится к сексу, то и развенчание фрейдизма также будет иметь сексуальный смысл. XX век не оценивает истинность или ложность феноменов, отошедших в историю. Для исторического способа мышления, свойственного новому веку, готический собор есть выражение юной, напряженно религиозной, пробуждающейся западной культуры, воплощенное стремление энергичной природы этой культурной души. Однако новое миро-

воззрение для своего самовыражения должно сбросить материалистическую тиранию старых, обветшавших взглядов и, в частности, освободиться от фрейдизма.

Последняя великая попытка анимализации человека пользуется все теми же рационально-критическими методами. Душа *механистична*: она состоит из одного простого импульса, полового инстинкта. Вся жизнь души есть процесс перенаправления, извращения и обращения этого инстинкта на самого себя, поскольку основополагающим для этой «науки» является тезис о том, что этот инстинкт просто не может проявляться правильно. Описание механических функций души равносильно описанию *болезней*. Все разнообразные процессы суть неврозы, комплексы, подавления, сублимации, переносы и перверсии. Все являются *ненормальными*, нездоровыми, переадресованными, противоестественными. В качестве одной из азбучных истин теория утверждает, что любой человек — невротик, а любой невротик — извращенец или гомосексуалист (*invert*). Это справедливо не только для культурного человека, но и для первобытного.

Здесь Фрейд превзошел Руссо, который в начале ранней цивилизационной фазы Запада настаивал на чистоте, простоте и душевном здоровье дикаря в отличие от порочного и извращенного культурного человека. Фрейд расширил фронт атаки, объявив врагом весь человеческий род. Если бы все прочие явления не свидетельствовали о том, что ранняя материалистическая и рационалистическая фаза цивилизации уже завершилась, об этом можно было бы судить на основании одного лишь фрейдизма, так как дальше его откровенного и полного нигилизма, в таких крайностях выражающего антикультурное чувство, идти некуда.

Как психология, это должно называться патопсихологией, поскольку весь ее терминологический арсенал описывает только aberrации полового инстинкта. Понятие здоровья совершенно неприменимо к душевной жизни. Фрейдизм — это черная месса западной науки.

Частью системы является толкование сновидений. Они отражают чисто механическое функционирование «ума» (поскольку души нет), хотя делают это довольно мутно: чтобы добраться до реального смысла, нужен доскональный ритуал, состоящий в обращении к «цензуре сознания» (новое имя для кантовского «морального основания»), «символизму», «принуждению к повторению» и многим другим каббалистическим заклинаниям.

Оригинальная форма доктрины состояла в том, что сновидения суть желания. Увиденную во сне смерть любимого человека психоаналитики объясняют латентной ненавистью к родителям, симптомом почти универсального эдипова комплекса. Догма была жесткой: например, если приснилась смерть домашней собаки или кошки, значит в фокусе эдипова комплекса находится животное. Если актеру приснилось, что он не знает свою роль, это означает, что он желает однажды испытать подобное смущение. Чтобы привлечь больше адептов, включая тех, чья вера слаба, доктрина подверглась небольшим изменениям, и были приняты другие толкования снов, такие как «принуждение к повторению», когда регулярно повторяется один и тот же сон.

Мир сновидений, конечно же, отражает универсальную сексуальность души. На роль сексуального символа годится любой мыслимый предмет сновидения. В снах проявляется «подавленный» половой инстинкт, символизируя, перенося, сублимируя, инвертируя и запуская весь спектр механистической терминологии.

Во взрослом состоянии любой человек — невротик, и это не случайно, ибо он стал таковым в детстве. Опыт детства определяет (чисто механически, поскольку процесс не имеет никакого отношения к духовности), какой именно невроз будет сопровождать человека всю жизнь. И с этим вообще ничего нельзя поделать, кроме как отдать себя на попечение фрейдистскому адепту. Один из них провозгласил, что 98 % людей нуждаются в наблюдении психиатра. Это было уже дальнейшим развитием теории, поскольку вначале говорилось о ста процентах, но, как в случае с мормонством, исходная доктрина была для удобства смягчена старейшинами.

Для стороннего глаза средний человек, занятый своим делом, представляет великую иллюзию: все выглядит так, что он делает именно то, что делает. На самом же деле, как доказывает фрейдизм, это лишь видимость, потому что фактически он тихо размышляет о сексе, и все плоды его труда — это результаты его сексуальных фантазий, пропущенных сквозь механические фильтры цензуры сознания, сублимации, переноса и тому подобного. Если вы надеетесь, боитесь, желаете, мечтаете, мыслите абстрактно, исследуете, чувствуете вдохновение, стремитесь к цели, испытываете ужас, отвращение, почтение — вы всего лишь выражаете свой половой инстинкт. Искусство есть не что иное, как секс, и к нему же сводятся религия, экономика, абстрактное мышление, техника, война, государство и политика.

Фрейд, таким образом, заслужил, наряду со своим кузеном Марксом, орден Простоты — вождеденную награду эпохи масс. С уходом эпохи критицизма ее отправили в мусор, поскольку новое мировоззрение не занимается записыванием всех данных знания, опыта и интуиции в предварительно изготовленную форму, а стремится видеть то, что было, есть и должно быть. На портале нового мировоззрения высечен афоризм Лейбница: «Настоящее влачит на себе груз прошлого и беременно будущим». Ребенок — отец человека: такова древняя мудрость, подразумевающая разворачивание человеческого организма от детства к зрелости, когда каждая стадия связана с предыдущей и последующей в силу того, что в любой момент выражается одна и та же душа. Фрейдизм пародирует это глубокое органическое представление, механистически полагая, что детство *определяет* форму зрелости, и представляя все органическое разворачивание каузальным и, более того, демоническим и болезненным *процессом*.

В той мере, в какой фрейдизм вообще является западным явлением, он подчинен преобладавшей тогда духовности Запада. Его механистичность и материализм отражают мировоззрение XIX века. Его разговоры о бессознательном, инстинкте, импульсе и т. п. связаны с тем, что фрейдизм появился в западной цивилизации в переходный момент, когда рационализм себя исчерпал, и в поле зрения вернулось иррациональное. Фрейдистская доктрина предрекала новый дух вовсе не терминологией и трактовкой новых иррациональных элементов, но просто и единственно тем фактом, что иррациональные элементы в ней *появились*. Только в этом одном данная система что-то предвосхищает, во всем же остальном она принадлежит к мальтузианско-дарвинистско-марксистскому прошлому. Она была только идеологией, частью общей рационально-материалистической борьбы с культурным человеком.

Иррациональные элементы, признаваемые системой, строго подчинены высшему рационализму адепта, который может их расшифровать и вывести страдающего невротика к свету дня. Возможно, они даже более болезненны, чем остальные элементы психологического комплекса. Несмотря на свою иррациональность, они, однако, поддаются рациональному объяснению, обработке и лечению.

Таким образом, фрейдизм появляется в качестве последней из материалистических религий. Психоанализ, как и марксизм, —

это секта. Здесь есть тайная исповедь, догмы и символы, эзотерическая и экзотерическая версии доктрины, неопиты и отступники, жрецы и схоласты, полный ритуал экзорцизма и литургия мантии. Возникновение ересей приводит к образованию новых сект, каждая из которых утверждает, что является носителем истинного учения. Суть его толкования сновидений — оккультизм и язычество, замешанные на сатанинском поклонении сексу. Фрейдистская картина мира изображает невротическое, свихнувшееся и сдавленное смиренной рубашкой западной цивилизации человечество, которому новый жрец психоанализа обещает спасение с помощью антизападного евангелия от Фрейда.

Ненависть, составляющая ядро марксизма, присутствует и в этой обновленной религии. В обоих случаях это ненависть чужака к своему абсолютно чуждому окружению, которое он не может изменить, поэтому вынужден уничтожить.

Отношение XX века к содержанию фрейдизма соответствует духу времени, который сосредоточен на действии: к западной душе взывают внешние задачи. На этот призыв откликнутся лучшие, оставив тем, кто не имеет души, заниматься ее описанием. Научная психология ни в одной культуре не была привлекательна для глубоких умов. Она целиком и полностью покоится на допущении, что посредством мышления можно установить форму того, что мыслит, а это крайне сомнительное предположение. Если бы душу можно было описать в рациональных терминах (предварительное условие для возможности психологии как науки), тогда в такой науке не было бы необходимости. Разум есть часть души, точнее говоря, ее частичная функция. Любая картина души изображает только душу того, кто ее рисует, и ему подобных. Сатанист воспринимает вещи по-фрейдистски, но не может понять тех, кто все видит иначе. Этим объясняется мерзость фрейдистских попыток демонизировать, сексуализировать, механизировать и уничтожить всех великих людей Запада. Фрейдисты не способны постичь величие, не ощущая его в себе.

Душу нельзя определить — она есть самое элементарное. Любое ее изображение, любая психологическая схема является всего лишь ее производным и не идет дальше автопортрета. Как мы теперь хорошо понимаем, *жизнь важнее своих результатов*.

Психологические системы (во всех цивилизациях) пользуются терминологией наук о материи — физики и механики. Поэтому они выражают дух естествознания и, будучи продуктом эпохи, занимают в нем определенное место. Они не дотягивают

до высшего ранга, на который претендовали, пытаясь постичь душу. Фрейдизм утвердился в качестве новой психоаналитической церкви уже после того, как устарел в глазах ушедшей вперед западной цивилизации.

Психология XX века ориентирована на деятельную жизнь. В эту эпоху психология должна быть практической, в противном случае она бесполезна. Психология толп, армий, лидерства, повиновения, лояльности — вот что имеет смысл в наше время. К этим вещам не подступиться с «психометрическими» методами и невразумительной терминологией, но только посредством человеческого опыта — собственного и других людей. XX век считает психологом Монтеня, по сравнению с которым Фрейд — это всего лишь затесавшийся в XIX век образчик охоты на ведьм, охватившей западную культуру в ее юные дни (что также было замаскированной формой сексуального культа).

Человеческая психология изучается в жизни и деятельности, а не посредством хронометража реакций лабораторных собак и мышей. Мемуары человека действия, путешественника, исследователя, солдата, государственного деятеля содержат как в тексте, так и между строк психологию того человеческого типа, в котором заинтересована наша эпоха. Любая газета является краткой инструкцией по психологии массовой пропаганды, и она ценнее любого трактата на эту тему. Существует психология наций, профессий, культур и последовательных эпох определенной культуры, от юности до старости. Психология является одним из аспектов искусства возможного, и лишь в таком качестве она может быть предметом изучения, достойным эпохи.

Величайшее из всех хранилищ психологии — это сама история. В ней мы не найдем для себя *модель*, поскольку жизнь никогда не повторяется, случаясь только однажды, но она показывает нам на примерах, как мы можем реализовать свои возможности, оставаясь честными сами с собой и никогда не идя на компромисс с тем, что нам совершенно чуждо.

При таком взгляде на психологию никакой материализм заведомо не способен к ее постижению. В этом совпадают Руссо, Дарвин, Маркс и Фрейд. Они могли кое-что понимать, но только не человеческую душу, в особенности душу культурного человека. Их системы в XX веке выглядят лишь историческими курьезами, пока не претендуют на статус адекватных описаний реальности. Тот, кто «верит» в эти отжившие фантазии, выглядит смехотворно, никчемно и мелко. Лидеры грядущих десятилетий не могут быть дарвинистами, марксистами или фрейдистами.

Наука стремится к точному знанию о явлениях. Открывая взаимоотношения между явлениями, то есть наблюдая условия их возникновения, она полагает, что *объясняет* их. Ментальность такого типа возникает в высокой культуре по завершении этапа творческой религиозной мысли, в начале экстериоризации. В нашей культуре подобный склад ума получил распространение только с середины XVII века, в классицизме — в V веке до н. э. С исторической точки зрения главные особенности раннего научного мышления в том, что оно освобождается от теологического и философского оснащения, пользуясь им только для заполнения фона, который ей не интересен. Обращая все внимание на явления, а не на высшую реальность, оно не может не быть материалистическим по своей сути. В религиозную эпоху феномены не столь важны в сравнении с великими духовными истинами, в научную эпоху справедливо обратное.

Техника — это использование макрокосма. Она всегда сопровождает науку в ее полном расцвете, но это не значит, что любая наука сопровождается технической активностью, поскольку науки классической и мексиканской культур не имели никакого отношения к тому, что мы называем техническим мастерством. На раннем этапе цивилизации наука доминирует и предшествует технике во всех ее достижениях, но с началом XX века техническое мышление начинает освобождаться от этой зависимости, и в наши дни уже наука служит технике, а не наоборот.

В эпоху материализма, так сказать, в антиметафизическую эпоху было вполне естественно, что такой антиметафизический тип мышления, как наука, стал популярной религией. Культурному человеку религия необходима, и если дух времени исключает подлинную религию, человек создаст ее из экономики, биологии или природы. В XVIII и XIX столетиях, когда наука была преобладающей религией, разрешалось сомневаться в истинах христианских сект, но было непозволительно ставить под сомнение Ньютона, Лейбница и Декарта. Когда великий Гёте бросил вызов ньютоновской теории света, его осмеяли как чудака и еретика.

Наука была главным культом XIX века, и все остальные религии, такие как дарвинизм и марксизм, опирались на ее великие материнские догмы как на основания своих частных истин.

«Ненаучность» стала главным оскорблением. Начав достаточно скромно, наука постепенно стала преподносить свои результаты не просто как упорядочивание и классификацию, но как истинное *объяснение* природы и жизни. С этой поры она стала мировоззрением, то есть всеобъемлющей философией с метафизикой, логикой и этикой для верующих.

Любая наука, в сущности, является светской интерпретацией догм предыдущего религиозного периода. Одна и та же душа культуры формирует великие религии и на следующем этапе перестраивает свой мир, поэтому такая преемственность абсолютно неизбежна. Западная наука как мировоззрение — это просто западная религия, представленная в своем профаническом, а не сакральном варианте, как нечто естественное, а не сверхъестественное, как результат открытия, а не откровения.

Подобно западной религии наука определенно была жреческим занятием. Ученый — это жрец, учитель — это брат-мирянин, а такие великие систематизаторы, как Ньютон и Планк — это канонизированные святые. Любая форма западной мысли эзотерична, и научные доктрины не являются исключением. Население держат в курсе «научных достижений» с помощью популярной литературы, вызывающей улыбку у высших жрецов науки.

В XIX веке наука срослась с идеей «прогресса» и пометила ее своей особой печатью. Содержание «прогресса» должно быть *техническим*, он состоит в ускорении движения, все более глубокой и широкой эксплуатации материального мира *ad infinitum*. С этого момента начинается господство техники над наукой. «Прогресс» теперь в первую очередь заключается в умножении не *знания*, но *техники*. Любое западное мировоззрение стремится к универсальности, поэтому было провозглашено, что решения социальных проблем следует ожидать не от политики с экономикой, а от науки. На повестке дня стояли изобретения, которые сделают войну настолько ужасной, что люди просто откажутся воевать. Такая наивность была естественным продуктом эпохи, сильной в естественных науках, но слабой в психологии. Проблему бедности позволят решить только машины и еще больше машин. Невыносимые условия, созданные машинной цивилизацией, предполагается облегчить дальнейшим увеличением количества машин. Старость следует преодолеть «омоложением». Смерть является результатом патологии, а не старости. Стоит побороть все болезни, и не будет от чего умирать.

Расовые проблемы должна решить «евгеника». Рождение индивида больше нельзя отдавать в руки фатума. Вопросы родословной и рождения должны решать ученые жрецы. В новой теократии недопустимы никакие внешние события, все должно быть управляемым. Погоду следует «обуздать», все природные силы поставить под абсолютный контроль. Не должно быть поводов для войн, все должны стремиться стать учеными, а не искать власти. Тогда исчезнут межнациональные проблемы, поскольку мир превратится в огромное научное учреждение.

Эта картина выглядела совершенной и внушала благоговение материалистическому XIX веку: жизнь и смерть, вся природа будут приведены в абсолютный порядок под присмотром научной теократии. Все на нашей планете станет происходить в точности по образцу небесной идиллии, которую для себя нарисовали ученые астрономы, воцарится невозмутимая регулярность. Но такой порядок был бы чисто механическим, совершенно бесцельным, а человек — ученым лишь для учености.

II

Однако дальнейшие события развенчали эту картину, засвидетельствовав, что она также несет печать жизни. Перед Первой мировой войной уже началось расшатывание физических оснований огромной структуры. Мировая война вызвала паузу в области науки, как и во всех остальных сферах западной жизни. В этой войне родился новый мир — на смену механистическому видению вселенной и концепции, считавшей смыслом жизни накопление богатства, пришел дух XX века.

Механистическая картина, несмотря на десятилетия ее застоя и господства, померкла с поистине удивительной скоростью, и ведущие умы, даже в пределах ее дисциплин, отвернулись от некогда бесспорных символов материалистической веры.

Как обычно происходит с историческими движениями, выражающими сверхличную душу, апогей власти и величайших побед является также началом быстрого падения. Неглубокие люди всегда путают окончание движения с началом его абсолютного господства. Например, многие считали, что Вагнер положил начало новой музыке, хотя следующее поколение уже знало его как последнего западного композитора. Завершение любого выражения культуры — процесс постепенный, однако у него существу-

ют поворотные пункты, и быстрый упадок науки как *мировоззрения* начался вместе с Первой мировой войной.

В качестве *умственной дисциплины* наука пошла под уклон задолго до мировой войны. С теорией энтропии (1850) и введением в научную картину идеи необратимости наука встала на путь, которому предстояло достичь кульминации в физической теории относительности и смелом предположении о субъективном характере физических концепций. Энтропия принесла в систематическую науку применение статистических методов как начало духовного отступничества. Статистика описывала жизнь и живое; строгая традиция западной науки настаивала на *точности* в математическом описании реальности и поэтому презирала все, что не поддается точному описанию, например биологию. Введение вероятностей в некогда точную науку свидетельствует о том, что наблюдатель начинает исследовать самого себя, поскольку оказывается, что он собственной формой обуславливает порядок и возможность описания явлений.

Следующим шагом была теория радиоактивности, которая также содержит сильные субъективные элементы и требует расчета вероятностей для описания своих результатов. Научная картина мира становилась все более чистой и субъективной. Некогда самостоятельные дисциплины — математика, физика, химия, эпистемология, логика — постепенно сблизилась. В ход пошли органические идеи, в очередной раз демонстрируя, что наблюдатель перешел к исследованию структуры собственного разума. Химический элемент теперь имеет *срок жизни*, и точные события его жизни непредсказуемы и неопределенны.

Сама единица физического явления — «атом», который в XIX веке считался реальностью, в XX веке оказался всего лишь понятием, описание свойств которого приходилось постоянно менять, чтобы соответствовать техническим достижениям и подкреплять их. Раньше каждый эксперимент демонстрировал только «истинность» господствующих теорий. Это было во времена превосходства науки как дисциплины над техникой — ее приемлемым. Но ближе к середине XX века каждый новый эксперимент стал приносить новую гипотезу о «структуре атома». В этом процессе важен был не гипотетический карточный домик, который возводился впоследствии, а поставленный вначале опыт. Перестало вызывать неудобство наличие двух не согласующихся друг с другом теорий для описания «структуры атома» или природы света. Предметы всех отдельных наук больше не могли оставаться математически четкими. Старые понятия, та-

кие как масса, энергия, электричество, тепло, радиация, взаимно переплелись, и с небывалой ясностью стало очевидно, что на самом деле предметом изучения являются человеческий разум в его эпистемологическом аспекте и западная душа в ее научном аспекте.

Научные теории достигли точки, когда начали демонстрировать полный крах науки как умственной дисциплины. Млечный Путь теперь изображается состоящим более чем из миллиона фиксированных звезд, многие из которых имеют диаметр свыше 93 миллионов миль. Он тоже не является стационарным космическим центром, но сам движется в неизвестном направлении со скоростью более 600 километров в секунду. Космос конечен (*finite*), но бескраен (*unlimited*), не имеет границ (*boundless*), но ограничен (*bounded*). Все это вновь требует от истинного приверженца возвращения к старой готической вере: *credo quia absurdum*,¹ но механическая бесцельность не может пробудить такой веры, и высокие жрецы отступились.

В свою очередь «атом» имеет столь же фантастический диаметр, составляющий одну десятиллионную часть миллиметра, а масса атома водорода относится к массе капли (*gram*) воды, как масса почтовой открытки к массе Земли. Но этот атом состоит из электронов, и все это образует нечто вроде солнечной системы, в которой расстояние между планетами столь же велико по сравнению с их массой, как и в нашей Солнечной системе. Диаметр электрона — одна трехмиллиардная миллиметра. Но чем подробнее он изучается, тем более духовным выглядит, поскольку ядро атома — это просто электрический заряд, не имеющий ни веса, ни объема, ни инерции, ни остальных классических свойств материи.

В своей последней великой саге наука растеряла собственные физические основания и переместилась из чувственного мира в мир души. Абсолютного времени не стало, время оказалось функцией места. Масса одухотворилась в энергию. Идея одновременности была отброшена, движение стало относительным, параллельные пересеклись, никакие два расстояния больше не могут считаться одинаковыми. Все, что некогда называлось (или само называло нечто) словом «реальность», исчезло в последнем акте драмы науки как умственной дисциплины. Блустители такого образа науки один за другим оставляют старые материалистические позиции. В последнем акте им, наконец, открылось,

¹ Верую, ибо абсурдно (*лат.*). — *Примеч. пер.*

что на самом деле предметом науки, относящейся к данной культуре, является описание в научных терминах мира этой культуры, а этот мир в свою очередь представляет собой проекцию ее души. В результате изучения материи был сделан глубокий вывод, что материя это только обертка души. Описывать материю — значит описывать самого себя, пусть даже математические уравнения придают процессу кажущуюся объективность. Сама математика отреклась от претензий на описание реальности: ее гордые уравнения — всего лишь *тавтологии*. Уравнение суть *тождество*, повторение, и его «истинность» отражает бумажную логику принципа тождества. Но это лишь форма нашего мышления.

Переход от материализма XIX века к новой духовности XX века был поэтому не борьбой, но неизбежным развитием. Проницательная, хладнокровная умственная дисциплина повернула свое острие на саму себя в силу внутреннего императива думать по-новому, антиматериалистически. Материю нельзя объяснить с материалистических позиций. Весь ее смысл заключен в душе.

III

С этой точки зрения материализм выглядит великим *отрицанием*. Отрицание духа требовало огромного духовного усилия и само по себе было выражением духовного кризиса. Это был кризис цивилизации, отрицание культуры культурой.

Для животных реальность есть то, что является, — материя. Чувственный мир — *это и есть* мир. Но уже для первобытного человека и тем более для культурного человека мир разделяется на явление и реальность. Все видимое и осязаемое ощущается как *символ* чего-то высшего и невидимого. Эта символизирующая деятельность как раз и отличает человеческую душу от менее сложных жизненных форм. Человек обладает *метафизическим чувством* как отметиной своей человечности. Но именно эту высшую реальность, мир символов, наделенный смыслом и целью, тотально отрицал материализм. Разве он не был в таком случае великой попыткой анимализации человека посредством приравнивания материального мира к реальности и его погружения в материю? Материализм побежден не потому, что он был ложью. Он просто умер от старости и не выглядит ложью даже теперь, а просто пропускается мимо ушей. Он вышел из моды и стал мировоззрением провинциалов.

Коллапс образа реальности, созданного западной наукой, означал, что как умственная дисциплина она выполнила свою миссию. Ее побочный продукт, научное мировоззрение, теперь принадлежит прошлому. Но в качестве одного из результатов Второй мировой войны возникла новая глупость — поклонение технике как философия жизни и мира.

Техника, в сущности, не имеет отношения к науке как умственной дисциплине. У нее одна задача: получение физической энергии из внешнего мира. Это, так сказать, натурполитика, в отличие от человеческой политики. Тот факт, что техника развивается сегодня на основании одной, а завтра — другой гипотезы, показывает, что ее задача не в формировании системы знания, но в подчинении внешнего мира воле западного человека. Гипотезы, на которые она опирается, не имеют реальной связи с ее результатами, но только дают пищу для воображения техникам, побуждая их мыслить в новых направлениях для постановки новых опытов по извлечению все большей энергии. Некоторые гипотезы, разумеется, необходимы, а *что именно* они собой представляют — дело второстепенное. Получается, что техника еще меньше науки способна удовлетворить потребность нашей эпохи в мировоззрении. Физическая энергия — для чего она нужна?

Ответ дает сама эпоха: физическая энергия нужна для политических целей. Наука превратилась в поставщика терминологии и идей для техники. Техника в свою очередь обслуживает политику. С 1911 г. в воздухе начала витать идея «атомной энергии», но именно дух войны впервые дал этой теории конкретную форму с изобретением в 1945 г. неизвестным западником новой мощной взрывчатки, действие которой основано на нестабильности «атомов».

Техника практична, политика практична в высшей степени. У нее нет ни малейшего интереса к тому, имеет ли новая взрывчатка отношение к «атомам», «электронам», «космическим лучам» или к святым и демонам. Исторический способ мышления, который формирует настоящего государственного деятеля, не может принимать сегодняшнюю терминологию слишком всерьез, памятуя, как быстро была отброшена вчерашняя. Заряд, который за секунду может разрушить город с населением 200 тысяч человек, — вот это реальность, и она влияет на сферу политических возможностей.

Дух политики определяет форму войны, а форма войны со своей стороны влияет на ведение политики. Оружие, тактика,

стратегия и плоды победы — все это определяется политическим императивом эпохи. Каждая эпоха подбирает для себя совокупность форм выражения. В богатом формами XVIII веке военные действия также подчинялись строгой форме, определявшей последовательность расположения и развертывания, как современная им музыкальная форма вариаций на тему.

После первого применения новой мощной взрывчатки в 1945 г. в западном мире возникла странная аберрация. По своей сути она имела отношение к остаткам материалистического мышления, но вдохновлялась также извечными мифологическими представлениями. Возникла мысль, что новая взрывчатка разнесет всю планету. В середине XIX века, когда была выдвинута идея железных дорог, доктора медицины говорили, что столь быстрое перемещение опасно для головного мозга, и причинить вред может даже сам вид мчащегося мимо поезда; более того, внезапный перепад давления в туннелях чреват инсультом.

Идея о взрыве планеты была просто новой формой старых представлений, содержащихся во многих мифологиях, западных и незападных: о конце света, Рагнарёке, сумерках богов, потопе. Наука подхватила эту идею и обернула во второй закон термодинамики. Технопоклонники много насочиняли о новой взрывчатке. Они не поняли, что это начало процесса, а не конец.

Мы стоим на пороге эры абсолютной политики, и естественно, что один из ее запросов — мощное оружие. Поэтому технике приказано во что бы то ни стало найти *абсолютное оружие*. Ей, конечно, это никогда не удастся, и тот, кто считает иначе, — просто материалист, что в XX веке значит провинциал.

Технопоклонничество совершенно не свойственно душе Европы. Созидательный импульс человеческой жизни не исходил от материи ни раньше, ни теперь. Напротив, сами способы испытания и использования материи являются отражением души. Наивная вера технического культа, что взрывчатка способна перестроить западную цивилизацию до основания — это последний предсмертный вздох материализма. Данную взрывчатку сделала эта цивилизация, и она сделает другие, но взрывчатка не делала и никогда не переделает западную цивилизацию. Западную культуру создала не материя, значит, она не способна ее разрушить.

Это все тот же материализм — путать цивилизацию с фабриками, домами и нагромождением машин. Цивилизация есть более высокая реальность, манифестирующая себя через человеческую популяцию, точнее говоря, через ее определенный

духовный слой, обладающий наивысшим потенциалом для воплощения живой идеи культуры. Это сама культура создает религии, архитектурные формы, искусства, государства, нации, расы, народы, армии, войны, поэмы, философии, науки и внутренние императивы. Все они — лишь формы самовыражения высшей реальности, которую ничто из перечисленного не может разрушить.

Отношение XX века к науке и технике вполне понятно. Он не рассчитывает на них как на источник мировоззрения — он черпает его из другого источника, определенно отвергая любую попытку создать религию или философию из материализма или культа атома. Он, однако, находит им применение на службе своей безграничной воли к власти. Идея первична, и превосходство в оружии существенно для ее реализации, позволяя компенсировать огромное численное превосходство врагов Запада.

Императив нашей эпохи

I

Оглядывая в целом предыдущие мировые события, западный человек осознает себя в фазе XX века. Он видит, где он находится, видит также, почему теперь ему следует сориентироваться *исторически*. Его внутренний инстинкт запрещал ему искажать историю на материалистический лад, подчиняя ее какой бы то ни было идеологии. Он видит эпохи предыдущих культур, которым соответствует его нынешняя фаза. Это «Период борющихся царств» в китайской культуре, переход к цезаризму в римской и эпоха «гиксосов» в египетской. Ни одна из них не являлась эпохой расцвета искусств или философии, все они были сосредоточены на политике и действии. Это периоды величайших свершений, максимального внешнего созидания и мышления огромными пространствами. Философы и идеологи, реформаторы мира к лучшему и торговцы искусством в эти эпохи, когда императив заставляет действовать, а не мыслить абстрактно, скатываются на уличный уровень.

Вследствие своей исторической позиции — в начале второй фазы цивилизации — душа западного человека имеет определенную органическую предрасположенность, и носители современной идеи с необходимостью должны думать и чувствовать так, а не иначе. Можно четко указать, как это выглядит в отношении

различных форм человеческой и культурной мысли и действия. Для религии эта эпоха снова будет утвердительной, в противоположность отрицательному материалистическому атеизму. Каждый человек действия постоянно сталкивается с непредсказуемым, немислимым, с тайной жизни, что исключает лабораторное отношение с его стороны. Эпоха действия живет бок о бок со смертью и оценивает жизнь по ее отношению к смерти. Никто не отменял старой готической религиозной идеи о том, что в свой последний миг человек проявляет свое содержание во всей чистоте. Пусть он жил как бездельник, но может умереть героем, и этот последний акт жизни создает его образ, который остается в памяти потомков. Мы не видим смысла оценивать жизнь по ее продолжительности, как это делал материализм, или верить в какую-либо доктрину бессмертия тела.

Между земным предназначением и отношением к Богу для западного человека нет противоречия. В начале сражения солдаты по обычаю молятся. Битва — это передний план, а тот, к кому обращена молитва, является трансцендентным: это — Бог. Наш метафизический императив реализуется в определенных жизненных рамках. Мы были рождены в определенной культуре, в определенную фазу ее органического развития, у нас есть определенные дары. Всем этим обусловлена земная задача, которую нам надлежит исполнить. Но метафизическая задача не связана никакими условиями, поскольку она одна и та же в любую эпоху и в любом месте. Земная задача — только форма высшей задачи, ее органический проводник (vehicle).

Дух нашей эпохи по-своему относится к философии, в отличие от предыдущих столетий. Его великий организующий принцип — это морфологический смысл систем и событий. Он не руководствуется критическим методом: все критические методы только отражали господствовавший дух, а наш дух перерос критику. Его мысль переместилась в историю. Раскрывая смысл предыдущих столетий нашей культуры, мы понимаем, независимо от какой-либо системы или идеологии, природу того, что нам предстоит сделать. Мы ощущаем смысл наших самых сокровенных чувств и императива; направление нам указывает история.

Наша эпоха не находит применения таким продуктам устаревшего типа мышления, как теории улучшения мира. Она заинтересована единственно в том, что *должно* быть сделано и что *может* быть сделано, а не в том, что *следовало бы* сделать. Мир действия подчиняется своим собственным органическим рит-

мам, а идеологии принадлежат миру мышления. Нас интересуют живые идеи, а не мертворожденные идеалы.

К искусству наша эпоха относится однозначно. В лучшем случае наши художественные задачи отходят на второй план, в худшем — искусство вырождается в безобразия и хаос. Массовый тарарам — не музыка, графические кошмары — даже не черчение, не то что живопись. Непристойность и уродство — не литература, материалистическая пропаганда — не драма, бессвязные слова, небрежно брошенные на бумагу, — не лирика. Любые задачи, стоящие перед нашим веком в области искусства, будут решаться индивидами, действующими спокойно, в соответствии со старыми западными традициями и без оглядки на газетное искусствоведение.

В эпоху действия и организации новый толчок должна получить юридическая мысль. Западное право вместе с сопутствующими историческими и психологическими формами мысли не должно оставаться в стороне от политической эпохи. Оно полностью обновится ее идеями и отправит на свалку затхлый материализм публичного, коммерческого и особенно уголовного права.

Техника и наука как ее служанка имеют огромное значение для западной цивилизации в нынешней фазе. Техника должна обеспечить западной политике мощный кулак для грядущих сражений.

В социальную структуру западной цивилизации взамен принципа богатства будет внедрен принцип авторитета. Этот принцип никак не враждебен частной собственности или частному менеджменту, в отличие от негативного чувства ненависти и зависти, питающего классовую войну. Идея XX века ликвидирует классовую войну, а также идею о том, что экономика в нашей жизни определяет всё.

Экономике в новом здании отводится место *фундамента*, чем и определяется ее духовное значение. Фундамент — не главный, а строго второстепенный элемент здания, но в эпоху действия политическая единица должна обладать экономической силой. Экономика может быть источником политической силы, иногда может служить оружием в борьбе за власть. По этой причине XX век не будет пренебрегать развитием экономической стороны жизни, но даст ей новый импульс на основе господствующей теперь политической идеи. Из области борьбы индивидов за добычу она преобразуется в сильную и важную сторону политического организма, хранителя общей судьбы.

Отношение XX века к разным направлениям мысли и действия, как и в другие эпохи, должно быть строго определенным. Лучшие умы XIX века в большинстве своем были склонны к нигилизму, сенсуализму, рационализму и материализму, поскольку то была эпоха кризиса культурной жизни, и дух времени объединял все эти идеи. Аналогично тогда была самоочевидной идея *политического национализма*, которая тоже являлась продуктом великого кризиса и потому — родом *болезни*, насколько пагубной, настолько и необходимой.

Любое стечение органических обстоятельств связано с возможностью выбора и альтернативы. Выбор состоит в том, чтобы делать должное, в противном случае — хаос. Это не имеет ничего общего с логикой из школьного учебника — одним из бесчисленных продуктов жизни, способной изобрести сколько угодно логик. Сама жизнь всегда будет подчиняться *единственной* логике — *органической*. Ее не описать никакой теорией, но можно постичь, если мыслить судьбой — единственным способом мышления, подобающим действию. Жизнь либо идет вперед, либо никуда. Противодействие духу времени равносильно воле к небытию.

В области *теории* наша эпоха заключает в себе столько альтернатив, сколько существует идеологов, которые их измышляют. В области *факта* ею руководит единственный выбор, предписанный жизненной фазой цивилизации и внешними обстоятельствами, в которых мы оказались в данный момент.

Мы знаем, что переходы между эпохами постепенны, знаем также и то, что даже если эпоха в некотором отношении завершилась, то в остальном она полагает, что все только начинается. Так, если наука в качестве умственной дисциплины своей цели уже достигла, то в качестве популярных воззрений для исполнителей и глупцов она еще существует. Материализм утратил привлекательность для лучших умов, но лучшие умы сейчас не у власти. Запад находится в руках внешнего мира, управляется варварами и дистортерами, которые подбирают себе в услужение самых ничтожных европейцев. Материализм служит великой задаче разрушения Европы, вот почему он навязывается ее населению неевропейскими силами.

Есть два способа, позволяющие нам ощутить свою великую задачу, свой этический императив, которому нужны наши жизни. Первый связан с внутренним чувством, заставляющим нас смотреть на вещи именно так, а не иначе. Второй основан на нашем знании об истории семи предыдущих высоких культур,

каждая из которых перенесла столь же долгий цивилизационный кризис и вышла из него точно таким же способом, который сейчас подсказывает нам наш инстинкт.

II

Непосредственная ситуация, в которой мы находимся, приобретает форму великой битвы, для завершения которой одной войны, возможно, будет мало, если не произойдет внезапного, совершенно непредсказуемого катаклизма. Однако на поверхности истории случается именно непредвиденное. Лучшее, что может сделать человек — это внутренне быть к этому готовым. В полный разрез с нашими инстинктами, чувствами и идеями XIX век, облаченный в погребальные одежды и поддерживаемый неевропейскими силами, с вожделием поглядывает на европейский престол. Это значит, что время, в которое мы живем, принимает форму глубокого сущностного конфликта. Эти идеи больше никогда не воскреснут — их засилье ведет к удушению юных, живых тенденций новой Европы и держится лишь за счет вынужденной поддержки на словах. Они не оказывают влияния на деятельное мышление, органические ритмы эпохи; служат всего лишь орудиями подавления воли Европы ее самыми никчемными элементами, власть которых держится на чужих штыках.

Конфликт проник глубоко, затронув все сферы жизни. Схлестнулись две идеи — не концепции или абстракции, но идеи, жившие в человеческой крови, прежде чем выкристаллизовались в человеческих умах. Возрождение авторитета противостоит власти денег, порядок — социальному хаосу, иерархия — равенству, политико-социально-экономическая стабильность — постоянному брожению, радостное принятие на себя обязанностей — нытью о правах, социализм — капитализму (этически, экономически и политически), возрождение религии — материализму, фертильность — стерильности, дух героизма — духу торговли, принцип ответственности — парламентаризму, идея полярности мужчины и женщины — феминизму, идея личного долга — идеалу «счастья», дисциплина — покорности пропаганде, высшее единство семьи, общества, государства — социальной атомизации, брак — коммунистическому идеалу свободной любви, экономическая самодостаточность — бессмысленной купле-продаже как самоцели, внутренний императив — рационализму.

Однако самое важное противоборство из всех, конфликт, побравший в себя все остальные, еще не был назван. Это борьба идеи единства Запада с национализмом XIX века. Здесь друг другу противостоят идеи империи и мелкодержавности, мышление широкими пространствами и политический провинциализм, жалкое сборище патриотов ушедшего дня и хранители будущего. Вчерашние националисты представляют собой только марионеток неевропейских сил, покоривших и разделивших Европу. Врагам Европы не нужно ни сближения, ни взаимопонимания, ни соединения частей Европы в новое единство, способное реализовать политику XX века.

В предыдущих семи высоких культурах период националистической болезни был преодолен за счет распространения по всей цивилизации одного чувства. Не обходилось без войн, поскольку прошлое всегда сражалось и будет сражаться с будущим. Жизнь есть война, и стремиться к созиданию — значит вызывать противодействие со стороны великих любителей говорить «нет», укорененных в прошлом, погрязших в нем. Раскол цивилизации во всех случаях преодолевался ее воссоединением, утверждением ее былой, изначальной исключительности и единства. Мелкодержавность всегда сменялась империей, идея которой была столь сильна, что никакая внутренняя сила не могла надеяться на успех в противоборстве с ней.

Европейский национализм трансформировался в новую имперскую идею после Первой мировой войны, с началом нашей эпохи. Во всех странах Запада «националистами» считались те, кто противился следующей европейской войне и желал, чтобы общее политическое согласие в Европе предотвратило ее погружение в прах, где она сейчас барахтается. То есть они вовсе не были националистами, но сторонниками Западной империи. Аналогично самозванные «интернационалисты» стремились к войне между вчерашними европейскими государствами, чтобы саботировать создание Западной империи. Они ненавидели ее, будучи так или иначе чуждыми ей: одни вообще не принадлежали к западной культуре, другие были неизлечимо одержимы той или иной идеологией, враждебно настроенной к новой, витальной, мужественной форме будущего и предпочитали старую концепцию жизни, состоявшую в погоне за деньгами и их тратой. Они ненавидели сильную, растущую жизнь и предпочитали ей слабость, стерильность и тупость.

Вместе с этими внутренними предателями неевропейские силы получили возможность организовать в Европе Вторую

мировую войну, которая на первый взгляд остановила мощное развитие Западной империи. Но, как и ожидалось, поражение оказалось *только* поверхностным, поскольку решающий импульс, как вновь осознал наш век, всегда исходит изнутри, от внутреннего императива, от души. Одержать иллюзорную победу над исторически существенной идеей, значит ее усилить. Ее энергия, которая могла бы рассеяться вовне в ходе самовыражения, обращается вовнутрь и концентрируется на первостепенной задаче духовного освобождения. Материалистам неведомо, что то, что не уничтожает, делает сильнее, поэтому идею им не уничтожить. Она использует людей, они же не могут ее использовать, затронуть или повредить.

Вся данная работа посвящена идее нашей эпохи, описанию ее истоков и универсальности. Мы проследим все ее духовные корни к их началам и необходимости. Но здесь надо упомянуть, что идея вселенской Европы, империи Запада, не нова, поскольку она является исходной формой нашей культуры, как и любой другой. В первые пять столетий жизни нашей культуры существовал *вселенский* западный народ, в котором были заметны незначительные местные отличия. Был вселенский король-император, которому зачастую не повиновались, но и не отрицали его. Был универсальный стиль: готика, вдохновлявшая и формировавшая все искусство — от мебели до храмов. Был универсальный кодекс поведения — западное рыцарство со своим императивом чести, которым оно руководствовалось в любой ситуации. Была вселенская религия и вселенская церковь. Был универсальный язык — латынь, и универсальное право — римское.

Постепенно, начиная с 1250 года, единство ослабевало, но даже в политических целях это не заходило слишком далеко, пока около 1750 года не настала эпоха политического национализма, когда западные европейцы впервые воспользовались помощью варваров против других западноевропейских наций.

И теперь, когда мы вступаем в фазу поздней цивилизации, снова возникает идея объединенной Европы, Западной империи в стиле XX века как единственная грандиозная творческая идея эпохи. Задача приобретает *политическую* форму. Создание этой империи — вопрос *власти*, поскольку ему препятствуют мощные неевропейские силы, поделившие между собой родину нашей культуры.

Созданию Западной империи любая внутренняя европейская сила может препятствовать разве что символически, но теперь в жизнь Запада решительно вмешались внешние силы. Поэтому идет духовно-политическая борьба, вдохновляемая идеей западного единства. В данный момент возможность существования Запада в свободном саморазвитии зависит от мировой расстановки сил.

Ни одна предыдущая эпоха западной культуры еще не определялась политикой в такой степени. Теперь наступила эпоха абсолютной политики, поскольку весь образ нашей жизни является теперь функцией *власти*.

Результативность действия зависит от духовного каркаса. Как сказал Гёте, «любая ничем не ограниченная деятельность в итоге заканчивается банкротством». Мы не должны действовать вслепую, а идейное вооружение должно быть таким, чтобы все можно было обернуть в свою пользу. Поэтому оно должно быть свободно от любой идеологии: экономической, биологической, морализаторской. Мы должны опираться на чувство факта, которое служит отправным пунктом для нашей эпохи.

В университетах и в большинстве книг представлены устаревшие подходы к политике. До сих пор внедряется доктрина, что существуют разные «формы правления», которые можно пересаживать с одной политической единицы на другую. Существует республиканство, демократия, монархия и т. д. и т. п. Одни из этих форм преподносятся как «хорошие», другие как «плохие». Пусть Европа будет оккупирована варварами, лишь бы не стала Западной империей, то есть имела бы «плохую» «форму правления». Лучше сидеть на рации, предписанном Москвой и Вашингтоном, чем жить в гордой и свободной Европе с «плохим» правлением.

Это высшая степень идиотизма, который характерен для идеологов, лишенных души и интеллекта и занимающихся книжной политикой. Дело в том, что слово «политика» имеет двойкий смысл: она означает человеческую властную деятельность, а также, по словарю, раздел философии. В последнем случае, если под политикой понимать раздел философии, ее можно превратить во что угодно. В мире философии правит *carte blanche*. Однако *подлинный* смысл слова «политика» — это *властная деятельность*; в таком случае, сама деятельная жизнь и есть политика. Это значит, что политикой управляют факты, и задачей

политики является создание фактов. Таков единственно приемлемый в XX веке смысл данного понятия, и текущий, самый серьезный, момент нашей культурной жизни требует от активных людей абсолютной ясности ума, полной свободы от каких-либо признаков идеологии, независимо от того, выводится ли она из логики, философии или морали.

Итак, нам предстоит обрести такое понимание политики, которое отвечает внутренней потребности эпохи абсолютной политики.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ XX ВЕКА

Люди устали питать отвращение к денежной экономике. Они надеются на то, что откуда-то наконец придет спасение, и ждут любых реальных проявлений чести и рыцарства, внутреннего благородства, альтруизма и долга.

Шпенглер

Время мелочной политики миновало; следующий век принесет борьбу за господство над миром — *вынудит* к великой политике.

Ницше, 1885

Введение

Расстановка сил в первых двух мировых войнах была нелепой (как это получилось, мы рассмотрим в другом месте). Соответственно, результаты этих двух войн были также нелепыми. В обеих вроде бы одержало победу мировоззрение девятнадцатого века. На первый взгляд это так, однако фактически такое невозможно. Благодаря органической природе культуры и наций, которые она создает, прошлое не может одержать победу над будущим — у органической жизни всегда только две альтернативы: либо развиваться вперед, либо слабеть и умирать.

Западная цивилизация не погибла в этих страшных конфликтах, однако в политическом отношении скатилась на самое дно.

Первая из серии мировых войн создала новый мир. Рухнули все прежние представления об истории, политике, войне, нациях, экономике, обществе, культуре, искусстве, образовании, этике. Однако новым взглядом на эти вещи обладали только лучшие умы Европы, небольшой слой носителей культуры. К сожалению

нию, политические лидеры Европы сразу после Первой мировой войны к этому слою не принадлежали, кроме одного.

Следующая война объяснялась тем, что новая идея, мировоззрение XX века, еще не охватило всю Европу. Половина ее продолжала играть в пагубную старомодную мелкодержавность. К лидерам, ответственным за это, хорошо подходят слова Гёте, который сказал: «Самая ужасная вещь в мире — это невежество в действии». Европа продолжает расплачиваться за злонамеренность и тупость этих лидеров. Ницше приветствовал такое нарастание российской угрозы, чтобы Европа была *вынуждена* объединиться, оставить ничтожную увлеченность политическим национализмом и мелкодержавностью. Это произошло не только в политическом, но и в культурном смысле: Россия полностью отошла от Европы и вернулась в Азию, откуда ее в свое время вытащил Петр Великий. Но Европа продолжала забавляться омерзительной игрой в границы и таможи, несерьезные планы, ничтожные проекты, маленькие секреты — даже после того, как увидела спектакль большевистской революции. Ницше мысленно *предположил*, что власть должна обладать мозгами, но забыл этого *пожелать* Европе.

В 2000 г. читатели с трудом поверят, что в 1947-м французский претендент на власть в своей программе обещал защитить Францию от *Германии*, и в том же году в Дюнкерке Англия и Франция заключили против Германии альянс. Америка с Россией позволили этим двум вчерашним политическим державам подписать этот безобидный договор — он никоим образом не мог помешать планам неевропейцев из Москвы и Вашингтона, поскольку был ориентирован не на будущее или настоящее, но только на прошлое. Может быть, люди, задумавшие и подписавшие этот союз, находились под влиянием коллективной галлюцинации, что за окном 1750-й или 1850 г., а то и еще более отдаленное прошлое? Когда в головах политиков путаница, страдают их страны.

Европа не пала бы столь низко, если бы новое, органически необходимое политическое мировоззрение было одинаково свойственно правящему слою всех европейских стран. Впервые во всей полноте это новое мировоззрение, которым автоматически проникается каждый, кто его понимает, излагается здесь.

В недавней истории — примерно с 1850 г. — мировая политика сама оказалась жертвой полного непонимания. Сыграли роль две вещи: первая — это экономическая одержимость наций нашей цивилизации в XIX веке, вторая — культуродистор-

сионное влияние Америки на некоторые регионы Европы. Экономическая одержимость постепенно породила представление, что политика — это нечто старомодное, что она только отражает прошлые экономические реалии и в итоге должна прекратиться. Поэтому война стала считаться анахронизмом.

В Америке в результате сложившихся там особых условий, уникальных в истории Запада, слово «политика» стало означать приверженность какой-нибудь группе или идее из лукавых побуждений. Американские политики постоянно обвиняли друг друга в политиканстве. Это говорит о том, что политика считалась чем-то лишним, недостойным, с чем должно быть покончено. Они действительно так понимали мир.

В Европе глубокое непонимание природы политики нарастало вследствие затянувшегося периода без войн между европейскими нациями, с 1871 по 1914 г., который выглядел доказательством того, что война и политика закончились. Идея настолько глубоко укоренилась, что 1914 г. показался только исключением, подтверждающим правило. Слабые умы в Европе и Америке испытывали внутреннюю потребность считать войну 1914 г. последней. Даже 1939 г. не смог ничего изменить, и эта война для них снова была последней. Люди подобных взглядов не стыдятся считать последней каждую новую войну. В глазах идеолога нормальной выглядит только его теория, а факты — абсурдными.

Пришло время, когда упорство в подобном самообмане должно прекратиться. Политика — не предмет логических упражнений, но поле деятельности в духе времени.

Природа политики

I

Во-первых, чем является политика с фактической стороны? *Политика есть деятельность в отношении власти.*

Политика имеет собственную сферу, и это сфера власти. Поэтому она не связана с моралью, эстетикой и экономикой. Наравне с ними политика — это особый способ мышления. Каждая из этих форм мышления обособляет часть мировой тотальности и предъявляет на нее свои права. Мораль проводит различие между добром и злом, эстетика — между прекрасным и безобразным, экономика — между полезным и бесполезным (в ее поздней, чисто торговой фазе речь уже идет о выгодном и невыгодном). По-

литика в свою очередь делит мир на друзей и врагов. Для нее это деление говорит о максимально возможной степени объединения или, напротив, разъединения.

Политическая мысль так же независима от остальных вышеуказанных форм мысли, как и они друг от друга. Она может существовать без них, а они без нее. Враг может быть добрым, он может быть прекрасным, экономически полезным, деловые отношения с ним могут быть выгодны, но если его властная деятельность пересекается с моей, то он мой враг. Он тот, с кем возможны *экзистенциальные* конфликты. Эстетика, экономика и мораль не имеют отношения к *экзистенции*, определяя только нормы деятельности и мышления в пределах достоверного бытия.

Если в рамках *психологического* факта врага легко представить уродливым, вредоносным и злым, то для политики все это не существенно и не отменяет независимости политического мышления и деятельности. Политическое размежевание, связанное именно с *бытием*, есть глубочайшее из размежеваний, в силу чего оно готово воспользоваться любым способом убеждения, принуждения и оправдания, чтобы продолжать осуществляться. Размах, который это приобретает, напрямую зависит от чистоты политического мышления лидеров. Чем больше в их взглядах морали, экономики или иных способов мышления, тем вероятнее они будут вести по этим направлениям пропаганду ради достижения своих политических целей. Бывает, что они не отдают себе отчета о политическом характере своей деятельности. Судя по всему, Кромвель считал себя религиозным, а не политическим деятелем. Другим примером была одна французская газета, которая в 1870 г. разгорячала боевой дух своих читателей обещаниями, что французские солдаты привезут из Пруссии вагоны блондинок.

С другой стороны, почти вся японская внутренняя пропаганда во время Второй мировой войны делала акцент на *экзистенциальной*, то есть чисто политической стороне борьбы. Другой человек может быть уродливым, злым и вредоносным, не являясь при этом врагом; или же он может быть добрым, прекрасным и полезным, что не мешает ему оставаться врагом.

Друг и враг — это *конкретные* реалии. Они не метафоричны и не переплетаются с моральными, эстетическими или экономическими элементами. Они *не* связаны с частными антипатическими отношениями. Антипатия не является необходимым условием политического размежевания на врагов и друзей. Не-

ненависть — это приватный феномен. Прививая своему населению ненависть к врагу, политики добиваются от него только личной заинтересованности в общественной борьбе, которой в противном случае могло бы не состояться. Сверхлические организмы не испытывают взаимной ненависти, хотя могут участвовать в экзистенциальных сражениях. Оппозиция «любовь—ненависть» не является политической и нигде не пересекается с политическим размежеванием «друг—враг». Как союз не требует любви, так и война не означает ненависти.

Чтобы ясно мыслить в области политики, крайне необходимо в первую очередь разобраться в понятиях. Либеральное мировоззрение здесь, как и всегда, совершенно эмансипированное от реальности, полагает, что понятие «враг» относится либо к экономическому конкуренту, либо к идейному оппоненту. Но в экономике нет врагов, есть только конкуренты; в мире, насквозь пропитанном моралью (то есть основанном на моральных контрастах) тоже не может быть врагов, только идейные оппоненты. Либерализм, набравший сил благодаря долгому миру 1871—1914 гг., объявил политику атавизмом, деление на друзей и врагов — ретроградством. Все это, конечно, имеет отношение к политике как отрасли философии. В этой сфере не существует ложных утверждений. Никакое накопление фактов не может опровергнуть теорию: теория превыше всего, а история не является арбитром в вопросах политического мировоззрения, все решает разум, а каждый определяет сам, что считать разумным. Это, однако, касается только фактов, и единственное возражение, в итоге возможное по поводу такого мировоззрения, состоит в том, что оно не фактуально.

В таком случае враг — не значит конкурент, как и оппонент вообще. Меньше всего этот термин относится к персоне, которую кто-то ненавидит из чувства личной антипатии. В латинском языке есть два слова: *hostis* — враг общества и *inimicus* — личный враг. Наши европейские языки, к сожалению, не делают этого важного различия. Однако в греческом оно было и далее распространялось на войны, которые делились на два типа: одни велись против других греков, другие — против культурных чужаков, варваров. Военные действия первого рода назывались «агонами», и только вторые были настоящими войнами. Изначально агон был состязанием за приз на публичных играх, и соперник назывался «антагонистом». Это различие имеет для нас значение, потому что по сравнению с войнами нашей эпохи, внутриевропейские войны предыдущих восьми веков были агональ-

ными. Когда в ходе Пелопоннесских войн в классической культуре возобладала националистическая политика, различие исчезло из греческого словоупотребления. Западноевропейские войны XVII и XVIII столетий по природе были состязаниями за приз, которым могли служить часть территории, трон, титул. Участниками были династии, а не народы. Идея истребления соперничающей династии отсутствовала, и только в исключительных случаях допускалась такая возможность. Поэтому враг в политическом смысле соответствует *врагу общества*. Он абсолютен, и тем отличается от личного врага. Различие между общественным и личным может возникнуть только при наличии сверхличной единицы. Если она существует, то именно она определяет, кто друг и кто враг, поэтому частное лицо не может выносить такого определения. Человек может ненавидеть тех, кто ему противится, приходится не по нраву или соревнуется с ним, но он не может относиться к ним как врагам в абсолютном смысле.

Отсутствие двух слов для различения общественного и личного врагов также добавило путаницы при толковании общеизвестного библейского высказывания (Мф 5:44; Лк 6:27): «Любите врагов ваших». Греческая и латинская версии используют слова, указывающие на *личных* врагов. Разумеется, здесь говорится именно о них. Ясно, что это призыв отбросить ненависть и злобу, но если говорить о враге общества, то нет никакой необходимости его ненавидеть. Ненависть не свойственна политическому мышлению. Любая ненависть, проявляющаяся по отношению к врагу общества, неполитична и всегда демонстрирует определенную слабость внутренней политической ситуации. Этот библейский пассаж не призывает любить врага общества, поэтому во время войн с сарацинами и турками ни один папа, святой или философ не толковали его в таком духе. В нем определенно нет призыва к предательству ради любви к врагу общества.

II

Любая неполитическая группа людей, будь то правовая, социальная, религиозная, экономическая или иная, в итоге становится политической, если создает настолько глубокое противостояние, что настраивает людей друг против друга как врагов. Государство как политическая единица по своей природе исключает подобную оппозицию. Если, однако, в населении государства возникает размежевание, которое столь глубоко и сильно, что делит

его на друзей и врагов, это говорит о том, что государство, по крайней мере на время, фактически прекратило существование. Оно перестает быть политической единицей, поскольку все политические решения теперь принимаются не им. Любые государства сохраняют монополию на *политическое* решение. Иными словами, они поддерживают внутренний мир. Если какая-то группа или идея настолько усиливается, что может повлечь размежевание на друзей и врагов, она становится политической единицей. А если возникают силы, с которыми государство не может мирно сладить, то в лучшем случае на время оно исчезает. Если государству приходится прибегать к силе, это само по себе показывает, что речь идет о двух политических единицах, что теперь два государства, а не одно, как было вначале.

Отсюда возникает вопрос о значении внутренней политики. В пределах государства мы говорим о социальной политике, правовой политике, религиозной политике, партийной политике и т. п. Очевидно, здесь термин имеет другой смысл, поскольку не подразумевает возможности размежевания на друзей—врагов. Все перечисленное существует внутри умиротворенной единицы и может считаться только «вторичным». Сущность государства в том, что внутри себя оно исключает возможность дружественных и враждебных группировок. Поэтому конфликты, происходящие внутри государства, по своей природе ограничены, тогда как настоящий политический конфликт границ не имеет. Любое из внутренних ограниченных противоборств, разумеется, может стать эпицентром настоящего политического размежевания, если противостоящая государству идея достаточно сильна, а его лидеры чувствуют себя неуверенно. В таком случае, как уже говорилось, государства больше нет. Организм либо следует собственному закону, либо заболевает. Такова органическая логика, руководящая всеми организмами — растениями, животными, человеком, высокой культурой. Они либо остаются собой, либо слабеют и умирают. Рациональный и логический подход, согласно которому все, что с легкостью вписывается в теорию, затем может быть навязано организму, здесь не уместен. Рациональное мышление — лишь одно из многочисленных порождений органической жизни, и будучи вторичным, оно не является целостным. Оно ограничено, работает только определенным способом и только с материалом, позволяющим так с собой обращаться. Однако организм есть целостность, не выдающая своих секретов методу, выработанному им самим на основе способности к решению насущных неорганических проблем.

Вторичная политика зачастую может исказить первичную политику. Например, женская политика мелочной ревности и личной ненависти, процветавшая при дворе Людовика XV, смогла отвести бóльшую часть французской политической энергии на борьбу с Фридрихом, а меньшую ее часть направить на более важную борьбу против Англии в Канаде, Индии и на морях. Помпадур не любила Фридриха Великого, и Франция, дабы его покарать, в итоге поплатилась империей. Когда личная вражда оказывает такое влияние на общественно важное решение, речь идет о политической дисторсии, и подобную политику можно назвать патологической (*distorted*). Когда организм действует с оглядкой на силу, противную его собственному закону развития, или вообще оказывается в ее руках, его жизнь идет наперекос. Отношение между личной враждой и публичной политикой, которую первая подвергает дисторсии, такое же, как между европейской мелкодержавностью и западной цивилизацией. Коллективно-самоубийственная игра в националистическую политику после 1900 г. искривила всю судьбу Запада, чем и воспользовались неевропейские силы.

III

Конкретную природу политики подтверждают некоторые лингвистические факты, свойственные всем европейским языкам. Понятия, идеи и лексика политической группы неизменно имеют полемический и пропагандистский характер. Это справедливо для всей истории в ее высшем смысле. Термины «государство», «класс», «монарх», «общество» — полемически заряжены и обладают совершенно разным смыслом для своих сторонников и оппонентов. Диктатура, верховенство закона, пролетариат, буржуазия — эти термины также имеют только полемический смысл, и невозможно установить, что они означают, если не знать, кто и против кого ими пользуется. Например, во время Второй мировой войны термины «свобода» и «демократия» применялись в отношении всех членов антиевропейской коалиции с полным игнорированием семантики. Слово «диктатура» использовалось неевропейской коалицией для характеристики не только Европы, но любой страны, отказавшейся присоединиться к этой коалиции.

Аналогично термин «фашист» использовался только в оскорбительном смысле без какого-либо описательного компонента,

равно как слово «демократия» было хвалебным, но не описательным. В американской прессе, например, как во время войны 1914-го, так и 1939 г., Россия всегда характеризовалась как «демократия». И Дом Романовых, и большевистский режим были одинаково демократичны. Это было необходимо для внушения мысли о подобии двух войн, которые эта пресса преподносила своим читателям как битву демократии с диктатурой. Европа представляла собой диктатуру, следовательно, все, кто воевал против Европы, были демократами. Точно так же Макиавелли называл любое, не являвшееся монархией государство, республикой — определением, до сих пор имеющим спорный характер. Для Джека Кэда «дворянство» было ругательством, а те, кто подавил его восстание, связывали с этим словом все самое лучшее. В правовом трактате классового бойца Карла Реннера рента, выплачиваемая нанимателем собственнику, называется «данью». Аналогично Ортега-и-Гассет называет восстановление государственной власти, порядка, иерархии и дисциплины восстанием масс. Для настоящего классового бойца любой чернорабочий обладает социальной ценностью, тогда как чиновник является «паразитом».

В период, когда западной цивилизацией правил либерализм и роль государства теоретически сводилась к функции «ночного сторожа», само слово «политика» поменяло свой фундаментальный смысл. Если прежде оно означало властную деятельность государства, то теперь так стали называть усилия частных лиц и их организаций, предпринимаемые для сохранения правительственных должностей как источника своего жизнеобеспечения. Иными словами, политику отождествили с партийной политикой (в 2050 г. читатели вряд ли разберутся в этих тонкостях, потому что партийная эпоха будет предана такому же забвению, как теперь Опиумные войны). Такое превращение (introspection) было явным симптомом дисторсии, болезни и кризиса, которым подверглись все государственные организмы. Предполагалось, что теперь на первый план вышла внутренняя политика. В таком случае по внутриполитическим вопросам могли образовываться группировки друзей и врагов. Если это случалось, то все заканчивалось гражданской войной, но если до этого не доходило, то *по факту* внутренняя политика продолжала оставаться второстепенной, ограниченной и частной, а не публичной. Сам тезис о первостепенности внутренней политики был спорным: имелось в виду, что она *должна быть* таковой. Либералы и классовые бойцы всегда выдавали свои желания и надежды за факты, почти факты или потенциальные факты. Единственным резуль-

татом сосредоточения энергии на внутренних проблемах было ослабление данного государства относительно других. Закон любого организма допускает лишь две альтернативы: или организм не занимается самообманом, или он докатывается до болезни или смерти. *Природа, сущность* государства подразумевает мир внутри и борьбу снаружи. Внешняя борьба успеха не приносит, если внутренний мир нарушен или уничтожен.

Органический и неорганический способы мышления не пересекаются: обычная школьная логика, которую мы находим в учебниках философии, говорит нам, что для существования государства, политики и войн нет оснований. Не существует логической причины, по которой человечество нельзя было бы организовать как светское общество, чисто экономическое предприятие или огромный книжный клуб. Но высшие организмы государств и наивысшие организмы высоких культур не спрашивают у логиков разрешения, чтобы быть, поскольку само существование подобного типа рационалиста, человека, свободного от реальности, есть всего лишь симптом кризиса высокой культуры, и когда уходит кризис, за ним следуют и рационалисты. О том, что рационалисты понятия не имеют о невидимых органических силах истории, свидетельствует их неспособность предвидеть события. Накануне 1914 г. они в один голос утверждали, что общеевропейская война невозможна. Два разных типа рационалистов приводили две разные причины. Классовые бойцы из Интернационала утверждали, что опирающийся на классовую борьбу международный социализм исключает возможность настроить «рабочих» одной страны против «рабочих» другой страны. Другой тип — тоже заикленный на экономике, поскольку рационализм и материализм обручены навеки, — говорил, что всеобщая война невозможна потому, что мобилизация приведет к таким катаклизмам в экономической жизни стран, что через несколько недель наступит крах.

Симбиоз войны и политики

I

Теперь можно разобраться в отношениях войны и политики. Не вдаваясь в метафизику войны, нам предстоит выработать практические воззрения на возможность и необходимость войны, которые можно положить в основу деятельности.

Вначале дефиниция: война есть вооруженная борьба между организованными политическими единицами. Вопрос не в методах войны, поскольку оружие есть всего лишь способ убийства. Дело также не в военной организации — она ничего не определяет во внутренней природе войны. Война есть наивысшая степень размежевания на друзей и врагов. Слово «враг» следует понимать практически: враг есть тот, против кого планируется или ведется война. Если вопрос о войне не стоит, значит это не враг. Он может быть просто соперником в состязании за приз, может быть просто язычником, идеологическим оппонентом, конкурентом, существом, ненавистным по причине антипатии. В момент, когда он становится врагом, возникает возможность или актуальность вооруженного столкновения. Война — это не агон, поэтому до середины XVIII века вооруженные конфликты между государствами западной культуры не были войнами в том смысле, который вкладывает в это понятие XX век. Они были ограничены по своим целям и размаху, и в отношении оппонента не были экзистенциальными. Значит, они не были политическими в трактовке XX века, то есть не были борьбой с *врагами* в нашем понимании. К сожалению, в европейских языках отсутствует присущая греческому точность, где делается различие между агоном как борьбой между эллинами-«антагонистами» и войной с не-эллинами, когда противник, например персы, является врагом. Поэтому крестовые походы были войнами в полном и абсолютном смысле слова: их глубочайшей духовной целью было утверждение истинной веры и культурного превосходства над язычниками. Противник (хотя в силу внутреннего императива рыцарской чести на его солдат, естественно, *распространялось* личное великодушие) был врагом, которого по возможности следовало уничтожить как общность.

В ходе крестовых походов принцип чести удерживал от низости по отношению к личности, но не исключал тотального уничтожения организованной вражеской единицы. Во внутреннем европейском противоборстве честь запрещала навязывать слишком жесткий договор поверженному противнику, и никому не приходило в голову отрицать его право на существование в качестве организованной единицы.

На протяжении истории нашей культуры, начиная с папы Григория VII и до Наполеона, борьба против представителей культуры имела ограничения, но с язычниками, не принадлежавшими к нашей культуре, велась настоящая, беспощадная война.

До, после и вне культуры войны ведутся без ограничений. Будучи чистейшим проявлением варвара в человеке, они лишены высокого символизма. При этом они духовны, поскольку все человеческое духовно. Дух есть первостепенное в человеке, а все материальное — лишь средство для духовного развития. Человек видит символическое значение во всем, что его окружает, и переживание этих символов, сопровождающееся соответствующей деятельностью и организацией, — это как раз то, что делает его человеком, хотя он несет в себе также животные инстинкты. Разумеется, посредством символической трансформации его душа полностью меняет проявление этих инстинктов. Теперь они служат душе и ее символизму. Человек не убивает, в отличие от тигра, ради того, чтобы съесть: он убивает по *духовной* необходимости. Даже войны, происходящие за пределами высокой культуры, не являются *чисто* животными, *совершенно* лишенными символического содержания. Для человека такое невозможно: только нечто духовное может вывести массы на поле битвы. Но символизм высокой культуры — это *возвышенный* символизм, он сплавляет прошлое, настоящее, будущее и тотальность вещей в грандиозное действо, и позже осознается, что оно также было символом. В сравнении с этими великими смыслами, с этой великой сверхличной судьбой внекультурные человеческие проявления кажутся чисто зоологическими. Поэтому по причине низкого символического содержания и меньшего духовного потенциала этих войн они никогда не достигают интенсивности, масштаба и длительности тех, которые связаны с высокой культурой. Поражение признается значительно легче, поскольку затрагиваются только души непосредственных участников. Однако в войнах, которые ведет культура, действует ее душа, наделяя своей невидимой, но неодолимой силой тех, кто ей служит, и борьба может продолжаться годами, несмотря на неравные силы. Несколько поражений, и с Чингисханом было бы покончено. Все иначе, когда речь идет о Фридрихе Великом или Джордже Вашингтоне, которые чувствовали себя носителями идеи и будущего.

Если война невозможна (речь идет о *фактической*, а не воображаемой возможности), нельзя утверждать, что существует вражда. Возможность не обязательно должна быть ежедневной и неотвратимой. Также нет необходимости закрывать двери для переговоров перед лицом войны, когда уже можно констатировать существование настоящей вражды.

Даже между воинственно настроенными государствами жизнь не сводится к постоянному кровопролитию. Война есть

наивысшая интенсификация политики, но должно быть и ослабление интенсивности: период восстановления сил, переговоров, маневрирования, подготовки. Без реального мира мы не знали бы слова «война», а (что никогда не приходит в голову пацифистам) без войны у нас не было бы мира в том блаженном, приторно-мечтательном смысле, который они вкладывают в это слово. Вся лютая энергия, которую война посвящает сверхличной борьбе, была бы направлена на всевозможные домашние свары, и список жертв был бы несколько не меньшим.

Связь войны и политики очевидна. Клаузевиц в обычно неверно цитируемом пассаже назвал войну «продолжением политического взаимодействия иными средствами». Его понимают неправильно, поскольку он не имел в виду, что политика завершается военными действиями, это не так. Военным действиям свойственны собственные стратегические и тактические правила, органические каноны и императивы. Война, однако, не имеет собственной *мотивации*, ее обеспечивает политика. Какова интенсивность политической борьбы, то есть вражды, такова и война.

Осознание этих отношений позволило одному английскому дипломату сказать, что политик лучше подготовлен к войне, чем солдат, потому что первый сражается постоянно, а второй — время от времени. Замечено также, что профессиональный солдат может быстрее превратить войну в агон, чем солдат политический. Фраза *политический солдат* здесь использована *ad hoc* в отношении того, кто сражается из убеждений, а не по профессии.

В той же главе Клаузевиц дал описание этого отношения между политикой и войной, неоценимое для нашего столетия: «Поскольку война является составной частью политики, она приобретает ее характер. Когда политика делается большой и мощной, война также может подняться на такую высоту, что достигает своей абсолютной формы». Война подразумевает политику, равно как политика подразумевает войну. Политика определяет врага и момент начала войны. Солдат этого не решает. Армии должны всегда быть готовы сражаться против любой политической единицы.

Войну и политику нельзя взаимно определить в терминах цели или замысла. Неестественно утверждать, что целью политики является война и наоборот. В обоих случаях это не обязательно. Они являются друг для друга предварительными условиями и не существуют порознь. При этом, естественно, конкретная по-

литика может иметь целью *конкретную* войну, однако никакая политика не ищет войны как таковой. Но именно допущение возможности войны отличает политическое мышление от, скажем, экономического, морального, научного или эстетического.

II

Означает ли размежевание на врагов и друзей, лежащее в основе политического мышления и действия, что здесь не может быть промежуточного состояния? Не означает, поскольку нейтралитет существует как факт. Он имеет свои собственные правила и условия. В пределах своего межнационального кодекса западная культура выработала, в частности, закон, регулирующий нейтралитет. То, что такие правила для нейтралов сформулированы, говорит о том, что решающим является конфликт, размежевание на друзей и врагов. Это проблема нейтрала — как оставаться в стороне; остальных его нейтралитет обычно не заботит. Практическое применение закона о нейтралитете зависит от тех, кто принимает участие в войне. Практика показывает, что если войну ведут великие державы, то нейтралы имеют мало прав. Если в войне участвуют небольшие государства, а великие державы соблюдают нейтралитет, нейтралы пользуются большими правами.

Следует, однако, подчеркнуть, что политика нейтралитета пребывает под сенью практической возможности войны и активной политики. Принятие страной нейтралитета как образа жизни означает прекращение ее существования в качестве политической единицы. Будучи нейтральной, она может существовать экономически, социально и культурно, но не *политически*. Отказ от войны равносителен передаче всех прав врагу. Если держава в каком-то случае склонна к войне, значит, она не стала полностью нейтральной. Поэтому нейтралитет Бельгии в течение XIX столетия был только заявленным, а не фактическим: она содержала армию, дипломатические представительства за рубежом и присоединилась к военному соглашению с Францией и Англией против Германии. Пока страна содержит армию, она не может строить национальную политику на основе нейтралитета. Армия — это инструмент политики, пусть даже только оборонительной. Политика и нейтралитет исключают друг друга так же, как нейтралитет и долговременное существование. Здесь мы возвращаемся к полемической природе полити-

ческого языка: некоторые небольшие страны Европы превратили нейтралитет в спорный термин. Фактически самим своим существованием они служили политическим целям одной части Европы против другой. Эту позицию — свою экзистенциальную принадлежность к одной из сторон конфликта — они называли «нейтралитетом», при этом сознавая, что их политика заставит их вступить в войну на заранее известной стороне, а когда пришла война, они громко закричали о нарушении их «нейтралитета».

Отказ от политики — а именно к этому сводится полный нейтралитет — равносителен отказу от существования в качестве самостоятельной единицы. Во многих случаях слияние с другой державой, отказ от пустой, лишенной смысла и будущего самостоятельности есть проявление мудрости и требование культуры.

В дополнение к таким сомнительным фактам, как нейтралитет во время войны и нейтралитет в качестве полемической уловки, бывает нейтралитет, связанный с безнадежностью участия в войне. Это ближе к реальному нейтралитету, поскольку означает, что страны, оказавшиеся в такой ситуации, списываются со счетов остальных держав, если конечно их территории не являются привлекательными в качестве добычи или театра сражений. В таком случае страна должна определиться, кому из оставшихся участников войны уступить свою независимость. Если это не произойдет, выбор будет сделан за нее. Держава, не способная продолжать войну из-за экономической слабости, малых размеров или возраста, в итоге отказывается от войн и становится нейтральной. Позволено ли ей будет продолжать посмертное существование, всецело зависит от того, насколько привлекательны ее владения. Для высокой политики это не политический, а нейтральный фактор.

Колоссальное развитие военной техники привело к тому, что немногие страны способны вынести бремя войны. Это заставило рационалистов и либералов, которые всегда чего-то вожделяют, объявить, что мир приходит в согласие. Больше не будет ни войн, ни политики («силовой политики» — их излюбленный термин из той же серии, что и «эстетика прекрасного», «полезная экономика», «добрая мораль», «благочестивая религия», «легальный закон»): мир стал нейтральным, причины для войн исчезают, политические державы больше не могут позволить себе войну и т. п. Но ведь на самом деле не война или политика исчезают, а просто сокращается число соперников.

Успокоившийся мир — значит мир без политики. В таком мире не должно быть причин для возникновения различий между людьми, которые бы могли настроить их друг против друга. В чисто экономическом мире люди могли бы соперничать, но только в качестве конкурентов. Если бы сохранилась мораль, поборники различных теорий могли бы оппонировать друг другу, но только в порядке дискуссии. Религиозные люди могли бы соперничать в пропаганде своих вер. Это был бы мир без убийц, или, еще лучше, — такой безмятежный, бесцветный и скучный мир, что никто ни к чему не относился бы настолько серьезно, чтобы за это убивать или рисковать жизнью.

Напрашивается единственный вывод: рационалисты, либералы и пацифисты, полагающие, что войны могут прекратиться, просто не понимают смысла слова «война», ее отношения к политике и природы самой политики, настраивающей людей друг против друга как врагов. Мягко выражаясь, эти люди не ведают, о чем говорят. Они желают упразднить войну с помощью политики и даже с помощью войны. Если бы война исчезла, а политика осталась, они бы затем упразднили политику с помощью войны или политики. Они путают словоблудие с политическим мышлением, логику с требованиями души, случайность с историей. Для них не существует сверхличных сил, потому что их нельзя увидеть, взвесить или измерить.

III

Поскольку симбиоз войны и политики руководствуется собственными умозрительными категориями, независимыми от других способов мышления, следует заключить, что не бывает войны по чисто неполитическим мотивам. Если религиозные разногласия, экономические различия, идеологические расхождения настолько обостряют чувства, что настраивают людей друг против друга как *врагов*, то все эти причины в результате становятся *политическими*. При этом формируются политические единицы, которые пользуются не религиозным, экономическим или иными способами маневрирования, мышления и оценки, а именно политическим способом. Невозможно, чтобы войной руководила *чистая* экономика, потому что война не дает экономической отдачи. Войну не могла бы вести ни *чистая* религия, ни *чистая* идеология, потому что война не способна распространять рели-

гию, не умеет ни во что обращать, но ведет только к увеличению или уменьшению власти.

Разумеется, поводом для войны могут служить и не строго политические мотивы, но их бесследно поглощает война. Бывало, что войны мотивировались западным христианством (например, крестовые походы), но в ходе этих войн высвобождались такие силы, которые христианством не одобряются. Войны мотивировались и экономикой, но непосредственным итогом войны никогда не была прибыль. Поэтому накануне 1914 г. либералы и рационалисты всего лишь обманывали себя тем, что войны прекратились потому, что не приносили выгоды. Они жили в своем частном мире абстракций, где экономика была единственным мотивом человеческого поведения, и где не существовало невидимых сверхличных сил. Но и 1914 г. не заставил их изменить своей теории: если факты противоречат теории, надо пересмотреть факты. Первая мировая, с их точки зрения, доказала, что экономика требует прекращения войн и таким образом лишь утвердила этих людей в их воззрениях. Им невдомек, что сверхличные силы никогда не принимают во внимание человеческие экономические потребности. Почему их не убедили высказывания одного из самых непосредственных участников лихорадочной переговорной суматохи в июле 1914-го, что все участвовавшие в ней государственные мужи медленно скатывались к войне? Строго фактуальный подход свидетельствует, что сверхличные организмы не обладают экономикой в нашем понимании, являясь чисто духовными сущностями. Когда население, принадлежащее к данной культуре, себя кормит (а экономика сводится именно к этому), оно кормит высший организм, клетками которого является. Его клетки относятся к сверхличной душе, как клетки человеческого тела к душе человека.

Война по *чисто* религиозным, экономическим или иным мотивам была бы бессмысленной, равно как и невозможной. Из религиозных противоречий рождаются умозрительные категории верующего и неверующего, из экономики — партнера и конкурента, из идеологии — согласного и несогласного. Но только политические противоречия создают группировки друзей и врагов, и только вражда может привести к войне. Вражда может начаться, например, с личной неприязни любовницы правителя, заставившей западные государства разделиться на враждебные группировки, но если дело доходит до вражды, это уже политика. Пусть к вражде приводят религиозные разногласия, но когда

дело доходит до войны, человек может воевать против верующих или принимать помощь от неверующих. В этой связи можно упомянуть Тридцатилетнюю войну. Хотя причиной вражды послужила экономика, но как только вражда разгорелась, сражение велось уже без оглядки на экономические последствия: речь шла только о политике.

Все эти умозрительные категории предъявляют монополию на мышление, дескать, политическая мысль должна им подчиняться. Но политическое мировоззрение XX века просто констатирует, что на самом деле это не так. С позиций эстетики война и политика могут быть уродливыми, с позиций экономики — расточительными, с моральных позиций — порочными, с религиозных — греховными. Однако с позиций политики эти точки зрения *нейтральны*. Политика в первую очередь пытается взвесить факты, а во вторую — их изменить, но никогда не оценивает их в неполитической системе ценностей. Правда, некоторые политики поступают наоборот. Англичане, особенно после Кромвеля, пытались представить каждую свою войну христианской, и даже война, утвердившая серп и молот в сердце Европы, изображалась войной за христианство. Но это не имеет отношения к тому, что я здесь говорю, потому что подобные вещи касаются лексики, но не фактов или действий. Неполитическая терминология и пропаганда не в силах деполитизировать политику, как невозможно лишить войну воинственности с помощью пацифистских увещеваний.

Политики обычно мыслят не чище других людей. Даже святой совершает грех, даже ученому свойственны личные предрассудки, даже в божественном есть легкий оттенок механицизма, даже либерал отчасти находится во власти животного инстинкта, который, дай ему волю, приведет к кровавой войне, заканчивающейся истреблением населения бывшего врага.

Из того, что война *не может* быть чисто экономической, религиозной или моральной, следует, что война *не нуждается* ни в каких дополнительных характеристиках, чтобы быть *оправданной политически*. Философы-схоласты выдвинули религиозно-этические предпосылки справедливой войны. Св. Фома Аквинский изложил их в окончательной для религиозно-этической мысли форме. Однако с политической точки зрения критерии оправданности совершенно иные. Разумеется, термин «оправдание» неадекватен, поскольку он изначально является моральной, а не политической категорией. Поэтому его нельзя интерпретировать исходя из морали: говоря здесь об оправдании,

мы подразумеваем уместность, желательность, преимущества, и все это, конечно, дополняет смысл слова «оправдание». Тогда какие войны оправданы в этом *практическом, политическом* смысле? Политика есть деятельность в отношении власти. Единицы, вовлеченные в политику, могут получить или потерять власть. Инстинкт и понимание заставляют их искать способы увеличения своей власти. Поэтому война, практически не сулящая увеличения власти, не является политически оправданной. Война, обещающая увеличение власти, политически оправдана. В этой связи «успех» означает, что результатом войны является приобретение власти. Если в результате войны власть теряется, ее следует считать проигранной.

IV

Вышесказанное требует, чтобы слова *поражение* и *победа* использовались в двух строго и точно определенных, самостоятельных смыслах: военном и политическом. Армии могут побеждать на полях сражений, однако единица, которой они якобы принадлежат, может в результате войны потерять власть, которую имела в начале. Я говорю «*якобы принадлежат*», потому что если политическая единица оказывается в ситуации, когда даже ее военная победа означает политическое поражение, она не является *независимой единицей в политической реальности*. Таким образом, если бы в мире существовали только две державы, то для одной из них победа в войне с необходимостью означала бы также политическую победу. Иного не дано. Но если в войне участвует больше двух стран, то, одержав военную победу, по крайней мере одна из них должна была бы добиться также политической победы, то есть усилить свою власть. Поэтому если какая-либо держава, воевавшая за победившую в военном отношении сторону, окончила войну с потерей власти, это значит, что на самом деле она боролась за политическую победу другой державы. Иными словами, она не была *независимой единицей*, но служила кому-то другому.

В частности, после Первой мировой войны Англия, воевавшая на стороне военного победителя, оказалась ослаблена в политическом отношении, то есть утратила свою довоенную власть. Войну за испанское наследство Франция окончила, оказавшись слабее, чем до вступления в нее, несмотря на одержанную военную победу.

В то же время между этими двумя смысловыми ответвлениями терминов «победа» и «поражение» существует иерархия: главным является политический смысл, потому что сама война для политики второстепенна. Любой политик предпочел бы сочетание военного поражения и политической победы, а не наоборот. Несмотря на военное поражение Франции в Наполеоновских войнах, на Венском конгрессе Талейран выторговал для Франции политическую победу. Говорить о том, что некто одержал военную победу и одновременно потерпел политическое поражение, значит утверждать, что военный противник не был настоящим врагом. Настоящий враг — это тот, разгромив которого можно увеличить свою политическую власть.

Задача политика — определить, против кого надо сражаться, и если в качестве врага он избирает единицу, за счет которой нельзя прибавить себе власти даже в ходе успешной в военном отношении кампании, значит это некомпетентный политик. Он может быть просто глупым, а может вести свою паразитическую политику, распоряжаясь жизнями соотечественников ради удовлетворения собственных антипатий, как граф Брюль в Семилетней войне. Либо он может быть дистортером, представляющим внешнюю силу, не принадлежащую к данной нации или даже культуре. Бывают также случаи предательства политиков из личных экономических соображений: например, поляки, которые в начале войны, в 1939 году, исчезли, и о них больше никто не слышал.

Однако независимо от причин, по которым политик неверно определяет врага, не подлежит сомнению, что тем самым он отрекается от суверенитета собственного государства и, соответственно, заставляет его служить другому государству.

Классическим примером в недавней истории стала роль Англии во Второй мировой войне. В военном смысле эта страна стала победительницей, но в то же время потерпела полное поражение в политическом смысле. Уже во время войны один английский парламентарий осмелился заявить, что, по сути, Англия является колонией Америки. На исходе этой войны власть и престиж Англии настолько упали, что ей пришлось расстаться с империей. Победителями оказались неевропейские силы. Во Второй мировой войне Англия жертвовала жизнями и положением ради чужой политической победы. Такое происходит в истории не в первый и не в последний раз, но благодаря своему бывшему величию эта страна останется классическим примером.

Занимая небольшой остров площадью около 242 тысяч квадратных километров с населением лишь 40 миллионов, в 1900 году Англия контролировала 17/20 поверхности планеты. Это включает все моря, на которых Англия властвовала в том смысле, что могла не допускать туда любую другую державу. Менее чем за 25 лет, после Первой мировой войны 1914—1918 гг., Англия лишилась этого господства наряду с торговым лидерством и статусом европейского арбитра, который мог помешать любой державе себя опередить. Менее чем за 50 лет, то есть после Второй мировой войны 1939—1945 гг., все было потеряно: как империя, так и независимость самого отечества. Урок, конечно, заключается в том, что в результате одной-двух войн против державы, не являющейся настоящим врагом, может рухнуть система, строившаяся в течение нескольких столетий с помощью войн, кровопролития и высокой политической традиции — всегда выбирать такого врага, поражение которого приведет к расширению английской империи.

Еще в 1939 г. все политические мыслители Англии единогласно считали, что у нее не может быть врага в Европе, поскольку в мировой политике решающими стали неевропейские силы — Япония, Россия и Америка. Но уже в 1946-м по этому вопросу не могло быть разногласий у людей по всему миру, независимо от их способности или неспособности к политическому мышлению. За исключением, естественно, либералов, которые опираются только на теории, а не на факты. Разумеется, даже после этой ужасной войны английские либералы, дистортеры и просто недоумки продолжали прославлять «победу» этой страны. С политической точки зрения самым обнадеживающим для будущего Англии фактом в послевоенный период был вывод отсюда неевропейских оккупационных сил.

Итак, мы снова убедились в экзистенциальной природе органических альтернатив: либо единица сражается с настоящим врагом, либо она с неизбежностью проигрывает. Повторим: единица, неправильно выбирающая врага, работает на другую державу — третьего не дано. Кто не сражается за себя, тот сражается против себя. В самом широком смысле речь идет о том, что организм, пытающийся обмануть внутренний закон своего бытия, заболевает и умирает. Внутренний закон политического организма требует наращивать собственную власть, и это единственный эффективный вариант отношения организма к власти. Уступая власть другому организму, он наносит себе вред. Даже пытаясь просто помешать другому организму в достижении власти, он

также наносит себе вред, а ставя на кон само свое существование, чтобы воспрепятствовать другому организму, независимо от успешного достижения этой негативной цели, он себя просто уничтожает.

Примером последней ситуации служит Франция начиная с 1871 г. Вся ее государственная идея состояла в том, чтобы мешать соседнему государству. Эта идея, вдохновляющим лозунгом которой был *реванш*, подогревалась десятилетиями, в результате чего французская держава была разрушена. Такая политика, конечно, не могла возникнуть в здоровом организме.

Законы тотальности и суверенитета

Органические законы тотальности и суверенитета справедливы для всех политических единиц. Они описывают любую общность независимо от ее происхождения, достигающую такой интенсивности самовыражения, что начинают участвовать в размежевании друг—враг. Тотальность имеет отношение как к *происходящему* (issues) внутри организма, так и к *особям* (persons), из которых он состоит. Все, что происходит внутри организма, подлежит политическому определению, поскольку потенциально любой вопрос является политическим. Каждая особь организма включена в его бытие. В любой решающей для организма ситуации главным является суверенитет. Оба эти закона судьбоносны (existential), как и все органические условия: либо организм им соответствует, либо сталкивается с болезнью и смертью. Поясним оба закона.

Сначала закон тотальности: любое противоречие, противостояние или враждебность между группами внутри организма может приобрести политический характер, если достигнет точки, когда группа или единица воспринимает другую группу, класс или слой как реального врага. Когда внутри организма возникает такая единица, это влечет за собой либо возможность гражданской войны, либо жестокий кризис, делающий организм уязвимым к порче или разрушению извне. *Поэтому всякий организм в силу самого своего существования характеризуется тем, что берет в свои руки власть над любой ситуацией.* Это не означает, что он тотально *планирует* жизнь населения — экономическую, социальную, религиозную, образовательную, правовую, техническую, рекреационную. Это означает лишь то, что все эти аспекты подлежат политической детерминации. Некоторые

из них нейтральны в одних государствах, но находятся в центре внимания в других. Однако любой организм будет вмешиваться, если его внутренняя группировка попадет в фокус размежевания «друг—враг». Это относится к любым политическим единицам совершенно независимо от того, что написано в их конституциях, если таковые имеются.

Закон тотальности распространяется на индивидов, экзистенциально погружая их в жизнь организма. Политика берет на учет жизнь каждого человека в пределах политической единицы. *Сами своим существованием* организм требует от всех индивидов, служащих его самоосуществлению, готовности рисковать жизнями. Другие группы могут требовать взносов, периодического присутствия на встречах, выделения времени на общие проекты. Однако стоит им потребовать — в силу непреодолимости органического закона тотальности — от своих членов готовности сложить за группу головы, как они сразу становятся *политическими*. Французский профессор общественного права Ориу считал критерием политической единицы то, что она поглощает индивида *полностью*, тогда как неполитические группы задействуют его только частично.

Если сформулировать закон тотальности иначе, то группа, претендующая на статус политической, должна потребовать от своих членов экзистенциальной клятвы. Взяв такую, она становится политической.

Стоит ли уточнять, что закон тотальности — вовсе не производное от воинской повинности. Последняя существует в пределах высокой культуры всего несколько столетий, тогда как закон тотальности применим к самой культуре, когда она конституирована как политический организм, а в период концентрации политики в государствах данной культуры — соблюдается для любого отдельного государства. Как все органические законы, он является экзистенциальным: если какая-либо внутренняя сила бросает ему вызов, значит организм болен; не справившись с вызовом, организм оказывается в жестоком кризисе и может быть уничтожен. В любом случае его единство временно под вопросом, и появляется возможность расчленения внешними державами.

Закон суверенитета представляет собой внутреннюю необходимость органического существования, которое наделяет правом разрешения любой важной ситуации весь организм, не доверяя принятие решения какой-либо внутренней группе. Важной ситуацией следует считать такую, которая влияет на организм в целом,

на его положение в мире, выбор союзников и врагов, решение вопросов войны и мира, сам его внутренний мир и неотъемлемое внутреннее право разрешать противоречия. Если что-либо из перечисленного вызывает сомнение, значит организм болен. В здоровом организме его суверенитет совершенно бесспорен, и так может продолжаться веками. Однако с началом новой эпохи новые интересы могут породить противоречия, которых правители не осознают и могут допустить просчет, оказавшись обороняющейся стороной в гражданской войне. Первым симптомом кризиса организма становится вызов его суверенитету. Если организм вышел из кризиса, его новые правители становятся средоточием того же суверенитета.

В этой связи затрагивается важный факт: по смыслу обсуждаемого закона, правители суверенами не являются. *На самом деле* их власть связана с их символически-представительным положением. Если правящий слой воплощает дух времени и действует в соответствии с ним, революция против него невозможна. Организм, не занимающийся самообманом, не может оказаться в состоянии болезни или кризиса.

Закон суверенитета не требует, чтобы каждый аспект групповой жизни внутри организма во все времена управлялся и организовывался политически, или чтобы централизованная система правления непременно вмешивалась и разрушала организацию любого рода. Здесь излагается чисто *фактуальная* точка зрения, и закон суверенитета описывает *все* политические организмы, словесно формулируя самую существенную характеристику политического организма.

В определенное время и в определенных обстоятельствах политическая организация входит в фазу тотальной организации — «тотальное государство». Одни государства нейтральны в религиозных вопросах, другие провозглашают официальную религию. Одним государствам в XIX веке экономика была более или менее безразлична, другие вмешивались в экономическую жизнь. В XX веке все государства стали участвовать в решении экономических вопросов. Для описания этого вмешательства в разных государствах используется разная терминология, а степень вмешательства зависит от потребностей организма. Так, организм с достаточными экономическими ресурсами будет вмешиваться в меньшей степени, чем тот, который вынужден считать каждую крупницу работы и материала. Но это не отменяет того факта, что в XX веке все государства вмешиваются в экономику.

На закон суверенитета не влияет тот факт, что в данном организме некая внутренняя сила, скажем, религия или экономика, может оказаться сильнее правительства. Это вполне возможно и часто случается. Если эта внутренняя сила еще не в состоянии мешать правительству, значит она еще не является политической; если она способна лишь на то, чтобы поставить правительство в тупик, но не организовать войну, она еще не сформировалась как политическая единица. Если никто не решается на вражду или войну, в этом еще нет политики. Следовательно, другие единицы, сохраняющие свой политический характер, могут либо игнорировать больную единицу, выстраивающую свои комбинации, либо могут атаковать ее с хорошим исходным перевесом.

Поэтому закон суверенитета также экзистенциален. Он описывает здоровый организм на пути к завершению. Там, где этот закон не соблюдается, организм по отношению к другим организмам того же рода находится в подвешенном состоянии, и если такие условия продлятся, политический организм исчезнет. Лучшей иллюстрацией экзистенциального характера закона суверенитета была анархическая Польша XVIII века. Слабость и болезнь доводила ее организм до неоднократных разделов.

Плюралистическое государство

В западной цивилизации XIX века относительный нейтралитет различных государств и, следовательно, явное бессилие государств перед тактикой внутренних экономических единиц, то есть тред-юнионов с их забастовками, заставила либералов и интеллектуалов объявить (как оказалось, несколько преждевременно), что государство умерло.

«Этот колосс мертв», — заявили французские и итальянские синдикалисты. Их услышали остальные рационалисты, и Отто фон Гирке выступил со своей доктриной «изначального равенства всех человеческих групп». Это был, конечно, способ отрицания верховенства государства, но полемический, а не фактический. Интеллектуалы *хотели* смерти государства, поэтому объявили о его конце как о свершившемся факте. Эта теория получила известность как доктрина «плюралистического государства». Свои философские основания и политическую теологию она взяла из прагматизма — философии духовного материализма, возникшей в Америке. Прагматизм объявил предрассудком и пережитком схоластики любые поиски высшего единства в какой бы то ни

было области, даже в естествознании. Это означало, что не может быть никакого Космоса и, стало быть, государства. Подобные воззрения были особенно популярны среди членов Второго интернационала, в котором преобладал либеральный настрой. Полюсами его образа мысли были, с одной стороны, синдикализм, а с другой — гуманизм. Жизнь «индивида» «в обществе» сводилась к членству во множестве организаций — экономическом предприятии, семье, церкви, атлетическом клубе, тред-юнионе, нации, государстве, — но ни одна из этих организаций не обладала суверенитетом над другими, и все были политически нейтральны. Борющийся коммунистический пролетариат в таком плюралистическом государстве также становился политически нейтральным тред-юнионом или партией. Все организации могли предъявлять свои требования к индивиду, связанному «множеством обязательств и лояльностей». Организации могли иметь отношения и взаимные интересы, но не подчинялись государству, являвшемуся только одной из организаций и даже не *primes inter pares*.¹

Разумеется, описанное плюралистическое государство не представляет собой политический организм. При внешней угрозе оно может либо сразу сдаться, либо вступить в борьбу, в результате чего сразу стать политическим организмом, положив конец «плюрализму». Такая плюралистическая вещь политически нежизнеспособна. Всегда существует возможность внешней угрозы или внутренней природной катастрофы — засухи, голода или землетрясения. Они неизбежно приводят к централизации или появлению группы с политическими инстинктами, целью которой становится тотальное подчинение себе всех остальных, невзирая на тонкую теорию «плюралистического» государства. До 1914 г. примерно такой была Америка, но с 1921 по 1933 г. она временно вернулась к плюрализму. С этим «плюралистическим государством» было покончено в 1933-м, когда одна группа захватила власть тотальным образом.

Все политические теории, подобные «плюралистическому государству», «диктатуре пролетариата», «*Rechtstaat*»,² «системе сдержек и противовесов», приобретают политическое значение, если входят в моду. Это значение двоякое: во-первых, все подобные теории безапелляционны и спорны, а требуя изменений внутреннего устройства государства, самим своим су-

¹ Первый среди равных (лат.). — Примеч. пер.

² Правовое государство (нем.). — Примеч. пер.

ществованием показывают, что государство, которым они недовольны, заболело. Во-вторых, они являются техникой дальнейшего ослабления государства, создавая *реальные* противоречия, накаляющиеся до размежевания на друзей и врагов, то есть до гражданской войны.

XIX век был пиком применения теорий в качестве политических технологий. В XXI веке будет столь же трудно разобраться в идее «диктатуры пролетариата», как нам понять, почему вокруг теории Руссо могли разгореться столь сильные политические страсти. Ужасный кризис, случающийся со всеми высокими культурами, когда они достигают своей последней великой фазы — цивилизации как экстериоризации культурной души, приходится на момент рождения рационализма. Как сказал Наполеон, «на мостовых Франции развивается интеллект». Интеллект, будучи направленной вовне, анализирующей и препарирующей способностью души, обнаруживает себя также в политике. В результате мы сталкиваемся с паводком теорий, понижением внутреннего авторитета всех государств и постановкой этого авторитета под сомнение.

Закон сохранения власти среди организмов

I

Как видим, теории служат техникой ослабления государства, состоящей в провоцировании размежевания на друзей и врагов по теоретическим основаниям. Эта техника может быть использована не только внутренними группами, стремящимися приобрести реальное политическое влияние, но также другими государствами. Они даже не нуждаются в интервенции, чтобы воспользоваться плодами деятельности теоретизирующих групп.

Уже говорилось, что государство, воюющее против державы, которая не является подлинным врагом, тем самым воюет за третью державу. Это был только частный случай более общего закона, называемого законом сохранения власти среди организмов.

Его можно сформулировать так: *в любое время количество власти в системе государств является постоянным, и если одна органическая единица теряет власть, другая единица или единицы увеличивают свою власть на ту же самую величину.*

Если ответственный за судьбу государства политик действует с сознанием превосходства, основанного на чувстве органических законов, он никогда не сделает врагом своей страны державу, которую не способен победить, потому что такая держава не будет являться настоящим врагом. Этот государственный муж знает, пусть даже подсознательно, что власть, которую потеряет его собственное государство в заведомо проигрышной войне, будет всего лишь передана какой-то другой державе: или ошибочно выбранной в качества врага, или третьей силе. Один из многих примеров действия закона сохранения власти среди организмов — это когда государство изнутри подтачивается группами, использующими теории для создания внутренних противоречий. В этом процессе достигается точка, когда внешняя власть организма уменьшается. Отсюда уже недалеко до гражданской войны, дезинтегрирующей организм по крайней мере на время. По этой причине утраченная власть переходит к другому государству или государствам.

Какая именно держава будет бенефициаром при перераспределении власти, в целом определяют обстоятельства. Свою роль играет даже теория, используемая группой подстрекателей, поскольку теории принадлежат определенным государствам. Франция с 1789 по 1815 г. являлась хозяйкой теорий «демократии» и «равенства». С середины XIX века до Первой мировой войны Англия владела теорией «либерализма» и множеством ее форм. В 1917-м Россия перехватила теорию «диктатуры пролетариата».

II

В реальности нет никакой «политической ассоциации» или «политического общества»: существует только политическая единица, политический организм. Если группа обладает реальным политическим значением, о чем свидетельствует ее способность возбудить настоящую вражду вплоть до действительной или возможной войны, решающим становится политическое единство. Пусть даже группа зародилась как свободное интеллектуальное объединение, она становится политической единицей и полностью утрачивает какой-либо «общественный» или «ассоциативный» характер, который могла иметь вначале. Здесь дело не просто в различии слов, а в том, что политика предполагает особое мышление. Пребывать в политике — не то же самое, что состоять в обществе, поскольку общество не подразумевает

риска для жизни. Общество также не становится политическим только потому, что так себя называет. Ему не будет свойственно подлинное политическое мышление, связанное с присутствием политического организма, если общество не обретет *реального* политического единства, которого можно достичь только оказавшись полюсом враждебного противостояния вплоть до возможной войны. Тот факт, что группа на «выборах» голосует как одно целое, не наделяет ее политическим значением — как правило, его не имеют и сами «выборы».

Закон сохранения власти внутри организма

В теме выборов, которые были в моде почти два столетия жизни западной цивилизации — как в Европе, так и на территориях, где она духовно доминировала, проявил себя важный для политических организмов закон.

В «демократических» условиях (происхождение и историческое значение «демократии» мы еще рассмотрим) наблюдается такой внутривнутриполитический феномен, как «выборы». Согласно теории «демократии», возникшей около 1750 г., «абсолютная» власть монарха или аристократии, в зависимости от местных условий, должна быть отобрана и передана «народу». Употребление термина «народ» вновь с необходимостью демонстрирует спорный характер политического словоупотребления. Этот термин использовался только для отрицания, чтобы подчеркнуть непринадлежность династии или аристократии к «народу». Стало быть, монарху и аристократии пытались отказать в политическом существовании, и термин безоговорочно определял их как *врагов* в подлинно политическом смысле. Это был первый случай в западной истории, когда интеллектуальная теория попала в фокус политического события. Во всех случаях, когда монарх или аристократия оказывались глупыми или некомпетентными и оглядывались назад вместо того, чтобы адаптироваться к новому веку, их свергали. Если же они сами подхватывали новые теории, дав им официальную интерпретацию, то сохраняли власть и управление.

Способом передачи «абсолютной» власти «народу» должны были стать плебисциты или «выборы». Теоретически предполагалось наделить властью миллионы человеческих существ, предоставив каждому его *n*-миллионную долю общей политиче-

ской власти. Такое, конечно, невозможно, что было ясно даже интеллектуалам, поэтому компромиссом стали «выборы», посредством которых каждый индивид в пределах организма мог бы «избрать» своего «представителя». Если представитель чего-либо добивался, то все делали вид, что это самостоятельная заслуга каждого «представленного» маленького человека. Вскоре люди, заинтересованные в получении власти — лично для себя или для протаскивания своих идей — осознали, что, повлияв накануне одних из этих «выборов» на умы голосующего населения, можно стать «избранным». Чем больше выделить средств на убеждение масс избирателей, тем более вероятным будет «избрание». Такими средствами служило все, что попадалось под руку: риторика, деньги, пресса. Поскольку грандиозный масштаб выборов требовал соответствующей власти, их мог контролировать только тот, кто командовал соответствующими средствами убеждения. Вошла в силу риторика, пресса начала повелевать, а за всем этим маячила власть денег. Монарха нельзя было купить, его не интересовали взятки. Он не подлежал давлению со стороны ростовщика: на него нельзя было подать в суд. Но партийные политики, жившие во времена, когда все ценности получили денежное выражение, могли быть куплены. Поэтому демократия свелась к такой картине: население под гнетом выборов, делегаты под гнетом денег и деньги сменили на троне монарха.

Таким образом, абсолютная власть никуда не девалась, как и должно быть в любом организме, поскольку экзистенциальный закон организма гласит: *власть внутри организма сохраняется, и если одни его индивиды, группы или идеи уменьшают свою власть, некоторые другие индивиды, группы или идеи увеличивают свою власть на ту же самую величину*. Этот закон сохранения власти внутри организма является судьбоносным, поскольку, если при уменьшении власти в одном месте она не передается в другое место внутри организма, то последний хиреет, слабеет и может перестать существовать как политическая единица. История Южной Америки с 1900 по 1950 г. богата примерами триумфальных революций, лишивших местные режимы власти, которая переместилась в Соединенные Штаты. Пока сохранялась эта ситуация, страны, где произошли эти революции, оставались колониями *Yanqui imperialismo*.

Политический плюриверсум

Мы уже знаем, что представляет собой плюралистическое государство. Есть, однако, плюрализм иного рода, не теоретический, а фактический. Плюриверсум существует как *факт*, и это не просто попытка доказать одну философию и высмеять другую. Мир политики есть плюриверсум. Мы уже определили политику как деятельность в отношении власти, охарактеризовав внутреннюю природу, предпосылки и неизменные признаки политики, однако требует еще разъяснения сама природа власти. *Власть есть отношение управления между двумя подобными организмами.* Степень управления определяется природой двух организмов, оказывающих друг на друга воздействие. В самом смутно-зачаточном виде власть зарождается в животном мире, где хищники проявляют нечто похожее на нее в отношении своих предполагаемых жертв. Однако в качестве чего-то не столь мимолетного, но уже *конституированного*, власть впервые появляется у человека.

В духовном отношении животных можно поделить на две группы (причем никакого смысла в другой классификации, такой как материалистическая линнеевская, нет): травоядных и хищных. Если бы материалисты посмотрели под этим углом, то уверенно отнесли бы человека к хищникам. И были бы правы, если говорить о его животной стороне. Эта животная сторона пребывает в постоянном конфликте с духовной стороной — особой человеческой душой, которая видит символизм вещей и отдает символу преимущество перед чистым феноменом. Поистине, таковы предельные глубины всякого философствования. Откуда прежде всего взялся вопрос о конфликте между «видимостью» и «реальностью»? Вся великая философия, развитая в высоких культурах (а ее не существует вне высоких культур), проникнута стремлением установить подлинное отношение между видимостью и реальностью, и в этом она следует инстинкту, составляющему сущность человека: его душа говорит ему, что *Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis*.¹

Воля к власти хищного животного ограничена и практична; она неистова, но бездуховна. Человек обладает той же волей к власти, но его душа сообщает ей чисто духовную энергию, несравненно возвышающую ее цели и результаты над животным уровнем. У животного воля к власти вступает в игру только во

¹ Все проходящее — не более чем притча (нем.). — Примеч. пер.

время убийства. Человек, однако, стремится не убивать, а управлять. Ради управления он будет убивать, но, как верно заметил Клаузевиц, завоеватели предпочитают повиновение и мир, это жертва начинает войну. Человек с мощной волей к власти стремится к управлению, а не к войне как самоцели.

Однако если человек демонстрирует волю к власти, это вызывает отовсюду противодействие. Аналогично и со сверхличными организмами: они не существуют и не могут существовать в одиночестве, поскольку в своем политическом аспекте являются единицами *противостояния*. Каждая существует как *единица, которой под силу выбирать врагов и сражаться с ними*. Способность приводить к размежеванию «друг—враг» есть *сущность* политического.

Однако эта способность нуждается в противнике соответствующего ранга. Поэтому с политической точки зрения было бы полной глупостью говорить о мире, состоящем из одного государства с одним парламентом, одним правительством и т. п. Такое простительно Теннисону, но если о том же говорит политик, значит он совершеннейший тупоумный осел, и ему нечего делать на посту, заняв который, он только искривит судьбу государства и ввергнет его подданных в нищету. Он осел, даже если на самом деле так не думает: в том, чтобы распространять исключительно ложь, нет никакой необходимости (после 1980 г. для читателей это будет само собой разумеющимся), в отличие от того, чем занимаются либеральная школа, классовые бойцы и дистортеры. Это лишь людям, воюющим против будущего, приходится постоянно прибегать к обману, окутывать свои действия туманом теорий, говорить о мире, подразумевая войну, и наоборот, а также придумывать грифы «секретно», «конфиденциально» и т. п.

Единственная секретность, которая неизбежно присутствует в политике, связана с ограниченностью некоторых индивидов, и с этим типом секретности совершенно ничего нельзя поделать. Например, факты, касающиеся природы политики и власти, изложенные здесь, навсегда останутся секретом для интеллектуалов и рационалистов, даже если они прочтут эту книгу.

То же самое с ложью: вполне очевидно, что государственный деятель, являющийся воплощением духа времени, не нуждается в фундаментальной лжи. Он не может бояться правды, поскольку его действия объясняются органической необходимостью, противостоять которой не может никакая сила внутри организма. Столь же очевидно, что те, кто намерен задушить будущее (как это постоянно делали Меттерних и *Furstenbund*, а также либе-

ралы, демократы, партийные лидеры любого сорта, культурные дистортеры и интеллектуалы в период 1900—1975 гг.), раздувают потребность во лжи — все большей и лучшей лжи. Они любят называть это макиавеллизмом и обвинять в нем других. Но сам Макиавелли определенно не был «макиавеллистом», иначе он не написал бы свою основанную на фактах, правдивую книгу. Вместо этого он написал бы книгу о том, как добра человеческая природа в целом и как исключительно добра, в частности, природа государей. Когда Макиавелли упоминает обман, он подразумевает обман врага, а либералы и дистортеры считают обман нормой поведения по отношению к населению, судьбой и жизнями которого они вольны распоряжаться.

Классическим примером в этом смысле остаются «выборы» в Америке осенью 1940 года. Населению было предложено «выбрать» одного из двух кандидатов, представлявших на самом деле одни и те же интересы. Вопрос, который предстояло «решить» населению, заключался в том, вмешаться или нет Америке во Вторую мировую войну. Оба кандидата публично заявляли совершенно недвусмысленно, что они не будут втягивать Америку в войну. При этом и тот и другой хранили верность кругам, сделавшим их кандидатами именно для того, чтобы как можно скорее втянуть Америку в войну. Разумеется, успеха добились оба кандидата, поскольку в условиях поздней демократии партии становятся трестами и больше не участвуют в конкуренции, которая повредила бы им обеим. После «выборов» эти успешные кандидаты выполнили свое подлинное обязательство: заставили Америку воевать, отправив на смерть тех самых людей, чьи жизни они клялись обезопасить от Второй мировой войны, которая не имела отношения к американским интересам. Один из кандидатов объяснил после «выборов», что обещание невмешательства было всего лишь «предвыборной риторикой».

Нет сомнений, что в этом случае Макиавелли посоветовал бы правителям Америки, чтобы оба кандидата агитировали за интервенцию. Но партийные политики лгут из внутренних побуждений, так как сама их деятельность и есть натуральная ложь.

Лига Наций

Тот факт, что мир с одним государством или одним правительством органически невозможен, хорошо продемонстрировали две неудачные попытки создания своего рода «священного

союза» XX века. После каждой из первых двух мировых войн неевропейский «священный союз» против Европы учреждал Лигу Наций.

Политические организмы, однако, сохраняли свою органичность и потому подчинялись закону суверенитета. Если политическая единица существует, следовательно, она суверенна; члены этих двух Лиг Наций продолжали существовать политически, значит, были суверенны. Между прочим, органический закон суверенитета не тождествен «принципу суверенитета наций» Гроция и Пуфендорфа, который был правовой концепцией и в силу этого являлся предметом юридической казуистики, тогда как органический закон суверенитета распространяется на все политические единицы, поскольку связан с самим их существованием.

Дилемма, следовательно, заключалась в том, что Лиги Наций не обладали суверенитетом (я вновь говорю о фактическом, органическом, а не юридическом суверенитете) и поэтому не были политическими единицами. Не бывает политической единицы без органического суверенитета, и не бывает органического суверенитета без политической единицы.

Чем же тогда были эти две Лиги Наций? Они имели два аспекта — этический и практико-политический. В терминах практической политики они были спорными реальностями. Поэтому любая сила, их контролировавшая, могла говорить от имени *всех наций*, а любая сила, им противостоявшая, была *hors-la-loi*,¹ за пределами сообщества наций и даже не принадлежала к человечеству, потому что *человечество* представляла Лига. Стоит ли говорить, что Лиги быстро перешли под контроль отдельных государств-членов, в соответствии с законом суверенитета, который гласит, что без суверенитета нет независимой политической единицы, и суверенитетом пользуется кто-то другой. И в самом деле, первая Лига Наций, созданная после Первой мировой войны, перешла под контроль Англии. Вторая Лига Наций, образованная после Второй мировой войны, когда политика вошла в абсолютную фазу, была узурпирована Америкой.

Этого и следовало ожидать исходя из того, что Россия согласилась, чтобы Лига находилась в Америке. Это не только позволило избавиться от назойливой толпы идеологов, паразитов и бездельников, всегда осаждающих любую Лигу Наций, а так-

¹ Вне закона (фр.). — Примеч. пер.

же от кишащих в подобных местах шпионов, но фактически засвидетельствовало слабый и второстепенный к ней интерес.

В прошлом определенным державам принадлежали определенные теории. И наоборот, все серьезные теории имели практическую, политическую принадлежность. Теория в отсутствие политической единицы, которая использовала бы ее в практических целях, бесполезна. Если протагонистам теории хватает страсти и нетеоретических политических навыков для возбуждения с помощью своей теории интенсивного чувства, они, скорее всего, придут с помощью такого оружия к власти. Дойдя до точки, когда власть совсем близка, уже существующая политическая единица в практических целях присваивает себе теорию. Например, в 1918 г. большевистская Россия для политического применения против Европы перехватила марксизм, когда его сторонники в Германии оказались политически несостоятельны.

Теория Лиги Наций *фактически* принадлежит Америке. Кто бы впоследствии ни распространял эту идею (даже Англия, оседлавшая первую Лигу), тот усиливал власть Америки, сознательно или нет. Этого не могли не заметить такие свободные от идеологии политики, как кремлевские монголы. Было очевидно, что, понимая, для чего на самом деле нужны теории, они не могли позволить, чтобы с помощью своей теории их стреножила какая-либо политическая единица. Так сгнула вторая и последняя Лига Наций.

Лиги имели также этический аспект. Они были очередным примером обмана, который в первой половине XX века все еще считался неотъемлемым способом политического поведения. Фактически их появление объяснялось спорными попытками отрицать Европу. Дух времени требовал сформировать из Европы политическую единицу. Тот, кто призывал к чему-то другому, просто отрицал эту идею. Поэтому единственным политическим результатом двух Лиг Наций было создание помех для Европы. Причем независимо от того, сознавали это их участники или нет. Однако органической задачей политика является осознание политической реальности, правильное понимание и оценка возможностей, предоставляемых временем. Разумеется, теперь известно, что многие из тех, кто участвовал в этих всемирных обманах, сознавали реальность.

Из того, что сказано о природе политических организмов, вытекает отношение государственного деятеля к своей политической единице: если он призывает ее население умирать, то не

вправе отказаться, при необходимости, отдать и собственную жизнь. Ради своего политического организма он должен пожертвовать всю свою физическую энергию, весь свой талант и гений. Небрежность при оценке ситуации и прежде всего действия, несовместимые с жизнью организма, лишают его права на жизнь. Только если посчастливится, он может умереть от сердечного приступа, сотрясения мозга, тромба или просто от старости.

Когда неевропейские силы постепенно нарастили свою власть до такой степени, что независимое существование Запада стало проблематичным (это было очевидным с 1920 г. и несомненным с 1933-го), общим долгом государственных деятелей Европы по отношению к своим государствам и западной цивилизации было совместное их спасение от политического уничтожения неевропейскими силами. Поэтому любой политик европейского государства, саботировавший общее западноевропейское понимание и окончательное решение, которого ждали хранители духа западной цивилизации, оказывался душителем и дистортером судьбы собственной страны и цивилизации.

Этика, которая формулируется на основании всего сказанного, есть этика *факта*. Она органическая, политическая, фактуальная — и этого достаточно. Ее единственный императив — органико-политический. От религиозной этики она отличается тем, что не требует теологической санкции. От всех прочих этических систем — тем, что руководствуется лишь одним отношением: индивида к политической единице. Не подразумевает она и санкций в карательном смысле. Органическое взаимоотношение между политической единицей и политиком само устанавливает этический императив. Если политик нарушает его, нанося вред вместо того, чтобы обеспечивать жизнь организма, санкция — это дело судьбы, внутренней силы организма. Поступая так, он теряет право на жизнь, но зачастую ему удается легко отделаться. Экзистенциальная включенность индивидуальных жизней в политическую единицу, что, как было показано, является ее *существенной* характеристикой, не делает для политиков исключения. В момент наивысшего напряжения этот органический императив заставляет политика связать свое право на жизнь с успешным для организма воплощением своей идеи. Бисмарк и Фридрих Великий были полны решимости уйти из жизни в случае неудачи.

Внутренний аспект закона суверенитета

I

Закон суверенитета справедлив абсолютно для всех политических единиц. Решение любого вопроса, имеющего политическое значение, он возлагает на организм. В зависимости от обстоятельств какая-либо одна или несколько внутренних проблем могут приобрести политическое значение, то есть сформировать политическую единицу и обусловить размежевание «друг—враг». В этот момент правительство организма должно вмешаться, если его понимание и воля в порядке. Король Англии Карл I пропустил этот критический момент, позволив своему первому парламенту отправить Монтегю в башню за проповедование божественного права королей. Дальше ситуация начала ухудшаться, и, естественно, требовалось все больше усилий, чтобы изменить ход событий. Фактический смысл борьбы был с самого начала ясен жившему в то время политическому философу Томасу Гоббсу, который письменно выступал против разрушительной для государства позиции парламента. Верное чувство ситуации позволило ему определить момент, когда оставаться в Англии стало опасно, и он покинул ее в 1640 г. Пока два года продолжалась эта внутренняя вражда, Англия не существовала как политическая единица, она игнорировалась в европейских властных комбинациях и только благодаря общей ситуации в Европе не подверглась разделу.

Правительством себя считали и парламент, и монархисты. Политическое мировоззрение, естественно, не интересуется вопросом, кто был «прав». Такой вопрос имеет не политический, а только правовой смысл. Закон есть отражение политики. Политика заботится об установлении фактов, исходя из которых предстоит действовать; следом приходит закон, и его функция состоит в консолидации данного комплекса политических фактов. Закон отделяет легальное от нелегального под диктовку политики. Если отсутствует политическая единица, которая предписывает закон, то закона быть не может. Так, закон не действует во время гражданской войны, потому что есть два закона. Если результатом войны становится воссоединение народа и территории в политическую единицу, то неизменно оказывается, что победитель всегда и во всем действовал легально, а побежденный был всегда неправ в юридическом смысле. Этот *непреложный* факт характеризует природу закона.

Пока парламент и король находились в оппозиции, каждый полагал, что Англия — это он. Политически оба были неправы, потому что Англии не было. На языке политики две Англии равносильны тому, что Англии нет. Каждая из двух групп была политической единицей и стала таковой, потому что назначила врага. Каждая вела себя как правительство и руководствовалась органическим политическим правом, а уже *вслед за этим* — легальным правом определять *внутреннего* врага. Органическое свойство всех политических единиц, состоящее в том, что при необходимости они определяют своего внутреннего врага, — есть внутреннее следствие закона суверенитета. Поэтому «кавалеры» на парламентской территории были врагами правительства, их считали вне закона. Так же обстояло дело с приверженцами парламента на роялистской территории.

Мы использовали пример гражданской войны, но такое же определение внутреннего врага имеет место и в других случаях. Наоборот, если бы Карл I с самого начала объявил своих оппонентов внутренними врагами и относился бы к ним именно так, то гражданская война бы не началась. Однако ему не хватило твердости и понимания, чтобы так поступить. Ему бы следовало посоветоваться с Гоббсом, который понимал что к чему. Но Карл не был читателем и не знал трактатов Гоббса «О человеческой природе» и «De Corpore Politico».

В истории любая политическая единица, при необходимости или без нее, применяет свою органическую власть, чтобы определить внутреннего врага. Если она делает это быстро и основательно, опасность исчезает. Если медлит и ограничивается полумерами, то перестает быть политической единицей. Пользуясь этим правом без необходимости, она только терроризирует свое население и сеет семена ненависти, которые однажды принесут неожиданные плоды. Органическая этика отношения государственного мужа к своей политической единице применима также к поведению данного типа. Политик не обладает естественным правом безрассудно распоряжаться жизнями населения. Посылать подданных умирать на войну против державы, не являющейся настоящим врагом, то есть на такую войну, которая по самой своей природе обречена на неудачу, или провозглашать внутренним врагом группу, не обладающую реальной возможностью конституировать себя как настоящая политическая единица, — это в обоих случаях порочное, неполитическое поведение. Такой человек подвергает себя естественным санкциям, к которым в подобных случаях зачастую прибегает судьба.

Естественное право определять внутреннего врага не всегда применяется одинаковым способом. Это может делаться открыто: арест, внезапное нападение, убийство дома или на улице. Или действие может быть скрытым: принятие карательных законов, сформулированных в общих терминах, но фактически направленных против конкретной группы. Оно может быть чисто бесформенным, и при этом реальным: правитель негодуяюще высказывается в адрес некоего индивида или группы. Такое заявление может быть использовано только для того, чтобы запугать, или как способ организации убийства. Еще один вариант — экономическое давление; естественно, это излюбленная тактика либералов. Против группы или индивида можно применить также «черный список» или бойкот.

Нужно ли говорить, что применение такого права никоим образом не связано ни с какой писаной «конституцией», на словах претендующей на равномерное распределение публичной власти в политической единице. Такая «конституция» может запрещать провозглашение внутреннего врага, но часто, когда было нужно, единицы с этими конституциями без колебаний прибегали к таким мерам независимо от реальной необходимости. Поэтому трансатлантическая часть антиевропейской коалиции во Второй мировой войне развернула (без достаточной необходимости, поскольку на самом деле настоящего внутреннего врага не было), широкие внутренние преследования, направленные против групп и слоев собственного населения. На политическую природу этих действий не повлияло то, что их организовали элементы культурного дистортера, поскольку органические законы, описанные здесь, справедливы для любой политической единицы, даже если она оказывается в руках политических и культурных чужаков.

II

Внутреннее применение закона суверенитета, разумеется, справедливо для политических единиц всех высоких культур. Мы достаточно хорошо знаем классическую культуру, чтобы продемонстрировать, как это в ней происходило. Самый известный пример — решение Демифанта, который в 410 г. до н. э. объявил любого, кто хотел отменить в Афинах демократию, «врагом Афин». В тот же период спартанские эфоры объявили войну всем илотам, которых обнаружат проживающими на территории Спарты. В нашей собственной культуре показательна деятель-

ность великого инквизитора Торквемады, а крайний случай, до которого дошло это естественное право, демонстрирует, пожалуй, знаменитый документ, в котором Филипп II приговорил все население Нидерландов к смерти как еретиков. Но женевскую теократию Кальвина Филипп превзошел только количественно.

В древнеримском общественном праве все неугодные церемониально именовались «*hostis*», это слово применялось к государственным преступникам. Ту же самую органическую функцию выполняли имперские проскрипции независимо от их политического мотива. В Священной Римской империи против опасных и нежелательных внутренних элементов применялся *Acht und Bann*.¹ Они объявлялись *Friedlos*² и лишались любой защиты. Всякий, кто помогал такому лицу, тем самым попадал в ту же категорию. Якобинцы и *Comité de salut public*³ лишили жизни тысячи своих жертв, объявляя и не объявляя их врагами.

В условиях ранней демократии ослабление государства перед лицом внутренних групп затрудняло применение этого права, но поскольку все западные государства находились в более или менее одинаковых внутренних условиях, необходимость для его применения не всегда возникала. В любом случае после триумфа теорий равенства и свободы в области политической лексики, применять это право прежним открытым, заявленным, легалистским путем было неблагоприятно.

В западной цивилизации ранняя демократия существовала примерно с 1800 по 1850 год. В этот период внутренний суверенитет, как иллюстрирует определение внутреннего врага, был более рафинированным, интеллектуальным и завуалированным. Примерами служат американские законы об иностранцах и подстрекательстве к мятежу, австрийские меры против демократов 1815—1848 гг., законы Бисмарка против классовых бойцов.

Понятно, что во время войны это право применялось особенно интенсивно, однако обычно не было оформлено юридически: янки в американской войне Севера и Юга⁴ 1861—1865 гг., Парижская коммуна 1871 г.

¹ Изгнание и анафема (нем.). — *Примеч. пер.*

² Вне закона (нем.). — *Примеч. пер.*

³ Комитет общественного спасения (фр.). — *Примеч. пер.*

⁴ Характерно, что здесь и далее автор употребляет менее известное у нас наименование этой войны: War of Secession, то есть «Война за отделение» или, если переводить с точки зрения северян, «Война с сепаратистами». — *Примеч. пер.*

С внезапным переходом к недемократическим условиям, связанным с Первой мировой войной, началась эпоха истребительных войн. Ее можно также назвать эпохой абсолютной политики. XIX век был эпохой экономики — не в том смысле, что экономика когда-либо обладала настоящим приоритетом в мире действия, но она в значительной мере мотивировала политику, о чем свидетельствуют такие явления, как Опиумная война, американская война Севера и Юга, Англо-бурская война. Экономике нужно слабое государство, поэтому в эпоху экономики государства перешли к обороне, однако новый *Zeitgeist* целиком изменил смысл истории и содержание деятельности. Вследствие того, что *Zeitgeist* XX века не одержал видимой победы во всей Европе, многие решили, что эпоха экономики не только продолжается, но идет к новым победным вершинам.

Война, открывшая новый век, показала, что дело обстоит иначе. Это была война между бургским государством, колонией западной цивилизации, и Англией. Она не была войной против дикарей или аборигенов, чтобы освободить территорию, поэтому не относится к одному типу с австралийской войной против автохтонных племен Тасмании, когда за жертвами охотились как за кроликами, до полного истребления. Мы видели, что вооруженные столкновения между государствами западной культуры по природе были агонами, а не настоящими войнами. Поворотный пункт цивилизации был отмечен Наполеоном, герольдом абсолютной войны и политики, но давняя традиция была столь сильна, что во французской войне 1870—1871 гг. против Пруссии победоносная Пруссия по-прежнему не помышляла ни о полном истреблении разгромленного врага, ни о бесконечной военной оккупации, но удовлетворилась возвращением двух провинций и наложением контрибуции, которая была выплачена за несколько лет.

Англия точно так же вела себя в вооруженных схватках внутри культуры. И все же в 1900 г. она воевала против буров на полное уничтожение. Это было поистине в стиле XX века, причем в полном соответствии с духом новой эпохи действовала именно Англия. В свое время именно этот организм выдвинул идею XIX века, но ему не было суждено породить идею века XX. Настолько силен дух времени, что он внутренне принуждает к подчинению даже того, кто пользуется формулами прошлого и верит, что вдохнет в умирающую идею новую жизнь.

Война с бурами упоминается здесь потому, что она была поворотным пунктом также во внутреннем аспекте закона суве-

ренитета. В этой войне английские армии впервые применили свойственный XX веку способ определения внутреннего врага и обращения с ним. В ту историческую эпоху в подобных действиях не было реальной политической необходимости, однако нас все же интересует то, что происходило, а не переписывание истории. В этой войне английские армии заключили под стражу большое число гражданских буров — мужчин, женщин и детей. Их арест объяснялся тем, что они представляли угрозу для внутренней безопасности территории, контролируемой империей, то есть их определили как внутреннего врага. Численность была огромной, слишком большой для имевшихся мест заключения. Было решено разместить их в лагерях для интернированных, поспешно сооруженных *ad hoc*. Они были названы «концентрационными лагерями», и этому термину была уготована своя судьба.

После Первой мировой войны эпоха абсолютной политики проявила себя уже повсюду, и одним из признаков стало введение системы «концентрационных лагерей» во всех странах западной цивилизации. Чем опаснее была для них внешняя ситуация, тем более необходим был жесткий внутренний контроль, прочный и нерушимый внутренний мир. Поэтому наиболее политизированные страны объявляли внутренними врагами или во всяком случае воспринимали как внутренних врагов огромное число лиц, которых поместили в лагеря. Поскольку термин имел отношение к политике, он приобрел полемический смысл, и государства пользовались им для обвинения друг друга в «аморальности». При этом концентрационные лагеря были одинаковыми во всех странах точно так же, как и тюрьмы. Было неважно, неевропейские силы заключали европейцев в лагеря, построенные в Англии, или Европа заключала славян, евреев и большевиков в лагеря, которые построила в Европе — с политической точки зрения лагеря оставались лагерями. И те, и другие иллюстрируют развитие внутреннего аспекта закона суверенитета в XX веке. У эпохи абсолютной политики впереди еще целое столетие, поэтому число лагерей для военнопленных и число заключенных будет расти, а не уменьшаться.

Осталось высказаться о будущем развитии внутреннего суверенитета. Поскольку дух наших и грядущих времен — это более не дух экономики, но абсолютной политики, лукавые и завуалированные способы действий против внутренних лиц и групп выйдут из употребления. Их место займут откровенные

и легально сформулированные определения внутреннего врага. Даже экономически мотивированные решения будут вполне открыто реализовываться политическими средствами.

Политические организмы и война

Политическая единица обладает *jus belli*, органическим правом вести войну с врагом, которого она выбирает. Это не моральное право: органическое право не зависит от морали, пусть даже взыскательные философы-схоласты наделяли политические единицы чисто моральным правом на ведение войны. Здесь этот термин употребляется в чисто политическом смысле: право на ведение войны заложено в характере (*habitus*) организма. Существование в качестве политической единицы, определение врага, ведение войны, сохранение внутреннего мира, объявление внутреннего врага, власть над жизнью и смертью превыше права на жизнь подданных — это лишь разные грани организмо-политического бытия. Их нельзя разделить, они составляют одно целое, и если их вообще можно определить, то исключительно друг через друга.

Реализуя свое право на ведение войны, государство распоряжается жизнями своих подданных, а также врагов. Кровопролитие не является жизненно необходимым для государства, осуществляясь только в целях приобретения власти. Государство, непосредственно стремящееся к власти, и государство, ориентированное на кровопролитие и войну — это разные вещи. Ни один политик не стал бы развязывать войну против другой политической единицы, зная, что она позволит присоединить себя без боя. Поэтому война — всегда результат *сопротивления*, а не политического развития. Война *не* является нормой, она лишь экзистенциальна. Я сомневаюсь, что в общей исторической панораме высоких культур был такой случай, когда правящий слой политической единицы решил бы, что на самом деле он хочет войны, а затем искал, с кем бы ее начать. Это было бы неполитично.

Политическому организму также в целом не свойственно право распоряжаться жизнью и смертью, *jus vitae ac necis*. Многие государства в истории признавали это право за фамильными единицами. Древний Рим наделял им *отца семейства*. Некоторые государства допускали власть хозяина над жизнью и смертью раба, в большинстве стран жертве поруганной чести позво-

лялось отстоять ее за счет жизни обидчика. Многие государства признавали право кланов на кровную месть, хотя это крайность, происходившая редко и притом в мирное время.

Таким образом, совершенно ясно, что политика как таковая не требует монопольного права на лишение жизни. В своем самом крайнем из возможных проявлений, войне, политика отнимает жизнь только в ответ на сопротивление. Политика есть деятельность в отношении власти, а органический инстинкт в отношении власти проявляется только одним способом: он стремится ее увеличить. Метафизически это отношение между человеческой душой и душой высокой культуры, с одной стороны, и *характером (habitus)* хищника — с другой. Если государство в некоторых случаях, которые оно определяет в соответствии с законом суверенитета, разрешает подданным отнимать жизнь, то оно никогда не позволяет им вести войну. Когда группа подданных узурпирует это право, сразу возникает новое государство. Если право кровной мести превращается в клановую войну, государство должно вмешаться, потому что речь идет о его существовании. Поэтому во всех государствах, занятых серьезной политикой, право кровной мести аннулируется.

Право вести войну и при этом распоряжаться жизнями является чисто политическим. Никакая церковь не просит своих членов за себя умирать (здесь не имеется в виду, что вероотступничество предпочтительнее мученичества), если не становится политической единицей. В кризисные времена многие церкви, например ислам Абу Бакра, становились государствами, но в таком случае переставали быть церквями и пользовались политическим способом мышления с его фундаментальным внутренним, естественным стремлением к увеличению власти, а не религиозными мотивами спасения и преображения.

Было бы жестоко и безумно требовать от человека умирать во имя того, чтобы остальные сохраняли или повышали свой экономический уровень. Когда война мотивируется экономической идеей, экономика теряется в военно-политической ситуации, то есть успех оценивается по политическим критериям, метод ведения войны выбирается без учета затрат, используются только военно-политические средства, и руководство всегда политическое, пусть даже посты военных лидеров занимают исключительно экономисты. Их мышление было бы, естественно, курьезным, но никак не экономическим. Политика и экономика — это два разных направления человеческой мысли, враждебных друг другу. По этой причине ни один настоящий политик или солдат, на-

ходясь в здравом уме, никогда не сражался бы исключительно по экономическим мотивам, независимо от возможностей, которые предоставляла бы война в личном плане. Экономическую мотивацию таких войн, как американская война Севера и Юга (1861—1865), английская Опиумная война и Бурская война, приходилось скрывать от их участников лживой пропагандой.

«Чистая» экономика не обладает достаточной внутренней силой, чтобы заставить людей рисковать своими жизнями. Причина в том, что экономика *предполагает* жизнь и занята только поиском способов защиты, поддержания и продления жизни. Приобретать жизнь ценой смерти просто не имеет смысла: когда возможна смерть, мы покидаем сферу экономики. Если экономика заинтересована в войне, она может организовать ее только политическими средствами, но и в таком случае мы выходим за пределы экономики.

В качестве мотива для войны часто выдвигалась мораль, и многие войны велись во имя морали. Это, однако, не имеет смысла и не соответствует ни одной западной моральной системе, потому что государства находятся вне сферы действия морали, имеющей силу только на уровне индивидов. Более того, материалистическая мораль XIX века осудила войну как убийство. Поэтому, когда сторонники такого типа морали, — а они продолжают существовать и заниматься подобным, — требуют остановить войну войной, — это явное лицемерие. Максимум, на который способен отдельный человек, чтобы остановить убийство, — это самому от него воздержаться, однако воины-моралисты так не поступают.

Моральная война невозможна не только по моральным причинам, но и по военно-политическим. Война не является нормой: нельзя сражаться *против* нее. Война есть экзистенциальное разобщение, а не система или институт. Не существует никакой рациональной цели, программы экономических, моральных, эстетических или иных перемен, никакой несомненной нормы, которой можно оправдать убийство. Выбрать войну и политику — значит отбросить все остальное. Приватным образом можно вынашивать неполитические идеи, но, становясь публичными, они растворяются в политике. В итоге мы имеем политику, облаченную в моральные одежды.

В результате смешивания политики с моралью всплывает еще один факт. Во-первых, возможны две смеси: одна по типу Кромвеля—Торквемады, когда политик верит, что своей политикой он реализует мораль, и вторая — по типу Линкольна—Рузвельта,

когда моралью прикрывается ложь. В первом случае насколько морально мыслит политик, настолько ошибочна его политика. Так, в 1653 г. Кромвель, питая отвращение к испанской религии, отверг союз с Испанией, суливший Англии значительные преимущества. Разумеется, его поведение все равно оставалось политикой, потому что с Францией он заключил такой же союз, который отверг с Испанией, и соответственно выиграл значительно меньше по сравнению с тем, что предлагала Испания. Во втором случае, когда мораль не принимается всерьез, как в случае Рузвельта, ее нет вообще, а есть лишь бесчестье. Следовательно, серьезное отношение к морали в политике только вредит последней, а при циничном к ней отношении она позорит того, кто к ней апеллирует.

Возникает вопрос, почему в эпоху абсолютной политики в политике используется моральный лексикон. Ответ ясен: это делается преднамеренно, из политических соображений. Вполне естественно, что политика не вкладывает в идею *врага* дополнительный смысл злобы или ненависти. Ненависть — это дело *личное*, она возникает между антипатичными друг другу людьми вследствие их личной вражды. Здесь используется иная терминология, чем у Гегеля, но идея та же. Он считал ненависть к врагу государства недифференцированной и совершенно свободной от личного содержания. Это уже не ненависть в первоначальном смысле слова. Война происходит между государствами, и смысл победы над вражеским государством определяется эпохой. Соответственно, в эпоху абсолютной политики победа равносильна тотальной инкорпорации другого государства, на чем война останавливается. Также прекращается и вражда, и если вообще существовала какая-либо неприязнь, теперь она должна иссякнуть, поскольку в силу своей политической природы была направлена строго против вражеского государства, которого больше нет.

Однако если пропаганда внушала населению государства, что война не связана с политикой, но имеет моральные, гуманитарные, правовые, научные и тому подобные причины, то конец войны для этого населения будет означать появление неограниченных возможностей для подавления населения бывшего вражеского государства. Здесь моральная пропаганда выступает в своем неприкрытом виде: в XX веке она превратилась в средство продолжения войны, но уже не против государства, располагающего оружием, но против тех, кто выжил после поражения. В этом истинный смысл феномена, который тогда многих оза-

дачил: я имею в виду антиевропейскую пропаганду по поводу «концентрационных лагерей», достигшую апогея после Второй мировой войны. Эта пропаганда велась исключительно ради ведения послевоенной войны, которая не была настоящей войной, поскольку никто не оказывал сопротивления, и преследовала цель зарядить неевропейское население и неевропейские оккупационные армии неиссякаемой злобой и личной ненавистью к беззащитным жителям Европы.

Таким образом, моральная «война за прекращение войны» на самом деле оказывается войной за уничтожение населения бывшего государства с помощью голода. Война против концентрационных лагерей приводит к появлению более крупных и многочисленных концентрационных лагерей. Так и должно быть в эпоху абсолютной политики, поскольку всем теперь ясно, что война больше не нуждается в *моральных основаниях*. Пропаганда не в состоянии вывести на поле боя больше людей, чем дух времени. Поэтому моральной терминологией пользуются для того, чтобы обострить схватку злобой, возбудить которую одна только политика не в силах. Прудон отмечает: «За разговорами о гуманизме всегда скрывается обман».

Реальный смысл войны раскрывает только политика. Экономика, эстетика, право и другие формы мысли не в состоянии этого сделать, потому что война — это именно политика в ее предельном выражении. Политический смысл войны в том, что она ведется против *реального врага*. Чтобы война была политически оправданной, ее целью должно быть утверждение или спасение политического организма. Тратить человеческие жизни на другую войну, значит коверкать судьбу государства и вероломно и бесчестно убивать солдат и гражданских. Определять врага должен политик, воплощающий национальную идею, в противном случае это будет политической дисторсией. На языке политики справедливой считается такая война, которая ведется против подлинного врага.

Незрело было бы предполагать, что в таких случаях решать должны военные. Политик может быть также и солдатом, но солдат не становится *ipso facto* политиком. Как правило, в Риме все государственные мужи были в прошлом военачальниками, но их участие в боевых действиях было частью *политической* карьеры. Цезарь поздно занялся военной карьерой, но кто из профессиональных солдат, приходя в политику, может похвастаться такими же достижениями? В политических вопросах солдаты обусловлены в той же мере, как и население в целом.

Закон политического насыщения

Существенность войны для политической жизни организма демонстрирует тот факт, что государство не может отказаться от своего *jus belli*, не отказавшись тем самым от своего политического существования. В истории высоких культур было очень мало примеров, чтобы политическая единица отказывалась — или открыто и сознательно, или просто проявляя покорность — от естественного права на войну. Но не было ни одного случая, чтобы этим правом пренебрегала держава значительная или считавшая себя таковой.

Знаменитый пакт Келлога—Бриана (историки XXI века называют его кульминацией идеологической политики) даже не пытался обязать подписавшие его стороны отказаться от войны. Пакт только «осудил» войну. Во французской версии стояло «condamner», в немецкой — «verurteilen». Естественно, в эпоху, когда многие политики прикидывались святошами, почти все стремились «осудить» войну. Но ведущие клерикальные державы делали это с оговорками. Так, Англия заявила, что не осуждает войны, ведущиеся за национальное достоинство, в целях самозащиты, во исполнение решений Лиги Наций или соглашений о нейтралитете, Локарнских договоров и защиты таких сфер интересов, как Египет, Палестина и т. д. Аналогичные исключения делали Франция и Польша. Политические аналитики вскоре подметили, что пакт не запрещал, но санкционировал войну, поскольку исключения исчерпывали все возможные случаи. Отныне войны следовало сопровождать легальными формулировками. Некоторые политические мыслители сравнивали пакт с новогодним посланием.

Таким образом, уникальный пакт Келлога подчинился органическим реалиям, несмотря на то что намеревался их отменить. Закону не удалось упразднить политику; напротив, это она как обычно воспользовалась законом, чтобы отстоять определенное политическое положение вещей.

В пакте также говорилось о войне как «инструменте национальной политики». Однако в качестве инструмента какой-либо другой идеи, хотя бы межнациональной политики, она не обсуждалась. Поэтому пакт не распространялся на самые ужасные войны. Межнациональные войны, а также ведущиеся за «гуманизм», «моральность» и тому подобное, являются худшими из всех возможных войн, поскольку они дегуманизируют противника, делают из него личного врага, разрешают по отношению к нему

крайнюю жестокость и освобождают участвующих в них лиц от всех уз чести.

Полностью отказаться от политического существования невозможно. Исчезнуть может только единица. Здесь вступает в силу органический закон политического насыщения. Если бы какое-то государство по причине своего преклонного возраста не захотело бы дальше продолжать войны или политику, оно могло бы, при желании, заявить на весь мир о том, что отказывается от вражды и считает все государства своими друзьями, не примет войну и желает только мира. Такое поведение, независимо от логичности подобного желания, не принесло бы ожидаемого результата. Логику в политике лучше не искать. Своими действиями данное государство создало бы политический вакуум, и другие государства, не уставшие от войны и политики, немедленно заполнили бы этот вакуум и включили территорию и население сложившего свои полномочия государства в собственную сферу. Такое насыщающее (*plenary*) действие может быть совершенно открытым и явным, а может быть и завуалированным. В любом случае отрекшееся государство сразу включается в более широкую сферу. *Политический вакуум в системе государств невозможен.* Этот закон политического насыщения описывает все актуальные политические ситуации, не требуя от исчезающего государства заявления о сложении полномочий. Если такое государство только в силу общего развития ситуации доходит до того, что не может вести войну, то есть участвовать в политике, сразу срабатывает закон политического насыщения. Включение исчезающего государства в более крупное не обязательно сопровождается военным маршем. Разумеется, в XX веке все происходит именно так, потому что эпоха абсолютной политики не требует маскировать политическую акцию, это просто неуместно. Акция происходит автоматически в результате снижения потенциала в исчезающем государстве.

Например, американцы захватили половину Европы после Второй мировой войны за счет комбинации военных и криптополитических средств. Захват второй половины Европы Россией осуществлялся более открыто, но все равно сопровождался болтовней в стиле XIX века о «правомерности», «невмешательстве», «безопасности», «военной необходимости» и тому подобном. В обоих случаях поддерживалась иллюзия независимости бывших политических единиц Европы.

Раздел западной цивилизации между двумя неевропейскими силами происходил в соответствии с законом политического

насыщения. После 1945 г. европейские государства были неспособны вести войну в одиночку из-за огромных потребностей в промышленном обеспечении и людских ресурсах, которыми располагали только Россия и Америка. Поэтому вследствие индивидуальной политической несостоятельности государств западной цивилизации в Европе в целом образовался политический вакуум.

Неспособность вести войну равносильна фактическому отречению от политического бытия независимо от того, отдает ли себе в этом отчет отрекающееся государство. Так, несмотря на иллюзию, границы, сохранявшиеся некоторое время после Второй мировой войны в Европе, были не межгосударственными границами, а административными демаркационными линиями. Поэтому Америка и Россия в своих частях Европы не принимали этих границ всерьез, соблюдая лишь ту государственную границу, которая проходила между ними. Актуальный политический мир в любое время определяется державами, способными вести войну.

Расстаться тем не менее можно только с политической независимостью, но не с политическим существованием. Политика по-прежнему экзистенциально охватывает жизнь всего населения. Поэтому имеет силу органический закон защиты и повиновения.

Закон защиты и повиновения

Великий политический философ Гоббс написал своего «Левиафана» для того, чтобы еще раз продемонстрировать миру «взаимное отношение между защитой и повиновением», которого требует как человеческая природа, так и божественный закон. В Риме была формула *protego ergo obligo*.¹ Тот, кто обеспечивает защиту, также требует послушания. Оно либо соблюдается добровольно, в результате убеждения, либо обеспечивается посредством силы. Опять-таки, в этой формуле нет морального содержания. Здесь может присутствовать также моральный аспект, но мы его не обсуждаем, поскольку рассматриваем все чисто политически. Взгляды XX века на политику по необходимости чисто фактуальны и не подразумевают одобрения или порицания политических реалий. Одобрение или порицание на моральной основе — за пределами политики. Тем не менее, если они воз-

¹ Защищаю, стало быть, обязываю (лат.). — Примеч. пер.

никают на основе культурного чувства, вкуса и инстинкта, то являются движущей силой политики. Однако, исследуя реалии для того, чтобы на них влиять, нам следует оставить любые предубеждения.

Итак, защита и повиновение. Органический закон здесь также описывает экзистенциальную реальность. Без отношений защиты, с одной стороны, и повиновения — с другой, не существует политики. Это свойственно любому политическому организму, и пределы, до которых распространяются защита и повиновение, указывают на территориальные границы организма. Там, где одна держава находится под защитой другой державы, во внешнеполитических целях обе выступают заодно. Любые кажущиеся аномалии исчезают сразу, как только на данной территории нарастает политическая напряженность. Глядя на организм изнутри, можно увидеть, что уровень защиты и уровень повиновения, а также их качество, характеризует внутреннюю силу единицы. Высокая степень защиты и высокая степень повиновения свойственны интегрированному организму, который способен выдержать политическое испытание. Зачастую такой организм может преодолеть огромные трудности. Внутренне слабой единице свойствен низкий уровень защиты—повиновения. Она не выстоит в серьезном столкновении, а при испытании уступит даже организму с меньшими материальными ресурсами и численностью.

Поэтому, когда в XX веке организм не осмеливается мобилизовать население на своей территории, такая территория оказывается внутренне слабой и не может считаться частью политического тела. Продолжаться это может лишь до тех пор, пока данная территория не окажется в фокусе политического напряжения. Закон определяет также географические размеры политической единицы. Действительные границы там, где прекращаются защита и повиновение.

Слова «защита» и «повиновение» здесь тоже не намекают на какое-либо моральное содержание. Так, «защита» может означать беспредельный военный террор, а «повиновение» — альтернативу концентрационного лагеря. Оккупированная неевропейскими армиями Европа по смыслу этого органического закона находится под защитой. Несмотря на то что эти неевропейские армии морят население голодом и пытками, тем не менее они защищают эту часть Европы от посягательств другой политической единицы. Америка защищает свою часть от России, а Россия защищает свою от Америки. Поэтому данный

термин нейтрален в плане оппозиции альтруизм—эгоизм. Защита — это проявление не доброты, а власти. Повиновение подразумевает не благодарность, а политическую покорность из любых соображений.

Если предоставляющая защиту сила принадлежит к той же культуре, что и защищаемая территория с ее населением, повиновение со стороны культурного слоя будет полным, естественным и добровольным, по крайней мере когда речь идет о существовании самой культуры. Этот закон описывает, например, европейский феодализм. Феодализм — самая сильная политическая система из всех возможных. Она интегрирована внутренне и внешне. Это система, в которой политическая деятельность осуществляется в пределах строгих формальных границ. Это интернационал в единственно верном смысле данного слова, феномен справедливости (*equal validity*), пронизывающей всю культуру. В нашем случае такими были форма и содержание (*form and vessel*) всей западной жизни на протяжении трехсот лет. Основополагающая идея феодального уклада — не что иное, как защита и повиновение.

Закон иллюстрируется также примерами протектората, признаваемого западным межнациональным правом. Вдобавок он описывает любые возникающие федеративные единицы. Политическую роль играет только центральное правительство; предоставляя защиту, оно пользуется политическим повиновением.

Экзистенциальная природа закона подтверждается также тем, что если государство не способно защитить территорию и население в пределах своей системы, эта территория и население переходят в систему другого государства, которое может и желает предоставить защиту. Переход может быть совершен либо посредством бунта, либо посредством войны. Он может быть результатом переговоров, особенно если государство-протектор допускает существование на защищаемой территории квазиправительства, которое может прийти к частному взаимопониманию с другими державами, чтобы передать им население и территорию. Кстати, это показывает, насколько опасно в политике погрязнуть в вымыслах. Бахвальство на тему, что вассалы не есть вассалы, может заставить их сменить лояльность. Не менее рискованно заявлять о неприступности своих крепостей: это всегда звучит убедительно для их владельца, но не для решительного государства того же ранга.

В более общем виде все это можно выразить так, что в эпоху абсолютной политики политическая видимость должна соот-

ветствовать политической реальности. В годы морально-экономического лицемерия мастерство заключалось в искусном поддержании иллюзии свободы на фоне жестких условий рабства. В новую эпоху, которая продлится еще два столетия, такие вещи становятся как невыполнимыми, так и отвратительными. Невыполнимыми, потому что всегда существует опасность самообмана, а не обмана политического противника. Отвратительными, потому что здоровые силы нашей эпохи презирают лукавство и завуалированные формулы, скрывающие политическую неполноценность.

В стране, где вся политическая лексика пропитана лицемерной моральностью, политики не могут говорить открыто даже друг с другом. Пропагандистский террор, необходимый для увековечения идущей вразрез с фактами политической терминологии, заканчивается ослаблением правительств таких стран изнутри. Любой, кто позволяет себе чисто фактуальную ремарку, берется на заметку, и лучшие умы оказываются в концентрационных лагерях.

Интернационал

Мы увидели, что мир политики представляет собой плюриверсум. Этот органический факт чреват фатальными последствиями для идеолога, верящего в Лиги Наций, и рушит все его схемы. Обе Лиги Наций, учрежденные неевропейскими силами после первых двух мировых войн, были не *интернациональными* (*international*),¹ но только *межгосударственными* (*interstate*) организациями. В английском языке здесь не проводится четкое и однозначное различие, как в немецком. Немецкое «*zwischenstaatlich*» означает то, что существует между государствами как самодостаточными изолированными единицами; «*international*» же в немецком указывает на нечто, присущее обоим государствам и проникающее через государственные границы в любом направлении. Так, македонский терроризм в XIX и XX столетиях был поистине интернациональным, но не меж-

¹ Поскольку автор строго различает такие сущности, как «нация» и «народ», чтобы не исказить смысл оригинала, английское «*international*» здесь передается не как «международный», что соответствовало бы современному русскому словоупотреблению, а как «интернациональный». — *Примеч. пер.*

государственным. Если бы население разных государств мира было представлено в Лигах Наций достаточно независимо от всех своих государств, и если бы государства вообще не были в них представлены, тогда можно было бы называть их интернациональными организациями. Когда же единственным представителем является государство, тогда организация исключительно «zwischenstaatlich», то есть «межгосударственная».

Это различие нельзя упускать из виду потому, что межгосударственная организация предполагает наличие государств. Если это настоящие государства, а не только так называемые, значит они подчиняются законам суверенитета и тотальности. По крайней мере некоторые из членов обеих Лиг были в этом смысле настоящими государствами. В первой Лиге в разное время таких состояло пять, шесть и семь, во второй Лиге осталось только два. Но в таком случае эта Лига — просто арена для ведения межгосударственной политики.

Интернационал, свойственный душе нашей культуры, имеет возможность абсорбировать в себя все государства, если его идея объемлет жизнь в ее тотальности, то есть является культурной идеей, а не просто политической схемой и, главное, не какой-то абстракцией, *идеалом*. Таким интернационалом был феодализм. Стоит ли говорить, что всевозможные революционные «интернационалы», порожденные классовой войной, не таковы, потому что берут начало в политике и являются чисто негативными. Культурная идея не может быть негативной; она не изготавливается кустарным способом, а сообщается развитием культуры на основе внутренней необходимости высшего организма. Выражение «дух времени» эквивалентно выражению «культурная идея». И то, и другое имеет сверхличную природу, и самое большее, на что способен человек, — это сформулировать идею, попытаться ее реализовать, или наоборот, задушить и деформировать ее. Изменить или уничтожить такую идею ему не под силу.

Интернационал, представляющий культурную идею, является, разумеется, сверхнациональным, равно как и в подлинном смысле интернациональным, потому что нации порождаются высокой культурой. Только такой интернационал может абсорбировать в себя государства — причем только государства, принадлежащие культуре. Идея, естественно, не способна оказывать внутреннее воздействие на население и территории за пределами своего органического тела. Поэтому никакой западный интернационал не может внутренне повлиять на Китай, Индию, Японию, ислам или Россию. Их реакция на такой интернационал

при условии, что на них подействовали его внешние проявления, непременно будет чисто негативной. Если бы такому интернационалу довелось сплотить Запад в *политическом* отношении, в дополнение к его единству во всех других отношениях, которое всегда было вполне очевидно для внешнего мира, то это подтолкнуло бы незападные территории и население к объединению на антизападной основе. Причина одна: западная цивилизация (ей это первой удалось) превратила всю землю в арену своей деятельности. Впервые в истории высоких культур культурно-политическая система охватила весь мир, ведь политика неевропейских сил в своей глубине также мотивируется историческим всемогуществом нашей западной цивилизации в том смысле, что неевропейские силы строят свое единство только на *отрицании* Европы. Не будь Европы, Россия оставалась бы только ареной для кочевников, скитающихся со своими стадами и затевающих незначительные межплеменные столкновения. Аналогично знаменитая «Китайская революция» 1911 г. была только отзвуком западных волнений, и смысл ее исчерпывается тем, что она привела к антизападным последствиям на территории, которую европейцы называют Китаем.

Настоящий интернационал прямо воздействует на всю культурную территорию и всех, кто ее населяет. Таким интернационалом был капитализм — он выражал дух времени. Сосудом, избранным культурой для реализации этой идеи, была Англия, она же оставалась духовной родиной капитализма. Другие нации были вынуждены подстраивать свою жизнь под эту идею, которая притом являлась более широким мировоззрением, чем экономическая система. Они могли либо утверждать, либо отрицать ее. Возможность этого выбора существовала только потому, что духу эпохи был в то же время присущ политический национализм, и потому капитализм, в сущности, свойственный одной нации, никак не мог бы сплавить все западные нации в одну. Политический национализм отжил свой век еще перед Первой мировой войной, и с тех пор практика политического национализма стала просто культурной дисторсией — от него пострадала каждая нация в отдельности и все вместе.

Интернационал нашего времени появился в тот момент, когда дух времени уже освободился от политического национализма. Эпоха абсолютной политики не терпит мелкoderжавности. В эту грандиозную политическую эпоху наградой является весь мир, и совершенно ясно, что мелкие единицы, такие как многочисленные бывшие государства Европы со своими несколькими

десятками квадратных километров и несколькими десятками миллионов населения, не в состоянии вести политическую борьбу в мире, населенном двумя миллиардами людей. Единица, которая может на что-то рассчитывать в этой всемирной борьбе, должна иметь территорию по крайней мере размером с Европу и Европейскую часть России (hither Russia). Все предварительные сражения будут локальными.

Обе Лиги Наций были межгосударственными феноменами (что предполагает наличие государств) и сами не являлись политическими единицами, поэтому не могли участвовать в политике. Следовательно, они не существовали как политическая реальность. Сформулированные здесь законы суверенитета и тотальности относятся к государствам-членам Лиг, но не к самим Лигам.

Сложившаяся ситуация не впечатлила либералов и рационалистов, моралистов и логиков, плывущих по течению в мире фактов. Они утверждали, что вполне достаточно передать суверенитет (причем только легальный, потому что они ничего не знали и не могут знать об органическом законе суверенитета) от государств-членов самой Лиге. Они полагали, что «суверенитет» — это слово, написанное на листке бумаги, и, согласно выкладкам символической логики, им можно манипулировать как заблагорассудится. Однако оказывается, что суверенитет есть экзистенциальное свойство политического организма, а такие организмы неподвластны человеческому контролю. Напротив, это они политически контролируют людей на своей территории. Таков *факт*, поэтому он лежит в иной плоскости, нежели логика, и эта плоскость нигде не пересекается с логической. Логика связана только с одной стороной культурного человека — его интеллектом. Она может лишь препарировать, анализировать, производить посмертное вскрытие. Она не способна действовать, поскольку действие есть созидание. Политика в этом свете больше напоминает искусство, чем логику. Логика — свет, политика — светотень; логика подобна камее, политика — инталии; логика — тверда, политика — текуча. В творчество включена вся душа, а логика является только отдельным продуктом ее малой части. Логический нонсенс может быть истиной в политике, политический нонсенс может иметь смысл в логике. Культурно-политические идеи предшествуют реальности, тогда как интеллектуальным идеалам до реальности никогда не дотянуться.

Основная идея Лиг Наций состояла в упразднении войны и политики. Для этого было явно недостаточно просто организо-

вать место для встреч военно-политических единиц, и эти собрания не имели политического веса, который по-прежнему пребывал в столицах.

Уже говорилось о том, что с органической точки зрения мир, состоящий из одного государства, — это абсурд, поскольку государство является единицей противостояния. Однако некоторым интеллектуалам захотелось мира вообще без государств, даже единственного. Они говорили о «человечестве» и желали объединить его в целях упразднения политики с помощью политики, войны с помощью войны. Таким образом, они, сами того не ведая, утверждали войну и политику. Поэтому термин «человечество» стал полемическим — он подразумевал всех, кроме врага. В этом, естественно, не было ничего нового, потому что это уже затрепанное слово появилось еще в политическом лексиконе XVIII века, когда интеллектуалы и идеологи равенства применили его ко всем, кроме знати и духовенства. Оно дегуманизировало дворян и священников, и когда власть оказалась в руках интеллектуалов, стало ясно, что в ходе французского террора 1793 г. их бесчеловечное обращение с врагами оправдывалось тем, что последние не принадлежат к «человечеству». Политика и логика вновь разделились: человечность в логике равносильна бесчеловечности в политике.

С точки зрения семантики слово «человечество», однако, никого не исключает. Враг тоже человек, значит, у человечества не может быть врага. Поэтому либералы как поборники «одного государства» и интеллектуалы как поборники «человечества» погрязли именно в том, что собрались упразднить: в политике и войне. «Человечество» оказалось не миротворческим термином, а военным лозунгом. «Одно государство» осталось в мечтах. Политика продолжала править миром, извлекая пользу из всех нападков на нее.

Чем был бы мир без политики? Нигде не существовало бы защиты и повиновения, не было бы ни аристократии, ни демократии, ни империи, ни отечества, ни патриотизма, ни границ, ни таможен, ни правителей, ни политических ассамблей, ни начальников, ни подчиненных. В этом воображаемом мире, который должен был вот-вот возникнуть или установиться, отсутствовали бы люди, стремящиеся к приключениям и господству. Ни воли к власти, ни варварских инстинктов, ни преступников, ни чувства превосходства, ни мессианских идей, ни мятежников, ни программ действия, ни прозелитизма, ни амбиций, ни экономики выше личного уровня, ни иностранцев, ни рас, ни идей.

Здесь мы подходим к фундаментальному различию между политическим мышлением и просто рассуждениями о политике. Представления интеллектуалов о политике возводят в закон грандиозное заблуждение относительно человеческой природы.

Две политические антропологии

Пробный камень любой политической теории — это заложенные в ней этические представления о фундаментальном свойстве человеческой природы. В этом отношении возможны только две позиции: первая постулирует «доброе по природе» человека, а вторая представляет человеческую природу такой, как она есть. Под «добрым» понимается разумный, миролюбивый, способный и желающий совершенствоваться, обучаться и т. п.

Любая рационалистическая теория политики или государства считает человека по природе «добрым». Энциклопедисты, *иллюминаты* и последователи философии барона Гольбаха засвидетельствовали в XIX веке приход рационализма, и все они говорили о «несомненной доброте человеческой природы». Самым сильным и радикальным из писателей XVIII века в этом плане был Руссо. Вольтер, отвергавший сущностную доброту человеческой природы, категорически от него отмежевался.

Удивительно, как на подобном допущении вообще могла основываться *политическая* теория, поскольку политика актуальна только в форме размежевания друг—враг. Получается, что теория вражды основывается на том, что человеческая природа, в сущности, миролюбива и к вражде не склонна.

В середине XVIII века вошли в обиход и термин «либерализм», и комплекс связанных с ним идей. Если человеческая природа в своей основе добра, то она не нуждается в *строгости*, и можно быть «либеральным». Эта идея зародилась в философии английского сенсуализма. Теорию общественного договора Руссо в предыдущем столетии обосновал англичанин Локк. Как таковой либерализм есть утверждение сенсуалистической, материалистической философии. Все ее ответвления по сути рационалистические, так что либерализм — это просто один из вариантов политического применения рационализма.

Ведущие политические философы XVII века, такие как Гоббс и Пуфендорф, считали «природным» обстоятельством существования государств постоянную опасность и риск, заставляющие их проявлять все инстинкты и импульсы зверей — голод, страх,

ревность, всякого рода соперничество, вождение. Гоббс отмечал, что настоящая враждебность возможна только между людьми, что по сравнению с животными размежевание друг—враг между людьми настолько же глубже, насколько человеческий мир духовно выше животного.

Два варианта политической антропологии иллюстрирует рассказ Карлейля о разговоре между Фридрихом Великим и Зальценом: последний сообщает о новом рационалистическом открытии, что человеческая природа, в сущности, добра. «Ach, mein lieber Salzer, Ihr kennt nicht diese verdammte Rasse», — промолвил Фридрих («...Вы плохо знаете эту чертову породу»).

На допущении доброты человеческой природы сформировались два основных теоретических ответвления. Безусловное принятие этого допущения связано с анархизмом, а либерализм опирается на него только ради ослабления государства и подчинения его «обществу». Один из первых либералов, Томас Пейн, выразил эту идею формулой, характерной и для сегодняшнего либерализма: общество есть результат наших разумно регулируемых потребностей, государство есть результат наших пороков. Анархизм более радикален в смысле полной убежденности в человеческой доброте.

Насквозь либеральная идея «равновесия сил» («balance of power») — это способ ослабления государства, подчинения его экономике. Она не может считаться теорией государства, будучи исключительно негативной. Не отрицая государства совсем, этот принцип работает на его децентрализацию и ослабление, лишение функции центра тяжести политического организма. Под этим организмом в данном случае понимается «общество» как рыхлое объединение свободных и независимых групп и индивидов, чья свобода ограничивается только обычным уголовным правом. Поэтому либерализм не возражает против того, чтобы индивид был могущественнее государства, стоял над законом. А вот к *авторитету* либерализм относится плохо. Государство как основной символ авторитета и два благородных сословия, на которые оно опирается, вызывают у либерала ненависть.

Анархизм, как радикальное отрицание государства и вообще любых организаций, есть чистое выражение политической силы. Теоретически он против политики, но по энергии это самая что ни на есть политика, заставляющая человека служить себе и настраивающая его враждебно ко всем остальным. На протяжении XIX столетия анархизм был силой, с которой приходилось считаться, хотя он почти всегда шел в союзе с другими дви-

жениями. Мощной политической реальностью анархизм стал, в частности, в России XIX—начала XX века. Там он был известен как нигилизм. Особая сила российского анархизма объяснялась его дополнительной притягательностью для глубокого антизападного чувства, сохранявшегося под тонкой петровской коркой. Быть против Запада означало быть против всего, поэтому антизападный азиатский негативизм вооружился западной теорией анархизма.

В свою очередь либерализм с его компромиссной, неопределенной позицией, неспособностью к четкому формулированию и пробуждению определенных чувств — как положительных, так и отрицательных, не является идейно-политической силой. Его многочисленные адепты в XVIII, XIX и XX столетиях принимали участие в практической политике только в союзе с другими группами. Либерализм не мог поставить задачу, не мог разделить людей на друзей и врагов, поэтому не был политической идеей, оставаясь лишь идеей о политике. Для выражения своего либерализма его последователям приходилось поддерживать или отвергать другие идеи.

Анархизм был способен вдохновить людей на самопожертвование, либерализм — нет. Одно дело умереть за то, чтобы устранить любой порядок и государство в целом, и совсем другое дело — умирать за децентрализацию государственной власти. Либерализм не политичен по своей сути, он вне политики. Он хотел бы сделать политику служанкой экономики и общества.

Либерализм

I

Либерализм — важнейший из побочных продуктов рационализма, поэтому следует разъяснить его корни и идеологию.

Период «Просвещения» в западной истории, пришедший на смену Контрреформации, по мере своего развития все больше опирался на интеллект, разум и логику. К середине XVIII века эта тенденция породила рационализм. Все духовные ценности рационализм сделал предметом изучения и приступил к их переоценке с точки зрения «разума». Неорганической логикой люди всегда пользовались для решения проблем математики, инженерии, транспорта, физики и в других не-оценочных ситуациях. Свойственные ей упор на тождество и неприятие

противоречий достаточно эффективны в материальной деятельности. Она также удовлетворяет интеллектуальную потребность в таких чисто абстрактных формах мышления, как математика и логика, но в итоге переходит в чистую технику, то есть к простым выводам, которые подтверждаются только эмпирически. Рационализм заканчивает прагматизмом, самоубийством разума.

Адаптация разума к материальным проблемам вообще приводит к тому, что все они, представая в «свете разума», оказываются механическими, лишенными мистического мысленного оттенка или тенденции. Декарт рационально объяснил действия животных автоматизмом, и примерно через поколение на уровень автомата, а стало быть животного, был низведен человек. За органические проблемы взялись химия и физика, а сверхличному организму вообще было отказано в существовании, поскольку он не подчиняется рассудку, невидим и неизмерим. Ньютон отдал звездную вселенную под управление бездушной силы самоупорядочивания, а следующее столетие лишило человека духа, истории и свершений.

Разум не терпит необъяснимого, таинственного, сумерек. Решая практические вопросы создания машин или кораблей, человек испытывает потребность учитывать и контролировать все факторы. Не должно быть ничего непредсказуемого или неуправляемого. Рационализм, основанный на вере в то, что разум все объясняет и все ему подвластно, соответственно отвергает все невидимое и неисчислимое. Когда что-либо не поддается расчетам, рассудок объясняет это тем, что многочисленность и сложность факторов делает вычисления неосуществимыми на практике, однако теоретически они возможны. Таким образом, разуму тоже свойственна воля к власти: все, что ему не подчиняется, он объявляет крамолой или признает несуществующим.

Обратив свой взгляд на историю, рационализм увидел ее тенденцию в движении к разуму. На протяжении всех этих тысячелетий человек «развивался» и «прогрессировал» от варварства и фанатизма к просвещению, от «предрассудков» к «науке», от насилия к «разуму», от догмы к критицизму: одним словом, от тьмы к свету. Не существует никаких невидимых вещей: ни духа, ни души, ни Бога, ни государств, ни церкви. На полюсах мысли — «индивид» и «человечество». Все промежуточное — иррационально.

Считать вещи иррациональными на самом деле правильно. Рационализм испытывает потребность все механизировать,

а то, что не поддается механизации, с необходимостью иррационально. Поэтому иррациональной предстает история в целом: ее хроники, процессы и скрытая сила — Судьба. Как побочный продукт определенной стадии развития высокой культуры, иррационален также сам рационализм. Почему рационализм сопровождает определенную духовную фазу, почему добивается кратковременного влияния и снова растворяется в религии — это вопросы исторические, следовательно — иррациональные.

Либерализм — это рационализм в политике. Он отвергает государство как организм и видит в нем только результат договора между индивидами. Цель жизни не имеет ничего общего с государствами, поскольку они не обладают независимым существованием. Поэтому целью жизни становится «личное счастье». Бентам крайне грубо перенес его на все общество в виде формулы «максимальное счастье для максимального числа». Если бы стадные животные могли говорить, они бы использовали этот лозунг против волков. Большинству людей, являющихся лишь материалом, а не действующими лицами истории, «счастье» представляется экономическим процветанием. Разум количествен, но не качествен, поэтому превращает *среднего* человека в «Человека». Этот «Человек» состоит из пищи, одежды, жилища, социальной и семейной жизни и досуга. Политика иногда требует жертвовать жизнью во имя чего-то неосязаемого. Это противоречит «счастью», следовательно, не должно существовать. Экономика, наоборот, не мешает «счастью», но идет с ним рука об руку. Религия и церковь, стремясь истолковать жизнь на основе невидимых вещей, тем самым злоумышляют против «счастья». Со своей стороны социальная этика охраняет экономический порядок, поэтому способствует «счастью».

Здесь либерализм обнаруживает свои два полюса мысли: экономический и этический. Они соответствуют индивиду и человечеству. Этика подразумевается чисто социальная, материалистическая; если сохраняется старая этика, то забываются ее прежние метафизические основания, и она провозглашается социальным, а не религиозным императивом. Задача этики — поддержание порядка, необходимого в качестве каркаса для экономической деятельности. В этом каркасе, однако, «индивид» должен быть «свободным». «Свобода» — это неумолкающий вопль либерализма. Все сводится к человеку, который не связан ничем, кроме выбора. Поэтому «общество» есть «свободное» объединение людей и групп. При этом государство воплощает несвободу, принуждение, насилие. Церковь — духовную несвободу.

Либеральной переоценке подверглась вся политическая сфера. Война была сведена к конкуренции, если смотреть с полюса экономики, либо к идеологическим разногласиям, глядя с этического полюса. Вместо мистического ритма — чередования войны и мира — либерал видит только непрерывный бег наперегонки или идеологическое противостояние, которые ни при каких обстоятельствах не перерастают во вражду или кровопролитие. В этическом плане государство становится обществом или человечеством, в экономическом плане — производственной и торговой системой. В области этики *воля* к достижению политической цели низводится до составления программы «социальных идеалов», а в области экономики — к подсчетам. Власть в этическом плане становится пропагандой, в экономическом — регуляцией.

Чистейшее выражение либеральной доктрины принадлежит, пожалуй, Бенжамену Констану. В 1814 г. он изложил свои взгляды на «прогресс человека». Просвещение XVIII века с его интеллектуально-гуманитарным складом он считал только предварительным условием подлинного освобождения, которое принес XIX век. Экономика, индустриализм и техника представляют собой орудия «свободы». Естественным компаньоном такого хода вещей является рационализм. Феодализм, реакция, война, насилие, государство, политика, авторитет — все это отступает перед новой идеей, вытесняется разумом, экономикой, свободой, прогрессом и парламентаризмом. Война, будучи насильственной и brutальной, неразумна, и ее заменяет торговля — интеллигентная и цивилизованная. Война подлежит осуждению со всех позиций: экономически она наносит урон даже победителю. Новая военная техника — артиллерия — лишает смысла личный героизм, поэтому кроме своей экономической бесполезности война также теряет привлекательность с точки зрения славы. В прежние времена воинственные народы держали верх над торговыми народами, теперь все поменялось, и хозяевами земли стали те, кто торгует.

С первого взгляда становится ясно, что либерализм абсолютно негативен, не является созидательной силой и направлен только на разрушение. Он стремится упразднить двуединый авторитет церкви и государства, заменив их экономической свободой и социальной этикой. Дело в том, что органические реалии не допускают больше двух альтернатив: организм либо не занимается самообманом, либо заболевает и перекашивается, становясь добычей для других организмов. Поэтому его *естественная по-*

ляризация на лидеров и ведомых не может быть упразднена без ликвидации самого организма.

Либерализм никогда не добивался полного успеха в борьбе против государства, несмотря на то что в течение XIX века включался в политическую деятельность в союзе с любыми антигосударственными силами. Поэтому существовали национал-либералы, социал-либералы, свободные консерваторы, либеральные католики. Они ассоциировали себя с демократией, которая, добившись успеха, становится отнюдь не либеральной, но безудержно авторитарной. Они симпатизировали анархистам, ополчившимся на силы авторитета. В XX веке в Испании либерализм присоседился к большевизму, а европейские и американские либералы симпатизировали российским большевикам.

Итак, либерализм может быть определен только негативно. Это чистая критика, а не живая идея. Его великое слово «свобода» на деле равносильно отрицанию, означая свободу от авторитета, то есть дезинтеграцию организма. На своей последней стадии она вызывает атомизацию общества, в котором борьба ведется не только с авторитетом государства, но даже с авторитетом общества и семьи. Развод уравнивается с браком, дети — с родителями. Такое всеотрицающее мышление заставило политических активистов вроде Маркса, Лоренца фон Штейна и Фердинанда Лассаля разувериться в нем как политическом средстве. Либерал всегда занимал противоречивую позицию, искал компромисс, пытался «уравновесить» демократию с монархией, менеджеров с трудящимися, государство с обществом, законодательную власть с судебной. Во время кризиса либерализм как таковой куда-то девается. Либералы примыкают к той или иной стороне революционной борьбы в зависимости от последовательности своего либерализма и степени его враждебности авторитету.

Таким образом, либерал в действии был не менее политичен, чем любое государство. Заключая политический союз с нелиберальными группами и идеями, он подчинялся органической необходимости. Несмотря на свою теорию индивидуализма, которая, разумеется, исключает возможность того, чтобы один человек или группа могли призывать другого человека или группу жертвовать жизнью или рисковать, либерал поддерживал такие «несвободные» идеи, как демократия, социализм, большевизм, и анархизм, которые требовали самопожертвования.

В XVIII веке рационализм на основе своей антропологии, постулирующей изначальную доброту человеческой природы в целом, породил энциклопедизм, франкмасонство, демократию, анархизм, а также либерализм — во всем их разнообразии. Все они сыграли свою роль в истории XIX века, что привело вследствие резкой дисторсии всей западной цивилизации к первым двум мировым войнам, причем уже в XX веке, когда рационализм стал совершенно неуместен и постепенно трансформировался в иррационализм. Труп либерализма остался непогребенным даже к середине XX века. В результате приходится до сих пор диагностировать серьезную болезнь западной цивилизации: это либерализм, осложненный внешним отравлением.

Поскольку в глазах либерала все люди гармоничны и добры, он делает вывод, что им нельзя ничего запрещать. Если нет высшей сущности, с которой связаны индивидуальные жизни, подчиненные ее сверхличной природе, значит каждая сфера человеческой деятельности самодостаточна, если не стремится к авторитаризму и остается в рамках «общества». Так искусство становится «искусством для искусства», *l'art pour l'art*. Все области мысли и деятельности приобретают одинаковую автономию. Религия превращается в рядовую социальную дисциплину, потому что претендовать на что-то большее значит претендовать на авторитет. Наука, философия, образование — все одинаково замыкаются на себя. Ничто не подчинено чему-то высшему. Литература и техника пользуются такой же автономией. Функция государства сводится к тому, чтобы защищать их с помощью патентов и авторских прав. Но над всем стоят экономика и закон, независимые от органического авторитета, то есть политики.

Читатели XXI столетия вряд ли поверят, что когда-то господствовала идея о том, что каждый человек волен делать все что угодно в экономическом плане, даже если его личная деятельность служит причиной голодания сотен тысяч, истощения лесных и минеральных ресурсов и задержки развития организма. Усомнятся они и в том, что подобный индивид считал вполне допустимым ставить себя выше ослабленного общественного авторитета и частным образом господствовать над внутренними мыслями целых народов, контролируя прессу, радио и кинематограф (*mechanized drama*). Еще труднее им будет понять, как такое лицо могло апеллировать к закону для подкрепления своей деструктивной воли, так что ростовщик, даже в середине

XX века, мог на основе закона лишать собственности огромные массы крестьян и фермеров. Трудно вообразить больший вред, нанесенный индивидом политическому организму, чем подобное превращение почвы в пыль, по выражению великого барона фон Штейна. Однако именно к таким неизбежным последствиям привела идея независимости экономики и права от политического авторитета. Не существует ничего свыше, никакого государства, только индивиды один на один. Вполне естественно, что самые предприимчивые из них в экономическом отношении сосредотачивают в своих руках большую часть движимой собственности. Однако будучи настоящими либералами, они не претендуют с этим богатством на авторитет, поскольку авторитет имеет два аспекта: власть и *ответственность*. Индивидуализм, с психологической точки зрения, есть эгоизм. «Счастье» означает себялюбие. Дедушка либерализма Руссо был настоящим индивидуалистом и отправил своих пятерых детей в приют.

Право как поле человеческой мысли и устремлений обладает не большей независимостью, равно как и зависимостью, чем все остальное. В органических координатах можно свободно обдумывать и систематизировать его материал. Но, как и все другие формы мысли, право может служить сторонним идеям. Поэтому закон, изначально выполнявший функцию кодификации и сохранения внутреннего мира в организме за счет поддержания порядка и сдерживания межличностных конфликтов, либеральная мысль превратила в средство поддержания внутреннего беспорядка и помощи экономически сильным индивидам в устранении слабых. Это называлось «верховенством закона», «правовым государством», «независимостью судебной власти». Использовать закон для сакрализации такого положения вещей придумали не либералы. Во времена Гоббса это пытались сделать другие группы, но его неподкупный ум совершенно четко указал, что верховенство закона означает верховенство тех, кто создает и применяет закон, и верховенство «высшего порядка» есть пустой звук, который наполняется содержанием в зависимости от конкретного верховенства данных людей и групп над низшим порядком.

Так политическое мышление смотрит на распределение и движение власти. Содержанием политики является также разоблачение лицемерия, аморальности и цинизма ростовщика, громко требующего верховенства закона, что на деле означает богатство для него и бедность для миллионов остальных. Все это делается во имя чего-то высшего, обладающего сверхчелове-

ческой ценностью. Вновь восставая против сил рационализма и экономики, авторитет прежде всего демонстрирует, что комплекс трансцендентальных идеалов, взятых на вооружение либерализмом, не более правомерен, чем легитимизм в эру абсолютной монархии. Монархи были сильнейшими приверженцами легитимизма, а финансисты — либерализма. Но монарх был привязан к организму всем своим существом, он нес органическую ответственность, даже если фактически ни за что не отвечал. Например, Людовик XVI и Карл I. Многих других монархов и абсолютных владык их символическая ответственность заставляла спасаться бегством. По сравнению с ними финансист обладает только властью, не неся никакой, даже символической, ответственности, так как его имя обычно почти никому не известно. История, судьба, органическая преемственность, слава — все это оказывает мощное влияние на абсолютного политического владыку, и кроме того, его положение полностью выводит его из сферы низменной продажности. Финансист, однако, является частным лицом — анонимным, занятым чистой экономикой и безответственным. У него нет оснований быть альтруистом, его существование — апофеоз эгоизма. Он не думает ни об истории, ни о славе, ни о поддержании жизни организма, ни о судьбе. Более того, он в высшей степени подвержен низменной коррупции, поскольку его путеводной звездой являются деньги и только деньги.

В своей борьбе с авторитетом финансист-либерал опирается на тезис, что власть развращает людей. Однако развращает как раз огромное анонимное богатство, поскольку оно позволяет ускользнуть от сверхличных сдерживающих факторов, которые приводят подлинного государственного мужа на службу политическому организму и ставят его выше коррупции.

Именно в сферах экономики и права либеральная доктрина оказала самое разрушительное воздействие на здоровье западной цивилизации. То, что получила независимость эстетика, не сыграло важной роли, потому что единственная форма искусства, у которой все еще было будущее — европейская музыка, — не оглядывалась на теории, продолжая свой грандиозный творческий порыв, чтобы завершиться Вагнером и его последователями. Бодлер — великий символ подмены красоты болезнью, которую совершило искусство для искусства. Поэтому Бодлер — это либерализм в литературе, болезнь как принцип жизни, кризис как здоровье, ненормальность как жизнь души, разрушение как цель. Человек-индивидуалист, атом без связей — таков либераль-

ный идеал личности. Но рана оказалась глубже, скорее, в поле деятельности, чем мышления.

Передача инициативы в экономических и технических вопросах в руки индивидов, практически выведенных из-под политического контроля, завершилась созданием группы лиц, чья личная воля стала важнее коллективной судьбы организма и миллионов людей. Закон, поставленный на службу такому положению вещей, окончательно порвал с моралью и честью. Чтобы разрушить духовные основы организма, так называемую мораль оторвали от метафизики и религии, связав только с «обществом». Уголовное право подстроилось под денежный либерализм, наказывая преступления, связанные с насилием и страстью, но игнорируя такие вещи, как уничтожение национальных ресурсов, погружение миллионов в нищету или ростовщичество в национальном масштабе.

Независимость экономической сферы стала для либерализма догматом веры, который не обсуждался. Пустили даже в ход абстракцию «человека экономического», действия которого считались предсказуемыми, словно экономика была вакуумом. Он руководствовался только экономической выгодой, подстегивался только алчностью. Технология счастья заключалась в том, чтобы непременно сосредоточиться на собственной выгоде. Однако при этом в либеральной картине мира не оставалось места никому другому, кроме «человека экономического». «Человечество» представлялось совокупностью этих экономических песчинок.

III

Либерализм развился из склада ума, признававшего сущностную «доброту» человеческой природы. Однако есть другая политическая антропология, исходящая из дисгармоничности, проблематичности, двойственности и опасности человека. Эта общечеловеческая мудрость воплотилась в охране, заборах, сейфах, замках, тюрьмах и полицейских. Любая катастрофа, пожар, землетрясение, извержение вулкана, наводнение приводят к мародерству. Даже забастовка полиции в Нью-Йорке стала для уважаемых и добрых людей сигналом, что можно грабить магазины.

Одним словом, второй тип мышления опирается на факты. Это, собственно, и есть *политическое мышление*, в отличие от мышления о политике на основании рациональных объяснений.

Даже волна рационализма не смогла утопить этот способ мышления. Политические философы, разумеется, отличаются друг от друга своим творческим потенциалом и глубиной, но все они исходят из нормативности фактов. Интеллектуалы и либералы, называвшие «теориями» свои сладкие мечты о том, какими должны быть вещи, опошлили это понятие. Изначально теория была объяснением фактов. Для интеллектуала, который в политике «плавает», теория является целью; для настоящего политика теория — это граница.

Политическая теория стремится обнаружить в истории пределы политически возможного. Эти пределы не отыскиваются в царстве разума. Эпоха разума родилась в кровопролитии и выйдет из моды в ходе еще большего кровопролития. Со своей доктриной, направленной против войны, политики и насилия, она верховодила в величайших войнах и революциях, которые произошли за пять тысячелетий, и она же открыла дверь в эпоху абсолютной политики. С евангелием человеческого братства в руках она организовывала невиданные в истории голодовки, унижения, пытки и истребление населения западной цивилизации после первых двух мировых войн. Объявив политическое мышление вне закона и сделав войну битвой за мораль, а не власть, она обратила в прах тысячелетнее благородство и честь. Непреложный вывод заключается в том, что, включившись в политику, разум стал политическим фактором, несмотря на неизменную приверженность собственной риторике. Когда после войны разум занялся очисткой территории от завоеванного врага, он назвал это «дезаннексацией». Документ, закрепивший новое положение вещей, он назвал «соглашением», хотя продиктовал его в разгар голодной блокады. В «соглашении» поверженный политический противник должен был признать, что он «виновен» в войне, что из-за своей аморальности он недостойн владеть колониями, что только его солдаты совершали «военные преступления». Но независимо от степени морального притворства, на которое способна идеологическая лексика, все сводится только к политике. Поэтому эпоха абсолютной политики возвращается к политическому мышлению, которое исходит из фактов. Фактами она признает власть и волю к власти, присущую людям и высшим организациям, и находит любую попытку описания политики в моральных терминах столь же абсурдной, как изложение химии на языке теологии.

В западной культуре существует целая традиция политического мышления, главными представителями которой были Мон-

ть, Макиавелли, Гоббс, Лейбниц, Боссюэ, Фихте, Де Местр, Доносо Кортес, Ипполит Тэн, Гегель и Карлейль. Если Герберт Спенсер описывал историю как «прогресс» от военно-феодального к торгово-промышленному строю, то Карлейль явил Англии прусский дух этического социализма, внутреннее превосходство которого в грядущую эпоху политики должно было вызвать во всей западной цивилизации не менее фундаментальные перемены, чем капитализм в эпоху экономики. Это политическое мышление было творческим, но, к сожалению, осталось непонятым. В итоге набравшее силу невежество позволило факторам дисторсии ввергнуть Англию в две бессмысленные мировые войны, из которых она вышла, потеряв почти все.

Гегель постулировал трехстадийное развитие человечества от природного общества через буржуазное общество к государству. Его теория государства поистине органическая, а определение буржуа совершенно уместно в XX веке. По Гегелю, буржуа — это человек, не желающий покидать сферу внутреннего политического комфорта и противопоставляющий себя целому как индивид со своей священной частной собственностью. Свое политическое ничтожество он компенсирует обладанием и наслаждением плодами жизни в полной безопасности, поэтому стремится защитить себя от возможной насильственной смерти, избегая проявлять храбрость. Это — точный портрет настоящего либерала.

Упомянутые политические мыслители не пользуются популярностью в широких кругах. Пока все идет хорошо, большинство не желает слышать о борьбе за власть, насилии, войнах или связанных с ними теориях. Поэтому в XVIII и XIX столетиях сложилось мнение, что политические мыслители — и первой жертвой стал Макиавелли — были порочными, отсталыми, кровавыми людьми. Простого утверждения, что войны будут всегда, было достаточно, чтобы сказавшему это человеку приписать *желание*, чтобы войны продолжались. То, что он привлек внимание к широкому и безличному ритму чередования войны и мира, выставили слабоумием в сочетании с моральной несостоятельностью и эмоциональной ущербностью. Одним словом, констатацию фактов приравнивали к их желанию и созданию. Не далее как в XX столетии тот, кто указывал на политическое ничтожество Лиг Наций, считался проповедником отчаяния.

Рационализм антиисторичен, тогда как политическое мышление — это практическая история. В мирное время неприлично говорить о войне, в военное время — о мире. Чтобы теория бы-

стро приобрела популярность, она должна превозносить существующий в данный момент порядок вещей и тенденцию, которую он якобы олицетворяет, как наилучшие и предопределенные всей предшествующей историей. Поэтому интеллектуалы предали Гегеля анафеме за его государственную ориентацию, свидетельствовавшую о его «реакционности», а также за то, что он не присоединился к революционной толпе.

Поскольку большинство людей предпочитает слышать о политике только усыпляющие разговоры и не нуждается в призывах к действию, и поскольку в условиях демократии политические технологии опираются на то, что хочет услышать большинство людей, демократические деятели в XX веке разработали целую диалектику партийной политики. Идея состояла в том, чтобы рассматривать деятельность с «незаинтересованных» позиций: моральных, научных или экономических, и уличать оппонента в аморальности, ненаучности, незнании экономики — одним словом, в *политиканстве*, и с этой дьявольщиной следовало бороться. Собственная же позиция преподносилась как совершенно «аполитичная». В эпоху экономики «политика» считалась позорным словом. Однако любопытно, что в определенных ситуациях, обычно касающихся отношений между странами, часто использовалось обвинение в «неполитичности». Под этим понималось, что обвиняемый человек не способен к переговорам. Кроме того, политик должен был симулировать нежелание занять пост. В итоге он якобы преодолевал свою нерешительность во исполнение умело подготовленной «воли народа» и соглашался «служить». Все эти приемы назывались макиавеллизмом, хотя Макиавелли был политическим философом, а не притворщиком. Ни одна книга, написанная партийным политиком, не читается, как «Государь», зато они славословят всю человеческую расу, кроме отдельных извращенцев — оппонентов автора.

Фактически книга Макиавелли написана в оборонительном ключе, как политическое оправдание методов некоторых государственных деятелей на примерах иностранных вторжений в Италию. Во времена Макиавелли в нее поочередно вторгались французы, немцы, испанцы и турки. Когда армии революционной Франции оккупировали Пруссию и подкрепляли гуманистические сантименты о правах человека жестокостью и широкомасштабным грабежом, Гегель и Фихте восстановили уважение к Макиавелли как мыслителю. Он предложил средство защиты от противника, вооруженного гуманистической идеологией, и раскрыл подлинную роль словесных сантиментов в политике.

Следует отметить, что возможны три подхода к оценке мотивов человеческого поведения: сентиментальный, реалистический и циничный. Сентиментальный подход усматривает во всем добрые мотивы, циничный — злые, а реалистический — просто изучает факты. Сентименталист, то есть либерал, приходя в политику, поневоле становится лицемером. Крайнее выражение этого лицемерия порождает цинизм. Одним из симптомов духовного недуга после Первой мировой войны была волна цинизма, порожденного невероятно откровенным и воинствующим лицемерием людишек, заправлявших в то время делами. Макиавелли же обладал неиспорченным интеллектом и не был циником. Он стремился описать анатомию политики с ее специфическими проблемами и напряжением, внутренним и внешним. Для рационализма, страдающего странным душевным недугом, строгие факты — вещь прискорбная, и разговор о них равносильна их созданию. После Второй мировой войны мелкие политики либерального толка стремились предотвратить даже разговоры о Третьей. Одним словом, либерализм — это *слабость*. Он хочет, чтобы каждый день был днем рождения, а жизнь — нескончаемым праздником. Неумолимое движение Времени, Судьбы, Истории, беспощадность свершений, аскетизма, героизма, жертвенности, сверхличных идей — все это для него враги. Либерализм бежит от трудностей в комфорт, от мужественности в женственность, от истории в пастбу стада, от реальности в травоядные мечты, от судьбы в счастье. В своей последней и величайшей работе Ницше определил XVIII век как век феминизма и тут же упомянул Руссо, предводителя массового бегства от реальности. Что же такое сам феминизм, как не средство феминизации мужчины? Если он делает женщин похожими на мужчин, то для начала превращает мужчину в существо, которое озабочено только личной экономикой и отношениями со «[светским] обществом», то есть женщиной. «Общество» — женская стихия, оно статично и формально, соперничество в нем носит чисто личный характер и не предполагает героизма и насилия. Разговоры вместо действия, формальности, а не поступки. Насколько разный смысл имеет чин в «свете» и на поле боя! На войне он неотделим от фатума, в салоне — тщеславен и напыщен. Война ведется за контроль, а светская конкуренция вдохновляется женским самолюбованием и ревнивым стремлением выглядеть «лучше» других. И вот что либерализм в конце концов делает с женщиной: он надевает на нее униформу и называет «солдатом». Эта комедия иллюстрирует только тот не-

преложный факт, что история есть мужское дело, что ее жесткие требования нельзя игнорировать, что никакие изоциренные выдумки не способны отменить основополагающих фактов. Либералистические манипуляции с половыми различиями приносят только опустошение в души людей, смущая и коверкая их, однако таким химерам, как мужественная женщина и женственный мужчина, не ускользнуть от высшей судьбы истории.

Демократия

I

Еще один важный побочный продукт рационализма — демократия. Это слово имеет множество смыслов: во время Первой мировой войны его подхватили неевропейские силы и объявили синонимом либерализма. Это, разумеется, спорное отождествление, и здесь есть определенные варианты. Но вначале об исторических корнях демократии. Она возникла в середине XVIII века с приходом рационализма. Рационализм отвергал исторические основания любой мысли или деятельности, поэтому церковь и государство, аристократия и духовенство лишались прав, основанных на традиции. Рассудок количественен, поэтому сословиям он придавал меньше значения, чем бессодержательным массам населения. В предыдущих столетиях, говоря о государстве, подразумевали монарха. Поэтому король Франции *был* «Францией». Ансамбль сословий также именовался «Францией», «Англией» или «Испанией». Но поскольку для рационализма главным является не качество, а количество, то нацией стала масса. Чтобы изолировать сословия и лишить их права на политическое существование, в обиход ввели спорное слово «народ». Вначале массы назывались «третьим сословием», но впоследствии отрицанию подверглись сословия как таковые.

Идея демократии, однако, являясь не просто абстракцией, а органической идеей, обладающей сверхличной силой, была проникнута волей к власти. Характер событий, в результате которых возник рационализм и культура стала цивилизацией, несомненно, говорил о кризисе европейского организма. Иными словами, это была болезнь, а демократия — ее симптомом. Однако ею переболели все высокие культуры, следовательно, этого требовала органическая необходимость. Демократия стремится не к компромиссу, «уравновешиванию», отмене авторитета —

она стремится к власти и отвергает сословия, чтобы занять их место.

Одной из черт демократии стало отрицание аристократического принципа, отождествлявшего социальную значимость с политической. Она пыталась перевернуть это отношение, чтобы *социальное* зависело от *политического*. Разумеется, в итоге только формировалась новая аристократия, поэтому фактически демократия была обречена на саморазрушение: получив власть, она превратилась в аристократию.

В этом отношении величайшим символом стал Наполеон. Он, великий демократ, великий простолудин, разжег революцию против династии и аристократии, но создал собственную династию, а своих маршалов сделал герцогами. Это не был цинизм или измена убеждениям: на троне императора Наполеон оставался таким же демократом, как и раньше, когда очищал парижские улицы от толп.

Мобилизуя народные массы, демократия неизмеримо повышает властный потенциал наций и культуры. Идея демократии в том, что она не позволяет герцогу стать маршалом, но маршал за счет нее становится герцогом. Как технология управления, она представляет собой всего лишь новый способ появления политических лидеров. Она делает социальный ранг производным от военно-политического статуса, но не наоборот.

Новая демократическая династия и аристократия пропитаны той же волей к самосохранению, которая руководила Гогенштауфенами, Капетингами, Нормандцами, Габсбургами, Гвельфами и феодалными баронами, имена и традиции которых существуют до сих пор.

С исторической точки зрения демократия — это *чувство*, и она не имеет никакого отношения к «равенству», «представительному правлению» и тому подобному. Весь цикл демократии вместился, весьма символически, в сравнительно короткую карьеру великого Наполеона. Его формула «*La carrière ouverte aux talents*»¹ характеризует отношение демократии к «равенству»: имеется в виду равенство возможностей. Революция, консолидация, империализм — вот история демократии.

Однако за короткую жизнь Наполеона полный цикл демократии был выражен только символически, потому что впереди у нее было еще два столетия. В отличие от либерализма, демократия не бежит от реальности, войны, истории и политики.

¹ Карьера открыта для талантов (фр.). — Примеч. пер.

Она остается в пределах политики, но стремится привлечь в нее массы, сделать из каждого объект политики и всех — политиками. Реплика Наполеона в беседе с Гёте «судьба — это политика» отражает как раз такое расширение базы политической власти, присущее демократии. До конца XVIII века война и политика были делом кабинетов, королей и небольших профессиональных армий и редко касались обычного человека. Демократия все изменила: она вывела на поля сражений все человеческие ресурсы нации, заставила каждого обзавестись мнением по вопросам управления и выражать это мнение на плебисцитах и выборах. Тем, кто не имел своего мнения (а таковы 99 % людей), она его навязала и убедила в том, что оно их собственное.

Фатальным для идеи демократии было то, что момент ее рождения совпал с началом эпохи экономики. Получилось так, что ее авторитарная тенденция была подавлена, и после короткого взлета в лице Наполеона ей пришлось дожидаться наступления политической эпохи, чтобы снова себя выразить. Но конец эпохи экономики был одновременно концом демократической идеи. Таким образом, на протяжении своей истории демократия большей частью была служанкой экономики в ее борьбе с авторитаризмом.

Имея два полюса — талант (ability) и массу, демократия привела всех в политику и наделила самых успешных вдесятеро большей властью, чем обладал любой абсолютный монарх. Но сам Наполеон не смог одолеть сил, в эпоху экономики мобилизованных против него деньгами, тем более не устояли менее значимые демократические диктаторы. В испанской Южной Америке, где власть денег не была абсолютной, традиция диктаторов-демократов (самые известные из них — Боливар, Росас, Франсиа, О'Хиггинс) в целом характеризовалась мощной авторитарной тенденцией в народовластии. Однако в большинстве стран сохранялась только демократическая риторика, и это позволило экономическим заправилам в той или иной мере проявлять самовластие, ведь сначала они сломали государство с помощью демократии, а потом ее просто купили. В условиях поздней демократии (в нашем случае с 1850 г.) конституционная анархия под названием «демократия» служила именно интересам финансистов. Слово «демократия» перешло в собственность Денег, и его исторический смысл поменялся на смысл, который в него вкладывает XX век. Культурные дестортеры пользуются им для отрицания качественных различий между нациями и

расами с тем, чтобы инородцу¹ был обеспечен доступ к богатству и власти. Для финансиста этот термин означает «верховенство закона», подразумевая при этом его частный закон, допускающий хищническое ростовщичество благодаря монополии на деньги.

Однако демократия гибнет вслед за рационализмом. Идея о том, чтобы опереть политическую власть на массы населения, была в лучшем случае технологией. Все заканчивалось либо авторитарным правлением, как в случае Наполеона и Муссолини, либо же ее использовали финансисты просто как прикрытие для беспрепятственного грабежа. Не будучи демократией, авторитарное правление означает ее конец. С наступлением эпохи абсолютной политики отпадает необходимость в предложениях. Плебисциты и выборы устаревают и в итоге вообще прекращаются. Симбиоз войны и политики самодостаточен и уже не претендует на то, чтобы «представлять» какой-либо класс. В смертельной схватке авторитета и денег обе стороны могут пользоваться «демократией» как лозунгом, но таковой она и остается.

II

История катастрофична, однако непрерывна. На поверхности события зачастую неистовы и внезапны, но дальнейшее согласование одной эпохи с другой происходит постепенно. Так, первые поборники демократии вовсе не понимали ее как опускание всего человечества на уровень его наименее ценных представителей. В основном ее первые вдохновители принадлежали к высшим слоям культуры или во всяком случае пытались произвести такое впечатление: «де» Робеспьер, «де» Кальб, «де» Вольтер, «де» Бомарше. Первоначальная идея состояла в том, чтобы каждый, так сказать, стал аристократом. Естественно, слепая ненависть и жгучая зависть террора 93-го все это затмила, но традицию

¹ В оригинале автор использует английское слово *foreigner*, чаще переводимое как «иностранец». Однако здесь и далее по тексту английские термины *foreigner* и *foreign* переведены по-разному, с учетом того, что кроме понятия «иностранец» в русском языке существует понятие «инородец», которое объединяет в себе ландшафтную (грубо говоря, территориальную) и генетическую, то есть родовую (или, если угодно, этническую) составляющую понятия «чужак». Ср.: *foreign body* (англ.) — инородное тело. — *Примеч. пер.*

натиском не сломить, поэтому с социальной стороны битва демократии с традицией была долгой и трудной.

Как уже говорилось, авторитарная *политическая* тенденция демократии была уже при рождении удушена в эпоху экономики властью денег. Но слово стало лозунгом и в социальной битве, и в *экономической*. Оно всегда подразумевало массу, количество, численность в противовес качеству и традиции. Первоначально идея состояла в том, чтобы обобществить все высокое, но когда стало ясно, что это невозможно, следующей идеей стало упразднение всего качественного и превосходного, смешение всего в однородную массу. Чем слабее была традиция, тем сильнее торжествовал массовый дух. Так, в Америке принцип массовости одержал полную победу и был внедрен даже в сферу образования. В XX веке в этой стране с населением, составляющим меньше половины по сравнению с родиной западной культуры, было в десять раз больше учреждений так называемого высшего образования. Так называемого, поскольку демократия должна обманывать ожидания везде, даже в достижениях. Практика выдачи диплома всем и вся привела к тому, что диплом просто потерял смысл.

До крайности в этом отношении дошел один американский писатель, который заклеил высшую химию, физику, технику и математику как «недемократичные», так как они доступны немногим и поэтому могут породить некоторого рода аристократию. Этому человеку было невдомек, что теория демократии тоже понятна не всем: массы мобилизовались не самостоятельно: их всколыхнул дух времени, подействовав на отдельных представителей населения и возбудив чувство, что все должно быть приведено в движение, вывернуто наизнанку, обездушено, двинуто в «массы», пронумеровано и сочтено.

Потому с приходом XX века понятие «демократия» совершенно изменило свой первоначальный смысл. Его исходные полюса — талант и масса — были сведены воедино во имя господства экономических сил, которые теперь приватизировали слово «демократия». Они вкладывают в него только массовый смысл, используя в борьбе против возрождения идеи авторитета. Экономические властелины земли мобилизовали массы против авторитета государства и лживо назвали это «демократией». Эпоха абсолютной политики начнется с восстания масс против власти денег и экономики и закончится, в наполеоновском ключе, реставрацией авторитета. По крайней мере больше не будет плебисцитов, выборов, пропаганды и толпы зрителей,

наблюдающих политический спектакль. Два века демократии завершатся империей. Идея о том, что следует считаться с массами, отомрет естественным образом. Авторитет не нуждается в интеллектуальном оправдании, поскольку он просто есть, и точка.

Коммунизм

Постепенное преобразование духа XVIII века в дух XIX сопровождалось обострением конфликта между традицией и демократией. С каждым десятилетием рационализм становился все более экстремальным. Его самым непокорным детищем был коммунизм.

За сто лет, с 1750 по 1850-й, демократия подорвала государство и открыла дверь экономической эпохе. Однако место абсолютного монарха заняли финансист и промышленный магнат. Символом переноса демократической борьбы в сферу экономики стал коммунизм. Он вооружился рационалистической философией: материалистической метафизикой, атомистической логикой, социальной этикой, политической экономией и даже предложил свою философию истории, утверждавшую, что *человеческая история была историей экономического развития и борьбы!* И эти люди еще насмеялись над проблемами, которыми занимались схоластические философы! Религия тоже сводилась к экономике, как, разумеется, и политика. Под технику и искусство были подведены чисто экономические основания. Фактически эта теория стала венцом интеллектуальной несостоятельности эпохи экономики, которая подобным способом утверждала свое всемогущество и универсальность. «Все сводится к экономике, ничего кроме экономики, все подвластно экономике», — таков был лозунг.

Если *политический* аспект демократии был направлен против качества и традиции, то *экономический* аспект оспаривал даже такое качество и превосходство, которое порождалось экономическими различиями. Политическая классовая война переродилась в экономическую классовую войну. Если на первой стадии призыв касался тех, кто не принадлежал к двум сословиям, то впоследствии привлекались совсем неимущие. Причем не все, но только сосредоточенные в больших городах чернорабочие, физическая концентрация которых позволяла вывести их на улицы для ведения классовой войны.

Однако коммунизм, в отличие от либерализма, был явлением *политическим*, поскольку указывал на врага, который должен быть уничтожен, — буржуазию. Чтобы облегчить воплощение программы в действие, надо упростить картину: во всем мире есть только две реальности, буржуазия и пролетариат. Нации и государства суть буржуазные орудия для разделения и подчинения пролетариата. Отсюда происходит идея о том, что коммунизм интернационален, однако его интернациональная сила была продемонстрирована в 1914 г., когда организации классовых бойцов всех стран самоотверженно ввязались в войну между нациями. В подлинном смысле коммунизм никогда не был интернационалом. Тем не менее он утверждал политику и был силой, с которой в экономическую эпоху следовало считаться по причине его способности вызвать гражданские войны в разных европейских государствах, например во Франции в 1871 г. Его максимальным взлетом стала большевистская революция 1918 г. в России, когда теория коммунизма была взята на вооружение не склонным к теоретизированию азиатским режимом как орудие внешней политики.

В природе коммунизма, как и остальных побочных продуктов рационализма, была заложена неосуществимость его фантазий. Применение неорганической логики для построения программы реальности не меняет того факта, что организм обладает своей особой структурой, развитием и ритмом. Они могут быть нарушены, искажены, уничтожены извне, но не меняют свою внутреннюю сущность. Поэтому коммунизм имел чисто деструктивный характер, и именно по этой причине азиатская держава, соседствующая с Европой, воспользовалась им как программой для разрушения всех европейских государств. Коммунизм наряду со всеми остальными утопиями невозможно осуществить по причине его рациональности, а жизнь иррациональна. Единственное новшество в коммунистической утопии — это провозглашение своей неизбежности. Это придало ей волю к власти, но подобное бахвальство было не долговечнее рационалистического. С приходом эпохи абсолютной политики даже классовая война отбрасывает прочь теорию. История готова принять рационализм со всеми его останками в свой саркофаг. Смерть, а не опровержение — такова судьба рационалистических теорий в политике и экономике. Мы, живущие в середине XX века, станем свидетелями окончательного отмирания рационализма и его отпрысков.

Ассоциация и диссоциация форм мышления и деятельности

I

Излагая политические воззрения XX века, первое, что необходимо было сделать — это диссоциировать политику от остальных направлений человеческой энергии, особенно от экономики и морали. Учитывая господствующую моду на теории, пытающиеся объяснить политические явления с помощью понятийного аппарата, заимствованного из других областей деятельности и мышления, это было крайне необходимо. Мы увидели, что политика есть деятельность *sui generis*,¹ что политическая практика подразумевает, часто вполне бессознательно со стороны действующего лица, особый способ деятельного мышления. Остается обосновать самостоятельность и взаимозависимость различных направлений человеческой энергии и энергии культуры.

Мир без абстрактного мышления, например мир собаки, — это мир, в котором царит полная континуальность. Всякая вещь в нем идеально соответствует своему месту или сфере. По сравнению с миром человека он беспроblemен. Реальность и видимость составляют единство. Однако человеческая душа, несомненно, видит макрокосм *символически*, она различает между видимостью и реальностью, символом и тем, что он символизирует. Это составляет квинтэссенцию любого конструктивного человеческого мышления. Но такое разделение на видимость и реальность, обособление одной вещи от другой и ее связывание интенсивной абстрактной мыслью само по себе является искажением ее спокойного и непроблематичного отношения к остальным вещам. Поэтому мыслить — значит преувеличивать.

Высокая культура, в которой культурному человеку довелось родиться, жить и умереть, составляет мир его духа. Высокая культура устанавливает духовные границы этого мира и в пределах своих владений ставит печать почти на любую форму мысли и деятельности индивидов и групп. Здесь все мышление и его формы, а также деятельность и формы действия занимают свои естественные места и не конфликтуют друг с другом. Эти отношения сохраняются даже тогда, когда мысль прилагается к некоторой сфере, чтобы преувеличить свою роль в судьбе

¹ Своего рода, своеобразная, ни на что не оглядывающаяся (*лат.*). — Примеч. пер.

целого. Думать — значит преувеличивать, но это преувеличение затрагивает только мысль и не сказывается на макрокосме. То же самое справедливо для любого человека: различные направления его энергии состоят в органически сопряженных, гармоничных отношениях друг с другом. Не существует «человека экономического», есть только данный человек, в данный момент направляющий свою энергию на экономику. Нет и «благоразумного (reasonable) человека», вопреки предположениям некоторых западных правовых систем. Существует только человек, в данном случае проявивший благоразумие. Важным атрибутом высших организмов — человека и высокой культуры — является душа. Так, в экономическом плане один человек поступает совсем иначе, чем другой, потому что у него другая душа, и все его мысли и поступки характерны именно для него. Один человек проявляет сильный интерес и способности в одном направлении, другой человек — в другом. Высокие культуры тоже отличались друг от друга неодинаковыми талантами в разных областях. *Principium individuationis*¹ применим и к высоким культурам.

Любой организм, от растений и животных до человека и культуры, обладает многообразием функций, которое при движении вверх по этим ступеням прирастает за счет очищения и артикуляции. Эта функциональная многосторонность, однако, не нарушает единства организма. Именно единство организма обуславливает необходимость выражения в различных направлениях. Поэтому, если одно направление развивается за счет другого, происходит дисторсия, и если в этом упорствовать, наступает болезнь и смерть. Здесь я говорю только о здоровых организмах, где перенаправление энергии управляется внутренним ритмом. Этот ритм у каждого организма различен и зависит от характера, возраста, пола, адаптации и среды. Каждому человеку свойственна ежедневная последовательность смены направлений потока энергии. Внутренний ритм любого организма определяет функцию, которую требуется задействовать в данный момент. Такой же ритм есть у культуры, и на разных стадиях ее развития этот ритм акцентирует сначала одно, затем другое поле мышления или деятельности. Аналогично каждому этапу развития любого человека, в особенности культурного, соответствует определенный тип деятельности и мышления. Было хорошо сказано, что молодые люди — это идеалисты, взрослые — реалисты, а старики — мистики. Этот культурный ритм, в определенный период

¹ Принцип индивидуации (лат.). — Примеч. пер.

отдающий приоритет одной из сторон жизни, является источником духа времени.

При смене направления изменяется только акцент, такт (beat). Все разнообразные функции сохраняются, но одна оказывается первостепенной. Это присуще и людям, и культурам. Поэтому «экономический человек» продолжает существовать как целое, даже отдаваясь экономической деятельности. Его личность и все остальные духовные свойства никуда не деваются, хотя в данный момент не являются главными. То же с культурами: все типы мышления и деятельности существуют в любую эпоху, несмотря на то что в данное время преобладает одна из них. Так следует понимать «анахронизм» с исторической точки зрения. Поэтому Фауст Социн является анахронизмом в XVI веке, а Карлейль — в XIX.

Формам мышления и деятельности свойственна не только ассоциация, но и диссоциация. Перенос акцента с одной функции на другую можно назвать *сменой направления*. Это способ адаптации к различным ситуациям, характер которых требует однозначности способа мышления или действия. Очевидно, что проблему починки механизма человек не будет решать так же, как проблему власти: это приведет к поломке ненавистой машины. Однако многие рационалисты и либералы относились к властным проблемам, как к механизмам.

Таким образом, области мышления и деятельности существуют друг от друга отдельно. Взятые сами по себе, они вполне автономны. Каждой свойственны особые сознательные допущения и бессознательная позиция. Следует перечислить самые важные формы с их фундаментальными структурами.

Во-первых, есть *религия*. С точки зрения духовного содержания, это наивысшая из человеческих форм мышления. Религия обладает тем великим, непреходящим свойством, что смотрит на тотальность вещей в сакральном свете. Это *божественная метафизика*, которая видит, что все остальные формы человеческой мысли и действия выполняют только вспомогательную функцию. Религия не является методом социального совершенствования или систематизации знаний и этики: она есть представление высшей священной реальности, и этим определяются все ее аспекты.

Философия представляет собой существенно иное направление мысли. Даже *теистическая философия* занимает позиции, отличные от религии. Религия начинается там, где теистическая философия достигает своих пределов. Философия лежит

по эту сторону религии, давая лишь естественное объяснение ее предмету.

Еще одно направление мысли — это *наука*, которая обнаруживает только взаимоотношения между феноменами и обобщает результаты, но не претендует на их исчерпывающее объяснение.

В свою очередь *техника* не имеет никакого отношения к науке, поскольку вообще не является формой чистого мышления. Это уже мысль, ориентированная на действие. Единственная цель техники — *власть над макрокосмом*. В качестве инструментов она пользуется результатами науки, научно-теоретические обобщения служат для нее рычагами, которые она бросает, если они теряют эффективность. Технику интересует не то, что *истинно*, а то, что *работает*: там, где материалистическая теория не дает результатов, а теологическая дает, техника руководствуется последней. Поэтому прагматизму было суждено появиться в Америке — стране, где *поклоняются технике*. Согласно этой «философии», истинно то, что работает. Здесь подразумевается, что человек не заинтересован в истине, значит прагматизм есть отрицание философии. В этом можно было бы усмотреть возвышение техники или принижение философии, но в целом различие направлений техники и философии сохраняется: просто данная эпоха акцентирована на технике гораздо больше, чем на философии. Разнонаправленность науки и техники не отменяет даже их альянс, вылившийся в XX веке почти в идентичность их практик. Один и тот же человек может мыслить как ученый, *отыскивая* информацию, и в следующий момент — как техник, *применяя* ее, чтобы получить власть над природой. Наука и техника столь же отличаются от философии, как друг от друга: ни одна не стремится дать объяснение, оставляя это философии и религии. Тот, кто полагает, что закладывает основы «научной философии», ошибается: с первой же страницы он обречен оставить научную позицию и занять философскую. Нельзя взять два направления сразу. Если *первенство* отдается не философии, а науке, тогда в этом просто выражается овнешнение духа времени. Однако здесь важно то, что все эти формы мышления и деятельности заложены в ходе и ритме развития высокой культуры; данное направление мысли находится на подъеме до тех пор, пока продолжается стадия культуры, отводящая ему эту роль.

Экономика есть форма *деятельности*. А именно, это деятельность, направленная на поддержание и обогащение частной жизни. Поэтому любая попытка контролировать чужие жизни начинается с экономики. Когда Сесил Родс прежде всего думал

о собственном обогащении, он мыслит экономически; когда он стал использовать свое богатство для контроля над населением Африки, он мыслит политически. Человек действия, как правило, не способен овладеть обоими этими направлениями приложения сил — так разнятся их специфические методы. Сама экономика состоит из двух фаз: производства и торговли, методы которых тоже настолько различны, что обычный человек не может добиться успеха в обоих.

Пути совершенствования способов мышления и деятельности многообразны. Но, например, данные метафизики не имеют смысла в этике, даже если применить к ним один и тот же принцип. Фактически данными этики никто не руководствуется, кроме ее самой. Математика также имеет свою собственную область, имеющую отношение к логике, но отличную от нее. Эстетика выделяет еще один аспект из всех взаимоотношений, и это определяет ее исходные допущения.

II

Формы мышления и деятельности не только способны к ассоциации и диссоциации: между ними существует также иерархия, в зависимости от сиюминутной проблемы. Двойственность человека, основанная на сочетании в его естестве человеческой души и инстинктов хищника, приводит к тому, что его действия почти никогда не согласуются с его же абстрактными системами мысли. Абстрактное мышление связано с душой, действие — с хищной стороной. Человек, прибегающий в теологическом споре к кулакам, чтобы доказать свою точку зрения, путает сферы мысли и действия. То же самое — обсуждать политику в терминах морали. Две эти сферы — мысли и действия — имеют свои четкие границы. Каждый человек обладает способностью к абстрактному мышлению и способностью к действию. Когда он мыслит абстрактно, он не действует, а когда действует, не мыслит абстрактно, и его мышление полностью растворяется в действии. Абстрактное формулирование действия может происходить до или после действия, но не одновременно с ним. Как сказал Гёте, «делающий всегда бессознателен, сознанием обладает только созерцающий».

Что есть жизнь? Это — процесс актуализации возможного. Актуализация означает *действие*. Жизнь основана на деятельности, а не на абстрактном мышлении. Для деятельности в свою

очередь существует иерархия, ставящая практические умения выше теоретизирования. Поэтому Макиавелли более ценен в политическом плане, чем Платон, Томас Мор, Кампанелла, Фурье, Маркс, Эдвард Беллами или Сэмюэл Батлер. Первый писал о политике как она *есть*, остальные — о том, какой она *должна* быть или *хочется*, чтобы она была.

Общеизвестно, что с помощью насилия ничего нельзя *доказать*. Это объясняется тем, что сферы абстрактной мысли и действия, *истины* и *фактов*, не пересекаются. Однако мало кто понимает, что справедливо и обратное: никакого насилия невозможно произвести посредством доказательства; иными словами, в мире деятельности ничего нельзя достичь с помощью истины. Достаточно лишь приступить к воплощению абстрактной теории, как приходится ее отбросить. Попытка навязать способ мышления там, где он не уместен, приводит только к *неразберихе*. Нет разницы между специалистом-химиком и специалистом-физиком, важно то, хороший это или плохой специалист. Решать механическую проблему с помощью добра и зла, значит обречь себя на неудачу. Любой аспект жизни раскрывает свои секреты только при использовании адекватного метода. Политика всегда отказывалась наделять властью человека, собравшегося «реформировать» ее на основе морали. Равно нельзя политику *понять*, пытаясь навязать ей сторонние способы мышления. *Политика есть прямая противоположность абстракции*, поскольку «абстрактное» буквально означает «оторванное от». От чего? — от действия, реальности, фактов.

Изложенное здесь мировоззрение отражает фактическую сторону человеческого существа. Нас интересует только действие, потому что эпоха абсолютной политики, в которую была написана данная книга, — это эпоха действия. Никто никогда не утверждал, что политика *должна* быть аморальной, но все политические мыслители сходятся в том, что политика есть политика. Вопросы *долженствования* относятся к другой стороне души и здесь не рассматриваются. То, что политика и мораль не пересекаются, демонстрирует пример Второй мировой войны. Американская сторона неевропейской коалиции, действующей против Европы, решительно утверждает, что она воевала за христианскую мораль, хотя после войны в зоне своей юрисдикции занялась физическим истреблением культурного слоя оккупированной Европы. Для физического и экономического уничтожения многих миллионов европейцев были организованы массовый голод и мародерство. Пример не уникален: *после* Первой мировой

войны державы-победительницы организовали продовольственную блокаду поверженного врага, причем эта война велась теми же державами и тоже во имя христианской морали.

В политической *практике* моральный подход приводит лишь к неудачам и бедствиям. Его деструктивная сила пропорциональна тому, насколько всерьез он воспринимается. Если мораль используется цинично, как пропаганда, усиливающая жестокость, она извращает войну и политику, доводя их до уровня зверства.

В XX веке политика заново отвоевывает свои полномочия и отказывается от экономической мотивации. Право, техника, экономика, социальная организация — все это становится отражением великих политических реалий. В эту последнюю созидательную эпоху великой культуры, которая будет продолжаться весь XXI век, мотивация непрерывной борьбы за власть черпается из единства самой западной цивилизации. Реальный военный фронт в эту эпоху проходит между Европой и анти-Европой. Существуют пограничные территории, например между Россией и Европой, а также северные страны Южной Америки. У каждой стороны есть союзники: разбросанное по всему миру белое население принадлежит к Европе, но сплоченный и властный контингент азиатского дистортера в разных странах Запада не является европейским. Это борьба между позитивом и негативом, созиданием и разрушением, культурным превосходством и завистью чужака. Это неутраченная борьба освобожденных рабов против их вчерашнего господина, распаленная местью за столетия рабства.

Разумеется, эти войны будут поистине войнами без ограничений, в отличие от крестовых походов и тем более агональных войн XVII и XVIII столетий внутри Европы. Соответственно, они будут абсолютными по своим средствам и продолжительности. Например, обращение с военнопленными, принятое в западной цивилизации на основаниях человечности и воинской чести: после Второй мировой войны первое из этих оснований упразднила Россия, моря голодом и эксплуатируя пленных, а второе упразднила Америка, игнорируя Гаагскую конвенцию и массово вешая военнопленных во время послевоенной оккупации Европы.

Поэтому грядущие войны продолжат практику порабощения и убийства военнопленных и отменят защиту, до сих пор распространявшуюся на гражданское население. Вместо свойственного высокой культуре кодекса воинской чести последняя в итоге станет делом личного внутреннего императива, и индивид будет сам принимать решение, важность которого будет за-

висеть от занимаемого им положения. Само по себе убийство пленных не является бесчестием, но становится таковым, если противник сдался и сложил оружие на условиях сохранения жизни. Так было с европейскими солдатами и лидерами, которые после Второй мировой войны были повешены американцами.

В последнем акте великой западной культурной драмы сама идея культуры демонстрирует свою непобедимую мощь (судьба всегда молода, как говорит философ нашего времени), занимая центральное место в жизни, разделяя всех людей на друзей и врагов в соответствии с тем, насколько они ей преданы или враждебны. *Культурная политика* замыкает цепь, состоящую из *религиозной, семейной и фракционной* политики в период между Крестовыми походами и Реформацией, *династической* политики до Венского конгресса и, наконец, *национальной и экономической* политики до Второй мировой войны. Рационалистический кризис сходит на нет. Сопутствующие ему явления блекнут, становятся все более вынужденными и одно за другим исчезают: равенство, демократия, счастье, непостоянство, коммерциализация, материализм, финансовый капитал с денежным деспотизмом, классовая война, торговля как самоцель, социальная атомизация, парламентаризм, либерализм, коммунизм, материализм, массовая пропаганда. Все эти гордые знамена теперь валяются в пыли. Они не более чем символы дерзкой и отважной, но безнадежной попытки разума подчинить себе царство души.

КУЛЬТУРНЫЙ ВИТАЛИЗМ

А) ЗДОРОВЬЕ КУЛЬТУРЫ

Я признаю только две нации: Запад и Восток.

Наполеон

Расовая недостаточность, и только она, мешает интеллектуалам — философам, доктринерам, утопистам — понять метафизическую ненависть, происходящую от несовпадения ритмов двух потоков бытия и проявляющуюся как невыносимый диссонанс: ненависть, которая может закончиться трагически для обоих.

Шпенглер

Я намеревался изготовить сплав из важнейших интересов Европы, повторив то, что мне удалось сделать с партиями. Меня не сильно беспокоила сиюминутная озлобленность народов, поскольку я был уверен, что результат неизбежно вновь приведет их ко мне. Таким способом Европа могла бы стать поистине объединенной нацией, и всякий, куда бы он ни прибыл, чувствовал бы себя в своем Отечестве. Этот сплав рано или поздно осуществится под давлением фактов. Был дан толчок, благодаря которому после моего падения и исчезновения созданной мной системы восстановить в Европе равновесие можно будет только за счет объединения и слияния великих наций.

Наполеон

Введение

Здесь мы впервые раскроем тему культурного витализма: адаптивную физиогномику, здоровье и болезни высокой культуры. До сих пор культуру рассматривали как результат, чистый

итог коллективной деятельности людей и групп. В той степени, в какой ее единство и непрерывность вообще принимались во внимание, все это считалось обусловленным строго материально за счет «влияния» индивидов, групп или письменных идей на современников или потомков. Но по мере взросления западной культуры стало смутно осознаваться ее единство, которое объяснялось очень разными способами, указывались разные места происхождения и разные законы развития, но главной идеей было осязаемое *единство культуры*. Даже на родине материализма Бенджамин Кидд в своей работе «Западная цивилизация» признал внутреннее единство Запада. Ницше, Лампрехт, Брейзиг, Мерэ — вот лишь немногие из тех, кто ощутил эту идею. В эпоху, которая опирается на факты, а не программы, и подчиняется реальности, не заставляя ее сдавать экзамен на разумность, возникла естественная и *духовно императивная* потребность мыслить в этой новой системе координат.

Если два индивида, основательно разделенные географически и не контактирующие друг с другом делают аналогичные открытия, приходят к одинаковой философии, выбирают одну и ту же тему для драмы и лирики — это не «влияние» и не «совпадение», но отражение развития культуры, к которой они оба принадлежат. С высшей, культурной точки зрения, споры о том, кто первым изобрел то или иное устройство, кому принадлежит та или иная идея, в целом являются бесполезными. В лучшем случае эти вопросы относятся всего лишь к сфере права. Если некоторое достижение не является просто личной забавой, но обладает сверхличной силой, значит таково развитие *культуры*, и если к нему приходит не один человек, в этом, несомненно, участвует судьба.

Единство культуры имеет *чисто духовное происхождение*. Последующее материальное единство является разворачиванием предшествующего внутреннего, духовного единства. Жизнь есть актуализация возможного, и развитие высокой культуры заключается в разворачивании на протяжении органически predetermined жизненного промежутка внутренних возможностей, заложенных в ее душе.

Мы живем в восьмой по счету высокой культуре из тех, что возникали на нашей планете. Формы и творения других культур в их тотальности мы воспринимаем как единые и внутренне взаимосвязанные, поскольку наблюдаем эти культуры *снаружи* и не можем чувствовать их душевных оттенков. Непостижимость

чужой культуры является частью более общей органической закономерности: даже в пределах нашей собственной культуры дух иной эпохи, нации, индивида в конечном счете труден для полного понимания. Постичь другую жизненную форму можно, только *вжившись* в нее. Сравнение, хронометраж и детализация поведения другого организма никак не способствуют органической ассимиляции. Материалистическая «психология», накопившая бумажные горы результатов, еще ни разу не помогла одному индивиду постичь другого. Если это и получалось, то без помощи абстрактных средств.

Трудность ассимиляции человека с иными органическими формами, их понимание, *проникновение* в них — это проблема сродства (degree). Нам легко понять человека с похожим характером. Если же аналогичен жизненный опыт, но характер у него другой, то понять его труднее. Еще более высокие барьеры для взаимопонимания создают национальные, расовые и другие отличия, связанные с культурой. Отсюда проистекает одна из проблем культурного витализма. Вопрос заключается в том, в какой степени культура способна привить свою идею на новую популяцию, поселившуюся на ее территории. Дополнительные проблемы связаны с тем, что этому новому населению может быть свойственна сплоченность по крайней мере на одном из таких уровней, как народ, раса, нация, государство или культура.

Следующая проблема состоит в точном определении взаимоотношений культуры с популяциями, служащими ей, и, с другой стороны, с теми, которые находятся за пределами ее территории. Вопрос ставится именно так, потому что высокие культуры связаны с определенным ландшафтом даже в последней фазе своего развития — цивилизационной, когда культура полностью овнешняется и достигает максимальных пределов экспансии. Эта тенденция к экстерииоризации и экспансии отмечается уже в середине жизненного цикла, но становится господствующей только после заметного перерыва, связанного с цивилизационным кризисом. Для нас символ такой паузы — Наполеон. Начиная с его эпохи все земные популяции собираются под своды самого неограниченного империализма в истории. Однако все они состоят в разных отношениях с материнской идеей это империализма, и отношения также следует рассмотреть.

Морфология культуры

Нации, формы мышления, формы искусства и идеи, в которых выражается развитие культуры, всегда находятся на попечении сравнительно небольшой группы. Величина этой группы и возможность ее пополнения зависят от характера культуры. В этом отношении показательна классическая культура. Все до одной ее идеи были *экзотерическими*. Сократ философствовал на агоре. Представить за таким же занятием Лейбница или Декарта было бы смешно, потому что европейская философия доступна далеко не всем. Однако полное выражение любого направления любой культуры, даже экзотерической классической, ограничено уровнем населения ее территории. По самой своей природе культура избирательна, исключительна. «Культурным» в личном смысле мы называем не рядового представителя культуры, а человека, идеи и позиции которого упорядочены и артикулированы. Быть культурным в этом смысле — значит хранить верность чему-то, выходящему за пределы собственной персоны и домашнего благополучия. В картине мира XIX века с его атомистической манией существовали только индивиды и ничего выше них, поэтому «культурным» называли человека, создающего или ценящего искусство и литературу. Однако культура выражается также в не свойственных первобытному человеку патриотизме, верности долгу, этическом императиве, героизме и самопожертвовании. Война, фабрика и винтовка — такие же проявления культуры, как поэма, собор и скульптура.

В ходе своего завершения высокая культура по всем направлениям мышления и деятельности воздействует на каждого человека, живущего на ее территории. Интенсивность этого воздействия в определенном направлении зависит от души культуры: были культуры *пассионарно-исторические*, как китайская, и совершенно *неисторические*, как индийская; одни создали мощную технику, как египетская и наша, другие технику игнорировали, как классическая и мексиканская.

Степень укорененности культуры в индивидах пропорциональна их восприимчивости к духовным впечатлениям. Малодушный индивид с ограниченным кругозором живет для себя, поскольку ничего другого не понимает. Для такого человека европейская музыка — просто чередование высоких и низких, громких и тихих звуков; философия — просто слова; история — собрание сказок, *реальность* которых не ощущается даже внутренне; политика — тщеславие великих; воинская повин-

ность — ноша, которую приходится нести по слабохарактерности. Поэтому даже индивидуализм у такого индивида сводится лишь к отрицанию чего-то более высокого, не являясь утверждением собственной души. Выдающийся человек — это тот, кто не ставит на первое место собственную жизнь и безопасность. Уильям Уокер имел возможность спасти свою жизнь, просто отказавшись от своих требований к президенту Никарагуа, но не стал этого делать даже перед расстрелом. Обыватель считает это безумием. Он несправедлив, но не из принципа; он эгоистичен, но это не восторженно-императивное себялюбие Ибсена; он — раб страстей, но не способен к возвышенной половой любви, потому что даже она является выражением культуры: первобытный человек просто не понял бы европейского эроса, если бы ему попытались объяснить эту метафизическую сублимацию страсти. У обывателя нет никакой чести, и он скорее согласится на любое унижение, чем восстанет, ведь восстанут всегда лидеры. Он делает ставки в надежде на выигрыш, но плачет, когда проигрывает. Он предпочел бы жить на коленях, чем умереть стоя. Истина, по его мнению, — это то, о чем громче всего кричат. Он следует за сегодняшним лидером, но если завтра придет новый, обыватель будет доказывать свою оппозиционность прежнему. Одержав победу, он всех задирает, потерпев поражение — лакействует. Его разговоры хвастливы, а дела мелки; он любит играть, но ведет себя неспортивно. Великие мысли и планы он клеймит как «мегаломанию». Тех, кто пытается вывести обывателя к свету, он ненавидит и при первой же возможности распинает, как Христа, сжигает, как Савонаролу, глумится над его мертвым телом, как это было на Миланской площади. Он всегда смеется над чужой неудачей, но при этом не обладает ни чувством юмора, ни подлинной серьезностью. Он осуждает преступления, совершенные по страсти, но с удовольствием читает о них книги. Он толпится на улицах, когда что-то происходит и наслаждается тем, что на кого-то обрушился удар судьбы. Пока он чувствует себя в безопасности, его не волнует, что соотечественники проливают кровь. Обыватель — существо отвратительное и трусливое, но ему не хватает духа быть Яго или Ричардом III. Ему закрыт доступ к культуре, и, пытаясь его получить, он преследует всех, кому он открыт. Его любимая утеха — созерцать падение великого лидера. Он ненавидел Меттерниха и Веллингтона — символы традиции; он вместе с рейхстагом отказался поздравить экс-канцлера Бисмарка с днем рождения. Из таких, как он, состоят все парламенты, он лезет во все военные советы, чтобы призвать

к благоразумию и осторожности, и отрекается от убеждений, которых придерживался, если они становятся опасными — все равно он не имел к ним отношения.

Одним словом, в обывателе заключена внутренняя слабость любого организма, он — враг всего великого, материал измены. Высокая культура реализует свою судьбу не в этом человеческом веществе. Зато именно с ним работают великие политические лидеры в демократических условиях. В прежние века обыватель не участвовал в культурной драме, которая его вообще не интересовала, а ее действующие лица еще не попали под рационалистические чары «счетомании» (counting-mania), по выражению Ницше. Когда демократия развивается до предела, ревнивые и криводушные обыватели, завидующие всему, что выше них, выходят даже в лидеры, как Рузвельт и его окружение в Америке. В своем культе «простого человека» он обожествлял себя, как Калигула. Упразднение качества души выдающегося человека уже в юности и превращает его в циника.

В прежние века нигде не было и намек на то, что массы населения должны играть какую-то роль. Когда же эта идея восторжествовала, оказалось, что единственная роль, на которую способны массы, — это пассивная функция громоздкого строительного материала, которым пользуется осмысленная часть населения.

Каково же физическое устройство культурного тела? Чем сложнее культурная задача, тем более высокие человеческие качества требуются для ее исполнения. Во всех культурах существует так называемый культурный слой (Culture-bearing stratum) населения, характеризующийся определенным духовным уровнем. Только такая стратификация населения культуры обеспечивает ей возможность самовыражения. Таковы образ жизни и *характер (habitus)* культуры. Культурный слой выполняет функцию хранителя многообразия культурного самовыражения. К нему относятся все создатели в области религии, философии, науки, музыки, литературы, изобразительного искусства, математики, политики, техники и войны, равно как и ценители, которые сами не создают, но до конца понимают и сопереживают достижениям этого высшего мира.

Таким образом, сам культурный слой делится на *творцов* и *ценителей*. Последние по мере возможности транслируют великие достижения вниз. Это делается для того, чтобы культурный слой пополнялся высококачественным материалом, где бы он ни зарождался. Процесс пополнения происходит постоянно, поскольку культурный слой не является наследственным в прямом смысле. Принадлежность к культурному слою определяется чи-

сто духовным уровнем представителей данной культуры. Он не имеет экономической, политической, социальной или иной маркировки. Некоторые из его самых ярких представителей жили и умирали в нужде: например, Бетховен и Шуберт. Других, столь же одаренных, но менее стойких, нищета удушила, как Чаттертона. Многие творцы при жизни оставались неизвестными: Мендель, Кьеркегор, Коперник. Других ошибочно считали просто талантливыми, как Шекспира и Рембрандта.

Культурный слой никоим образом не воспринимается современниками и его представителями как нечто единое. Подобно культуре, которую этот слой несет, *сам он невидим*. Ему нельзя дать материалистического описания, приемлемого для интеллектуалов, поскольку здесь мы имеем дело с областью психики. Однако даже интеллектуалам должно быть ясно, что Европа или Америка погрузятся в материальный хаос, из которого придется выходить годами, если лишить их нескольких тысяч представителей высших технических рангов. Эти специалисты являются частью культурного слоя, хотя он связан не только с профессией. Разумеется, и техники, и экономические или военные лидеры играют второстепенную роль в культурной драме. Самой важной частью этого слоя в любое время является группа хранителей высшей идеи. Например, во времена Данте высшими символами реальности были император и папа, и лучших представителей культурного слоя тогда можно было видеть на службе у одного из этих символов. Затем высшая символическая сила перешла к династиям, и на протяжении столетий своего существования династическая политика держалась на их жизнях.

С приходом просвещения и рационализма весь Запад погрузился в продолжительный кризис, затронувший также и культурный слой. По нему прошел раскол прежде небывалой глубины, и только теперь, по прошествии двух веков, можно восстановить его изначальное единство. Я говорю «прежде небывалой», так как не следует полагать, что культурный слой когда-либо был чем-то наподобие интернационала или франкмасонства. Напротив, он давал лидеров для обеих сторон любой войны или тенденции.

II

В пределах культурного слоя ведется постоянная борьба между традицией и новаторством. Сильная, витальная часть, естественно, связана с новым, устремленным вперед развитием,

утверждающим новую эпоху. Роль же традиции в том, чтобы обеспечить преемственность. Традиция — это память сверхличной души. Она следит, чтобы во всяком новшестве присутствовал свойственный великому прошлому творческий дух.

Кризис рационализма столь же тяжело отразился на высшем слое, как и на всем организме. Такой шаг вперед, как демократия, в итоге оказался позитивным, поскольку история свидетельствует о необходимости этой жизненной фазы культуры. Но этот шаг трудно было сделать людям, посвятившим свои жизни созиданию и творчеству, потому что мобилизация масс несет разрушение. Шаг от культуры к цивилизации равносителен падению, с него начинается угасание. По этой причине лидеры, укорененные в культуре, всеми силами сопротивлялись демократической революции: Бёрк, Гёте, Гегель, Шопенгауэр, Меттерних, Веллингтон, Карлейль, Ницше.

Культурный слой, состоящий из творцов и ценителей, как таковой невидим. Он не соответствует ни экономическому, ни социальному классу, ни знати, ни аристократии, ни профессии. Отнюдь не все его представители являются публичными фигурами. Однако своим существованием этот слой актуализирует в мире высокую культуру. Если бы существовал процесс, посредством которого можно было бы отобрать всех представителей этого слоя, неевропейские силы наверняка попытались бы истребить его ради уничтожения Запада. Но эта попытка оказалась бы неудачной, поскольку данный слой воспроизводится культурой, и после долгого периода хаоса (поколение или два, в зависимости от обстоятельств) этот культурный орган появился бы снова, включив в себя потомков завоевателей, которые тоже подчинились бы идее. Возможности, существующие в этом отношении, будут рассмотрены ниже.

Для политической эпохи вполне естественно, что лучшие умы посвящают себя политике и войне. Героями здесь становятся те, кто способен на самоотречение и самопожертвование. Война и политика — это преимущественно поле героизма и, с культурной точки зрения, жертвы в этой области не бывают напрасными, потому что сама война есть выражение культуры. С рационалистических позиций выглядит глупо посвящать свою жизнь идее, какой бы она ни была. Тем не менее жизнь в своей органической реальности не подчиняется рационализму, который во всем стремится к посредственности. Поэтому из каждого поколения отбираются лучшие и побуждаются к служению культуре. Благороднейшие из всех — это герои, умирающие за идею, но героем может быть не каждый, поэтому остальные за идею живут.

Непременное качество человека этого уровня — его *духовная восприимчивость*, обеспечивающая ему больше впечатлений, чем получают другие. Это сочетается с *более сложными внутренними возможностями*, которые упорядочивают массу впечатлений. Такой человек может почувствовать дух времени еще до того, как он выразится и восторжествует. Отстаивание вещей, «опережающих время» — еще одна особенность всех великих людей, но в этом же одна из причин их гибели от насильственной смерти. Эти люди жили в мире более реальном, чем мир «реалистов». Именно разъяренные «реалисты» сожгли Савонаролу, за которым они без вопросов последовали бы через поколение или два.

На протяжении долгих веков существования культуры этот жизненный уровень представлял собой только душевно-культурное единство, но с наступлением поздней цивилизации (середина XX века) доминантной идеей всей культуры становится политика. Фраза Наполеона «Судьба — это политика» теперь еще более справедлива, чем когда он это сказал. Сегодня друг другу противостоят две идеи: *демократия* и *авторитет*, и только за одной из них будущее. Движение вперед сейчас обеспечивает только авторитет, поэтому более сильные и жизненные творческие элементы культурного слоя, ставшего теперь культурно-политическим, служат возрождению авторитета.

Поскольку в эпоху, когда качество вновь утверждает себя перед количеством, культурный слой достигает своего наивысшего значения, и его следует определить как можно более точно. Принадлежность к этому слою решительно не имеет ничего общего с *известностью*. О Вагнере, Ибсене, Кромвеле никто не слышал в первую половину жизни, тем не менее они уже тогда находились на этом жизненном уровне. Понятие *известности* связано с идеей культурного слоя следующим образом: любой человек, известный в какой-либо области, а также обладающий *внутренним даром видения, понимания или творчества*, принадлежит к этому слою по природе. Однако известность может прийти случайно, в связи с рождением или удачей, и европейцы стали свидетелями двух периодов недавней истории (после первых двух мировых войн), когда почти все ведущие политики Европы были обывателями, поднявшимися наверх только благодаря случайности и дисторсии высшего организма.

Теперь значение культурного слоя сильно возросло по сравнению с предыдущими столетиями, потому что он составляет почти незаметное меньшинство. Сильный рост населения Европы — в XIX веке оно *утроилось* — не отразился на численности

этого слоя, как и возвышенных натур в целом. Эта численность не менялась со времен крестовых походов. Культура для своего выражения нуждается именно в *меньшинстве* — таков способ ее бытия. Рост населения означает *ухудшение*. При *увеличении численности нарастает напряжение между количеством и качеством*, и слой носителей культуры математически становится более значимым. Напряжение может быть выражено в цифрах: в Европе не более 250 тысяч душ, которые за счет своих возможностей, императива, дара и *экзистенции* составляют слой носителей западной культуры. Их географическое распределение никогда не было равномерным. В той нации, которую культура выбрала для выражения духа времени (как в XVI и XVII веках, она выбрала Испанию для выражения ультрамонтанства, Францию для рококо в XVIII веке или Англию для капитализма в XIX), всегда был больший процент культурно значимых людей, чем в странах, не игравших ведущей культурной роли. Этим фактом неевропейские силы сознательно и основательно воспользовались для разрушения западной цивилизации после Второй мировой войны. Истинной целью массовых повешений, грабежей и голода было истребление *немногих* путем истребления многих.

Морфология культуры выделяет в ней три стороны: сама идея, транслирующий слой и адресаты. Последние представляют собой множество людей, обладающих достаточной тонкостью, соблюдающих определенные стандарты чести и морали, заботящихся о собственности, уважающих себя и других, стремящихся к самосовершенствованию и повышению своего уровня вместо того, чтобы тянуть вниз тех, кто уже обогатил свою внутреннюю жизнь и достиг в этом мире определенных высот. Они составляют тело культуры наряду с культурным слоем, как ее мозгом, и идеей, как ее душой. У каждого лица, принадлежащего к этой многочисленной группе, есть некоторые амбиции и понимание в отношении произведений культуры. Они обеспечивают творцов средствами для работы. Тем самым они наделяют собственную жизнь смыслом, не доступным пониманию низших слоев. Меценаты играют не главную, но культурно значимую роль. Кто знает, создал ли бы Вагнер свои величайшие произведения, если бы не Людвиг II? Всегда ли мы понимаем, читая о результатах великой битвы, что это была не просто шахматная партия двух командующих, но сотни отважных офицеров и тысячи исполнительных солдат *умерли* ради этой строки в истории, ради того чтобы этот день, эта дата остались в веках? И когда полиция и армия предотвращают угрозу общественных беспорядков, то

смерть в рядах защитников порядка также наделяет их жизни высшим смыслом. Не всякому дано сыграть великую роль, но человека невозможно лишить права придать своей жизни смысл.

Ниже вышеупомянутых уровней находится слой, совершенно неспособный к культурным достижениям, даже самым скромным. Это толпа, *canaille*, *Röbel*, подонки общества, *profanum vulgus*, «простой человек» из американского культа. Он выходит на передний план при любом терроре, вождельно внемлет любому большевистскому агитатору, источает яд при виде любого проявления культуры и превосходства. Этот слой существует на всех стадиях любой культуры и всегда готов о себе заявить в виде Крестьянских войн, Жакерии, Уота Тайлера, Джека Кэда, Джона Болла, Томаса Мюнцера, якобинцев, коммунаров, испанских милитантов, толпы на миланской площади. Как только творец принимает решение и берется за работу, очередная мрачная, завистливая душа искажается решимостью остановить его, свести на нет его труды. На склоне лет нигилист Толстой великолепно сформулировал этот основополагающий факт: не должно остаться камня на камне. Лозунг большевиков в 1918-м был столь же красноречив: «Разрушить все!» В нашу эпоху этими подонками руководят классовые бойцы — арьергард рационализма. Поэтому с общеполитической точки зрения они действуют исключительно в интересах неевропейских сил. Все предыдущие восстания этого слоя были обречены благодаря единству культуры, изначальной силе творческих импульсов и отсутствию внешней угрозы столь сокрушительных размеров, как та, что существует теперь. История этого слоя не закончена. Азия нашла ему применение и уже строит планы.

Традиция и гений

Культурный слой может исполнять свою функцию двумя разными способами. Первый связан с высокой традицией мастерства по линии «школы», второй — с рождением гения. Они могут сочетаться и фактически никогда не существуют порознь, поскольку гениальный индивид всегда зачинает традицию, а наличие традиции не препятствует проявлению гения. Однако это разные методы выражения культуры, и оба имеют значение для мировоззрения XX века, которое формулируется в данной книге.

Примером традиции в действии служит итальянская живопись с 1250 по 1550 г. Другой пример — фламандско-голландская

школа XVII века. Эти школы не требовали от художника великого мастерства, чтобы полностью себя выразить. Он должен был лишь соблюдать уже имеющуюся форму и сделать личный вклад в развитие ее возможностей. С другой стороны, в испанской и немецкой живописи мы видим собрание великих самобытностей, а не добросовестное соблюдение традиции. Высочайшей из всех традиций была готическая архитектура примерно до 1400 г. Эта традиция была столь мощной, что в ней даже отсутствовала идея связи произведения искусства с личностью его создателя.

Подобные традиции существуют не только в искусстве. Схоластическая философия представляла собой то же самое сверхличное единство, на которое работали многие личности, послужившие развитию традиции. От Росцелина и Ансельма через Фому Аквинского до Габриеля Биля проблемы и их детализация демонстрируют полную преемственность. Каждый мыслитель независимо от своей одаренности, будь он гений или просто упорный труженик, учился у предшественников и влиял на развитие своих преемников. Постоянство традиции демонстрировалось не в решениях или даже самих вопросах, а в методе и тщательности исследования и формулировок.

Возможности традиции в политике, равно как в философии, музыке и изобразительном искусстве, иллюстрирует пример Англии. Кромвель и Джозеф Чемберлен олицетворяют начало и конец той высокой политической традиции, которая построила великую Британскую империю, на пике своего развития контролировавшую более 17/20 поверхности планеты. Много ли политических гениев мы видели на должности премьер-министра в течение этих столетий? Только двух Питтов. Тем не менее Англия выходила из всех главных войн того периода с возросшей мощью: Тридцатилетняя война (1618—1648), война за испанское наследство (1702—1713), войны за Австрийское наследство (1741—1763), Наполеоновские войны (1800—1815), войны за объединение Германии (1863—1871). В этот долгий период был допущен только один серьезный промах — потеря Америки (1775—1783). Сущностью английской традиции было не что иное, как применение в политике исключительно политического мышления. Кромвель-теолог ссылался на теологию только время от времени, и больше на словах, выражающих симпатию, чем на деле. Наследники традиции его имперского строительства не обременяли себя его тяжелым теологическим оснащением, трансформировав его в ханжество (*cant*) — это слово не переводится на другие европейские языки. Именно благодаря ханжеству ан-

глийская дипломатия постоянно добивалась успеха в мире фактов, то есть в мире насилия, коварства и греха, сохраняя в собственных глазах позицию бескорыстной моральности. Приращение страны новыми владениями представлялось как «несение цивилизации» «отсталым» расам. И так далее, по всему спектру политической тактики.

Этот пример показывает одну из главных особенностей традиций: они эффективны только при *серьезном* их применении мастерами своего дела. Когда в XIX веке, в ходе англizations Европы, остальные европейские политики попытались проявлять ханжество, они лишь всех насмешили. Американский всемирный спаситель Вильсон, скромно предложивший себя в президенты мира, основанного на морали, зашел слишком далеко. Для успешного использования ханжества требовалось безошибочное чутье (*tact*), которое могло развиваться только у того, кто вырос в абсолютно ханжеской атмосфере. Точно так же принадлежность к австрийскому офицерскому корпусу, этических качеств которого не хватало офицерам Наполеона, предполагала тренировку длиною в жизнь в определенной среде, а не трехмесячную военную подготовку на основе «проверки умственных способностей».

Великое достоинство традиции состоит в том, что человек, в данный момент оказавшийся лидером, не одинок: отсутствующие у него качества, которые могут понадобиться в данной ситуации, наверняка найдутся у окружающих. Главное, что наличие политической традиции практически исключает возможность занятия высокого политически-авторитетного положения слабым и некомпетентным лицом, а если это все же случается, то традиция обеспечивает его скорый уход. Можно возразить, что этому противоречит пример лорда Норта, но изначальные просчеты его американской политики оказываются таковыми только ретроспективно. Последуй за ними строгие меры, Америка не была бы потеряна. Однако домашняя позиция Норта между вигами, с одной стороны, и монархом — с другой, была крайне затруднительной, а его политике сопротивлялись все те же рационалистические элементы, которые на континенте проповедовали «общественный договор» и «права человека». В свою очередь успешное предотвращение революций и террора, начиная с дела Уилкса (середина XVIII века) и заканчивая кошмаром 93-го, а также всеобщими революционными волнениями 1830 и 1848 гг., объясняется наличием в Англии неповрежденной традиции.

Традиция вовсе не дает жесткую гарантию определенных результатов, поскольку в истории как раз случаются неожиданности. Иногда происходит нечто совершенно невыносимое. Случай выступает контрапунктом судьбы. Небольшой разрыв может случиться также и в традиции, но здоровый традиционный слой способен быстро залечить рану. Традиция государственной мудрости сродни платоновской идее совершенства (Platonic idea of excellence), которая формирует людей с учетом их возможностей и служит формой для их личного выражения. О результатах свидетельствует *высокий средний уровень* обучения и способностей. Политическому организму, руководимому такими людьми, сопутствует удача. То, чего не хватает в одном месте, берется в другом, а личным капризам не позволено становиться политическими догмами. Итог присутствия традиции в политической единице выражается в том, что она *уверенно следует собственной судьбе, и случайность минимизируется.*

Гений

Термин «гений» применительно к определенному тонкому слою человечества вошел в словоупотребление западной культуры только в эпоху гуманизма. В XX веке мы называем гением того, кого Эмерсон называл «образцовым человеком (Representative Man)», а Карлейль «героем». Соответствующее нашей эпохе содержание этого слова всесторонне обосновал в своей трактовке проблемы гения выдающийся европейский ученый Ланге-Эйхбаум.

Мы больше не рассматриваем гения в аспекте каузальности или предопределения. Так мог понимать его только материализм. Ницше расправился с идеей предопределения применительно к гению таким афоризмом: чем более высокий тип представляет собой человек, тем менее вероятен его успех, что объясняется повышенным разнообразием и сложностью его жизненных условий. Таким образом, слово «гений» на протяжении столетий приобрело в основном *объективное* содержание и стало непременно связываться с идеей *известности*. В чисто субъективном понимании оно просто указывает на человека огромной творческой силы. Такие люди всегда есть, при этом их творческие способности находят применение в любом из многочисленных направлений культуры. Творческую силу стали измерять успехом, а именно личным успехом, которого добился человек, превратив

свой потенциал в произведение мысли или деяние. Речь здесь не идет об абсолютном успехе, поскольку тогда вообще не нашлось бы гениев. Ни Валленштейн, ни Кромвель, ни Наполеон, ни Герой нашей эпохи не добились *абсолютного* успеха. Однако успех каждого был *личным* — в том смысле, что потомки могут прочесть его имя на ночном небосклоне.

Направление реализации творческих способностей гениальных людей сильно зависит от духа времени, поэтому в период готической религии многие гении становились священниками, философами, святыми и мучениками. В эпоху Просвещения гениальные люди оказывались художниками и универсальными людьми. В период цивилизации гениальность направлена в основном на внешние достижения: технические, экономические, политические и военные. Во все времена существуют все тенденции, но преобладает какая-то одна. Высокая политика уместна в любую эпоху, и она же будет руководящей идеей в обозримом будущем: творческие люди сосредоточатся в основном на возрождении авторитета.

Полная глупость рационализма и материализма с наибольшей очевидностью проявилась в попытке объяснить гениальность в терминах *интеллекта*. Были даже придуманы наивные «тесты» для определения «гениальности», которую выражали определенным *числом*. В эпоху материализма считалось вполне возможным взвесить или измерить способности души. Факт же состоит в том, что интеллект является функциональной противоположностью гения. Сущность интеллекта — препарирование и анализ; сущность гения — созидание и синтез. Интеллект интересуется частью, гений — целым. Они относятся друг к другу как земное к астральному, счет к воображению.

Следует заметить, что если гений наделен *огромной* творческой силой, то любому человеку ее тоже отпущено вполне достаточно, чтобы потомкам не было стыдно за его жизнь.

Интерес XX века сосредоточен на политике, поэтому далее мы остановимся на значении гения в этой сфере и для лучшего понимания сравним с ролью традиции в политике. Традиция обеспечивает устойчивую реализацию идеи, развивая имеющийся талант до высокого среднего уровня. Как средство актуализации идеи, она стоит выше гения, поскольку традиция имеет такую же продолжительность жизни, как и идея, тогда как гению отводятся стандартные семьдесят лет. После ухода гения остается пустота, а традиция прекращается только с завершением самой идеи. В широком смысле Кромвель положил начало английской нацио-

нальной политической традиции. Однако в узком, *личностном* смысле он не основал традиции, поскольку не прошло и нескольких месяцев после его смерти, как вернулась династия, а тело Кромвеля эксгумировали и протащили лошадьми по улицам Лондона. Но с тех пор, как английская политическая традиция была сформирована в кромвелевском духе, она просуществовала вплоть до Джозефа Чемберлена. Кем же является гений в политике? Как он проявляет себя в этой сфере? Ответ прост: *он воплощает идею будущего*. Если сравнить отношение к настоящему масс, традиции и гения, можно сказать, что массы всегда позади настоящего, традиция в любой момент готова приспособиться к будущему, но гений воплощает собой неудержимый прометеевский порыв в будущее.

Самореализация гения зависит от его признания культурным слоем или носителями [идеи] нации. Таланту становится доступным для понимания все, что способен вообразить или создать гений, когда оно уже реализовано, однако вначале все гениальное воспринимается как *фантастика*. Александр Великий, Фридрих Великий, Кромвель, Наполеон и герой нашей эпохи в начале своей карьеры казались всем людям не от мира сего, не имеющими отношения к реальности — и небезосновательно, поскольку эти люди жили уже в *новом мире*, в *следующей* реальности.

В этой связи термин «настоящее» — всего лишь фигура речи. Фактически в мире политики нет настоящего, есть только напряженная точка между прошлым и будущим. Гений в политике *всегда* принадлежит будущему. Гений — великая творческая сила; в сфере деятельности творчество заключается в *деяниях* как форме реализации будущего.

В самом начале цивилизационного периода западной культуры друг другу противостояли два экстраординарных человека — Наполеон и Меттерних. Гением был только строитель империи; его оппонент, обладая такими же политическими навыками, пониманием «реалий» времени и силой характера, был просто консерватором, служителем прошлого. «Реалии», которые он осознавал, принадлежали предшествующей, а не грядущей реальности. Новый дух эпохи, новую реальность утверждает появляющийся время от времени гений наполеоновского склада. Таланту меттерниховского образца не достает видения, свойственного гению, и только от случая зависит, станут ли они противниками. Родись Меттерних французом, он был бы наполеоновскими министром.

Какие же качества политического гения определяют его мастерство и внутренний императив? Первое — это *видение*. Он видит возможности, связанные с будущим, и потому его ум не чувствует препятствий, мешающих мыслить обычному человеку. Для прозаического ума все, что есть, выглядит конечной стадией предыдущего развития, а будущее видится просто продолжением прошлого. Второе — *чистота духа*. Обычный человек — это эклектик, в голове у которого сотни противоречащих друг другу идей и верований. Не таков творческий ум в политике: его мысль держится *одной-единственной* линии. Этим пользуются его враги, чтобы убедить всех в его душевной болезни, и это им всегда удавалось, от Александра до Героя нашей эпохи. Но политический гений и его враги относятся к двум разным историческим категориям. Его имя отливается в бронзе как символ, смысл, апофеоз и воплощение духа времени, тогда как его враги в этом высшем плане оказываются только материалом, из которого он высекал свои творения.

Третье качество — *энергия*: гений дает команды, его голос резок и нетерпим. Он требует и заставляет стремиться вверх. Гением постоянно движет внутренний хаос, предвещающий *созидательную* работу. Воинов Фридриха или Карла XII не мог остановить пятикратный тактический и тридцатикратный стратегический перевес противника. Но такого не наблюдалось под командованием Лаудона, эрцгерцога Карла или Гранта, которые компенсировали недостаток духа сокрушительным численным превосходством.

Четвертое качество — *ощущение миссии*. Видение, чистота и энергия — все это сходится в этическом фокусе. Все, что видится гению, несет печать неминуемости: он *должен* это реализовать. Отсюда сильное *драматическое* влияние политического гения на факты истории. Его грандиозная миссия касается всех, и они либо с ним, либо против него. Он становится центром мира.

Наконец, непостижимость гения. Он есть жизнь в ее наивысшем человеческом воплощении, а жизнь сама по себе необъяснима, иррациональна, таинственна. Гений обладает чем-то таким, что заставляет людей *духовно расти*. Это Нечто приносило Наполеону победу почти в каждом сражении, оно же восседало, как орел, на плече Мольтке, когда он спокойно разрабатывал форму XX и XXI столетий. Может быть, это всего лишь свойство личности, сопутствующее необычайным дарам, или же трансцендентальная эманация высшего организма — мы не знаем. Но это существует.

Гений и эпоха абсолютной политики

Не подлежит сомнению, что традиция, опирающаяся на немеркнущий талант идущих друг за другом поколений, важнее гения для задач реализации идеи в ее совершенстве. Но идея будет реализована и без них: вместе или по отдельности традиция и гений оказывают влияние только на ритмическую точность и внешнюю чистоту процесса жизни.

Душа каждой культуры — это организм, в силу чего ей свойственна индивидуальность. Она отпечатывается на всем, что связано с культурой, включая ее исторический стиль. Подобно тому, как личности отличаются способом самовыражения (один человек силен и властен, другой — спокоен, но не менее результативен), так и высокие культуры. В этом смысле классическая культура сильно отличалась от нашей. Ее исторический стиль определяла случайность. Акценты не были остры, переходы бессознательны или не обозначены резкими поворотными пунктами, как в западной истории. Пока число ее гениальных людей не сократилось, они не играли заметной роли. В гениях было сосредоточено меньше силы.

Западные нации также были свидетелями великих свершений, которые не сопровождались сосредоточением всей идеи в одном человеке. Например, германские освободительные войны 1813—1815 гг., английский переход к демократии 1750—1800 гг.

Однако в середине XX столетия мы повсюду наблюдаем катастрофические последствия двухвекового рационализма: высокие старые традиции Запада в основном разрушены. *Горизонтальная* война банкира и классового бойца против западной цивилизации свела на нет прежнее качество. Но история не остановилась, и величайший императив снова работает в политической сфере. Рождается новая *традиция качества*. Как сказал философ нашей эпохи, в мире больше не существует сакральных форм политического бытия, сам возраст которых гарантирует им неприкосновенность.

Поскольку в политической сфере западной цивилизации отсутствует действующая традиция, можно ожидать, что западная потребность в острых исторических акцентах сосредоточит гигантские силы в руках отдельных людей. Герой нашей эпохи был символом будущего.

История не кончается, и ни один человек не может быть важнее истории. Отношение политического гения к массам неправильно понималось материалистами и даже Ницше. Матери-

ализм считал, что великий политик обречен работать на (конечно же) *материальное* улучшение жизни масс. Ницше видел предназначение масс только в рождении великих людей. Но идея *цели* не способна описать процесс, как он *есть*. Независимо от любой идеологии великие люди и массы составляют единство; и те и другие служат идее, приобретая историческое значение только в присутствии противоположного полюса. Карлейль озвучил инстинктивную потребность современной эпохи, когда вновь четко осознается идея авторитета и монархии: найти *способнейшего человека*, и пусть он будет королем.

Демократические идеологи, зарывшие свои головы глубоко в песок, говорят, что монарх может оказаться плохим. Но императив истории состоит не в том, чтобы произвести совершенную систему, но в том, чтобы исполнить историческую миссию. Именно он привел к демократии, и он же теперь, не обращая внимания на скулеж из прошлого, прислушивается к рокоту будущего. Хорошие или плохие, но монархи возвращаются.

На фронте шатающегося здания высечено витиеватыми буквами: «Демократия». Но за этим видится кассовый аппарат и сидит банкир, перебирающий руками деньги, в которые превратилась кровь европейских наций. Он в ужасе поднимает глаза при звуке марширующих ног.

Будущее Запада требует вручить великие силы в руки великих людей. Восстановление политической традиции — в этом надежда; на хаос 1950-го надежды нет. Только великие люди смогли перебросить мост через пропасть.

Раса, народ, нация, государство

I

Концепции расы, народа, нации и государства образца XIX века имеют исключительно рационально-романтическое происхождение. Они являются результатом навязывания живым созданиям способа мышления, пригодного для решения только материальных проблем, поэтому все эти концепции — материалистические. Применительно к живым существам «материалистический» означает «поверхностный», потому что в жизни как таковой *первичен дух*, а материальное просто служит средством для его выражения. Будучи рационалистическими, концепции XIX века в основном *не имели отношения к фактам*, поскольку

ку жизнь иррациональна и не поддается неорганической логике и систематизации. Эпоха, в которую мы вступаем и осмысляем здесь, — это эпоха политики, следовательно, эпоха фактов.

Более широкая тема — адаптация, здоровье и патология высоких культур. Для понимания важнейших проблем культурного витализма необходимо исследовать отношения культуры со всевозможными человеческими группами. Поэтому следует без предубеждений рассмотреть природу этих групп, чтобы добраться до их подлинной сути, происхождения, жизни и взаимоотношений.

Неодушевленные материальные предметы сохраняют свою идентичность многие годы, поэтому когда особый тип мышления, подходящий для операций с подобными объектами, применялся к политическим или иным человеческим общностям, существовавшим в 1800 г., они представлялись чем-то *априорным*, заложенным в самых глубинах неизменной реальности. Все — изобразительное искусство, литература, государство, техника и культура в целом — считалось творением одного из этих «народов». Однако подобные взгляды не согласуются с историческими фактами.

Первая по порядку концепция — это концепция расы. Материалистическое расовое мышление XIX века привело к особо тяжким последствиям для Европы, когда его соединили с одним из движений начала XX века, направленных на восстановление авторитета.

Любое чрезмерное теоретическое оснащение политического движения — это роскошь, которую Европа 1933—2000 гг. себе позволить не может. Она уже дорого заплатила за романтическое увлечение старомодными расовыми теориями — их следует отбросить.

II

У термина «раса» есть два значения, которые мы рассмотрим по очереди, а затем определим их соответствующую ценность в эпоху абсолютной политики. Первое значение — объективное, второе — субъективное.

Ряду человеческих поколений, родственных по крови, свойственна привязанность к одному и тому же ландшафту. Кочевые племена скитаются в более широких, но тоже ограниченных пространствах. В пределах родного ландшафта формы растительной и животной жизни имеют местные особенности, от-

личающиеся в разных областях, населенных одними и теми же родами и племенами.

Антропологические исследования XIX века установили математически обоснованный факт, который подтвердил влияние почвы. Было обнаружено, что население каждого региона мира характеризуется собственным средним черепным индексом. Что еще важнее, измерения, проведенные в Америке над иммигрантами из разных частей Европы и затем над их детьми, рожденными в Америке, показали, что этот черепной индекс определенно связан с почвой, поскольку сразу изменяется в новом поколении. Так, долихоцефальные евреи из Сицилии и брахицефальные евреи из Германии давали потомство с одинаковыми средними размерами головы, специфически американскими. Телесные параметры и продолжительность развития были еще двумя показателями, оказавшимися в среднем одинаковыми у любых жителей Америки — индейцев, негров, белых — независимо от средних показателей и продолжительности развития в странах или племенах, откуда они произошли. У детей ирландских иммигрантов, прибывших из страны с очень длинным периодом развития, реакция на местное влияние была мгновенной.

Эти и другие факты, как сравнительно новые, так и давно известные, свидетельствуют о том, что ландшафт оказывает в своих пределах влияние на человеческие племена точно так же, как на растительные и животные организмы. Механизм этого влияния нам не известен, но мы знаем его источник. Это космическое единство вещей в их тотальности — единство, которое проявляет себя в ритмическом и циклическом движении природы. Человек не исключен из этого единства, но погружен в него. Двойственность его души как человека и хищника также составляет единство. Мы различаем две его стороны для лучшего понимания, но единство от этого не нарушается. Аналогично, мы не можем нарушить единства природы, мысленно выделяя ее разные аспекты. Многие человеческие проявления, о которых мы знаем только что это, но не знаем, как это происходит, связаны с лунным циклом. Любой природный процесс является ритмическим: движение рек и волн, ветров и течений, появление и исчезновение живых организмов, видов, самой Жизни.

Человек подчиняется этим ритмам. Его специфическая конституция придает этим ритмам особую, человеческую форму. Та сторона природы человека, которая отвечает за эту связь, и есть *раса*. *Раса у человека — это грань его бытия, находящаяся во взаимоотношении с растительной и животной жизнью, а за их*

пределами — с великими макрокосмическими ритмами. Это та часть человека, которая, так сказать, генерализована и поглощена Единым, а не душой, отличающей его как вид и выводящей из круга всех остальных форм.

Жизнь проявляет себя в четырех формах: растение, животное, человек, высокая культура. При всей своей самостоятельности каждая форма связана с остальными. Животные привязаны к почве, поэтому в их бытии сохраняется растительный аспект. Раса есть выражение как растительного, так и животного начала в человеке. Высокая культура, будучи на протяжении всей жизни привязанной к ландшафту, сохраняет связь с растительным миром, независимо от того, насколько смело и свободно перемещаются ее гордые создания. Высокая политика и великие войны являются выражением животного и человеческого в природе культуры.

Некоторые из многих человеческих свойств определяются почвой, другие — племенем. Например, пигментация сохраняется при переселении в другие области. У нас еще недостаточно данных, чтобы расположить все, даже физические характеристики, по определенной схеме. Но даже будь такая возможность, это не касалось бы нашей темы, поскольку, в объективном смысле, в расе важнее всего ее духовная составляющая.

Несомненно, племена различаются по своей одаренности в определенных духовных сферах. Духовные качества не менее разнообразны, чем физические. Варьирует не только средний рост, но и средняя высота души. Почвой определяются не только форма черепа и телосложение, но также некоторые духовные черты. Невозможно поверить, что космическое влияние, которое сказывается на человеческом теле, не затрагивает самого существенного — души. Однако из-за того, что все племена основательно перемешивались, и История неоднократно снимала с них сливки, нам никогда не узнать изначальных качеств души, связанных с тем или иным ландшафтом. Мы не можем определить, какие расовые духовные качества данной популяции связаны с почвой, а какие возникли от смешения племен в поколениях. Для таких практичных веков, как этот и следующий, истоки и объяснения менее важны, чем факты и возможности. Поэтому наше дальнейшее исследование интересует реальность расы в практическом, а не метафизическом плане.

Расовую принадлежность человека мы определяем с первого взгляда, но на основании какого именно признака, материалистически объяснить невозможно. То, что воспринимается чув-

ством, инстинктивно — не поддается мерам и весам физической науки. Однако ясно, что раса связана с ландшафтом и племенной принадлежностью. Внешне она проявляется в характерном, типическом выражении лица, игре нюансов, общем облике. Отсутствие у него четких физических признаков не отменяет его существования, влияя только на способ его восприятия. Первобытное население определенного ландшафта выглядит в целом одинаково, однако пристальное изучение выявляет местные отличия, которые делят его на племена, кланы, семьи и, наконец, индивидов. *В объективном смысле раса есть духовно-биологическая групповая общность.* Поэтому любая классификация рас будет только произвольной. Материалистический XIX век предпринял несколько попыток такой классификации. Естественно, при этом учитывались лишь материальные признаки. В одном случае за основу бралась форма черепа, в другом — волосы и речевые особенности, в третьем — форма носа и пигментация. В лучшем случае это была групповая анатомия, не имевшая отношения к проблеме расы.

Люди, постоянно контактирующие друг с другом, оказывают взаимное влияние и становятся похожими. Применительно к индивидам было давно подмечено, что долго состоящие в браке супруги начинают походить друг на друга физически, и то же самое свойственно группам. То, что называется «ассимиляцией» одной группы другой, не ограничивается смешением зародышевой плазмы, как полагал материализм. В основном это результат духовного влияния ассимилирующей группы на новичков, естественный и полный, если между группами нет больших барьеров. Отсутствие барьеров приводит к стиранию расовых границ, после чего образуется другая раса, как сплав двух предшествующих. Более сильный человек обычно почти не поддается влиянию, но здесь возможны разные варианты, которые будут рассмотрены ниже.

III

Мы увидели, что в своем объективном смысле раса отражает взаимоотношение между популяцией и ландшафтом и, в сущности, связана с космическим ритмом. Ее первое заметное проявление — *облик*, но в качестве невидимой реальности она выражает себя также иными способами. Для китайцев, например, признаком расы является запах. Разумеется, расовый смысл имеет также то, что воспринимается на слух — говор, песня, смех. Еще

один расовоспецифичный феномен — восприимчивость к болезням. Японцы, американцы и негры отличаются разной резистентностью к туберкулезу. Согласно американской медицинской статистике, евреи чаще страдают нервными недугами и диабетом и реже туберкулезом, чем американцы; фактически статистика заболеваемости у евреев совершенно иная. К расе также имеют отношение жесты, походка, одежда.

Однако важнейшим *видимым* признаком расы является *лицо*. Мы не знаем, что именно в физиогномике выдает расовую принадлежность, а попытки установить это с помощью статистики и измерений не могут считаться удачными. По этой причине либералы и другие материалисты *отрицали существование рас*. Эти нелепые воззрения пришли из Америки, которая поистине является огромной расовой лабораторией. На самом деле эта доктрина подталкивает к осознанию абсолютной несостоятельности рационализма и научного понимания расы или попыток подчинить ее порядку, принятому в физических науках. Невозможность всего этого была давно понятна тем, кто придерживался фактов и сопротивлялся антифактуальным теориям. Представьте себе человека, который настолько *досконально* изучил промеры (длину носа, бровей, подбородка, ширину бровей, челюстей, рта и т. п.) всех известных ему лиц, что, увидев новое лицо, мог бы уверенно назвать его параметры. Если такому специально тренированному человеку показать некий набор записанных промеров, разве можно предположить, что в его голове сразу возникнет представление о *расовом выражении* лица, с которого были сняты промеры? Разумеется, нет, и то же справедливо для любого другого признака расы.

Другой важный объективный аспект расы находит аналогию в формах женской физиогномики, сменяющих друг друга в период поздней урбанистической цивилизации. Если определенный женский тип становится идеалом, то женщины, чувствительные к подобным вещам, очень скоро развивают такое же выражение лица. В расовой сфере существует аналогичный феномен. Представители расы со свойственным ей определенным космическим ритмом автоматически вырабатывают *инстинкт расовой красоты*, влияющий на выбор партнеров и работающий в каждой индивидуальной душе. Этот двойной стимул формирует *расовый тип*, подразумевающий определенный идеал. Разумеется, такое инстинктивное восприятие расовой красоты не имеет отношения к декадентским эротическим культам голливудского пошиба. В последнем случае идеалы индивидуально-интеллектуальны и

не имеют отношения к расе. Раса, будучи выражением космического начала, до основания пронизана стремлением к преемственности, и женщина, в соответствии с расовым идеалом, всегда вполне бессознательно оценивается как потенциальная мать сильных сыновей. Идеальный в расовом смысле мужчина — это глава семьи, обогащающий жизнь женщины, которая заботится о нем как об отце своих детей. Дегенеративный эротизм голливудского типа является антирасовым: его основная идея заключается не в преемственности жизни, но в наслаждении, предметом которого служит женщина, а мужчина — раб этого предмета.

Склонность расы к предпочтению собственного физического типа является одним из величайших фактов, который нельзя фальсифицировать, подменив идеей слияния с совершенно чуждыми типами, как попытались сделать либерализм и коммунизм в период рационалистического засилья.

Расу невозможно понять, внутренне связывая ее с феноменами из других плоскостей жизни, такими как национальность, политика, народ, государство, культура. Если в ходе истории на несколько столетий устанавливается сильная взаимосвязь между расой и нацией, это не значит, что на основе определенного расового типа впоследствии всегда формируется политическая единица. Будь так, ни одна из бывших наций Европы не сформировалась бы в том виде, в каком она существовала. Достаточно представить себе расовые отличия между калабрийцами и ломбардийцами. Что они значили для истории времен Гарибальди?

Здесь мы подходим к наиболее важному аспекту объективного смысла расы в нашу эпоху: *история может сужать или расширять границы расовой определенности*. Способ, которым это достигается, связан с духовным элементом, заложенным в расе. Так, группа, имеющая духовную и историческую общность, стремится приобрести также *расовый* аспект. Общность, в которой участвует ее высшая природа, транслируется вниз, в направлении глубинной космической составляющей человека. Поэтому в западной истории старое дворянство стремилось конституировать себя как раса, чтобы дополнить свое единство духовной стороной. Масштаб, в котором это происходило, до сих пор очевиден там, где историческая преемственность старого дворянства еще сохранилась. Важный пример в этом отношении — образование еврейской расы, которую мы знаем по тысячелетней жизни в европейских гетто. Оставляя пока в стороне специфическое мировоззрение и культуру еврея, отметим, что такая общность судьбы, на каком бы фундаменте она изначаль-

но ни сформировалась как таковая, выковывает из группы расу, равно как и духовно-историческую единицу.

Раса влияет на историю, поставляя для нее материал, принося свои сокровища крови, чести и сильных инстинктов. Со своей стороны, история влияет на расу, накладывая на высшие исторические единицы, кроме духовной, также и расовую печать. Раса есть более глубокий план бытия в том смысле, что она ближе к космосу, теснее соприкасается с первичными стремлениями и побуждениями *жизни в целом*. История — это поверхностный план бытия, где все сугубо человеческое и в первую очередь относящееся к высокой культуре, выступает в виде дифференциации *жизненных форм*.

Способ, которым осуществляется *расизация* исторической единицы, как это было с европейской знатью, состоит в том, что в такой группе космос неминуемо пробуждает идеальный физический тип и инстинкт расовой красоты, совместно работающие через зародышевую плазму и внутри каждой души, чтобы придать этой группе особенный облик, выделяющий ее в потоке истории. Когда из-за превратностей истории эта общность судьбы исчезает, исчезает и данная раса, чтобы больше не вернуться.

IV

Теперь можно уверенно опровергнуть фундаментальные заблуждения материалистической интерпретации расы, принятой в XIX веке.

Раса *не* сводится к групповой анатомии.

Раса *не* является независимой от почвы.

Раса *не* является независимой от Духа и Истории.

Расы *не* поддаются классификации, кроме как на произвольной основе.

Раса *не* является жесткой и постоянной совокупной характеристикой людей, не меняющейся на протяжении истории.

Мировоззрение XX века, основанное на фактах, а не физико-механических представлениях, видит расу *текучей*, струящейся вместе с историей сквозь жесткую скелетную форму, заданную почвой. История приходит и уходит, и так же, в событийном симбиозе с ней, раса. Крестьяне, возделывающие сегодня землю под Персеполисом, принадлежат к той же расе, которая сеяла или кочевала здесь за тысячу лет до Дария, хотя она могла по-разному называться тогда и теперь. Однако в то же самое время

здесь завершила себя высокая культура, породившая расы, уже навсегда ушедшие.

Последняя ошибка материализма XIX века — путать имена с историческими и расовыми общностями — была одной из самых роковых. Имена лежат на *поверхности* истории, а не укоренены в ее ритмической, космической основе. Если сегодняшние жители Греции носят то же коллективное имя, что и население данной территории во времена Аристотеля, говорит ли это о наличии исторической преемственности? Или расовой преемственности? Имена, как и языки, имеют собственные судьбы, совершенно независимые от других. Поэтому общий язык жителей Гаити и Квебека не дает повода приписывать им общее происхождение, хотя к такому результату с необходимостью приводят методы XIX века, если их применять к известному нам настоящему, равно как и к интерпретации прошлого на основании сохранившихся имен и языков. Сегодняшние жители Юкатана в расовом отношении те же, что и в 100 г. н. э., несмотря на то что говорят они по-испански, а раньше пользовались теперь уже исчезнувшим языком и были известны под другим именем. За истекшее время произошел подъем, завершение и исчезновение высокой культуры, но с ее уходом раса вернулась в качество первозданного, простого отношения между племенем и ландшафтом. Не стало высокой истории, которая могла бы на нее повлиять или наоборот.

Во времена египетской культуры народ, называвшийся ливийцами, дал имя определенной территории. Значит ли это, что все, кто обитал здесь с тех пор, связаны с ним родством? В 1000 г. н. э. пруссы не были европейским народом. В 1700 г. «Пруссией» уже называли нацию европейского типа. Европейские завоеватели просто взяли имя вытесненных племен. Все, кого мы называем разными именами: остготы, вестготы, юты, варяги, саксы, вандалы, норманны и даны — произошли из одного и того же расового материала, но имена об этом молчат. Иногда человеческая общность дает свое имя территории, поэтому, когда ее вытесняют, старое имя переходит к завоевателям, как было в случае Пруссии и Британии. Иногда группа называется по территории, как американцы.

В контексте симбиоза расы с историей *имена носят случайный характер*. Сами по себе они не говорят о какой-либо внутренней преемственности. То же самое относится и к языку.

Осознав, что, говоря об истории, мы на самом деле подразумеваем высокую историю, то есть историю высоких культур,

и что эти высокие культуры представляют собой органические общности, выражающие свои внутренние возможности в разворачивающемся перед нами изобилии форм мышления и событий, мы начинаем глубже понимать тот способ, которым реализуется история, независимо от имеющегося в ее распоряжении человеческого материала. Она кладет отпечаток на этот материал, создавая из первоначально очень разных биологически групп *исторические единицы*. В гармонии с космическими ритмами, управляющими всем живым от растения до культуры, историческое единство приобретает особую расовую составляющую, образуя *новое* расовое единство, отличное по своему духовно-историческому содержанию от прежнего, первобытного, простого отношения между племенем и почвой. Но с прекращением высокой истории, завершением культуры, духовно-исторический смысл уходит навсегда, и снова воцаряется первобытная гармония.

Первичная, биологическая история общностей, захваченных высокой культурой, в этом процессе роли не играет. Прежние имена туземных племен, их скитания и лингвистические особенности — все это не имеет значения для высокой истории, как только она отправляется в путь, начиная, так сказать, с чистого листа. Такой она и остается благодаря способности вбирать в свой дух любые элементы. Со своей стороны, новые элементы не могут ничего дать культуре, обладающей *индивидуальностью* более высокого ранга, и потому — собственным единством, на которое другой такой же организм способен повлиять лишь поверхностно. Тем более никакая человеческая группа, оказывающаяся на территории культуры, никоим образом не может повлиять на ее внутреннюю природу: ей либо приходится воспринять дух этой культуры, либо нет, третьего не дано.

Органических альтернатив всего две: жизнь или смерть, болезнь или здоровье, движение вперед или дисторсия. Когда под внешним воздействием организм сходит со своего истинного пути, непременно следует кризис, полностью охватывающий жизнь культуры и зачастую обрекающий судьбу миллионов на смуту и катастрофу. Однако об этом позже.

Объективный смысл расы имеет другие аспекты, важные для мировоззрения XX века. Мы увидели, что расы, если понимать их как первобытные общности, простые отношения между почвой и человеческим племенем, по-разному одарены для исторических целей. Поскольку история и раса оказывают друг на друга взаимное влияние, следует рассмотреть *иерархию рас*.

Материалистам так и не удалось создать анатомическую классификацию рас. Но расы можно классифицировать по функциональным способностям, начиная с любой отдельной функции. Поэтому иерархия рас может быть основана на физической силе, и не стоит сомневаться, что негры заняли бы вершину такой иерархии. Однако такая классификация не имеет смысла, поскольку физическая сила не является сущностью человеческой природы в целом, тем более если речь идет о культурном человеке.

Основной импульс человеческой природы, возвышающий его над инстинктами самосохранения и пола, которые объединяют человека с другими формами жизни, — это воля к власти. Борьба за существование среди людей крайне редка: если борьба и ведется, то за управление, то есть за власть. Это происходит в супружеских парах и семьях, кланах, племенах и между народами, нациями, государствами. Следовательно, в свете исторических реалий имеет смысл построение иерархии рас на основе интенсивности воли к власти.

Разумеется, подобная иерархия не может оставаться неизменной. Поэтому школа Гобино, Чемберлена, Осборна и Гранта соседствовала с материалистической школой, провозгласившей, когда не смогла обнаружить расы своими методами, что их не существует вообще. Ошибкой первых было допущение неизменности — как в прошлом, так и в будущем — рас, которые окружали их в ту эпоху. Они рассматривали расы в качестве строительных блоков, исходного материала, игнорируя их связь с историей, духом и судьбой. Но они по крайней мере признавали существующие расовые реалии своего времени, ошибаясь только в том, что полагали эти реалии жесткими, то есть существующими, а не становящимися. В их трактовке присутствовали также следы генеалогического мышления, но такого рода мышление является рассудочным, а не историчным, поскольку история использует человеческий материал, имеющийся под рукой, не задаваясь вопросом о его прародителях, и в процессе использования этот человеческий материал ставится в отношении к всеобъемлющей мистической силе судьбы. Пережиток генеалогического мышления заставлял проводить умозрительные границы между культурными народами там, где их на самом деле не было. В ходе своего дальнейшего развития материалистическая тенденция распространила принципы наследственности, которые Мендель открыл для определенных растений, на человеческие расы. Та-

кой подход был изначально бесплоден, и по прошествии почти столетия, не давшего результатов, его следует отбросить ради мировоззрения XX века, которое рассматривает историю и ее материал именно в историческом духе, а не с точки зрения таких наук, как механика или геология.

Тем не менее школа Гобино по крайней мере опиралась на определенный факт, поэтому она ближе к реальности, чем ученые глупцы, оторвавшие взгляды от своих линеек и таблиц, чтобы объявить о кончине расы. Этим фактом была культурная иерархия рас. В те дни слово «культура» использовалось для того, чтобы отличать литературу и искусство от таких уродливых и brutальных вещей, как экономика, техника, война и политика. Следовательно, эти теории тяготели к рассудку, а не к душе. С приходом мировоззрения XX века и его очищения от всех материально-романтических теорий единство культуры стало восприниматься через все ее разнообразные проявления в виде искусства, философии, религии, науки, техники, политики, государственных форм, расовых форм и войны. Поэтому иерархия рас в нашем столетии основывается на степени воли к власти.

Такая классификация рас тоже произвольна с интеллектуальной точки зрения, не менее чем классификация на основе физической силы. Однако только она является уместной в данную эпоху, не будучи жесткой, поскольку превратности истории в этой сфере важнее передаваемых по наследству качеств. Сегодня индусы не существуют как *раса*, хотя раньше такая раса была. Это имя — продукт завершенной истории, не соответствующий какой-либо расовой группе. Равно нет ни баскской, ни бретонской, ни гессенской, ни андалузской, ни баварской, ни австрийской рас. Аналогично расы, существующие сегодня в нашей западной цивилизации, также исчезнут, когда история пойдет дальше.

Источником иерархии рас служит история, сила событий (*forces of happening*). Например, англичан как отмеченную особой расовой печатью европейскую популяцию, два столетия державшую в повиновении сотни миллионов азиатов с помощью горстки солдат, мы наделяем высокой степенью воли к власти. На протяжении XIX века Англия контролировала 300 млн индийцев силами небольшого гарнизона численностью в 65 тысяч белых.

Голые цифры могли бы обескуражить, если бы мы не знали, что Англия была нацией, служившей высокой культуре, а Индия — просто ландшафтом, в котором когда-то давно существовала высокая культура, подобная нашей, но теперь он вернулся

в свою докультурную первобытность, царящую среди руин и памятников прошлого. Зная это, мы понимаем, что источник такой настойчивой воли к власти по крайней мере отчасти объясняется силой судьбы той культуры, представительницей которой была Англия.

Читая об успехах отрядов Кортеса и Писарро, мы видим, что речь также идет о расе, обладавшей высокой волей к власти. В данном случае это были испанцы. С какой-то сотней людей Писарро пошел против империи, насчитывавшей миллионы. Предприятие Кортеса было не менее дерзким, и оба добились военной победы. Раса рабов на такое не способна. Ацтеки и инки не были населением, лишенным расы: они являлись представителями другой высокой культуры, в свете чего подвиги испанцев выглядят почти невероятными.

Во времена революционных и Наполеоновских войн культурной идее служила французская раса, миссией которой была смена общего направления движения от культуры к цивилизации через открытие эпохи рационализма. Огромная сила, которой эта живая идея наделила французские войска, демонстрируется двадцатилетней чередой военных побед над всеми армиями, брошенными против нее разными европейскими коалициями. Под личным командованием Наполеона французы одержали победу более чем в 145 из 150 сражений. Раса, способная выдержать такое испытание, обладала высокой волей к власти.

В каждом из этих случаев расу создавала История. Применительно к подобной единице слово *раса* подразумевает два элемента: сочетание племени с ландшафтом и духовную общность истории с культурной идеей. В этом смысле расы состоят, так сказать, из двух *слоев*: в основании — мощное первобытное бие-ние космического ритма в конкретном племени, а сверху — формообразующая, творческая, движущая судьба высокой культуры.

Когда в 1267 г. Карл Анжуйский обезглавил Конрадина, последнего императора из Гогенштауфенов, Германия на пятьсот лет исчезла из европейской истории как единица, имевшая политическое значение, и вновь появилась в XVIII столетии, раздвоенная на Австрию и Пруссию. В течение этих веков высокую историю Европы творили другие державы, в основном за счет собственной крови. Это означало, что (по сравнению с огромными потерями крови, понесенными несколькими поколениями других держав) Германия оказалась *сохранена*.

Чтобы верно оценить данный факт, следует вернуться к чисто биологическим корням европейских рас.

Первобытные популяционные потоки, двигавшиеся с севера Евразии с 2000 г. до н. э. по 100 г. н. э. и позже, состояли, судя по всему, из родственных племен. Варвары, называемые касситами, покорили остатки Вавилонской культуры около 1700 г. до н. э. В следующем веке северные варвары, которых египтяне называли гиксосами, овладели руинами египетской цивилизации и стали там править. Арии, еще одна варварская орда с севера, покорили индийскую культуру. Популяции, переселявшиеся в Европу на протяжении более полутора тысяч лет вплоть до 1000 г. н. э. под разными именами (франки, англ, готы, саксы, кельты, вестготы, остготы, лангобарды, белги, норманны, викинги, даны, варяги, германцы, алеманны, тевтоны и другие), принадлежали к одному племени. Весьма вероятно, что завоеватели древних цивилизаций Востока имели общие корни с западными варварами, столетиями угрожавшими Риму и в итоге его разграбившими. Важным признаком этого племени были светлые волосы. Где бы сегодня ни встречались белокурые люди, это говорит о том, что когда-то в прошлом туда проникли представители этого северного племени. Северные варвары покоряли туземное население всей Европы и повсеместно формировали верхушку, обеспечивавшую управление, военную силу и закон. Таким образом, они стали правящим слоем на территориях, теперь известных как Испания, Италия, Франция, Германия и Англия. Их численное соотношение в одних местах было выше, чем в других, и с возникновением западной культуры около 1000 г. н. э. именно в этом властном первобытном слое закрепились ее идеи. Племя покорителей завершённых цивилизаций само было избрано для реализации судьбы высокой культуры.

Этот первобытно-биологический популяционный поток отличался сильной волей. Как раз эта *сильная воля*, а не только внутренняя идея самой культуры, придала европейской истории невиданную мощь, проявленную во всех направлениях мысли и действия. Вспомните викингов, в предрассветных сумерках нашей истории добравшихся из Европы в Америку на своих легких кораблях! Этот человеческий материал передал свою кровь европейским расам, народам и нациям. Именно этому живому сокровищу Запад обязан своей доблестью на полях сражений, и этот *факт* известен всем миру, укладывается он в теорию или нет. Спросите у генерала любой армии, желал бы он командовать дивизией солдат, набранных в Померании, или же дивизией негров.

К несчастью для Европы, среди российских популяций также присутствует мощная струя этого северного варварского племени. Но там она не служит высокой культуре, относясь к нам, как галлы относились к республиканскому и имперскому Риму. *Раса служит материалом для событий*, и она подчиняется воле к разрушению так же, как и воле к созиданию. Варварское северное племя в России продолжает оставаться варварским, и его негативная миссия наложила на него свой расовый отпечаток. История создала русскую расу, которая постепенно расширяет свои расовые границы, вбирая и заряжая разрушительной исторической миссией остальные популяционные потоки на своей огромной территории.

В иерархии рас, основанной на воле к власти, новая русская раса занимает высокий ранг. Эта раса не нуждается в морализаторской пропаганде для разжигания своей воинственности. Ее варварские инстинкты *наготове*, и на них могут полагаться ее лидеры.

Благодаря текучей природе рас даже их иерархия, основанная на воле к власти, не может окончательно привести в систему все существующие ныне расы. Следует ли сикхов ставить выше сингальцев, а американских негров — выше индейцев аймара, или наоборот? Однако задача расположения разных рас в соответствии с их волей к власти является *практической*, и в первую очередь касается нашей западной цивилизации. Можно ли найти применение этому знанию? Ответ таков, что не только *можно*, но и *необходимо*, если Западу предстоит прожить отведенный ему срок и не попасть в рабство к ордам азиатских разрушителей под руководством России, Японии или другой воинственной расы.

Чтобы использовать эту информацию с полным пониманием, исключая возможность старомодных заблуждений, следует рассмотреть субъективный смысл расы, за которым стоят идеи, выражаемые терминами *народ*, *нация* и *государство*.

Субъективный смысл расы

I

Раса, как уже говорилось, — это не *единица* бытия, но *аспект* бытия. Точнее, это аспект бытия, в котором раскрывается связь человека с великими космическими ритмами. Поэтому раса не является индивидуальным аспектом жизни, будь то жизнь растения, животного или человека.

Растение не проявляет (по крайней мере в наших глазах) сознания, то есть *напряженности* в отношении своей среды. Поэтому растение, так сказать, обладает только расой, будучи полностью погруженным в космический поток. Животное проявляет напряженность, сознание, индивидуальность. Человек вдобавок обладает самосознанием, а также способностью и необходимостью жить на более высоком уровне — в мире символов. Это свойственно всем людям, но разница между первобытным и культурным человеком в этом отношении столь велика, что кажется почти качественной.

Именно с пульсом расы связаны первобытные стимулы, которые формируют *действие* в целом. С противоположной стороны влияет просвещенная часть ума — не имеющий корня рассудок, интеллект. От его силы, в сравнении с расовым планом бытия, зависит, в какой мере он, а не раса, определяет бытие.

Оба вышеуказанных аспекта свойственны и каждому индивиду, и высшей органической единице. Раса побуждает к самосохранению, к поддержанию смены поколений, к усилению власти. Интеллект определяет смысл жизни и ее цель и, по разным причинам, может отрицать один или все эти фундаментальные стимулы. И безбрачие священника, и бесплодие развратника идут от интеллекта, но первое объясняется высокой культурой, а второе — ее отрицанием, проявлением полной дегенерации. Поэтому интеллект может либо служить культуре, либо противостоять ей.

В субъективном смысле раса есть в первую очередь то, что человек *чувствует*. Это влияет (либо непосредственно, либо в итоге) на то, что он *делает*. Человек расы не рожден для рабства. Если его интеллект советует ему вместо героической смерти временно подчиниться в надежде на будущие перемены, это лишь откладывает его прорыв. Человек без расы будет постоянно подчиняться любому унижению, оскорблению, бесчестью, пока ему позволяют *жить*. Для человека без расы жизнь означает непрерывность дыхания и питания. Для человека расы ценна не сама по себе жизнь, но лишь жизнь правая, утвердительная, плодотворная, выразительная и развивающаяся.

Героизм может мотивироваться любой стороной души: мученик умирает за истину, которую он *знает*, воин, умирающий с оружием в руках вместо того, чтобы сдаться врагу, руководствуется честью, которую он *чувствует*. Но человек, умирающий за нечто высшее, показывает, что обладает расой независимо от своей интеллектуальной мотивации, потому что раса — это

способность быть честным с самим собой и верность индивидуальной души высшим ценностям (beyond-value).

В таком субъективном смысле раса выражается не только в том, как человек говорит, смотрит, жестикулирует, передвигается; это и не вопрос происхождения, цвета, анатомии, скелетной конституции или еще чего-то объективного. Люди расы встречаются повсюду, во всех популяциях, расах, народах и нациях. В каждой общности из них состоит воинство, деятельные лидеры, созидатели в сфере политики и войны.

Таким образом, в субъективном смысле тоже существует расовая иерархия. *Сверху* — люди расы, *внизу* — люди без расы. Первых великий движущий ритм Космоса втягивает в деятельность и события, вторых История перешагивает. Первые служат материалом для высокой истории, вторые переживают любую культуру, и когда после водоворота событий в ландшафте вновь воцаряется покой, они выпадают как великий осадок. Китайские матери наставляют своих детей древним афоризмом: «Держи свое сердце в скромности». Такова мудрость человека без расы и расы без воли. Люди расы снимаются, как сливки, с любой популяции, увлекаемой движением высокой культуры, и этот процесс на высотах истории длится из поколения в поколение. То, что остается — это феллахи.

В силу вышесказанного, раса в субъективном смысле связана с *инстинктом*. Человек с сильными инстинктами обладает расой, человек со слабыми или плохими инстинктами — нет. Сила интеллекта не имеет отношения к проявлению расы: она только в *некоторых* случаях, например, когда человек дает обет безбрачия, может отчасти способствовать *выражению* расы. Сильный интеллект и сильные инстинкты могут сосуществовать (вспомните готических епископов, ведших свою паству на войну), но они лишь противоположные направления мысли и действия, хотя именно инстинкты руководят также и великими интеллектуальными усилиями. *Восходящая жизнь тяготеет к инстинкту, воле, расе, крови*. Жизнь, предпочитающая рационалистические идеалы «индивидуализма», «счастья», «свободы» сохранению и усилению власти, стремится к *декадансу*, то есть к вырождению высших проявлений жизни и в конечном счете — к вымиранию расы. Интеллектуал из большого города — это типичный человек без расы. В каждой цивилизации он был внутренним союзником внешнего варвара.

Качество обладания расой, очевидно, не зависит от того, с какой расой себя отождествляет человек. В объективном смысле раса

са есть творение истории. Судьба человека должна выразить себя в определенной структуре — структуре фатума. Поэтому человек расы, рожденный в Киргизии, фатальным образом принадлежит к варварскому миру Азии с его исторической миссией разрушения европейской цивилизации. Расовые исключения, разумеется, возможны: жизнь не всегда соответствует обобщениям. Души некоторых поляков, украинцев и даже русских могут стремиться к тому, чтобы приобщиться к духу Запада. Такие люди принадлежат к европейской расе, а любая здоровая раса на подъеме приветствует новобранцев, принимающих ее условия и обладающих верным чутьем. В свою очередь на Западе есть множество интеллектуалов, чувствующих сродство к внешней идее — азиатскому нигилизму. Об их многочисленности свидетельствует создаваемая ими публицистика, романы и пьесы. Однако люди без расы не могут рассчитывать на взаимность — они неприятны даже врагу. Им не с чем прийти в органическую общность; это человеческая пыль, интеллектуальные атомы, зависшие между верхом и низом.

Любая раса, каким бы скоротечным ни выглядело ее существование с высоты Истории, своей жизнью воплощает определенную идею, определенный план бытия, и эта идея не может не быть привлекательной для некоторых внешних индивидов. Так, по западной жизни мы знаем людей, которые, примкнув к евреям, читая их литературу и принимая их точку зрения, фактически становятся евреями в самом полном смысле слова. Для этого не обязательно иметь «еврейскую кровь». Известно также и обратное: многие евреи воспринимают западные чувства и ритмы, приобретая тем самым качества западной расы. Этот процесс, который еврейские лидеры презрительно называют «ассимиляцией», в XIX веке поставил под угрозу само существование еврейской расы. Чтобы предотвратить окончательное поглощение еврейства западными расами, еврейские лидеры разработали программу сионизма, которая была единственным средством для поддержания единства этой расы и ее увековечения как таковой. Для этого они даже признали пользу социального антисемитизма. Это способствовало сохранению расового единства евреев.

II

Отмирание расовых инстинктов означает для индивида то же самое, что и для расы, народа, нации, государства, культуры: бесплодие, отсутствие воли к власти, неспособность верить или

следовать великим целям, отсутствие внутренней дисциплины, стремление к жизни легкой и приятной.

Симптомы этого расового упадка по всей западной цивилизации многообразны. Первый — это ужасная дисторсия половой жизни, возникающая вследствие полного отрыва половой любви от воспроизводства жизни. Великим символом этого отрыва в западной цивилизации является все, что предлагается от имени Голливуда. Послание Голливуда состоит в том, что *абсолютный* смысл половой любви — в ней самой, в эротике без последствий. Половая любовь двух пылинок, не помнящих родства индивидов, а не беспорочная половая любовь, направленная на продолжение жизни, не семья с множеством детей. Один ребенок еще допускается в качестве более сложной, чем собака, игрушки; возможно, даже два — мальчик и девочка, но многодетная семья стала у этих декадентов объектом насмешек.

Декадентский инстинкт принимает в этой сфере множество форм: отмирание брака из-за принятия законов о разводе; отмена и неисполнение в отсутствие принуждения законов против аборт; навязываемое в романах, драматургии и журналистике отождествление «счастья» с половой любовью, превознесение ее как величайшей ценности, у которой ничто не должно стоять на пути: ни честь, ни долг, ни патриотизм, ни самопожертвование во имя высшей цели. Нашу цивилизацию захлестнула эротомафия, которая, разумеется, несравнима с половой одержимостью XIII века: та по крайней мере была расово утвердительно, умножая европейское население. Теперь же царит чисто беспочвенная и «безопасная» эротика — духовная болезнь, равносильная самоубийству расы.

Ослабление воли (Ницше назвал это «параличом воли») — другой симптом отмирания расовых инстинктов, ведущий к окончательной порче общественной жизни в охваченных им расах. Главы правительств не осмеливаются предложить массам человеческих песчинок суровую программу, они самоустраиваются, оставаясь на постах в качестве частных особ. Управление прекращается, остаются только рутинные функции. Ни новых целей, ни жертвенности: пусть все идет по-старому, никакого творчества, никаких усилий — это было бы слишком! Да здравствует наслаждение, *panem et circenses*.¹ Не обращайтесь внимания на требования жизни, они только мешают нам наслаждаться.

¹ Хлеба и зрелищ! (лат.). — Примеч. пер.

Такое ослабление воли приводит к добровольному отказу от империй, завоеванных кровью миллионов людей на протяжении более десяти поколений. Оно пробуждает глубочайшее неприятие всего, что связано с аскетизмом, созиданием, будущим. Одним из его продуктов является пацифизм, и единственный способ заставить расово разлагающуюся нацию воевать — это скрестить воинскую повинность с пацифистской пропагандой: «Это последняя война, фактически — это война против войны». Только интеллектуала можно поймать на такой совершеннейший нонсенс. Слабоволие общества проявляется в большевизации верхних классов, симпатиях к врагам общества. Любой человек с неповрежденной волей воспринимается поистине как враг, отвергаются даже бесспорные доводы, ведь идеалы гораздо менее требовательны.

Из-за горизонта гибнущей расы выплывает ее последний великий идеал — *посредственность*. Всепоглощающая посредственность, отречение от всего великого и какой-либо исключительности, и конечно, посредственность расовой крови: теперь любой может соединиться с нами, не принимая наших условий, потому что никаких условий больше нет, нет и расовых отличий, все однообразно-унылое, невозмутимое, *посредственное*.

К ослаблению воли нетрудно подобрать идеологию, рационально объясняющую его как «прогресс», предел мечтаний, цель всей предыдущей истории. Либерально-демократический комплекс всегда под рукой, и в такие времена он приобретает смысл *смерти, поглощающей все* — расы, нации, культуры. Нет различий между людьми, все равны, мужчины как женщины, женщины как мужчины, «индивид» прежде всего, жизнь — это долгие каникулы, когда главная проблема — изобретение все новых и все более тупых наслаждений; нет ни Бога, ни государства; голову с плеч тому, кто заговорит о миссии, захочет восстановить авторитет.

Эти и другие симптомы обнаруживаются при самоустранении любого верхнего слоя с ослабленной волей. Токвиль описал, как французский верхний слой в 1789 г. вообще не подозревал о надвигающейся революции, а зная, стоя на пороге террора 1793-го — *spectacle terrible et ridicule*¹ — воспылала энтузиазмом относительно «природной доброты человечества», «добродетельных людей» и «невинности человека». Не участвовала ли петровская знать России в том же спектакле накануне

¹ Ужасный и нелепый спектакль (фр.). — Примеч. пер.

не 1917 г.? Царь отмахивался от призывов уехать, пока не поздно, говоря: «Мой народ не сделает мне ничего плохого». Они представляли себе русского крестьянина счастливым улыбающимся мужиком, в целом добрым. Об аналогичном безволии в некоторых западных странах свидетельствовал шквал про-российской пропаганды, распространявшейся в них, зачастую при поощрении властей, с 1920 по 1960 г.

Горизонтальная и вертикальная концепции расы

Теперь нам предстоит осмыслить важнейшее определение расы, сформулированное XX веком: *раса — это дифференциация людей по горизонтали*. Материалисты XIX века, путавшие расу с анатомией, понимали расу как вертикальную дифференциацию людей. Это была «абстракция», далекая от реальности и порожденная стремлением к систематизации, а не спокойным созерцанием живых фактов. Такое созерцание было для них затруднительным благодаря существованию политического национализма, который пытался возвести всякого рода стены между европейскими расами и народами. Но если бы эти материалисты были способны прозреть, чтобы видеть факты, они увидели бы, что европейские расы творились историей, не будучи просто потомством туземного материала, имевшегося на данной территории в 900 г. н. э., до начала здесь высокой истории. Наблюдая процесс формирования рас, они бы поняли, что субъективное содержание расы гораздо важнее объективного, потому что именно люди расы всегда возглавляют исторические деяния, а подчиненные им общности играют второстепенную роль.

Попытка создать вертикальную систему рас была *аполлонической* — основанной на силе интеллекта. На самом же деле раса определяется в первую очередь причастностью к космическому ритму, имея *дионисийский* смысл.

Точка зрения XX века на этот вопрос начинается с фактов, а непреложный факт состоит в том, что все сильные меньшинства — как внутри, так и вне высокой культуры — принимали в свое общество чужака, который к ним тянулся и желал присоединиться, объективно говоря, независимо от его расового происхождения. Расовый снобизм XIX века был *интеллектуальным*, и его слишком узкая трактовка авторитетом, возрождавшимся в Европе между первыми двумя мировыми войнами, была абсурдной.

Для единицы, исполняющей миссию, главное — это *сила воли*, которую могут принести в нее другие группы. Видеть свою историческую миссию в «защите чистоты расы» в чисто биологическом смысле — это сущий материализм. Раса и в том и в другом смысле служит материалом истории, а не наоборот. Ее вклад в миссию связан с фертильностью, верностью и волей к власти. Миссия никак не может состоять в том, чтобы сделать расу «чистой» в биологическом отношении, хотя такой результат приветствовался бы с точки зрения *эстетики*. Последнее слово напоминает о другом факторе, обусловившем трагическую связь этих устаревших воззрений на расу с сильным, витальным движением возрождения авторитета. Как уже говорилось, все концепции XIX века в отношении расы, народа, нации, государства, культуры имели рационально-романтическое происхождение. Романтика в качестве одной из сторон этого мезальянса будущего с прошлым восходит в свою очередь к романтико-эстетическим представлениям. Эстетика, однако, имеет собственную сферу и не обладает достаточной витальностью, чтобы обеспечить мотивацию политической борьбы, где ее участие может быть только помехой.

Строго *историческую* ценность в данном вопросе представляет лишь выполнение культурной миссии, даже если в ходе этого все остальное будет сметено. А что дальше? Мог ли Дарий предположить, что однажды по его террасе в Персеполисе будут бродить львы? В таком случае, что он мог бы на этот счет предпринять? История с ее великими ритмами (самыми широкими и глубокими из тех, которые нам известны) также имеет космический источник, и если культурный человек полагает, что может навязать свою волю отдаленному на тысячелетия будущему, это добавляет гордости его интеллекту, но не говорит о его мудрости. Здесь нам приходится мыслить столетиями, а не месяцами или годами. Человек должен противиться позиции *après moi le déluge*,¹ преобладающей в настоящее время. Утверждать, что имеет смысл только историческая миссия, — это не увиливание от долга, но наивысшая степень его исполнения.

Для расы не существует долга. Вертикальная расовая концепция — это абстракция, за которой ничего не стоит. Воспринятая всерьез, она уводит свою жертву с исторической дороги в эстетический тупик.

С позиций мировоззрения XX века неверно говорить, что человек *принадлежит* к расе: он либо *обладает* расой, либо нет.

¹ После меня — хоть потоп (фр.). — *Примеч. пер.*

В первом случае он имеет ценность для истории, во втором — бесполезный лакей.

Попытки интерпретировать историю в расовых терминах следует оставить. XX век смотрит на все иначе. Эти попытки были просто прихотью, модой, растянувшейся на столетие. Теперь она практически мертва. Ее последняя, самая радикальная формула попыталась даже вторгнуться в сферу действия, но эта попытка была последней. Тысячелетняя империя? — да, это было осуществлено в Индии, Китае, Египте. Но последним нациям, заложившим основания этих империй, было неизвестно, придут ли варвары, и если придут, то как скоро. Империя Монтесумы могла бы просуществовать тысячу лет, но появились испанцы. Ни раса, ни что-другое не является гарантией долговечности. На самом деле это расу следует интерпретировать в исторических терминах, поскольку именно такова фактическая очередность развития. Подобная точка зрения — не фантазия, не произвольная абстрактная картина, но отражение фактов истории.

Раса и политика

Оба смысла расы, субъективный и объективный, имеют в XX веке политическое значение. В объективном смысле раса подразумевает группу, сформированную на основе определенного фундаментального инстинктивного ритма. Эту печать на расу ставит история, которая расширяет или сужает границы данной расы в зависимости от характера и масштабов исторической миссии.

Такая раса является творением *истории*, а не схемой из учебника, вначале начерченной на бумаге, а потом перенесенной в реальность. Это не творение человека как такового, хотя человек благодаря своей личности может быть двигателем истории, а также фокусом исторической энергии, направленной на создание расы. Однако важно: если речь идет о политике, можно оперировать только *реально существующими* расами. Их нельзя создать или отменить человеческим постановлением.

Реальные расы являются *помесями*, если говорить о *породе*. С этим ничего нельзя поделать. Помесь не подразумевает «нечистоты», если говорить о подлинном, фактическом смысле этого слова. «Чистота» в расовом отношении означает подчиненность всей популяции одному и тому же космическому чувству и ритму. «Чистота» имеет отношение к *чувству*, не являясь анатомии-

ческим признаком. Это справедливо даже для самого объективного смысла слова «раса» и тем более верно для расы в субъективном смысле.

Иерархия рас есть *факт*, который должна учитывать стратегия. Сила воли русской расы — грозный факт, с которым не совладать с помощью интеллекта. Эта сила выражается в физической выносливости, позволяющей русскому солдату оправляться от ран, смертельных для западного солдата. Воля к власти, пронизывающая японскую расу, также ставит ее высоко в расовой иерархии. О силе, которую она сообщает телу нации, свидетельствуют физические показатели японской пехоты, сопоставимые лишь с одной из известных европейских наций. При этом наличие в японской нации двух разных физических типов превосходно свидетельствует о том, что чистота означает преобладание везде одного *чувства*, космического ритма, а не одинаковое строение тела, пигментацию или форму головы, поскольку в духовном отношении оба этих физических типа — *японцы*.

Слабая воля к власти у населения территорий, называемых Китаем, Индией и Африкой, в общем-то также факт, который следует учитывать в политике. Разумеется, нельзя отрицать, что некоторые племена, живущие в этих регионах, обладают сильной волей к власти; речь идет лишь об этих огромных территориях в целом. Все *факты*, имеющие отношение к действию, служат материалом для стратегии независимо от того, общие они или частные.

Несмотря на важность общих фактов для построения иерархической системы неевропейских рас, понятие расы имеет гораздо более важный стратегический аспект, и это — *сила нашей собственной расы*.

Раса — это материал Истории, дар, который население преподносит Идее. Чем сильнее расовые инстинкты населения, тем больше шансов на победу. Следовательно, все, что ослабляет силу этих инстинктов, является первейшим врагом расы, угрожая даже самому ее существованию. Эти инстинкты — самохранение, плодовитость, стремление к власти. Без них нет ни идеи, ни истории, а есть только собрание человеческих песчинок и впоследствии — пирамида черепов, возведенная внешними варварами.

Величайшим врагом расы является либерально-демократическая идеология, основанная на «индивидуализме», отрицающем все сверхличное; идеале «счастья», поощряющем любые слабости и потакающем им; эротомании, низводящей всю по-

ловую жизнь до уровня бесплодной похоти; «терпимости», разрушающей сплоченность расы, существование которой вообще не признается; материализме, ниспровергающем все духовные ценности, весь высший смысл человеческой жизни; пацифизме, ставящем слабость выше мужества; идеале посредственности, с помощью которого она противостоит любому творческому человеку и идее, которую он представляет в истории; культуре пролетария как высшего существа; тотальном отречении от человеческой души.

Отчасти эта дегенерация имеет естественные причины, но в основном она распространяется в нашей цивилизации умышленно, инородными дисторсионными элементами, принадлежащими или симпатизирующими Азии в ее ожесточенной битве на выживание с Западом, которая продолжится в этом и следующем столетии. Все, что сдерживает волю к власти и энергию Запада, очевидно, готовит его к азиатскому закланию. Поэтому мировоззрение, разъедающее западную душу, следует безжалостно и любыми доступными средствами искоренять везде, где оно таится. Если в течение XIX века — века безопасности, комфорта, делания и траты денег — человек цеплялся за свои мелкие идеалы «свободы» или «счастья», то теперь он должен от них отречься, так как глубочайшие основания жизни нашей культуры атакуются снизу и извне, и эта атака во всех случаях направлена на *тотальное разрушение*. Сохранить прежние идеалы, значит стать *внутренним врагом* Запада, долг которого — открыто объявить таковым это мировоззрение и его приверженцев. Следует заменить всю застарелую идеологию сильной и мужественной, соответствующей современной эпохе абсолютной политики. Надо выкорчевать [либерально-демократические] идеи, лидеров и методы. Любые группы, основывающиеся на этом мировоззрении свои внутренние установки и духовную ориентацию, должны быть объявлены вне закона.

В образовании молодежи западная стратегия должна поощрять сильный характер, самодисциплину, честь, целеустремленность, неприятие слабости, стремление к совершенству, превосходству, лидерству, одним словом — расу.

Человек расы дисциплинирует себя потому, что *нуждается* в дисциплине. Сильные инстинкты требуют сильной воли. Раса проявляется также в способности к осажению внутреннего хаоса, из которого только и возникает творение, будь то мысль или деяние. Сильные инстинкты служат предварительным условием любого выдающегося свершения, даже связанного с работой ин-

теллекта. Лишенная расы и корней интеллектуальная позиция не обладает внутренним императивом: по любому поводу она пожимает плечами и спрашивает: «Ну и что?» Это позиция *конченных людей* — они уже отработали свое, так и не стартовав. Они не могут ни на чем настаивать, ни к чему не побуждают, ничего не совершают. Под руководством одного и того же лидера сотня людей расы, не обладающих особыми интеллектуальными качествами, способна на большее, чем тысяча интеллектуалов с тротуаров большого города. Человек расы еще не закончен: он служит материалом для свершений.

Интеллектуал не испытывает *вдохновения*, всерьез считая энтузиазм патологией, манией. Он предпочитает сидеть в баре или кафе и расслабленно потягивать алкоголь. Разговор ведется о патетических идеалах социального и сексуального атомизма, «новых тенденциях в искусстве», «подсознании», «демократии», но над всем витает дух разложения. Это мир скуки, пресыщенного упадка, случайных встреч и связей песчинок — одним словом, *саркофаг расы*. Некрофил Бодлер был его превосходным примером: мир интеллектуала — это гниение сверхличной души. Там, где пользуется спросом материал подобного сорта, варвар с легкостью одерживает победу.

Западная политика должна учитывать эти факты. Образовательная стратегия, пропаганда, общественная жизнь должны вести расу прочь от этого кладбищенского мировоззрения. Держаться подальше от всех этих упадочных форм — значит оберегать силу расы, потворствовать им — значит ускорять ее смерть.

II

Мы говорили о том, что раса, проникнутая исторической идеей, вольна принимать в себя чужеродный человеческий материал и подчинять его своему ритму. На этом явлении следует остановиться подробно. Такие примеры мы наблюдаем на протяжении всей истории. Скажем, римляне принимали в тело своей расы всех, кто был способен романизироваться, дабы получить возможность заявлять с той же внутренней гордостью, что и жители Семи Холмов: «*Civis Romanus sum*».¹ До 1933 г. Америка таким же образом приняла в свою расу много миллионов иммигрантов из Европы и Балкан, а русские постоянно увеличивали свою чис-

¹ Я — римский гражданин (*лат.*). — *Примеч. пер.*

ленность на протяжении последних трех столетий. В каждом из этих случаев вхождение чужестранца в специфическое расовое тело заключалось в его *полном* погружении в новую идею, *полном* принятии нового плана бытия, *полном* разрыве с прежним существованием. В отношении человека слово «полный» подразумевает *душу*. Если способна прижиться душа, сможет и тело. Так, в XVIII веке французы массово селились в Бранденбурге, тысячи и тысячи немцев — во Франции. Большим числом французы расселялись по Америке, как и англичане. Огромное количество итальянцев мигрировало во Францию. Примеры можно приводить почти без конца. В каждом случае новоприбывшие исчезали как группа. В индивидуальном плане их кровь оставалась прежней в новом ландшафте, но теперь ее ток подчинялся иному космическому ритму. Французские гугеноты в Бранденбурге становились пруссаками, в Ирландии — ирландцами. Испанцы в Ирландии также становились ирландцами, англичане в Америке — американцами. Немцы во Франции становились французами, в Аргентине — аргентинцами, в Америке — американцами. В таком процессе новичок, будь то индивид или группа, не способен ничего привнести в сверхличный уровень. Его вклад ограничивается персональными инстинктивными качествами или талантом, если говорить об индивиде, или здоровыми инстинктами в случае группы. Культурный вклад они сделать не могут, поскольку он просто не может быть принят.

Общность, несущая печать одной высокой культуры, не может на культурном уровне ничего усвоить от группы, находящейся под влиянием другой высокой культуры. Вот почему разные европейские расы взаимно ассимилировались с легкостью, через поколение теряясь в новом пульсе и чувстве: они *принадлежали к одной культуре*. Даже если они представляли собой отдельные расы, тем не менее существовал высший уровень жизни, объединявший все эти расы в качестве манифестаций своего сверхличного бытия. Потому *вертикальное деление по расовому признаку не имеет отношения к людям Запада*. Такое деление также не имело силы, когда прибывшие неевропейцы не стремились сохранить свою обособленность: в период юности нашей культуры на восточных границах Европы многие тысячи славян ассимилировались европейскими расами, растворялись в них и окончательно становились европейцами. Будущая западная стратегия не должна забывать о подобных фактах.

Фактически происходит не смешивание или сплавление, а просто пополнение принимающей расы. В нее добавляется

только кровь и численность, но не привносится никакой идеи, так как идея уже есть. Только поверхностное мнение придает важность словам, фразам и даже целой лексике, а также затейливым обычаям, которые принимающая раса может усвоить от новоприбывших, ассимилируя их. Это всего лишь следы, по которым можно вернуться к истокам по прошествии поколений. Так, некоторые ирландские фамилии начинаются с «de la», испанские — с «di», французские и американские имеют приставку «von», немецкие — «de». Эти иностранные фамилии, сохранившиеся в ходе ассимиляции, свидетельствуют исключительно о преемственности по зародышевой плазме. Фактически отмечено (и давно стало частью европейской мудрости), что по крайней мере вначале новый элемент обладает более высоким излучающим (radar) потенциалом, чем сама абсорбирующая раса. Отсюда старые выражения: *Hibernis ipsis Hiberniores; papstlicher als der Papst*.¹ Человек, попадающий с периферии в эпицентр Идеи, обладает энтузиазмом, который ее старые носители уже не ощущают. То, что они принимают как должное, вдохновляет новичка своим совершенством. Отсюда такое усердие у новообращенных.

Однако в двух случаях ассимиляции не происходит, что объясняется наличием культурного барьера между двумя популяциями, которые или обе несут печать собственной культуры, или одна из них, и тогда вторая настроена чисто негативно.

Так, в царствование Екатерины Великой и по ее приглашению в Россию перебрались тысячи немецких фермеров и ремесленников. Им дали землю на Волге, где они жили до недавнего времени. К XX веку их численность составляла примерно 350 тысяч. На протяжении нескольких поколений своего пребывания в России они продолжали ориентироваться на Европу. Их русское окружение, бескультурное и примитивное, не смогло повлиять на их особый характер, связанный с принадлежностью к высокой культуре. Большевистский режим совершил то, с чем не справилось время: он заморил их голодом и разбросал по Азии. Остальные немецкие колонии сохранили свою европейскую культуру вдоль Балтийских берегов России и в примитивном Балканском регионе. Теперь же новый всплеск азиатской воли к уничтожению Запада истребил их всех — в Румынии, Сербии, Богемии, Польше, Болгарии.

¹ «Более ирландцы, чем сами ирландцы» (лат.); «Святее папы римского» (нем.).

Самым известным и фатальным примером этой естественной закономерности был контакт группы, именуемой евреями, с западной культурой. До того, как нам открылось органическое единство высокой культуры и ее внутренняя морфология, было невозможно окончательно разобраться в так называемом «еврейском вопросе». Здесь мы коснемся лишь его расового аспекта, для чего будет достаточно взглянуть на происхождение ныне существующей еврейской расы.

Еврей является продуктом иной культуры. Когда зарождалась западная культура, евреи были распределены по части ее территории: в основном в Испании и Италии. Арабская культура, находившаяся тогда на самой поздней стадии, обеспечила евреям единство, и они существовали в форме этой исчезающей культуры. Поэтому первые проблески западной идеи их внутренне не затронули. Они держались совершенно отчужденно от всего западного, довольствуясь собственным мировоззрением и мироощущением, не нуждавшимся в стимулах извне, и могли лишь сопротивляться любой другой культуре. Этот основополагающий факт способствовал полной расовой и духовной самостоятельности евреев перед лицом Запада: их мироощущение было несовместимым. Обоюдная ненависть и взаимное преследование только усиливали еврейскую расу, развивали ее хитрость и усугубляли обиду.

Таким образом, если сама по себе раса не препятствует ассимиляции внешнего пополнения, то на это способны культурные барьеры. Конечно, при этом на определенном уровне должна поддерживаться численность инородной группы, чтобы она сохраняла свою идентичность в теле культурно чуждого хозяина. Небольшая группа сохраниться бы не могла.

То, что не физические причины препятствуют ассимиляции еврейской расы, иллюстрируют события в Испании, где в конце XV века монарх потребовал от евреев либо принять христианство, либо покинуть страну. Большинство из них уехали, а потомки тех, кто принял христианство и вырастил своих детей среди европейцев, растворились в испанской расе.

Другой пример культурного барьера — это отношения Запада и России. В данном случае чисто негативная воля к уничтожению культуры препятствовала ассимиляции России Европой, несмотря на то что Петр Великий и впоследствии его династия на протяжении трех столетий пытались любыми средствами европеизировать Россию. Взрыв 1918 г. в первую очередь связан с тем важнейшим фактом, что усилия Петра пропали зря: они

были только с виду успешными и не достигли глубин этой могучей негативной души. Сама по себе *западная* культура — это великий барьер, который также всячески препятствует массовой расовой ассимиляции.

По той же причине китайцы и японцы, за спинами и в душах которых остается китайская культура, завершившая себя к 1000 г. до н. э., не могут расово ассимилироваться европейцами в большом числе. Справедливо также обратное: если бы посреди Китая образовалась колония европейцев, через тысячу лет она осталась бы по-прежнему европейской, окруженной совершенно чуждыми китайцами. Таково объяснение антикитайских и антияпонских законов и деятельности американцев начиная с середины XIX столетия по настоящее время.

Во всех этих расовых вопросах роль играет численность. Если речь идет о небольшой группе, она исчезает; если численность группы, отделенной от окружающего населения культурным барьером, значительна, то она сохраняется.

III

Мыслить, значит преувеличивать; разделяя вещь на элементы, мы неизбежно нарушаем естественный порядок их отношений. И все же такова необходимость мышления и представления — исследовать и излагать вещи последовательно. Поэтому непреодолимым барьером для ассимиляции чужих популяций является культура, приоритет которой заключается в том, что расы создает именно она. Однако в некоторых случаях расовые отличия в физическом отношении столь велики, что ассимиляция представляется невозможной. В Европе таких проблем нет, но они существуют в разных колониях Запада, таких как Америка и Южная Африка.

Раса в субъективном смысле влияет на выбор партнера. Если расовые инстинкты сильны, они даже физически препятствуют выбору партнера, принадлежащего к расе с совершенно чуждыми признаками. Так, негры в целом отвергают представителей белой расы, а белые в целом отвергают негров. Здесь также присутствует и культурный барьер, поскольку негр находится ниже нашей культуры, даже если и жил столетиями на ее территории. В обоих случаях чуждых по физическим признакам партнеров выбирают люди с ослабленными расовыми инстинктами.

Пределы расовой ассимиляции между физически чуждыми популяциями демонстрирует Америка, где либерально-демократико-коммунистическая идеология открыто и всеми доступными средствами поощряла смешение двух рас. Все ее старания привели только к межрасовой вражде, выливающейся в кровавые столкновения и массовые убийства с обеих сторон.

Единственная причина, по которой здесь затрагивается негритянский вопрос (его политическое значение будет рассмотрено в разделе об Америке), состоит в том, что он представляет собой крайний случай расовых отличий, препятствующих ассимиляции. В какой мере это связано, с одной стороны, с примитивностью негра, а с другой — с его общими физическими особенностями, нам не известно.

Однако на примере расовой границы с неграми Европа должна осознать очень важный факт: *расовые отличия между белыми людьми, то есть западноевропейцами, ничтожно малы с точки зрения их общей миссии по реализации высокой культуры.* В Европе, где расовые отличия между, скажем, французом и итальянцем до сих пор преувеличивались до огромных размеров, просто не было возможности для наглядного восприятия расовых отличий, существующих за пределами западной цивилизации. Внести ясность в этом отношении, очевидно, должна была полная, а не частичная оккупация Европы неграми из Америки и Африки, монголами и тюрками из Российской империи.

Здесь остается рассмотреть последнее и самое глубокое отношение между расой и политикой: задача политики состоит в реализации исторической миссии, спасении западной цивилизации от внутреннего разложения и внешних варваров. Успех зависит от силы оставшихся расовых инстинктов, под которыми понимаются инстинкты самосохранения, плодовитости и воли к власти.

Любой человек и любая группа, обладающие ощущением этой миссии, — на нашей стороне в этой величайшей из битв пятитысячелетней истории, независимо от происхождения такого человека или группы. Любая группа или идея, не пронизанная этим ощущением и думающая о реализации на Западе своих собственных целей, является его внутренним врагом. Любая группа или идея, каким-либо способом ослабляющая расовую силу Запада, также является его внутренним врагом. Перед политикой стоит великая двуединая задача: искоренение внутреннего врага ради спасения расовых инстинктов Запада и воспитание в этой расе уверенности и твердости для ведения столетней войны.

Две величайшие ошибки материализма в отношении расы должны остаться в мертвом материалистическом прошлом: с одной стороны, это отрицание расы, а с другой — приоритет расы перед культурой.

Цель политики состоит в актуализации нашего западного *Империзма*, поэтому кто бы ни поддерживал расовые теории материалистического происхождения, во имя ли «терпимости», которая требует от нас отказа от своих инстинктов, или во имя «расовой чистоты», равносильной отказу от нашего культурного единства, тот усугубляет кризис и разделение Запада.

Одним из *результатов* грядущей войны за освобождение Запада и создания западной империи будет создание — в долгой и отчаянной борьбе — новой западной расы, которая вберет в себя популяции, входившие в состав наций XIX века: Англии, Германии, Франции, Италии, Испании и Скандинавии.

Эти западные популяции, расовые тела и расовые инстинкты которых наименее повреждены, будут лучше всего соответствовать запросам грядущего военного столетия и сыграют самую созидательную роль в этой великой борьбе, однако новая раса будет *единством* — не собранием мертвых рас, а новым, еще более грандиозным произведением, созданным из ныне существующих человеческих племен.

Как таковые европейские расы XIX века мертвы. Из этого должна исходить политика. Провинциальный патриотизм образца XIX века не в состоянии на это ничего возразить. Единство Запада, которое всегда сознавал варвар, в этот последний час осознает и сам Запад.

Варвар оседлал покоренный Запад. Но это не конец, а начало западного единства.

Народ

I

Итак, расы создаются историей. Это пример того, что биологическое следует за духовным. Для достижения этим процессом своего наивысшего потенциала требуется определенное время: проходят два-три поколения, прежде чем идеальный расовый тип закрепляется в популяционном потоке и придает ему характерный внешний облик, соответствующий уникальной внутренней сверхличной душе.

Народ — это термин из другой плоскости мышления. Мы знаем о его полемическом использовании демократической толпой для отрицания качественных элементов и утверждения чистого и простого количества в виде «народа». Однако нас интересуют факты. Что есть народ? Какова его структура?

Французские мыслители XIX века раскрыли природу любых человеческих групп. Густав Лебон и Рене Вормс обнаружили и с картезианской четкостью констатировали *органическую* природу человеческих групп, *сверхличное* единство, которое является хранителем групповой судьбы. Вормс исследовал его применительно к верхам — государству. Лебон — применительно к низам, толпе. Их представления были еще не вполне свободны от материалистических тенденций («Истина принадлежит индивиду, ошибка принадлежит эпохе», — сказал Гёте), но они позволили Западу мимоходом окинуть взглядом тропу Истории. Их вклад игнорировался в эпоху рационализма. В почете тогда был чистый материализм Уильяма Пейли: народ есть «только совокупность граждан, которые его составляют». Или вот это: «Счастье народа слагается из счастья отдельных лиц». Эту глупую, противоречащую фактам картину опровергнуть было невозможно, поскольку она была основана на *вере*. Картина отражала дух времени и могла исчезнуть только с изгнанием этого духа. Она была произведением определенной души, и даже отрицая душу вообще, все равно была связана с той особой душой.

Новая эпоха будет эпохой восстановления авторитета: как духовного, так и политического. Эта эпоха выводит свою политическую формулу из фактов, основываясь на реализации возможного. Она не измышляет идеальную картину, пытаясь после этого подменить лексику, соответствующую миру деятельности, и не занимается самообманом, полагая, что, заменив слова, мы изменим и факт. Она ориентируется на факты и прежде всего на хранилище фактов — Историю и движущую силу фактов — Судьбу.

Для того чтобы понять, что такое народ, нужно начинать с наименьшей человеческой общности, толпы. Сразу же бросается в глаза, что существует два вида толп. Бывает толпа, собирающаяся на интеллектуальной основе: например, на лекцию, спектакль, социальное мероприятие. Также бывает толпа, собирающаяся на духовной основе — политический митинг, религиозная проповедь, протест, бунт.

Толпа первого вида есть просто совокупность. Индивиды здесь взаимно отталкиваются — и фигурально, и буквально.

У такой толпы столько же точек зрения, сколько в ней индивидов. Они составляют единство только потенциально. Пожар в театре немедленно превращает эту совокупность независимых индивидов в одну душу с одной мыслью; правда, эта мысль направлена вниз, но это уже *единство*. *Паническое единство* есть факт, который политические и военные лидеры должны знать, чтобы на него опираться. Это единственный способ воодушевления, когда другие не срабатывают.

Толпа второго рода — это уже не совокупность, но *единство*. Первая толпа аморфна: все человеческие атомы занимают один и тот же уровень. Вторая имеет структуру: у нее есть *лидер*. В отсутствие лидера нет и единства, и несколько конных полицейских могут такую толпу разогнать. Ни один индивид не станет рисковать ничем ради простого сборища, потому что его индивидуальность превыше всего. В единстве толпы личности ее членов растворяются, единство — это *сверхличная душа*. Единство возможно на основе *идеи*, невыразимого чувства, достаточно сильного, чтобы притупить индивидуальность. Если есть идея, присутствующие люди становятся просто клетками высшей органической единицы. Люди высокого ума, побывавшие в объединенной для действия толпе, описывают, как изменились их собственные способности, а отстраненность, связанная с интеллектом, внезапно куда-то исчезла, уступив силе, воздействие которой столь же загадочно, как и ее источник.

Такая толпа представляет собой *народ*. Это высший организм, сформированный сверхличной душой. В процессе самореализации этой сверхличной души индивиды способны на самопожертвование, которое невозможно в одиночку.

Механизм этого процесса невидим и загадочен, но его результаты всегда налицо. Толпы не только возникают сами по себе, в обстановке огромного сверхличного возбуждения при появлении лидера, как это было на собрании в Пале-Рояль в 1789 г., когда Камиль Демулен *инициировал* превращение простой *сумы* в *единство*, но также могут создаваться намеренно. Поэтому любой человек, чей статус позволяет собрать массу людей в одном месте, может преобразовать эту массу в единство посредством лидерства.

Если говорить об индивидах, толпа — это позиция ума. Человек из толпы может и не мечтать думать самостоятельно: результаты мышления ему обеспечивает лидер, которому принадлежат эти мысли. Отсюда вытекает очень важный факт относительно единства толпы. Он обнаружился только в результа-

те применения новой техники пропаганды в Первую мировую войну и заключается в том, что посредством настойчивой и беспрестанной пропаганды единство толпы может непрерывно поддерживаться, даже если ее члены разделены физически. Массовой пропагандой можно превратить в толпу население целого континента. В таких условиях индивидуальные мысли возникают очень редко. Постоянная бомбардировка фильмами, прессой и радио лишает какой-либо индивидуальности представителей огромных популяций.

Таким образом, структуру толпы образуют лидер и ведомые. Без такой структуры не будет единства, а с ней можно объединить любое собрание. При этом главным элементом структуры является лидер, а не ведомые. Все понимает и решает именно он. При этом совершенно не важно, во имя какой теории или идеала мобилизована толпа — это может быть даже теория индивидуализма. Толпа есть высшее единство, которое олицетворяет лидер.

Там, где присутствует высокая культура, она оказывает влияние, пусть даже только негативное, на любую толпу. Иными словами, даже протест против культуры, например Крестьянские войны, восстание Джека Кэда, марксистская классовая война и тому подобное, обретают свое единство в стремлении разрушить именно культуру. Работает ли толпа в интересах культуры или наоборот, зависит от лидера. Как масса, толпа *нейтральна*. Решающую роль играет лидер: такие созидательные лидеры, как Наполеон, вели толпу вперед и вверх, а лидеры негативного и лживого типа, как Рузвельт, тянули ее назад и вниз.

Толпа — это одушевленная единица, значение и возможности которой определяются ее организацией, предполагающей лидерство. Это относится и к уличным толпам, которые можно окинуть взглядом и голосом, и к толпам континентального масштаба, таким как Америка.

Лидер играет двоякую роль: он и сам — часть толпы, и должен противостоять ей. Только лидер наделяет толпу индивидуальностью; если он растворяется в сознании толпы, она теряет индивидуальность, волю и мозг. Лидер является частью сверхличного единства, как мозг — частью тела. Мозг служит душе, тело служит мозгу.

Толпа, как наименьшая сверхличная единица, демонстрирует *полярность инстинкта и интеллекта*, которая наблюдается на всех *восходящих* ступенях организации вплоть до высшей — высокой культуры. Инстинкт выражает содержание жизни, ин-

теллект служит механизмом ее актуализации. Инстинкт говорит «что», интеллект говорит «как». Инстинкт зовет: сохраняй и приумножай, наращивай власть! Интеллект ищет способы сохранения жизни и увеличения власти. Интеллект облечен миссией актуализации жизни, выражения инстинктивных императивов жизни. Эти полюса имеют смысл только во взаимодействии. Если в здоровом человеке они развиваются в единстве, то их отделение друг от друга ведет к дисторсии и болезни. По этой причине интеллектуалы на стадии поздней цивилизации демонстрируют вопиющую тупость — они истощили свои инстинкты и поэтому лишились ума. Инстинкт — это корабль, имеющий пункт назначения; интеллект — это руль, с помощью которого управляется этот корабль. С другой стороны, инстинкт можно уподобить пассажирам, которых надо доставить в пункт назначения; в таком случае интеллект — это хозяин судна, который должен это сделать.

Соотношение инстинкта и интеллекта можно сформулировать в негативном плане: инстинкт обеспечивает волю к власти, но не вправе выбирать момент атаки. Инстинкт не может решать вопросы политики, с помощью которой жизнь должна реализовать свой внутренний императив. Он слеп и всегда зовет в атаку. Так генерал Худ потерял Теннессийскую армию в американской войне Севера и Юга. Интеллект должен выбирать между оборонительной позицией и атакующим маневром. Когда инстинкт терпит поражение, интеллект еще способен увидеть проблеск надежды. Инстинкт во всем и вся видит врага, интеллект же хладнокровно решает по ситуации, кто враг, а всех остальных пытается сделать друзьями. Инстинкт может быть опьянен, ум должен оставаться трезвым. Инстинкт любит и ненавидит, интеллект не занят ни тем ни другим.

В готические времена империя и папство выступали в качестве двух идеальных органов. Каждый должен был демонстрировать абсолютное равновесие и гармонию в своем внутреннем единстве, в отличие от несовершенного человека, в котором происходит внутренняя борьба инстинкта и интеллекта. В те времена проблемой человека действия, стремившегося реализовать великую идею, было сдерживание инстинкта в его границах. Поэтому Генрих Лев, отступившись от Барбароссы, действовал инстинктивно и разрушил империю Гогенштауфенов, от чего Запад страдает до сих пор. В наше переходное время проблема обратная: теперь надо держать в рамках интеллект. В расцвете рационализма интеллект объявил, что он есть жизнь, а все

остальное — ретроградство и ненормальность. Результатом отрицания западным интеллектом западного инстинкта стал раздел мира между Вашингтоном и Москвой.

II

Итак, толпа есть *поглощение* индивидуальных душ сверхличной душой, создание *единства* из суммы, в результате чего интеллект покидает ее слагаемые и переходит в структуру, то есть к лидеру.

Уличная толпа — это *народ* в миниатюре. Народ есть единство, предназначенное для действия. Всегда, когда в своем великом ритмическом кружении История втягивает какую-либо группу в свою воронку, эта группа либо немедленно структурирует себя как народ, либо исчезает. Такая группа может иметь религиозную, экономическую или культурную природу, но, становясь объектом события, она должна отреагировать, конституировав себя как народ, или просто исчезнуть со страниц истории. Народы могут быть небольшими и огромными. На заре нашей культуры население территории между Адидже и Куршским заливом чувствовало себя народом. Такая протяженность ландшафта в момент зарождения была уникальной особенностью западной культуры. Столь широкое распространение единого чувства привело к тому, что уже *в период зрелости, под опекой Испании*, объектом западной политики стал *весь мир*. Народ может быть и небольшим: например американские мормоны, будучи просто группой последователей одного священника, в ходе настойчивого самоутверждения испытали внешнее противодействие. В ответ они стали народом, сохранявшим единство до тех пор, пока их руководство не сделало выбор в пользу интеллекта и скомпрометировало доктрины религии, после чего мормоны как народ исчезли.

Что же способствует образованию народа? Во-первых, это отличие группы от ее окружения, во-вторых — *напряжение*, связанное с этим отличием. *Напряжение* создает *рубеж (frontier)*. Он обостряет чувства с обеих сторон, и в результате возникает новая единица действия, *народ*.

Точно так же, как напряжение может возникнуть по разным основаниям — религиозным, экономическим, культурным или расовым, новая единица может состоять из совершенно разных людей, если ее население гетерогенно. Язык не является препят-

ствием для образования народа: фактически все существующие западные языки возникли *после* формирования соответствующих народов.

Народ есть духовная единица. Он создается историей, и если способен выжить в первых испытаниях, то становится общностью, продвигающей историю вперед. Подобно тому, как волнующаяся уличная толпа становится единицей только после расслоения на лидера и ведомых, так и народ является таковым благодаря *лидерству*.

Толпа от народа отличается только продолжительностью жизни и величиной, но не качеством. Соответственно, при необходимости один человек в течение нескольких часов может исполнять полную функцию лидера толпы. Народ устроен более совершенно, чем толпа, его более сложная жизнь и масштабные задачи требуют целого *слоя* лидеров. Любая абсолютная монархия или диктатура также подразумевает лидирующий *слой*.

Народ может быть слабым или сильным. В последние века западной истории, начиная с Вестфальского мира, горстке слабых народов удавалось сохранять *номинальную* независимость, что объяснялось с точки зрения политики напряженной ситуацией между крупными державами. Но слабые народы, как слабые индивиды, не способны ни на великие свершения, ни на великие мысли. Сильный народ благодаря своему напряженному императиву сохраняет границу между собой и другими популяциями, отказывается поступиться своей уникальной идеей. Граница здесь, конечно, подразумевается духовная. Сложится ли на ее основе территориальная граница, показывают события, а также это зависит от конкретной культуры.

Ни в арабской, ни в классической культуре не было идеи народа, связанной с географической территорией. Ни в той, ни в другой культуре чувство духовного единства не оскорблялось тем, что на той же территории жили чужие люди со своим собственным правительством и законами. Императорский Рим применял иностранные законы в инцидентах с иностранцами. В арабской культуре независимость была еще более выражена. Поэтому несториане, мусульмане и иудеи жили бок о бок, но принадлежали к разным нациям и не вступали в смешанные браки. Под словом «иностранец» (*foreign*) понимался иноверец. Эти народы и нации сочли бы европейскую доктрину времен Реформации «*cuius regio, eius religio*»¹ самым что ни на есть сатанинским из-

¹ Чья страна, того и вера (*лат.*) — *Примеч. пер.*

вращением естественного порядка. Ставить веру в зависимость от страны проживания в их глазах выглядело бы чудовищно. Еврей сохранил это чувство, свойственное чужой нам культуре. Он считал своего ближайшего соседа-европейца *иностранцем*. Общественная жизнь западной нации-хозяина была еврею безразлична, а у него в свою очередь была своя общественная жизнь, незаметная для Запада. Его не касались западные законы, равно как и религия, этика, обычаи, мысли, привычки и прежде всего политическая жизнь с ее идеалами отечества, патриотизма, военной службы, самопожертвования.

В Турции и Китае не считалось унижительным, что в силу «капитуляций» западный человек находился под юрисдикцией своих собственных консульских представителей, а не местных судов.

Таким образом, отношение одного народа к другим определяется символической внутренней жизнью высокой культуры, в которой он формируется. Это не значит, что народ может образоваться только в высокой культуре: такие феномены, как Тамерлан и Чингисхан, также являются народообразующими.

Понятия «раса» и «народ» — совершенно разные вещи, но в жизни они довольно близки. Мы рассмотрели формирование расы. Оно начинается с формирования народа. Любой народ, обладающий сильной идеей и хорошим лидерством, приобретает также расовое единство, если существует достаточно долго. Справедливо также обратное: раса, если понимать ее в основном анатомически, например негритянская — может стать фокусом событий, которые заставят ее принять форму народа.

Народ — это душевная общность. Где бы ни вызревало единство души, там формируется народ. В XX веке уже весь Запад может видеть то, что разглядел Ницше в 80-х гг. XIX века — возникновение *западного народа*. Его выражение «мы — хорошие европейцы» понимали всего несколько его современников. Остальные были чересчур озабочены своей мелкой возней: в кабинетах играли в национал-атомизм, в салонах обсуждали социал-атомизм и счастье, в подвалах замышляли классовый атомизм.

Сила и здоровье народа зависят от определенности его структуры. Уже говорилось о том, как вся воля и интеллект уличной толпы мистически переходят к лидеру. Если что-то идет не так из-за ошибок лидера или под действием внешней силы, толпа умирает и возвращается в состояние суммы индивидов. Поэтому децентрализация европейской воли и интеллекта в целом выглядит как тяжелая болезнь культуры. На протяжении столетий авторитет и единство Запада постепенно подрывались по мере

увеличения интеллектуальной составляющей культуры. Тем не менее, эта культура сохраняла свое единство относительно внешнего мира до катастрофы 1789-го, последствия которой Наполеон и после него Венский конгресс так и не смогли окончательно устранить. Европейская симфония сменилась нарастающей какофонией.

Чем больше воли и интеллекта в культуре передается вниз и наружу, тем серьезнее ухудшается ее здоровье. Национализм был болезнью культуры, классовая война — болезнью нации, парламентаризм — болезнью государства, власть денег — болезнью общества, стерильное наслаждение — болезнью расы, новый эгоизм — болезнью семьи, развод — болезнью брака.

Через этот ужасный кризис прошли все культуры, и каждая оказывалась там, где теперь, в 1948 г., находится Запад. Разумеется, для них это было внутреннее состояние, поскольку прежде ни одна культура в разгар кризиса не оказывалась полностью оккупированной варварами и дистортерами. Предыдущие семь культур преодолели этот критический период: взаимодействие созидательных сил инстинкта и интеллекта приводило к восстановлению авторитета, и во всех случаях культура формировала империю.

Начало такого возвращения к синтезу и созиданию после долгой оргии сорвавшегося с цепи интеллекта проявляется разнопланово. Символами возрождения стали Ницше и Карлейль. Характерно, что оба были европейцами и презирали мелкодержавность своего времени. Их жизни и идеи отражали органическую необходимость. Оба были провозвестниками грядущей эпохи. Вторым признаком стало обилие культурных историй. Дальше последовали зарождение государственного социализма, биологические теории Де Фриза и Дриша, отказ целой группы физиков от материалистических клише. В политическом отношении наиболее важным стало образование *западного народа*.

Нация

I

Слово *народ* означает группу, которая обрела единство души благодаря идее и поляризации на лидера и ведомых. Это слово ничего не говорит о долговременности такой группы и ее духовной силе, энергии и масштабах жизненной миссии.

Нация есть народ и в то же время нечто большее. Она глубже структурирована. Народ может возникнуть вне культуры, нация — нет. Народ может быть недолговечной или духовно слабой общностью. Нации свойственна значительная продолжительность жизни и сильнейшее органическое единство в пределах культуры. Слово «культура» указывает на отличительный признак нации: *нация есть народ, обладающий культурной идеей*.

Высокая культура, зародившись в ландшафте и пройдя период созревания в течение нескольких поколений, оказывает таинственное воздействие на население своей территории. Первоначальные имена и группы растворяются в новых духовных единицах. Около 1000 г. н. э. из западного обихода исчезли названия «шваб», «франк», «лангобард», «вестгот», «сакс», и люди начали ощущать себя немцами, итальянцами, французами и испанцами. Каждая из этих групп есть *идея* — движитель определенной части культурной души, уровень (plane) бытия, аспект культурного духа. На этом основаны их различия наряду со сходством, связанным с тем, что все они рождены одной и той же культурой.

Этими различиями обуславливаются разные расовые ритмы и образ мысли и действия. На основе разных духовных акцентов из общего лингвистического материала формируются разные языки, каждый из которых выражает особую душу. Они по-разному реагируют на одинаковый внешний опыт, что влияет на характер формирующихся наций.

Чтобы понять сущность нации, вначале следует мысленно растворить связь — несомненную для XIX века — между нацией, политическим единством и языком. Для эпохи рационализма и капитализма такие единицы, как нации, были первичным материалом истории. Но на самом деле они представляли собой всего лишь определенную фазу национальной идеи в западной истории.

На заре нашей культуры язык не имел отношения к нации так же, как и политика. В ту эпоху нация была духовным единством, выраженным в духе времени. Этот дух определялся верой, схоластической философией, готической архитектурой, имперско-папской политикой, крестовыми походами. Было острое и четкое ощущение *иностранца*, но это слово указывало не только на политику и язык. В XI—XII столетиях английский, немецкий и французский способы мышления проявили себя в виде схоластических разногласий. Разные императивы чести, моральные переживания, способы выражения религиозного чувства, вариации готических соборов, степень преданности империи или папе — все это характеризовало разные национальные идеи.

Перед лицом иностранцев — мавров, славян, турок, сарацин — эти нации *бессознательно* и *однозначно* оставались одним *народом*. Сколь бы разными они себя ни чувствовали, но инстинкт прочно объединял их в противостоянии *культурному чужаку*. Так, когда крестоносцы основали западное государство в Леванте, оно было не английским, французским или немецким, но просто западным. Культурный инстинкт силен, его ритмы полностью себе подчиняют, его сверхличное единство ощущается кровью и, следовательно, осознается интеллектом.

Все культуры выражают себя в виде разных наций, а также в искусствах, религиях, языках, технике, системах знания и других формах. Образ жизни наций в пределах одной культуры так же различен, как и эти формы. В арабской культуре, историческая концепция которой состояла в осуществлении божественного плана мироздания, начавшегося с Творения и завершающегося Катастрофой, национальные отличия были основаны на *вере*. *Нации* образовывались из единоверцев. При этом у них отсутствовали понятия территории и отечества, то есть нация имела духовное, а не физическое измерение. Именно такая национальная идея создала в этой чужой для нас культуре еврейскую нацию. В той культуре она была одной из многих, построенных на том же принципе. Для нашей же культуры она оказалась настолько чуждой, что никто не понимал ее сущности, пока мы не вступили в период поздней цивилизации, которому свойственна особая историческая восприимчивость.

В классической культуре национальная идея выражалась в форме города-государства. Нация отождествлялась не с территорией, но только с городом и его населением. За их пределами территориальный контроль имел негативную природу и понимался как отрицание власти потенциального военного противника над некоторым регионом. С точки зрения этих наций, наша идея отечества с дальними рубежами, которых человек может так и не увидеть на протяжении всей своей жизни, выглядела бы фантастической и отталкивающей галлюцинацией.

II

Нация есть идея. По мере своего завершения она проявляет себя в виде материальных результатов. Для лучшего понимания нацию можно представить как трехуровневую организацию. Верхний уровень — это сама идея. Ее невозможно выразить сло-

вами, поскольку это не абстракция или концепция, но душа. Она может быть выражена только жизнями, поступками, мыслями, событиями. Уровнем ниже находится меньшинство, воплощающее идею в ее наивысшем потенциале: это национально-несущий слой, который представляет идею в сфере истории. С *практической* точки зрения, это и есть нация как актуальность, относительно которой масса населения — тело нации — выступает потенциальностью. Масса образует нижний уровень. Он расширяется к основанию, становясь все менее дифференцированным вплоть до уровня, где пребывает вековечный пласт, не имеющий никакого отношения к национальной идее и не ощущающий истории, которая разыгрывает свою драму на вершине.

В единстве нации национально-несущее меньшинство играет такую же решающую роль, как лидер в единстве толпы. И меньшинство, и масса служат национальной идее подобно тому, как лидер и ведомые — идее толпы. Если идея сильна, то на смену убитому или смещенному лидеру приходит другой. Так же и в нации, поскольку большинство составляющих ее массу индивидов несет в себе искру национального чувства. Однако этим внутренним качеством в основном обладает меньшинство: носители национальной идеи.

Этот слой и чисто политическое лидерство могут существовать порознь. В здоровом организме политическая верхушка состоит исключительно из представителей национально-идейного слоя, но никоим образом не включает их всех, поскольку национально-идейный слой значительно шире политической администрации. Однако вследствие слабости национальной идеи и агрессивности чуждой внутренней группировки в составе политической верхушки может остаться мало или вообще ни одного носителя национальной идеи.

Национально-идейный слой состоит из тех, кто в силу своего национального чувства и готовности жертвовать собой ради этой идеи являются ее хранителями перед лицом мира и внутренних чуждых и антинациональных элементов. Если этот слой удалить из здоровой, целеустремленной нации, то, пережив духовную смуту, масса породит его вновь. Если бы масса была *совершенно* лишена национального чувства, меньшинство не могло бы осуществить идею.

То, что все вышесказанное — вовсе не абстракция, видно на примере России. Династия Романовых и верхний слой пытались сделать Россию западным народом, европейской нацией. Но масса не обладала для этого практически никакими воз-

возможностями. Россию удалось превратить в европейскую нацию только по видимости и для политических целей, чем подтверждается решающее значение меньшинства. Но когда большевики частично истребили, частично изгнали это меньшинство, его ничем было заменить, поскольку масса не несла даже искры этой идеи.

С позиций истории нация служит культуре, меньшинство служит нации, масса служит меньшинству. Причудливый перекокс мышления, известный как рационализм, видел все иначе: нет никакой идеи, есть только масса, и все остальное должно ей служить. Однако рационализм здесь повлиял лишь на терминологию, поскольку даже нации, тяжелее всего пострадавшие от рационализма, продолжали участвовать в истории усилиями меньшинства, а от массы требовалось только подчиняться и определенным образом думать и голосовать. В XX веке важно осознать, что факты невозможно отменить, отрицая их, а меняя имена, нельзя изменить природу. В XIX веке нация продолжала оставаться идеей, несмотря на то что ее пытались представить как огромную совокупность индивидов. Именно идеей были заражены даже самые отпетые из рационалистов — коммунисты. Поэтому французский коммунизм совершенно отличался от немецкого коммунизма: достаточно сравнить Париж 1871-го и Берлин 1918-го. Там могли читать одни и те же книги, но кровь пульсировала иначе.

Нация и история

Нация представляет собой органическую часть культуры; своей жизнью и развитием она выражает определенную внутреннюю возможность культурной души. Она всегда зависима от культуры, что подчеркивается выражением «дух времени». Мыслители и люди действия давно признали, что одни вещи просто должны быть сделаны, а другие просто не могут быть сделаны в определенную эпоху. Можно соглашаться или не соглашаться с этим мысленно, однако приходится этому следовать. *Дух времени есть фаза развития культуры.* Ему подчиняются все нации. Поскольку каждая нация обладает собственным характером, а каждая эпоха несет собственную печать, одна нация может быть лучше адаптирована к конкретной эпохе, чем другая. Этим объясняется, почему с 1050 по 1250 г. была эпоха «Священной Римской империи германской нации», с 1500 по 1650 г. —

испанская эпоха, с 1650 по 1750 г. — французское рококо и с 1750 по 1900 г. — английская эпоха.

В пределах своей подчиненности культуре национальная идея заставляет все себе подчиниться. Поэтому каждая европейская нация отличалась собственным типом социального поведения, собственной структурой общества: строгой и четкой в Англии, Пруссии, Испании, неясной и расплывчатой во Франции и Италии. Английская религиозность отличалась от испанской, и обе — от немецкой. Степень ориентации на экономику также везде была различна, наибольшая — в Англии. Даже в области эротики существуют национальные особенности: из всех наций Франция развила самую замысловатую культуру половой любви. Особенно ярко национальный характер проявляется в литературе, драматургии, архитектуре и даже музыке. Не избежала этого и философия: две величайшие европейские школы — это английский сенсуализм 1600—1900 гг. и немецкая идеалистическая школа 1650—1950 гг. Различны также религиозные доктрины: Испания остается оплотом католицизма, Англия — протестантизма. Великие люди, родившиеся в разных нациях, выразили национальные качества в наивысшем потенциале: вспомните Ришелье, Кромвеля, Альбу, Валленштейна. В великую эру европейской живописи (1550—1850) масляные полотна говорят о национальности своего создателя.

Все это позволяет легче понять, почему материализм смог убедить себя в том, что нации являются создателями культуры, несмотря на то что справедливо обратное.

Культура начинается с веры и мистики, когда мир мысли и мир действия подчинены самоочевидному порядку и авторитету. Дальше она развивается по пути возрастания роли интеллекта, пока не достигает рационалистической паузы, когда интеллект полностью освобождается от веры и инстинкта, все анализирует, расчленяет и мобилизует. На самой последней стадии, в эпоху поздней цивилизации, культура вновь собирает все вместе, утверждает свое единство, придавая всем своим жизненным проявлениям окончательную форму, и возвращается к символическому авторитету и мистицизму своих истоков.

Эта биография культуры прослеживается в каждой форме жизни, включая нации.

Культура породила свои нации через *династии*. Идея династии неприемлема для классической культуры и не известна в арабской. Но западные нации, с уникальной силой и интенсивностью выражающие западную культуру, остаются династи-

ческими, даже упразднив династию. Они либо требуют другой династии, либо стремятся очистить династическое чувство от личности суверена. *Смысл династии — в утверждении политической преемственности прошлого и будущего.* Политическая история Запада испокон веков была историей династий.

Разные племена — швабы, франки, саксы, баварцы и тюрингцы — объединились в германскую нацию благодаря династической идее империи, творению Карла Великого. Аналогично династиями были сформированы французский народ и нация. На основе разных франкских и вестготских элементов династия Капетингов создала нацию и язык. Если бы династия основывалась на речи, было бы две Франции: франко-романская на севере и провансальская на юге.

Династии создали нации, сосредоточив свои мистические чувства на пассионарном символе. Нации создали расы и языки. Итальянский письменный язык связывается главным образом с именем Фридриха II из династии Гогенштауфенов, предпочитавшего юг и сделавшего этот язык официальным и разговорным в империи. Португальский народ и язык являются результатом того, что в 1095 г. король Кастилии Альфонсо VI Храбрый отдал эту территорию в качестве приданого своей дочери Генриху Бургундскому (Henry of Besancon). Этому династическому творению Бразилия обязана тем, что сегодня говорит по-португальски. Дом и королевство Лотарингия прекратили свое существование в IX веке из-за того, что Лотарь II не оставил [законных] наследников. Если бы его династия продолжилась, тогда в европейской истории, возможно, были бы нация, народ, королевство и государство Лотарингия с особым языком. Английский народ, нация и язык являются результатом нормандского завоевания и основания Нормандской династии, которая существует до сих пор. Прусская нация является творением династии Гогенцоллернов, австрийская — Габсбургов.

Западная политика по форме всегда была династической, что ощущалось все сильнее по мере возвышения культуры. Ритмические циклы великих войн приняли династическую форму: освободившийся где-либо трон вызывал войны за наследство. Даже в 1870 г. предлог, выдвинутый Наполеоном III, чтобы начать войну против Пруссии, был династическим. Наполеон Бонапарт был повержен тысячелетней династической традицией, которую он настроил против себя, посадив на троны своих братьев и маршалов как основателей новых династий вместо низложенных старых.

На данном этапе западной истории идея династии канула в Лету лишь на первый взгляд. Сама по себе тысячелетняя империя — это династическая идея. Генеалогическая преемственность правящего дома является только мощным символом преемственности, служащим для удовлетворения инстинкта. Западный интеллект в период своего царствования (1750—1950) требует аналогичной преемственности, меняя только символ: вместо крови королевского дома он превозносит клочок бумаги — конституцию.

В 2050 г. читатель сможет увидеть вокруг себя завершающую форму выражения западного династического чувства. В рационалистические времена символ в виде королевского дома стал неубедительным, и если его не упразднили полностью, то всего лишь терпели. Для рационалиста гораздо большей реальностью обладал лист бумаги. Теперь, когда История спокойно расправляется с рационализмом, лист бумаги тоже утратил доверие. Мы стоим на пороге новой эпохи, посвященной восстановлению Авторитета.

Нация и рационализм

I

Национальный стиль высокой культуры столь силен, что оказывает формирующее воздействие даже на соседнее население. Примеры внешнего населения, принявшего западный национальный стиль благодаря своей географической близости, — это Балканы, Польша, Богемия и Россия. Этого оказалось достаточно, чтобы у некоторых элементов внутри культуры создалось впечатление об этих пограничных общностях как входящих в состав культурного организма. Поверхностный ум в этом плане удовлетворяется тем, например, что один-два высокоодаренных человека из-за границы попадают под влияние духа культуры и творят или действуют в ее стиле. В 2050 г. вряд ли кто-то поверит, что еще в середине XX века *Россию* считали европейской нацией. Данная ошибка была всего лишь одним из результатов влияния рационализма на национальный стиль культуры.

Разум (*reason*) в своей свободной беспочвенной форме является образом мысли, пригодным для решения механических проблем, но неприменимым к органическим явлениям. Например, каждый организм рождается и умирает. Какой в этом резон? Во-

прос бессмысленный с органической точки зрения. Почему организм должен умирать? Никто не может назвать *причину* (*reason*). Все это, однако, относится к эмансипированному, неорганическому разуму. Религия пользуется разумом, но в рамках, задаваемых верой. Эмансипированный разум — рационализм — не признает дисциплины, накладываемой сверху как естественными закономерностями, так и выходящими за их пределы верой или религией. Но все же организм умирает, хотя рационализм громко настаивает на том, что в этом нет необходимости. Продолжительность человеческой жизни в 70 лет не является *логической* необходимостью. Будь организмы вечны, это не оскорбляло бы *логику*. Эта неприспособляемость логики и разума к органическим ритмам основательно повлияла на идею нации в рационалистический период.

Лабораторная логика, отвергавшая Бога и человеческую душу, определенно не собиралась признавать национальную идею. Наибольшее, что она была готова признать, — это существование великого множества индивидов. На деле такую позу трудно было сохранять даже самым непошибаемым материалистам, и в своих писаниях они постоянно соскальзывали к фигурам речи, обнаруживающим, что они тоже мыслят в терминах высшей идеи, неистребимой в каждом из этих индивидов.

Таким образом, для рационализма нация означает массу. В ней не должно быть никакой структуры — ни знати, ни священства, ни монарха, ни какой-либо группы, стоящей над остальными по причине своего высокоидейного содержания. Не может также существовать никакой идеи, которая формировала бы всех индивидов, хотя [в рационализме] присутствует логико-механистическая концепция всеобщности.

Концепция нации-как-массы — современница демократии и классовой войны. Эти три понятия суть просто разные аспекты рационализма. Если нация сводится к массе, тогда не должно быть никакой социальной стратификации, а если старая традиционная структура не сдается, следует развязать против нее классовую войну.

Рационализм зародился также одновременно с радикальным поворотом от культуры к цивилизации, завершением мира духовных форм и решительным поворотом к *деятельности* как первичному содержанию жизни. Это означало увеличение публичной власти в руках политических лидеров, более масштабные войны, более интенсивную экономику, накопление физической энергии, неограниченное развитие техники. Ни один западный

техник не превзошел Роджера Бэкона или Леонардо да Винчи, но эти люди занимались техническим творчеством в эпоху *внутренней* деятельности, для которой техника была отраслью знания, а не способом извлечения энергии для индустриальных и военных целей. Цивилизация увеличивала свою власть и расширяла охват. Все, что противилось этому органическому ритму, было обречено на неудачу и поражение. Старые традиции могли бы выжить, восприняв новые тенденции и возглавив их. Это произошло в Англии, но подвиг в целом оказался не столь выдающимся, как обычно считается, поскольку английская национальная идея фактически способствовала смене направления от культуры к цивилизации. Рационалистическая идея родилась в Англии. Английские философы-сенсуалисты провозгласили ее основные доктрины, английский парламентаризм применил их к теории управления, английские механики изобрели новые преобразующие энергию машины, английские купцы придали форму капитализму XIX века, английские мыслители впервые приравнивали нацию к массам. Все французские энциклопедисты испытали английское влияние, и многие из них годами жили в Англии. Поэтому на высоких постах было достаточно людей, знакомых с новыми идеями и ощущавших необходимость выразить им поддержку.

Судьба, постигшая Наполеона, глубоко символична, потому что он одновременно олицетворял эту идею и противостоял ей.

Рационализм сподобился сказать: нация — это массы, но он отрицал структуру нации. Эти нации еще не были мертвы, и их невозможно было отрицать. Поэтому упор перенесли на *внешние*, в смысле, политические различия между нациями. Впервые в западной истории идея нации приобрела в *основном* политический характер, и в термин «национализм» был вложен исключительно *политический* смысл.

Даже в войнах Фридриха Великого нация не понималась чисто политически. Под командованием Фридриха русские воевали против России, французы против Франции, шведы против Швеции, саксонцы воевали и за него, и против. Старый знакомый Фридриха захотел поступить к нему на военную службу, и Фридрих предложил ему чин майора. Поколебавшись, этот человек завербовался в армию противника, потому что там ему предложили чин полковника. Такое поведение в те времена не считалось чудовищным. Интерпретация истории в стиле XIX века, который игнорирует душу и следит лишь за поверхностной чередой имен, просто прикладывала мерку текущей политики

к прошлому. Иностранцев не любили на протяжении всей предыдущей западной истории, но в те времена политика строилась не только на этом. Она была делом династии или, как в случае микроскопических наций, бунтом против династии. Такие кондотьеры, как немец Фробергер и англичанин сэр Джон Хоквуд, командовали иностранными наемниками в итальянских войнах. Германский император Фридрих II был более итальянцем, чем немцем, а политически не стеснялся быть и тем, и другим. Лояльность определялась не географической родиной, но верностью, общей судьбой, клятвой, честью. Поэтому критерием предательства в те времена было не место рождения, а долг чести. Вопрос о чести не стоял, если не приносилась клятва верности. У великого императора Карла V отец был немцем, мать испанкой, он вырос в Нидерландах, его воспитателем был фламандский священник (которого он потом сделал папой Адрианом VI), его родным языком был французский, сам он был королем Испании и императором Священной Римской империи. Испанцы владели герцогствами в Англии, английская королева была замужем за королем Испании, английский король был курфюрстом Ганновера. Армии были многонациональными, и командование часто переходило к генералам других национальностей. Достаточно упомянуть Морица Саксонского, Евгения Савойского, маршала Конде, Монтекукколи. Династическая политика не замечала наций. В свою очередь националистическая политика резала по династиям.

Однако триумф рационализма подменил прежний, духовный, смысл европейских наций чисто политическим. Связь между новыми взглядами тех дней, отождествившими нацию с массами и заменившими династическую нацию политической, заставляет расценивать национализм 1815-го наряду с коммунизмом 1915-го как апогей радикального разрушения.

Наполеон воплощал для Европы обе идеи. Он был противником династий, поэтому повсюду дал волю новому ощущению политического национализма. Но для стран, оккупированных французскими армиями, политический национализм означал мятеж, и именно прусское восстание 1813-го сокрушило Наполеона.

Таким образом, рационализм видел в нации политическую массу. Но почему именно эта масса, а не иная? Нужен был некий наглядный, механистический идентификатор национальности. Он был найден в языке. Если человек говорил по-французски — он являлся французом, по-итальянски — итальян-

цем. Чем же это определяется? Местом рождения. Это так или по крайней мере должно быть так. Лояльность стала связываться с языком и клочком земли, а не с идеей или ее династическим символом.

Эта концепция восторжествовала и публично, и приватно. Она стала определять национальные чувства человека, изменив природу войн. Вместо войн за наследство, проистекавших из династической политики, пришли войны за территорию и население, которое можно было ассимилировать посредством школьной языковой политики.

Население балканских стран испытало на себе эту школьную политику предыдущего поколения. Верхом абсурда стало ее теоретическое применение в 1919 г. на Версальской конференции, когда язык был предложен в качестве критерия существования нации. Этот принцип, разумеется, применялся только тогда, когда он соответствовал политической цели, тем не менее на словах все соглашались с этой материалистической глупостью.

Данная концепция национальной идеи повлекла множество важных последствий. Итальянские войны за лингвистическую унификацию породили то, чего никогда прежде не существовало: Италию как политическую единицу. Посредством этой концепции была отменена австрийская нация, и попытка неевропейских сил возродить ее в таком качестве после Второй мировой войны, в рамках генерального плана балканизации Европы, была вдвойне нелепой, потому что *на пороге стояла новая национальная идея*. Лингвистическая идея нации также позволила Англии втянуть Америку в Первую мировую войну на своей стороне, поскольку письменный язык был более или менее общим для этих двух стран. Представьте, однако, что Филадельфийский конвент в 1787 г. принял бы резолюцию сделать официальным языком Америки немецкий (а ведь это едва не случилось по результатам голосования). История Запада 1914—1918 гг. была бы совершенно иной. Европа, к 1950 г. уже не контролировавшая никакую часть света, даже свою собственную территорию, управляла бы всем земным шаром.

Нация — это всегда идея, ничем иным она быть не может. Меняется только *концепция* нации, но идея — это нечто в крови и душе, а не только в уме. Из нее произрастает сама способность человека понимать, что есть нация и все остальное. Даже если бы, скажем, французские и английские рационалисты пришли к четкому согласию о том, что есть нация, каждый вел бы себя своим строго национальным способом.

Рационализм взглянул на нацию изнутри и определил: это масса. Посмотрев на нее снаружи, он изрек: это язык. И то и другое — материалистические глупости. В первую очередь нация есть идея, во вторую — слой носителей национальной идеи; наконец, остается масса, являющаяся объектом, просто телом нации. Для взгляда со стороны нация — это душа, отличная от других душ. Именно в результате контакта с инородным развивается чувство своего (proper).

Рационализм лишил национальную идею династического смысла. Династии поменяли свои имена, чтобы осудить (try) и замаскировать свои связи с другими нациями. В большинстве стран династия лишалась трона как антинациональное явление, поскольку теперь масса стала нацией, а династия — символом. Но главное, что рационализм пришел к отождествлению нации с политикой. Национализм стал по преимуществу политическим термином.

II

Династии реагировали как одно целое на новую концепцию нации: и на политизацию идеи, и на отождествление нации с массой. Превращение нации в политическую единицу было угрозой для любой династии. До сих пор они владели монополией на политику, а теперь им предстояло уступить место лидерам толпы, желающим все перекроить и привести в движение. На Венском конгрессе 1815 г. и в Священном союзе династическая идея политики на первый взгляд одержала свою последнюю великую победу. Однако только на первый взгляд, поскольку сдерживание духа эпохи можно уподобить дамбе, но построить дамбу против судьбы невозможно. Такова трагедия любой стареющей женщины и хилого, ретроградного правящего класса. Талейран — единственный, кто на Конгрессе обладал политическим превосходством и, в отличие от королей, опирался все же на национальную идею XIX, а не XVIII века. Он стимулировал их консерватизм и обернул полное военное поражение Франции ей на пользу. Для представителей династии границы играли второстепенную роль, для Талейрана — главную.

Читатель XX и тем более XXI века с трудом поверит, что даже в 50-х гг. XIX века традиционалистские элементы европейских наций считали национализм радикально деструктивной силой. В Германии понадобился такой политический гений, как Бисмарк, чтобы превратить национальную идею из разруши-

тельной и ориентированной на классовую войну в охранительную, созидательную идею на службе традиции и поступательно-го развития.

Такое изменение смысла слова «национализм» с деструктивного и уравнилельного на творчески-консервативный и иерархический показало, что, несмотря на свою видимую победу, представители династий в Вене проиграли состязание с судьбой. Даже сохранив себе жизнь, династии политически умерли. Они приобрели (в разных местах — в разной степени) просто церемониальный характер. Сила династической идеи — страстное утверждение вечной преемственности — была передана нации. Династия стала всего лишь частью общественного достояния нации, как общественные здания и национальные музеи. Было время, когда монарх владел нацией — в XIX веке нация овладела монархом. Если монарх принимал теперь участие в политике, он попадал под те же внутренние ограничения, что и любой премьер.

Можно задать вопрос: каким образом национализму из разрушителя традиции удалось превратиться в ее хранителя? Это было связано с еще одним достижением рационалистического идейного арсенала, а именно переносом классовой войны из политико-социальной сферы в экономическую. Национализм выполнил свою деструктивную работу, уничтожив династию и сословия. Теперь его главенство в истории стала оспаривать экономика. Экономика, читай — деньги, в целом враждебна политике: как династической, так и националистической. *Авторитет* — первый враг денег. Авторитет подразумевает ответственность, а деньги толкают к безответственности. Авторитет означает публичность, деньги — приватность.

Властелин денег — второй из классовых бойцов. Первым был идеолог на баррикаде, размахивающий экземпляром «общественного договора». Он очистил сцену для властелина денег. Третий в этом ряду культурных термитов — властелин труда.

По сравнению со всеми тремя любая форма политического национализма консервативна и несет в себе созидательные возможности, если ответственный слой обладает достаточной проницательностью и энергией. Но нужен гений, чтобы увидеть очевидное, и понадобился Бисмарк, чтобы продемонстрировать охранительную ценность национализма и его созидательные возможности. Меттерних обеими ногами стоял на почве старой династической Европы, поэтому считал борьбу национализма

с династией борьбой хаоса с порядком. Год его ухода, 1848-й, был эпохой переосмысления национализма. Если бы он прожил дольше и увидел экономическую классовую войну сил денег и пролетариата против политики, то в качестве альтернативы выбрал бы национализм.

В сфере политики рационализм настаивал на различиях между нациями. В сфере экономики он еще сильнее играл на разобщение. Он пожелал раздробить нации на классы, а классы на индивидов. Либералы, финансисты, коммунисты и анархисты выступили коалицией против остатков авторитета, воплощенных в националистическом государстве. В первом столетии своего существования рационализм утвердил нации как основные единицы истории, сражаясь за их избавление от власти династий. В своем втором, более радикальном столетии, рационализм дошел до отрицания наций. Профессора и «политэкономы» понимают нации чисто экономически, как удобство для всемирного «разделения труда». Например, одна нация может выращивать зерновые, вторая — производить машины. Это должна быть чисто экономическая дифференциация. Данная идея дорога финансисту, поскольку, контролируя торговые потоки мира, в котором не должно быть никакой автаркии, он получает все, ведь все течет *через него*.

С другой стороны, коммунисты объявили нации капиталистической выдумкой, имевшей цель разобщить «всемирный рабочий класс». Реальными считались только классы, все остальное — иллюзией; на самом деле есть только буржуа и пролетарий.

Эти две картины мира предвещали полный хаос, распад цивилизации и подчинение варварам. В этом свете национализм из деструктивного стал консервативным, а в хороших руках — даже созидательным.

Нация в XX веке

В глубинах [истории] одна эпоха переходит в другую постепенно. На поверхности преобразование может быть как постепенным, так и внезапным. Все сводится к борьбе между новым и старым. Старики пытаются сохранить то, к чему они привыкли, молодые стремятся актуализировать новое, пульсирующее в жилах. Традиция соединяет разрывы и согласовывает поверхностную последовательность с глубинной. Если традиция подверглась разложению, как во Франции 1789-го, то разрыв расши-

руется и становится фронтом сражения. Англия подготовилась к этому раньше Франции — агитация Уилкса предполагала возможность террора в Лондоне 60-х, но правящий класс не пребывал в упадке и знал, что нужно взять под контроль и когда проявить твердость.

Идею нации XX века можно понять, применив триадический закон мышления Гегеля—Фихте. Тезис нации как династической единицы и антитезис нации как лингвистической единицы — оба поглощаются их общим источником и становятся нацией как единицей культуры, гигантским синтезом, неминуемая реализация которого служит пружиной истории в этом столетии. Нам, живущим в середине XX века, не понять возбуждения 1848-го, поскольку мы знакомы только с его ближайшей стороной. Тот, кто в 2050-м будет жить западной национальной идеей образца XX века, не сможет понять, как можно было противиться очевидной судьбе этой идеи. Хотя оппозиция оказалась столь же безрезультатной, как и сопротивление Меттерниха и Фюрстенбунда утверждению национальной идеи XIX века.

Однако существует одно большое отличие. Россия, призванная европейскими нациями на помощь против Наполеона и новой национальной идеи, которую он воплощал, считала себя европейской нацией и вела себя соответственно. Россия, которую партийные политики мобилизовали против национальной идеи XX века, была примитивно-варварской со всей своей силой и волей к разрушению. Америка, вмешавшаяся в европейскую политику, целиком находилась во власти культурных дистортеров, поэтому была временно устранена их режимом из западных сфер влияния. Если говорить об интересах Европы, которую эти две страны поделили после Второй мировой войны 1939—1945 гг., то единственное отличие между ними состояло в том, что у России не было никаких западных перспектив, а в Америке сохранялась возможность революции, которая вернула бы ее на западный путь.

XX век засвидетельствовал конец рационализма. Даже теперь — в 1948-м — он выглядит бледным и истощенным. Ученые и философы отпадают от веры. Возвращается мистицизм — как в своей авторитарно-религиозной форме, так и в виде теософских фантазий. Механицизм в биологии уступил витализму. Материализм отчаянно и безнадежно противится восстановлению души культурного человека. Релятивизм возложил на него детерминацию феноменов — в точности как в XIX веке это сделала немецкая идеалистическая философия. Даже материя осво-

бодилась теперь от каузальности: мы позволяем «электронам» сотоварищи плясать повсюду, не подчиняясь строгой физической культуре западной традиции. То, на что предыдущее поколение смотрело с ужасом, теперь тихо самоутверждается, игнорируя ультиматумы рассудка: например ясновидение, преподносимое как «экстрасенсорное восприятие». Психе вторгается даже в физиологию.

Однако в нынешнем 1948 г. мир действия увяз в мертвом прошлом, стреноженный его умопомрачением. В западной мысли на смену анализу приходит синтез, но западная деятельность остается разрушительной: классы, ничтожные «нации», *разделение* властей, одержимость экономикой, партии, профсоюзы, «права», парламенты, выборы, границы в Европе через каждые несколько миль, оппозиция, ненависть к властям, отсутствие уважения и достоинства, взаимное экономическое удушение таможенными барьерами. И это на фоне того, что неевропейский мир объединяется в огромную, расплзающуюся на весь земной шар территориальную и человеческую массу. Пока ретроградный Запад сужал свои пространственные категории, империалистический культурный импульс был подхвачен некультурными людьми, варварами. И теперь варвары строят империи, а Европа отказывается от старых завоеваний. Пока варвары провозглашают свое превосходство, в Европе слышны голоса, утверждающие, что западный империализм — этот мощнейший внутренний императив самой пассионарной и энергичной высокой культуры из всех, которые видел мир — существовал только для того, чтобы подготовить низшие расы Земли к «самоуправлению». Они продолжают твердить об этом, пока неевропейцы делят между собой родину европейской культуры, грабят и морят голодом ее население в чудовищных масштабах.

Когда слышишь дураков из Баварии, заявляющих, что их единственный выход — создать у себя «маленькую Швейцарию», можно подумать, что национальная идея XX века состоит в разрушении. Удивительно, как неевропейцам *удается* находить подобных людей на дне западной культуры.

Такая атомизация западной души не является идеей XX века. В голосах, подаваемых за покорность варвару и отказ от культуры, за фрагментацию территории и населения на все более мелкие части, слышится болезнь Запада, а не его будущее; кризис, а не выздоровление. Они возвещают псевдопобеду рационализма XVIII—XIX веков над восстановлением авторитета в XX и XXI веке. Это отзвуки рационалистических близнецов — финан-

сового капитализма и огрызающегося коммунизма, говорящие о желании усугубить старые недуги европейской воли, увековечить чувства, которые уже мертвы и больше не вдохновляют западную душу.

Известно, однако, что жизнь культуры подчиняется собственному ритму, внутреннему закону развития, императиву. Их нельзя изменить в угоду рационалистическим идеалам отдельных людей. Эти идеалы сами по себе отражают великий культурный кризис, и с прекращением кризиса они мгновенно оказываются пустыми, никто не хочет за них умирать. Сейчас кризис подходит к концу, и об этом свидетельствует развитие других культурных направлений. История предыдущих культур позволяет судить о длительности этого великого кризиса, через который все они прошли; по их истории мы можем определить, в каком пункте находимся сами.

Этот пункт соответствует переходу к новой национальной идее, которая видит нацию в качестве империи, культурной единицы. Критерии расы, народа и языка здесь не действуют, потому что XX век сформирует собственную расу и народ точно так же, как раньше история сформировала расы, народы и нации XIX века. В 1950-м вряд ли кто-то поверит в то, что будет, возможно, реальностью в 2150-м: создание нацией XX века в процессе своего возникновения нового языка. Это может быть один из старых языков, видоизмененный новым духом; это может быть новый язык, содержащий элементы всех ранее существовавших языков.

Вторая мировая война оказалась поверхностной победой прошлого над будущим. Меттерних, Бёрк, Веллингтон оценили бы эту ситуацию правильно, но связали бы свою судьбу с будущим, поскольку в будущем — порядок, а в рационалистическом прошлом — хаос и распад. Они воевали с рационализмом, когда он зарождался, а их наследники сегодня воюют уже с окоченевшим трупом рационализма, за который никто не пойдет на баррикады. Он еще не сполз со своего трона только потому, что служит варвару, разделяя Европу, а Европа разделенная — значит порочная.

Битва с прошлым видится как битва с неевропейскими силами, потому что именно они увековечивают атомизацию Европы и балканизацию культуры, делают из Запада Швейцарию.

Характерная особенность любой фазы развития культуры состоит в том, что она исторически необходима. Та же сила, которая из юноши неизбежно делает мужчину, заставляет од-

ну культурную фазу сменяться другой. И тому, и другому процессу мешать бесполезно. Единственный известный пока способ остановить развитие организма — это его убить. Гусеница *должна* стать бабочкой, бутон — цветком, юноша — мужчиной, а мужчина *должен* реализовать свои зрелые возможности. Сила, руководящая этим поступательным развитием, называется судьбой. Она работает непрерывно, от зачатия до смерти любого организма. Это — свойство всего органического, отличающее его от неорганического, неизменного, не имеющего истории. У каждого организма есть собственная жизненная задача, выполнение которой составляет внутреннюю необходимость. Степень, в которой внешняя сила способна повлиять на этот процесс, зависит от типа организма. Проявления внешних сил, пытающихся сбить высокую культуру с ее жизненного пути, рассматриваются в главе «Культурная дисторсия». Однако вначале следует остановиться на теме государства. Раса, народ, нация, государство — все это проявления культурного здоровья. Дисторсия — это культурная *болезнь*.

Государство

I

В лице государства мы сталкиваемся с чисто политической идеей в жизни высокой культуры. Раса, народ, нация — все они обладают высоким политическим потенциалом, глубокими связями с политикой, но государство есть термин сугубо политический. Содержание этого слова практически полностью изменяется в ходе развития культуры. Государства, проектируемые философами, учеными и теоретиками, не являются таковыми в свете данного исследования. Подобные вещи относятся к литературе, а мы ведем речь о том, что уже реализовано, и о том, что возможно, Платон и Кампанелла, Мор и Фурье, Руссо и Маркс — все они сочиняли утопии, которые *должны* существовать, но именно этот моральный императив, это «*должны*», показывает, что подобные государства умозрительны, а не действительны. Государство есть актуальный результат развития высокой культуры. Вне высокой культуры нет государства, и возможно лишь более или менее устойчивое лидерство. Содержание государственной идеи отражает стадию развития культуры, поэтому государство можно понять только органически. Его нельзя сделать предметом

логических операций, потому что, будучи живым, оно иррационально, значит — не поддается логике. Когда такие попытки выходят на уровень политики, то есть реальности, они повергают государство в кризис, поскольку государство, как и любая фаза культуры, может либо оставаться самим собой, либо заболевает и разваливается.

Государство есть деятельная форма нации. Содержание этой формы меняется, и каждое изменение соответствует кризису в культурном развитии. На заре нашей культуры, во времена крестовых походов и конфликта империи с папством (с 1000 по 1300 г.), культурное единство было столь сильным, что сама культура была более или менее конституирована как нация, в которой все мелкие суверены подчинены императору. Перед лицом варваров все западные европейцы действуют как одна нация и сплочены в одно государство.

В первую очередь нацию образуют сословия. Два сословия — дворянство и духовенство — олицетворяют два аспекта культурной души в наивысшей символической чистоте. Дворянство представляет войну, политику, закон, расу. Духовенство представляет религию, знание, науку, философию, мир мышления. Остальному населению достается все остальное. В целом оно выполняет только экономическую функцию: в его среде начинают развиваться торговые структуры, вольные города и торговые магнаты.

Содержательная идея жизни, однако, представлена условиями и символами империи и папства. Эта политическая форма известна как *феодальное государство*, первая государственная идея Запада.

Первый великий кризис политической формы на Западе происходит тогда, когда эта идея теряет свою самоочевидную силу, и чувства людей начинают определяться другой идеей: о существовании чего-то *высшего* по сравнению даже с благородной кровью и феодальным укладом. Таким было смутное зарождение идеи государства. Распад феодального государства происходит в XIII—XIV столетиях. Он принимает форму ликвидации чрезмерной власти верховных владык — папы, императоров и королей. Папство, в светском плане, было организовано в виде феодальной иерархии, состоявшей из могущественных духовных сановников, получавших власть от папы как верховного правителя. После смерти Иннокентия III, при котором вся западная культура на короткое время признала феодальное превосходство папы, влиятельные архиепископы и епископы добились для себя

представительских полномочий и постепенно, к 1400 г., оттеснили светскую власть папства в тень.

Самые влиятельные из германских князей поставили императорский трон под свой контроль в качестве курфюрстов (выборщиков), что было формально закреплено в Золотой булле (1356), хотя фактически — гораздо раньше. Великая хартия (1215), Генеральные привилегии Сарагосы (1283) и Генеральные штаты (1302) имели тот же смысл в Англии, Испании и Франции. В каждом случае это означало конец феодальной концепции государства и рождение чистой государственной идеи. Так было положено начало династической идее. Раньше господствовало представление, что в жизни все определяется благородством крови, теперь же главной идеей становилась цель, работа на будущее. Династия стала символом этой новой идеи.

Из этого кризиса мы в XX веке прежде всего делаем вывод, что все государственные кризисы, происходящие в высокой культуре, не ограничиваются несколькими годами, но растягиваются на столетие или больше. Далее мы узнаём, что глубинные идейные силы, которые обеспечивают исторический импульс, не сразу заметны на поверхности истории.

Конец кризиса застаёт государственную идею, утвердившуюся по всей Европе. При том, что государство везде остается полностью аристократическим, суверенитет больше не принадлежит сословиям и передается более высокой идее — государству. Термин «измена» приобретает другой смысл и становится более емким и отталкивающим. Генрих Лев понес весьма умеренное наказание за неповиновение феодальному императору. Император в конечном счете был только *primus inter pares*,¹ и отношения между ним и его вассалами носили личный характер. С триумфом государственной идеи долг лояльности государству, в случае ее принятия, становится сверхличным. Это лояльность идее, а не персоне монарха.

По мере развития государство преобразуется из аристократического в абсолютное. «Абсолютное» означает *не зависящее от любой другой формы*. Применительно к государству это подразумевает независимость от сословий, которые везде утверждали свою независимость от умирающей феодальной власти императора и королей. Это развитие приводит ко второму великому кризису западного государства: переходу к абсолютному

¹ «Первый среди равных» (лат.). — Примеч. пер.

государству. В своей самой суровой форме он продолжается столетие и возвышается над политическим горизонтом с 1550 по 1660 г.

Феодальная политика состояла в борьбе за власть между семьями, сеньорами и вассалами, фракциями. Династиям приходилось полагаться на свой политический талант, поскольку ни одна из них не была настолько сильна, что ей не мог бы бросить вызов претендующий на трон влиятельный герцог. Это было время Ланкастеров и Йорков, германских князей, городской политики и кондотьеров Ренессанса.

Однако идея абсолютного государства зрела в глубинах и около 1500 года вышла на поверхность, повсеместно включившись в борьбу с идеей аристократического государства. Боролись две государственные идеи: аристократическая и абсолютистская. Поскольку именно абсолютистское государство в истории стало идентифицироваться с государством вообще, можно назвать этот второй государственный кризис Запада битвой государства против сословий, так как, разумеется, этот кризис приобрел форму оборонительной войны аристократии против посягательств абсолютизма. Новая идея — это государство; в 1500 г. она олицетворяет будущее, потому и побеждает. Войны, которые повлек за собой этот кризис, имеют общее название: войны Фронды. Фронда — имя собирательное благородных сословий. Этот кризис длился столетие и закончился во Франции и Испании победой государства над сословиями. С этим историческим достижением связаны такие великие имена, как Ришелье и Оливарес. В Англии государство было представлено Карлом, Фронда — Кромвелем. Государственная идея потерпела окончательное поражение в 1688 г., после чего в Англии уже не было государства образца Людовика XIV, испанского Филиппа (Spanish Phillips), саксонского, вюртембергского, баварского или прусского королей. Аристократический парламент был нацией, а не государством.

В Священной Римской империи великие князья побороли государственную идею в ходе Тридцатилетней войны. Имя Валленштейна и его трагедия символизируют поражение имперской государственной идеи от германских князей. После Тридцатилетней войны в Германии развился полный набор игрушечных государств, каждое из которых копировало Версальское государство. Поражение государственной идеи в Германии означало, что она не готова к великому политическому состязанию.

Опыт Англии и Германии в войнах Фронды имеет величайшее значение для внешних проявлений дальнейшей европейской истории и требует изучения.

Идея абсолютного государства олицетворяла будущее. Она означала централизацию политики, а с тем — и власти. Она расширяла арену политики и увеличивала объем публичной власти, из чего следовало, что державы, не принявшие новой идеи, выпадут из великих комбинаций и станут просто полями битвы, объектами большой государственной политики. В точности так произошло в Германии. Поскольку было триста германий, Германии не было, и другие державы вели свои войны на германской территории. Державой была только Австрия, конституированная как государство. Остальные германские государства были слишком малы, чтобы играть независимую роль в западной политике, поэтому не являлись реальными политическими единицами.

Англия — единственная держава, где восторжествовала Фронда, однако она сохранила себя для более грандиозных политических битв, получивших толчок от государственной идеи. Это объяснялось исключительно островным положением Англии. Геополитическая безопасность, дарованная изолированным существованием, позволила Англии обойтись без строгой централизации внутренней власти, которой требовала государственная идея, не прекращая в то же время существовать в качестве политической единицы, в отличие от Германии. Когда Валленштейн и имперская государственная идея проиграли, для Германии все было потеряно на два столетия. Но победа Кромвеля, разрушившая в Англии государственную идею и заменившая ее идеей «общества», не вызвала крушения Англии просто потому, что остальные, лучше организованные государства, не могли в нее вторгнуться, пока в ее распоряжении были внушительные военно-морские силы. Содержание достаточно большого флота не требовало политической централизации, поэтому Англия пережила эру абсолютизма без абсолютного государства.

Благодаря своему островному положению Англия не сталкивалась со славянскими приграничными варварами. На ее долю не выпали, например, Гуситские войны, которых не избежала Германия. В течение шестнадцати лет, с 1420 по 1436 г., гуситские армии, вначале под предводительством одноглазого Жижки, а потом разделившиеся, заволокли пол-Германии, сжигая,

грабя и убивая. Это был вандализм, не связанный ни с какой конструктивной политической идеей, своего рода большевизм XV века — уничтожение всего европейского.

Положение Германии на границе с Азией было всегда чревато опасностью вторжения варварских — славянских, турецких, монгольских и татарских — армий. Битва с этими армиями не была колониальной войной, подразумевавшей односторонние военные действия: такой смысл это выражение приобрело в следующих столетиях. Эти приграничные варвары контактировали с Западом и переняли его целеустремленность (purposefulness), высокую организованность и централизованную волю.

Пока Германия на востоке, а Испания на юге защищали тело западной культуры от варвара, Англия формировала национальное чувство, основанное прежде всего на контрасте с остальными западными нациями и на отсутствии ощущения полной противоположности между культурным народом и варваром. Этому преувеличенному национальному чувству было суждено привести к роковым последствиям для всего Запада, включая саму Англию, в эпоху мировых войн.

III

Великая формула, описывающая переход от феодального союза к аристократическому государству, имеет тот смысл, что в первом случае государство существует только в контексте словий, а во втором — сословия существуют только в контексте государства. Постепенная экстериоризация западноевропейской души (в виде пороха и книгопечатания, географических открытий, усложнения экономической жизни, отхода от схоластической философии через триумф номинализма, роста городов, набирающей силу национальной идеи) постепенно ослабляет сословия (the States), и войны Фронды были их последним великим самоутверждением перед растущей силой абсолютизма.

Однако абсолютное государство олицетворяло будущее, и сословия потерпели неудачу. После 1650 г. в основной части Запада политикой заправляет государство. Оно выглядит династическим, но монарх видит свою значимость в том, что является верховным символом государства. Когда приближенные Людовика XIV пришли к формуле «Государство — это я», они наделили своего монарха высшим смыслом, доступным их пониманию. В Англии, где не было абсолютного государства, господ-

ствующей была идея нации, и благородный слой постепенно перестал быть аристократией и даже дворянством, в итоге превратившись в сословие *пэров* — слой, имеющий чисто социальное значение. Благодаря своему социальному влиянию он обладал большими политическими возможностями, но все же его политическое положение было подчиненным и не настолько суверенным, как во времена Великой Хартии.

Мир политических форм культуры продолжает развитие, и следующий великий кризис политической формы связан с переходом от абсолютного государства к демократии. Кризис начался около 1750 г. и в интенсивной форме продлился столетие. Во Франции он вспыхнул неистово в 1789-м и быстро перешел в террор 1793-го. Рационалистическое происхождение демократических идей показало, что их сутью является политическое применение рационализма.

Кризис, в котором абсолютное государство противостояло демократии, в нескольких аспектах отличается от остальных. Окончательная экстерниоризация души Запада, вызванная эпохальным преобразованием культуры в цивилизацию, генерировала ранее немыслимый объем политической власти. Армии теперь насчитывали не тысячи или десятки тысяч, но в течение нескольких десятилетий выросли до сотен тысяч, а с обеих сторон — до миллионов. Решения принимались уже не несколькими послами и министрами, но возникшими новыми лидерами, за спинами которых стояла мощная поддержка толп. Форма абсолютного государства не подвергалась сомнению более века, и вдруг в воздухе повисла новая идея: что *разум* подвергнет все вещи пересмотру и видоизменит мир. Поскольку органический факт состоит в том, что живые существа либо должны подчиняться своим внутренним законам, либо заболеть, попытка подчинить мир действия разуму никак не могла оказаться успешной. Успех означал лишь выведение государства из строя. Но на деле разум использовался как политическое оружие, и политические лидеры подчинялись диктату ситуации без оглядки на разум. При этом должна была создаваться видимость логики, в результате чего крайнее расхождение между поведением и принципом превратило демократию в лицемерие. Партийный политик не может не быть шарлатаном. Новым образцом государственного деятеля стал Линкольн, американский политический лидер, притворявшийся святым. Его человеколюбие было только прикрытием для разгула по континенту финансового капитализма, а методикой — раздача должностей (*spoils-system*).

Разум — это продукт жизни, и попытка перевернуть все с ног на голову, чтобы представить жизнь произведением разума, на практике была обречена. В теории, однако, она во всех высоких культурах растянулась на два столетия. Единственная ее цель — *разрушить*. Она разрушает культуру в узком смысле, как искусство и литературу; она разрушает традиции служения, достоинства, верности, чести. Она разрушает государственную идею, воплощенную в своей последней очищенной форме — абсолютном государстве. Говоря политически, она опустошает цивилизацию изнутри. Уравняв все политические и социальные силы, рационализм теперь может любоваться созданным им чудовищем — абсолютной властью денег. Эта новая сила бесформенна, анонимна и безответственна. Самые могущественные денежные воротилы неизвестны массам и не хотят этого. Известность, ответственность и санкции идут рука об руку, поэтому властелин денег не желает привлекать внимания, рисковать жизнью, он жаждет только денег и еще больше денег. Партийные политики существуют только для того, чтобы обеспечивать защиту ему и его махинациям. Суды являются опорой для его ростовщичества. Остатки государства также у него на службе. Когда возникает угроза его торговой системе, маршируют армии. Он не подчиняется ничему, это он — новый суверен. Он стоит над нациями, а его банковские операции превыше национальных законов. Это при его господстве в западной цивилизации приобретает свой зловецкий и тайный смысл фраза «Силы, стоящие за тронem». Он действует, не подвергаясь риску. Герой в его глазах — глупец, патриот — идиот. Эти могут проливать кровь, но выгоду получает он. Если что-то угрожает его системе, он мобилизует массы целых континентов, выдвигает националистические лозунги, не забывая о введении всеобщей воинской повинности, которая более эффективна, чем лозунги.

Это новое исчадие воплощает подлинный смысл великого слова-приманки «свобода». Свобода обладала привлекательностью для двух огромных групп — интеллектуалов и торговцев. И для тех, и для других государство было обузой. Его *единый* пульс, *единый* императив, наделяющий каждую жизнь собственным величием, тротуарные интеллектуалы хотят подменить всеобщим критицизмом, а торговцы — учредить всеобщую торговлю без каких-либо ограничений. *Эти два новых сословия представляют собой карикатуру на старую аристократию и духовенство.* Интеллектуал со своей атеистической сатирой является новым хозяином в мире демократического образа мысли, а торговец со своей бухгалтерией — соответственно, в мире действия.

IV

Чтобы с предельной четкостью резюмировать биографию государственной идеи в западной культуре, я представил ее в виде таблицы. Приведенные даты следует, разумеется, понимать приблизительно. Точный год выбран произвольно, так как исторические преобразования в своей глубине постепенны. Идея зарождается, медленно развивается, наконец, переходит в область действия, где ее максимальный успех может быть отсрочен на многие десятилетия. Кризисы ощущаются, но появление первых признаков кризиса и выход из него нельзя привязать к точным датам. Даже в жизни человека нельзя определить дату, когда наступает зрелость, хотя в качестве *идеального* возраста для этого перехода выбран 21 год.

Форма государственной идеи	Время существования формы	Длительность кризиса при переходе к следующей форме
Феодальное государство	1000—1300	1200—1300
Аристократическое государство	1250—1660	1550—1660
Абсолютное государство	1600—1815	1750—1850
Демократия	1750—1950	1900—19__

Из таблицы следует, что государственные формы взаимно перекрываются, а кризисы накладываются на формы; факты указывают на реальность этого феномена. В одном месте идея уже торжествует, в другом она не проявляется еще полвека. Или же новая идея может зародиться и проиграть на поверхности истории, после чего требуются десятилетия, прежде чем она вновь вступит в борьбу за власть. Мы, живущие в середине XX века, хорошо знаем, что значит переходный период. Старая идея почти мертва, но партийные лидеры продолжают твердить старые лозунги, как бессмысленные попугаи, делающие что-то просто так.

Последняя цифра в таблице не проставлена. На смену идее демократического государства приходит последняя государственная форма культуры.

Старые традиции культуры вместе с их наивысшим политическим выражением — абсолютным государством — были уничтожены в течение двухсотлетнего разрушительного давления снизу. Толпы во главе с доктринерами классовой войны атаковали и смели старые социальные силы в течение первого рационалистического столетия (1750—1850), а финансовые капиталисты

и рабочие лидеры одержали верх над лидерами производительной экономики в следующие сто лет (1850—1950), растворив всю коллективную жизнь в ничтожной, бездушной, бесконечной борьбе за деньги.

Все население западной культуры смертельно измотано этой подлой борьбой, этим хаосом без лидера, авторитета и сильного командного голоса. Западный мир страстно желает высвободиться из грязи и мерзости партийной политики, классово войны, финансового ростовщичества и полного забвения героического духа. Эта тоска олицетворяет современную, образца 1948 г., форму государственной идеи будущего. Она уже проявила себя в теле Европы. Ее форма в ближайшем будущем — возрождение авторитета. Все идет к цезаризму, когда авторитет выходит из обороны, вновь становясь самоочевидным, как и в тысячелетие до прихода рационализма. На первых стадиях новая идея открыто направлена против рационализма и демократии, которые, однако, тем скорее утонут в прошлом, чем меньше на них обращать внимания.

Новая государственная форма, соответствующая медленно восходящей европейской расе, европейской нации, европейскому народу и европейскому языку, также универсальна. Родина этого государства будет находиться в пределах Западной Европы, включая Скандинавию, Англию, Францию, Германию, Италию и Испанию. Сохранит ли оно на первых порах некоторые устаревшие рационалистические формы — бумажные конституции, якобы имеющие какое-то отношение к правлению, парламенты и выборы — не столь важно в свете его великого внутреннего смысла.

Это государство покончит с внутренней анархией Запада, которая стала очевидной за долгое время своего разгула. Публичная власть не может больше принадлежать индивидам; общественные предприятия перейдут в общественную собственность и управление, денежная монополия нескольких лиц будет передана государству. Исчезнут оба аспекта капитализма: финансовый капитализм наднационального ростовщика и капитализм трудового диктатора (*labor-dictator*). Ориентация на внутреннюю политику сменится величайшими из всех известных миру войнами против варвара за выживание западной цивилизации. Героический дух изгонит дух наживы. Честь вытеснит ханжество, и торговец уступит дорогу солдату. Задачей такого государства является неограниченный империализм, в отличие от исчезнувшего вместе с феодализмом империализма крестовых походов,

ультрамонтанского империализма Испании во времена ее славы и экономического империализма Англии (1600—1900). Это будет новый — тотальный, политический, организаторский, авторитарный — империализм, который водрузит западное знамя на высочайших вершинах и самых дальних мысах. Новое государство не станет полагаться на партийного лидера, видящего не дальше следующих выборов, но будет мыслить столетиями и простоит тысячелетие. Оно растворит индивидуалистическое себялюбие в новом социализме — не обветшалом социализме классовой войны за «права», но строгом социализме, готовом к внешним угрозам. Прежние попытки вмешательства в реальность с помощью теорий будут забыты в новом единстве культуры, нации, народа, расы, государства. Отвергнув рационализм, враждебный душе культурного человека, новое государство будет способствовать духовному развитию и возрождению религии, сопровождающим рождение нового государства.

Последняя строка таблицы, иллюстрирующей биографию государственной идеи в западной культуре, такова:

Авторитарное государство 1900—2___ Отсутствует; последняя западная государственная форма

Б) ПАТОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ

Патология культуры

I

Всем четырем формам жизни — растениям, животным, человеку, высоким культурам — свойственна органическая последовательность: рождение, рост, зрелость, завершение, смерть. Каждая форма сохраняет в себе существенные признаки менее совершенных, менее сложных форм, и новая душа является, так сказать, надстройкой на общем фундаменте. Например, растения демонстрируют тесную связь с космическими ритмами, животным свойственно географическое распространение по определенному ландшафту, широкое или узкое, а также непосредственность инстинкта, объясняющаяся строгим подчинением космическим ритмам. Для человека характерна привязанность к почве,

как духовная, так и материальная; он обладает инстинктами хищника, а чередование сна и бодрствования указывает на периодическое преобладание в нем расслабленного растительного элемента. Высокая культура в своей привязанности к родной почве проявляет *растительную* природу, которая сохраняется с самого начала и до последних времен; *животную природу* — в безжалостном поглощении других форм жизни; *человеческую природу* — в своей духовной сущности. *Оригинальность* ее заключается в силе, способной преобразовывать человеческую жизнь, в огромной продолжительности жизни и могуществе судьбы.

Всему живому свойственна болезнь, равно как и здоровье. В своей системе наук Бэкон уделил внимание науке про отклонения, а после него Д'Аламбер в классификации для «Энциклопедии» упомянул «чудеса (Prodigies), или отклонения от естественного хода природы». Жизнь регулярна в своих феноменах, а отклоняясь, регулярна в своих отклонениях. Болезнь любого рода, экзогенная или эндогенная, относится к патологии. Патология свойственна растениям, животным и человеку. Высокие культуры тоже страдают от патологии, которая осознается только в начале новой эпохи с ее неиспорченным восприятием фактов и свободой от материалистических предрассудков. У каждого организма своя патология, поэтому растение не может страдать заболеванием печени, а собака — психозом. Характер процесса усложняется при движении вверх, в соответствии со ступенчатой стратификацией планов бытия по мере усложнения жизни. Так, паразитизм — форма растительной патологии — существует также и у высших живых существ. Развитие растения может быть нарушено неблагоприятными условиями, развитие животного может быть замедлено внешним вмешательством. Слабые человеческие организмы могут быть духовно заторможены и оглулены в результате полного господства над их душами более волевых людей.

Человеческая патология, в отличие от физики, — это наука о становлении, а не о ставшем. Спектр жизненных отклонений не поддается схематическому упорядочению, потому что жизнь вообще не терпит никакой классификации. Душа, воля, интеллект, эмоции *необъяснимы* в своих проявлениях, и к ним неприменим систематический подход, в отличие от данных физики или геологии.

Естественно, что патология высоких культур оставалась белым пятном для научного метода, который в качестве основных догматов принял то, что жизнь механистична, человек не облада-

ет душой, а сознание можно описать химической формулой. Для этих воззрений, отрицающих Бога и душу, высокая культура была просто абстрактным наименованием совокупности достижений отдельных людей. Нация считалась собранием индивидов, связанных только механически; содержание жизни сводилось к экономике и «счастью», а во всем, что наделяло жизнь духовным содержанием или смыслом, видели главного врага. Такое мировоззрение было просто не в состоянии понять жизнь, создав психологию, недостаточную даже для понимания животных, и назвав ее психологией человека. В центр внутреннего мира был помещен бесплодный интеллект, а мистическая природа творческих способностей человека отвергалась.

Сама эта точка зрения была продуктом определенной эпохи: эпохи рационализма. Избавившись от этого предрассудка, мы открыли целый новый мир взаимоотношений души, куда вход был запрещен в течение последних двух столетий. Мы освободились от гнетущей дряблости материализма и снова получили возможность шагнуть вперед в многоцветное и бесконечно разнообразное царство Души. В своей финальной фазе эпоха рационализма направила острие против самой себя: отказавшись признать психические феномены, доказанные ее собственными методами, она продемонстрировала собственную иррациональность, характеризующую ее как религиозную веру, и перекочевала в коллекцию храмов, легенд и воспоминаний, которую собирает История.

Материализм вывернул все наизнанку, но в действительности это душа использует материю как средство для самовыражения. Материализм, наблюдая только результаты, а не невидимую судьбу, которая к ним привела, объявил, что *результат* первичен, а душа — ничто. Неспособный ухватить невидимую *необходимость*, правящую всем органическим, и ее связь с Космосом, он сотнями путей пришел к выводу, что жизнь есть *случайность*. Чтобы не перечислять все эти курьезные резоны, достаточно взять, например, присутствие пыли в воздухе. Лабораторные мыслители обнаружили, что *если бы* в воздухе не присутствовала пыль, жизнь была бы невозможна. Им никогда не приходило в голову, что жизнь и другие феномены связаны мистической необходимостью. Рассматривая все в отдельности, применяя все более тонкий анализ ко все более мелким вещам, они совершенно потеряли связь с реальностью и удивились, когда вдруг обнаружили, что все между собой связано. Такое возможно только случайно, — заявили эти глубокие мыслители.

Отправным пунктом для нас являются условия жизни. Не всей Жизни, но только той особой ее формы, которая называется высокой культурой.

Каждой жизненной форме соответствуют свои идеальные условия. Некоторым растениям требуется много воды, остальным — меньше. Одни растут в соленой воде, другим нужна пресная. У животных есть местообитание, каждый вид связан с определенной территорией или территориями, которые обеспечивают условия для его здоровья и выживания. Людям как целому также свойственна территориальность, и разные типы людей связаны с определенными ландшафтами, отвечающими их жизненным потребностям.

Наряду с существованием идеальных жизненных условий для различных живых существ, все формы жизни и организмы способны к *адаптации*. Растение может оставаться живым (но в угнетенном состоянии) при недостатке воды. Однако есть определенный минимум, когда дальнейшее уменьшение количества воды ведет к полному прекращению жизни. Это *предел адаптации*. Как у животных, так и у человека адаптивность имеет пределы. Люди могут жить в плотном воздухе долин и разреженном воздухе высокогорья. Человеческое тело приспособляется к горным условиям за счет увеличения грудной клетки и поверхности легких. Но эта способность к адаптации не бесконечна, и существует такая разреженность воздуха, к которой человек не может адаптироваться из-за врожденных границ человеческой жизненной формы.

В данной работе мы касаемся этой темы только для того, чтобы дать элементарный базис, необходимый для понимания природы культурных феноменов в целом, как основу для *действия*. Речь идет о политике, а не философии истории и тем более не натурфилософии. Тема культурной патологии сравнительно нова. Пока существуют лишь контуры того, что к 2100 году оформится как дисциплина. Но политику нельзя отделить от культуры, и любая попытка осветить *необходимый* путь европейской политики в этот переломный момент, оправдана культурно и исторически.

Высокая культура отличается от остальных организмов тем, что актуализирует свои материальные проявления через низшие организмы, а именно через культурного человека. Ее тело представляет собой огромный агрегат из многих миллионов человеческих тел, находящихся в определенном *ландшафте*. Вопрос

о существовании духовной связи прасимвола культуры с тем или иным *ландшафтом* мы не рассматриваем. Если же говорить о *физической* адаптации культуры, то так вопрос, разумеется, не стоит. Ее адаптация имеет только *духовный* смысл. Культуре, в отличие от человека, не свойственны также *физические* болезни. Болезнь культуры может быть только *духовным* феноменом.

Сама по себе Жизнь — это тайна, то есть что-то не поддающееся окончательному пониманию. Возможно, это объясняется тем, что способность к пониманию вообще представляет собой всего лишь одно из свойств одной из категорий живого; иными словами, это часть от части, почему и не способна к восприятию Целого. Любое проявление жизни есть тайна, включая болезнь. У некоторых людей, вступивших в контакт с микроорганизмами, развивается определенная болезнь. Другие вовсе не реагируют на эти микроорганизмы. Одному человеку сыворотка может быть полезна, а другого может убить. Подобные феномены, связанные с болезнью, можно обсуждать в терминах адаптации и неспособности к адаптации. Окончательную причину, по которой вид или индивид сталкивается с пределом своей адаптивной способности именно *в этой точке*, а не дальше, установить невозможно.

То же самое относится к культурам. Причина, по которой душа культуры сохраняет свою чистоту и индивидуальность, от нас сокрыта. Так или иначе внутренне культура следует своим жизненным курсом и никогда не изменит его под влиянием чужого жизнеощущения, черпающего свою мотивацию из источников, внешних данной культуре.

Тайной является и то, почему судьба побуждает организм реализовывать свои возможности и заставляет переходить от одной фазы к следующей. Тем не менее это так. Материалистический XIX век, полностью утратив контакт с реальным духовным миром из-за своей одержимости квазиреальным (*sub-real*) миром материи, в итоге ощутил безотчетный смертельный страх, после чего рационалистическая медицина заявила о своем намерении покончить со смертью. Такие вещи делают честь интеллектуальной смелости рационалистов, но показывают, что их беспочвенный интеллект равносителен глупости. Мы не можем избежать судьбы, поскольку даже наш протест против нее представляет собой определенную фазу развития.

Тема культурной патологии слишком широка, чтобы исчерпать ее здесь: она будет предметом для многих томов в грядущих столетиях. Все, что необходимо для мировоззрения XX века, сосредоточенного на действии, — это понимание трех фе-

номенов из огромной области культурной патологии, а именно: культурного паразитизма, культурной ретардации и культурной дисторсии.

Все эти три культурные болезни присутствуют на Западе в середине XX века, начавшись несколько ранее. Именно это болезненное состояние западной цивилизации делает возможной современную абсурдную мировую ситуацию. Современная — значит относящаяся к первым двум мировым войнам с их ужасными последствиями. Родина западной цивилизации — это обитель сильнейших умов и характеров, мощнейшей моральной силы, наивысшей технической продуктивности, единственной в мире позитивной высокой судьбы. Однако несмотря на то, что все это предполагает наивысшую в мире концентрацию силы, западная цивилизация превратилась сегодня в объект мировой политики, став добычей, трофеем для хищных внешних сил. До этого состояния она доведена не военными средствами, но критической культурной болезнью.

Культурный паразитизм

I

В главе о политическом мировоззрении ситуация, когда отдельные лица влияют на политические дела в собственных интересах, была названа паразитической политикой. Приводился пример, как маркиза де Помпадур свергла Францию в войну против великого Фридриха, который перед всей Европой назвал ее обидным прозвищем. В этой войне Франция проиграла Англии свою заморскую империю, поскольку сражалась в Европе и не могла тратить силы на большую войну за ее пределами. Таков обычный итог паразитической политики.

Нация есть идея, но это лишь часть более высокой идеи, порождаемая культурой в процессе своей актуализации. Подобно тому, как в составе нации могут быть группы и облеченные властью индивиды, мыслящие вразрез с реализацией национальной идеи, так бывает и с культурой.

О паразитической политике внутри нации известно всем, и, столкнувшись с ней, все сразу понимают, что к чему. Когда грек Каподистрия был министром иностранных дел России, никто не ждал, что он будет проводить антигреческую политику. Во время Боксерского восстания в Китае ни одна западная держава

не собиралась отдавать команды китайским генералам. На войну с Японией (1941—1945) американцы не отправляли призывников японского происхождения, равно как в первых двух мировых войнах Европа обнаружила, что не может рассчитывать на богемских славян, действуя против России. Американские генералы не осмеливались использовать своих мексиканцев против Мексики или негров против Абиссинии. Аналогично в период подготовки к войне с Россией никто из симпатизирующих ей не получил бы публичную власть в Америке, не говоря уже о том, что американцы перевернули бы вверх дном все правительство в поисках русских иммигрантов.

Подобные явления отражают то положение вещей, что человек или группа не изменяют себе, даже будучи принятыми в другую группу, если не ассимилируются. Ассимиляция равносильна исчезновению группы как таковой. Кровь составлявших ее индивидов остается прежней, но группа прекращает существование. В противном случае она продолжает быть инородным телом.

Рассматривая тему расы, мы увидели, что физические отличия не являются барьером для ассимиляции, в отличие от культурных отличий. Примерами служат балтийские немцы и немцы Поволжья, изолированные в примитивной России, китайцы и японцы в Америке, негры в Америке и Южной Африке, британцы в Индии, парсы там же, евреи в западной цивилизации и России, индусы в Натале.

Культурный паразитизм возникает тем же способом, что и политический. Паразит — это живое существо, живущее внутри или на поверхности тела другого живого существа и за его счет. Поэтому он переориентирует часть энергии хозяина в направлении, чуждом интересам последнего. Это практически неизбежно: если организм не расходует энергию на собственное развитие, он ее теряет. Паразитизм непременно наносит хозяину вред, который увеличивается пропорционально росту и размножению паразита.

Любая группа, не разделяющая культурное чувство, но при этом живущая в культурном теле, неизбежно приносит культурные потери. Такие группы формируют в культурном теле своего рода области нечувствительных тканей. Группа, стоящая в стороне от исторической необходимости, судьбы культуры, неизбежно *противится* этой судьбе. Этот феномен никак не зависит от человеческой воли. Духовно паразит находится вовне, но физически — внутри. Воздействие на организм хозяина он оказывает пагубное и в физическом, и в духовном смысле.

Первый физический эффект присутствия посторонних групп в теле культуры состоит в том, что уменьшается численность культурного населения. Члены чуждой группы занимают места индивидов данной культуры, которым по этой причине не суждено родиться. То есть численность культурного населения искусственно уменьшается на величину, равную численности паразитической группы. В случае животного и человеческого паразитизма одним из многочисленных последствий для хозяина является ухудшение питания. К тому же приводит культурный паразитизм. Уменьшая численность культурных индивидов, паразит лишает культурную идею единственного вида физического питания, в котором она нуждается — постоянного пополнения человеческим материалом, адекватным ее жизненной задаче.

Такое негативное влияние иммиграционных групп на воспроизводство культурного населения обнаружено только недавними исследованиями популяционной динамики. Например, сравнительное изучение американских демографических процессов показало, что сорокамиллионная иммиграция с других континентов с 1790 г. по настоящее время вообще не привела к увеличению населения Америки, повлияв только на его качество. Сверхличная идея, к тому же облеченная силой судьбы, должна выполнить свою жизненную задачу, и если для этого требуется население определенной величины, растущее в определенном темпе, то эти условия непременно будут соблюдены.

Материализм получил в свои руки данные о популяционных тенденциях, но не смог их объяснить. В случае западных наций эти данные показывают постепенный рост, быстро достигающий пика, потом стабилизацию и медленный спад. Кривая, описывающая такую популяционную динамику (у всех наций эти кривые примерно одинаковы) подходит также для описания популяционных изменений высокой культуры. На стадии перехода высокой культуры к цивилизации (в нашем случае этот переход символизирует Наполеон) численность быстро растет и достигает величин, значительно превосходящих все прежние. Тот же дух времени, который направил всю энергию культуры вовне, на создание гигантской промышленности и техники, на великие революции, широкомасштабные войны и неограниченный империализм, одновременно способствовал такому росту численности. Жизненная задача западной цивилизации — самая мощная из всех, поэтому для ее исполнения требуется огромное население.

Культурно-паразитические группы не подчиняются идее. Они направляют энергию культуры вовнутрь и вниз, образуя в теле

культуры слабые места. Опасность такого внутреннего ослабления возрастает пропорционально внешней угрозе. В XVI веке, когда существованию Запада угрожали турки, ни один западноевропеец не сомневался бы, что большие внутренние турецкие группы — если бы таковые имелись — представляют серьезную угрозу.

Второй способ, которым культурный паразитизм подтачивает основы культуры, заключается во внутреннем трении, с *необходимостью* возникающем от его присутствия. В теле арабской культуры, примерно во времена Христа, присутствовало большое число римлян. Их культурная стадия соответствовала поздней цивилизации, то есть полной экстериоризации, а культурная стадия местного арамейского населения соответствовала ранней культуре. Напряженность, возникшая естественным образом, — расовая, национальная и культурная, — обострилась и в 88 г. до н. э. достигла кульминации в массовом убийстве 80 тысяч римлян. Это привело к Митридатовым войнам, в которых за 22 года погибли еще сотни тысяч.

Другое явление, ближе к нашему времени, — это китайцы в Калифорнии. Расовая напряженность между белым и китайским населением на протяжении XIX—XX веков выливалась во взаимную травлю, ненависть, бунты и кровавые эксцессы. Примером аналогичных вспышек обоюдной ненависти и насилия было негритянское население как в Америке, так и в Южной Африке.

Все эти инциденты являются симптомами культурного паразитизма, присутствия группы, не принадлежащей к данной культуре. Эти явления не имеют никакого отношения к ненависти или злему умыслу какой-либо стороны вопреки аналитическим выводам рационализма. Рационализм всегда близорук, видя с обеих сторон только совокупность индивидов. То, что эти индивиды убивают друг друга, объясняется желанием данных, конкретных индивидов в данное, конкретное время убивать друг друга. Рационализм не понимает даже простого органического феномена толпы, не говоря уже о формах высшего порядка — народе, расе, нации, культуре. Либералам никогда и в голову не приходило, что если подобные трения на протяжении пяти тысяч лет истории всегда проявлялись одинаковым образом, то в этом присутствует некая *необходимость*. Либералам было не дано понять инстинкт, космический ритм, расовый пульс. Расовый бунт в их глазах выглядел результатом недостатка «образования» и «терпимости». Птица, пролетающая над уличными беспорядка-

ми, все поняла бы лучше материалистов, которые добровольно выбрали точку зрения червя и стойко ее придерживались.

До сих пор для этих эксцессов как результата злобы и ненависти справедливо обратное — демонстрация доброй воли и «терпимости» на деле увеличивает напряженность между двумя совершенно чуждыми группами и делает ее взрывоопасной. Привлечение внимания к различиям между чужими друг другу группами обостряет эти различия и ускоряет взрыв. Чем теснее контакт, в который приводятся две группы, тем более коварной и опасной становится взаимная ненависть.

Теоретически звучит красиво, когда утверждают, что если бы каждого индивида «научить терпимости», тогда не было бы расовых или культурных конфликтов. Но *подлинными участниками такого рода событий являются не индивиды, и не они вызывают их к жизни: причиной здесь выступают высшие органические общности, побуждающие простых индивидов к действию.* Зарождаясь, процесс не связан ни с сознанием, ни с интеллектом, ни с волей, ни даже с эмоциями. Все это включается в игру только в качестве защитной реакции культуры на инородную жизненную форму. Процесс не начинается ненавистью и не останавливается «терпимостью». Все подобные разговоры равносильны применению логики бильярдного стола к сверхличным организмам. Но логике здесь не место. *Жизнь иррациональна, таковы же и все ее проявления: рождение, рост, болезнь, устойчивость, самовыражение, Судьба, История, Смерть.* Если мы все же хотим держаться *логики*, тогда следует отличать неорганическую логику от органической. Неорганическая логика основана на каузальном мышлении, органическая логика мыслит судьбой. Первая — знающая, просвещенная, сознательная; вторая — ритмическая и бессознательная. Первая — это лабораторная логика физического эксперимента, вторая — это живая логика людей, занятых деятельностью и никоим образом не живущих по той же логике, которую применяют в своих лабораториях.

II

Самым трагическим примером культурного паразитизма для Запада является присутствие разбросанных по всему его телу фрагментов нации, принадлежавшей к арабской культуре. Нам уже известно, что в этой иной культуре смысл национальной идеи совершенно отличался от нашей: нация в ней являлась од-

новременно государством, церковью и народом. Идея родины как *территории* была ей неизвестна. Родина была там, где жили верующие. Соотечественник (*belonger*) и верующий были взаимозаменяемыми понятиями. Эта культура достигла стадии поздней цивилизации, когда наш готический Запад еще только выходил из первобытности. В небольших деревушках (городов еще не было) пробуждающегося Запада эти законченные космополиты построили свои гетто. Денежное мышление, которое выглядело злом в глазах глубоко религиозного Запада, было *сильной стороной* этого высокоцивилизованного чужого народа. Христинам церковь запрещала взимание процента, вследствие чего монополия на деньги перешла к чужеземцам. *Judengasse*¹ на тысячелетие опережало в культурном развитии свое окружение.

В это время сложилась легенда о Вечном жиде, отразившая ощущение *суеверного страха* (*uncanniness*), которое испытывал европеец в присутствии этого безземельного незнакомца, везде чувствовавшего себя как дома, хотя Европе казалось, что он нигде не находит себе места. Запад столь же плохо понимал его Тору, Мишну, Талмуд, Каббалу и Йециру, как он — христианство и схоластическую философию. Эта неспособность к взаимопониманию породила отчуждение, страх и ненависть.

Ненависть западного европейца к еврею имела религиозные, а не расовые причины. Еврей был *язычником*, и в его цивилизованной и интеллектуальной жизни европейцу виделось что-то мефистофельское, сатанинское. Хроники того времени содержат описание ужасов, порожденных контактом этих двух совершенно чуждых друг другу групп. Евреев истребили в Лондоне в день коронации Ричарда I (1189). В следующем году толпа осадила 500 евреев в замке Йорк, и, чтобы избежать ее ярости, они начали резать друг другу глотки. Король Иоанн бросал евреев в тюрьму, выкалывал им глаза и выдергивал зубы, сотни их были убиты в 1204-м. Когда в Лондоне еврей заставил христианина выплачивать ему более 2 шиллингов в неделю по займу в 20 шиллингов, толпа растерзала 700 евреев. Крестоносцы столетиями истребляли еврейское население целых городов, где останавливались по дороге на войну в Малой Азии. В 1278 г. 267 евреев были повешены в Лондоне по обвинению в обрезке монет. Вспышку чумы в 1348 г. связали с евреями, и по всей Европе прокатились массовые убийства. На протяжении 370 лет евреям было запрещено находиться в Англии, пока их снова не впустил Кромвель.

¹ Гетто (нем.). — Примеч. пер.

Хотя мотивация этих эксцессов не была расовой, она создавала расу. То, что не уничтожало евреев, делало их сильнее и еще глубже отделяло от народов-хозяев физически и духовно.

За много веков европейской истории проблемы и события, *основательно всколыхнувшие* Запад, не трогали беспроблемного еврея, чья внутренняя жизнь остановилась по завершении культуры, создавшей еврейский церковно-государственно-национальный народ. В его глазах конфликт империи и папства, Реформация и эпоха географических открытий были совершенно бессодержательны. Он взирал на них как сторонний наблюдатель. Его интересовал единственный вопрос: что все это значит для него, и никогда не приходила в голову мысль о том, чтобы принимать во всем этом участие или жертвовать собой в пользу той или иной стороны. Точно так же англичане в Индии взирали на волнения среди туземного населения.

В разбросанных по Европе еврейских гетто все было единообразным: пищевые запреты, дуалистическая талмудическая этика (одна для отношений с гоями, другая — с евреями), правовая система, руны, филактерии, ритуал, чувство. Еврейский суфизм, секта хасидов, каббалистика, религиозные лидеры, такие как Бааль Шем и цадики, одинаково непонятны европейцам. Не только непонятны, но и неинтересны. Европейец был поглощен интенсивными конфликтами внутри своей собственной культуры и не вникал в сердцевину еврейской жизни, если она его не касалась.

Пока не наступил экстериоризированный, восприимчивый к фактам XX век, европейская культура не замечала еврея как культурный феномен. В готические времена, до Реформации, она считала его язычником и ростовщиком, при Контрреформации — находчивым бизнесменом, в эпоху Просвещения — цивилизованным гражданином мира, в эпоху рационализма — передовым борцом за освобождение интеллекта от уз культуры и ее традиций.

XX век впервые заметил, что у еврея есть своя общественная жизнь и сложнейший внутренний мир. Европейец осознал, что мировоззрение еврея по широте и глубине эквивалентно его собственному и потому чуждо в абсолютном смысле, о чем раньше не подозревалось. В предыдущие века взгляды европейца на еврея были ограничены тогдашней стадией развития западной культуры, но в XX веке с его универсальным мировоззрением так называемый «еврейский вопрос» впервые предстал во всей *полноте*. Еврея от Запада отделяет не раса, не религия, не этика,

не национальность и не политическая лояльность, но нечто всеобъемлющее, то есть культура.

Культура включает в себя тотальность мировоззрения: науку, искусство, философию, религию, технику, экономику, эрос, право, общество, политику. В каждой из этих ветвей западной культуры еврей выработал свои собственные вкусы и предпочтения, и когда он вмешивается в общественную жизнь западных народов, то ведет себя особым образом, а именно в стиле, характерном для общественной жизни еврейской церковно-государственно-национально-народной расы. Эта общественная жизнь была невидима для погруженного в себя Запада до XX века.

Как и все другие нации при завершении соответствующей цивилизации (например, индийской, китайской или арабской), еврейская нация перешла к кастовой системе. Брамины в Индии, мандарины в Китае и раввинат в еврействе являются тремя равноценными феноменами. Раввинат был хранителем судьбы еврейской общности. Когда среди евреев появлялись вольнодумцы, долгом местного раввината было пресечь ересь. Свободомыслящего еврея из Амстердама Уриэля да Косту местная синагога отправила в тюрьму и подвергла таким преследованиям, что в итоге он покончил самоубийством. Спиноза был отлучен той же самой синагогой, и было совершено неудачное покушение на его жизнь. Ему предлагали подкуп, чтобы вернуть в иудаизм, но когда он отказался, его прокляли и предали анафеме. В 1799 г. хасидского лидера восточного еврейства Шнеура Залмана, осужденного собственным народом, раввинат передал правительству Романовых, подобно тому как европейская инквизиция отдавала осужденных еретиков на расправу государству.

В то время Запад даже не замечал этих явлений, и не понял бы, заметив. Он подходил ко всему еврейскому со своими собственными предрассудками, точно так же как евреи смотрели на Запад через призму своего продвинутого мировоззрения.

Парсы в Индии — еще один фрагмент арабской культуры, разбросанный за границей в чуждой среде. Парс, по сравнению с его человеческой средой, обладал той же деловой хваткой, что и еврей на старом Западе. Его внутренняя жизнь была совершенно скрыта от окружавших его чужаков, а интересы отличались во всех отношениях. В волнениях и бунтах, происходивших в течение веков британского господства, парсы участия не принимали. Аналогично еврея никоим образом не касались Тридцатилетняя война, войны за наследство, конфликт Бурбонов и Габсбургов. Несовпадение культурных стадий ведет к полной духовной изо-

ляции. Отношение еврея к противоречиям внутри Запада было таким же, как у Пилата в ходе суда над Иисусом. Религиозные вопросы, поднятые в ходе разбирательства, совсем не трогали Пилата как представителя цивилизации в ее последней фазе, которую от периода религиозного возбуждения, охватившего его культуру, отделяла тысяча лет.

Со всплеском рационализма на Западе, однако, наступает пауза в коллективной жизни той части евреев, которая оказалась изолирована в границах западной культуры.

III

Примерно в 1750 г. на Западе возникают новые духовные течения. На европейскую душу распространяет свое влияние английская сенсуалистская философия. Разум, эмпиризм, анализ, индукция — таким был новый дух. Но *все* оказывается глупостью, если смотреть в свете разума, дистиллированного от веры и инстинкта, что продемонстрировал в своем злобном сочинении «Похвала глупости» Эразм. Глупостью оказывается *все*: не только жадность, честолюбие, гордость и война, но и церковь, государство, брак, деторождение и философия. Превосходство разума враждебно жизни и вызывает кризис в любом организме, который ему подчинился.

Культурный кризис, связанный с рационализмом, был частью западной судьбы. Через него прошли все предыдущие культуры. Он знаменует поворотный пункт от внутренней сосредоточенности культуры к овнешнению душевной жизни цивилизации. Центральная идея рационализма, *свобода*, на деле означает свободу от культурных оков. Наполеон освободил войну от церемонности Фонтенуа (1745), когда каждая сторона вежливо приглашала другую сделать первый выстрел. Бетховен освободил музыку от совершенства формы Баха и Моцарта. Террор 93-го освободил Европу от представления о неприкосновенности династии. Материалистическая философия освободила ее от духа религии, а гиперрационализм приступил к освобождению науки от философии. Революционные волны освободили цивилизацию от уважения к государству и его высоким традициям в обмен на грязь партийной политики. Классовая война стала освобождением от социального порядка и иерархии. Новая идея «гуманизма» и «прав человека» освободила культуру от ее прежнего гордого чувства исключительности и бессознательного чувства превос-

ходства. Феминизм освободил женщин от естественного полового достоинства и превратил их в низших мужчин.

В поддержку революционного террора во Франции Анахарсис Клоотс организовал депутацию «представителей человеческой расы». В ее состав входили китайцы с косичками, черные эфиопы, турки, евреи, греки, татары, монголы, индийцы и бородатые халдеи. Однако на самом деле это были переодетые парижане. Поэтому данный парад, состоявшийся в честь рождения рационализма, имел двойное символическое значение. Во-первых, он символизировал идею Запада, возжелавшего теперь заключить в объятия все «человечество», но, во-вторых, тот факт, что это были переодетые европейцы, красноречиво свидетельствовал о тщетности подобного интеллектуального энтузиазма.

Еврей, разумеется, почувствовал эти перемены. Преследование не влияет на умственные способности и осведомленность о том, что происходит вокруг. Еще в 1723 г. евреям было предоставлено право владеть землей в Англии, а в 1753-м они получили английское гражданство — только для того, чтобы оно было отозвано в следующем году по настоянию всех городов. В 1791-м они эмансипировались во Франции, и в 1806-м император Наполеон созвал великий синедрион, официально признав тем самым существование на Западе еврейского национально-государственного народа.

Только одна вещь помешала воцариться той идиллии, которую предвосхищали либералы. Восемьсот лет ограбления, злобы, резни и преследований с обеих сторон заложили в еврействе традицию ненависти к Западу — даже более сильную, чем старая европейская ненависть к еврею. В своем новом приступе великодушия и всепрощения Запад отрекся от прежних чувств, но еврей не смог ответить взаимностью. Восемьсот лет обид нельзя было искупить торжественным обещанием со стороны постылого Запада. Здесь столкнулись сверхлические органические общности, единства высшего порядка, которые не разделяют с людьми таких вещей, как разум и чувства. Их жизненная задача трудна и грандиозна, в свете чего чувство «терпимости» выглядит исключительно симптомом кризиса. В столь грандиозной битве люди в итоге остаются простыми наблюдателями, даже если проявляют активность. Человеческая злоба и жажда мести играют в подобных конфликтах только самую малую, поверхностную роль, и если эти чувства возникают, то выражают на индивидуальном уровне глубочайшую и всеобъемлющую несовместимость между сверхлическими идеями.

Все новые движения — капитализм, промышленная революция, демократия, материализм — чрезвычайно волновали еврея. Уже в середине XVIII века он почуял открываемые ими возможности и всеми способами помогал их развитию. Положение аутсайдера заставляло его действовать скрытно, и он создавал тайные общества — иллюминатов и их ответвления, в пользу чего говорят принятые в этих обществах каббалистическая терминология и ритуалы. Более двух третей Генеральных штатов, вымостивших путь для Французской революции 1789 г., состояли из членов этих тайных обществ, полных решимости подрвать авторитет государства и внедрить идею демократии. Приглашение Запада участвовать в его общественной жизни еврей принял, но он не мог мгновенно расстаться со своей идентичностью, поэтому отныне у него были две общественные жизни: одна для Запада, а вторая — для собственной национально-государственно-народно-церковной расы.

Когда старые европейские традиции начали рушиться под натиском новых идей, еврей предпринял рывок. В 1822 г. Ротшильды стали баронами Австрийской империи — столетием раньше это выглядело бы фантастикой для обеих сторон. В 1833-м еврей взял английский бастион и в 1837-м был впервые посвящен королевой в рыцари. Запад согласился с двойственностью еврея, и статут Виктории освободил евреев, избранных на муниципальные должности, от принесения присяги. Еврейские члены Парламента появились в сороковых годах, и в 1855-м еврей стал лорд-мэром Лондона. Все это вызвало сопротивление со стороны традиционных элементов Запада, и в каждом случае еврей брал верх. Эксперимент «терпимости» явно не удался с обеих сторон.

Власть и влияние, завоеванные евреем, продемонстрировал инцидент с мальчиком Мортарой. В 1858 г. архиепископ Болоньи отобрал этого ребенка у еврейских родителей — обычных частных лиц — под тем предлогом, что служанка его крестила. Вскоре *французское правительство* приняло постановление, требовавшее вернуть мальчика родителям. В следующем году архиепископ Кентерберийский, епископы, аристократы и дворяне Англии подписали петицию, поданную лордом Джоном Расселом, с просьбой восстановить опеку над мальчиком.

Гонения [на евреев] продолжались — были вспышки в Бухаресте (1866), Риме (1864), Берлине (1880) и России (на протяжении всего XIX столетия и даже в XX). Реакция на преследование евреев в России красноречиво свидетельствовала о влиянии, ко-

торое они приобрели на Западе. Протесты, петиции, комитеты жаждали облегчить долю российских евреев и устроить обструкцию русскому правительству. Погром на Украине после русско-японской войны 1905 г. заставил американское правительство разорвать с Россией дипломатические отношения.

Ненависть или нетерпимость никоим образом не объясняют многочисленных неудач, которыми сопровождалось расселение евреев среди западных наций. Обоюдная ненависть была только результатом. Чем больше говорилось о терпимости, тем больше внимания привлекалось к различиям, что доводило их до обострения, которое вело к противостоянию и [враждебным] действиям — скрытым или открытым — с обеих сторон.

Ничего не объясняют также и обвинения еврея в неспособности к ассимиляции. Это равносильно обвинению человека в том, что он остается собой, но ведь этические принципы не распространяются на то, кто *есть* человек, а только на то, что он *делает*. «Еврейский вопрос» не может быть решен с этических, расовых, национальных, религиозных или социальных позиций, но только с абсолютных, то есть культурных. Раньше западный человек мог видеть только тот аспект еврея, который соответствовал текущей стадии развития его собственной культуры. Теперь же он видит все взаимосвязи в целом, потому что на первый план для западноевропейца вышло его собственное культурное единство. В готические времена он видел отличие еврея только в религии, потому что Запад находился тогда в религиозной фазе. В эпоху Просвещения с ее идеями «гуманизма» еврей считался иным только в социальном плане. В материалистический XIX век, с его вертикальным расизмом, у еврея находили только расовые отличия. В наш век, когда Запад обретает себя в качестве культурной, национальной, расовой, социальной, экономической и государственной единицы, еврей ясно предстает в своем *тотальном* единстве как внутренне совершенно чуждый западной душе.

IV

Материалистический XIX век усматривал в феномене культурного паразитизма только национальный паразитизм, поэтому в каждой нации этот феномен неправильно воспринимался как сугубо местные обстоятельства. Однако явление, которое во всех странах называлось *антисемитизмом*, было только частичной

реакцией на обстоятельство, имевшее культурную, а не узконациональную природу.

В свете культурной патологии антисемитизм является точным аналогом образования антител в кровеносной системе при патологии человека. В обоих случаях организм сопротивляется инородной жизни. Обе реакции являются *неизбежными, органически необходимыми* выражениями судьбы. Осуществляя то, что должно, судьба вступает в борьбу с чужим. Нельзя во всех случаях утверждать, что ненависть и злоба, терпимость и добрая воля вообще не имеют отношения к этому основополагающему процессу. Культура представляет собой *организм* иного, чем человек, уровня, подобно тому как человек находится на другом уровне по сравнению с животным. Однако фундаментальная регулярность присутствует во всех организмах независимо от класса, будь то растение, животное, человек или культура. Такая иерархия организмов, очевидно, соответствует Божественному плану, и ее не изменить ни сколь угодно долгой пропагандой, ни «терпимостью» вплоть до абсолютного самоотказа или самообмана.

По поводу антисемитизма возникают вопросы, связанные скорее с культурной дисторсией, чем с культурным паразитизмом, поэтому здесь, пожалуй, достаточно сказать, что антисемитизм (опять же, в точности как феномен образования антител в крови при человеческой патологии) есть обратная сторона культурного паразитизма и может быть понят только как один из его результатов. Антисемитизм совершенно органичен и иррационален, как и реакция на человеческую болезнь. Культурный паразитизм — это феномен сосуществования совершенно чуждого [организма] с хозяином, также совершенно иррациональный. У культурного паразитизма нет *причины*.

С другой стороны, разум диктует, что чужая группа должна раствориться, влиться в окружающую жизнь. Это положило бы конец жестокой травле, бессмысленной ненависти, напрасным битвам. Но жизнь иррациональна даже в эпоху рационализма. Фактически рационализм мог выйти на арену не иначе, как в форме религии, веры, иррациональности.

Феномен культурного паразитизма распространен в высокой культуре не только на ее родине. Это хорошо иллюстрирует история Америки, возникшей как колония западной культуры. Этим все сказано о дальнейшей участи Америки и заранее положен предел американским возможностям. Чем, по идее, является колония? Она является *творением* культуры, ее произве-

дением, чем-то духовно завершенным уже в силу ее успешного основания. Это значит, что колония не обладает внутренней необходимостью, миссией. Поэтому ее духовное окормление зависит от материнской культуры. Это столь же справедливо для Америки, как для Сиракуз и Александрии в классической культуре, для Гранады и Севильи — в арабской. Если плодотворные импульсы могут, пусть нечасто, исходить от периферии культурного тела, то свой смысл в качестве достижений они обретают в культурном центре. Эта духовная зависимость колоний равносильна их *слабости*, выражающейся в отсутствии культурного иммунитета. В колонии наблюдается пониженная естественная сопротивляемость культурным чужакам, потому что ощущение культурной миссии в целом отсутствует, сохраняясь только в отдельных индивидах или, в лучшем случае, в небольших группах. История колоний (тому пример Сиракузы) показывает нам, что культурные кризисы, даже такие идиопатические, как торжество рационализма, оказывают на них более сильное воздействие. Колонию легче разрушить, потому что она структурирована не так, как культура. В колонии нет и быть не может культурного слоя. Этот слой представляет собой орган высокой культуры, связанной с почвой. Культура не поддается трансплантации, даже если ее население мигрирует и сохраняет контакты с культурным телом. Колонии являются *продуктами* культуры, поэтому их жизнь менее сложна и артикулирована, чем жизнь материнской культуры.

Бессознательное понимание этого элементарного факта в Америке всегда было достаточно экспрессивным, но в XX веке он столь же яростно *сознательно* отрицался. Американские литераторы XIX века внутренне ассимилировали европейскую культуру, а она ассимилировала их. Причина, по которой всегда вызывал удивление феномен Эдгара По, заключается в его совершенном владении культурным мышлением и в абсолютной независимости от колониального окружения. Высшие достижения американской художественной литературы считались частью английской литературы, что в целом было совершенно справедливо. Бедность и скудость собственно американской литературы объясняются ее колониальной участью, а немногие великие имена представляют западную культуру.

На протяжении последних двух столетий все талантливые американцы, ставшие или стремившиеся стать известными людьми, тянулись к Европе: Ирвинг, Готорн, Эмерсон, Уистлер, Фрэнк Харрис, Генри Джеймс, финансовая плутократия, Уилсон,

Эзра Паунд. В американской традиции тур по Европе являлся частью образования. Европа продолжала духовно властвовать над американцами, обладающими культурным чутьем или амбициями.

Любой органический материал обобщается только ради установления *великой закономерности*. В живой материи всегда существуют отклонения, место которых становится понятным только с учетом более широких ритмов. Рационалистическая мысль пыталась нарушить великий и всеохватный органический ритм, дробя органическое мышление, сосредоточиваясь на *случаях отклонения*. Ей не хватало глубины даже на то, чтобы осознать мудрость, заключенную в афоризме «Исключение подтверждает правило».

Несмотря на то что в Америке после того, как она превратилась в мировую державу по итогам американо-испанской войны (1898—1899), вошло в моду *отрицание* своей духовной зависимости от Европы, но факт оставался фактом. Теперь нас уже не удивляет, что культурный факт игнорирует человеческие желания, намерения, потребности или утверждения. Тема Америки требует особого изучения, поскольку культурная болезнь Запада придала ей новый смысл в мировой политике. Здесь же мы рассматриваем только один ее аспект — наличие в ней культурного паразитизма.

V

С начала XVII по начало XIX века работорговцы завезли в Америку миллионы африканских туземцев. В итоге на протяжении XVIII и первой половины XIX века сформировалось огромное, плодовитое и совершенно чуждое паразитическое тело. Это хороший пример *культурного* значения термина «паразит», не имеющего отношения к труду в экономическом смысле. Африканцы в Америке имели экономическое значение, и в силу того, что на них была построена экономика, стали в практическом смысле необходимы. Классовая война взяла в обычай называть всех, кто не занят ручным трудом, «паразитами». Этот спорный термин не имеет ничего общего с феноменом культурного паразитизма, выражением которого стал в Америке негр, несмотря на его экономическую полезность.

Первый результат присутствия такого культурно-паразитического тела нам уже известен. Негры заместили в Америке не родившихся белых. Исполняя часть жизненной функции, они сде-

лали ненужными миллионы нерожденных детей, следовательно, эта огромная масса африканцев снизила американское население на десять процентов, поскольку в данный момент, в 1948 г., они составляют 14 миллионов из общей численности в 140 миллионов. Материалисты в Америке обычно объясняют это замещение тем, что белые предпочитают не рожать детей, чтобы не участвовать в экономическом состязании с черными, находящимися на более низком уровне жизни. Вполне естественно, что экономическая одержимость все объясняет экономически, но факты, связанные с популяционными тенденциями, показывают, что население органической единицы подчиняется жизненным закономерностям, которые можно описать математически. Они совершенно не зависят от иммиграции, личных желаний и даваемых им неорганических объяснений. Замещение носит культурный, то есть тотальный, характер и не поддается внятному объяснению в терминах экономики.

Колониальная ментальность, тем более испорченная рационалистическим кризисом, не смогла эффективно противодействовать растущему замещению африканцами белого населения, связывавшего Америку с Западной Европой. Неспособная ни к пониманию, ни к оппозиции, Америка также не сопротивлялась, когда арьергард арабской культуры, расселившийся по Западу в период зарождения там культуры, достиг здесь больших числовых пропорций и стал играть гораздо более значительную роль, чем когда-либо в Европе.

Начиная примерно с 1880 г. евреи приступили к вторжению в Америку, как справедливо назвал это Хилэр Беллок. О масштабах явления говорят уже цифры, хотя их невозможно точно назвать, поскольку американская иммиграционная статистика отражает только *юридическое* происхождение, то есть определяет нацию по юридической лояльности. Однако результаты можно аппроксимировать на основании современных данных о населении Америки и рождаемости у евреев. То, что массовое перемещение членов одной культуры в другую не оставило статистического следа, лишний раз свидетельствует о полном *несоответствии* этих двух культур. Иммигранта по прибытии спрашивали, где он родился. Для материализма XIX века это имело решающее значение: по месту рождения определялся язык, по языку — национальность. А из национальности следовало все остальное. Такие реликты мертвых культур, как Индия, Китай, ислам и еврейство, считались «нациями» в западном смысле этого слова. По форме рационализм определенно был религией, но при этом

оставался бледной материалистической карикатурой на подлинную религию, которая по своей сути обращена к великим, высшим сторонам человеческой духовности. Рационализм же предметом своих религиозных забот пытался сделать такие вещи, как экономика, государство, общество и нация.

Америка начала свое независимое политическое существование как порождение рационализма. Ее политики согласились (формально) с утверждением, что «все люди созданы равными» и даже утверждали, что это «самоочевидно». Признать что-то самоочевидным и поэтому не требующим доказательств — проще и, возможно, мудрее. Доказательство подпортило бы то, что фактически стало догматом веры, поднявшись над уровнем разума. Рационалистическая религия покорила Америку так, как никогда не смогла бы покорить Европу, всегда обладавшую иммунитетом к рационализму, основанным до середины XIX века на традиции, а в дальнейшем — на предчувствии грядущего антирационалистического духа XX столетия, что иллюстрирует пример Карлейля и Ницше. Но у Америки не было ни традиции, ни предчувствия, поскольку культурные импульсы и движущие культуру феномены исходят от материнской почвы, после чего распространяются вовне — подобно тому, как рационалистическая религия пришла в Америку из Англии через Францию.

Даже свой еврейский сегмент Америка получила из Европы, где приобрела также материалистическую философию. В том, что она уступила им обоим, не было совпадения. Среди еврейского населения Европы быстро распространилось понимание, что антисемитизм не сильно приветствуется в Америке, а другие возможности для еврея, например экономические, такие же, как в Европе. Это соответствовало действительности и было подарком для коллективного еврейского инстинкта. В конце XIX века Америка, несомненно, открывала перед евреем величайшие перспективы. Примерно с 1880 по 1950 г. (напомню, что точных цифр не существует) в Америку прибыло от пяти до семи миллионов евреев. Они были выходцами в основном из восточной, ашкеназской части еврейства.

В настоящее время численность евреев в Америке — примерно от восьми до двенадцати миллионов. В отсутствие официальных данных, точную цифру назвать нельзя, и о ней можно судить только на основании религиозной статистики и показателей рождаемости. В любом случае это значительное количество, замещающее стольких же американцев. В 1916 г. американский

писатель Мэдисон Грант описал, как американцы, принадлежавшие к старой популяции, были вытеснены с улиц Нью-Йорка толпами евреев. Он называет их «польскими» евреями, поскольку раньше было принято присваивать евреям одну из западноевропейских национальностей. Западники обычно делали различие между английскими евреями, немецкими евреями и т. п. На этой стадии развития западной цивилизации ощущалась потребность подходить ко всем чужакам со своей меркой.

Америке как стране, в наибольшей степени пострадавшей от рационализма, было свойственно недостаточное понимание еврейской природы, тогда как в Европе некоторые люди, например Карлейль, всегда, даже в XIX веке, осознавали тотальную, а не только политическую инородность еврея. Но в Америке при полном отсутствии традиции не было ни Карлейлей, ни де Лагардов. Поэтому в середине XIX века там решили, что китаец, рожденный в Соединенных Штатах, по этой причине должен получать точно такое же американское гражданство, как местное белое население европейского происхождения. Характерно, что это решение было принято не ответственным образом, а в результате судебного процесса. Это вполне соответствовало американскому обычаю решать политические вопросы в псевдоправовой форме. Очевидно, что режим, не делавший разницы между китайцем и коренным американцем, не стал бы создавать политических препятствий и еврею. В итоге к 1928 году французский специалист по истории и мировой политике Андре Зигфрид отметил, что Нью-Йорк имеет семитский облик. К середине XX века это продолжилось, и население Нью-Йорка, крупнейшего города Америки, а возможно и мира, уже наполовину состояло из евреев.

VI

Америка, совершенно лишенная духовного иммунитета из-за свойственной колониям *слабости души*, стала хозяином также для других крупных культурно-паразитических групп. В период интенсивной иммиграции, начавшейся на рубеже XX века, наряду с евреями сюда перебрались также многие *миллионы* балканских славян. Только между 1900 и 1915 гг. Америка приняла 15 миллионов иммигрантов из Азии, Африки и Европы. В основном это были выходцы из России, Леванта и балканских стран. Из западной цивилизации приехало большое количество итальянцев, но остальной человеческий материал происходил из

других мест. Эти миллионы благодаря самой своей численности создали феномен культурного паразитизма. На периферии любой группы индивиды начинали чувствовать себя американцами, но как *таковые* группы продолжали существовать. Это хорошо видно по газетам, выходящим на родных языках всех этих групп, по их единству в политическом отношении, географической концентрации и социальной эксклюзивности.

Исследуя природу расы, мы отметили, что славяне могли ассимилироваться европейским культурным населением. Американское отношение к славянам отличают две черты, объясняющие, почему славяне сохраняли свою групповую жизнь даже в окружении американцев, находящихся под влиянием западной цивилизации. Во-первых, вследствие колониального образа жизни Америка не могла основательно внушить новым популяциям культурную идею, в отличие от европейских наций, оставшихся на родине. Во-вторых, огромные, многомиллионные массы уже своей *величиной* создавали в американском организме патологические условия. Даже имея западноевропейских предков, например французских или испанских, эти миллионы создали бы *политически-паразитическую* группу. Естественно, такая группа в итоге должна была бы раствориться, но пока процесс не завершился, она оказывала бы деформирующее влияние на американскую политику. В свою очередь многомиллионные славянские группы, лидеры которых пользуются возможностью поддерживать их прочное единство, в лучшем случае будут очень медленно растворяться в американской популяции-хозяине.

В Америке существуют и более мелкие паразитические группы, каждая из которых замещает неродившихся американцев, приводя к прискорбным взрывам ненависти и раздражения, истошающих и искривляющих сверхличную жизнь. Примерами являются японская, левантийская и русская группы.

На первый взгляд может показаться, что американский прецедент опровергает изложенные выше взгляды XX века на расу, но на самом деле это не так. Американский пример — не критерий для Европы: колония обладает пониженной культурной чувствительностью и, соответственно, меньшей культурной силой и ассимилятивной энергией. Иными словами, она меньше способна к *адаптации*, чем материнская почва.

Америка — это пример не чрезмерной, а как раз недостаточной ассимиляции. Инородные группы (либо только политически чуждые, такие как западная группа в другой западной нации, либо совершенно чуждые, как еврей в теле западного хозяина)

являются паразитическими только до тех пор, пока остаются группами. Когда они растворяются, целостность ассимилирующей популяции возрастает. То, что это произошло в результате иммиграции, а не избыточного прироста местного населения, не важно. Сам факт, что они смогли ассимилироваться, отрицает их чужеродность в паразитическом смысле.

Изучая культурный паразитизм в Америке, не следует упускать из виду, что американское население на протяжении XIX столетия приняло в свою кровеносную систему многие миллионы немцев, ирландцев, англичан и скандинавов. В данном случае произошла полная ассимиляция, хотя в XX веке иммигранты в основном прибывали не из этих европейских стран. Что касается *иммигрантов* немецкого и ирландского происхождения, армии янки в войне Севера и Юга использовали их в большом количестве и весьма успешно, чего не было бы в случае культурно чуждых групп, например евреев и славян.

Америку называют плавильным котлом. Это неверно, поскольку большие группы инокультурного происхождения ни с кем не «сплавились» и сохранили обособленность. При этом культурно родственные группы ассимилировались сразу, то есть за одно поколение. Вот почему расовые воззрения XX века справедливы также в отношении происходящего на американской сцене.

Группы, не подвергшиеся ассимиляции, составляют в Америке от одной трети до половины ее населения. Славянские группы ассимилируются очень медленно, но если бы они полностью исчезли, остальных культурно-паразитических групп оказалось бы достаточно для создания в Америке крайне серьезных патологических условий.

Устаревшие представления вертикального расизма не позволяют сделать никакого вывода из американского прецедента, поскольку он свидетельствует не о смешиваемости, а именно о *несмешиваемости* рас. Все паразитические группы были оторваны от прежних ландшафтов, однако новых духовных связей не образовали. Только безземельный еврей, несущий в себе самую нацию, церковь, государство, народ, расу и культуру, сохранил древние корни.

Феномен культурного паразитизма, даже отделенный от этики, все равно остается политическим. Нет смысла размышлять о культурно чуждых группах в терминах восхищения и порицания, ненависти и «терпимости». Войны, бунты, массовые убийства, разрушение, растрачивание сил на бессмысленные вну-

тренние конфликты — все эти явления, неизбежно возникающие, когда хозяин потекает культурному паразиту, продолжаются до тех пор, пока сохраняются патологические условия.

Когда культурный паразитизм вызывает иммунную реакцию, он оказывает вдвое большее поражающее воздействие на тело культуры и ее наций. Лихорадка — это признак сопротивления человека болезни, но это не значит, что она полезна для здоровья: ее смысл исключительно негативен, и это часть болезни, пусть даже спасительная. Такие иммунные реакции, как антияпонизм, антисемитизм и антиафриканизм Америки, столь же нежелательны, как и обстоятельства, с которыми они борются. Аналогично нет ничего хорошего в европейском антисемитизме, тем более когда он гипертрофирован и может легко перерасти в другой тип культурной патологии. Это осложнение, которым при определенных условиях сопровождается культурный паразитизм, мы называем культурной дисторсией.

Культурная дисторсия

I

Могучая судьба высокой культуры имеет такую же власть над ее организмом, как судьба растения — над растением, человеческая судьба — над человеком. Однако эта власть, какой бы громадной и внутренне неоспоримой она ни была, не абсолютна. Она органична, а организм есть соотношение *внутреннего* и *внешнего*, микрокосма и макрокосма. Если никакая внутренняя сила не может противиться судьбе организма, то внешние силы иногда способны — на всех уровнях жизни — вызвать его болезнь и смерть. Микроорганизмы, проникающие в тело человека, вызывают болезнь по той причине, что благополучные для них условия жизни губельны для человека. Микроорганизмы — это *внешняя* сила, несмотря на то что работают *внутри* человеческого организма. *Внешнее* здесь понимается в духовном, а не в пространственном смысле. Внешним считается то, что обладает отдельным существованием независимо от того, как это выглядит физически. Все, связанное одной судьбой, суть одно; все, что имеет другую судьбу — иное. Это определяется не географией, а духовностью. Во время войны предатель внутри крепости стбит половины осадившей ее армии. Находясь внутри крепости, он тем не менее является для нее внешним.

Жизнь есть процесс реализации возможного. Но жизнь многообразна, и одни организмы, реализуя свои возможности, уничтожают другие организмы. Животные поедают растения, растения разрушают друг друга, люди могут губить целые виды и забивать миллионы животных. Высокие культуры самим своим существованием возбуждают во внешних популяциях негативные импульсы. Тот, кто не разделяет культурное чувство, дающее своим обладателям такие неоспоримые преимущества, инстинктивно настроен на ее уничтожение. Чем сильнее давление высокой культуры на внешние, подчиненные популяции, тем более заостряется поселившееся в них негативное чувство. Чем шире культурная экспансия географически, тем шире среди внешних для культуры народов распространяется стремление ее уничтожить. Жизненные формы враждебны друг другу: реализация одной означает упадок тысяч других. Иными словами, жизнь есть война.

Высокая культура — не исключение из этого великого закона жизни. Существовая, она разрушает остальные формы; с другой стороны, всем своим существом она вовлечена в экзистенциальную битву с чужаком. Глядя с такой высоты, вряд ли можно различить, кто нападает, а кто обороняется, где агрессия, а где ее отражение. Все рассуждения на эту тему представляют собой псевдоправовые фокусы рационалистических кудесников, погрязших в гиперинтеллектуализме и враждебных к жизни. Оборона — это нападение, а нападение — оборона. Выяснить, кто первым нанес военный удар, все равно что обсуждать, кто ударил первым в боксерском поединке. XX век по мере приближения к столетию войн более мощных и неистовых, чем когда-либо прежде, растаетя со всем этим ханжеством, глупостью, лицемерием и юридическими уловками. Но перед лицом испытаний, которые требуют полного напряжения духовных резервов и задействуют каждый атом физических ресурсов, он оказался серьезно болен. Его недуг — культурная дисторсия.

Культурная дисторсия — это такое состояние, когда внешние формы жизни сбивают культуру с ее истинного жизненного пути. Болезнь культуры выводит ее из строя так же, как человеческая болезнь — человека. Именно это и произошло с Западом в начале XX века, и он должен четко осознать, что болен культурной дисторсией.

Уже говорилось, что слово *внешний* не имеет географического смысла применительно к органической сфере. Феномен культурной дисторсии является результатом работы внешних сил

внутри культурного тела, их участия в общественной жизни и политике, направляющего ее энергию на проблемы, не имеющие отношения к ее внутренней задаче, и переориентирующего ее физические и духовные силы на решение чужих проблем.

С первого взгляда ясно, что такая культурная болезнь не может появиться во времена строгой культуры, до ее разворота к цивилизации. В тот период культурные формы во всех сферах жизни достигли такого высокого развития, что не только требовали для своей реализации высокоодаренных душ, но и руководили ими в этом процессе. В XVII веке ни один европейский мыслитель, художник или деятель не пытался сфокусировать европейскую энергию на азиатской мысли, искусстве или видах деятельности. Это могло существовать в воображении, но весьма сомнительно, что было возможно в действительности. В любом случае ничего подобного на Западе не наблюдалось 800 лет, кроме как в зачаточных формах. Разве можно себе представить, чтобы Кромвель, Оксеншерн или Олденбарневелт были озабочены реставрацией династии Аббасидов в Малой Азии или выдворением маньчжурских узурпаторов из руин китайского реликта? Но если бы европейский государственный муж успешно направил энергию Запада на такое абсолютно чуждое, бесплодное предприятие, это была бы культурная дисторсия. Если бы художнику удалось придать европейской масляной живописи стиль египетского линейного рисунка или классической скульптуры, это также была бы культурная дисторсия. Европейская историософия XX и XXI столетий досконально изучит внешние дисторсионные проявления в архитектуре, литературе и экономических теориях, в одержимости классицизмом, которую распространил в XVIII веке Винкельман. Она также зафиксирует бесчисленные искажения, вызванные культурным паразитизмом в рационалистический период (1750—1950) во многих жизненных аспектах Запада — художественных, философских, научных и практических. Данную же работу интересует деятельность, и посвящена она в основном феноменам дисторсии в настоящем и непосредственном будущем, то есть в следующие сто лет.

Рассматривая морфологию высокой культуры, мы увидели, что не все население культурной территории подчинено идее. Речь здесь не идет о паразитических феноменах. Высший, психически более восприимчивый слой, несущий культурную идею и переводящий ее в развивающуюся действительность, полностью отдан идее, но ее власть постепенно слабеет по мере движения

по телу культуры вниз — разумеется, в духовном, а не в экономическом или социальном смысле. Поэтому человека самого что ни на есть низкого духовного уровня можно увидеть на высоком посту: например, мерзавца Марата. Подобные индивиды не являются порождением другой, даже мертвой культуры прошлого, они явно принадлежат к нашей культуре, но их души охвачены жадной уничтожения всего живого и созидательного. Мотивация здесь не имеет значения, поскольку устремления таких индивидов говорят сами за себя.

Толстый слой, который образовался из них в последние века, просто находится под культурой, принадлежа ее телу только физически. Он проявил себя в Англии в восстаниях Уота Тайлера и Джека Кэда, в Германии — в крестьянских войнах XVI века, во Франции — в терроре 1793 г. и Коммуне 1871 г. Когда Германия существовала в виде нации XIX столетия, субкультурный слой был известен как *der deutsche Michel*.¹ Подобные явления не следует путать с культурным паразитизмом. Такие элементы, как Михель, существуют по всей Европе, а не только в бывшей германской нации, — это просто низы, но сами по себе они не чуждая, а органическая часть любой культуры. Паразитизм же связан со случайностью, а не с необходимостью. Михелевская стихия не является патологией культуры и сама по себе ей не угрожает. Ее опасность только в том, что в эпоху мировых войн она готова служить воле к разрушению, которая обостряется либо эндогенно, как в случае либерализма, демократии и коммунизма, либо экзогенно, как в случае неевропейских сил, приведших западную цивилизацию в крайний упадок.

Именно в этой ситуации европейский Михель продемонстрировал свой разрушительный потенциал. Одна его часть благоговела перед примитивным русским вандализмом, другая поклонялась голливудской духовной гнили. Только благодаря этому европейскому михелевскому слою неевропейским силам удалось поделить между собой Европу — физически и духовно. Этот европейский Михель с его тягой к бесформенности бросил Европу к ногам варвара и дистортера. В своей острой ненависти к величию и созиданию он даже позволил сформировать из себя вооруженные силы внутри Европы, чтобы ее саботировать и обеспечить военную победу варвара во Второй мировой войне.

После войны этот элемент в итоге осознал свою фатальную связь с творческими силами культуры, потому что вместе со

¹ Немецкий Михель (нем.). — Примеч. пер.

всей Европой ему приходится страдать от голода, холода и грабежа — прискорбных последствий победы варваров и дистортеров.

II

Судьбу живого организма не следует путать с совершенно противоположной идеей — предопределением (*predestination*). Последняя является *каузальной* идеей как в религиозной форме кальвинизма, так и в материалистической форме механицизма и детерминизма. Судьба же является не *каузальной*, но *органической* необходимостью. Каузальность — это форма мышления, а судьба — это форма жизни. Каузальность претендует на абсолютную необходимость, но судьба есть только *внутренняя* необходимость, поэтому случайная гибель ребенка во время игры показывает, что судьба подчиняется внешнему стечению обстоятельств. Смысл судьбы только в том, что если что-то должно произойти, то это произойдет именно так, а не иначе. Судьба каждого человека — состариться, но многим не удастся осуществить эту судьбу. Усматривать в идее судьбы скрытую причинность, некоторую форму предопределения — значит совершенно ее не понимать.

Приступив к теме культурного витализма, мы отметили, что если бы после Второй мировой войны внешним культуре силам удалось до основания разрушить культурный слой Европы, этот слой восстановился бы в течение 30—60 лет. Утверждение, разумеется, было гипотетическим, поскольку разрушение не состоялось. Об этом свидетельствует сам тот факт, что кто-то это пишет, а кто-то читает.

Основанием для этого утверждения служит потрясающая, всегда юная сила высокой культуры. У Запада есть будущее, и это будущее должно быть *внутренне* осуществлено. За внутренним осуществлением не обязательно последует внешнее, поскольку внешняя реализация Западом своего потенциала зависит не только от судьбы, но и от случая.

Внутреннее будущее Запада предполагает множество необходимых событий, таких как возрождение религии, достижение новых высот в технике и химии, совершенствование правового и административного мышления и многое другое. Всего этого можно достичь в условиях постоянной оккупации варварами с других континентов. Величайшая, мощнейшая сторона жизни, связанная с деятельностью, войной и политикой, при таком режи-

ме должна выражаться в непримиримом, длительном и ожесточенном сопротивлении варвару. Прежде чем водружать западный флаг на землях антиподов, необходимо освободить священную родину Запада из-под пяты первобытного человека.

Поэтому мысль о том, что культурный слой восстановился бы, даже если бы все его современные представители были отправлены на плаху, не связана с каузальной идеей предопределения. В этом утверждении подразумевается следующее: либо Запад исполнит свое грандиозное, всемирное предназначение — неограниченный, абсолютный империализм, либо вся эта энергия будет растрчена на военные действия на европейской почве против чужака и тех европейских элементов, которые ему прислуживают. Как и любая война, она не связана с ненавистью. Война возникает не от ненависти, а в силу органических ритмов. Выбор не между войной и миром, но между войной, продвигающей культуру вперед, и войной, искажающей культуру.

Если внешние силы продолжают властвовать над Европой, им придется отправлять своих солдат на смерть, потому что могущество Запада не может быть ликвидировано ни горами пропаганды, ни огромными армиями «солдат»-оккупантов, ни миллионами предателей из разряда Михелей. Потоки крови будут литься два века независимо от желания людей. В природе сверхличных организмов заложена неременная реализация своих возможностей. Если этого нельзя сделать одним способом, найдется другой. Идея призывает людей на службу, от которой освобождает только смерть. Эта верная служба не связана ни с юридическим принуждением, ни с формальной лояльностью, ни с угрозой трибунала: идея поглощает людей *тотально*. Призыв *избирателен*: чем выше одарен человек, тем сильнее узы, которыми связывает его идея. Что могут с *этим* поделаться варвары и дистортеры? Кровожадным русским рабам, диким неграм, несчастным, скучающим по дому новобранцам из Северной Америки Европа противопоставляет свое непобедимое сверхличное превосходство. Ведь она стоит у истоков всемирно-исторического процесса, которому не видно конца. Достижим ли полный успех, и когда это произойдет — неведомо. Вполне вероятно, что в последний момент внешние силы бросят против западной цивилизации кишашие и плодящиеся массы Китая и Индии. Процесса этим не остановить, но можно повлиять на его размах.

Для того чтобы держать Европу в подчинении, внешним силам *совершенно необходимо* опираться на огромное количество

раздробленного европейского населения — целые общества, группы, слои, остатки мертвых наций XIX века. Чужаки никогда не совладали бы с объединенной Европой, как это удалось сделать с Европой разделенной. Раскалывай, разделяй, используй противоречия — такова техника завоевания. Возрождай старые идеи, давно мертвые лозунги, лишь бы европеец шел против европейца. При этом всегда работай со слабым, бескультурным слоем против сильных носителей и ценителей культуры. Их следует «судить» и вешать. Доступность культурных низов для использования внешними силами является самой опасной формой той патологии, которую мы называем культурной дисторсией. С ней, однако, тесно связана другая разновидность этой болезни — культурная ретардация.

Культурная ретардация как форма культурной дисторсии

Исследуя морфологию культуры, мы обнаруживаем непрестанную борьбу между традицией и новаторством. Это нормальная ситуация, сопровождающая развитие культуры от феодального союза до цезаризма, от готического собора до небоскреба, от Ансельма до философа нашего времени, от Шютца до Вагнера. Внутри культурной формы происходит постоянная борьба, которая не является болезнью в силу того, что сам конфликт в каждом случае принимает строго культурную форму. В период с 1000 по 1800 г. никому из тех, кто боролся против другой западной идеи, не приходило в голову, что следует воспрепятствовать ее реализации даже ценой разрушения культуры. Если сказать точнее, ни одна европейская держава и ни один европейский государственный деятель не отдали бы всю Европу варвару только для того, чтобы нанести поражение другой державе или государственному деятелю. Напротив, когда у ворот появлялся варвар, ему противостояла вся Европа подобно тому, как в момент величайшей опасности она объединилась против турок. После поражения европейской армии при Никополе на рубеже XV столетия османский султан Баязид поклялся, что не остановится, пока не превратит собор Св. Петра в стойло для своей лошади. В тот период западной истории это произойти не могло. Внешним разрушителям пришлось ждать своего тотального господства над Западом почти до середины XX века. Оно стало возможным только потому, что определенные западные элементы предпочли

разрушить всю Европу, чем позволить ей перейти к следующей культурной стадии: возрождению авторитета.

Любой исторический феномен такого рода не бывает внезапным. Истоки этого ужасного раскола Запада находятся в рационализме. Уже в войнах за австрийское наследство проявилась невиданная свирепость, которая предвещала грядущий раскол. В той войне союзники по сути спланировали полный раздел территории одной из наций культуры — Пруссии. Участвовать должны были Швеция, Австрия Франция и — *Россия*. При режиме Романовых, с XVII по XX в., Россия действительно фигурировала как государство и нация европейского образца. Тем не менее обе стороны испытывали откровенные опасения и чувствовали разницу в том, разделят ли европейские державы с Россией такую азиатскую приграничную область, как Польша, или же часть европейской родины.

В борьбе династов и традиционалистов с Наполеоном тенденция усугубилась, и в 1815 г. на Венском конгрессе царь со своими войсками, оккупировавшими пол-Европы (о чем он часто напоминал европейским монархам) мог представлять себя *спасителем Запада*. Поэтому Фюрстенбунд и Англия оказались фактически на грани культурной патологии, доведя свою борьбу против европейского суверена Наполеона до точки, когда пришлось допустить русские войска в европейские столицы. Однако совершенно ясно, что в этом вопросе сыграл свою роль именно европейский лоск России: не будь его, Фюрстенбунд и питтовская Англия не пустили бы нигилистическую Россию или турка в Европу, чтобы сокрушить Наполеона, а стало быть, и себя самих.

Однако тенденция на этом не иссякла: в Первую мировую войну, когда между собой схлестнулись две приверженные стилю XIX века европейские нации — Англия и Германия, Англия вновь обнялась с Россией как с союзницей, изображая в глазах Европы и Америки романовский деспотизм «демократией». К счастью для Запада, существовала и противоположная тенденция: когда после войны большевики начали свой поход на Запад, в 1920 г. их отбросила перед Варшавой западная коалиция. В действиях против большевиков участвовали немцы, французы и англичане: вчерашние враги теперь объединились против варвара. Даже американцы послали две экспедиции против большевиков: одну в Архангельск, другую в Восточную Сибирь.

В период подготовки ко Второй мировой войне, с 1919 по 1939 г., иногда казалось, что эта война примет форму борьбы

отдельных держав Запада (поскольку Европа в то время по-прежнему была разделена на множество небольших государств) против России, а остальные мелкие государства останутся нейтральными, обеспечивая экономическую поддержку. Такой момент сложился в июне 1936-го, когда ведущая четверка этих небольших государств подписала протокол, демонстрировавший их взаимопонимание. Этот протокол так и не был ратифицирован. С 1933 по 1939 г. носители идеи XX века предприняли не менее *двадцати* сепаратных попыток достичь взаимопонимания с теми из мелких государств, которые по-прежнему оставались в плену идеи XIX века, в тот момент уже представлявшей собой окоченевший труп. Естественно, главные представители культурного слоя этих последних игрушечных государств были уже знакомы с новой идеей, но определенная прослойка оказывала ей сопротивление по причине своего духовного бесчувствия, материалистической пошлости, негативистской ревности, околдованности прошлым и, главным образом, своей материальной заинтересованности в увековечении международной и внутренней экономики образца XIX века, которая приносила выгоду только им, тогда как вся западная цивилизация от нее страдала. Эти круги предпочли допустить раздел Европы между Азией и Америкой, но не обеспечить Западу будущее.

Когда борьба между традицией и новаторством, старым и новым, естественная и нормальная для каждой культуры, достигает такого *уровня*, она становится культурной патологией. Эта ее форма отличается накалом своей ненависти к будущему культуры. Она приступает к саморазрушению, вместо того чтобы отказаться от закосневшего прошлого в пользу полного сил будущего. Если консерваторы начинают настолько сильно ненавидеть творческих людей, что готовы *на все* вплоть до саморазрушения, лишь бы добиться их военного поражения, это уже культурное предательство и острая форма культурной патологии.

Вышеуказанное культурное явление становится болезнью, только когда заходит слишком далеко. Противодействие испытывала всякая новая возникшая в культуре идея. Это касается архитектуры, музыки, литературы, экономики, войны и государственного управления. Однако раньше, до дикого обострения культурной болезни, случившегося в XX веке, оппозиция к творчеству никогда не была настолько сильна, чтобы ее можно было назвать маниакальной.

Культурной патологией было также свойственное во время Второй мировой войны западным субкультурным элементам

низкопоклонство перед паразитическими и варварскими силами, которым они добровольно подчинились из-за своей ненависти к Европе и ее будущему. Обесчестив себя навеки, они предали в руки русских дикарей миллионы европейских солдат и обрекли их на вечное забвение в безымянных могилах Сибири. Михелевский слой с энтузиазмом пособничал варвару и наивно раскрывал перед ним все секреты, а варвар принимал помощь как должное и платил подозрительностью, саботажем и ненавистью. Сдавшись на милость варвару и дистортеру, михелевский элемент потерпел поражение вместе с Западом.

В данном случае патологическая культурная ретардация привела к последствиям, трагическим не только для представителей будущего, но и для сторонников прошлого. Фактически последние оказались в более опасной ситуации, поскольку в битве с будущим прошлое обречено. В конце концов идея будущего внутренне восторжествует, даже если внешняя реализация ее судьбы не удалась. Механицизм в политике сдастся перед будущим так же, как — уже давно — механицизм в биологии. Идея о том, что индивиды вправе распоряжаться гигантским хозяйством сверхличного организма, обречена, но именно на это претендовали западные низы, противящиеся будущему. Материализм — их мировоззрение — почти везде на Западе отступил перед историческим скептицизмом, которому предстоит расчистить путь для мистицизма и возрождения религии. Наибольшее, что им удалось спасти в обстановке всеобщего разрушения, — это небольшие личные преимущества. Чтобы показать свое расположение, варвар и дистортер назначили Михелей своими депутатами в Европе. Как символично, что марионетки, поставленные после Второй мировой войны на некогда важные европейские посты, являлись стариками! Причем не только биологически: в духовном плане это были двухсотлетние старцы, укорененные в мертвом парламентском прошлом. Новых правителей Европы не волновало отсутствие у этих престарелых назначенцев энергии и творческих способностей — именно поэтому их и выбрали. Любой из тех, кто обладал определенной силой, пристально изучался новыми владыками. Летаргия вкупе с риторикой предпочитались деятельной воле, обходившейся без потоков патриотического пустословия XIX века.

Все это было результатом культурной ретардации. Без нее внешним силам не удалось бы растоптать цветок западной культуры своим примитивным, грубым сапогом. Однако ретардация играла подчиненную роль. Изучение патологии других органи-

ческих форм жизни — растительной, животной, человеческой — дает многочисленные примеры синхронности болезней, когда вред, причиненный одной, осложняет течение другой. Сочетание пневмонии и туберкулеза в человеческом организме — лишь один пример. Более серьезной болезнью, осложненной культурной ретардацией, было усугубление культурного паразитизма, который перерастает в культурную дисторсию, когда паразит начинает играть *активную* роль в жизни культуры.

Культурная дисторсия, вызванная паразитической активностью

I

Первоначальное влияние культурного паразитизма на тело культуры мы уже видели: сокращение культурной популяции в результате замещения, потеря культурной энергии по причине трения. К этим явлениям приводит само *наличие* паразита, каким бы он ни оставался пассивным. Гораздо более опасным для здоровой реализации культуры является вмешательство паразитических элементов в культурную жизнь, *активность* культурного паразита, его участие в постановке и реализации культурных задач, идей и политики. Активность паразита вызывает повышение интенсивности и регулярности фрикционных явлений, которыми сопровождается его пассивное присутствие. В Калифорнии постепенное наращивание экономической силы и каждая новая публичная демонстрация коллективной энергии китайцев вызвали новые вспышки антикитайской активности среди американцев. То же относится и к японской группе. Наихудшими событиями сопровождалось постепенное включение в американскую общественную жизнь негров. Пока негры оставались пассивными, ожесточения между расами почти не наблюдалось. 1865 г. стал рубежом перехода негров от пассивности к активности. Естественно, это происходило не спонтанно: белые рационалисты, либералы, поборники «терпимости» и коммунисты выступили против того, чтобы учитывались расовые различия, и под их руководством это движение приняло такие размеры, что регулярные расовые волнения привели к временной остановке общественной жизни в крупнейших городах Америки. Талса, Бомонт, Джерси-Сити, Чикаго, Детройт, Нью-Йорк — это лишь несколько пунктов, где происходили массовые волнения за по-

следнюю четверть века. Каждому бунту предшествовали потоки «толерантной» и сентиментальной пропаганды, а завершался он публичным расследованием, которое обнаруживало его причину в недостатке «терпимости» и «образования».

Во время американской оккупации Англии (1942—1946) произошло несколько крупных расовых стычек между американскими и негритянскими солдатами с применением обеими сторонами автоматического оружия, хотя и те и другие участвовали в миссии против Англии и Европы. Этот пример демонстрирует недостаточную пригодность культурно-паразитических групп для задач военного характера. Фактически эти негритянские войска были частью американского контингента, участвовавшего в разрушении Европы, но малейшего бытового инцидента в пивной оказалось достаточно, чтобы разжечь расовую ненависть, развившуюся вследствие одинакового образа жизни паразита и хозяина. Подразделения, сформированные из паразитических групп, не приносят пользы, всегда находясь в двух шагах от расового бунта. Рационалисты и либералы почувствовали это на опыте, хотя могли бы заглянуть в хроники пятитысячелетней истории высоких культур. Негритянские войска продемонстрировали свою готовность разрушить как Америку, так и Европу. Подобные примеры напряженности между хозяином и паразитом — самая простая форма такого недуга, как культурная дисторсия, связанная с паразитической активностью. От сопротивления культурному паразитизму она отличается только остротой. Гораздо более серьезны те случаи, когда паразит попадает прямо в общественную жизнь культуры или составляющих ее наций и направляет их политику по своим каналам. Негр не достиг такого уровня ни в Америке, ни в Южной Африке. То же самое относится к японским, китайским, левантийским или индийским группам в Америке.

Однако существует группа, вызвавшая значительную культурную дисторсию во всей западной цивилизации и ее колониях на всех континентах: это западный арьергард завершенной арабской культуры: еврейская церковно-государственно-национально-народная раса.

От арабской культуры, внутреннее развитие которой завершилось около 1100 г. н. э., еврей получил свое мировоззрение, религию, государственную форму, национальную идею, народное чувство и единство. Однако Запад дал ему расу и жизненную миссию. Мы проследили развитие этой расы в ходе жизни в гетто в течение первых 800 лет нашей западной культуры. По

мере того как рационализм становился все более выраженным — с 1750 г. и дальше, — еврей чувствовал, что эта новая стадия развития Запада открывает перед ним все более широкие возможности, и начал агитацию против гетто, которые изначально сам для себя создал как символ своего духовного и физического единства. *Идеальный тип* этой расы отличался от европейского, что повлияло на материал, влившийся в общую кровь расы гетто. В середине XX века мы видим у еврея нордическую пигментацию, но расовая чистота адаптировала новый материал к старому расовому облику. Вертикальный расизм XIX века не мог объяснить подобных феноменов, но XX век четко осознает приоритет духовности в формировании расы. Поэтому, когда здесь говорится, что свою расу еврей получил от Запада, это не значит, что она сформировалась из европейского населения, хотя это происходило и в некоторой степени происходит до сих пор. Смысл в том, что благодаря своему культурному императиву Запад, как совершенно чуждая еврею среда, предотвратил окончательное размывание еврейского единства.

В связи с этим следует отметить, что если контакт с инородным [телом] вреден организму, когда оно находится *внутри* него, то в случае расположения его *снаружи*, организм, наоборот, закаляется. В последнем случае начинается война, а она способствует усилению организма. Крестовые походы, как первый крик новорожденного Запада, сделали новый организм прочным, доказали его жизнеспособность. Войны Кастилии и Арагона против варваров придали Испании внутренних сил для выполнения ее великой ультрамонтанской миссии. Английские победы на полях колониальных сражений по всему миру наделили ее убедительным чувством предназначения. Войны Рима в период национального становления внутренне закалили его для ведения Пунических войн, из которых он вышел мастером классической цивилизации.

Поэтому очевидно, что взаимный контакт Запада и еврея носил противоположный смысл для этих двух организмов. Для еврея он стал источником силы и формы, Запад же приобрел упадок сил и дисторсию. Еврей находился внутри Запада, но Запад не находился внутри него. Преследование *закаляет*, если дело не доходит до истребления. Цитата, взятая эпитафией данной работы, столь же справедлива теперь для Запада, как в прошлом для еврея.

Говоря о гонениях на еврея, мы указываем тем самым источник его жизненной миссии. Тысячелетие массовых убийств, гра-

бежей, обмана, поджогов, оскорблений, издевательств, изгнаний, эксплуатации — такую награду получил еврей от Запада. Все это не только закалило его, придав расовой прочности, но обеспечило ему миссию, состоящую в мести и разрушении. Европейские народы и монархи собирали взрывчатку в чужой душе, обосновавшись в их среде.

Жизнь подчиняется великой естественной регулярности войн: даже примитивные племена Африки ведут войны, для которых с точки зрения культурного человека вообще нет повода. Появление на земле высокой культуры с такой концентрацией власти, которую ей обеспечила сложная организация и структура, вызывают в человеческом окружении *ответную волю* к разрушению как противовес созидательной воле высокой культуры. В [реальной] жизни не принадлежать — значит противостоять. Противостояние может долго или всегда оставаться латентным из-за других, более сильных конфликтов, но в итоге никуда не девается, скрытое и потенциальное. Контакт двух сверхличных организмов может повлечь только противостояние и войну. Западный и еврейский организмы на протяжении тысячелетия своих взаимоотношений пребывали в неослабевающей войне. Это не было сражением на поле боя, столкновением линейных кораблей: война протекала в другой форме.

Тотальная отчужденность еврея делала его *политически невидимым* для Запада, который не считал еврея нацией, поскольку тот не имел ни династии, ни территории. Он говорил на том языке, который преобладал в ландшафте его местопребывания. У него не было государства западного образца. Казалось, что еврейство — просто религия, и в таком смысле оно не являлось политической единицей, поскольку даже в Тридцатилетней войне 1618—1648 гг. религия играла подчиненную роль по сравнению с политикой династий и Фронды. Поэтому, несмотря на то что Запад сам наделил еврея его политической миссией мести и разрушения, он не мог видеть в нем [соперничающей] политической единицы.

Таким образом, война между западной культурой и евреем велась подспудно. Еврей не мог предстать в своем единстве и открыто сражаться с Западом из-за связанных с этим трудностей. Запад сразу объединился бы против открытого еврейского нападения и уничтожил бы его полностью. Еврею волей-неволей приходилось использовать политику влияния на исход конфликтов между западными силами, идеями и государствами в своих интересах. Он всегда принимал сторону тех, кто стоял за

материализм и триумф экономики против абсолютизма и религиозного единства Запада, защищал свободу торговли и ростовщичество.

Тактикой этой еврейской войны была опора на деньги. Расеяние, материализм и законченный космополитизм еврея не позволяли ему участвовать в героических полевых сражениях, поэтому он воевал с помощью кредита, отказа в кредите и подкупа, искал возможности легального воздействия на важных лиц. С тех пор, как западные папы запретили христианам взимать процент, евреи пользовались благоприятным экономическим положением. Кромвель вернул их обратно в Англию, когда решил, что «в стране не хватает денег». В XVII столетии они владели крупнейшими банкирскими домами Запада. Сам Банк Англии был основан на концессиях, отданных Эли-бен-Израэлю Кромвелем. Этот банк начал с того, что платил 4.5 % по депозитам и перезанимал правительству под 8 %.

Подобную тактику еврей не мог свободно применять до середины тысячелетия. Схоластическая философия, законы церкви, дух времени, право феодальных баронов грабить его — все было против еврея. Св. Фома Аквинский, например, в XIII веке учил, что торговлю следует презирать как порождение безграничной алчности, что взимание процента несправедливо, поэтому евреев надо лишить денег, нажитых ростовщичеством, заставить работать и отказаться от жажды наживы. Многие папы издавали буллы против экономических практик, материализма и растущего влияния евреев.

Однако душа Запада постепенно овнешнялась. Столетия медленных перемен подготавливали к решительному повороту 1789 г. Прежняя западная сосредоточенность на внутреннем мире, обеспечившая феодальным векам их несомненную духовную сплоченность, постепенно нарушалась новыми конфликтами: между городом и деревней, торговой и земельной знатью, материализмом и духом религии. Реформация прошла по западной душе трещиной, из которой вышел кальвинизм как символ грядущего триумфа материализма. Кальвин проповедовал святость экономической деятельности, санкционировал ростовщичество, постулировал богатство как знак избранности к спасению. Этот дух быстро распространился, и в 1545 г. Генрих VIII легализовал ростовщичество в Англии. Старая западная доктрина о его греховности была отвергнута.

Еврею это принесло свободу и открыло доступ к власти, пусть даже замаскированной, скрытой. В часы Реформации ев-

рей везде боролся против церкви, а в споре между Лютером и Кальвином поддерживал Кальвина, поскольку Лютер также отвергал ростовщичество. Победа в Англии адаптированного кальвинизма — пуританства — создала для еврея благоприятные условия. Пуританский писатель Бакстер даже признавал религиозным долгом выбирать из двух экономических вариантов более прибыльный. Выбрать меньшую прибыль означало пойти против Божьей воли. Такая атмосфера оберегала и увеличивала еврейское состояние, так что прежним грабегам со стороны монархов и баронов был положен конец.

II

В начале XVII века в западной истории возникает подводное течение — искривление, дисторсия. Она вызвала огромные последствия в Англии, и как раз в экономической жизни. Многие из наиболее хищных аспектов ростовщичества и финансового капитала были вовсе не английскими и объяснялись возросшим влиянием еврея. Опять-таки, это не говорит о *виновности* еврея. Его религия как основа еврейского единства разрешала брать процент и применяла разную этику к отношениям, с одной стороны, между евреями и *гоями* и, с другой — между самими евреями. Нанесение вреда *гою* было достойно поощрения, согласно еврейской религии. Этот религиозный догмат вполне мог оставаться мертвой буквой, но не для еврея, жизненная миссия которого формировалась, как было сказано, в обстановке многовековых гонений. Еврей просто оставался самим собой, но влияние, которое он оказывал, не было заложено в природе западной культуры, являясь ее *дисторсией*. Даже в XIX столетии, когда уже была окончательно санкционирована жажда наживы, замечательный выразитель западного духа Карлейль приходил в ужас от картины всеобщего ограбления и душегубства, осуществлявшегося с помощью коварного экономико-правового оружия, и полной потери общественной совести, что обрекало целые слои наций на нужду и несчастья.

Дисторсионные эффекты от участия еврея в европейской экономической жизни, начиная с самых первых, были досконально изучены выдающимся европейским мыслителем в области экономики Вернером Зомбартом в книге «Евреи и современный капитализм». Когда в европейской душе пробудился сильный интерес к материальной жизни, еврей оказался в большей бе-

зопасности, стал необходим и влиятелен. Пожелай он заняться другой профессией нежели ростовничество, она была бы для него закрыта, поскольку европейские гильдии допускали в себя только христиан. Благодаря этому его исходное экономическое превосходство сохранялось, и высокопоставленные европейцы во многих случаях попадали к нему в зависимость. Со своей стороны, они не могли ничего с ним поделывать, поскольку новые торговые законы, отражавшие растущий дух торговли, защищали его собственность, облигации и контракты. История Шейлока описывает двойственный портрет еврея: он социально унижен на Риальто, но оборачивается львом в зале суда. И это сам Запад отвел ему такую двойную роль, ожидая от него строго подчиненного положения и в то же время открывая возможность занять ведущие позиции.

Чем сильнее культура пропитывалась материализмом, тем ближе она становилась к еврею, получавшему все больше преимуществ. Запад постепенно расстался со своей исключительностью, но еврей свою сохранил незаметно для Запада.

Эта эпоха связана с появлением рационализма как радикального утверждения материализма. Около 1750 г. на Западе зарождаются новые идеи: «свобода», «гуманизм», деизм, оппозиция к религии и абсолютизму, «демократия», энтузиазм по поводу «народа», вера в божественность человеческой природы, «возврат к природе». Разум бросает вызов традиции, после чего рафинированные западные системы мысли и государственного управления приходят в упадок. В этот период Лессинг сделал еврея главным персонажем своей пьесы «Натан Мудрый», что выглядело бы смехотворным еще сто лет назад. Интеллектуалы воспылали восторгом к жителю гетто с его утонченной кастовой системой, сокровенной религией, существующей параллельно с его показным материализмом. Еврей был космополитом и в этом качестве казался европейским интеллектуалам образцом, к которому должен стремиться Запад. В первый и последний раз европейцы и евреи вместе взялись за решение культурных задач — распространение новых идей. Культурная дисторсия охватила теперь и политическую жизнь. Французская революция своей формой обязана культурной дисторсии. Специфическая эпоха, отмеченная этим великим эпизодом, разумеется, представляет собой естественный этап западного развития. Дисторсия проявляется в *конкретных событиях*, происходивших именно таким образом, в данное время и в данном месте. Иными словами, дисторсия проявляется на *поверхности* истории, а не в ее

глубинах, потому что там ее просто не может быть. Человеческой аналогией является тюремное заключение, которое искривляет линию человеческой жизни, влияя на конкретные факты, но не сказывается на внутреннем развитии, физическом или духовном. Дисторсия искажает, коробит, расстраивает планы, но не убивает и не может убить. Это хроническая болезнь, кровоточащая рана, ущерб, загрязнение живого течения культуры.

[Западный] философ дал исчерпывающее описание самого известного примера культурной дисторсии в арабской культуре. В юную, тянущуюся к свету жизнь арамейского мира внедрили древние, цивилизованные римляне. Чтобы себя выразить, новой культуре приходилось пробиваться через громаду жизненных форм римского мира. Ее первые века представляют собой постепенное избавление от культурной дисторсии, борьбу с ней. Митридатовы войны стали первыми вспышками этой борьбы. Римляне были «евреями» того мира, то есть законченными экономистами (economic thinkers), обладавшими полным культурным единством на территории, где пробуждалась религия. Дисторсия охватила все направления жизни: право, философию, экономику, политику, литературу и войну. Она пришлась на самое зарождение культуры, которой приходилось постепенно освобождаться от совершенно чуждого романского мира. Но самая сердцевина души этой новой культуры не была затронута дисторсией; искажению подверглись ее реализация, поверхность, выражение, факты.

Аналогично в период Французской революции (1775—1815) дисторсия повлияла только на факты. Великая трансформация — разворот западной души от культуры к цивилизации, — которую символизировало это ужасное событие, мог произойти каким угодно способом.

Политика дистортеров заключалась в том, чтобы поставить французский государственный бюджет в зависимость от долгов и процентов, как им уже давно удалось сделать в отношении английского правительства. Однако абсолютная монархия с ее централизацией власти сопротивляется подчинению государства власти денег. Поэтому было задумано учредить во Франции конституционную монархию, в целях чего дистотеры с помощью своего ставленника Неккера добились созыва Генеральных штатов. Их состав также в значительной мере определялся дистортерами, и конституционная монархия была установлена.

Неккер немедленно попытался организовать два огромных займа, но безуспешно. Решение финансового кризиса было пред-

ложено Талейраном в форме конфискации недвижимого имущества церкви. Мирабо это поддержал и предложил выпускать деньги под конфискованную собственность. Неккер отказался, поскольку дистортерам не было пользы от таких денег, не приносящих процента и не связанных с долгами.

В ходе финансового кризиса Неккер был изгнан, и Мирабо стал диктатором. Чтобы спасти страну от паники, которую стремились вызвать дистортеры, он немедленно выпустил земельные ассигнации. Но Неккер, действуя за границей в интересах власти денег и дистортеров, инициировал войну европейских держав против Франции, дабы раскатать ее как изнутри, так и снаружи. Идея была в том, что война заставит Францию делать крупные зарубежные займы (purchases) в Англии, Испании и других местах, а земельные ассигнации не будут приниматься хозяевами денег за пределами Франции, которой придется тогда сдать на милость золотых монополистов. От этой войны прямая дорога вела к террору.

В самом начале цивилизации мы видим такой же глубокий конфликт между авторитетом и деньгами, которому было суждено растянуться на многие поколения вперед: это битва Наполеона против шести коалиций. Подвергшаяся дисторсии историография изображает Бонапарта просто завоевателем, игнорируя его государственную философию. Однако он поделился своими автаркическими экономическими идеями с Лас Касасом и Коленкурром, и нам известно, что экономику он понимал как производство, а не торговлю, и основанием ее *прежде всего* считал сельское хозяйство, *во вторую очередь* — промышленность и на *последнее* место ставил зарубежную торговлю. Наполеон был противником денег, приносящих процент.

Борьба дистортеров с этими идеями оказала большое влияние на форму событий западной истории с момента вступления Наполеона в должность консула и до 1815 г. Независимо от того, какими были бы эти факты в иных обстоятельствах, они отражали дисторсию европейской истории, так как культурный паразит активно и решительно вмешивался в проявления европейской души. В битве между европейскими силами, исход которой был органически обусловлен поступательным развитием души нашей культуры, вмешательство совершенно инородной силы в равновесие приводит к искривлению и фрустрации.

Мы не знаем, какой была бы европейская история в иных обстоятельствах, но вполне очевидно, что власть денег никогда не стала бы абсолютной в XIX веке, не будь такой болезни,

как культурная дисторсия. В западной душе сохранялось бы два полюса, в том числе на индивидуальном уровне: полюс денежного мышления и полюс авторитета и традиции. Абсолютный триумф денег собрал небывалый урожай европейских жизней и здоровья. Он принес земледельческий класс целых стран в жертву эгоистическому интересу торговли. Он развязал войны за частный интерес ценою крови патриотов. Достаточно назвать Опиумную войну, в которой английские солдаты и матросы должны были умирать ради того, чтобы навязать китайскому императору признание и покровительство опиумной монополии, принадлежавшей дистортерам, обосновавшимся в западной цивилизации.

Всем европейским государствам была навязана долговая система. Пруссия заняла у Натана Ротшильда в 1818-м. Дальше последовали Россия, Австрия, Испания, Португалия. Но пошлый материалистический дух эпохи, крайне враждебный серьезному мышлению и глубокому созерцанию, оставался к этому слеп. Философия, породившая Беркли и Лейбница, теперь довольствовалась Миллем и Спенсером, а экономическая мысль — Адамом Смитом, учившим (перед лицом разрухи и страданий миллионов людей), что если каждый человек станет преследовать собственный экономический интерес, это послужит улучшению коллективной жизни. Поскольку подобные ошеломляющие предположения получали всеобщее одобрение, не удивительно, что лишь единицы на Западе осознавали дисторсию своей культурной жизни. Среди этих немногих был Байрон, о чем свидетельствует «Бронзовый век» и строки из «Дон Жуана» и других поэм. Об этом знали также Чарлз Лэм и Карлейль, но большинство европейцев бросились выполнять команду Луи-Филиппа: *Enrichissez-vous!*¹

III

Экономическая жизнь, даже испытывая формальное влияние со стороны культуры, для нее всего лишь сырье, предварительное условие для жизни более высокого уровня. Роль экономики в высокой культуре в точности аналогична тому месту, которое она занимает в жизни творческого человека, например Сервантеса, Данте или Гёте. Для такого человека стоять за прилавком, значит испортить себе жизнь. Любая высокая культура созида-

¹ «Обогащайтесь!» (фр.). — Примеч. пер.

тельна — вся ее жизнь заключена в непрерывном сверхличном творчестве. Поэтому помещать экономическую жизнь в центр и утверждать, что это и есть жизнь, а все остальное вторично, — это культурная дисторсия.

Но именно таким было влияние дистортеров с обеих сторон. Денежные воротилы занимались исключительно утверждением суверенитета денег над старыми традициями Запада. Снизу марксистская дисторсия отрицала все на свете, кроме экономики, и утверждала, что пролетариат должен поставить западную цивилизацию себе на службу.

Рассмотрев морфологию высокой культуры, мы теперь знаем о культурной роли «пролетариата». Если выразить ее одним словом, то она *нулевая*. Это элементарный *факт*, а не идеологическая точка зрения. Именно в силу того, что это факт, дистортер Маркс со своей всепоглощающей брезгливой ненавистью к западной цивилизации выбрал его как инструмент разрушения. Дистортеры, руководимые инстинктивным стремлением покончить с ненавистным Западом, пытались и сверху и снизу применить единственный метод, который был доступен их пониманию, — экономический. Стоит ли повторять, что дело не в одобрении или порицании: дистортеры действовали *вынужденно*, их поведение было иррациональным, бессознательным, проистекающим из естественной необходимости.

Идеи денег и классовой войны на экономической основе, на определенном этапе возникают во всех культурах. Дисторсия нашей жизни проявляется не просто в существовании этих явлений, но в их всеохватности, абсолютной форме и ожесточенности, с которой они сбивали с пути и разделяли Западную Европу. Дистортер, словно органический катализатор, был замешан во всех этих разрушительных, катастрофических идеях и событиях.

Этой культурной дисторсии Запад поддался вследствие собственной экстерниоризации. Как только он начал поглядывать в сторону материализма, за это сразу ухватился дистортер. Снятие отдельных барьеров поощрило дистортера к тому, чтобы добиться упразднения всех различий. Он сделал из деизма атеизм, но при этом сберег свои собственные руны и филактерии. В битве рационализма против традиции он способствовал расколу Запада, выдвигая все более максималистские требования.

Сам статус дистортера был поводом для острого раздора среди западных наций. В Англии общественная жизнь подверглась дисторсии в ходе периодически возникавших дискуссий о ста-

тусе еврея. Данный вопрос не имел никакого отношения к английскому организму, но в этих непрерывных стычках англичане растрчивали себя, борясь за или против таких вещей, как гражданство для евреев, их участие в парламенте, адвокатуре, занятие ими профессиональных и правительственных должностей. Такая же борьба раскалывала западное общество повсюду. Результатом углублявшейся финансиализации экономической жизни, подмены идеи *продукта* (goods) идеей *денег* было неуклонное разложение материальной и духовной жизни рабочих и фермеров во всех западных странах. Смерть миллионов людей из-за грязи, недоедания и нечеловеческих условий жизни, от тифа, голода и туберкулеза вызвана превращением производственной экономики в поле битвы властелина денег с предпринимателем и производителем. Именно властелин денег обеспечил триумф корпоративной формы собственности. Он заставил каждого предпринимателя стать процентным рабом денежного воротилы, потому что именно последний выкупал доли и затем угнетал промышленных рабочих, превращая все доходы предприятий в дивиденды. Для банкира заработная плата живых людей — экономическая основа их жизни — не более чем «производственные издержки». Снижение этих издержек означало повышение собственной прибыли. Никого при этом не волновало, что результатом были рахитичные дети, недоедающие семьи, ухудшение общенационального уровня жизни — единственной целью стала *прибыль*.

Эта идеология утверждала, что каждый работающий человек может, при желании, стать денежным воротилой. Если он этого не захотел, значит сам виноват. Хозяева денег никому ничего не должны, потому что они «сделали» себя сами. Однако это не читалось наоборот, потому что в случае угрозы зарубежным активам финансистов патриотическим долгом всех этих заморышей было их спасение.

Ужасные последствия власти денег, обречшей массы населения на голодную смерть, возымели, как и следовало ожидать, обратный эффект. Однако бурлящее недовольство масс дистортеры сделали инструментом своей политики.

Между двумя образовавшимися полюсами находился враг — тело западной цивилизации. Верхи владели финансовым методом управления этим телом. Низы использовали технику тред-юнионов. Миллионы остальных были добычей в этой войне с двух фронтов. Роль дистортера заключалась в углублении раскола, его обострении, применении в своих целях. Ни один исто-

рик не изложил политику и цели культурных дистортеров лучше, чем Барух Леви в своем знаменитом письме Марксу:

«Еврейский народ, взятый совокупно, будет сам себе Мессией. Он получит власть над миром через объединение всех остальных человеческих рас, упразднение границ и монархий, являющихся оплотами партикуляризма, и через установление всемирной республики, в которой евреи повсеместно будут пользоваться всеобъемлющими правами.

При этой новой организации человечества сыны Израиля распространятся по всему обитаемому миру, и благодаря своей принадлежности к одной расе и культурной традиции, не имея в то же время определенной национальности, беспрепятственно станут руководящим слоем.

Руководство нациями, из которых будет образована эта всемирная республика, с легкостью перейдет в руки израилитов благодаря самому факту победы пролетариата. Тогда еврейская раса сможет покончить с частной собственностью и станет повсюду управлять общественными фондами.

Так сбудутся пророчества Талмуда. Когда наступит время Мессии, ключ к мировому богатству окажется в еврейских руках».

Таким было самовыражение инородного тела в западном организме. Для дистортера в этом нет ничего дурного: для него Запад — грубое чудовище, горделивое, себялюбивое и жестокое. Суть в том, что жизненные условия этих или двух других организмов такого же ранга различны. Дистортер следует своей природе, когда возбуждает внутри Запада экономическую одержимость, разрушающую его душу и открывающую дорогу дистортеру. Таковы неизбежные взаимоотношения хозяина и паразита, которые обнаруживаются в растительном мире, мире животных и мире людей. Для Запада оставаться собой — значит подавлять самовыражение дистортера и ограничивать его душу, которая, чтобы оставаться верной себе, должна препятствовать самовыражению души Запада.

Надо отдавать себе отчет, что культурная дисторсия не может убить хозяина, поскольку не может добраться до его души, но способна повлиять на ее самовыражение, когда оно входит в видимую фазу. Если бы дисторсия проникла в душу, это уже была бы не дисторсия, поскольку изменилась бы сама душа. Но душа продолжает существовать в своей чистоте и интенсивности, поэтому дисторсии подвергается только ее проявление. Здесь источник напряженности: *наглядный* разрыв между возможным и тем, что реализовалось. Запускается реакция, когда с каждой по-

бедой культурного дистортера у носителей культуры нарастает ощущение фрустрации, усиливается враждебность к нему. Пропагандой этот процесс не остановить в силу его органичности: пока есть признаки жизни, все происходит именно так.

IV

Культурная дисторсия влияет на культурную жизнь на всех уровнях. Когда культура находится в фазе политического национализма, как Запад в течение XIX и первой половины XX века, дисторсии подвергается не только жизнь каждой нации, но также межнациональные отношения.

Проще всего дать гипотетическую иллюстрацию. Китайская паразитическая группа в Америке никогда не была способна достичь уровня культурной дисторсии, но представим, что это произошло. Если бы она обладала публичной властью в Америке в то время, когда, скажем, Англия намечала для себя сферы влияния в Китае, китайский элемент в Америке неизбежно работал бы на войну Америки против Англии. Обладая достаточной публичной властью, он добился бы успеха. В результате произошла бы дисторсия межнациональной жизни в западной цивилизации, ведущая к войне внутри Запада в интересах Китая. Подобные (в данном примере гипотетические) события неоднократно происходили с другими участниками на протяжении XIX века. Любая страна Европы, где культурный дистортер преследовался и не получал гражданских прав, юридической защиты и финансовых возможностей, в которых он нуждался, оказывалась объектом его политики. Дисторсия никогда не была *абсолютной*, поскольку таковой никогда не была публичная власть дистортера. Всегда имело место не преобразование, но лишь искривление; не командование, но влияние; все делалось скрытно, а не открыто; уклончиво, а не прямолинейно. Будучи мелким паразитом в огромном хозяине, дистортер никогда себя не обнаруживал, чтобы не подвергаться смертельной опасности. Дисторсия всегда маскировалась под европейские идеалы — независимость, демократию, свободу и т. п. В этом снова не было ничего дурного, поскольку жизненная необходимость требовала от дистортера именно такой тактики. Его небольшая численность мешала бросить вызов всему Западу на поле боя.

На протяжении XIX и в начале XX века параллельно политическим и экономическим событиям, происходившим на поверхно-

сти западной истории, творилась другая история. Она заключалась в развитии культурного паразита, жизнедеятельность которого вызвала дисторсию западной политики и экономики. Эту вторую историю современная Европа может видеть только мельком. Из-за своего политического национализма она не могла себе вообразить, что политическая единица может существовать без определенной территории, языка, «конституции», армии, флота, кабинета и остального западного политического оснащения. Запад не был знаком с историей арабской культуры и ее национальной идеей, равно как и с единством ее остатков, разбросанных по Европе.

Внутри каждой нации дистортер поддерживал принятие конституций, упразднение старых аристократических форм, распространение «демократии», партийные правительства, расширение избирательного права, боролся с прежней западной исключительностью. Все эти преобразования являются количественными, отрицающими качество. Предварительным условием завоевания власти в стране была ее демократизация. Если оказывалось слишком сильное внутреннее сопротивление, против упорствующей нации мобилизовались другие, где власть уже была захвачена, и результатом становилась война.

На протяжении XIX века Россия (которая тогда еще фигурировала как составная часть европейской системы государств), Австрия и Пруссия сопротивлялись культурной дисторсии. Не сдавалась и Римская церковь, которую тоже поместили как врага.

К 1858 г. сложилась ситуация, когда культурный дистортер смог мобилизовать правительство Франции и общественное мнение Англии по делу мальчика Мортары. Если случай с одним еврейским мальчиком вызвал межнациональный инцидент европейского масштаба, не удивительно, что более серьезные еврейские дела могли вызвать гораздо более крупные межнациональные последствия в западной политической системе.

Главнейшим из всех врагов была Россия, страна погромов. После большого погрома, произошедшего в Киеве в 1906 г., американское правительство Рузвельта разорвало с русским правительством дипломатические отношения. Ни один американец не был как-то связан с погромом, поэтому данный случай свидетельствует о силе дистортера. Если бы жертвами погрома стали лапландцы, казаки, прибалты или украинцы, Вашингтон его бы даже не заметил.

Первая мировая война как в своей исходной форме, так и по результатам, совершенно не отражала западных проблем того времени. Этот великий поворотный пункт мы рассмотрим в дру-

гом месте, а здесь упомянем только те результаты, которые она принесла России, великому врагу дистортера. В своей прессе культурный дистортер всячески бахвалился связью с большевизмом в первые дни его зарождения. Романовская Россия сполна расплатилась за трехсотлетние погромы. Царь и его семья были поставлены к стенке в Екатеринбурге, и над их телами был начертан каббалистический символ. Все представители российского слоя, служившего проводником западной цивилизации, были убиты или изгнаны из России. Она была потеряна для Европы и стала величайшей угрозой для Запада. В большевистских войнах, эпидемиях и голодовках, последовавших сразу за революцией, сгнуло от десяти до двадцати миллионов человек. Лозунг «Разрушить все!» подразумевал *все западное*. Наряду с другими переменами в России был объявлен уголовным преступлением антисемитизм.

Этот пример показывает размах, какого может достичь культурная дисторсия. Огромная созидательная сила западной культуры втянула Россию в свою духовную орбиту. Инструментом этого развития был Петр Великий. Романовская династия, основанная в XVII веке, была великим символом влияния западного духа на обширном субконтиненте под названием Россия, с его многомиллионным примитивным населением. Трансформация, разумеется, не удалась. Она и не могла произойти, поскольку высокая культура связана с определенным местоположением и не подлежит пересадке. Тем не менее династия Романовых и западный слой, который она представляла в России, более или менее обезопасил Европу на три столетия от вторжения с Востока. Большевизм покончил с этой безопасностью.

Когда в 1814 г. армии Александра вошли в Париж, то благодаря западному лоску своего командования они были вынуждены вести себя как войска одной западной державы, оккупировавшие столицу другой. Но большевистские войска, водрузившие красное знамя в сердце Европы в 1945 г., с Западом не имели ничего общего. Их первобытной душой и инстинктом руководил немой императив: разрушить все!

V

Феномен культурной дисторсии не ограничивается сферой деятельности. Владычество классической цивилизации над ранней арабской культурой, вплоть до 300 г. н. э., совершенно

искажило экспрессию новой, восходящей культуры. Философ определил эту ситуацию (которая продолжалась столетия) как «псевдоморфоз», «ложную форму» в которой проявлялась новая культурная душа.

Чрезвычайная утонченность и эзотерическая природа наших западных искусств обусловили их доступность лишь для немногих. Поэтому они не поддаются дисторсии со стороны культурных чужаков. Иногда сами европейцы, например Чиппендейл, классицисты в художественной литературе, философии и изобразительном искусстве, пробовали вводить чужие культурные мотивы в западные произведения, но преобразовывали их соответственно своим целям, адаптируя к нашему чувству. Однако культурных дистортеров не было в великом европейском искусстве в период его высочайшего развития. Кальдерон, Рембрандт, мастер Эрвин фон Штейнбах, Готфрид фон Страсбург, Шекспир, Бах, Леонардо, Моцарт не имеют себе равных среди деятелей инокультурного происхождения. Масляная живопись и музыка оставались полностью западными, пока доводились до совершенства. Когда в конце XIX столетия эти великие искусства уже вошли в историю, появились дистортеры и внесли безобразие в изобразительную сферу и тарарам в мир музыки. Благодаря своему проникновению в публичную власть они получили возможность превозносить эти кошмары как достойное продолжение Рембрандта и Вагнера. Любой скромный художник, продолжавший работать в старых традициях, оплевывался, а культурный дистортер восхвалялся как великий мастер. Наконец, в середине XX века появилась тенденция просто брать старые произведения искусства и грубо исказить их. Распространение получила форма «музыки», заимствованная из примитивной культуры африканских аборигенов, и в эту форму были втиснуты произведения европейских мастеров. Требование оригинальности игнорировалось. Если культурный дистортер ставил драму, то зачастую это была просто шекспировская пьеса, искаженная и перекрученная в целях социальной пропаганды дистортера. Любая другая постановка замалчивалась вследствие тотального господства культурного чужака и его контроля над каналами рекламы.

В этой сфере, как и в сфере деятельности, именно исключительность обеспечивала чистоту выражения западной души, и только благодаря победе количественных идей, методов и чувств культурный дистортер смог внедриться в западную жизнь.

Публичную власть в сфере деятельности чужаку обеспечили деньги, демократия и экономика (все они основаны на чистом

количестве, а не на исключительности). Не будь Запад охвачен материализмом, денежным мышлением и либерализмом, появление инородца в его публичной жизни было бы столь же невозможным, как для европейца овладение мастерством талмудической казуистики.

Если же говорить о будущем, то дальнейшее направление развития западной души нам известно. Возвращается авторитет и прежняя западная гордость и *исключительность*. Дух денег уступает дорогу авторитету, парламентаризм — порядку. Социальная аморфность сменяется сплоченностью и иерархией. Политике суждено переместиться в новую сферу: западные нации уходят, грядет Западная нация. Сознание западного единства вытесняет мелкoderжавность XIX века. Особыми чертами европейской души в XX веке являются строгость и дисциплина. Патологический индивидуализм и безволие Европы XIX века исчезают. Уважение к тайне Жизни, к символическому значению живых идей вытесняет материализм XIX века. Витализм торжествует над механицизмом, душа — над рационализмом.

Со времен Кальвина Запад постепенно двигался в сторону абсолютного материализма. Пик этой кривой приходится на Первую мировую войну, и эта мощная эпоха, открывшая новый мир, означала также явление западной души в ее неповрежденной чистоте. Она перенесла долгий культурный кризис рационализма, и ее вечно юная судьба потребовала восстановления авторитета и объединения Европы в такой явной форме, что ни одна сила в ее пределах, кроме патологических ретардаторов и дистортеров, этому не воспротивилась.

Движение к материализму было движением *навстречу* культурному дистортеру в том смысле, что оно способствовало его проникновению в западные дела. Когда *подсчитывались* люди, естественно, учитывался и он. Но счетомания уже прекратилась, и возвращается прежняя исключительность. Феномен Дизраэли, культурного дистортера на посту премьер-министра западного государства, был просто немыслим столетие назад, во времена Питта, и столь же немыслим в западной культуре теперь.

Движение от материализма равносильно удалению *от* культурного дистортера. В области мысли материализм ведет безнадежные арьергардные бои. Он побежден во всех сферах: физике, космогонии, биологии, психологии, философии, художественной литературе. Этот *неумолимый* курс делает дисторсию просто невозможной, поскольку закрывает дистортеру доступ в западные дела. Все западное всегда было эзотерическим: когда в 1790 г.

публиковалось собрание сочинений Гёте, предварительный заказ поступил только на 600 экземпляров. Хотя и этой аудитории было достаточно, чтобы его прославила вся Европа. Букстехуде, Орландо Гиббонс, Бах и Моцарт писали для узкого круга, в котором не было культурных дистортеров. Конечные цели политики Наполеона понимали в современной ему Европе несколько человек, дистортеры же разглядели в ней лишь то, что касалось только *их*. Культурный слой Запада объединяется над обломками рухнувшего вертикального национализма. Запад сбрасывает шкуру материализма, возвращаясь к чистоте собственной души ради последней великой внутренней задачи — формирования своего культурно-государственно-национально-народно-расово-имперского единства как основы для исполнения внутреннего императива абсолютного империализма.

С этих пор проблема культурной дисторсии фундаментально пересматривается. Сама возможность допуска паразита к общественной жизни Запада стремительно иссякает. Повинуясь мощному инстинкту, дистортер оставил Европу и с этого времени базируется вне ее.

Старые инструменты финансового капитализма и классовой войны потеряли свою эффективность перед лицом возрождения авторитета, и главную роль теперь играют армии. Извне дистортер продолжает действовать в старом духе своей вынужденной миссии отмщения. В одной из западных колоний — Америке — по-прежнему существуют культурные болезни, которые оказывали и продолжают оказывать оттуда решающее влияние на мировые события.

АМЕРИКА

Американская битва еще впереди; скорбя, но, отбросив сомнения, мы желаем ей для этого сил. Новые духовные удавы, чудовищные динозавры, уродливее которых еще не рождала земля, громадные и мерзкие, один за другим выползают из туманного будущего Америки; ее ждет и агония, и победа, но не на тех условиях, которые мнятся ей теперь.

Карлейль

Сможет ли умственно отсталый верхний класс, одержимый мыслью о деньгах, перед лицом этой опасности пробудить в себе пока еще спящие моральные силы, чтобы приступить к реальному строительству государства, и будет ли он духовно готов к тому, чтобы пожертвовать ради этого собственностью и кровью, а не продолжать по-прежнему считать войну средством преумножения богатства?

Шпенглер

Введение

Мы подошли к моменту, когда органико-исторический метод, изложенный выше, следует применить к ближайшему будущему. Усовершенствованный нами метод мышления позволил нам определить свое место в истории, свои корни, от которых мы по-прежнему внутренне оторваны, свой органически необходимый внутренний императив. Теперь мы применим этот метод к материалу, связанному с событиями нашего ближайшего будущего. Ответив на вопрос «что», следует ответить и на вопрос «как». Первый этап практической политики — это оценка фактов. Второй — поиск возможностей. Это в равной мере относится и

к дешевому политиканству преследующего собственную выгоду партийного политика, и к политической практике таких великих государственных мужей, как Питт, Наполеон или Бисмарк. Факты и возможности западной политики в 1948 г. не могут быть взвешены без полного понимания значения и потенциала Америки. До сих пор в Европе его не было. Но теперь вся тактика, идеи и точки зрения должны поверяться *фактами*. Предрассудки, капризы, абстракции и идеалы устарели, и даже не выходя нелепыми, они остаются непозволительной роскошью, поскольку угнетенная, ограбленная, оккупированная Европа должна мыслить *ясно*, если ей вновь предстоит позаботиться о своей судьбе. Вплоть до Второй мировой войны заблуждения и путаница относительно Америки были свойственны почти всем европейцам. В одних странах это было выражено сильнее, чем в других, но рассматривать их по отдельности не стоит, поскольку Европа *едина* во всемирно-историческом смысле, независимо от широты признания данного факта. Европа *страдает* и *проигрывает* мировые войны как одно целое, а осознав свое единство, она также сможет *побеждать* в мировых войнах и строить будущее на основе своего внутреннего императива.

В нашу эпоху есть только один способ истолкования явлений и только один метод, которым раскрываются секреты, связанные с прошлым и будущим органических единиц — это органико-исторический метод. Характер и потенциал Америки заложены в ее истории. С позиций культурного витализма мы имеем возможность понять смысл этой истории как для самой Америки, так и для западной цивилизации.

Происхождение Америки

Американский континент заселялся в ходе *индивидуальной* миграции. Большинство иммигрантов с 1500 по 1890 г. были представителями северных рас Европы. В ранний, колониальный период (1500—1789) условия жизни новых поселенцев были крайне суровыми. Континент населяли враждебно настроенные дикари. Безопасной территорией была узкая полоска побережья примерно 1500 миль в длину. За ней лежал огромный неизведанный, незнакомый «фронтир». Это слово, важное для понимания характера колонистов — представителей разных европейских наций, имело в Америке особый смысл. Оно означало не *границу* между двумя державными единицами, а *территорию* — огром-

ную, опасную и почти незаселенную. Ее требовалось только преодолеть, чтобы присоединить, и в этом процессе главным врагом была скорее природа, а не дикари, которым в любом случае не хватало организации. Поэтому Америка с самого начала не выработала ощущения *политической напряженности*, которое формируется при наличии настоящей границы.

Проникновение вглубь континента ради того, чтобы обзавестись землей, зависело от личного желания человека. Так осваивались миллионы квадратных километров — не по воле государства, а посредством *индивидуального империализма*. Этот факт также имеет важнейшее значение для последующей американской истории. Прежде всего первыми иммигрантами в целом руководила характерная готическая устремленность вдаль, придавшая европейской истории ее уникальную мощь. Были ли это авантюристы или религиозные беженцы, купцы или солдаты, они так или иначе оставили свои европейские дома ради неизвестной и опасной страны, сулящей лишения и неудобства. Новые условия укрепляли и развивали инстинкты, которые их сюда привели.

Небольшие группы этих первых американцев расчищали леса, строили форты и дома. Фермеры обрабатывали поля с винтовками через плечо. Женщины работали по дому с оружием под рукой. Были востребованы такие человеческие качества, как уверенность в своих силах, находчивость, отвага, независимость.

Вдоль побережья росли города — Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия, и в XVIII веке в этих городах возникло нечто наподобие светского общества и даже своего рода американский энциклопедизм.

Первые колонии, в числе тринадцати, были организованы как независимые части Британской колониальной империи. Отношения с Англией сводились к защите от французов, которую она могла предоставить. Французская колониальная империя включала часть Канады и континента в глубине [американских] колоний. После поражения и изгнания французских армий из Канады в 1760-х в колониях развились центробежные силы, и Франция своей политикой всячески способствовала их отделению от Англии. У американской войны за независимость (1775—1783) были и коммерческие, и политические мотивы, но в данный момент главный интерес представляет идеология, в терминах которой колониальные энциклопедисты формулировали свои военные цели. Большинство американских пропагандистов — Сэмюэл Адамс, Патрик Генри, Томас Пейн, Джон Адамс, Джон Хэнкок, Томас Джефферсон и Бенджамин Франклин — побывали в Англии и

Франции, где впитали новые рационалистические идеи, победившие в английском обществе и начавшие завоевывать французское государство и культуру. Колонисты усвоили французскую форму рационалистических доктрин, требуя, скорее, «прав человека», чем прав американца.

Как всегда, на войне сражались не идеологи. Это делали солдаты, и та война была самой трудной из всех, выпавших на долю Америке. Население колоний, растянувшихся по всему Атлантическому побережью, насчитывало всего три миллиона. Их связывала только оппозиция к Англии и надежда на взаимную независимость. Британцы на море были сильнее помогавших колонистам французов и к тому же не только привлекли на свою сторону дикарей, но также завербовали для этой войны наемников на Европейском континенте. Благодаря прусской и французской помощи колонисты в итоге добились успеха и завершили войну, получив полную независимость от Англии.

Эта война была не только войной за независимость, но в такой же степени гражданской, и лидерам революции пришлось прибегнуть к внутреннему террору против проживавших в колониях лоялистов. После войны последние большей частью эмигрировали в Канаду, которая оставалась британской. Если бы революция потерпела неудачу, все колониальные лидеры были бы повешены за предательство, но в качестве победителей они теперь считаются отцами-основателями Америки.

Благодаря небольшой группе патриотов и созидателей, — а история всегда в руках меньшинства, — тринадцать колоний объединились в федеративный союз. Лидерами, заключившими союз, были Вашингтон, Джон Адамс, Франклин, Пинкни, Ратледж и в первую очередь Александр Гамильтон — величайший из государственных деятелей Америки всех времен. Без участия этой великой души дальнейшая история американского континента была бы историей продолжительных войн, которые теперь переросли бы во взаимное истребление и до сих пор не объединили бы континент.

Союз создавался на основе федеративного государства, и распределение власти между ним и вошедшими в него «штатами» решили закрепить письменным документом, «конституцией». Ведущие французские политические теории того времени постулировали противостояние между «государством» и «индивидом», которое [на самом деле] существует только в книгах. Американская конституция, а также конституции, принятые каждой из вошедших в союз колоний, пытались кодифицировать это

«противостояние», перечислив ряд прав индивида по отношению к государству.

Еще не осознается, насколько эти события отличались от всего, что происходило тогда на культурной родине. В колониях никогда не было государства, кроме как на словах. Поэтому Конституция стала *началом*, а не *отрицанием* традиции как попыткой заменить прежнюю форму государства листком бумаги. В Америке традиция просто отсутствовала. Гамильтон отстаивал монархическое государство традиционного европейского образца, но с рационалистической идеологией и пропагандой совладать было невозможно, а они требовали республики.

«Индивидуальные права», перечисленные в различных документах, не имели аналогов на территории Европы. Поскольку в Америке никогда не было государства и никогда не было границы в европейском смысле, там были *только* «индивиды». Землю можно было приобрести, заявив на нее права и поселившись на ней. Любой желающий мог в любое время взять винтовку, пойти вглубь континента и жить там как фермер или траппер. Поэтому в разговорах об «индивидах» не было ничего нового, а с другой стороны, не было ничего общего с Европой, где человеческая жизнь *зависела* от государства. Именно благодаря существованию государства европейский «индивид» имел возможность жить и процветать. Не будь Прусского государства, половина населения Европы вернулась бы на уровень славян.

В Америке не было государства, о нем напоминало лишь далекое английское правительство, поэтому американская антигосударственная идеология не являлась отрицанием некоторого жизненного факта, но только утверждала *факт индивидуализма*, зародившегося в обширном пустынном ландшафте. *Государство* есть единица *противостояния*, и поскольку других государств на Североамериканском континенте не было, никакого американского государства возникнуть не могло.

Американская идеология

Упомянутый *органический* индивидуализм был сформулирован в писанных конституциях и литературно-политических текстах. Характерным примером в этом отношении является Декларация независимости. Как образец *Realpolitik*, этот манифест 1776 г. совершенен: он обращен в будущее и воплощает дух эпохи рационализма, которая тогда господствовала в западной культу-

ре. Но в XX веке идеологическая часть этой Декларации звучит просто фантастично: «Мы придерживаемся тех самоочевидных истин, что все люди сотворены равными; что их творец дал им врожденные и неотъемлемые права, среди которых жизнь, свобода и стремление к счастью. Для того чтобы обеспечить эти права, из числа людей учреждаются правительства, наделенные с согласия тех, кем они управляют, справедливой властью; если же какая-либо форма правления будет препятствовать достижению этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство, основанное на указанных принципах и осуществляющее свою власть в такой форме, которую народ сочтет наилучшей для обеспечения его безопасности и счастья». В 1863 г. шарлатан Линкольн выступил с речью, в которой называл Америку «нацией, зачатой в свободе и верной тому суждению, что все люди сотворены равными». Затем он продолжил, ссылаясь на шедшую тогда войну Севера и Юга: «...Мы ведем великую гражданскую войну, испытывающую, насколько жизнеспособной может быть эта нация и любая другая, зачатая так же и верная тому же».

Эта идеология продолжала жить до самой середины XX века и даже после Первой и Второй мировых войн, когда уже вошло в силу совершенно иное и несовместимое с ней мировоззрение, была предложена родине западной цивилизации как некий образец для подражания. Только благодаря американскому оружию, то есть совершенно случайно, старая идеология получила физическую поддержку, позволившую ей дотянуть до середины переросшего ее века. Эту архаическую идеологию необходимо здесь рассмотреть не в силу ее основательности как политического мировоззрения, но единственно потому, что она представляет собой эффективную технику раскалывания и разобщения Европы.

Декларация независимости пропитана мыслями Руссо и Монтескье. Основная идея, как и во всем рационализме, заключается в отождествлении того, что *должно быть*, с тем, что *будет*. Рационализм вначале путает рациональное с реальным, а в итоге подменяет реальное рациональным. Арсенал «истин» о равенстве, неотъемлемых и врожденных правах отражает эмансипированный критический дух, чуждый уважению к фактам и традиции. Та идея, что правительства «учреждаются» для утилитарных целей, ради удовлетворения потребностей «равных» людей, и что эти «равные» люди дают свое «согласие» на определенную «форму правления», а потом упраздняют ее, когда она перестает служить цели, есть чистая рационалистическая поэзия,

не подтвержденная никаким где-либо зафиксированным фактом. А факт состоит в том, что источник правления — *неравенство* людей. Характер правления отражает культуру, нацию и стадию, на которой они находятся. Поэтому любая нация может иметь только одну из двух форм правления: эффективное и неэффективное. Эффективное правление реализует идею нации, а не «волю масс», которая при компетентном руководстве просто отсутствует. Руководство сменяется не тогда, когда «народ» рационально решает его отстранить, но когда настолько деградирует, что самоуничтожается. Нигде никакое правление не «основано» на «принципах». Правительства являются порождением политических инстинктов, и различие инстинктов у разных популяций служит источником различий в практике управления. Никакие писанные «принципы» не влияют на практику правления ни малейшим образом, и единственный результат, который они могут принести, — это обеспечить лексику для политических баталий.

Это столь же справедливо для Америки, как для любой другой политической единицы, существовавшей когда-либо на протяжении пяти тысячелетий истории высоких культур. Вопреки определенному мессианскому чувству, присущему Америке, она *не совсем* уникальна. Такая же структура и судьба прослеживается в истории других колоний, принадлежавших нашей и другим культурам.

Определение цели правления как обеспечения «безопасности и счастья» населения, которое дается в Декларации независимости — это еще большая рационалистическая чепуха. Правление есть процесс поддержания населения в форме, необходимой для выполнения политической задачи, выражения национальной идеи.

Цитата из Линкольна также является отражением эпохи рационализма, и современная ему Европа понимала подобную идеологию и сочувствовала ей. Однако поскольку в Европе продолжали существовать государство, нации и традиция, пусть в ослабленном состоянии, там всегда ощущалось сопротивление рационалистической идеологии, кто бы ее ни выражал — Руссо, Линкольн или Маркс. Ни одна нация никогда не была «зачата в свободе», и ни одна нация никогда не была «верна суждению». Нации являются созданиями высокой культуры, а в своей глубочайшей сущности — мистическими идеями. Их рождение, индивидуальность, форма и исчезновение являются высшими культурными проявлениями. Говорить, что нация «верна суждению», значит сводить ее до уровня абстракции, которую может начер-

тать на классной доске преподаватель логики. Это — рационалистическая *карикатура* на национальную идею. Говорить так о нации, значит оскорблять и недооценивать ее: никто никогда не станет умирать за логическое суждение. Если такое суждение, которое к тому же претендует на «самоочевидность», не убедительно, никакая армия не сделает его таковым.

Волшебное слово (pimen) «свобода» — излюбленный трюк американской идеологии. Как понятие, оно имеет лишь негативный смысл, подразумевая свободу от некоторого ограничения или чего-либо другого. Даже самые ярые американские идеологи не оправдывают тотальную свободу от какой-либо формы порядка, и аналогично, никакая самая жесткая тирания не стремилась запретить *все*. В стране, «верной свободе», людей забирали из домов под страхом тюрьмы, объявляли солдатами и отправляли за океан в качестве «оборонительной» меры, которую правительство применяло без «согласия» своих масс, отлично зная, что в таком «согласии» ему будет отказано.

В практическом смысле американская свобода означает свободу от государства, хотя очевидно, что это просто слова, поскольку в Америке никогда не было государства, как и необходимости в нем. Поэтому «свобода» — не более чем догма материалистической религии, ничему не соответствующая в мире американских фактов.

Для американской идеологии важна также писаная конституция, принятая в 1789 г. усилиями Гамильтона и Франклина. Они были заинтересованы в ней *практически*: идея состояла в том, чтобы объединить тринадцать колоний в одно целое. Поскольку для союза в то время не было какой-либо центральной основы, все, что можно было создать, — это слабая федерация с центральным правительством, которое представляло собой не что иное, как словесно оформленную анархию. Конституционные идеи в основном были взяты из сочинений Монтескье. В частности, этому французскому теоретику принадлежит идея «разделения властей». Согласно его теории, правление осуществляется тремя властями: законодательной, исполнительной и судебной. Как все хрустально-нежное рационалистическое мышление, оно мутнеет и крошится, если его приложить к жизни. Эти власти могут быть разделены только на бумаге, а не в действительности. Фактически этого никогда и не было в Америке независимо от того, что утверждала теория. С началом внутреннего кризиса в 30-е годы XX века вся власть центрального правительства была откровенно сконцентрирована в исполнительной, и под этот

факт подвели теоретическое обоснование, по-прежнему представлявшее данную ситуацию как «разделение».

Все колонии в основном сохраняли за собой всю власть, которая была им нужна: право создавать свои собственные законы, содержать милицию и вести себя экономически независимо от других колоний. В качестве названия составных частей союза было выбрано слово «государство» («state»), что внесло еще большую путаницу в идеологизированное мышление, поскольку европейские государственные формы, в которых государство было идеей, приравнивались к американским «государствам», являвшимся в первую очередь территориально-легально-экономическими единицами без суверенитета, цели, судьбы или предназначения.

Союз не обладал суверенитетом, то есть даже *правовым* аналогом государственной идеи. Центральное правительство не было суверенным, как и правительство любого штата. Суверенитет осуществлялся соглашением двух третей штатов и центрального законодательного органа (legislative), иными словами, основывался на полной абстракции. Если бы у американской границы стояло пятьдесят или сто миллионов славян и даже индейцев, все выглядело бы иначе. Предпосылкой всей американской идеологии является геополитическое положение этой страны. Вокруг нее не было ни держав, ни сильных, многочисленных или организованных враждебных популяций, в общем, никаких политических *опасностей* — только обширный пустынный ландшафт, населенный немногочисленными дикарями.

Другой важной особенностью американской идеологии было (выраженное выше в речи Линкольна) чувство *универсальности*. Хотя война Севера и Юга вообще не была связана с какой-либо идеологией — во всяком случае у южан были более веские юридические основания для ведения войны, чем у янки, — Линкольн испытывал потребность пристегнуть к войне тему идеологии. Оппонент не мог быть просто политическим соперником, сторонником той же системы власти, что и янки: его следовало изобразить тотальным врагом, намеренным искоренить американскую идеологию. С тех пор это чувство сопровождало все американские войны: любой политический противник *ipso facto* считался идеологическим врагом, пусть даже он не проявлял никакого интереса к американской идеологии.

В эпоху мировых войн идеологизация политики была распространена на весь мир. Держава, которую Америка выбирала врагом, по умолчанию считалась противником «независимо-

сти», «демократии», «свободы» и всех других магических, но бессмысленных заклинаний из этой обоймы. Результаты были странными: любая держава, воевавшая против другой державы, которую Америка безосновательно назначала врагом, *ipso facto* становилась «свободной» или «независимой». Поэтому как романовскую, так и большевистскую Россию изображали «свободной» державой.

Американская идеология заставляла Америку считать союзниками страны, которые не отвечали на комплимент, но американский пыл от этого не остывал. В Европе политика такого рода может расцениваться только как *подростковая*; и действительно, любая претензия на то, что формы и проблемы XX века могут быть изложены в терминах рационалистической идеологии XIX века, являются незрелыми, а если говорить прямо — *глупыми*.

В XX веке, когда идущая вперед западная цивилизация уже отбросила идеологию рационалистического типа, американская универсализация идеологии обернулась *мессианизмом* — идеей о том, что Америка должна спасти мир. Средство спасения — материалистическая религия, в которой вместо Бога — «демократия», вместо церкви — «конституция», вместо религиозных догм — «принципы правления», а идея экономической свободы занимает место Божьей милости. Чтобы спастись, надо обняться с долларом, а если это не удастся, то придется покориться американскому оружию массового поражения или штыкам.

Американская идеология — это такая же религия, как рационализм для французского террора, якобинства и наполеонизма. Американская идеология — ровесница всех этих мертвых идей, впрочем, тоже внутренне мертвая. Ее главное назначение сейчас, в 1948 г., — поддерживать раздел Европы. Европейский Михель кормится любой идеологией, которая обещает «счастье» и жизнь без напряжения и аскетизма. Поэтому американская идеология служит исключительно негативной цели. Дух ушедшей эпохи неспособен ничем вдохновить следующую эпоху, но может только отрицать ее и попытаться задержать, деформировать и сбить с жизненного пути. Американская идеология — это не инстинкт, поскольку она никого не воодушевляет. Это неорганическая система, и когда один из ее постулатов начинает путаться под ногами, от него сразу избавляются. Поэтому в 1933 г. религиозная доктрина «разделения властей» была вымарана из списка священных догм. Перед этим, в 1917 г., была поправа священная догма изоляции, когда Америка ввязалась в западноевропейскую войну,

которая ее совсем не касалась. Вернувшись после Первой мировой войны, эта догма снова была отвергнута во время Второй. Политическая религия, так легко меняющая свои божественные доктрины, не убеждает ни политически, ни религиозно. Например, доктрина Монро, провозгласившая в начале XIX столетия, что все Западное полушарие является сферой американских империалистических интересов. В XX веке она приобрела эзотерический статус, сохраняясь для внутреннего пользования, тогда как официальной догмой стала «политика добрососедства».

Народная идеология — это просто интеллектуальная обертка. Она может соответствовать, а может не соответствовать инстинкту данного народа. Меняться день ото дня может идеология, но не народный характер. Однажды сформировавшись, он остается неизменным, влияя на события гораздо сильнее, чем они на него. Характер американского народа сформировался в войне Севера и Юга.

Война Севера и Юга (1861—1865)

В Америке вообще не существовало политики в европейском смысле. Американский союз был образован прежде, чем сформировался стиль внутренней политики XIX века. Политические партии в их позднейшей форме были неизвестны авторам конституции. Слово «партия» указывало на опасную вещь — фракционность, которая граничила с предательством. Джордж Вашингтон, прощаясь с публичной жизнью, предостерегал свой народ от «партийного духа». Но честолюбивые люди всегда будут стремиться к власти, даже ограниченной и безответственной, которая возможна в пределах рыхлой федерации. Когда пребывание во власти ограничено несколькими годами (четыре года в Американском союзе), главной внутривнутриполитической проблемой становится сохранение власти. В силу того, что она приобретает за счет большинства на выборах, развивается искусство «предвыборной кампании». Избиратели должны быть *организованы*, чтобы лидеры могли увековечить себя в должности, и способом организации выступает *партия*. Организация собирает фонды и берет на вооружение идеалы. Идеалы — для масс избирателей, фонды позволяют их распространять. Фонды более важны, потому что их трудно добывать, тогда как идеалов — изобилие. Такая зависимость партийной организации от фондов привела к тому, что богатые люди получили возможность заставлять партийных

лидеров и партийные организации работать на себя. Даже партийный лидер *при должности* попадал в зависимость от богача, который мог его содержать. В книгах подобное правление называют *плутократией*, властью денег. Она существовала в Америке на протяжении всего XIX века и вновь утвердилась в 1933 г.

Источником состояния богатейших людей Америки в период 1789—1861 гг. были мануфактуры и торговля. Самые богатые жили в северных штатах, в промышленных и торговых регионах. В южных штатах плутократия отсутствовала. Общество там было организовано на патриархальной и иерархической основе. Половина населения принадлежала к африканской расе и содержалась в качестве рабов белыми землевладельцами и плантаторами. Рабство было менее эффективным для капиталистических целей, чем индустриализм, поскольку рабам гарантировалась полная безопасность: защита от болезней, безработицы и тягот, связанных со старостью, тогда как фабричные рабочие Севера в этом смысле были незащищены. Это давало северному промышленнику дополнительные преимущества перед гуманным рабовладельцем. «Производственные издержки» промышленника были меньше, поскольку он не отвечал за фабричных рабочих, которых уносила болезнь или другое несчастье, то есть рабское положение не давало им никаких преимуществ, в отличие от африканцев на Юге.

Поэтому в экономическом отношении Юг был не столь динамичен, как Север, и, следовательно, был сильнее заинтересован в дешевых промышленных товарах, что в те времена подразумевало импорт из Англии. Северная промышленность не могла успешно конкурировать с английским импортом и требовала высокого протекционистского тарифа. Вокруг тарифа велась политическая борьба в течение трех десятилетий, прежде чем наконец разразилась война.

Когда какой-то вопрос, независимо от сферы его происхождения, достаточно обостряется, чтобы стать *политическим*, он обрастает и другими мотивами. Поэтому идеологи янки ухватились за идею рабства, изобразив его для масс северных штатов причиной войны. Финансовая эксплуатация труда капиталистами Севера превозносилась как гуманизм, а патриархальная забота плантатора-южанина клеймилась как жестокость, бесчеловечность и аморальность. Идеологическая сторона этой войны предопределила ее будущий ход.

Гражданская война началась по поводу того, могут ли Южные штаты как сообщество, объединенное традиционно-ари-

стократическим мироощущением и экономикой, основанной на мускульной силе, выйти из союза, в котором заправляют янки. Территория янки была организована на финансово-промышленной основе, с использованием в хозяйстве машинной силы. Три десятилетия главным политическим вопросом союза было равновесие в центральном правительстве между представителями Северных и Южных штатов. Юг занимал оборонительную позицию, поскольку Север давил своим богатством, властью и контролем над центральным правительством.

Однако вследствие своего аристократического устройства Юг отправлял непропорциональное количество офицеров в федеральную (central) армию, и к началу войны большая часть военных кадров была сосредоточена на Юге. Героическая, бессребреническая позиция Юга обеспечивала ему огромное преимущество в поле против армий янки, которым военная пропаганда внушила зависть к преимуществам жизни на Юге. Война была состязанием (не последним в истории Запада) между качеством и количеством. Север владел всеми военными производствами, большинством железных дорог и в четыре раза большим населением, доступным для военного использования.

Материальная слабость Юга была слишком велика, чтобы ее можно было компенсировать духовным превосходством на поле боя. Героический дух одерживал победу за победой над превосходящими силами противника. Однако Юг не мог восполнять свои человеческие потери, а янки это делали, в частности за счет немецких и ирландских иммигрантов. Эта война была самой широкомасштабной войной в западной цивилизации вплоть до Первой мировой. Армии исчислялись миллионами, и более миллиона квадратных километров занимал театр войны. Впервые в тактике применялись железные дороги и броненосцы.

Основываясь на своем опыте 150 сражений, Наполеон подсчитал, что на поле боя духовные ресурсы важнее материальных в три раза. Если это так, то поражение Юга было результатом более чем трехкратного материального превосходства янки. Эта война дала Европе много уроков, но в основном ее проигнорировали в европейских столицах, которые по-прежнему пребывали в националистической мелкодержавной фазе и были неспособны мыслить широкими пространствами. Она продемонстрировала огромный военный потенциал Америки — характер янки, с этих пор ставший американским духом, а также неимоверную волю к власти нью-йоркской плутократии. Одним словом, стало ясно, что Америка обладает всем необходимым для мировой державы.

Единственной европейской державой, заметившей это, была Англия: только она в то время была способна к широкому пространственному мышлению, и ее отношение к этой войне все время выражалось в, мягко говоря, благосклонном нейтралитете по отношению к Югу. Объявить войну правительству янки Англии помешала только позиция России. Торговые рейдеры южан снаряжались в английских портах, и «Алабама» был даже укомплектован английскими матросами. Но военно-морские силы янки не оставляли Англии шансов. Стало ясно, что Америка прошла тот период, когда ей следовало опасаться вмешательства какой-либо европейской державы в североамериканские или карибские дела. Европейско-российская ситуация в то время не позволила европейским державам уделить основное внимание трансатлантическим проблемам. С учетом такой расстановки сил в Европе, американцы были сильнее любой возможной европейской коалиции.

Это послужило началом *фактической* американской изоляции. Независимо ни от каких формулировок Америка политически изолировалась от Европы по факту; более того, она была в своем полушарии единственной державой. Вкупе с обширным внутренним ландшафтом Америки это заставляло ее мыслить большими пространствами, в отличие от европейской мелкодержавности, с точки зрения которой дистанция в сто километров уже выглядела огромной.

Разумеется, именно европейская мелкодержавность позволила Америке развиваться как в самом начале, так и потом. Подробнее это рассматривается в истории американского империализма.

Американский способ правления

I

Фактической формой правления в Америке была плутократия, но технику, посредством которой осуществлялось правление, поверхностные умы обычно принимали за само правление. Великую эпоху в истории американской управленческой практики знаменует 1828 г. В этом году президентом центрального правительства был избран Эндрю Джексон, который немедленно провозгласил новую, частнособственническую концепцию исполнения должности. Под лозунгом «трофеи принадлежат победителю» он навсегда сбросил с трона федералистскую идею традиции государственной службы. С этих пор правительствен-

ная должность стала «трофеем» для успешных партийных политиков. Выборы 1828 г. были для федералистской партии последними. Однако до середины XIX века она сохранила за собой контроль над федеральной судебной системой. Избрание Джексона положило также конец аристократической практике «собраний фракции» (congressional caucus) для выбора кандидата в президенты. С этих пор партии стали организовывать для этой цели собрания по выдвижению кандидатур (nominating conventions). Силы традиции, сконцентрированные в федералистской партии, больше не участвовали во внутренней политике как организованная группа, сохранив только социальную функцию. Поэтому в Америке на протяжении всего XIX века отсутствовал конфликт европейского образца между партией и традицией, между торговцами конституцией и аристократическими силами монархии, государства, армии, церкви. Конституционная идея в Америке, Англии и на Континенте означала разные вещи. В Америке конституция была символом рождения народа. В Англии «неписаная» конституция олицетворяла органическую преемственность истории английской национальной души, соединяя ее прошлое и будущее. На Континенте конституция была центром притяжения всех антитрадиционных сил, разрывом с органическим прошлым и средством разрушения государства и общества. В Америке не было традиции, только конституция; в Англии конституция и традиция являлись синонимами; на Континенте конституция и традиция находились в оппозиции.

Американский способ правления основывался на изначальном факте отсутствия государства, поэтому существовала только частная и партийная политика. В Англии способ правления медленно совершенствовался в течение столетий, и английская конституция служит только хроникой этого развития. На Континенте способ правления, столетиями развивавшийся в русле традиции, роковым образом столкнулся с вызовом рационалистической идеи, потребовавшей замены качества количеством и отказа от истории и традиции, вместо которых учреждалась власть простого листка бумаги, который должен был навечно гарантировать царство разума, гуманизма, справедливости и тому подобного. Соответственно, в Америке вообще не существовало противников конституции, как нет их и сегодня, тогда как в Европе традиционные силы сопротивлялись принятию конституции, которая здесь была символом анархии.

Исторический способ мышления больше интересуется то, что удалось сделать, вооружившись писаной конституцией, нежели

то, что в ней написано. В этом смысле способ правления в Америке совершенно не зависел от Конституции, несмотря на то что на этот документ постоянно ссылались все партийные политики. Во-первых, Конституция не признавала партий, речь шла только об индивидах. Она не предполагала, что разовьется политический бизнес, который будет манипулировать массами с помощью идеалов, обещаний и денег. Также Конституция не признавала и всеобщее избирательное право — по той простой причине, что в то время никто не видел необходимости запрещать вещь, которую все и так считали синонимом анархии. Если бы вернулись отцы-основатели, они бы потребовали упразднить партии с их способами агитации, запретили бы групповое участие в политике, а также строго ограничили бы избирательное право на основе собственности, образовательных, расовых и социальных признаков, поскольку такие ограничения объясняются реальностью, в неизменности которой были убеждены авторы американской Конституции.

Первой американской администрацией было федералистское правительство Вашингтона и Гамильтона. Гамильтон уже в 1791 г. принял доктрину «подразумеваемых полномочий» (implied powers) центрального правительства как меру по его усилению. Это, разумеется, противоречило букве и духу Конституции, делегировавшей центральному правительству строго ограниченные полномочия, оставив все остальные штатам. С этого момента оформились две идеи: сильного центрального правительства и «прав штатов». Этот вопрос породил сепаратистские движения — сначала в северных, а позже — в южных штатах. Теоретическим обоснованием войны между штатами (1861—1865) было право штата выйти из союза.

Главный судья Маршалл был последним представителем федералистской традиции в правительстве. Он реализовал в Америке уникальную идею о том, что судебная система может нарушить закон, объявив его «неконституционным». Этому средству было суждено играть важную роль в американской внутренней политике в XIX и XX веках. Решения этого судьи как ничто другое усиливали центральное правительство. Но механизм, который он разработал, был с неизбежностью ограничен и оказывал чисто негативный эффект. С его помощью можно было отменять законы, но нельзя было их принимать. Все это также совершенно противоречило конституции наряду с партиями, конвенциями, широким избирательным правом, «подразумеваемыми полномочиями» и властью частных лиц. Судебная узурпация была еще

одним опровержением рационалистических теорий, что жизнь можно спланировать на листке бумаги и затем, исполняя требование этого листка бумаги, отделить судебную власть от законодательной.

Опять-таки, не логика, а история позволила Маршаллу узурпировать функцию судебного вето. Идея «верховного закона» (paramount law) возникла еще в колониальной истории. В то время она была просто проявлением центробежной политической тенденции во всех колониях, поскольку «верховный» закон означал местный закон в противовес закону английского короля, который считался частным (personal). Королевскими губернаторами назначались англичане, тогда как судьи были местными уроженцами. Этим объясняются «верховный закон» и уникальный институт «судебного ограничения» (judicial review).

Логическим развитием этой старой колониальной идеи стал американский *легализм*. Колониальный закон подразумевал оппозицию к Короне, поэтому юрист становился своего рода общественным защитником. Отцы-основатели были в основном юристами, почти исключительно из юристов состоял Конституционный Конвент. Конституция была юридическим документом, полным юридической фразеологии при совершенном отсутствии политической мудрости. Поэтому судебное вето на законодательную деятельность выглядело в Америке вполне естественным и основательно прижилось. В результате сложилась странная практика: обращаться со всякого рода проблемами, вполне решаемыми на принципах общего права, к судебной системе. Теоретически это выглядело так, что политическим, социальным, расовым и другим вопросам следовало обеспечить беспристрастное рассмотрение, свободное от любой человеческой предвзятости.

Закон является результатом политики. Любая судебная система создается политическим режимом. Если она узурпирует власть, что делает ее более или менее независимой, она сама политизируется. Однако в любом случае ее решения являются результатом политики, отлитым в юридическую форму. Поэтому история американского легализма в образе конституционного права представляет собой просто отражение экономико-политической истории Америки. Ее первой стадией был ряд решений, усиливших центральное правительство как воплощение федералистской политики. В той же традиции в 1857 г. было принято решение по делу Дреда Скотта, отражавшее южную точку зрения на рабство, поскольку федералистская идея не была аболи-

ционистской. После полной победы в 1865 г. индустриализма и денег решения стали отражать точку зрения промышленного и финансового капитала. Верховный суд постоянно препятствовал поднимаемому голову профсоюзному капитализму. С 1870 по 1933 г. он не менее трехсот раз опротестовывал принятые разными штатами и центральным правительством законы, направленные против плутократии.

Институт судебного ограничения не развился бы при наличии сильного центрального правительства или настоящего государства. Не возник бы он и в другой стране, не охваченной экономической активностью и занятой реальными политическими делами. До 1861 г. был поставлен только один существенный политический вопрос: равновесие сил между Севером и Югом. С 1865 по 1933 г. подобные вопросы также не поднимались, а рассматривалась только партийная политика, представлявшая личный или групповой бизнес в *форме* внутренней политики. Решение по Дреду Скотту не вызвало бы сомнений, не начались Гражданская война, поскольку вопрос Севера—Юга был действительно политическим, а значит он мог быть решен только политическими переговорами или войной, но никак не с помощью легалистского ритуала.

В 1933 г. снова возникла реальная политическая проблема, которую попытались решить легалистскими методами. В этом году произошла роковая революция: захват центральной власти в Америке культурным дистортером. Новый режим не сразу овладел судебной системой, поскольку должности в ней пожизненные. Судебная система накладывала вето на каждое серьезное внутреннее решение нового режима, пока в 1937 г. не испугалась угрозы назначения достаточного количества новых судей для получения перевеса над противниками режима. Грант успешно сделал это в 1870 г. для принуждения враждебного Верховного суда, продемонстрировав, что правящие силы Америки просто терпели судебное ограничение, пока это было в их интересах.

После 1936 г. суды быстро перешли под контроль революционеров, и судебное вето на политические решения было аннулировано. Оно могло использоваться как лозунг или возрождалось как шоу, но силы, которые пробудил XX век, не воспринимают легализм всерьез. Оружие судебного ограничения в Америке оказывало некоторый консервативный эффект во время первых атак революции 1933-го, но это была негативная реакция. Только созидательное движение может противодействовать радикаль-

ной революции, только политики могут одержать победу над политиками.

Теория «разделения властей» на практике привела либо к доминированию во всех ветвях правительства одних и тех же интересов, либо к расколу самих этих ветвей на две оппозиционные группы. Авторитарный дух XX века положит конец попыткам «разделения» власти правительства. Пустое разглагольствование может продолжаться, но этот политический принцип умер — как в Америке, так и везде.

II

На протяжении всего XIX века, не считая политического вопроса, приведшего к Гражданской войне, Америка была страной без настоящей политики. Внутренняя политика сводилась просто к бизнесу, и в нее могла включиться любая группа, чтобы добиваться своих собственных экономических или идеологических интересов. В дополнение к партиям развился «лоббизм». Лобби — это способ оказывать давление на законодателей после выборов. Частные группы посылают в законодательные учреждения частных представителей, которые посредством подкупа голосами и деньгами заставляют чиновников поддерживать или срывать принятие законов. Этим методом пользуются аграрные, расовые, экономические группы и различные общества, например антиалкогольные, которые ввели общенациональный запрет на производство, продажу и транспортировку алкогольных напитков. Эта политическая технология продолжает применяться. После поражения федералистской партии в начале XIX века действовала постоянная тенденция к расширению избирательного права, поддерживаемая всеми партиями, за исключением сопротивлявшихся этому общественно-традиционных сил. Партия всегда заинтересована в максимально широком избирательном праве, с помощью которого можно полностью лишить власти электорат. Если результат выборов определяют десять человек, то все они обладают по крайней мере некоторой властью. Но если электорат насчитывает десятки миллионов, такая массовость лишает его высший слой какой-либо роли.

Внутреннее развитие Америки происходило по неизменной демократической модели, существовавшей во всех культурах и государствах. Партийная политика связана с коммерциализацией, рационализмом, материализмом, экономической

активностью. Дух эпохи восстановления авторитета замещает партийную политику авторитарными формами независимо от применяемых теорий и технологий. Целеустремленный человек или группа просто берут власть. Как показала американская революция 1933 г., эта группа может быть даже культурно чуждой. Фактическая технология установления авторитарной власти в Америке была показательной: две признанные партии, республиканская и демократическая, на протяжении столетия под разными вывесками пользовались монополией на внутреннюю политику. Группе, нацеленной на захват и удержание абсолютной власти, не составляло труда проникнуть в обе эти старые формации и тем самым взять под свой контроль все средства осуществления внутренней политики. На президентство номинировались только два кандидата, изредка три. Если одна и та же группа выдвинет их всех, она обезопасит себя от любых способов отстранения от власти, кроме насильственной революции. Так и было сделано, что продемонстрировали выборы 1936, 1940, 1944 и 1948 гг.

На протяжении XIX века в Америке, охваченной экономической манией, никого не волновала идея внедрения эффективности во все сегменты публичной политической жизни. Дело дошло до того, что сохранялись сорок восемь административных единиц, теоретически «суверенных», и каждая принимала свои собственные законы, регулирующие любые вопросы, собирала собственные налоги, располагала собственной системой образования, судебной властью, полицией и экономической программой. В континентальных Соединенных Штатах в 1947 г. насчитывалось 75 тысяч органов, собирающих налоги. Каждый орган мог создавать государственный долг, что требовало посредничества крупных частных банковских домов. В 1947-м общий государственный долг Америки составлял цифру, превышавшую всю налоговую стоимость страны. Столь широкое проникновение аппарата публичной власти означало, что возможности коррупции и подлога, свойственные центральному правительству, тысячекратно воспроизводятся в миниатюре.

Американская революция 1933 г. не задавалась целью изменить такое положение дел, но объяснялась прежде всего интересом к внешним задачам. Подоплеку вмешательства этого режима в мировые дела раскрывает история американской внешней активности, рассмотрев которую, мы в деталях покажем цели режима.

I

Америка приобрела свою обширную империю ценой меньшей крови, чем все предыдущие нации завоевателей в истории планеты. Любая другая держава, которая когда-либо властвовала над покоренными народами, добилась своего положения в ходе долгих и тяжелых войн. Империя не может пребывать в мире. Мир и империя — вещи взаимоисключающие. Самая изнурительная война, которую вела Америка, была для нее первой, с 1775 по 1783 г. От Лексингтона к Парижскому мирному договору вела долгая кровавая дорога, которая могла в любой момент повернуть вспять. Американский режим в те дни еще не располагал ни достаточной казной, ни огромными ресурсами, которые в наше время позволили Америке под конец войны всемирной коалиции против одной державы ввязаться в нее на стороне победителя. В те времена он еще не находился в завидном положении игрока, который вправе выигрывать, но не обязан платить, если проиграет. Американские лидеры тогда на самом деле рисковали своими жизнями на войне, и в случае проигрыша их ждала бы виселица. Люди, теперь занявшие место потомков этих протоамериканцев, назвали бы их «военными преступниками» — клеймом, которое они придумали для лидеров, проигравших войну. Разве не были первые американцы «заговорщиками против человечества», «поджигателями агрессивной войны» и тому подобным? Разве трудно было бы организовать и растянуть на год «судебное разбирательство» над этой небольшой шайкой генералов, пропагандистов, политиков, идеологов и финансистов, чтобы потом зачитать им заранее вынесенный приговор? Да, этим людям можно было не опасаться подобного спектакля, но юридически они были предателями своего суверена — короля, и в рамках существовавшей судебной практики против них мог быть организован законный трибунал.

Американские колонисты добились успеха только благодаря французской помощи и добровольной поддержке таких талантливых военных, как фон Штойбен, де Кальб, Лафайет, Пулавский. Эта иностранная помощь была решающей. Англия была занята в других регионах, где ставки были выше, и не могла уделить достаточно военного внимания колониальному восстанию. Дополнительную поддержку этим американским усилиям оказала внутренняя английская оппозиция, занявшая сторону колоний.

Сознательное бездействие генерала Хау — только один пример этой обструкции.

Долгая и трудная война положила начало американской политической независимости. Тринадцать колоний протянулись землей вдоль Атлантического побережья. На континентальную глубинку претендовали европейские державы, империям которых в Западном полушарии оставалось жить недолго: Франция и Испания. Политический упадок Испании выразился в революционных выступлениях Идальго, Итурбиде и Боливара, которые привели к распаду Испанской империи в Западном полушарии. Францию при наполеоновском режиме заставили отказаться от идеи заморской колониальной империи, которая потеснила бы Британскую, как вначале планировал Наполеон, и взяться за идею возрождения Священной Римской империи, но теперь управляемой из Парижа. В свете этой цели пустяк в три миллиона долларов оказался для Наполеона важнее, чем огромная территория Луизианы, покупка которой Американским союзом в 1803 г. стала крупнейшей удачей, которая прежде не выпадала ни одной державе. Фридриху Великому понадобилось воевать семь прискорбных лет, чтобы заполучить маленькую Силезию, и еще две войны, чтобы ее удержать; Наполеон двадцать лет сражался против шести коалиций за контроль над Западной Европой; Англия отдавала по сыну за каждую квадратную милю своей империи — и так далее, по страницам истории империй. Но Америка приобрела территорию размером с Западную Европу по цене нескольких линейных кораблей. Латентный кальвинизм протоамериканского типа усматривал в этом не удивительное везение, но знак предопределения, Божьей милости.

Американскую отвагу и готические инстинкты продемонстрировала Берберийская война. Она показала также, что колониальный человеческий материал способен порождать людей того типа, который необходим для успешного империализма: Уильям Бейнбридж, Уильям Итон, Эдвард Пребл, Стивен Декейтер.

Война 1812 г. принесла еще одну небывалую удачу. Наполеон вновь сражался за Американскую империю. Англия, с головой погруженная в борьбу с континентальным Колоссом, оказалась даже неспособна воспользоваться своим военным превосходством в Америке, которая, несмотря на военное поражение, одержала политическую победу в Гентском мирном договоре 1814 г. Приобретение Флориды в 1819-м было результатом переговоров, а не войны. Теперь известный австрийский афо-

ризм можно было перефразировать так: *Bella gerant alii, tu, felix America, eme!*¹

Великий Гамильтон еще при зарождении союза рекомендовал аннексировать Кубу, и о том же еще десять лет говорили многие другие, но осуществилось это только к 1900 г. Однако в 1823 г. произошло событие, которое можно отнести к величайшим историческим дерзостям: был провозглашен манифест, известный как доктрина Монро. В нем было заявлено, что Америка имеет право на все Западное полушарие. Эту «доктрину», ради уничтожения испанской колониальной империи, поддержал британский флот. Если бы Англия воспротивилась этой доктрине, последняя оказалась бы мертворожденной, но, будучи выгодной для британской политики, она поставила Америку ей на службу. Америка этого, разумеется, не осознала. Там решили, что их смелое заявление, которое никто не стал оспаривать, напугало все европейские державы. Более того, Южная Америка, по сути, не представляла интереса для империалистических держав. В итоге в американской внешней политике постепенно закрепились *традиция удачи*. Распространилось кальвинистское ощущение, что Америке предназначено править, значит так тому и быть. Прошло почти столетие, прежде чем «доктрине» был брошен вызов, но к этому времени Америка обзавелась военной силой для ее подкрепления.

Параллельно с внешними событиями непрерывно развивался так называемый «внутренний империализм». Туземные обитатели континента, с интересами которых никогда не считались ни европейские державы, ни американские колонии, а затем их союз, не прекращали сопротивляться упорному продвижению американского империализма на запад. Ответом американцев на это сопротивление краснокожих индейцев была формула: «Хороший индеец — мертвый индеец». Американские купцы снабжали индейцев оружием, порохом и зарядами, поэтому индейские войны продолжались до начала XX века. В отличие от европейских держав, отказавшихся от громадных претензий после денежных выплат, индейцы уступили только превосходящей американской силе. В то время американская практика и теория сводились к одному: сила — лучший аргумент. С индейскими племенами один за другим заключались договоры, устанавливавшие границы, с которыми соглашались американцы. Но имперский инстинкт

¹ Пусть другие ведут войны, ты, счастливая Америка, покупай! (лат.) — *Примеч. пер.*

заставлял их нарушать все эти договоры. Это привело к войне Черного Ястреба, Семинольским и другим войнам, длившимся столетие и завершившимся только с политическим уничтожением индейцев.

В 30-е годы американцы проникли в Мексиканскую империю и в результате удачного восстания отделили от Мексики значительную часть Техаса. Прошло меньше десяти лет, и эта территория, по площади превосходившая любую из западноевропейских стран, была аннексирована союзом после небольшого сражения. В 1842 г. по соглашению с Англией были раздвинуты северо-западные границы. Окончательно Орегон был присоединен в 1846-м.

Тем временем имперский инстинкт поглядывал из Техаса через Мексику в сторону Тихого океана. Было решено отобрать у этой страны две трети ее территории, а поскольку это не получалось сделать за счет купли или соглашения, запланировали войну. Поводом для нее стал отказ Мексики подчиниться американским империалистическим запросам. Короткая война закончилась диктатом в Гвадалупе-Идальго, лишившим Мексику ее мощи.

Договор Клейтона—Булвера с Англией (1850) касался американского канала через Центральную Америку и в первую очередь потребовал там строительства американской железной дороги, которое завершилось в 1855 г. Оказав незначительное военное сопротивление, в 1853-м для торговой стороны американского империализма «открылась» Япония.

После Гражданской войны Американский союз сорвал французскую попытку присоединить к своей империи Мексику и позволил революционному отряду расстрелять Максимилиана. Вскоре империя янки приросла также Аляской. Эта территория почти в миллион квадратных километров была куплена Америкой у России за ничтожную сумму. В том же десятилетии была снова подправлена граница с Мексикой, на этот раз без войны, а за небольшую плату в результате сделки, известной как «покупка Гадсдена».

Во второй половине XIX века американский империализм продолжал повсюду проявлять активность: Гавайи, Чили, Куба, Колумбия, Китай, Япония, Сиам, Самоа. Американский флот беспардонно обстреливал иностранные порты в колониях по всему миру и отправлял десанты для обеспечения покорности американским торгово-империалистическим или территориальным интересам.

В 1890-м закончилась последняя война с сию, после чего индейское сопротивление американскому империализму стало разрозненным и локальным. Пришел черед Гавайев, и вскоре «восстание» подготовило эти острова для американской аннексии. Но это была только репетиция самого масштабного империалистического захвата из всех предпринятых. В 1898 г. были атакованы испанские владения в Карибском море и Тихом океане. В результате испано-американской войны бóльшая часть испанской колониальной империи отошла к Америке, включая бесценные Филиппины и Кубу. По ходу были аннексированы тихоокеанские острова Тутуила, Гуам, Уэйк, Мидуэй и Самоа.

II

Из всего перечисленного следует сделать вывод, что американский империализм был чисто *инстинктивным*. Он не был ни разумным, ни интеллектуальным, как современный европейский империализм. Никто из публичных лиц не ратовал за построение американской империи, и только немногие открыто признавали, что происходит на самом деле. Если бы Америку назвали империалистической державой, это вызвало бы бурю негодования. Действительно, на рубеже XX столетия получила хождение фраза «Рука Судьбы» («Manifest Destiny»), выразившая апологию империализма, но никакой четкой имперской политики или программы не существовало. Колонии приобретались беспланоно, в чисто инстинктивной манере, без учета их местоположения, значения или экономической ценности.

Уильям Дженнингс Брайан в своей речи, посвященной империализму, 8 августа 1900 г. предостерегал Америку от имперских притязаний, потому что это подорвало бы американскую форму правления: «Если мы не признаем принцип самоуправления Филиппин, то ослабим этот принцип здесь». Однако его не услышали, и традиция самонадеянности, пустившая корни за столетие успешных, не получавших отпора империалистических предприятий, не пошатнулась от его грозных речей. Остался незамеченным и противоположный аспект предупреждения Брайана. То, что он подразумевал под «самоуправлением», было на самом деле привычкой к классовой войне как возведенному в норму гражданскому конфликту (constitutionalized civil war) и к свободе каждого обманывать и эксплуатировать всех остальных в пределах уголовного права. Его предостережение имело тот смысл,

что имперская нация не может позволить себе внутреннюю неорганизованность и бесформенность.

Тем не менее в Америке не нашлось класса, заинтересованного в чем-то, кроме самообогащения, поэтому никого не волновали подобные вопросы, кроме нескольких авторов, таких как Гомер Ли. Ситуация вокруг империи постоянно меняется, и следует быть готовым к неожиданным поворотам. Если внешние события требуют мастерства, внутренние дела также должны быть в порядке. От лидеров страны, где даже слово *политика* совершенно не понималось и означало *продажную экономику*, нельзя было ожидать политической мудрости и понимания того, что империя означает войну, а война предполагает внутренний порядок. На самом деле в Америке не было руководства, до которого это можно было донести. Каждые несколько лет в правительственной администрации удобно устраивалась новая группа представителей частного экономического интереса, и ни о какой традиционной политике — ни внутренней, ни внешней — речь не шла. Соответственно не было выработано соглашения о фундаментальных американских интересах, о том, что считать *casus belli*, какие державы являются естественными союзниками, а какие — естественными недругами. Во все времена лидеры были в основном заинтересованы собой, озабочены великой проблемой продления своего пребывания в должности.

Однако удача Америке не изменяла. Ее изоляция в своем полушарии от возможного нападения со стороны какой-либо мировой державы была односторонней, поскольку она могла отправлять свои военные корабли и десанты по всему колониальному миру в поддержку империалистических авантюр. Более того, как показала война с Испанией, в Западном полушарии Америка могла бы с легкостью победить любую европейскую державу.

Испано-американская война закрепила то, что предвещала гражданская: рождение Америки как мировой державы. В результате в то время существовало семь мировых держав — остальными были Англия, Франция, Германия, Австрия, Россия и Япония. В первом ряду стояли Россия, Германия и Англия. Америка отстала от них единственно по причине своей географической изоляции. В Восточном полушарии она могла действовать против другой мировой державы только в союзе с кем-то и в подчиненной роли. Такой была ситуация в начале XX века — эпохи истребительных войн.

На протяжении целого столетия (1800—1900), Америка была занята империализмом — на Карибах, в Южной и Цен-

тральной Америке, по всему Тихому океану и на Дальнем Востоке. К 1900 г. американская сфера военного влияния по своей широте уступала только английской. Америка не занималась концентрацией и формированием империи по причине чисто инстинктивной природы своего империализма. Например, беззащитная и расположенная рядом с американским центром управления Канада так и не была политически инкорпорирована в империю. То же можно сказать о Мексике. Американский инстинкт удовлетворялся, когда в определенной области Америка становилась сильнее какой-либо другой державы, обеспечив себе экономическое господство. Строительство империи в европейском смысле Америке не было знакомо. Ей была непонятна идея большой властной структуры, поэтому ее империя росла просто из-за отсутствия сопротивления американскому имперскому инстинкту.

Ради своей империи Америке пришлось вести только одну большую войну. Целью первой войны (1775) была независимость, а войну 1812 г. точнее было бы считать второй войной за независимость. Поэтому именно гражданская война расширила империю янки на юг, устранив с Североамериканского континента зарождающуюся державу, и это была единственная серьезная имперская война, которую пришлось предпринять Америке янки за сто лет имперского строительства. Десанты по всей Центральной Америке, Мексиканская война, столкновения в Японии, Китае, на Тихоокеанских островах и Испанская война не принесли больших потерь. Еще никогда имперская держава не приобретала такой большой территории и влияния столь ничтожно малой кровью.

Однако этого не осознавали ни в Европе, ни в Америке. Американцы либо смущались, либо замалчивали свою империю. Европейцы либо не знали о ней, либо думали, что это результат мудрого и зрелого политического мышления. Ни европейцы, ни американцы не писали и не размышляли о новой мировой державе, ее возможностях, душе и имперских перспективах, как это следовало бы делать. В других частях света лучше понимали американский империализм. В частности, недостаток в Америке политического мышления отметила для себя Япония, что подтолкнуло ее к совершенно негативной политике, которая обернулась против ее собственных интересов.

Определенно ни одна европейская держава, ни правительство, ни частное лицо в 1900 г. не могли себе представить, что не пройдет и двух десятилетий, как двухмиллионная американская

армия пересечет Атлантику, чтобы ввязаться во внутриевропейскую войну.

Проницательный политический мыслитель в Америке понял бы, что американский империализм получил возможность развиваться благодаря тому, что все остальные мировые державы были сосредоточены на ситуации в своем полушарии. Это позволило Америке без помех с их стороны заняться империализмом в Западном полушарии, где ее действиям не могла воспрепятствовать даже Англия. Но в Америке не было ни правящего класса, ни идеи, ни нации, ни государства. Американский империализм был не рациональным, запланированным достижением, а самопроизвольным разрастанием, объяснявшимся империалистическим инстинктом и не встречавшим серьезного сопротивления на фоне постоянной удачи.

Финансисты янки не были заинтересованы ни в создании грандиозной политической структуры, которая протянулась бы от Берингова пролива до мыса Горн, ни в строительстве вообще какой-либо американской империи. У них просто не было других интересов, кроме личных. Сроки пребывания в должности политических лидеров Америки к 1900 г. были поставлены в зависимость от финансистов, поскольку к тому времени финансы взяли верх над промышленностью и транспортом. Однако важнейших финансовых успехов предстояло добиться не в латиноамериканских, но в западноевропейских делах.

Американский империализм в эпоху истребительных войн

I

В этот период западная цивилизация дошла до крутого поворота в виде Первой мировой войны. Эта великая пора ознаменовала завершение одной исторической фазы и начало другой. Эпоха рационализма, материализма, критицизма, экономики, демократии и парламентаризма — одним словом, первой фазы цивилизационного кризиса — подходила к концу, и кризис должен был смениться эпохой абсолютной политики, авторитета, историзма. Новые течения появились во всех сферах западноевропейской жизни, проявляясь скорее в декадансе или разрушении форм прежней эпохи, чем в рождении новых. Только один человек, Философ грядущей эпохи, выразил новые формы во

всей полноте. Пока он работал над книгой о приближении эпохи истребительных войн и очерчивал контуры будущего во всех сферах жизни, материалисты с тех или иных позиций отрицали возможность новых масштабных войн. Под их болтовню в августе 1914-го грянула Первая мировая война.

Старые испанские традиции кабинетной дипломатии дали свое последнее представление во время австрийских переговоров с Сербией в июле 1914 г., после чего навсегда покинули западную цивилизацию.

Война была только *политическим* аспектом перехода из одной эпохи в следующую, но поскольку в жизни все решает действие, а не мысль, именно война вобрала в себя весь смысл всемирной эпохи. Ее культурным аспектом был переход западной цивилизации из XIX в XX век в связи с завершением английской всемирной идеи и триумфом прусской. Английская нация была внутренне пропитана идеями первой цивилизационной фазы Запада — рационализмом, материализмом, экономическим духом, парламентаризмом и национализмом, а придать надлежащую форму XX веку было суждено Пруссии. Этот конфликт в культурной плоскости не был связан ни с каким конфликтом в плоскости политической. Из двух идей могла восторжествовать только одна — та, которая выражала дух новой эпохи. Альтернатива прусской идеи — хаос. Чтобы прусская идея могла восторжествовать в культурной плоскости, война между Пруссией и Англией не требовалась, ведь в *политическом* отношении они могли быть и оставались союзниками. Высший уровень развития — чисто духовный, и в этом плане могла победить только Пруссия, в противном случае всю западную цивилизацию ожидал хаос.

Повод для войны был нелепым — убийство на Балканах. Вызвать Первую мировую войну могли и предыдущие инциденты, такие как в Фашоде. В таком случае распределение сил было бы совсем иным, что привело бы к другим духовным и политическим результатам. Формой, которую приняла эта война (вообще без каких-либо оснований), была коалиция всех держав мира против Германии-Пруссии с ее единственным союзником Австро-Венгрией.

Благодаря связям, налаженным перед войной, американские финансисты, на которых держалась американская плутократия, были нацелены на английскую победу. Ни один публичный «политик» не разбирался во внешних делах, которые не имели отношения к его единственной заботе — удержаться в должности.

Но участь Америки была определена тем, что правительство тогда возглавлял авантюрист. Он не только не воспротивился требованиям банкиров об американском участии в войне на стороне Англии, но и лично намеревался использовать войну для удовлетворения своих необузданных амбиций. Вместе со своим окружением он выдвинул идею Лиги Наций, которую собрался возглавить. Английское правительство охотно согласилось, находясь в безвыходном военном положении.

Здесь со всей ясностью видна слабость американского империализма. Момент европейской войны был весьма подходящим для активных действий Америки в собственном полушарии. Она уже находилась в состоянии войны с Мексикой и могла довести ее до конца при полном молчании всех мировых держав. С другой стороны, если брать выше, Америка могла бы предложить свои услуги по завершению войны, которую Европа явно проигрывала Азии, и даже ускорить окончание войны против воли воюющих сторон, если бы заставила Англию выйти из войны.

Но Америка не преследовала ни свой интерес, ни интерес западной цивилизации. Теперь американскому населению пришлось пожинать плоды вековой духовной изоляции этой страны: изоляции от Истории с ее строгостью, грубостью, жестокостью и горечью. Поскольку в ходе своей имперской истории Америка пережила только одну тяжелую войну, огромная империя досталась ей не кровью. Поэтому она так и не обрела никакого *политического сознания*. Слово «политика» понималось неверно, как и факт борьбы за власть. Не было государства как средоточия власти. Не было правящего класса — стража государства. Не было традиции — руководящего сознания нации. *Не было* нации, не было *идеи*, которой служило бы население континента. Не было политического гения, поскольку вместо политики велась только грязная персональная борьба за должности и взятки. Была только группа банкиров и злополучный оппортунист Вильсон, мечтавший о мировом господстве.

Подлинный духовный смысл войны не был понятен ни одному официальному лицу. Не осознавался даже поверхностный, чисто политический аспект войны. Самым реалистичным было публичное требование Бойса Пенроуза вступить в войну, потому что Америка финансово зависит от английской победы, которая уже стала вызывать сомнения. Если бы в Америке существовал правящий класс в виде прослойки, высокий статус которой требует посвятить себя служению и реализации национальной идеи, Америка не вступила бы в войну или прекратила бы ее,

чтобы спасти Европу. Никто бы не допустил кошмарной пропаганды, английской монополии на новости, систематических усилий частных финансовых и общественных групп по организации американской интервенции. Правящий класс не терпит никакой пропаганды или политической активности других держав на своей территории.

II

Чисто политическим аспектом войны была схватка между двумя политическими силами — Германией и Англией. Этот аспект присутствовал на первой стадии войны. К 1916 г. смысл войны изменился, и Питт, как премьер-министр, это заметил. К тому времени это уже была война Западной Европы против Азии, в частности России. Первые два года Россия и масса других держав, воевавших против Германии, служили английской политике. Затем Англия отошла на второй план, ее превосшли по силе Азия и Америка. Каждый потерянный Англией корабль усиливал Америку и Японию. Каждый убитый английский солдат увеличивал силу России, Индии, Китая и Японии. Англия дошла до точки, когда военная победа не могла привести к победе политической. Ее единственной надеждой выйти из войны невредимой было заключение мира в 1916-м.

Естественно, то же самое относилось и к Германии. Каждый потопленный немецкий корабль усиливал Америку и Японию и каждая германская военная потеря увеличивала силу России и Азии по сравнению с западной цивилизацией.

Для белых европейских наций были непереносимы такие потери, которые с легкостью компенсировали для себя Азия и Россия. Теперь внешние силы численно превосходили западную цивилизацию в пять раз. Ввязавшись во внутреннюю войну — Англии *против* Германии, — Европа в целом сражалась только в интересах Азии, России и Америки.

Ничего этого не видели американские ответственные лица. Некоторые мыслители и писатели, такие как Фрэнк Харрис и Джон У. Берджес, глубже понимали реальное положение, чем любой публичный политик. Из последних только Уильям Дженнингс Брайан деятельно противостоял интервенционистским тенденциям.

Какое же отношение эта война имела к американскому империализму? Что Америка могла выиграть в этой войне? Европа не была врагом Америки: этому противоречили как политические

реалии, так и культурные узы. Азия в лице Японии и России не была союзником Америки, их победа была не в ее интересах. С американских позиций нельзя было ничего выиграть, приняв участие в европейской войне на чьей-либо стороне.

Интервенция произошла просто потому, что не было никакой Америки. Были только частные группы с их экономическими интересами, слабое правительство, представлявшее сильнейшие из них, на фоне абсолютного непонимания мира политики, а также единства и судьбы Запада. В этом и была слабость американского империализма: ни плана, ни традиции, ни политики, ни цели, ни организации.

Английская тактика против Германии была той же, которую она использовала против Наполеона: политика «баланса сил», согласно которой континент должен был быть разделен на две равносильные группы, чтобы в любой войне английское вмешательство оказывалось решающим. Даже в 1914 г. эта тактика выглядела достаточно глупой и устаревшей, поскольку возросшая мощь России поставила на ней крест. Тем, кто смотрел глубже тонкого налета культурного западничества, благодаря которому создавалось впечатление принадлежности России к европейской государственной системе, и хватало проницательности, чтобы верно распознать азиатский нигилистический оскал под нехитрой маской, было ясно, что долговременные интересы наций Западной Европы совпадают, а цепляние за мелкодержавность и продолжение внутриевропейских войн фатальны для европейского монопольного мирового господства и для каждого отдельного взятого европейского государства.

Ни о чем подобном никто не знал, не подозревал и не мечтал в помешанной на экономике Америке. Когда пришла война, население отреагировало на нее в карнавальном стиле, как на новую разновидность публичного зрелища или спорта.

Америка ничего не вынесла для себя из войны также относительно политики. Ее потери были практически нулевыми, хотя пропорционально ширине фронта и длительности боевых действий они превосходили потери любой европейской державы. В итоге она решила, что выиграла войну. На самом деле, разумеется, война принесла Америке поражение, поскольку она не имела к войне никакого отношения. Америка находилась в нейтральной *ситуации* при любой интервенционистской политике.

После войны Америка сотрудничала с державами Европы, включая Германию, против азиатского большевизма в России. Она отправила два экспедиционных корпуса: один в Восточную

Сибирь, другой — в Северную Россию для борьбы с большевизмом, который европейская война натравила на Европу.

Все материальные затраты и каждая жизнь, которую Америка отдала войне, стали для нее абсолютной потерей. Действительно, она вышла из войны, обладая гораздо большей властью, чем вступила в нее, наравне с Россией и Японией. Но впоследствии она отдала эту власть на Версальской конференции и Вашингтонской морской конференции. Не понимая смысла власти, она осталась в неведении относительно новой мировой расстановки сил по итогам войны и рассталась с полученной властью, даже того не подозревая. Невежество было не только общенациональным, но и персональным. Амбициозный торговец идеалами Вильсон, который взялся перекроить карту мира, имел совершенно зачаточные понятия о европейской географии, этнографии и истории. Ему не был известен баланс европейской экономики, и он себе даже не представлял, кто принадлежит к западной цивилизации, а кто нет. Например, Польшу и Сербию он считал западными «нациями».

Война ничему не научила Америку, считавшую себя «победительницей», и этот прагматический критерий якобы подтверждал правильность ее политики. Отказавшись от приобретенной политической власти, она тем самым показала, что не усвоила самого главного: война нужна для увеличения власти. Если бы любая другая держава вела себя так, как Америка, то есть участвовала в мировой войне в ущерб собственным политическим интересам, она была бы разгромлена и, возможно, расчленена своими соседями. Этого не могло случиться с Америкой благодаря ее изоляции в собственном полушарии.

Следует отметить (хотя это и не имеет первостепенного значения), что официальная американская пропаганда была не умнее лозунга «ради демократии надо сделать мир безопасным». Никто не считал необходимым связать американскую политику с американскими интересами. Это красноречиво свидетельствует о примитивности американского политического мышления. Никакого представления о кризисе западной цивилизации, о форме будущего, вообще ни о чем. Война ради войны. Примерно теми же самыми соображениями руководствовался Линкольн, подводя под войну идеологическую базу. Любая война должна была иметь какое-то отношение к «демократии». При необходимости «демократию» олицетворяла Россия — царская или большевистская. Единственным сообществом (кроме нескольких человек, мысливших независимо и воплощавших американскую надежду

на будущее), которое в Америке не клюнуло на эти идеалистические лозунги и модные словечки, были финансисты. Идеалы для них — это товар, который можно купить за деньги. Разве не этим они занимались? Америка не могла проиграть войну в военном смысле точно так же, как не могла выиграть ее в политическом смысле. Одним словом, американское вмешательство в Первую мировую войну стало экспедицией в политическую *нереальность*.

Американские делегаты на Версальской конференции не понимали природы данного мероприятия. Оно представлялось им своего рода теолого-юридическим трибуналом, решавшим моральные вопросы. Этой коллективной галлюцинацией, которую европейские делегаты не пытались развеять, объясняется странная моралистическая терминология Версальского диктата. Его лексикон был американским, условия — английскими. Американцам представлялось, что они пишут эпилог Истории, завершающую главу последней из всех войн. Англичане же готовили себе исходные рубежи для следующей войны.

III

Чистым итогом Версальской конференции был полный крах Европы. Мелкие государства сохранили свой взаимный политический суверенитет, что подтверждало переход власти к регионам, находящимся вне Европы. Основания для Второй мировой войны были заложены по той же схеме, что и для Первой. Чтобы существовало больше поводов для ее развязывания, было создано множество микроскопических «государств». Господствовало мелкомасштабное мышление, и был реанимирован одряхлевший национализм, приведший Запад к колоссальному поражению. В европейские политические документы внедрилась глупая идеология Вильсона и его окружения. К политике были примешаны вопросы «вины» наряду с «международной моралью», «нерушимостью договоров» и другими подобными благоглупостями.

Над всем этим пейзажем возвышался великий факт: вся Европа, в том числе Англия, войну проиграла.

Новый миропорядок возглавили четыре державы: Россия, Америка, Япония и Англия. Сильнейшей державой, если бы только она это осознала, была бы Америка, но, как видим, она уступила львиную долю своей власти. Однако исторический

факт, который проявился во всей силе — полное американское доминирование в англо-американском альянсе — не подлежал сомнению и служил политическим назиданием для всей Европы.

Результатом европейского фиаско была мощная негативная реакция всего населения Америки. Душа ее народа отвратилась от европейской авантюры, и ни один трезвый политик не осмеливался защищать американское участие в Лиге Наций или каком-либо ее придатке. Банкиры выиграла войну и утратили интерес к вильсоновским личным амбициям по поводу мирового господства.

Однако непосредственная реакция американцев не означала отказа от империализма. От него невозможно отказаться, поскольку его источник — инстинкт народной души. Эту войну ненавидели как раз потому, что она шла вразрез с империализмом.

Американский империалистический марш не остановился. Морские пехотинцы и моряки двигались вдоль Карибских и Тихоокеанских берегов, обстреливали и высаживали войска, продолжая начатое в XIX веке. Атакам подвергались китайские порты, но уже не японские, поскольку Первая мировая война сделала из Японии великую державу, несмотря на то что ее военные усилия были нулевыми.

В 20-е гг. была атакована и надолго оккупирована Никарагуа. В 1927-м, когда войска в Никарагуа еще, по сути, не выполнили свою задачу, Америка в союзе с Японией напала на Китай. Поводом для войны послужило китайское сопротивление японскому и американскому торговому империализму. Артиллерийский обстрел американского нефтеперерабатывающего завода в Нанкине повлек жесткие ответные действия.

Увлеченная империалистическими баталиями Америка спонсировала Парижский пакт. Этот известный договор был заключен якобы ради того, чтобы покончить с войной. Сам тот факт, что многочисленные европейские правительства подписали этот образчик совершеннейшей ерунды, был тяжелым симптомом болезни западной цивилизации. Наряду с политическим поражением всей Европы в Первой мировой войне идея XIX века одержала поверхностную победу над идеей XX века. Результатом стал послевоенный хаос в Западной Европе: полная дезорганизация, отсутствие публичного признания новых экономических, социальных, духовных и политических проблем, связанных с поступательным развитием цивилизации и результатами военного фиаско.

Американский торговый империализм все это время занимался Южной и Центральной Америкой. Были организованы революции в Панаме, Перу, Чили, Парагвае и Сальвадоре, все — в 1931 г. Еще одна революция, в Чили, произошла годом позже. В 1931 г. частные американские круги оказали сильное влияние на ситуацию в Испании и помогли создать условия, которые привели к гражданской войне 1936—1939 гг. Еще одной страной, испытывавшей на себе американский империализм, была формально независимая Куба.

Как после, так и до Первой мировой войны американский империализм развивался по одной и той же двойственной схеме: с одной стороны, постоянный захват власти на расширяющихся горизонтах и, с другой — абсолютная неспособность организовывать, планировать и с умом распоряжаться своими завоеваниями. Примером такой путаницы была идеология «непризнания», согласно которой Америка «не признавала» (что бы под этим ни подразумевалось) территориальных приобретений других держав, обеспеченных «силой оружия». При этом вся Американская империя, включая ее первоначальную территориальную базу, была приобретена с помощью военной силы. Сюда относятся также покупки, которые Америке удавалось совершать только благодаря военному перевесу в своей части Земного шара. Дальнейший свет на этот вопрос проливает американская революция 1933 г.

Американская революция 1933 года

I

В Американской войне за независимость 1775—1783 гг. принимали участие два типа людей, которые воспринимали ее по-разному. Лидеры творческого склада: Гамильтон, Вашингтон, Франклин, Ратледж видели в ней *межнациональную* войну между американской нацией в стадии формирования и Англией. Американская нация была для них новой идеей, и всевозможные идеологические лозунги и идеалы, служившие пропагандистским материалом, не отражали сущности этой новой национальной идеи, но были ее временной оберткой. Для менее глубоких людей, таких как Сэмюэл Адамс, Томас Пейн и Томас Джефферсон, эта война была *классовой*, а идея независимости выглядела только средством реализации идеалов равенства, почерпнутых из рационалистической литературы. Воплощение идей равенства

всегда принимало форму зависти, ненависти и социального разрушения как в Америке, так и в Европе. Таким образом, классовые бойцы относились к этой войне как к борьбе за равенство, а не за американскую национальную независимость. Они ненавидели монархию, лидерство, дисциплину, качество, аристократию, все неординарное и творческое.

Национальная идея, свойственная творческим умам во главе с Гамильтоном, состояла в здоровом и естественном, органическом упорядочивании населения сверху донизу во главе с монархом и аристократией, с рождения воспитанной в духе служения национальной идее. Они еще на этом раннем этапе вынашивали идею планомерного американского империализма в отношении континентальных районов и Карибского бассейна.

Обе идеи были пронесены через всю историю Америки. Классовая война представляет собой идиопатическую культурную болезнь, которая начинается вместе с цивилизационным кризисом и окончательно отступает с окончанием этого кризиса и началом второй фазы цивилизации — возрождением авторитета. Вся американская история до сих пор соответствовала первой органической фазе цивилизации, которая в западной культуре началась около 1750 г., победила в 1800-м и теперь внутренне завершилась.

Поэтому классовая война в Америке всегда считалась естественной и нормальной. В ней не видели выражения великого культурного кризиса, имеющего начало, течение и конец.

Силы классовой войны, возглавленные во времена основания Американского союза Джефферсоном, в 1789-м оказались в уникальной ситуации, когда им не противостояла никакая идеология. С момента поражения федералистской партии в 1828 г. в Америке вообще не было духовной оппозиции классовой войне, и все сопротивление, оказываемое ей, сводилось к грубым экономическим мерам. То, что она достигла здесь такой разрушительности, которая была невозможна в Европе, объясняется, однако, не только всем вышесказанным, но и присутствием незападных сил. Эти силы вмешались в общественную жизнь Америки и с неизбежностью деформировали ее, отратив от западных корней.

Сама природа колонии, как уже говорилось, не только порождает центробежные политические тенденции, но также ослабляет узы с культурной родиной, откуда берет начало внутренняя жизнь колонии. Это понижает культурную восприимчивость колониальной территории, ее сопротивляемость внешним влияниям. Именно недостаточная сопротивляемость к субкультурным и

экстракультурным силам привела к экономической одержимости и спровоцировала небывалый приток культурных чужаков, произошедший за последние полстолетия.

На Конституционном Конвенте 1787 г. Бенджамин Франклин предлагал включить в проект Конституции положение, навсегда закрывающее для евреев доступ в Америку. Поборники «гуманизма» и «равенства», абсолютно не понимавшие, что имел в виду Франклин, совершенно незнакомые с евреями (потому что их в Америке не было еще почти столетие), отвергли рекомендацию Франклина. Его предупреждение о том, что в случае отказа от его предложения потомки будут работать на евреев в течение двух веков, не было услышано. Эти идеологи признавали только «человечество», игнорируя огромное различие между людьми, обладающими и не обладающими определенным мироощущением.

Иммиграция в Америку в XIX столетии происходила из всех стран Западной Европы, но преимущественно из Англии, Германии и Ирландии. В конце столетия началась еврейская иммиграция, и вскоре после этого — приток балканских славян, русских и жителей Восточного Средиземноморья. Были приняты незначительные защитные меры, например иммиграционный акт (1890), установивший квоту для представителей каждой европейской страны, рассчитанную в пользу североевропейских, а не славянских и левантийских иммигрантов. Это, однако, никак не повлияло на еврея, инокультурное происхождение которого делает его перемещения статистически невидимыми для европейских наций. Еврей попадал в Америку по испанской, германской, ирландской и какой угодно квоте.

В очерке о культурном паразитизме был описан эффект присутствия в американской жизни большого числа негров, азиатов и индийцев. К этому числу добавляются представители восточноевропейского населения (кроме евреев), которые, будучи способны к ассимиляции, не ассимилировались. Против ассимиляции работало рационалистическое мироощущение, порождающее материализм, денежную одержимость, упадок авторитета и политический плюрализм. Пока культурные дистортеры наращивали свою общественную силу и влияние, ассимиляция преднамеренно тормозилась, чтобы удерживать Америку в духовно аморфном, разделенном и хаотическом состоянии. Защитные меры со стороны американцев с националистическими чувствами, направленные на ограничение или запрет иммиграции, саботировались культурной дисторсией.

С 1900 по 1915 г. в Америку иммигрировали пятнадцать миллионов чужаков: немного из Западной Европы, но в основном из Юго-Восточной Европы, России, Польши и Малой Азии. Среди них были евреи, численность которых оценивается в несколько миллионов. Первая мировая война прервала поток иммигрантов, но после войны он возобновился и резко усилился после европейской революции 1933 г. Евреи, которые бежали или были изгнаны из Европы, массово прибывали в Америку.

Стоит отметить, что из-за свойственной колониальным территориям неразвитости [чувства] культурной исключительности, в американских колониях, начиная с 1737 г. и далее, к евреям относились в гражданском смысле так же, как к европейцам. В то же время на родине западной культуры понадобилось столетие, прежде чем полностью восторжествовала эта рационалистическая политика. Единственной причиной этого в колониях служил, разумеется, тот факт, что там не было евреев как группы — только отдельные редкие индивиды, на которых смотрели как на диковинку.

С 1890 г. началась еврейская инвазия в Америку. В течение следующих 50 лет численность евреев там возросла с незначительной цифры до 8—12 млн, по разным оценкам. Нью-Йорк в этот период стал преимущественно еврейской столицей. Примерно 80 % еврейской иммиграции составляли евреи-ашкенази. Америка, естественно, отрицательно реагировала на явления, закономерно сопровождавшие иммиграцию столь огромного их числа, обладавшего собственным мироощущением и немедленно начавшего влиять на американскую жизнь во всех сферах и на всех уровнях. Ответом на эту реакцию была умелая пропаганда, использовавшая американскую идеологию в еврейских целях. Еврей Израэл Зангвилл назвал Америку «плавильным котлом», и чисто количественная идеология этой страны, задержавшейся на стадии денежного помешательства, придала этому образу сильную убедительность.

Та же самая пропаганда изменила смысл понятия «американец», которое стало теперь означать иммигранта, улучшившего свое личное положение благодаря переезду в Америку. Из этого понятия, по сути, были исключены коренные американцы,¹ которых заменили иммигранты. Если коренной американец демон-

¹ Коренным американцем (native American) Йоки называет потомка западноевропейского колониста, в отличие от современного словоупотребления, в котором этот термин означает индейца. — *Примеч. пер.*

стрировал возмущение, говорили, что это «не по-американски». Движения коренных американцев, например второй ку-клукс-клан, организованный в 1915 г. как реакция американского организма на присутствие инородной материи, более или менее успешно клеймились как «неамериканские» средствами пропаганды этой страны, которые уже тогда попали под сильное влияние культурного дистортера.

Слова «Америка» и «американец» совершенно лишились духовно-национального смысла и стали чисто идеологическими. Все, кто прибыл в Америку, *ipso facto* становились американцами, несмотря на то что сохраняли свой язык, жили своими расово-национальными группами, поддерживали свои старые связи с Россией, Юго-Восточной Европой или Восточным Средиземноморьем, а с Америкой состояли в чисто экономических отношениях. В то же время коренные американцы, исторически представлявшие собой новую единицу западной цивилизации под названием «американский народ», *ipso facto* не были американцами. Если они питали некие национальные чувства исключительности, то оказывались «неамериканцами». Подобная переоценка ценностей неизменно сопровождает культурную дисторсию и является сверхличной насущной потребностью дистортера. Ценности культуры-хозяина или колонии-хозяина враждебны его жизнедеятельности: принять их, значит исчезнуть как единица высшего порядка. Ассимиляция евреев означала бы исчезновение еврейской идеи, еврейской культурно-государственно-национально-народно-религиозной расы. Воюя в Америке с националистическими чувствами, еврейская идея борется за свое существование перед лицом враждебной западной цивилизации. Надо отдать должное политическому мастерству еврейских лидеров, которым удалось отождествить еврейскую идею с Америкой и навесить на американский национализм ярлык «неамериканского».

II

Для внутренней истории Америки особое значение имеют четыре эпохи: 1789, 1828, 1865 и 1933 гг. В 1789 г. благодаря принятию Конституции образовался Союз колоний. В 1828-м окончательное поражение потерпела федералистская партия — единственная авторитарная сила Союза. В 1865-м произошла полная финансиализация континента, но также сформировался особый характер американского народа. Однако в 1865 г. было

устранено последнее препятствие для экономической одержимости и проложена дорога, которая привела к полному триумфу культурного дистортера, состоявшемуся в 1933-м. В будущей истории Запада этот год будет записан как дата американской революции или, точнее, ее первого этапа, поскольку с этого момента культурная дисторсия начала проникать в остальные сферы американской жизни: правительство, армию, администрацию, судостроительство.

Тем не менее эта эпоха прошла незамеченной не только огромными массами американцев (что неудивительно), но также и многими хранителями американского национального чувства. Глубинный смысл событий открылся не сразу. Для населения и внешнего мира все выглядело так, что произошла просто смена администрации, замена одного партийного бизнеса другим. Гигантская революция, которая в европейской стране привела бы к войне, в политически несознательной стране была осуществлена ловко и незаметно.

Новый режим сразу же вызвал серьезную оппозицию, поскольку, руководствуясь внутренней необходимостью, он приступил к выполнению программы, враждебной и во всех смыслах деструктивной по отношению к американскому национальному чувству.

Блестящий политический инстинкт культурных чужаков позволил им полностью овладеть техникой американских партийных состязаний, и они прибрали к рукам оппозиционную партию. Выборы с тех пор превратились в пышный спектакль и уже не обеспечивали реальной возможности смены режима, всего лишь меняя одну партию культурного дистортера на другую.

На первых этапах революции дистортер адаптировал к своей политике иностранные дела. В 1934 г. режим добился дипломатического признания большевистской России, откуда прибыл Литвинов-Финкельштейн, поздравивший вашингтонский режим с победой. Это был первый шаг к формированию американо-большевистской коалиции против Европы. Пока что режим занимался консолидацией своей власти и должен был действовать осторожно, поскольку в 1936-м еще сохранялась возможность национального восстания против него старым способом — голосованием.

Уступая общественному интересу к внутренним делам, дистортер сделал предметом «выборов» 1936 г. домашние вопросы. Это были последние в американской истории выборы, на которых еще сохранялась слабая возможность для победы нацио-

нальной революции с помощью старой избирательной техники. После этого выборы организовывались только таким способом, чтобы режим культурного дистортера мог оставаться у власти.

III

Культурная дисторсия в Америке, как и во всей западной цивилизации, была способна только искривить, извратить и обмануть душу хозяина. Она не могла ни убить ее, ни трансформировать. Американские идиопатические тенденции, вызванные разрушительным влиянием рационализма и материализма, создавали возможности, которыми воспользовался культурный дистортер. Его метод состоял в том, чтобы подхватывать эти тенденции и сводить на нет, ссылаясь при этом на рационалистические доктрины, также являвшиеся продуктом цивилизационного кризиса и служившие полурелигиозным основанием для разрушительной деятельности. Например, «эгалитарная» риторика Декларации независимости 1775 г. и благонамеренные пошлости Линкольна и других партийных политиков были использованы для пропаганды «терпимости», требующей от американцев, чтобы они никоим образом, даже в мыслях, не могли дискриминировать евреев. Эта пропаганда распространялась на всех уровнях, от высших официальных кругов до семьи, школы и церкви.

Мощным инструментом культурной дисторсии стало негритянское движение, организованное вскоре после захвата власти в 1933-м. Кроме того, создавались препятствия для ассимиляции многочисленных инородных групп последней иммиграции, которым искусственно мешали стать американцами, ведь любая инакомыслящая группа в Америке может послужить целям культурной дисторсии. Например, польская группа оказалась очень полезной для агитации за войну осенью 1939 г. Значение этих инородных групп хорошо подтверждается тем, что в 1947 г. только 3/4 всего населения Америки составляли ее белые уроженцы, только у 55 % населения оба родителя родились в Америке, тогда как более 20 % имели одного родителя, родившегося за рубежом, и почти 15 % населения сами являлись иммигрантами. В Америке выходит больше тысячи газет и журналов на сорока иностранных языках.

Цель состояла в том, чтобы загнать коренное американское население в глухую оборону, а привилегированное положение обеспечить культурному дистортеру, реализующему абсолютно

чуждую идею, и постепенно уничтожить американское национальное чувство. Культурная дисторсия никогда не достигла бы такой степени в Европе с ее высокой культурной восприимчивостью, а также с ощущением европейской исключительности даже в демократически-материалистических условиях.

Следует подробно остановиться на духовных продуктах культурной дисторсии в Америке, в каждой сфере ее жизни, потому что Америка, осуществляющая интервенцию в Европе, — это не настоящая Америка, какой она была еще в 1890 г. Теперь это империя, где господствующий слой представляет иную культуру, а огромная масса подданных состоит из американцев и почти столь же многочисленных инакомыслящих групп. Нижние слои поставляют солдат для оккупации Европы, но решения принимают не американцы.

Мировоззрение

Способом ликвидации американского сопротивления культурной дисторсии стало *единообразие*. Всех американцев заставили одинаково одеваться, одинаково жить, одинаково говорить, одинаково поступать и одинаково думать. Принцип единообразия расценивает личность как угрозу и, с другой стороны, как бремя. Этот великий принцип был внедрен во все сферы жизни. Одним из методов искоренения индивидуализма является реклама — такого рода и масштабов, которые не известны Европе. Мы повсюду видим одно и то же бессмысленное улыбающееся лицо. Воздействию в первую очередь подверглась американская женщина, которую лишили индивидуальности в нарядах, косметике и поведении.

Механизации и униформизации всех жизненных проблем и ситуаций способствует обширная и всеохватная литература. Миллионными тиражами продаются книги, рассказывающие американцам, «как делать друзей». Другие книги учат его, как писать письма, вести себя в обществе, заниматься любовью, играть в игры, каким должен быть внутренний мир, сколько иметь детей, как одеваться и даже думать. Тот же принцип был распространен и на высшее образование, и никто уже не сомневается в том, что каждый американский мальчик и девочка имеют право на «университетское образование» (*college-education*). Только в Америке журналист может обвинять высшую физику в том, что она создает своего рода аристократию.

Недавно в Америке прошел конкурс на титул «мистер средний человек». Статистическим методом были определены средние показатели для населенных пунктов, брачного распределения населения, численности семьи, сельских и городских жителей и т. п. В итоге в качестве «средней семьи» были выбраны мужчина и женщина с двумя детьми, живущие в городе среднего размера. Затем им устроили поездку в Нью-Йорк, где они общались с прессой. Их окружили вниманием, предлагали рекламировать коммерческие продукты, всячески расхваливали перед всеми, кто в чем-то не соответствовал критериям желанного качества посредственности. Объектом исследования и популяризации стали их домашние привычки, образ жизни в целом. Обнаружив среднего с головы до ног человека, его мысли и чувства обобщили и преподнесли как безусловную норму.

В американских «университетах» мужа и жены посещают лекционные курсы по коррекции брака. Индивидуализм не должен поощряться даже в таком личном деле, как брак. Культурный дистортер узаконил в Америке *единообразие* во всем. В определенный день года мужчины меняют фетровые шляпы на соломенные, а в другой день — выбрасывают эти соломенные шляпы. Гражданская униформа — для каждой okazji своя — столь же строга, как одежда солдата или священника. Отступления от нее вызывают насмешки или расспросы. Искусства также координируются в соответствии с генеральным планом. В 140-миллионной Америке нет ни одной оперы или театра с постоянным репертуаром. На сцене ставят только «ревью» и журналистские пропагандистские пьесы. Из остального есть только кино, и в конечном счете это самый сильный медиум, с помощью которого высший слой культурных дистортеров унифицирует американцев.

В стране, которая произвела на свет Уэста, Стюарта и Копли, сегодня нет ни одного известного публике художника, который работал бы в европейской традиции. Изобразительное искусство заполонили «абстракции», образное безумие и поклонение уродству.

В Америке почти не услышишь музыку, ее вытеснил бескультурный негритянский барабанный бой. Как сказал один американский «музыковед», «джазовый ритм, взятый у диких племен, одновременно изыскан и прост, что отвечает нашему современному душевному строю. Он беспрестанно подстегивает нас, как бубен первобытного шамана. Но этого мало. Он должен в то же время учитывать возбудимость современной психики. Мы жаж-

дем быстрого возбуждения, постоянных перемен, стимулов. Музыка владеет совершенными, проверенными временем средствами возбуждения, синкопирования».

Американская литература, прославленная Ирвингом, Эмерсоном, Готорном, Мелвиллом, Торо и По, сегодня представлена исключительно культурными дистортерами, вплетающимися в пьесы и романы фрейдистские и марксистские мотивы.

Американская семейная жизнь также основательно подорвана режимом культурного дистортера. В обычной американской семье родители, по сути, пользуются меньшим авторитетом, чем дети. Ни школы, ни церкви не обеспечивают дисциплину. От функции воспитания умов молодежи все отказались в пользу кино.

На смену браку в Америке пришел развод. В данном высказывании нет ничего парадоксального. Статистика больших городов показывает, что разводом заканчивается один из двух браков. По стране в целом — один из трех. Такое положение вещей больше не может называться браком, поскольку сущность брака в его *прочности*. Развод превратился в огромный бизнес, на котором процветают адвокаты, частные детективы и прочие шарлатаны. От этого страдают духовные основы нации, что выражается в эмоциональном безразличии американских детей.

Европейский эрос, основанный на рыцарстве готических времен и неотделимый от императива чести, столетиями руководившего западной историей, был изгнан. В Америке реализовали идеал Ведекинда, культурного дистортера, который на рубеже XX века навязывал Европе богемный образ жизни. Получил распространение *пуританизм наоборот*. В этом новом мироощущении пуританские воззрения на вопросы пола сохраняются только как предмет насмешек в кино и литературе. Тезис Бодлера «блаженство лишь во зле» был подхвачен дистортером и применен для постепенного разрушения американской морали во всех сферах. Это происходит под звуки джаза, примитивный ритм которого есть не что иное, как выражение похоти в мире звука, а этот мир способен выразить все человеческие эмоции, как возвышенные, так и низменные.

Частью этой общей перверсии стало помешательство на физической молодости, охватившее всю Америку. Как мужчины, так и женщины (в особенности они) озабочены идеей всегда выглядеть молодо. Реклама играет на связанных с этим желанием страхах и превращает их в товар. Идеальный женский тип — «девочка». Зрелая женщина стремится быть девочкой, но не наоборот. Сло-

жился культ «девочки», который вместе с кино, ревю, джазом, разводом, разрушением семьи и унификацией служит великой цели — уничтожению национальных чувств американца.

Наряду с унификацией применяется техника возбуждения. Каждый день пресса выдает новые сенсации. В итоге совершенно неважно, является ли сенсацией убийство, похищение детей, скандал в правительстве или военная истерия. Но для конкретных политических задач сенсации последнего рода самые эффективные, поэтому в годы подготовки ко Второй мировой войне дистортер каждый день обеспечивал новый «кризис». Обстановка нагнеталась, пока население, наконец, не стало рукоплескать развязыванию войны для снятия накопившегося нервного напряжения. Когда война действительно началась, дистортер немедленно назвал ее «мировой войной», несмотря на то что в нее вступили только три политические державы, причем не самые сильные. Этим, разумеется, добивались того, чтобы американцы не считали эту войну локальной и были готовы к американской интервенции.

Напряжение в результате возбуждения, наслаждения и постоянной суеты привело к развитию ночной жизни и преступного мира, потрясающего воображение европейцев, к перескакиванию с одной вещи на другую, что исключает возможность созерцания, то есть индивидуальной культуры. Почти один процент населения зарабатывает на жизнь профессиональным криминалом. Американцев лишили культуры чтения, внушив идею, что «надо что-то делать». В таких условиях личная культура оказалась в целом удушена, а господствующий массовый идеал связал формальными ограничениями ту личную культуру, которая была уже достигнута. Вся история, все мысли, все события и примеры направлены на доказательство здравости массового жизненного идеала и американской идеологии.

II

В рационалистической и материалистической атмосфере Америки XIX века еще сохранялась слабая связь со свойственной Западу великой готической традицией одухотворенного смысла жизни, но с 1933 г., при режиме культурного дистортера, Америку охватило разочарование. На всех уровнях жизни и общества высшей реальностью стала считаться материя, а целью жизни — «счастье». Как же иначе, если сама жизнь — это всего

лишь физико-химический процесс, и «ученые» в своих статьях уже гарантируют скорое открытие «формулы» жизни.

Договорная сторона старой пуританской религии, полагавшей, что отношения человека и Бога фиксируются в бухгалтерских книгах, получила логическое завершение в том представлении, что все живое состоит во взаимных правовых отношениях. Патриотизм — это просто правовая ответственность по делу всемирного масштаба под названием Америка, на которую возложена миссия дисторсии всей западной цивилизации посредством «просвещения» Европы. Героизм в западном смысле здесь неизвестен, и герой, которым восхищается население, — это капиталист *en grand*,¹ превративший значительную часть общественного богатства в свой частный ресурс, или же улыбочивый киноактер. В Америке не понимают ни великого духовного порыва, ни национального подъема: во-первых, потому, что в ее истории ничего подобного не было, и, во-вторых, по той причине, что дистортер из всего этого сделал посмешище. Американцев учат, что жизнь есть процесс налаживания дружеских отношений со всеми, участие в максимальном количестве клубов и тайных обществ и посвящение всех своих мыслей и сил личным проблемам.

«Хэппи-энд» — идеал жизни и литературы, в которых отсутствует понятие о стойкости перед лицом горчайших и тяжелейших ударов рока. Достаточно просто отвести глаза. Главный персонаж литературы хэппи-энда — *счастливчик*, а не человек, молча перенесший страдания и ставший сильнее.

Противостояние между западной идеей осуществления судьбы и разлагающим суррогатом культурного дистортера под названием «хэппи-энд» фактически является центральной мировоззренческой идеей, которую он хочет навязать впавшей в протрацию американской нации и породившей ее западной цивилизации. Непримируемость между этими двумя идеями пронизывает все, начиная с личного уровня и выше: национальную экономику, общество, государство, религию и этику.

Глубочайшее западное жизнеощущение заключается в потребности оставаться самим собой, сохраняя то, что внутри человека не подлежит компромиссу, что созвучно душе, судьбе, чести, расе. Идея «хэппи-энда», которую навязывает дистортер, — беспринципна, слаба, дегенеративна и противна европейскому чувству собственного достоинства. Пустое улыбающееся лицо,

¹ Здесь: «крупный» (фр.). — *Примеч. пер.*

пошлый ум, бессмысленное увлечение шумом, суетой и сенсацией, помешательство на добывании и трате денег, отречение от всех высоких образцов духовного совершенства — все это только следствия погони за хэппи-эндом, к которому свели жизнь. Ради счастья человек идет на любой компромисс, от всего отрекается, все продает. Счастье становится синонимом подчинения экономическим и сексуальным импульсам. Оно совершенно исключает бескорыстную борьбу с трудностями, преодолеваемыми ради того, чтобы оставаться верным себе. Понимание и уважение к трагедии жизни, чуду жизни, силе идеи пресекаются жаждой благополучной развязки.

Любая идея такого рода была бы совершенно невысказана для европейцев XX столетия, даже если бы они не стали свидетелями ужасной катастрофы Второй мировой войны, в которой Европа оказалась жертвой двойного вторжения — варваров и дистортеров. Ни один великий художник, священник или глубокий мыслитель никогда не соблазнился той иллюзией, что смысл жизни в «хэппи-энде». Во времена лишений и катастроф западный человек скорее готовит себя к тому, чтобы переносить любые удары, которые ему уготовил рок. Он не рассуждает о счастье и несчастье и не отворачивается от фактов. Отвернуться — не решение, но только отсрочка неминуемой расплаты. Хэппи-энд имеет чисто негативный смысл. Это отрицание жизни, бегство от жизни. Поэтому это самообман и ложь.

Расовый хаос в Америке, умышленно подогреваемый дистортером, чтобы надежно прибрать к рукам американскую нацию, возможен только благодаря программе денационализации американцев. Эта программа внедряется в школах с целью внушить, что Америка была колонизирована, очищена, завоевана и построена не американцами, но великим конгломератом чужаков. Участие в этом евреев и негров преподносится как решающий вклад в «американскую мечту». В школах штата Нью-Йорк запрещено изучение «Венецианского купца» Шекспира. Необходимым звеном программы дегенерации является поддержка бездуховной и антинациональной идеи «хэппи-энда» с ее экономической и сексуальной одержимостью и социальной разобщенностью.

Расы и нации воплощают свой наивысший потенциал в сильных *индивидах*, воплощающих исконный национальный характер и становящихся важнейшими историческими символами. Поэтому попытки культурного дистортера удушить американский национализм начинаются с нападков на индивидуализм, причем

не на уродливый, безумный индивидуализм, но только на ту его форму, которая имеет историческое значение: индивидуализм, сосредоточенный на высшей идее и служащий ей.

Отсюда наивысшим социальным качеством считается умение «ладить с людьми». Для этого следует отказаться от сильных черт независимости или силы и соответствовать идеалу заурядности. *Общепринятая* духовность, одинаковая интеллектуальная пища для всех классов подменяет естественную органическую стратификацию общества. Эта пища, опять-таки, оценивается только *количественно*. Подобно тому, как лучшим продуктом считается тот, который больше всего рекламируется, так и лучшая книга — та, которая лучше всего продается. Лучшие газеты или журналы определяются количеством подписчиков. Такое отождествление количества с качеством есть наивысшее выражение массовой идеи, полное отрицание индивидуальности.

Естественным результатом синдрома счастья является *пацифизм*. Речь идет только об интеллектуальном пацифизме, поскольку культурный дистортер на самом деле знает, как использовать бойцовские инстинкты коренных американцев. Интеллектуальный пацифизм — это пропаганда войны. Враг отождествляется с самой идеей войны, и сражаться с ним, значит сражаться против войны.

Разумеется, голливудщина не способна вдохновить население на аскетизм, жертвенность, героизм, самоотречение. Поэтому американские армии на полях Второй мировой приходилось обеспечивать нескончаемым потоком комиксов, шоколада, газировки, пива, музыкальных автоматов, кинофильмов и других забав.

Однако есть вещи, которые нельзя обойти, поэтому, несмотря на интенсивную восьмилетнюю бомбардировку средствами эмоциональной артиллерии, каких еще не видел мир, с применением фильмов, прессы, сцены и радио, американское население вообще не испытывало военного энтузиазма, а в армиях, набранных для борьбы с Европой во Второй мировой войне, царил негативный настрой. На 16 миллионов человек, насильно завербованных в вооруженные силы за весь период непродолжительного американского участия в этой войне, добровольцев приходилось менее 600 тысяч. В Первую мировую войну за *один год* только одна европейская нация дала почти в два раза больше добровольцев из вдвое меньшего числа людей. Причем многие американцы были заранее уведомлены о неминуемом призыве и добровольцами записались для видимости.

Западная идея об исполнении судьбы, неотделимая от императива чести и верности убеждениям, означает, что чернь — естественный враг честного человека. Никакая высшая идея не рассчитана на всех, и творчество — это удел немногих. Не каждый способен на поступок высокого этического свойства, а способный на него не имеет оснований стыдиться, отречься от своих духовных ценностей и всем улыбаться, согласившись с внутренней пустотой и сиюминутным идеалом — «поладить с людьми» ценою собственной души.

Даже деструктивность и дисторсия такого масштаба, как в Америке, не всем по плечу. Массы американцев и инородцев являются просто объектом дисторсии. Органическая единица, считающая разрушение Америки частью своей жизненной миссии, в лучшем случае составляет только 10 % населения Американского союза. В составе этих 10 % тоже сравнительно немного умов и надежных лидеров, которые реализуют политику еврейской культурно-государственно-национально-религиозно-народной расы. Для этих лидеров огромная масса их собственного народа — только солдаты в идущей по всему миру холодной войне с западной цивилизацией. Кроме того, не следует полагать, что этими умами движет некая злоба или порочные мотивы. Для них западная цивилизация есть средоточие вселенского зла и ненависти, источник тысячелетнего преследования, необъяснимо жестокого и чудовищного, злая сила, работающая против еврейской идеи Мессии.

Негр в Америке

Демократически-материалистические условия создаются на этапе органически неизбежного цивилизационного кризиса, то есть имеют внутренние причины. Культурная дисторсия происходит от вмешательства в жизнь хозяина культурного паразита — органической единицы, не участвующей в духовной жизни культуры, но при этом живущей внутри нее или на ее теле. Паразитизм и дисторсия в сочетании обостряют друг друга, и Америка является ярчайшим примером разнообразных последствий, которые эти культурные болезни могут приносить людям, неспособным успешно сопротивляться им с самого начала.

Сейчас только незначительное большинство населения Америки безусловно является американцами — расово, духовно и национально. Другая половина состоит из негров, евреев, неас-

симилированных юго-восточных европейцев, мексиканцев, китайцев, японцев, сиамцев, левантийцев, славян и индийцев. Славянские группы могут ассимилироваться американской расой, но процесс искусственно сдерживается культурной дисторсией. То, что американцев с этими чуждыми группами объединяют массовые идеалы шумихи, возбуждения, духовной посредственности и суеты, никак нельзя считать ассимиляцией, потому что все эти явления сами по себе антинациональные, деморализующие, разрушающие личность, государство, народ, расу.

Негритянская проблема — одно из многих расовых противоречий Америки, настоятельно требующих решения. Прежде чем в результате войны Севера и Юга негров лишили опеки и отдали в финансовое рабство промышленной цивилизации, проблемы которой оказались им не по плечу, они были смиренным простым народом, не обладавшим ни динамизмом, ни разрушительной миссией. Их численность в то время составляла примерно 4.5 миллиона, почти все проживали в южных штатах, где общественная жизнь была адаптирована к их присутствию и всячески поддерживала разделение белой и негритянской рас. Ни с той, ни с другой стороны не возникало желания нарушить эту естественную форму отношений.

Однако в глазах финансового капиталиста негр представляет собой только «дешевую рабочую силу» или клиента для мелкой ссуды. Властелин денег ничего не знает о нации, народе, расе, культуре. Он «реалист», и на примитивно-рассудочном уровне это означает, что он считает то, что *есть*, окончательным вариантом реальности. На самом же деле то, что *есть*, представляет собой уже прошедшую стадию, осуществленную идею. Истинная реальность — это будущее в действии, которое и руководит событиями. Ни один из тех, кто мыслит денежными категориями, не может заглянуть на два или три поколения вперед, поскольку считает общую картину неизменной, даже если в данный момент заинтересован в нестабильности.

После войны Севера и Юга негры начали переселяться в северные штаты. Эту миграцию существенно ускорили две мировые войны, когда миллионы переместились в северные промышленные районы на смену мобилизованным белым рабочим. Процесс пролетаризации негров усиливался тем, что северные компании переносили фабрики на юг, чтобы использовать их «дешевый» труд и наращивать свои прибыли.

Превращение негра в наемного раба полностью деморализовало его, превратило в неудовлетворенного пролетария и за-

ронило в нем расовую озлобленность. Душа негра остается простой и детской по сравнению с нервической и сложной душой западного человека, приученного мыслить в терминах денег и цивилизации. В результате негр стал наказанием белого общества.

Супружество среди негров практически не распространено, и женщины растят большие семьи. В больших городах негритянское население дает примерно в 10 раз больше преступников, чем его относительная численность. Социальные недуги широко распространены в этой расе, поэтому как больницы, так и исправительные учреждения имеют дело с непропорционально большим количеством негров. Негр склонен к примитивному насилию и лишен чувства стыда перед обществом за совершенное преступление. Негритянские районы северных городов опасны для жизни белых.

Большевизм и культурная дисторсия не преминули использовать негра в целях внутренней дезинтеграции и расовой войны. Суды над неграми за тяжкие уголовные преступления в южных штатах стали предметом широкой и интенсивной коммунистической пропаганды по старым шаблонам «равенства» и «терпимости». Коммунистическая партия обеспечивает обвиняемых в преступлениях негров адвокатами.

Как все примитивные расы, негритянская раса плодовита и обладает сильными инстинктами. Их численность в Америке сегодня, включая мулатов, доходит до 14 миллионов. На эти 10 % населения опирается в своей деятельности культурный дистортер. Организованная как политическая единица, эта масса поддерживала режим Рузвельта с момента захвата им власти в 1933 г. Революционная активность режима культурного дистортера максимально задействует негра. Время от времени дистортер публично поднимает расовый вопрос, в результате чего белый южанин оказывается врагом государства, а негр — борцом за «демократию». Это приводит к серьезному обострению расовой войны в северных и южных городах.

Негр пострадал как никто — сначала оказался в рабстве у финансового эксплуататора, а потом был рекрутирован дистортером для расовой войны. Из счастливого, обладавшего глубоким и простым религиозным чувством раба хлопковой плантации, находящегося под защитой и огражденного от западного индустриального бума, он превратился в недовольного, раздранного солдата расовой и классовой войн. Его жизнь пошла по кругу, состоящему из фабрик, больниц, бюро социальной помо-

щи, тюрем и уличных скитаний. Новый негр — это взрывоопасный потенциал, и культурный дистортер снабдил его программой требований, собственной идеологией в большевистском духе и ловким руководством. Недавно один негритянский писатель сказал: «Это ваша страна? Да как она стала вашей? Мы были здесь еще до того, как высадились Пилигримы. Мы принесли сюда три своих дара в дополнение к вашим. Этой негармоничной и немелодичной стране мы подарили поэзию и песню, нежные и живые мелодии. Для покорения природы и завоевания просторов этой обширной, богатой страны еще за два столетия до того, как ваши слабые белые руки смогли бы это сделать, мы пожертвовали свой пот и мускульную силу. И, наконец, третий дар — наша душа. Разве эти дары ничего не стоят? Разве это не труд и энергия? Разве Америка стала бы Америкой без негритянского народа?» И это не просто частное мнение одного мулата, поскольку подобные идеи вбивались в головы миллионам городских негров, не говоря уже о белом контингенте со слабыми инстинктами, либеральном элементе, который пасует перед расовой войной и тем самым ее поощряет.

Негры обладают достаточно сильной волей для удовлетворения своих запросов, и сегодня встречаются на всех уровнях общественной жизни — среди офицеров, судей, администраторов, профсоюзных лидеров, адвокатов, врачей и профессоров.

У негритянской проблемы в Америке есть две стороны: непосредственная и перспективная. Непосредственным образом негритянское движение служит культурному дистортеру, который контролирует все аспекты внутреннего американского большевизма. В ближайшем будущем американский народ столкнется с внутренним кризисом, в котором одновременно обнажатся многие проблемы американской общественной жизни, чудовищные по своим размерам и требованиям. Когда этот кризис произойдет, сказать трудно, но его не избежать, так как Америка не является исключением из пятитысячелетней истории высоких культур и их колоний. Влияние негров на органическое бытие американского народа вполне очевидно.

Долговременный аспект проблемы связан с падением рождаемости коренного американского населения и растущей численностью негров. Старый белый контингент уменьшает свою абсолютную численность, что наблюдается уже два десятилетия. Непосредственная ситуация имеет духовно-политический смысл, перспективная проблема — духовно-расовый.

Культурная ретардация в Америке

В своей сущности, как уже говорилось, культурная ретардация есть отрицание будущего. Однако обмануть можно не судьбу, но лишь умы тех, кто ищет возможность сохранить или реставрировать отмершие условия или идеологию. Культурные ретардаторы могут одержать победу только на поверхности истории, да и то лишь благодаря своему чисто материальному превосходству. Если они действительно одерживают такую временную, поверхностную победу, это говорит только о победе количества над качеством.

Будучи колонией и потому не обладая достаточным иммунитетом к культурной болезни, Америка сильнее пострадала от ретардационного воздействия, чем когда-либо родина западной культуры. В Америке силы ретардации управляются и вдохновляются более тяжелым культурным недугом — культурной дисторсией, в свете которой им отводится важная роль: предотвращение негативных последствий для инородного дистортера, возможных в том случае, если он себя обнаружит.

Популярные представления о мире, вмененные в обязанность усредненному американцу, — это просто старая материалистическая картина, которую Европа переросла в ходе Первой мировой войны. Так, в американских университетах в курсе биологии наряду с механицизмом преподается дарвинизм. Передовую социологию для них олицетворяют Милль и Спенсер. В истории сохраняется наивная линейная схема «Античность—Средневековье—Модерн», а верх совершенства исторического метода представляют Бокль и Гиббон, тогда как Карлейль, Лампрехт, Брейзиг, Мерз, Эдуард Мейер, Шпенглер совершенно неизвестны. В психологии торжествует массовая идея о том, что «гениальность» равносильна высокому интеллекту, а последний — «университетскому образованию». Здесь тоже не признается никаких качественных различий между людьми. Коммерческая максима: «Мозги можно купить». Для остальных евангелием является фрейдизм. Носитель высоких академических званий в Америке вполне может быть незнаком с историей западной культуры, со значением Карлейля, Ницше, Шпенглера, восстанием западной цивилизации против демократии и материализма. Его представление о событиях, происходивших в Европе последние 75 лет, ограничено несколькими газетными штампами. С расширенной и углубленной в XX веке картиной мира он не знаком и потому отрицает само существование фактов и возможностей, несовместимых с лабораторным материализмом.

Культурная ретардация как реальность абсурда иллюстрируется тем фактом, что Америка фактически на 30—50 лет отстает от родной западной цивилизации в области мысли. Ни в одном американском университете не слышали о геополитике или чем-то подобном. Теория морской державы Мэхэна — последнее слово в области большой стратегии, а результаты Первой и Второй мировых войн (которые американцев приучили считать «победами») только подкрепляют идею морской державы, несмотря на то что потрясшие мир события фундаментально изменили отношения между ней и континентальной державой. Это фундаментальное американское заблуждение еще принесет свои плоды в Третьей мировой войне.

В экономической теории ситуация аналогичная. Адам Смит — главный авторитет. Такие абстракции, как «мировая экономика», считаются конкретной реальностью. О Листе не слышали, хотя Маркса считают экономистом. Зомбарта замалчивают после американской революции 1933 г. Проблема денежного обращения решается на основе теории золотого стандарта. Европейский отход от золотого мышления считается аморальным. Классические экономические теории манчестерской школы воспринимаются как предмет *веры*, а не как исторический курьез. Отступление от них считается непростительным грехом или прискорбной временной необходимостью. Эти доктрины XIX века именуется не иначе как «законами экономики».

Такая умственная отсталость, конечно же, сказывается на сфере *деятельности* — как в политике, так и в экономике. С тех пор как Америка в своей части света, где не чувствовала противодействия, развилась до уровня мировой державы, она так и не смогла сформировать ни государства, ни настоящего политического сознания. Соответственно, в отличие от остальных западных держав, экономика всегда пользовалась здесь неоспоримым преимуществом перед политикой. Внутренней *политики* в подлинном смысле в Америке не существовало — партийные состязания всеми понимались как чисто деловая конкуренция между двумя партийными трестами. Настоящих *политических* событий в Америке, связанных с размежеванием противоборствующих групп на друзей и врагов, было всего три: война за независимость (1775—1783), взаимное озлобление Севера и Юга, достигшее кульминации в гражданской войне (1861—1865) и революция 1933 г., когда культурная дисторсия получила полный контроль над американской судьбой.

Исключительная озабоченность всех слоев населения экономикой повлекла за собой тотальное господство хозяина денег над американской жизнью, неудачу в развитии настоящего национального самосознания и приход к власти культурного дистортера.

Большие циклы финансовых флуктуаций, в которых чередуются «бумы» и «депрессии», каждой своей волной разоряли миллионы людей. Еще несколько десятилетий назад эти обедневшие миллионы всегда могли рассчитывать на новые западные земли, селиться на них и заново обзаводиться хозяйством. До последнего времени политическая классовая война не была в Америке сильной. Преобладавшие протестантско-кальвинистские настроения, основанные на идее экономического предопределения, не позволяли ей серьезно разгореться, поскольку каждый рабочий думал, что однажды может быть избран на богатство.

Однако с исчезновением «фронттира» массы промышленных рабочих оказались в руках профсоюзных лидеров, которые смогли их организовать. Рабочее движение в Америке из слабых ростков выросло в мощную политическую организацию, способную в промышленных регионах поставить политиков в зависимость от своих голосов на выборах. Такое положение сложилось к 80-м годам XIX века. В рабочее движение входили анархисты, коммунисты-марксисты, нигилисты и либерально-капиталистические лидеры. Политики никогда не доминировали в этом движении даже после революции 1933 г., поскольку американский рабочий класс мыслит и чувствует в экономическом и капиталистическом русле, а не в политическом и социалистическом. В Америке «социализм» даже *теперь* означает то же самое, что означал в Европе XIX века, то есть капитализм для низших классов. Американцы ничего не знают и не ведают о настоящем социализме, поскольку социализм — это *не* принцип экономической организации, но прежде всего политико-этическая идея, дух политической эпохи, а политику в Америке не понимают до сих пор.

II

В целом американская экономика все еще находится в капиталистическом состоянии, из которого Европа начала выходить пятьдесят лет тому назад и окончательно вырвалась в ходе Европейской революции 1933 г.

Сельское хозяйство в Америке, например, ведется полностью на денежной основе. Не существует политики его обособления от городской экономики или защиты фермеров от финансовой эксплуатации. Поэтому на протяжении той части цикла, когда финансовые капиталисты сокращают денежную массу, фермеры разоряются и лишаются ферм.

Крестьянства в европейском понимании тоже нет. Крестьянин духовно связан с почвой, тогда как американский фермер состоит с ней только в финансовых отношениях и оставляет при появлении лучшей финансовой перспективы. Эта чисто экономическая позиция привела к беспощадной эксплуатации почвы с резким падением ее продуктивности и радикальным снижением питательной ценности продукции. Почти все фермерство ведется *экстенсивно*, и недостаточная забота о почве привела к опустошительной эрозии.

Эксплуатация запасов минерального сырья также организована на чисто финансовой основе, и угольная шахта или нефтяная скважина могут быть заброшены при остатке 80 % сырья. Открытие одной скважины или шахты немедленно приводит к разработке всей территории, поскольку по американскому закону собственность на землю подразумевает и собственность на недра. Истощение, к которому это приводит, можно назвать разграблением земных сокровищ, и это резко контрастирует с заботой ХХ века о почве и минералах.

Промышленное производство выглядит полем битвы за прибыль и власть между менеджерами и профсоюзными лидерами. Социальный и экономический ущерб от забастовок считается в Америке нормой, хотя идея ХХ века заключается в том, что в политической единице нет места для внутренних раздоров. Финансовый капиталист возвышается над экономической сценой, где ведется борьба между менеджерами, которых он назначает, и рабочими, которых он нанимает. Итог забастовки не может ему повредить, поскольку он контролирует движущую силу денежной экономики.

Здесь следует остановиться на американской системе денежного обращения. Со времен гражданской войны 1865 г. вся страна в финансовом смысле была империей, состоявшей из невежественных подданных и экономических монархов — владельцев крупных нью-йоркских банков. В 1913 г. эти отношения были кодифицированы принятием закона о Федеральной резервной системе. Была создана группа из двенадцати центральных банков, от которых зависит финансирование центрального пра-

вительства. Эти банки находятся в частной собственности и выпускают деньги под правительственные обязательства, которые продаются через эти банки. Поэтому американское военное участие во Второй мировой войне принесло владельцам этой системы примерно 7.5 миллиардов долларов по процентам. Вся валюта в Америке выпускается этими частными центральными банками и считается «обеспеченной государственными обязательствами». Эти обязательства, однако, могут быть выплачены только в данной валюте. Система курса служит просто средством частного контроля над экономической жизнью страны. Объем валюты может быть увеличен или уменьшен по желанию финансовых капиталистов, а в стране, не имеющей государства, это способ господства.

Душа западной цивилизации XX века ощущает, что нахождение общественной власти в частных руках противоестественно. То же самое можно сказать и о господстве денежного мышления в экономической жизни национального государства. В XX веке втрое более омерзительно выглядит наделение вообще какой-либо властью людей с банкирским образом мысли, которые считают сограждан «производственными издержками», политику — аренной для частных махинаций, а солдатский героизм — удобным средством для завоевания новых финансовых владений за рубежом.

Финансовый капитализм принадлежит ушедшей эпохе, эпохе денег. Даже в Америке он отошел на второй план и стал просто *технологией* абсолютного господства культурного дистортера. Еще более важной технологией является контроль над человеческими умами и, чтобы понять Америку и ее значение для Европы, необходимо разобраться в ее пропагандистской системе.

Пропаганда

I

Если бы в идеологию «равенства» образца XVIII века действительно верили, тогда не существовало бы такой вещи, как пропаганда, поскольку все бы мыслили вполне независимо и отвергали любую попытку как-то повлиять на свой ум. Однако пример Америки как страны, в которой эта идеология была воспринята с религиозным рвением, ясно показывает ее полное несоответствие реальности. Возможно, в XVIII веке примерное

духовное равенство и существовало в салонах аристократов и интеллектуалов-рационалистов Франции, Германии, Англии или Америки, но к середине XIX века, когда были мобилизованы массы, ни о каком равенстве уже не могло быть и речи, поскольку самим своим существованием эти массы требовали лидерства. Чем шире подъем охватывал массы, тем нужнее становился сильный лидер. Как сказал Ницше, «в итоге чувство неуверенности становится столь велико, что люди падают ниц перед сильной волей к власти».

Существует два способа лидерства, оба незаменимые: дисциплина и убеждение. Первый основывается на доверии, вере, лояльности, чувстве долга, здоровых инстинктах. Второй обращен к интеллекту и приспосабливается к особенностям лица или населения, которому адресовано убеждение. Оба способа подразумевают санкции — карательные, моральные, экономические или социальные. В период, когда главной проблемой деятельности является организация и направление огромных масс, сильнее ощущается потребность в убеждении или пропаганде, поскольку к высокой дисциплине способна только элита, а массы нужно постоянно переубеждать.

Поэтому в Америке, стране, где в коллективной жизни господствуют массовое мышление, массовые идеалы и массовая жизнь, пропаганда является важнейшей формой распространения информации. В Америке отсутствуют публикации, адресованные исключительно интеллекту: режим культурного дистортера держится за счет своей неприметности, а независимое мышление сильных индивидов *ipso facto* враждебно такому режиму. Нет и публикаций, излагающих только факты. Любые факты и любые точки зрения выстраиваются, вкуче с их презентацией, в соответствии с господствующей пропагандистской картинкой.

Техника американской пропаганды охватывает все формы коммуникации. Ведущим инструментом является кино. Каждую неделю примерно 80 миллионов человек в Америке посещают кино, чтобы получить пропагандистское послание. Во время военных приготовлений 1933—1939 гг. кинофильмы воспроизводили бесконечный ряд образчиков ненависти, направленной против европейской революции 1933 г., ее достижений и мировоззрения XX века.

Вторым по эффективности является радио. Каждый американец владеет по меньшей мере одним беспроводным приемником, который также доносит до него массовую интерпретацию

событий. Американец уже прочитал ту же самую обязательную точку зрения в прессе, увидел ее в кино, а теперь еще и слышит. Пресса, как газеты, так и периодика, — третье по важности средство. Следует отметить, что в Америке эффективность пропаганды измеряется исключительно числом тех, кого она достигает, поскольку массовый образец мышления одержал победу над индивидуальностью, качеством и умственной стратификацией населения.

Четвертое — это книги. Публикуются только те книги, которые пропагандируют или не нарушают общепринятый пропагандистский шаблон. Например, недавно в Америке изъяли детское издание «Тысячи и одной ночи», потому что некоторое его содержание заподозрили в способности настроить читателей предвзято по отношению к евреям, а одна предосудительная иллюстрация к сказке про Алладина и его волшебную лампу изображала беспринципного торговца с еврейскими чертами. В период 1933—1939 гг. генеральная политика дистортера не подвергалась сомнению ни в одной газете, книге или многотиражном журнале.

Дальше идут университеты и колледжи. Применительно к образованию массовая идея означает, что «высшее образование» обесценено до уровня, не совместимого с высокими академическими стандартами Европы. Америка, которая по численности населения вдвое уступает своей западноевропейской родине, имеет в десять раз больше учреждений, присваивающих академические степени. Фактически в этих учреждениях в основном распространяется чуть более эзотерическая версия господствующего идейно-пропагандистского мировоззрения, навязанного режимом культурного дистортера.

И, наконец, сцена. За пределами Нью-Йорка, духовной столицы правящего режима, она практически отсутствует, но в Нью-Йорке журналистский спектакль является важной пропагандистской техникой. В частности, сцена играла важную роль в период 1933—1939 гг. Шел нескончаемый поток постановок, заряженных ненавистью к мировоззрению XX века и его европейским представителям. Многие из этих постановок шли на идише, поскольку лидеры Америки заинтересованы в унификации даже собственного народа.

Пропагандистская картинка имеет два аспекта: домашний и зарубежный. Домашняя пропаганда поддерживала революцию 1933 г. Все идеологические революции — Французская 1789 года, европейские революции XIX века и наконец, большевистская

1918-го — закономерно принимают форму культа. Во Франции религиозное безумие было сосредоточено на поклонении разуму. В России это был культ машины, учрежденный богом-Марксом. Не осталась исключением и американская революция 1933-го. Главным идолом нового культа сделали «демократию». В пропагандистской картинке этот концепт занимает место Бога как высшей реальности. Так, в 1939 г. член Верховного суда в обращении к выпускникам еврейского колледжа сказал: «В широком смысле есть нечто более важное, чем религия: это реализация идеалов демократии».

Это слово наделили священной силой, оно фактически приобрело религиозный статус, как одно из имен Бога (имен), и не подлежало критике. Отступничество или ересь вызывали немедленный ответ в форме уголовного преследования за подстрекательство к мятежу, измену, уклонение от налогов и т. п. Святые этого культа — Джефферсон и другие «отцы-основатели» времен войны за независимость (невзирая на то, что они единодушно ненавидели идею демократии и почти все были рабовладельцами), а также Линкольн, Вильсон, Рузвельт. Его пророки — журналисты, пропагандисты, кинозвезды, рабочие лидеры и партийные политики. Невозможность дать «демократии» определение надежнейшим образом свидетельствует о том, что это слово потеряло смысл и стало предметом массового культа. Все остальные идеи и догмы пропагандистской картинке для своего безусловного оправдания апеллируют к «демократии».

Сразу за «демократией» по важности следует «терпимость». Стоит ли говорить, что она весьма существенна для культурно чуждого режима. Терпимость в первую очередь подразумевает отношение к евреям и неграм, но требует кровожадного преследования европейцев или иных лиц, точка зрения которых фундаментально отличается от господствующей массовой идеи. Это преследование может быть социальным, экономическим и, при необходимости, уголовным.

Для дальнейшей атомизации народа-хозяина общепризнанным догматом служит классовая война. Она проповедуется в качестве «права труда на организацию», «права на забастовку» и тому подобных лозунгов. Но «капитал» тоже обладает правами, поскольку ни одна из сторон какого-либо соперничества не должна одержать решительной победы. Как и всегда, *разделение* здесь служит средством властвования.

В соответствии с идеей массовой унификации, в области пола превозносится феминизм. Вместо противоположности полов

внушается идеал их смешения. Женщин учат быть «равными» с мужчинами, а западное признание половой противоположности клеймится как «угнетение» и «преследование» женщин.

Непременная часть пропаганды — пацифизм. Естественно, это не настоящий пацифизм, зарождающийся без участия проповедников и без чьего-либо ведома, когда с ним ничего нельзя поделывать. Практика показывает, что доктринерский пацифизм — это всегда форма военной пропаганды. В глазах Америки Европа связана с войной, а сама Америка — с миром. Американский империализм — это всегда крестовый поход за мир. Один известный представитель режима недавно говорил об американском «долге — сражаться за мир во всем мире».

Еще одна тема пропаганды — «религиозная терпимость», которая, в сущности, интерпретируется как религиозная индифферентность. Догмы и доктрины религии мало кого интересуют. Церкви сливаются и разделяются из чисто экономических соображений. Религия превратилась в обязательное еженедельное общественное мероприятие, по сути, в политинформацию. Между церквями постоянно организуется кооперация, причем всегда с какой-то утилитарной целью, не имеющей отношения к религии. Все это означает одно: церковь служит программе культурной дисторсии.

II

Для Европы гораздо более важна американская внешнеполитическая пропаганда, чем пропаганда, касающаяся внутренних дел Америки. В этой сфере высшая реальность также выражается нуменом «демократия». Цель, преследуемая в иностранных делах, — «распространение демократии», а события, которым надо воспрепятствовать, изображаются как направленные «против демократии» или «фашистские». «Фашизм» соответствует теологическому понятию зла, следовательно американская пропаганда так его и преподносит.

Главным врагом в пропагандистской картинке всегда была Европа и особенно прусско-европейский дух, который в Европейской революции 1933 г. с такой самоочевидной силой восстал против негативного взгляда на жизнь с присущими ему материализмом, денежной одержимостью и демократической гнилью. Чем более явным становилось, что эта революция — не поверхностный *политический* феномен, состоящий в смене од-

ного партийного режима другим, а глубокая духовная, *тотальная революция* нового жизнеспособного духа против мертвого, тем сильнее бушевала пропаганда ненависти к Европе. К 1938 г. эта пропаганда набрала невиданную мощь как по объему, так и по исступлению. Американца беспрестанно бомбардировали сообщениями, что Европа ополчилась на все самое дорогое в мире — «Бога», «религию», «демократию», «свободу», «мир», «Америку».

Само по себе безудержное использование абстракций указывало на то, что ни на какие конкретные реалии опереться было нельзя. Неспособность вызвать волнение, несмотря на пропагандистскую артподготовку, заставила выдвинуть тезис, что Европа планирует вторгнуться в Соединенные Штаты флотами и армиями. Подобные идеи, естественно, зацепили интеллектуальную сторону американского массового сознания, но не достигли эмоционального уровня, на котором возникает подлинное осознание или активная ненависть.

В интеллектуальном штурме применялось еще одно важное слово — «агрессор». Оно тоже не имело никакого отношения к фактам и выполняло только функцию ругательства. «Международная мораль» была задумана и сформулирована так, что враг культурного дистортера *ipso facto* являлся аморальным. Не находя политических оснований для своей политики, они были тем более изобретательны в создании моральных, идеологических, экономических и эстетических причин. Все нации были поделены на *хорошие* и *плохие*. Европа в целом была плохой, когда объединялась, а если культурная дисторсия могла обеспечить себе плацдарм в какой-либо европейской стране, эта страна сразу становилась хорошей. Американская пропагандистская машина с ядовитой ненавистью отреагировала на европейский раздел Богемии в 1938-м. Все европейские державы, участвовавшие в переговорах, объявлялись злыми, агрессивными, аморальными, антидемократичными и т. п.

Основным в этой политической картинке был тот тезис, что суть политики заключается в борьбе разных «форм правления». Не нации или государства, но такие абстракции, как «демократия» или «фашизм» выражают содержание мировой борьбы. Отсюда следовала необходимость, смотря по ситуации, называть оппонента или «демократом», или «фашистом», меняя это определение каждый год или даже месяц. Сербия, Польша, Япония, Россия, Китай, Венгрия, Румыния и многие другие страны оказывались то «фашистскими», то «демократическими»,

в зависимости от того, какие они заключали договоры и с какими державами.

О «демократических» державах всегда говорилось, что они *выполняют соглашения*, тогда как «фашистские» их всегда якобы *нарушали*. Дополнительная дихотомия наций — миролюбивые и воинственные. Постоянно делались ссылки на какое-то «международное право», которого на самом деле никогда не было и быть не может. Оно вообще не имело никакого отношения к реальному межнациональному праву пятисотлетней европейской практики, а популяризировалось с тем умыслом, чтобы любое изменение межнационального территориального *status quo* выглядело нарушением «международного права».

Любые слова с положительными коннотациями пристегивались к модным ключевым словечкам. Так, термин «*западная цивилизация*» был слишком впечатляющим, чтобы считать его оскорбительным, поэтому он применялся для характеристики парламентаризма, классово войны, плутократии и, наконец, большевистской России. Во время Сталинградской битвы между Европой и Азией осенью 1942 г. пропаганда настаивала на том, что азиатские силы представляют западную цивилизацию, тогда как европейские силы являются ее врагами. Тот факт, что большевистский режим опирался на сибирские, туркестанские и киргизские части, подавался как доказательство *спасения Азии западной цивилизации*.

Для европейцев подобные вещи свидетельствуют о двух важнейших фактах: полном отсутствии какого-либо политического или культурного сознания в массах американского населения и глубочайшей, тотальной и непримиримой враждебности к Европе со стороны режима культурного дистортера, обосновавшегося в Америке. Япония в пропагандистской картинке также изображалась врагом, но не непримиримым, в отличие от Европы. Пропаганде против Японии никогда не позволяли принимать *расовую* форму, чтобы расовые инстинкты американского населения не разбудили бурю, которая смела бы дистортера. В целом более умеренный тон антияпонской пропаганды объяснялся тем, что в Японии не произошло и не могло произойти ничего подобного великой европейской революции 1933 г.

Благодаря примитивному интеллекту страны, население которой подверглось умственному опрощению, этой пропаганде удавалось использовать крайне грубые приемы. Так, во время военных приготовлений 1933—1939 гг. пресса, кино и радио были переполнены историями об оскорблении американского флага

за рубежом, о случайно обнаруженных секретных документах, перехваченных разговорах, находках складов оружия, принадлежащих американским националистическим группам, и тому подобном. «Кинохроники», якобы снятые за рубежом, в некоторых случаях стряпались в Голливуде. Все это превратилось в такую фантазмагорию, что когда за год до Второй мировой войны вышла программа о воображаемой истории вторжения марсиан, у обработанной пропагандой массы повсеместно возникли симптомы паники.

Поскольку Америка никогда не испытывала сильного влияния традиций испанской кабинетной политики, привитой европейскому духу, режим культурного дистортера смог включить в пропаганду отвратительные и подлые нападки, направленные против частной жизни и личностей европейских лидеров, которые воплощали мировоззрение XX века. Эти лидеры изображались как сутенеры, гомосексуалисты, наркоманы и садисты.

Пропаганда была совершенно лишена какой-либо культурной основы и цинична по отношению к фактам. Точно так же, как голливудские кинофабрики мастерили лживые постановки и кинохроники, газетные пропагандисты создавали те «факты», которые были им нужны. Когда японские воздушные силы атаковали базу американского флота в Пёрл-Харборе в декабре 1941-го, культурный дистортер не знал, что Европа воспользуется этой okazji, чтобы отплатить за необъявленную войну, которую его вашингтонский режим развязал против Европы. Поэтому он сразу же решил представить японское нападение как европейскую военную акцию. С этой целью пропагандистские органы сразу распространили «новость», что в нападении участвовали европейские пилоты на европейских самолетах и даже возглавляли его. Несмотря на то что в ходе этой атаки были потоплены все большие корабли, режим официально объявил, что нанесен только небольшой ущерб.

Такое фактотворчество, однако, было ничтожным по сравнению с массивной послевоенной пропагандой вашингтонского режима культурного дистортера по поводу «концентрационных лагерей». Эта пропаганда заявила, что в европейских лагерях погибло 6 миллионов представителей еврейской культурно-национально-государственно-церковно-народной расы, а также неуставленное количество других людей. Пропаганда достигла всемирных масштабов, и ее лживость, возможно, была приемлемой для обывательской массы, но вызывала отвращение у проницательных европейцев. Технически она была

вполне совершенной. Миллионами копий были представлены «фотографии». Тысячи уничтоженных людей опубликовали рассказы о пережитом в этих лагерях. Еще сотни тысяч заработали кругленькие суммы на послевоенных черных рынках. Были сфотографированы несуществующие «газовые камеры», и для того чтобы произвести впечатление на технарей, придумали «газомобиль».

Теперь мы добрались до цели этой пропаганды, которую режим обрушил на оболваненные массы. Анализ в духе политического мировоззрения XX века обнаруживает ее единственную цель: она была предназначена для ведения тотальной духовной войны против западной цивилизации, выходящей за пределы политики. Американским массам, как военным, так и гражданским, скармливали эту духовную отраву, чтобы разгорячить их до точки, когда они смогли бы без содрогания реализовать программу истребления. В частности, *ее целью было послевоенное продолжение Второй мировой войны — в виде грабежей, виселиц и морения голодом беззащитной Европы.*

Однако пропаганда — просто адъютант политики, и дальше мы рассмотрим приемы ведения иностранных дел режимом, опавшимся в Америке с момента захвата власти в 1933 г.

Американская внешняя политика после 1933 года

I

Как было отмечено в очерке общей теории культурной дисторсии как формы культурной патологии, антисемитские инциденты в России после русско-японской войны 1904—1905 гг. побудили Соединенные Штаты разорвать с ней дипломатические отношения. Поскольку никакие другие расовые, культурные, национальные или религиозные выступления такого рода, направленные в России или другой стране против нееврейских элементов, никогда не заставляли американское правительство разрывать отношения, это может быть истолковано только как симптом культурной дисторсии. Столь решительный внешнеполитический шаг вдохновлялся определенными элементами в окружении тогдашнего президента Теодора Рузвельта, принадлежавшими к той же культурно-государственно-национально-народной расе, что и жертвы погромов.

Историки смогут проследить возникновение культурной патологии по признакам, появившимся в американской внешней политике примерно с 1900 года. Здесь же мы рассматриваем период с 1933 г. — фатального как для Америки, так и для Европы.

Первым явно нестандартным действием революционного режима после предварительной консолидации власти было дипломатическое признание большевистской России. Возмущенной американской публике это было преподнесено как рутинный акт, не имеющий идеологической подоплеки и политически вполне безвредный. Фактически же это было начало сотрудничества между двумя режимами, которое продолжалось, с кажущимися перерывами, до тех пор, пока русская и американская армии не встретились в сердце западной цивилизации, а Лондон и Берлин — повергнуты в прах.

В 1936 г. большевистская революция и западный авторитарный дух XX века сошлись на поле боя в Испании. Чиновники расквартированного в Америке режима в частном порядке выражали свою симпатию к красной Испании. Недвусмысленная оппозиция католической церкви к американской помощи предотвратила интервенцию. У католической церкви в Америке 20 миллионов прихожан, и режим культурного дистортера не нашел в себе сил для развязывания внутреннего конфликта, который неизбежно бы возник. Режим готовился к состязаниям на вторых общенациональных выборах, и соперник был еще многочислен и организован. На этой стадии просчет во внешней политике мог стать фатальным.

Благодаря совершенству своих выборных технологий режим остался у власти. В октябре 1937-го начались открытые приготовления ко Второй мировой войне. Было официально заявлено, что американское правительство намерено «изолировать агрессора». Пропагандистские органы идентифицировали «агрессора» с Европой и выразителями европейского будущего. Для успокоения националистического контингента этот термин применили также к Японии, но режим продолжал снабжать ее всем необходимым для военной промышленности, хотя в то же время отказался продавать нужное сырье Европе и бойкотировал импорт в Америку иностранных товаров, произведенных на территориях, не подконтрольных режиму культурного дистортера.

К осени 1938 г. была подготовлена сцена для мировой войны. Вашингтон взял под контроль пропаганду почти половины европейских стран, во главе которых поставил своих марионеток.

Присоединение Богемии к Европе было результатом взаимопонимания четырех европейских лидеров, принявших самостоятельное решение, и планы Вашингтона были сорваны, несмотря на тщательную подготовку. Американскую казну предоставили режиму в качестве «стабилизационного фонда», и он мог пользоваться миллиардами, ни на кого не оглядываясь. Субсидирование пропагандистов, представлявших его интересы в европейских странах, возросло до таких размеров, что вскоре почти половину Европы заставили ненавидеть лидеров, противившихся внутри-европейской войне.

Однако поскольку прямой возможности развязать войну в Западной Европе не было, для следующего инцидента понадобились восточные пограничные государства, и в планы Вашингтона была включена Польша. Ее правительство, якобы хранитель национальных интересов этой страны, спровоцировало безнадежную войну как раз после того, как Россия публично согласилась на раздел Польши. Правительство, инициировавшее войну, исчезло сразу после ее начала, так что о нем больше никто не слышал. Оно заслужило свою пенсию. Американская внутренняя пропаганда в это время внушала мысль, что Польша сможет сопротивляться годами.

По-настоящему война началась в 1940-м. Франция и Бенилюкс были изолированы от Америки за несколько недель. Американский режим обнаружил, что стал быстро терять контроль над Европой, а подконтрольное ему домашнее население не только лишено военного энтузиазма, но и враждебно к любой форме вмешательства в войну, организованную Вашингтонской диктатурой.

Далее культурный дистортер оседлал американское движение против интервенции и повел такую пропаганду, что отправка за рубеж военной продукции является способом оставаться вне войны. Иными словами, ограниченное участие было представлено как невмешательство. Для политически несознательных американцев, что вполне естественно в стране без традиции, государства и великой истории, это прозвучало убедительно, и переполнивший их протест против интервенции тем самым был поставлен на службу интервенционистским планам Вашингтона.

Ограниченное участие становилось все менее ограниченным. Закон, который националистические элементы провели задолго до войны, запрещающий такого рода вмешательство в войну, был цинично погран. Американские экспедиционные силы бы-

ли отправлены за рубеж, американские военные суда получили приказ вступать в бой с европейскими судами в открытом море, торговые корабли европейского происхождения были реквизированы — и все это шло от правительства, которое давало миру высокопарные уроки международного права.

Расширение театра войны против западной цивилизации посредством втягивания большевистской России в течение двух недель привело к разрыву отношений с Европой. Но внутренняя ситуация по-прежнему не позволяла Вашингтону прямого вмешательства, и Европа не смогла отреагировать на необъявленную американскую войну в открытом море. Единственным оставшимся американским бастионом в Европе был остров, удерживаемый только политическими и финансовыми средствами, которые в любой момент могли отказать. Нужна была прямая интервенция с применением всего военного потенциала Америки, чтобы война не закончилась победой Запада над азиатской Россией и общим решением всех старых политических проблем Западной Европы. Ведь тогда Запад обрел бы культурно-национально-государственно-народно-расовое единство на авторитарной политической основе, оградив себя от культурной дисторсии и, более того, своим примером неизбежно вызвал бы в Америке националистическую революцию против режима дистортера.

Поскольку действия, направленные на разжигание в Европе антагонизма с помощью необъявленной войны не принесли желаемых результатов, попытались организовать войну на Дальнем Востоке с надеждой на последующее вступление в реальную войну против западной цивилизации. С этой целью в ноябре 1941 г. японскому правительству был вручен ультиматум, требовавший от Японии эвакуации со всех территорий, завоеванных с июля 1936 г. Япония ответила потоплением американского военного флота в Пёрл-Харборе в декабре 1941-го. Общественные и официальные расследования, проведенные националистическими элементами после войны, убедительно доказали, что *вашингтонский режим знал о предстоящем нападении*, и даже о его дате, поскольку читал японскую дипломатическую почту. *Тем не менее он не принял мер военного характера*, вследствие чего цинично угробил тысячи американских солдат и матросов. Уже была запущена пропагандистская машина, чтобы приписать эту японскую атаку западной цивилизации, но объявление войны Западом сделало эту пропаганду излишней.

С этого момента 80 % американских военных сил было брошено на войну с ненавистной западной цивилизацией. Австра-

лия и Индия при этом игнорировались, кроме слабых попыток сдержать вторую волну японского наступления, которое так и не состоялось. В противном случае белое население колониальной Австралии перешло бы в японское подданство, засвидетельствовав наличие в западной цивилизации патологической дисторсии. Европейцы должны отметить для себя многозначительное высказывание командующего американскими войсками, находившимися как раз в этой угрожаемой части белого мира, произнесенное летом 1942 г.: «Будущее цивилизации начертано на славных знаменах русской армии». Отсюда ясно, что военные чины также должны проявлять умственную посредственность.

II

Американский стиль ведения войны погряз все принципы чести, которыми всегда руководствовались в своих взаимоотношениях западные нации и лидеры. Первая атака против Европы была осуществлена с помощью бомбардировщиков, базировавшихся на европейском острове, оккупированном с 1942 г. американскими войсками. Бомбардировке подверглось практически исключительно гражданское население Европы, несмотря на то что невозможность достичь урегулирования этими средствами вполне осознавалась. Американская пресса кроваждно смаковала тему «блокбастеров»,¹ под которыми понимались бомбы, способные уничтожить квартал гражданских домов и убить несколько сотен мирных жителей. Гордо демонстрировались фотографии результатов этого гнусного способа ведения войны против семей и домов. Пропагандистское послание состояло в том, что все, кто противостоит американской армии или идеологии, являются преступниками и подлежат «суду за свои преступления».

Европа была уже знакома с пропагандой зверств, исходящей от Америки. Вследствие примитивного культурного уровня, на который дисторсия и ретардация опустила Америку, подобные вещи воспринимались буквально, тогда как ответственные люди в Европе знали цену этой массовой пропаганде, рассчитанной на маргиналов. Так, во время Первой мировой войны в американской прессе ходили истории о зверствах, творимых, разумеется, противниками американских войск. Местом действия для

¹ От *англ.*: block — квартал, buster — разрушитель. — *Примеч. пер.*

этих рассказов была выбрана Бельгия, и утверждалось, что оккупационные войска распинали бельгийских мирных жителей. Описывались и другие ужасы: отрезанные детские руки и тому подобное. В Америке это воспринималось столь серьезно, что после Первой мировой войны депутация американских журналистов прибыла в Бельгию для расследования этих случаев, после чего им пришлось сообщить американской публике, что все это было неправдой.

Тот тезис, что любой, кто действует против Америки, является *ipso facto* преступником, в Европе всерьез не воспринимался, но служил для подготовки американского сознания к послевоенным ужасам, которые планировалось осуществить в Европе.

В 1945 г. руководство, годами твердившее о «военных преступлениях» и одновременно воевавшее против домов и семей, наконец, вооружилось снарядами, который предназначен для применения *исключительно* против гражданских лиц: «атомной» бомбой. В преобладавших тогда тактических условиях эта бомба не могла быть использована против военной силы, но только против городов, где во время войны отсутствуют мужчины призывного возраста. Эту бомбу сбросили без повода и предупреждения, и она стерла с лица земли сотни тысяч мирных жителей в течение нескольких секунд.

В период после Второй мировой войны американская внешняя политика сохраняла свою преемственность. Оккупированная Европа рассматривалась как территория, подлежащая опустошению; фабрики лишались оборудования, которое было передано России, а другие предприятия были специально взорваны в русле политики уничтожения промышленного потенциала Европы. К населению относились как к недочеловекам и применяли широкомасштабную тактику голодомора, которая продолжается и в 1948 г. Хотя Америка экспортировала еду по всему миру, не руководствуясь при этом никакими соображениями чести или морали, она отказалась предоставить достаточно пищи для поддержания человеческой жизни в оккупированной Европе. Установленный для европейца рацион качественно и количественно был значительно ниже здорового минимума, и в короткий срок недоедание, кожные заболевания, инфекции и дегенеративные нарушения привели к миллионам смертей. В первом приступе безумного ликования по поводу «победы» американская армия запретила своему персоналу даже *разговаривать* с населением. Это продолжалось, пока трибуналы не стали столь массовыми, что пришлось этот приказ отменить и заменить неистовой пропа-

гандой ненависти среди американских солдат. Население Европы третировалось как во всех отношениях низшее по сравнению с победившими американцами. Оно официально именовалось «туземным населением». В общественных зданиях ему были отведены особые санитарные помещения, тогда как высокомерные американцы и негры пользовались своими.

В широких масштабах велась реквизиция жилых помещений: американским солдатам и гражданским было позволено привозить из Америки свои семьи и занимать неповрежденные дома, в которых жили зачастую 15—20 «туземцев». Обычно владельцам этих домов позволялось взять с собой только одежду и пищу. Для размещения этих отверженных никаких мер не принималось, поскольку их считали недочеловеками и соответственно к ним относились.

Население было лишено физического права самозащиты от американцев. Европейец, ответивший американцу ударом на удар, приговаривался американским трибуналом к заключению. Одного европейца осудили на два года тюрьмы по чужому доносу, что он назвал американского военнослужащего-еврея «грязным евреем».

Жуткое *бесчестье*, сопровождавшее американскую оккупацию Европы, красноречиво свидетельствует о присутствии культурно чуждых элементов, поскольку ни одна западноевропейская нация или колония не могла бы опуститься до столь низкого поведения. Вся ее душевная организация, ее историческая сущность и тысячелетняя традиция чести исключали такую возможность. Какая западная нация могла бы низвести женщин другой нации на уровень наложниц и запретить браки между представителями своей и других западных наций? А именно так поступило американское командование. Оно разрешило сожительство и запретило брак. В результате этой политики венерические заболевания достигли в оккупированной Европе масштабов эпидемии.

В окружении голодающего, охваченного болезнями европейского населения американские солдаты и их семьи, хранимые оружием и колючей проволокой, жили в домах, уцелевших под их же бомбежками, и питались вполне нормально. Духовные качества в этих условиях формируются не самые высокие. На первых этапах оккупации излишки пищи и одежды просто сжигались на глазах голодного и мерзнувшего «туземного населения».

Когда летом 1947 г. возникла угроза голодного бунта, один из американских губернаторов официально объявил, что ни ситуа-

ция, ни международное право, ни мораль не обязывают американский народ кормить покоренное население оккупированной Европы, и если вспыхнет бунт, он будет подавлен штыком и пулеметом.

Здесь приведена только часть фактов, но так было по всей оккупированной американцами Европе и продолжается до сих пор, что оказывает глубочайшее влияние на европейское мышление в строго определенном смысле.

III

Как показал анализ политической мотивации, борьба за власть в нашем столетии определяется культурными явлениями. В первые века существования западной цивилизации источником мотивации, как правило, была борьба между императором и папой за вселенскую власть, позже она черпалась из религиозных разногласий, затем — из династических амбиций, и далее определялась национальными единицами и торгово-экономическим соперничеством. Теперь же главным мировым фактом выступает духовное единство западной цивилизации, которое осознается все яснее, и пробудившаяся во внешнем мире воля к разрушению. В сфере деятельности она принимает форму политической борьбы между западной цивилизацией и ее колониями, с одной стороны, и неевропейскими силами — с другой. Поэтому вражда между Америкой и Японией была естественной, что видели все американские националисты. Дисторсионные элементы в Америке, однако, никогда не придавали значения этой вражде, поскольку в Японии не было антисемитизма. Это проливает свет на особенности американской оккупационной политики в Японии.

После завоевания Японии отношение армии к японскому населению было весьма дружелюбным. Американская армия официально организовала для своих солдат бордели с японскими женщинами. Дома не реквизировались, и для размещения военных строились бараки. Рацион был достаточным для поддержания человеческого здоровья. Император сохранил свой титул и положение, и его божественная природа не была осквернена в глазах общества. Японское самоуважение поддерживалось достойным отношением, в целом устраивавшим японских граждан. Американская политика была направлена на восстановление промышленного потенциала страны и разрешила японцам ав-

тономию. Были сохранены японское законодательное собрание, правительство и администрация. Бывшие политические лидеры получили вежливые приглашения в суды над военными преступниками, поскольку это абсурдное крючкотворство стало обязательным повсюду, куда вошла американская армия. Единственным принуждением в отношении местных жителей было навязывание американского религиозного культа «демократии». От населения, национальная религия которого уже включала в себя конфуцианство, буддизм, синтоизм и культ императора, это не потребовало большой жертвы.

Лидеры, над которыми совершался затяжной ритуал экзорцизма по поводу военных преступлений, не оскорблялись ни в японской, ни в американской прессе. Их не фотографировали беспрестанно, не подвергали фрейдистской инквизиции, не мучили, не заставляли подбирать окурки американских солдат или переносить систематические унижения, как это делалось в отношении жертв американской армии в Европе. Более того, процесс осуждения «военных преступлений» не распространялся на всю организацию японской жизни, как гражданскую, так и военную, в отличие от того, что делалось и продолжает делаться в 1948 г. в Европе.

Разная политика для двух оккупационных зон довольно просто объясняется общим принципом формирования американской внешней политики. Главная движущая сила оккупационной политики в Европе — это *месть*. Однако, как показывает наш анализ политики как таковой, месть не является ее составной частью, лежит за ее пределами. Политическая цель состоит не в унижении противника или истреблении населения вражеской единицы, когда она уже побеждена, а в увеличении власти. Но американский режим никогда не руководствовался вопросом о власти при формировании и реализации своей политики в оккупированной Европе. На территории с огромным военным потенциалом, которую Америка контролирует и могла бы использовать в собственных властных целях, она систематически разрушает заводы и оборудование. С населением, которое могло бы обеспечить ее миллионами лучших в мире солдат, американцы обращаются свирепо и с подчеркнутым высокомерием, рассчитанным на вечное отчуждение от «туземцев». Захватив в плен лучших в западной цивилизации военачальников, у которых им следовало бы поучиться, они начали вешать их за преступление, состоявшее в противодействии американским армиям на поле боя.

Одним словом, вместо наращивания американской власти оккупационная политика во всех отношениях ее уменьшила. Это убедительно доказывает, что мотивация такого поведения лежит вне политической сферы. Его причины — в полной, глубокой, тотальной несовместимости между высокой культурой и находящимся внутри нее паразитическим организмом. Это отношение выходит за пределы обычной межнациональной политики. Оно сродни отношениям между римскими легионами и варварами Митридата и Югурты, между крестоносцами и сарацинами, между Европой и турками в XVI веке. Отчуждение даже глубже, потому что мстительная взвинченность накапливалась в душе паразита веками молчаливого страдания от неоспоримого превосходства хозяина. Когда покоренная Европа и, в частности, ее наиболее жизнеспособная часть, носительница великой европейской идеи XX века, лежала у ног этого совершенно инородного завоевателя, представителя ушедшей в прошлое культуры, в его ликующей душе не было места для великодушия, рыцарства, благородства, милости. Она была переполнена только желчью, которую он пил тысячу лет, пока ждал благоприятного момента в окружении чужих и высокомерных западных народов. Еврей всегда считал и продолжает считать их варварами, *гоями*. С этой точки зрения американская армия потерпела столь же полное поражение, как и армия ее культурной родины. Настоящим победителем стал культурный чужак, триумф которого над всей западной цивилизацией стал наивысшим взлетом его судьбы.

IV

Окончательный итог американской политики с момента произошедшей там революции 1933 г. был для самой Америки негативным. Естественные геополитические национальные интересы этой страны связаны с Латинской Америкой и Дальним Востоком. Во всемирной борьбе за контроль над планетой между западной цивилизацией и внешними силами естественная политика Европы ориентирована на Африку, Ближний Восток и просторы азиатской России. Америка, будучи колонией цивилизации, черпая из нее всю свою духовную энергию, натуральным образом дополняет этот интерес и никак с ним не конфликтует. Каковы тогда интересы националистической Америки в России, Африке и на Ближнем Востоке? Соответственно, какие интересы преследует Европа в Центральной и Южной

Америке? У Европы с Америкой не может быть естественного, органического схождения властных векторов, а у Японии с Америкой есть.

Американская внешняя политика противоречит всем особенностям естественного расположения этой страны. Она сделала Америку союзником России — не против Японии, что было бы понятно, но против Европы, что является безумием в свете подлинных американских интересов. Америка сражалась с Японией и, завоевав, приступила к ее восстановлению, вместо того чтобы навсегда превратить в часть своей империи. Она сражалась со своим главным другом, Европой — не только политическим партнером, но духовной родиной и абсолютным культурным союзником.

Когда военная удача принесла победу американскому оружию, Америка могла бы искупить свои предыдущие ошибки. Европу можно было бы включить в американскую заморскую империю. Европу можно было бы реабилитировать. Но было сделано совершенно противоположное. Европу грабили, морили голодом и расхищали, тогда как Японию, своего естественного противника, восстановили для ее следующей войны против Америки.

Одним словом, внешняя политика Америки была не американской. В этом окончательно убеждают ее реальные действия.

С 1933 г. культурная дисторсия решала за американцев вопросы войны и мира. От победоносного шествия американского оружия Америка не приобрела никакой власти. Япония принесла одни убытки: значительная часть японского оборудования была передана России, а ноша восполнения ее продовольственного дефицита была возложена на американский народ. Если Россия чрезвычайно выиграла в промышленной силе благодаря европейскому оборудованию, переданному Америкой из своей половины Европы, то сама Америка понесла только новые затраты. Она так основательно опустошила оккупированную европейскую территорию, что многие материальные потребности собственной армии приходилось обеспечивать из Америки.

Американские войска покинули Китай и Индию, Северную Африку и Персию, отказавшись от крупнейшей в мировой истории империи. К исходу Второй мировой войны Вашингтон стал столицей военной империи, раскинувшейся на 18/20 поверхности планеты, включая моря, которые контролировала Америка.

Политика культурного дистортера вовсе не была направлена на мировое господство, как иногда утверждалось. Столь гран-

диозная идея могла возникнуть только в западных кругах. Инородный организм в теле западной цивилизации может только деформировать ее жизнь. Паразит не может стать частью Запада, а мировое господство — это западная идея. Она далеко не для всех, потому что, как и другие созидательные западные идеи, для своей реализации требует от человека достаточной глубины и энергии. Поэтому Америка и не могла удержать великую империю, которая оказалась в ее руках. Не обладая достаточным историческим опытом и *политическим* сознанием, невозможно создать и возглавить империю. В массовом сознании американца вся Вторая мировая война имела одну негативную цель: уничтожить европейскую идею.

Таким образом, культурная дисторсия в Америке не служила американским национальным интересам и не была нацелена на завоевание мира — ни для себя, ни для Америки. В итоге Америка потерпела политическое поражение во Второй мировой войне. Этот факт совершенно понятен Европе. Вопрос в том, в какой степени он осознается в Америке. Это связано с проблемой формирования американского будущего, американского национализма, прогнозами относительно продолжающейся культурной патологии и духовных возможностей Америки.

Будущее Америки

I

В истоках Америки заложено ее будущее. Как сказал Лейбниц, «настоящее влачит на себе груз прошлого и беременно будущим». Америка образовалась как колония западной культуры. Органическая единица, называемая высокой культурой, привязана к ландшафту, в котором она зародилась. Здесь она появилась на свет и здесь же решает свои последние и величайшие проблемы. На своей нынешней стадии западная цивилизация является духовным ориентиром для всего мира. Такие единицы, как Япония и Россия, только играют роль незатухающих восстаний против западной цивилизации, отрицающих ее мировоззрение. Западная цивилизация породила даже собственных противников, своим динамизмом пробудив во внешних силах их сегодняшнюю активность. Колонии, которые западная цивилизация образовала по всему миру в период 1600—1800 гг., всегда поддерживали духовную связь с материнским организмом. Передовые люди

Аргентины, Южной Африки, Австралии, Америки, Канады и многочисленных малых колоний духовно укоренены в Европе и черпают свое мировоззрение, планы, идеи и внутренний императив из многообразных и масштабных творений родной западной цивилизации, оставаясь ее духовными союзниками. Их политические интересы никак не могут быть враждебны политическим интересам Запада, с которым их связывает общая судьба.

В нашу эпоху мотивация политики обеспечивается культурой. Мир делится на западную цивилизацию и все, что вне ее. Победа Европы над Россией или Индией — это победа для Америки, а победа Америки над Японией или Китаем — победа для Европы. *Америка и Европа вместе образуют духовное целое.* Поэтому новое политическое объединение Америки и Европы вполне естественно и вероятно. То, что связано общей судьбой, является реальной политической единицей, а продолжение внутренней политической розни противоестественно и враждебно жизненным интересам организма. Первейшая цель жизни состоит в актуализации возможного. Собственно, это и есть Жизнь. Благодаря угрожающему положению западной цивилизации (а оно будет оставаться таким даже после успешной войны), неизбежно проявятся органические тенденции к воссоединению Европы и Америки, убеждая их лучшие умы в его необходимости. Эта тенденция начнет проявляться не далее как через одно поколение. Будет ли она реализована, предсказать невозможно, подобно тому как Рамессиды не могли предвидеть судьбу Карнака. Однако насущная потребность в такой тенденции заставит направить в ее русло всю деятельность.

Следует отдавать себе отчет, что органическую идею воссоединения реализовать невозможно, пока Запад страдает внутренними культурными болезнями. Поэтому на повестке дня стоит вопрос о противодействии культурной патологии в Америке.

Изначальные движения души американского народа олицетворялись такими человеческими типами, как независимый колонист, пионер, милиционер, первооткрыватель, житель пограничья. Их главными чертами были находчивость, бесстрашие, технические навыки, а руководило ими не что иное, как древняя готическая устремленность вдаль и потребность покорять все, что попадает на пути. Первые американцы обладали мощным инстинктом расового превосходства и полаганием на собственные силы. Такой человеческий материал лег в основу типа янки, сформированного гражданской войной. В результате этой войны янки усвоили формы, свойственные эпохе экономики, денег

и материализма. Этот результат был закономерен, поскольку вся западная цивилизация в то время была охвачена цивилизационным кризисом. В подобных пертурбациях формировалась душа американского народа. Это отсталый народ в том смысле, что при его умении, выносливости и открытости он лишен культурных, в узком смысле, возможностей. Стойкость, открытость и техническая компетентность всегда останутся в американской душе как ее неотъемлемые качества. Идеологические атрибуты были просто одежкой, соответствовавшей духу времени. Дух XIX века уже в могиле, и Америка не может больше оставаться на кладбище идей, подобно тому как организм не может развиваться вспять, от старости к юности.

Американская идеология и мировоззрение не имеют будущего, в отличие от души американского народа, поскольку народ есть организм. Вогнать этот народ в состояние носителя массовых идеалов, массовых мыслей, массового поведения и массовой жизни можно было, лишь исказив и преувеличив склонности американской души и возможности эпохи материализма. Единственной причиной искривления и деформации американской судьбы стали такие болезни, как культурная ретардация и культурная дисторсия. Культурная ретардация в Америке объяснялась наличием той же самой болезни в Европе: в Первой мировой войне эпоха материализма победила только случайно, на поверхности истории, поэтому реализация идеи XX века и в Америке, и в Европе получила отсрочку. Культурная дисторсия в Америке возникла по причине присутствия огромной культурно чуждой группы. Поэтому непосредственное будущее этой страны определяется культурной дисторсией и внутренней реакцией на нее.

Следует оценить расстановку сил — духовных и материальных, — которые принимают в этом участие. Во-первых, группа культурного дистортера. Численность еврейской культурно-национально-государственной расы в Америке составляет от шести до двенадцати миллионов. Однако численность не играет главной роли, поскольку эта органическая единица обладает мощными расовыми инстинктами и сильным ощущением миссии. Числа, разумеется, имеют значение, влияя как на степень культурной дисторсии, так и на форму и размах противодействия ей, но публичная власть культурного дистортера держится за счет контроля над важнейшими центральными структурами.

В области пропаганды его контроль *абсолютен*. Он распространяется на кино, радио, прессу (газеты, периодику и книги),

университеты и сцену. Радиовещание управляется за счет нескольких крупных общенациональных сетей, контролирующих программы своих станций, даже если они находятся в частных руках. Газетная пресса подчиняется нескольким огромным новостным ассоциациям, следящим за тем, как подают новости состоящие в них газеты. Несмотря на то что эти газеты находятся в частных руках, они не вправе менять содержание материала, который дают им ассоциации. Периодика и книги в основном контролируются владельцами журналов, издательств и типографий, а в остальных случаях — общественным, экономическим, моральным и юридическим принуждением. То же самое относится и к сцене. Университеты находятся под контролем за счет непропорционально большого числа представителей культурного дистортера среди преподавателей и студентов, организованных и агрессивных.

Верхушка культурного дистортера контролирует обе политические партии, используя все существующие виды внутриполитической деятельности в своих целях. Метод политического управления заключается в огромной бюрократии, создававшейся с 1933 г. и преимущественно укомплектованной и возглавляемой представителями дистортера. Административный контроль распространяется также на вооруженные силы.

В мире финансов, владеющем и управляющем всей промышленностью, власть этой группы совершенно не соответствует ее доле в численности населения. Этой сферой она начала овладевать еще во время войны Севера и Юга, когда несколько предшественников инвазии 1890—1950 гг. подключились к торговле оружием между армиями конфедератов и федералистов.

Результатом всего перечисленного является мощное духовное влияние на американский народ. Этот народ читает книги, которые для него пишут и редактируют чужаки. Он смотрит спектакли и фильмы, которые ему позволено смотреть. Он мыслит понятиями, которые вложены в его головы. Его бросают в противоречащие американским интересам войны, которые он обречен проигрывать. Вопросы войны и мира, жизни и смерти решаются в Америке культурным чужаком. Америке придали семитское выражение лица. Американцы, исполняющие власть, делают это с почтением к чужаку. Противостоять ему не осмеливается ни одно публичное лицо. Американцам говорят, что их должен беспокоить раздел Аравии, — и не найдется ни одного национального канала, где американец мог бы обоснованно опровергнуть картину мира, создаваемую такой политикой.

Но тот, кто зрит в суть истории, знает, что чужое и свое не соединяются, они могут *только* противостоять друг другу. Притворство, террор, угрозы, диктатура, давление, пропаганда — ничто из этого не в силах повлиять на сущность данного отношения. Американский народ (это еще не нация) обладает собственной душой, и только недостаток исторического опыта и особая стадия развития культуры, создавшей этот народ, сделали возможным широкое и опасное распространение в нем культурной патологии.

Из самого факта культурной дисторсии следует, что душа народа-хозяина сохраняет свою внутреннюю чистоту. Дисторсия не может уничтожить хозяина, но только направляет его энергию на решение ложных проблем и обеспечение интересов паразита.

II

Европа теперь знает, что Вторая мировая война была проявлением культурной болезни. Она была задумана в Америке, умело подготовлена в 1933—1939 гг. и ловко преподнесена под видом соперничества между двумя вчерашними европейскими державами, хотя на самом деле на повестке дня стояло объединение Европы перед лицом угрозы ее жизни со стороны внешних сил — России, Китая, Индии, ислама и Африки. Истинный облик войны открылся всем в 1945 гг., когда победителями оказались американский режим культурного дистортера и кремлевские монголы. Впервые в мировой истории мир был поделен между двумя державами. Европа проиграла войну и обрела полное единство в поражении, которого не добивалась в своих победах. Она временно перешла в статус Китая и Индии, став добычей для внешних держав. Результатом этой войны было также поражение Америки: во-первых, потому что повод был ложным, и во-вторых, потому что ложными были также следствия ее военного успеха.

Факты такого масштаба скрыть невозможно. Понимание органической природы истории подсказывает, что Америка на это реагирует, даже если кому-то не известны соответствующие факты. Американская националистическая реакция проявляет себя именно так, как ожидалось. История работает через меньшинство, а численность этого меньшинства является прямым отражением необходимости исторического явления. Националистическое меньшинство в Америке насчитывает по крайней мере

10 миллионов человек. Это меньшинство практически разобщено. Существует примерно 1000 организаций сопротивления, но они политически неэффективны, даже если весьма симптоматичны в духовном плане.

В 1915 г. началась националистическая реакция на инвазию культурно чуждых элементов в виде организации второго ку-клукс-клана. Этот год будет ретроспективно считаться началом второй фазы американской революции. Цифра в 10 миллионов, говорящая о силе этого контингента, разумеется, примерна, но души, которые входят в это число, испытывают сильное влияние подлинно американской национальной идеи. В меньшей степени это чувство характерно для всего американского населения. Поэтому никто никогда не отрицал, что подавляющее большинство населения, несмотря на невиданный пропагандистский шквал, который на него обрушился, не желало ввязываться во Вторую мировую войну, организованную в Европе вашингтонским режимом культурного дистортера.

Это не связано с настоящим пацифизмом, потому что в Америке такового нет. Дело в том, что душа этого народа инстинктивно не доверяла всем этим радениям и питала к ним отвращение. В 1940-м американцам не дали выразить свое чувство на «выборах», поскольку оба кандидата на власть были сторонниками интервенции. Выборы всегда препятствовали выражению подлинной американской души.

Этот национализм все более радикален, хоть и не достиг еще политических масштабов. Некоторые американские националисты в 1941 г. попали в тюрьму за утверждение, что для благополучия Америки желательно военное поражение, поскольку оно положит конец власти культурного дистортера. Американские националистические элементы в основном надеялись на поражение мобилизованных армий, укомплектованных лишенными энтузиазма и равнодушными американскими юношами. В то же время они поддерживали войну против Японии — естественного геополитического врага Америки.

Принцип индивидуальности, целостности души и характера применим и к народам, и к личностям. Поэтому очевидно, что дух, который руководил такими людьми, как Натаниэль Грин, Мэд Энтони Уэйн, Этан Аллен, Натан Хэйл, Ричард Генри Ли, Джон Адамс, Даниэль Морган, Дэви Крокетт, люди из Аламо и Сан-Хасинто, Стонуолл Джексон, Роберт Э. Ли, Уильям Уокер и Гомер Ли, все еще жив. Век материализма и денежной одержимости, естественно, не породил героев, но XX век изменит

духовный аспект Америки так же, как он изменит Европу. Латентный героизм американского народа будет снова востребован для аскетического творчества эпохи абсолютной политики.

Несмотря на размах культурной дисторсии и ее попытки навсегда превратить людей в беспомощную однородную массу, миллионы людей инстинктивно держатся от этого в стороне. В них сконцентрированы великие исторические силы, которые сталкиваются с неимоверными трудностями и преградами.

Американский национализм не имеет отношения к великой традиции жизни, мысли и действия; политически он заряжен революционной миссией, но американский народ не революционен. Он реагирует на культурный недуг в грубой расовой форме и, столкнувшись с масштабной политической задачей, не испытывает потребности мыслить в терминах власти. Его интеллект не освободился от устаревшей идеологии «равенства», зародившейся в 1775 г. и до сих пор служащей целям дистортера.

Массовое оболванивание американского народа являлось, по сути, только *техникой*, приемом. Сильная личность действительно была *подавлена*, но сильную личность невозможно *уничтожить*. Эпоха абсолютной политики снова пробудит все гениальное в американском племени, и можно ожидать, что сквозь обывательскую оболочку американской души мощно прорвутся отдельные лидеры, которым будет дарована абсолютная власть.

Америка — это страна, не обладающая творческими возможностями в области философии, поэтому высшее понимание великих реалий нашего времени она будет черпать за счет своей глубинной и судьбоносной связи с материнской почвой Западной Европы.

Контингент, который включится в грядущую борьбу между американским национализмом и культурно-патологическим элементом, будет достаточно многочисленным. Судя по всему, американской революции уже невозможно будет придать конституционную форму. Отточенные парламентско-выборные технологии поздней демократии явно исключают такую возможность. Осталась только гражданская война. В эту войну — расовую войну между негром и белым, классовую войну профсоюзов против менеджеров, финансовую войну денежных диктаторов против грядущего авторитарного национализма и войну на выживание культурного дистортера против американского народа, включатся все, чтобы приблизить развязку.

Нельзя предсказать, будет ли этот кризис по природе острым и радикальным, как война между Севером и Югом, или примет

форму неуверенной и затяжной эволюции, как Тридцатилетняя война или борьба кромвелевского духа с реставрацией. В любом случае органическая необходимость требует борьбы, и можно быть уверенным только в том, что она будет, но не в ее форме и дате. Они не поддаются точному определению. Когда американская национальная революция примет политическую форму, она будет черпать вдохновение из того же изначального источника, что и европейская революция 1933 г. Мы говорим о подлинной Америке, осознавая при этом, что реальная Америка враждебна Западу и останется таковой в ближайшем будущем: страной послушных носителей массового сознания на службе культурного дистортера — политического и абсолютного врага западной цивилизации.

МИРОВАЯ СИТУАЦИЯ

Миром правит воображение.

Наполеон

Для решения задач, стоящих перед следующим столетием, трудно представить себе что-либо менее пригодное, чем общепринятые воззрения. Европейская ситуация в следующем столетии снова приведет к возрождению мужских качеств, поскольку человек будет жить в постоянной опасности. Я смотрю вдаль, за горизонт всех этих национальных войн, новых империй и всего, что лежит на переднем плане. Я подразумеваю (различая, как медленно и неуверенно она вырисовывается) Объединенную Европу. Нации, на которые возлагались такие надежды, так и не смогли создать для нее условий с помощью либеральных институтов: достойными уважения их сделала только великая опасность. Только такая опасность может заставить нас осознать свои возможности, свои добродетели, свои средства защиты, свое оружие, свой гений; эта опасность *вынуждает* нас быть сильными.

Ницше

Пацифизм так и останется идеалом, а война — фактом, и если белая раса решит от нее отказаться, то цветные этого не сделают и будут править миром.

Шпенглер

Политический мир

Политика связана с войной, а война основана на стратегии. Стратегия опирается непосредственно на изначальные реалии физической и человеческой географии. С нее и надо начинать изучение фактов и возможностей мировой политики.

В эпоху абсолютной политики весь земной шар стал объектом властных инстинктов, проявляемых как западной цивилизацией, так и отрицающими ее внешними, незападными силами, которые по масштабам сопоставимы с утвердительным западным империализмом. Поэтому нашим отправным пунктом будет общая географическая картина планеты.

Поделив мир на два полушария по 20-му меридиану, мы видим, что Восточное полушарие представлено континентальной массой Азии и Африки, отдельными островами Австралии и Океании и большей частью Антарктики. Общая поверхность суши составляет более 10 миллионов квадратных километров. В Западном полушарии расположены два соединенных [перешейком] острова Северной и Южной Америки и часть Антарктики. Эти территории составляют 47 миллионов квадратных километров — менее половины площади суши Восточного полушария. Население важнее территории, поскольку власть предполагает управление людьми, которых можно политически контролировать там, где они *есть*. Население Восточного полушария — примерно 1700 миллионов человек, тогда как в Западном живет только 300 миллионов. Это означает, что политический мир сосредоточен в Восточном полушарии. Планету можно также поделить на Северное и Южное полушарие, по экватору. При таком делении более 9/10 как суши, так и населения оказывается в Северном полушарии. Если планету разделить на квадранты, можно увидеть, что больше половины населения огромного Азиатско-Африканского массива суши, что составляет примерно половину общего населения планеты, сосредоточено в северо-восточном квадранте. Здесь расположены Европа, большая часть России, Индия, Малая Азия и основная часть Африки. Вся эта суша непрерывна, если не считать узких впадин Средиземного и Красного морей, Персидского залива и Балтики. Вся территория может контролироваться сухопутными державами, включая узкие моря, входы в которые контролируются с суши.

Поэтому вполне очевидно, что контроль над миром в первую очередь означает контроль над этим северо-восточным квадрантом. Во вторую очередь он означает доминирование над Азиатско-Африканским континентальным массивом. В третью очередь — контроль над Северным полушарием, и наконец, контроль над всеми водами и сушей планеты. На северо-восточном квадранте, как самой важной области, сфокусирован империализм XX века.

Без этих географических фактов невозможно широкомасштабное политическое мышление. Но это *основа*, а не *источник*, поскольку любая великая мысль исходит от высокой культуры, осуществляющей себя через человеческий культурный слой. Сама геополитика как наука является системой знаний, созданных высокой культурой на стадии неограниченного империализма — в эпоху абсолютной политики. В геополитике, однако, присутствует остаток материалистического мышления, которое ошибочно связывает происхождение, детерминацию и мотивацию политики с физическими фактами. Безусловно, это ошибка, поскольку материалистический подход к описанию фактов совершенно неверен. Источником идей, импульсов и опыта является душа. Она же — источник политики, а если говорить о высокой творческой политике, то она происходит из души высокой культуры. Разрушительная политика в свою очередь связана с отрицанием душами внешнего населения политического императива высокой культуры.

На современной стадии западной цивилизации политика мотивируется культурой, а не национализмом или экономикой, как это часто происходило в XIX веке. Духовное единство западной цивилизации с ее колониями — это основополагающий факт, в котором источник великого политического противостояния нашего столетия. Неограниченный империализм Запада породил во внешних популяциях равносильную волю к его уничтожению. Этой цели можно достичь только за счет собственного империализма. Поэтому форму мировой борьбы в этом и следующем столетии определяет идея Империаума. Ее универсальность заставляет человека как служить, так и противостоять ей.

Ошибка геополитики кроется в допущении, что внутреннее может определяться внешним. Но душа во всем первична, а характер использования материала или географического положения зависит от типа души. Американские индейцы обладали гораздо большими ресурсами, чем американские колонисты, но их техническая примитивность делала их беспомощными. Тотальное техническое превосходство, однако, имеет не материальную, но духовную природу.

Геополитика в том виде, как она развивалась до сих пор, руководствовалась не взглядами на историю и политику, подобающими XX столетию, а материалистическими постулатами, унаследованными от XIX века. Достижения этой науки, однако, имеют непреходящее значение, в частности исторически существенным

является то, что она учит мыслить большими пространствами. Хаусхофер занимает почетное место в западной науке. Будущее геополитики — в переформатировании всей ее структуры в соответствии с фундаментальной духовной ориентацией мира и четким разграничением между Западом и его колониями, с одной стороны, и внешними силами — с другой.

Первая мировая война

После успешного завершения Англией войны с бурами в 1901 г. и подавления Западом Боксерского восстания в Китае весь мир, за исключением нескольких небольших территорий, попал под прямое управление Запада и его колоний. На Дальнем Востоке исключениями были Сиам и Япония, на Ближнем Востоке — Турция, Персия, Афганистан; в Африке — только Абиссиния и Либерия; в Западном полушарии — только Гаити и Мексика. Из перечисленных стран Запад косвенно контролировал Турцию, Мексику и Афганистан. В мире ислама и в Китае западные граждане находились под экстерриториальной юрисдикцией своих национальных представителей, а не местных судов. Поведение внешних народов в отношении западников было уважительным и почтительным. Одним словом, весь внешний мир был *политически пассивен*.

Его политической пассивностью объяснялась потрясающая диспропорция между численностью и управлением. Например, в Индии Англия управляла более 350 миллионами подданных с помощью гарнизона численностью менее 100 тысяч белых солдат. Во время индийского восстания 1857 г. англичане за несколько дней потеряли контроль над частью побережья и несколькими внутренними пунктами. То есть белая власть в западном регионе может быстро заканчиваться, если подчиненное население становится политически *активным*.

С политической пассивностью внешних подданных связан другой важный факт, касающийся всемирной монополии Запада до 1914 г.: *учтивость* европейских народов. Символом этой учтивости был Пауль Крюгер. В Бурской войне, сражаясь против сокрушительно превосходящих сил, он тем не менее категорически запретил использовать негритянских варваров в действиях против белых англичан. Политический гений, который он продемонстрировал своим поведением, не получил должной оценки.

В период подготовки к Первой мировой войне в мире шли два великих исторических процесса: зарождение в европейской душе сверхличной идеи этического социализма как формы следующей западной эпохи и назревание за пределами Запада всемирного восстания против его господства.

Эти два глобальных процесса были актуальными проблемами, которые предстояло решить Первой мировой войне, и всемирно-историческими тенденциями, определяющими внутреннее содержание этой войны, а ее неумолимое приближение чувствовали все ведущие умы Европы. Эти грандиозные процессы увидели и описали многие деятели и мыслители, в частности Рудольф Челлен, Вернер Зомбарт, Пауль Рорбах, Бернгарди, лорд Китченер, Гомер Ли.

Эпоха капитализма приближалась к концу. Англия как держава, созданная этой идеей и служившая ей, полностью реализовала данную стадию органического развития европейской души. Германия-Пруссия была державой, воплощавшей следующую фазу: реализацию этического социализма. Поэтому внутренне Запад двигался в направлении соперничества между этими двумя державами.

Германия-Пруссия соответствовала национальному формату эпохи капитализма, имела парламентско-демократическую систему и осваивала торговый империализм, отличаясь от Англии тем, что внутри нее вызревала новая сверхличная идея этического социализма.

Благодаря своему исторически совершенному внутреннему императиву Англия завоевала величайшую империю всех времен. Поэтому своей мировой монополией на власть Запад был в основном обязан Британской империи. Внешние силы, пробуждавшиеся к антизападной политической активности в Африке, Китае, Японии, Ост-Индии, России, не делали различия между западными нациями. Великий факт западного национализма к тому времени стал великой иллюзией, от которой, однако, страдали только западные народы. Внешний мир лучше Запада понимал, что последний исторически был *единицей*, а не совокупностью духовно суверенных «наций».

На поверхности Первая мировая война выглядела националистическим соперничеством между двумя западными нациями образца XIX века: Англия сражалась против Германии-Пруссии, *но в действительности это была борьба между капитализмом и социализмом*. Все выглядело, как схватка между двумя националистическими коалициями, *но на самом деле*

это была война внешних сил против всей западной цивилизации.

К 1916 г. стало совершенно ясно, что военное противоборство между Германией и Англией сводится к ничьей, и продолжение войны между ними может привести только к поражению обеих. Чем дольше продолжалась война, тем очевиднее это становилось. Знаменитое 21 требование Японии было проверкой силы Запада на Дальнем Востоке, и Запад уступил в разгар своей самоубийственной войны. Япония явно выигрывала войну, не участвуя в ней; побеждала также и Америка, а революция в России показала, что проигрывает весь Запад. Власть, принадлежавшая Европе, постепенно, по мере продолжения Первой мировой войны, переходила к внешним силам — Японии, России, Америке. С устаревшей националистической точки зрения проигрывала Англия, а с новой точки зрения проигрывал весь Запад. Если бы у руля событий не находились дряхлые бесплодные умы, в Европе мир был бы заключен в 1916 г. ради сохранения европейского мирового господства. Но в верхах преобладали слабоумие, финансово-капиталистическое мышление и твердолобость. Самоубийственная война не только продолжалась до своего горького конца, но к реальному участию в битве были привлечены внешние силы. Англия и Франция шерстили свои колониальные империи, набирая цветных солдат для применения против всей западной цивилизации, включая самих себя, поскольку внешние силы всегда считали Запад единым. Никто так и не понял гениальности Пауля Крюгера. Если единственный способ нанести поражение противнику — это самоубийство, война теряет свой смысл и должна быть закончена. Но для осознания этих простых истин нужен гений, а таковых не нашлось у кормила европейских дел.

Более века Англия служила арбитром Европы: ей под силу было не позволить другой державе занять первое место. В этот период она контролировала все моря планеты, могла не допустить в них никого, если бы так решила, и через эти моря поддерживала постоянную связь со своей заморской империей. Вследствие этого она также заправляла мировой торговлей и могла получить в распоряжение любой рынок, по желанию или потребности. Но в 1918 г., одержав «победу» в Первой мировой войне, Англия обнаружила, что теперь должна делить моря с Америкой и Японией. Ее торговое превосходство закончилось, а военно-политическая власть постепенно стала уменьшаться в пользу внешних сил. Германия проиграла в военном смысле,

но все-таки потеряла гораздо меньше, чем Англия, поскольку ее владения изначально были не такими большими. Настоящими, *политическими* победителями стали Япония, Россия и — в чисто поверхностном смысле — Америка. Западная цивилизация проиграла по-крупному.

Здесь мы сталкиваемся с далеко идущими политическими последствиями войны. Мировых проблем в 1914 г. было две: внутренняя проблема зарождающегося этического социализма и внешняя проблема, связанная с нарастанием всемирного восстания против Запада. Как они были решены? Внутренняя проблема решилась единственно возможным способом, который соответствует в данном случае органическому развитию: социализм восторжествовал над капитализмом, и чем дальше в прошлое уходила мировая война, тем более очевидным это становилось. Парламентско-капиталистически-материалистический способ мышления и действия не мог совладать с новой мировой ситуацией и ее организационными проблемами. Болезнь распространилась на европейскую жизнь — духовную, политическую, социальную, экономическую. Эту болезнь можно было вылечить только новым подходом ко всем этим проблемам в русле этического социализма. Великая внешняя проблема, связанная с войной, была решена не в пользу Запада. По всему миру начались угрожающие волнения подчиненных популяций. Основания империй, принадлежавших европейским нациям старого образца, шатались и трещали по швам.

Где европеец раньше командовал, теперь он должен был упрашивать и обещать. Где раньше он мог передвигаться свободно и гордо, теперь ему следовало быть осмотрительным и опасаться бунта, а в личном плане — внезапной смерти. Оседлание после Первой мировой войны западной нации варварскими оккупационными войсками подкрепило и усилило внешний мятеж против Запада. Варварам позволили важничать перед белым человеком. Антизападная активность вспыхнула по всему миру: в Южной Америке, Мексике, Ост-Индии, исламе, Японии, Китае, *России*. О чем это говорило?

Непременным условием господства Запада над всем внешним миром была политическая *пассивность* подчиненных народов. После Первой мировой войны по всей азиатско-африканской континентальной массе подданные стали активны и начали волноваться, бунтовать, сопротивляться, бойкотировать, саботировать, требовать, надеяться и ненавидеть. *Война подорвала основания западного миропорядка.*

Третий итог Первой мировой войны был столь же масштабным: старый духовный уклад был сметен, истаяли все духовные основания XIX века: экономический индивидуализм, парламентаризм, капитализм, материализм, демократия, денежное мышление, торговый империализм, национализм и мелкодержавность. Символом конца капитализма и национализма стала созидательная деятельность и гений Бенито Муссолини, который, невзирая на кажущееся всемирное торжество идей XIX века, продемонстрировал организационную волю и внутренний императив XX века, направленные на возрождение авторитета и этический социализм. Как раз когда материалистические идеологи забавлялись логическими упражнениями в межнациональной политике и создавали глупую и бесполезную Лигу Наций, этот провозвестник будущего игнорировал мертворожденный абсурд Женевы и возродил волю к власти и героизм западного человека. На фоне пеанов в адрес «демократии» Муссолини объявил, что она мертва.

Слово *национализм* поменяло свой смысл после Первой мировой войны. Вместо пререканий по поводу границ и ура-патриотизма теперь оно подразумевало идею западного единства. «Националисты» всех стран видели ключ к своему благополучию в европейском единстве, отказе от внутриамериканских войн, что автоматически привело бы к созданию нового политического организма.

Первая мировая война практически покончила с прежней мелкодержавностью Запада, хотя в то время это еще не стало исторической очевидностью. Ни одна из бывших западных «наций» не обладала достаточной политической силой, чтобы схлестнуться с внешними политическими противниками. Иными словами, каждая перестала быть политической единицей, способной выдержать великую всемирную битву. Но своего единства они еще не осознали, поэтому внешний мир мог продолжать действовать в прежнем духе наращивания антизападной активности, которую всколыхнула война.

Вторая мировая война

Первая мировая война стала провалом в решении двух великих проблем, составлявших ее подлинную историческую повестку дня. Вопрос «капитализм против социализма» она решила в пользу мнимой и материальной победы капитализма,

который олицетворял прошлое и был неспособен формировать будущее. Другими словами, результатом войны стало чисто политическое отрицание зарождающегося духа этического социализма. Вопрос мирового восстания она решила в пользу внешних сил и в ущерб западной цивилизации. Этот результат был исторически ложным, поскольку не отражал великих духовных реалий. В действительности дух Запада тогда еще только входил в свою величайшую империалистическую фазу, обладающую необходимой материальной силой для актуализации внутреннего императива неограниченного и авторитарного *политического* империализма. Исторически ложный результат войны не соответствовал этим великим духовным основаниям, но создал впечатление, что Запад устал и сдает свои мировые позиции, а внешний мир накопил достаточно энергии для свержения вчерашнего западного владыки.

В своем третьем великом итоге — полном устранении духовных основ XIX века — война также потерпела крах, поскольку эта грандиозная трансформация произошла только в глубинах, а на поверхности истории идеалы и лозунги мертвого прошлого продолжали слетать с уст одинаково глупых лидеров, поднятых со дна войной. Эти идеалы дошли даже до комизма, что было непредставимо в XIX веке. Несмотря на трагический смысл Лиги Наций как символа победы варваров над Западом, она была просто огромным всемирно-историческим посмешищем.

Однако судьба неотвратима, и дух социализма, проникнутый возрождением авторитета и юной волей к власти, неуклонно шел вперед. Одну за другой этот дух новой эпохи захватывал бывшие европейские державы. Только вмешательство двух внешних режимов, Москвы и Вашингтона, воспрепятствовало полному внутреннему умиротворению Европы. Как показал политический анализ, это внутреннее умиротворение автоматически означало бы создание новой политической общности — Европы, то есть цивилизации Запада, устроенной как политико-экономико-духовно-культурно-национально-военная единица.

Державы, существовавшие в XIX веке, в конечном счете были всего лишь зрителями во всемирной схватке. В 20—30-е гг. XX века новыми хозяевами мировой ситуации стали Россия, Америка и Япония. Таково было наследие Первой мировой войны, которую всеобщая слепота довела до того, что союзники Англии восторжествовали над Англией, а также над Германией-Пруссией.

Установление абсолютной диктатуры культурного дистортера в Америке позволило этой державе помешать умиротворению Европы, необходимому как прелюдия к ее возвращению в статус единоличного мирового господина, который она занимала в 1900 г. Средствами парламентско-финансовой пропаганды культурная дисторсия поставила часть Европы под контроль Вашингтона и предопределила форму Второй мировой войны.

Европейская революция 1933 г. высвободила самую грандиозную духовную силу, известную истории — Судьбу, действующий Дух времени, принесший французским армиям победы в сотнях военных сражений по всей Европе с 1790 по 1815 г. Этой судьбе не могли воспротивиться никакие внутренние культурные силы. Чтобы победить Наполеона, понадобилось призвать Россию, и даже тогда «победа» была только поверхностной, поскольку Наполеон являлся символом разрушения основ XVIII столетия. Эти основы не могли быть реставрированы, несмотря на то что господа на Венском конгрессе полагали это возможным.

По форме начало Второй мировой войны соответствовало началу Первой. С виду она казалась локальным конфликтом между двумя европейскими державами вчерашнего дня. Однако глубинная подоплека этой войны была иной. Даже противоборство между капитализмом и социализмом, которое, казалось, олицетворяла эта война, не было актуальным, поскольку вопрос уже был решен в пользу социализма. Альтернативой социализму был не капитализм, а хаос.

Касаясь реальных проблем Второй мировой войны, следует подчеркнуть, что в период 1918—1939 гг. идея XX века восторжествовала по всему Западу, и только вмешательство внешних сил, базировавшихся в Москве и Вашингтоне, подорвало фундамент общеевропейского единства. Во внешнем мире восстание против Запада приобрело пугающие размеры: в Индии, Китае, Японии, исламе, Африке, Мексике, Центральной и Южной Америках, на Карибах, в Ост-Индии и прежде всего в *большевистской России*. Это развитие внешних событий Первая мировая война ускорила, вместо того чтобы предотвратить и свести на нет, как предполагало действительное распределение военных сил. В результате на первый план мировой арены вышли масштабные волнения за пределами Европы. Подавление этого внешнего восстания и восстановление империалистической силы Запада стало основной проблемой мировой ситуации в 1939 г. За этим шел вопрос о за-

вершении объединения Запада через устранение неевропейского влияния с его родной почвы.

Тем не менее благодаря американской революции 1933 г. и захвату власти в Америке культурным дистортером война началась в губительной форме как схватка двух бывших европейских держав. Группа культурного дистортера исполняла свою прежнюю миссию отмщения Западу за тысячелетние обиды и гонения, но особенно разгорячилась в связи с беспрецедентной раной, нанесенной ей возрождением европейской исключительности в ходе Европейской революции 1933 г. Антисемитизм впервые стал столь же тотальным, как и семитизм. Простой социальный антисемитизм поощрялся культурным дистортером, поскольку спланировал его адептов. Но культурный антисемитизм подрывал власть дистортера в пределах Запада. Перед лицом этой угрозы культурный дистортер готовился к войне, которую при необходимости намеревался вести до физического уничтожения западного мира. Он разработал бессодержательную формулу, совершенно новую в западной истории — «безоговорочная капитуляция». Эта формула выходит за пределы политики. Политика нацелена на *политическую* капитуляцию, а не на персональное унижение, лишение жизни, чести, ранга, потерю человечности и благопристойности.

Форма, в которой началась война, обрекала решение ее основного вопроса на неудачу. Восстание внешних сил против Запада временно затмила самоубийственная схватка друг с другом белых западных солдат, и все они полегли ради поражения Запада и триумфа внешних сил.

Кто выиграл Вторую мировую войну? В военном смысле — прежде всего Америка и Россия, поскольку по завершении войны они поделили между собой мир. Половиной политического мира, в основном в северо-восточном квадранте планеты, овладела Россия, а вторая половина досталась Америке. Но, как нам уже известно, Америка отказалась от значительной части своей военной победы, поскольку сила, руководившая американской политикой, не была американской и не следовала западной стратегии имперского строительства. Эта сила способна была только исказить американскую политику.

Во-вторых, в политическом смысле выиграла Россия и, возможно, Япония. Америку нельзя назвать политическим победителем, поскольку после войны она постоянно теряла власть. Страна, переданная на попечение абсолютных культурных чужаков, не может одержать политическую победу: каких бы во-

енных побед она ни добивалась, они пойдут на пользу только чужаку, а не подчиненной ему нации. Это заложено в природе отношений хозяина и паразита, и Америка служит тому примером. Россия, однако, во всех отношениях неизмеримо выиграла в силе благодаря своей «победе», завоеванной для нее американскими войсками. Российская власть повсеместно окрепла в результате войны, и это единственная держава, которую определенно можно назвать победительницей. Однако не исключено, что через пару десятилетий победительницей окажется и Япония, хотя, естественно, такой вывод можно сделать только с оглядкой на сопутствующие события. Во всяком случае, благосклонная и протекционистская американская оккупация, позволившая восстановить японскую экономику и политический режим, может достичь такой точки, когда оккупант обнаружит, что сложились новые властные отношения.

В-третьих, в духовном смысле великий коллективный победитель — это мировое восстание против Запада. Его возглавляет архитектор войны, культурный дистортер. С вершины горы европейских тел он может видеть свою миссию отмщения полностью выполненной. За его спиной — дух азиатского большевизма, который теперь помыкает «прогнившим Западом», как именовали русские литераторы XIX века ненавистную им Европу. Далее повсюду расположились внешние силы, окрыленные надеждой и долгожданным уходом Запада, который они успешно ускоряют. В Индии, Египте, Китае, Ост-Индии они выдвигаются вперед, а белый человек постепенно отступает.

Это победители. Кто же побежденные?

В первую очередь это Европа, родина Запада. Организм западной цивилизации проиграл войну настолько же несомненно, насколько Россия выиграла. Миллионы погибших в боях, сотни тысяч убитых в своих домах американскими военными в ходе акций против гражданского населения, миллионы заморенных голодом и холодом во время американо-российской оккупации, миллионы тех, кто продолжает от этого страдать — все они умерли и умирают ради победы азиатской России, культурной дисторсии и всемирного восстания против Запада.

Ужасная реальность поражения Запада обнажает еще один аспект Второй мировой войны — экономический. Как уже говорилось, *политическим* базисом западной монополии на мировое господство перед Первой мировой войной, в 1914 г., была политическая пассивность подданных народов. Ее *экономическим* базисом была промышленно-техническая исключительность за-

падной цивилизации. Сотни миллионов населения небольшой территории Европы живут там благодаря тому, что экономическая монополия позволяла им обеспечивать себя за счет импорта продуктов питания. Этот импорт и чрезвычайно высокий западный уровень жизни поддерживались производством промышленных товаров для внешних рынков. Многим сотням миллионов в Азии и Африке приходилось удовлетворять свои потребности в промышленных изделиях за счет западной цивилизации. Но первые две мировые войны полностью изменили эту ситуацию. Гигантские промышленные зоны были построены по всему внешнему миру, поэтому восстание против Запада носит не только *политический*, но и *экономический смысл*. Это означает, что Запад лишился не только власти, но и средств к существованию. Великая проблема Второй мировой войны — реставрация западного мирового господства — имела также и *экономический* аспект. *Это была борьба за биологическое существование более 100 миллионов европейцев.*

Таким образом, мировая ситуация в данный момент не сводится только к борьбе за власть, которая является вполне естественным и всеобщим явлением природы, но демонстрирует крайне нехарактерную, отвратительную и позорную *борьбу за физиологическое выживание.*

Войну проиграла не только Европа, но и американский народ. После революции 1933 г. этот народ работал, производил и экспортировал. Он пожертвовал свои сокровища и сотни тысяч своих сыновей; он слепо подчинился культурно чуждым лидерам, которых не выбирал, а послушавшись их, затянул пояса и разменял свою душу, ничего не получив взамен — ни духовного, ни материального. Но время жертв еще не закончено. Он еще многие годы будет расплачиваться за проигрыш во Второй мировой войне. В американском кубке «победы» был яд для американской души.

Россия

I

Участие России как политической единицы в истории Запада начинается с Петра Великого. До этого она была вовлечена только в политическое состязание со славянскими государствами, граничащими с культурной территорией Запада. Столетиями до

Петра в России всегда сосуществовали два образа мысли: один отражал чувства широких крестьянских масс и людей с сильными инстинктами, другой заключался в более рассудительном желании усвоить западные формы мышления и деятельности и навязать их славянской популяции. Последний был характерен для небольшой прослойки физических потомков варягов, вторгшихся в Россию из Скандинавии во времена Карла Великого и время от времени приглашавшихся из Швеции и Германии для обновления крови. Вместе с этим слоем Петр взял верх над «старорусской» фракцией и потащил упиравшуюся Россию в сообщество западных наций.

Ни ему, ни династии Романовых после него так и не удалось внедрить западные идеи в русскую душу. Россия, подлинная духовная Россия, остается *примитивной и религиозной*. Она ненавидит западную культуру, цивилизацию, нации, искусство, государственные формы, идеи, религии, города, технологию. Эта ненависть естественна и органична: данная популяция находится за пределами западного организма, поэтому все западное враждебно и смертельно для русской души.

Подлинная Россия — это именно та, которую пытался переделать Петр. Это Россия Ильи Муромца, Минина, Ивана Грозного, Пожарского, Филофея Псковского, Аввакума, Бориса Годунова, Аракчеева, Достоевского, скопцов (the Skoptski) и Василия Шуйского. Это Россия Москвы как «Третьего Рима», мистического наследника Рима и Византии. «Четвертому не бывать», написал монах Филофей. Эта Россия отождествляет себя с человечеством и презирает «прогнивший Запад».

В силу примитивности России ее духовность сосредоточена вокруг инстинкта, поэтому даже в рационалистически-эгалитарном XIX веке она была страной погромов. Русский чувствовал полную чуждость культурно-государственно-национально-церковной еврейской расы, и царский режим провел черту оседлости, ниже которой имели право селиться ее представители.

Верхняя Россия, чей европеизированный слой заигрывал с западной материалистической философией, разговаривал на немецком и французском, ездил на минеральные воды в Европу и следил за европейской кабинетной политикой, был объектом открытой ненависти со стороны чистых русских — нигилистов, воплощавших немую идею полного уничтожения Запада и русификации всего мира. Выразалась ли эта великая разрушительная идея в религиозной форме как утверждение единственной

истины восточного православного христианства, в более поздней политической форме как славянофильство и панславизм, или в сегодняшней марксистско-большевистской форме — она заряжена все тем же внутренним императивом, требующим разрушения всего западного, губительного для русской души.

Большевистская революция ноября 1917 г. стала политической эпохой как для России, так и для Европы. Возможность такой революции в этой стране, конечно, всегда существовала, о чем свидетельствуют бунт Пугачева при Екатерине Великой, многочисленные политические убийства в XIX и XX веках, громадное подполье, изображенное в произведениях Достоевского, внушительная тайная полиция и шпионская сеть. Произшедшая революция фактически имела две стороны: это был бунт примитивной русской души против европейского режима Романовых и всего, что он олицетворял, и одновременно — приход к руководству этим бунтом еврейской культурно-национально-государственной расы. Необходимое финансирование было получено из Нью-Йорка от представителей американской группы культурного дистортера.

Культурная дисторсия влияет на русскую политику не настолько сильно, как в Америке (по крайней мере, на внешнюю политику), поскольку конечная цель России совпадает с целью культурного дистортера: уничтожение западного врага. Тем не менее это влияние присутствует и в значительной степени определяет политику этой страны. Для сохранения своей власти в России дистортер пользуется как тонкими, так и грубыми средствами.

Двойственность большевистской революции означала, что одна ее сторона потерпела неудачу — примитивная, азиатская, инстинктивная сторона. Целью русской компоненты революции было устранение *всех* западных институтов, идей, форм и реалий. Поэтому она стремилась искоренить западные технологические и экономические формы и другие аспекты, сближавшие Россию с Западом. Ей это не удалось, поскольку большевистское меньшинство энергично занялось индустриализацией России для подготовки серии войн против ненавистной Европы.

В период 1918—1939 гг. политика России за рубежом осуществлялась при помощи ее международной организации — Коминтерна, объединявшего все коммунистические партии западной цивилизации. Политические цели дистортера и подлинной России совпадают: это подрыв Запада изнутри с помощью остатков старомодного мировоззрения XIX века в его самых

дегенеративных формах: классовой войны, тред-юнионизма, финансовых махинаций, пацифизма, парламентаризма, демократии, упадочных искусств и литературы, разложения традиционного общества.

Эта внутренняя подрывная деятельность, разумеется, должна была стать прелюдией к тотальному господству. Для этого предполагалось перейти к военному этапу в тот момент, когда внутренняя гниль исключила бы возможность сопротивления, но европейская революция 1933 г. лишила подобную тактику всех перспектив. Своим уверенным и энергичным утверждением основных инстинктов и всемирной миссии Запада она расстроила подрывные планы, поскольку исключительность, свойственная Западу XX столетия, органически неподвластна ничему культурно чуждому.

Развязывание Второй мировой войны в 1939 г. было осуществлено обосновавшимся на Западе культурным дистортером в сотрудничестве с большевистским режимом Москвы. Большевики рассчитывали на то, что война в Европе обескровит ее до такой степени, что русские армии смогут оккупировать весь Запад сравнительно небольшими военными силами и установить на его руинах всемирную власть «Третьего Рима».

Сразу это не получилось, и в один из моментов Второй мировой войны большевистский режим чуть не оказался в Нью-Йорке. Однако в итоге американская группа культурного дистортера организовала тотальную интервенцию Америки, благодаря которой Россия была не только спасена, но одержала военную победу, сделавшую ее хозяином величайшей в мировой истории империи с непрерывной территорией и, более того, занимающей господствующее положение в политическом центре мира — северо-восточном квадранте планеты.

II

Итак, есть две России: большевистский режим и настоящая Россия под ним. Большевизм с его поклонением западной технологии и глупой иностранной теорией классовой войны не выражает подлинную душу России. Она вырвалась на поверхность в стрелецком бунте против Петра Великого и Пугачева против Екатерины Великой. В ходе бунта Пугачев и его крестьяне убивали всех офицеров, чиновников и дворян, попавших к ним в руки. Все, имевшее отношение к Западу, жглось и разрушалось.

К массовому движению присоединялись целые племена. Оно продолжалось три года, с 1772 по 1775-й, и одно время опасность нависла над самим Московским двором. Преданный суду после поимки, Пугачев объяснил, что исполнял Божью волю, карая Россию. Его дух все еще там, поскольку он ограничен и неистребим и должен себя выражать. Это дух азиатского большевизма, теперь облаченный в большевизм московского режима с его технико-экономической одержимостью.

Здесь уместно сказать о той роли, которую большевистская идеология играет в современной мировой ситуации. То, что западная цивилизация отождествляет Россию с теорией классовой войны, само по себе является триумфом российской пропаганды. Теории в политике играют роль *средства*. Политика есть деятельность в отношении власти, а не рассуждение, дискуссия или доказательство. Любой европеец, полагающий, что Россия испытывает некоторого рода желание реформировать общество или экономику за счет предоставления преимущества тому или иному классу, обнаруживает свою полную неспособность к политическому мышлению. Столь же неверно думать, что Россия добивается переустройства всего мира на тех же экономико-социально-политических принципах, которые она применяет у себя. Российская миссия заключается в разрушении Запада, и любые внутренние потрясения на Западе способствуют этой миссии. Классовая война, расовая война, социальная дегенерация, безумное искусство, декадентские фильмы, дикие теории и философии всех мастей помогают этой масштабной российской программе. Коммунизм — всего лишь одна из них, но если завтра более эффективной окажется другая теория, она его заменит.

Идеал коммунизма как теоретическая программа реорганизации общества не соприкасается с миром фактов — ни в России, ни в Америке. Коммунизм, которого приходится бояться Западу, существует в двух ипостасях, ни одна из которых не имеет отношения к теории: первая — классовая война, вторая — коммунистическая организация. Первая имеет вполне естественный характер, поэтому может быть побеждена только идеей этического социализма XX века; в преддверии своего конца она служит российским целям ослабления и дезинтеграции Запада изнутри. Коммунистическая организация на Западе — это прямой агент Москвы, выполняющий ее политические команды.

В данный момент, в 1948 г., у России остался единственный военный враг — это Америка, уступающая ей во всех отноше-

ниях, кроме технического. Российским оружием против Америки является внутренняя подрывная деятельность в виде пропаганды и социальной дегенерации. Эти методы в данном случае действенны по причине полной духовной несовместимости между подлинной душой американского народа и верхним слоем культурного дистортера. Эффективность материалистической пропаганды XIX века и крайне безумных социальных идеалов обусловлена в Америке культурной ретардацией.

Присутствие дистортера в России подтверждается тем фактом, что представители этой группы непропорционально представлены в управляющем слое, а также уголовным преследованием за антисемитизм, и прежде всего российской политикой в отношении Палестины. На протяжении четырех лет (1944—1948) российская политика по всем пунктам отрицала американскую, кроме вопроса о разделе Палестины как части исламского мира, по которому московский режим поддерживал мировую политику еврейской культурно-государственно-национальной расы, что противоречило империалистическим интересам России.

Природу культурной дисторсии, как всего лишь болезни, вновь подтверждает современная ситуация. Несмотря на параллели между внутренним положением России и Америки, они приближаются к войне друг с другом, то есть идет подготовка к Третьей мировой войне. К ней подталкивают природа политики и политическая сторона человеческой природы, а присутствие активных чужеродных групп в этих современных политических державах играет только подчиненную роль в данном кардинальном факте. Эти группы заинтересованы только в том, чтобы организовать войну без ущерба для собственных позиций в мире. Стратегическое положение России относительно Америки значительно более выгодно. Во-первых, неценное преимущество России дает главный первичный факт ее географического положения. Северо-восточный квадрант, как уже говорилось, является ключевым для контроля над миром в эпоху абсолютной политики. Россия лежит в этом квадранте, тогда как Америка находится даже за пределами *политического* мира, который расположен в Восточном полушарии как основном источнике власти, вшестеро превосходящем в этом смысле Западное полушарие.

Северо-восточный квадрант в военном отношении контролируется частично российскими, частично американскими войсками. Российские владения континуальны и едины. Российский дипломатический метод заключается в терроре, военной оккупа-

ции, похищениях и убийствах. Американский метод состоит в дегенеративной пропаганде, марионеточных режимах, осуществляющих собственный террор, и финансовых захватах. Метод, которым пользуется Россия, обеспечивает ей полное преимущество. На войне сражаются солдаты, а не деньги, а дипломатия нужна только для подготовки войны и пользования ее результатами. Поэтому финансы служат лишь подспорьем для военных средств, дополняют их.

Американские владения в северо-восточном квадранте куплены такой ценой, которая никогда не сможет быть окончательно выплачена. Они удерживаются за счет содержания марионеточных правительств, рекрутированных из самых недостойных слоев Европы — партийных политиков, продающихся за деньги. Поэтому, если бы в американских зонах Европы восстал самый сильный и благородный слой, с американским господством было бы сразу покончено, тогда как восстания в российской зоне в сегодняшних условиях были бы потоплены в крови. Разумеется, в конечном счете американская финансовая дипломатия держится на американских штыках, но американские умы по-прежнему питают опасную иллюзию о важности финансовых средств.

Российская дипломатия работает на престиж России, тогда как американская дипломатия возбуждает в подчиненном населении надежды на материальную выгоду и потворствует самым низменным инстинктам — алчности и лени. Америка организовала гигантский карнавал повешений под вывеской «военных преступлений», предназначенный для сведения старых семитских счетов. Россия судит побежденных индивидов с учетом их настоящей и будущей пользы для реализации русских планов и не интересуется их прошлыми поступками. Однако если бы Россия занялась расправами за «военные преступления», американцы могли бы у нее поучиться. В этом смысле показателен прецедент «суда» над Флоринским в ходе красного террора в Киеве летом 1919 г. Профессор Киевского университета Флоринский был обвинен в антисемитизме. Раздраженная его непокорностью, одна из судей, Роза Шварц, выхватила револьвер и застрелила Флоринского прямо во время «процесса».

Расположение России в северо-восточном квадранте дает ей возможность более эффективно применять стратегические принципы концентрации и экономии силы. С другой стороны, удаленность Америки вынуждает ее содержать огромный военно-морской флот, дающий возможность доставлять солдат на поле боя.

Против Америки Россия обладает преимуществами внутренней линии (inner line).

Теперь можно сделать заключительные замечания о России, ее миссии и потенциале. Россия — не Запад; ее империализм — это чистый негатив неограниченного организующего западного империализма. Поэтому миссия России в отношении Запада чисто деструктивна. Россия не является для Запада источником утопических надежд, и любой, кто в них верит, является культурным идиотом. Россия внутри раскола, ее верхушка не выражает подлинную азиатскую религиозную и примитивную душу, но является технократической карикатурой на петровскую власть, в связи с чем существует внутренняя возможность того, что однажды этот режим последует за Романовыми. Раскол может быть использован против России точно так же, как она пытается использовать против своих политических оппонентов тактику внутренних революций. Такая тактика была успешно применена Западом против режима Романовых в 1917 г. Благодаря своему географическому положению на границе с Западом, Россия и должна, и будет всегда оставаться его врагом, до тех пор, пока ее население организовано как политическая единица.

Япония

Превращение Японии в мировую державу было одним из результатов американского торгового империализма образца XIX столетия. Она «открылась», по лицемерной терминологии, всегда сопровождающей дух торговли, в 1853 г. после канонады американского флота. По причине технической отсталости японский император сразу сдался. С тех пор развитие Японии пошло путем имитации материальных технологий Запада и методов западной дипломатии. Следует отметить, что она добилась значительных политических успехов, изучив искусство возможного, которое практиковала с неизменным успехом. Менее чем за поколение после своего «открытия» Япония обеспечила себе плацдарм на Азиатском континенте. Ее лидеры поняли, что политическая держава мирового уровня не может базироваться на перенаселенных островах, но должна получить контроль над континентальными землями и их населением, как Британская империя в Индии. К последнему десятилетию XIX века Япония была готова к войне. В войне с Китаем она добилась успеха и расширила свою континентальную базу. К 1904-му

она сочла ситуацию благоприятной для начала войны против величайшей западной континентальной державы — в то время Россия фигурировала в мире как член западной системы государств. Из этой второй великой войны Япония вышла победителем как с военной, так и с политической точки зрения. Ее умная политическая традиция сумела воспользоваться военной победой. В 1914 г. она верно выбрала для атаки самый слабый из национальных гарнизонов на Дальнем Востоке и практически без военных усилий овладела всей дальневосточной частью Германской империи. Ее континентальный оплот постоянно расширялся. После Первой мировой войны она потерпела дипломатическое поражение от Англии и Америки и заняла выжидательную позицию.

Более чем три четверти столетия, с 1853 по 1941-й, Япония не совершала политических ошибок. Это замечательное достижение в мировой истории, и она приобрела сильную и уверенную национальную традицию лидерства. Эта традиция подкреплялась примитивной религиозностью Японии, верящей в чело-вечность Бога, божественность императора и священную миссию Дай Ниппон.

В 1941 г. японское правительство столкнулось с новой политической ситуацией. В войне между Западом и Россией она чисто политически была заинтересована в победе Запада, в результате чего континентальный плацдарм Японии расширился бы до гигантских пределов — границ Индии, Тибета и Синьцзяна. Но другая западная держава, Америка, владела в сфере японской экспансии частью континента, тысячами островов, могучим тихоокеанским флотом и была настроена уничтожить Японию, которая, предоставив Европе сражаться с Россией, решила посвятить весь свой милитаризм войне с Америкой. Это не было безусловной ошибкой, поскольку нельзя быть уверенным, что Америка не вмешалась бы сама, если бы Япония сцепилась только с Россией. Но по идее лучше атаковать державу, уже сражающуюся за свою жизнь, чем развязывать войну с новым противником. Тогда любое возможное нападение с третьей стороны может расцениваться как сдерживание агрессора, тогда как атакуемая держава такой возможности лишена.

Как бы то ни было, Вторая мировая война завершилась мирным договором между Японией и Америкой. Японская нация, государство, император и учреждения были сохранены, армия с честью расформирована, а американские войска допущены к оккупации Японии. Это решение было исполнено с религиоз-

ной дисциплиной. При этом японские лидеры, нация и индивиды сохранили свое восточное лицо, поскольку всего лишь повиновались своему богу-императору, повелевшему принять новые условия. Американское технологическое превосходство, послужившее причиной дисциплинированного разворота от вражды к отношениям учителя и ученика, за несколько дней вернуло Японию в духовное состояние 1853 г.: какое-то время придется учиться. Америка снова будет передавать ей мастерство, необходимое для того, чтобы стать мировой державой. Американские войска представлялись слугами императора, [нанятыми им] для инструктирования своего народа.

Со стороны европейцев было бы смешно надеяться, что самурайская традиция за неделю исчезла. Могло ли такое произойти в японской нации с ее духовной интеграцией и прочностью, в нации, родившей нескончаемую череду пилотов-камикадзе, в нации, генералы которой сдавались, чтобы спасти жизни своих воинов, а затем совершали харакири? Думать так, значит не понимать ни истории, ни ее неумолимой безмолвной силы — судьбы. У души японского народа есть судьба. Только ее миссия, как у России и других неевропейских сил, состоит в отрицании и разрушении Запада.

Даже координированная и интеллигентная американская политика по отношению к Японии не может ничего поделать с этой душой, кроме как попытаться монополизировать средства ее военно-политического самовыражения. Но проистекающая из культурной дисторсии американская политика, направленная на восстановление и помощь японской традиции, отстаивание и укрепление японской духовности, неимоверно усиливает Японию и дает ей надежду на будущее. Каким оно будет, сказать трудно. Американская революция могла бы круто развернуть ход событий. Тем или иным образом на него могла бы повлиять Третья мировая война. Поскольку Япония находится в потопленном состоянии, ее собственная воля мало чего стоит.

Япония всегда останется врагом Запада, поскольку к нему не принадлежит, а движущей силой в нашу эпоху абсолютной политики является культура. В великом духовном разделении мира Япония не на стороне Запада. Она практически не угрожает Европе благодаря географической удаленности, но ее близость к Австралии делает американо-японский конфликт более реальным, поскольку культурный долг велит Америке защищать Австралию, ведь бестолковая западная дипломатия полностью лишила Европу влияния в этом регионе.

Япония отличается от Индии и Китая своей интегрированностью. Политика есть столкновение одной воли с другой. Индия и Китай как таковые волей не обладают. Они являются не органическими единицами, но только совокупностями территорий и населения, для удобства называемых одним именем. Их негативная воля распределена между всеми индивидами, тогда как воля Японии сконцентрирована и артикулирована в национально-несущем слое. Поэтому у Японии есть потенциал державы будущего, а Индия и Китай всегда будут добычей для внешних держав.

Для Европы и ее будущего более важна Америка, чем внешние силы, и далее мы рассмотрим ее удаленное положение, планы и возможности.

Америка

Вооруженные силы под командованием вашингтонского режима контролируют Северную и Западную Европу, часть Юго-Восточной Европы, все Средиземноморье, часть Ближнего Востока и Дальний Восток, а также всю Центральную Америку и большую часть Южной Америки. Вдобавок этот режим контролирует весь мировой океан. Обширность американской империи не дает ей преимуществ из-за ее разбросанности. Физическая удаленность Америки от политического мира — первый недостаток этой империи. Второй — отсутствие имперского мышления у ее правителей. Третий — старомодная финансовая дипломатия как единственное звено, удерживающее вместе огромные территории. Четвертый — сильнейшее внутреннее напряжение, порожденное расколом между подлинной душой американского народа и культурно чуждым режимом.

Первый недостаток заставляет Америку прилагать, в целях мирового контроля, гораздо больше военных усилий против России, чем может себе позволить в ответ Россия. Слабость американской империи не осознается в Америке, где из-за полного неведения относительно современных властных отношений сохраняется вера XIX века в превосходство морской державы над континентальной. Наверное, эта вера на что-то опиралась, когда весь азиатский континент (hinterland) был политически пассивен, и контроль над несколькими плацдармами и силовыми точками побережья автоматически обеспечивал доступ и контроль над всем континентом. Но теперь, в условиях внешнего восстания

как отражения определенной стадии развития западной цивилизации, когда все ранее покорное население мира политически взбудоражено и активно, сухопутная мощь играет главную роль по сравнению с морской. Последняя обеспечивает только коммуникации и транспорт, тогда как исход борьбы за власть решает *сражение*. Для него нужна *армия*, и если Россия может сосредоточить всю энергию в сухопутных силах, то американское обладание гигантской морской мощью есть лишь *предварительное условие* для вступления в битву за мировое господство. Вдобавок самое надежное в военном отношении население Российской империи в полтора раза более многочисленно, чем таковое Американской империи, и российский уровень рождаемости первобытно высок, тогда как американский боеспособный контингент идет на убыль.

Другой аспект указанного недостатка Американской империи — это ее расчет на технологическое превосходство. Это еще одна форма заблуждения морской державы, полагающей, что сила может определяться не войском. Оружие на поле боя — только вспомогательное средство; первостепенным, как и всегда, является дух. Против этого основополагающего факта жизни не выстоит никакое оружие. Техническое превосходство в итоге бессильно, если не подкрепляется превосходящей волей к власти и победе. Оружие, принесшее военную победу, может впоследствии оказаться беспомощным против страны, оккупированной солдатами «победившей» державы, которая потерпела политическое поражение.

Второй недостаток Американской империи в том, что такая культурная болезнь, как ретардация, воспрепятствовала развитию в Америке настоящего имперского мышления. Имперское мышление не может развиваться в стране, пропитанной пацифистской пропагандой, одержимой наслаждениями как содержанием жизни и интеллектуальной посредственностью как духовным идеалом. Имперскому мышлению не способствуют ни канитель с Лигой Наций, ни слюнвявый идеализм любого сорта, и в еще меньшей степени — слепая ненависть как основа внешней политики. Но в американской внешней политике все это присутствует. В Америке нет ни слоя населения, ни группы, ориентированной на что-либо, кроме самообогащения. Нет ни самураев, ни Коминтерна, ни Общества Черного Дракона, ни дворянства, ни идеи, ни нации, ни государства.

Имперское мышление не разовьется на том основании, что внутренний культурный чужак хочет использовать бездейтельное

американское население как биологический материал для реализации своего императива отмищения западной цивилизации. Оно должно спонтанно появиться в высших слоях, но именно потому, что таких высших слоев, как руководящей элиты, в Америке нет, настоящее имперское мышление не может возникнуть здесь в ближайшем будущем.

Третья слабость, состоящая в полагании на марионеточные режимы, обеспечиваемые в первую очередь финансовыми средствами и только во вторую очередь военным снаряжением, является еще одним результатом культурной ретардации. Финансовый метод завоевания устарел. Наступила эпоха абсолютной политики, когда власть более не может ни покупаться, ни служить средством обогащения. Всякого, кто не осознает духа этой эпохи, внезапно сметут грандиозные события, которых он не предвидел. Финансовая дипломатия в эту эпоху — просто глупость.

Четвертый недостаток — это внутренняя напряженность в самой Америке. Будущее американского национализма в духовном плане вполне очевидно: он будет участвовать в борьбе за восстановление американцами контроля над собственной судьбой. Эта борьба проистекает из органической природы вещей. Хозяин и паразит враждуют, и вражду нельзя отменить. Как, когда и в чем будет достигнут первый успех — все это непредсказуемо.

В любом случае Европа должна увидеть и глубоко осознать, что обе оккупационные державы, Америка и Россия, внутренне расколоты по горизонтали. В обеих правящий слой по природе духовно чужд огромным массам подчиненных народов. Это первичный, элементарный факт. Он важен для широкого осмысления мировых возможностей, не связанного с оптимизмом и пессимизмом, опасениями и бравадой, ликованием и отчаянием. В свете европейских интересов эти державы отличаются тем, что подлинная Америка входит в состав западной цивилизации, а подлинная Россия всегда будет оставаться за ее пределами. Но в непосредственной, ближайшей перспективе, охватывающей только следующую четверть столетия, одна из них более опасна, чем другая.

Полная инаковость России осознается всей Европой, по горизонтали и вертикали. Под российской оккупацией даже европейские коммунисты скоро почувствуют себя в ситуации отчаянного непрерывного бунта против варваров. Европейский михелевский элемент с его нездоровым влечением к парламентской говорильне и корыстолюбию, питающий отвращение к жесткой, сильной прусско-европейской воле к власти, под плетью монгола расста-

нется со своим малодушием. Он должен будет стать европейцем. Не может и российская оккупация надеяться на вечное удержание Европы в подчинении. Во-первых, европейская воля и интеллект сильнее воли и интеллекта варвара. Во-вторых, варвару недостает человеческих ресурсов для порабощения западной цивилизации на данной стадии ее развития, когда внутренний императив отчеканен в форме воли к власти и к неограниченному авторитарному империализму.

С другой стороны, Европа в целом не понимает Америки. Даже в культурном слое Запада нет четкого представления о том, что Америка, которой управляет культурный дистортер, для Европы — абсолютный враг. Только развитие исторического мышления позволило Европе понять органическую природу культуры и культурной патологии. Теперь она впервые может увидеть двойственность Америки: внизу Америка Александра Гамильтона, Джорджа Вашингтона, Джона Адамса, пограничника, первооткрывателя, гарнизона Аламо. Сверху — Америка культурного дистортера с его монополией на кино, прессу, радио, следовательно — на ум и душу западной цивилизации. Воспользовавшись культурной ретардацией Европы, американский дистортер получил возможность разобщить европейцев и отделить их друг от друга по старым, отжившим националистическим лекалам XIX столетия. Его целям служит духовный раскол и балканизация Европы. Убивая «военных преступников», он демонстрирует санкции, которые применит против всех, кто воспротивится его целям.

Разное отношение России и Америки к Европе поэтому проявляется в том, что Россия, даже пытаясь расколоть Европу, может ее только объединить. Однако американская оккупация однозначно ведет к расколу, поскольку апеллирует к низшим слоям европейцев (sub-Europeans), отсталому михелевскому элементу — сребролюбивому, ленивому и тупому, потакая худшим инстинктам жителей Европы. Материальная разруха, сопровождающая русскую оккупацию, огромна; такое же разорение творят американцы. Какая разница для Европы, русские ли вывозят завод в Туркестан, или американцы его взрывают? Но в духовном отношении из двух оккупаций российская менее вредна. Ночные аресты, убийства, депортация в Сибирь никого не убеждают. Совершаемые американцами убийства «военных преступников» — это совершенно другая техника раскола Европы, одновременно реализующая мстительный императив культурного дистортера.

Террор

Отзываться плохо о своих врагах и не оказывать им заслуженной чести — это слабость и настоящее жестокосердие.

Фридрих Великий. Предисловие к «Истории Семилетней войны», 1764

В каждой из высоких культур универсальным и господствующим чувством было то, которое высказано в вышеприведенном мнении Фридриха II. Само по себе начало цивилизационного кризиса не привело к полной потере этого невыразимого чувства чести. Как бы ни были жестоки сражения или продолжительна война, в пределах одной культуры любой победитель всегда выказывал великодушие и уважение к своему вчерашнему врагу. В самой природе политики, реализуемой высокой культурой, заложено, что она ведется исключительно ради власти, а не ради послевоенного истребления индивидов — повешением или голодом. Если власть завоевана, значит цель достигнута, и неприятельские индивиды больше не считаются врагами, но просто людьми. За тысячу лет истории Запада, естественно, было несколько исключений — бесчестье существовало всегда. Но проявление злобы к поверженному противнику никогда не одобрялось в широком масштабе или длительное время, и оно было практически невозможным между двумя группами, принадлежащими к западной культуре.

Этот органический императив ярко продемонстрировали совсем недавние события. Когда в 1865 г. Ли сдался в Аппоматтоксе, то свирепый воин Грант, столь беспощадный на поле боя, показал себя великодушным и учтивым победителем. Пример Наполеона свидетельствует о том же органическом императиве, руководившем его победителями (captors) и после Лейпцига, и после Ватерлоо. А раньше, даже находясь с ним в состоянии войны, английское правительство предупредило его о готовящемся покушении. Аналогично после пленения Наполеона III Бисмарк позаботился о его безопасности и достойном отношении к нему.

Однако между державой, принадлежащей к высокой культуре, и представителями иной культуры подобные проявления чести никогда не были типичными как в ходе военных действий, так и при обращении с побежденным противником. Например, в готические времена церковь запрещала использовать арбалеты

против представителей западной культуры, но санкционировала их применение против варваров. В таких случаях противоборствующая группа не рассматривалась лишь как противник, но как настоящий *враг*, подобно тому как XX век снова пользуется этим словом в отношении контингента, не принадлежащего к западной цивилизации. Испанский военный трибунал, «судивший» последнего инку и приговоривший его к смерти, не чувствовал себя связанным по отношению к нему долгом чести. Если бы речь шла о западном лидере того же статуса, все было бы иначе. Тем более общность чести, возникающая в пределах одной культуры, не распространяется на чужака, не имеющего отношения вообще ни к какой культуре, то есть варвара. Например, римляне заставили до смерти Югурту, Митридата, Сертория, Верцингеторикса. Варвары поступают так же, о чем свидетельствуют массовые убийства, совершенные Митридатом, Юбой, готами, Арминием и Аттилой. В этой связи решающую роль играет факт принадлежности или непринадлежности к высокой культуре, но не особенности конкретного народа или расы. Об этом говорят убийства, совершаемые монголами Чингисхана и современными русскими: ни те ни другие не являются представителями высокой культуры.

Поэтому, когда после Второй мировой войны против беззащитной Европы была развернута обширная и всеобъемлющая программа физического истребления и политико-легально-социально-экономического преследования, было вполне очевидно, что это не внутрикультурный феномен, но еще одно, причем самое явное и тревожное, проявление культурной дисторсии. В данном случае искажению подверглось именно военно-политическое применение тысячелетних высоких европейских традиций. Европа продолжала их соблюдать в ходе Второй мировой войны, поэтому целая группа глав и высших чинов небольших государств благополучно перенесла европейское тюремное заключение: ни одному европейцу не пришло в голову подвергнуть их издевательскому суду и повесить. Этот принцип был даже распространен на попавшего в европейский плен сына лидера варваров Сталина ради сохранения ему жизни, а в некоторых случаях даже соблюдался варварской Японией, оставлявшей в живых американских офицеров высокого ранга, хотя она могла просто убивать их, не прибегая к унижительным судилищам. Но после Второй мировой войны безусловный долг воинской чести, до сих пор беспрекословный для всей западной цивилизации, был напроць растоптан культурной дисторсией.

Поскольку культурная болезнь не в состоянии убить душу культуры в ее сокровенных глубинах, между ними ведется непрестанная борьба, в которой не может быть ни мира, ни передышки. Культурные инстинкты всегда будут сопротивляться симптомам болезни: паразитарным, ретардационным или дисторсионным. Именно по этой причине культурный дистортер развязал в Европе послевоенный террор, когда политическая борьба в западной цивилизации уже прекратилась.

История программы возмездия за «военные преступления» демонстрирует ее природу. Основания для нее были заложены антиевропейской пропагандой, захлестнувшей Америку после 1933 г. Сама пропаганда свидетельствовала, что ее источник вне культуры, поскольку она попирала взаимную вежливость наций и политическую честь. Европейские лидеры изображались в виде обычных уголовников и половых извращенцев, и посредством этой подлой пропаганды внушалась идея, что эти лидеры заслуживают только смерти. Постепенно такое же отношение распространилось и на саму идею XX века об этическом социализме, которая была отождествлена со злом как таковым, а населению, служившему этой идее, приписывалось массовое помешательство и необходимость «перевоспитания», возложенного на Америку.

Культурной дисторсии, чтобы достичь своих целей, всегда приходится пользоваться подручными средствами и традиционными идеями и обычаями. Поэтому в Америке она апеллировала к американскому патриотизму и американской законности. Во время Второй мировой войны пропаганда в прямой форме начала требовать «процессов» над европейскими лидерами и всем культурным слоем Запада, а также массовых «судов над государственными изменниками», под которыми понимались американцы, враждебные культурной дисторсии и поддерживающие Европейскую империю. Чтобы заглушить хотя бы на время врожденные европейские инстинкты чести, эту войну представили как *совершенно исключительную*, как войну «человечества» со «зверством», «мира» с «войной». Поэтому эта война требовала применения к врагу *исключительных мер* в случае победы: враг не только должен быть разбит, но и физически истреблен в качестве «возмездия» за «преступления». Как обычно, был принят закон для закрепления этих умонастроений, а юристам было вменено выявление новых «преступлений», изобретение новых трибуналов, процедур, юрисдикций, наказаний. Не только лидеры, но также армии и даже население должны были

привлекаться к ответственности за нововыявленные «преступления».

На низшем интеллектуальном уровне эта операция откровенно преподносилась как месть, что потребовало измышления новых фактов, поскольку ничего подобного этой программе не бывало за пять тысячелетий истории высоких культур. Для того чтобы распалить публичное воображение, была запущена печально известная пропаганда «концлагерей». Вымысел стал фактом, ложь — правдой, подозрения обернулись доказательствами, магия преследования переросла в жажду крови. Поскольку Европа не организовывала издевательских судилищ, за которые следовало мстить, пропаганда заявляла, что они непременно были бы, если бы Европа выиграла войну, и столь очевидная ложь возводилась в ранг факта.

О природном родстве симптомов культурной болезни свидетельствовал тот факт, что эту программу поддерживали лидеры групп, ответственных на Западе, особенно в Америке, за культурную ретардацию. Без американских агентов культурной ретардации была бы невозможна вся эта операция по навязыванию «трибуналов» и «преступлений». Как и ожидалось, лучшие умы западной цивилизации в Америке и Европе отвергали этот план, но правом воплотить его в жизнь обладал чужестранный победитель.

«Преступления» делились на три категории, соответственно которым были организованы, во-первых, массовые процессы над высшими европейскими лидерами, авторами европейской революции 1933 г.; во-вторых, массовые процессы над отличившимися на войне солдатами всех рангов, военным персоналом лагерей для военнопленных и гражданскими лицами, участвовавшими в гражданской обороне; в-третьих, суды над миллионами отдельных граждан, состоявших в массовых политических организациях.

Хотя эти процессы назывались судами, они совершенно таковыми не являлись, поскольку в природе не существовало юридической системы, которая санкционировала бы подобные действия. Западное международное право исключало возможность судить и вешать лидеров вражеского государства после победы, поскольку его базовым принципом был государственный суверенитет. Поэтому международное право покоилось исключительно на учтивости, а не на силе. С чисто *юридической* стороны настоящий суд предполагает предсуществующую правовую систему и судоустройство, наделенное правом применять закон, а также

подсудность предмета разбирательства и подсудность лица. Без предсуществующего закона нельзя говорить ни о правонарушении, ни о суде, ни о подсудности действия или лица. Простое заключение в тюрьму не является юрисдикцией, иначе о похитителе также можно было бы говорить, что он обладает юрисдикцией по отношению к своей жертве.

Такие позорные судилища не новы в культурной истории, но когда они вершатся над представителями своей культуры — это бесчестье, а бесчестье отражается только на том, кто его творит, но никогда — на жертве. Они бесчестны уже потому, что основаны на лжи и ухищрениях и являются попыткой придать форму закона тому, что запрещено инстинктом и совестью. Поэтому действия, предварявшие убийства Людовика XVI и Карла Английского, не были судами, несмотря на то что так их называли организаторы, поскольку по действовавшим тогда во Франции и Англии законам монарх был сувереном и суду не подлежал.

Совершенно независимо от строго юридических оснований и общности чести внутри одной культуры, существует самостоятельная причина, по которой процессы в отношении «военных преступников» не могли называться судами: это человеческая психология. Настоящий суд предполагает *беспристрастность* — действительную беспристрастность ума, не связанную с чисто легалистской презумпцией невиновности. Но обсуждаемые здесь акции были прямо и откровенно направлены против *врагов*. Жертвы юридически определялись как враги, и заявлялось о правовой преемственности войны. Вражда исключает беспристрастность, которая, таким образом, совершенно отсутствовала в ходе выполнения программы по «преступлениям». В прежние времена «процессы», посредством которых Филипп Красивый отнял власть у Рыцарей Храма, «суды» над Жанной Д'Арк, леди Алисой Лайл и герцогом Энгиенским не были настоящими судами из-за пристрастности судей. Тем более о подлинном и честном суде не может быть речи, когда «суды» возникают в ходе столкновения двух разных культур, как явствует из «суда» римского прокуратора над Христом и «суда» испанского военного трибунала над Атауальпой. Нюрнбергский спектакль был очередным и самым убедительным примером полной непримиримости двух культурных душ и невероятной глубины, до которой может дойти культурная болезнь. «Суд» еще не закончился, но его организаторы приказали своей прессе публично обсудить способ, которым следует казнить жертвы.

Разумеется, невозможно вечно обманывать все население культуры. Есть определенный слой, который видит реальность сквозь все ухищрения, и пропаганда по поводу «преступлений» и «судов» произвела на этих людей противоположный эффект. Любой, кто ориентируется в истории, знает, что эпитет «преступник» можно применять с переменным успехом к любому, кто находится у власти. За тысячелетие западной истории сотни творческих людей, занимавших высокие посты, были обвинены в преступлениях или попали в заключение. Император Священной Римской империи Конрадин Гогенштауфен был обезглавлен, несмотря на то что являлся самым высокопоставленным светским лицом христианского мира. Среди других, кого бросили в тюрьму или объявили преступником, были Львиное Сердце, Роджер Бэкон, Арнольд Брешианский, Джордано Бруно, Колумб, Савонарола, Жанна Д'Арк, Галилей, Сервантес, Карл Английский, Шекспир, Олденбарневелт, Людовик XVI, Лавуазье, Вольтер, Наполеон, император Мексики Максимилиан, Торо, Вагнер, Карл XII, Фридрих Великий, Эдгар По, Наполеон III, Гарибальди.

Французское царство террора, начавшись в 1793-м, продлилось немногим более года, несмотря на то что оно подготавливалось длительными и непрерывными внутренними и внешними политическими процессами, обострившимися в доселе невиданной в Европе степени. Новая Французская республика отстаивала свою жизнь на поле битвы и одновременно сражалась против большинства собственных граждан. В условиях такой борьбы за власть ужасы террора исторически кажутся уместными с точки зрения создавшейся политической ситуации. Драматизмом террора не скроешь тот факт, что он, по подсчетам его оппонентов, привел на гильотину всего от двух до четырех тысяч человек.

Совершенно иным был террор после Второй мировой войны. Вся его мотивация лежала за пределами политики, если понимать ее как борьбу за власть внутри культуры. Он не являлся [естественной] фазой этой борьбы. Разгромленная Европа была полностью оккупирована состоявшими на службе культурного дестортера армиями, которые не встречали физического сопротивления. Поэтому к преследованиям и массовым убийствам дестортер приступил из чисто мстительных побуждений.

Изощренное юридическое притворство — еще один признак культурной болезни. Столь продолжительная оргия самообмана в целях сокрытия явно бесчестного отношения к оппоненту

не свойственна никакой группе внутри одной и той же высокой культуры. Достаточно сказать, что за пять тысяч лет всеобщей истории ничего подобного не зафиксировано.

О культурной дисторсии также ясно свидетельствует *неограниченная продолжительность* программы убийств. Организаторы данной программы не имели общих понятий о чести с людьми, которых они приговаривали к смерти, и готовы были продолжать ее вечно. Через три года после начала масштабы этого предприятия только выросли. В культурном чужаке даже не появилось отвращения к террору, которое испытали в свое время самые непримиримые якобинцы и парижские каналы.

Смехотворный, применяемый чисто для проформы, легалистский антураж, который ни в коем случае нельзя путать с «признанием вины» и «приговором» — еще один признак внекультурного происхождения [этого террора]. Западное правовое мышление никогда не посягало на упразднение европейской чести, даже если применялось к политическим, экономическим и религиозным вопросам под маской «чистого» правового мышления. Но культурный чужак не обладает тонким чувством меры и не снимает маску, даже будучи узнанным.

Не является программа осуждения «преступлений» и проявлением варварства, поскольку варварство еще более нетерпимо к хитроумным трюкам законников, чем чувство чести лучших представителей высокой культуры. Поэтому при оккупации Европы русские не совершали убийств за «преступления»: они просто убивали, когда считали нужным, без судилищ.

Французский террор, несмотря ни на что, нес в себе позитивную для нации идею: убийства и разрушения производились с целью установления нового режима через устрашение и разрушение старого. Достигнув своей политической цели, террор иссяк. Однако террор после Второй мировой войны начался как раз с момента достижения политической цели, поэтому не имел никакого культурно-политического *raison d'être*.¹ Он мотивировался *экзистенциальной ненавистью*, а целью была просто тотальная апокалиптическая месть. Но месть не является частью культурной политики.

В предыдущей истории любые культурные группы всегда проявляли великодушие к побежденному неприятелю, принадлежавшему к той же культуре даже на стадии истребительных войн. Уничтожению подлежало только вражеское государство,

¹ Право на существование (фр.). — Примеч. пер.

а не все его подданные. Теперь же сама продолжительность «судов» засвидетельствовала культурную болезнь. Французскому террору понадобилось два дня, чтобы осудить на смерть даже такую важную персону, как королева Франции, но печально известные судилища по вопросу «концентрационных лагерей» тянулись многие месяцы, а Нюрнбергская пытка продлилась год.

Самый жестокий аспект этой системы в общем плане состоял, несомненно, в том, что она целилась в маленького человека, поскольку работала против миллионов людей. Для реализации грандиозной программы массовых преследований марионеточные правительства, поставленные американским режимом, учредили суды по «денацификации». Их жертвы лишались всех форм собственности, специалистов заставляли заниматься ручным трудом, юношам запрещалось учиться в университетах, занижались пищевые рационы — и все эти методы были позаимствованы из ленинской программы искоренения «буржуазии» в России. Оппоненты культурной дисторсии на годы бросались в тюрьмы. К семьям жертв было такое же отношение, поэтому они не могли оказывать никакой помощи.

Во всех своих аспектах эта программа, разумеется, противоречила документированным международным конвенциям, связывавшим все западные государства общим культурно-международным кодексом политической и военной чести. Эти конвенции являлись отражением западного чувства, в противном случае они не были бы заключены, и поэтому их полное игнорирование Америкой в ходе послевоенной оккупации Европы является решающим доказательством культурно-патологической природы этого широкомасштабного террора. Ни одна западная сила не принимала бы участие в затяжной жульнической попытке представить западное международное право в виде уголовного кодекса, поскольку в нем никогда не было уголовных статей. Но культурно чуждые элементы так никогда и не смогли прочувствовать то, что стоит за западными идеями и учреждениями точно так же, как европейцам были недоступны тонкости Каббалы или философии Маймонида.

Последнее и наиболее важное с духовной точки зрения — это безнадежная попытка добиться переоценки всех западных ценностей, которую предпринял террор. Жизнь и здоровье хозяина равносильно смерти паразита, а благополучие паразита означает болезнь и дисторсию хозяина. Поэтому любая естественная и нормальная реакция культурных элементов внутри Запада, направленная против культурно-патологических фено-

менов в западной цивилизации, изображалась преступной и порочной. Сопrotивление культурной дисторсии, как и ее агентам, было объявлено «преступлением», а за поддержку европейской революции 1933 г. полагалась смертная казнь. Добиваясь переоценки ценностей, один американский чиновник, не являвшийся представителем западной цивилизации, дошел до того, что официально заявил, что будь сейчас жив Бисмарк, его бы тоже «судили» американские войска. И наконец, в пресловутом «десятом законе Контрольного совета» политические, военные, промышленные и финансовые лидеры Европы и ассоциированных восточных государств именовались не иначе как «преступниками».

Одним словом, этот террор разоблачает смысл американской оккупации Европы. Природа Америки как колонии, отделенной огромной дистанцией от родины западной культуры, исчерпывающим образом объясняет, почему культурная болезнь там смогла все себе подчинить. Западный обычай чести не забыт в Америке, но он так и не пустил в этой стране глубоких корней, потому культурному чужаку удалось привить на американский организм свой императив мести. Такой процесс является органическим, поэтому развивается в определенном направлении. Он не может продолжаться вечно, не сталкиваясь с глубоким и энергичным противодействием со стороны национальных инстинктов Америки, но в нашу решающую эпоху значение Америки для Европы определяется именно программой террора, который культурная дисторсия развязала в бывших европейских государствах, ставших ее колониями после Второй мировой войны.

Бездна

I

Европа — в духовно-политической бездне. История Запада, начиная с 1914 г., сегодня собирает свою дань позора и ужаса. Озабоченность границами привела к тому, что границы в Европе вообще отсутствуют, а по ее территории прошла разграничительная линия между внешними культуре державами. Всеобщая нищета, болезни, голод, мародерство, холод и преднамеренные убийства представителей культурного слоя Запада — таково наследие национализма и вчерашнего патриотизма. Они думали о Рейне, а не об Амуре, Оби, Янцзы, Ганге, Ниле, Нигере. Как

следствие, Европа стала добычей, и мародерствующие внешние державы отбирают ее жизни и сокровища, в том числе произведения искусства, выражающие самые глубины ее души.

Разве мы не были последние девять лет свидетелями событий, которые предвещают конец западной цивилизации? Священная почва нашей культуры оккупирована армиями варваров и дистортеров, уродующих наши культурные инстинкты и наследие. Когда-то по этой земле ходили Ролло, Вильгельм Нормандский, Гогенштауфен, Львиное Сердце, де Бульон, тевтонские рыцари, Райнальд фон Дассель, Густав Адольф, Валленштейн, Альба, Кромвель, Ришелье, Тюренн, де Сакс, Фридрих Великий, Питт, Наполеон, Бисмарк. Сегодня, когда я это пишу, ее топчут киргизы, монголы, армяне, туркмены, сингалыцы, негры, американцы, евреи. Эти чуждые культуре армии управляют посредством правительств, состоящих из предателей, которые вылезли из всех подворотен и преисполнены ненавистью к духу времени.

С 1900 г. Европа постепенно теряла мировое господство. Первая мировая война ускорила и расширила внешнее восстание против Запада, а Вторая мировая война полностью исключила Европу из мировой системы власти. Европейская революция 1933 г. была для Запада лучом надежды. Казалось, Европа также способна включиться в борьбу за мировое господство и отвоевать свои позиции, от которых зависит физическое выживание миллионов европейцев, вместо того чтобы стать просто добычей для варваров, пришедших извне.

На какие ресурсы может опереться Европа в борьбе за свое физическое и духовное выживание? Иначе говоря, каковы внутренние возможности Европы?

II

Ложная и противоестественная форма Второй мировой войны, возможно, заставит кого-то усомниться в том, что культура является движущей политической силой в нынешнюю эпоху абсолютной политики. Однако на самом деле Вторая мировая война доказывает обратное. Феномен, носящий это название, состоял из *трех* отдельных войн. Первой была война культурного дистортера против западной цивилизации. Второй была война западной цивилизации против России. Третью войну вела Америка как колония западной цивилизации против Японии. Все три войны мотивировались культурой.

Конфликты, тлеющие в мире сегодня, также связаны с культурными противоречиями. По всей западной цивилизации идет борьба двух горизонтов: снизу сильная и героическая идея XX века — этический социализм; сверху — патологические феномены паразитизма, ретардации и дисторсии. К этому добавляется борьба Японии против Америки, также носящая культурный характер, и конфликт между Америкой и Россией.

Нынешняя европейская ситуация определяется тем, что идея XX века в глубине восторжествовала над идеями капитализма, материализма, национализма и вчерашнего патриотизма, которые руководили XIX веком. Дух новой эпохи чувствуется по всей Европе, а не только в Германии-Пруссии, где родилась идея этического социализма XX века. Предпринимаются попытки затушевать и исказить его, направить его энергию на ложные цели. В частности, разжигается характерная для XIX века национальная ненависть и старомодный патриотизм, что является для Европы самоубийством. В первую фазу истребительных войн уничтожению подверглись все европейские нации, а внешние силы восторжествовали над всей цивилизацией. Этого нельзя отменить. Факт остается и заставляет к себе адаптироваться.

Исходить следует из того, что в силу материальных и духовных причин *национализм образца XIX века мертв*. Духовно он мертв потому, что в своем культурном развитии Европа достигла стадии Империаума. Даже в отсутствие столь опасных внешних угроз, как сейчас, следовало бы на это опереться. Но в дополнение ко всему были подорваны основы власти всех старых европейских наций. Ни одна не обладает достаточными ресурсами, духовными и материальными, чтобы независимо включиться в мировую политику. Они могут либо оставаться коллективным вассалом, либо сформировать культурно-государственно-национально-расово-народное единство. Дальше автоматически последует создание экономико-политико-военной единицы.

С другой стороны, Европа может противиться прусско-германской идее этического социализма XX века и увязнуть в нынешнем хаосе. Результатом будет *окончательное* политическое устранение западной цивилизации из мировой борьбы. Россия, Япония или другие, еще не существующие державы, будут сражаться друг с другом за контроль над руинами Запада, подобно тому, как внешние варвары вели бесконечные войны за контроль над Египетской, Вавилонской, Китайской, Римской и исламской империями. Чисто духовные и интеллектуальные задачи, которые осталось завершить нашей культуре, могут решаться под

властью варваров, но в таком случае мы не выполним величайшей внутренней задачи и не последуем самому жесткому императиву в истории, выражающемуся в прежде невиданной воле к власти: созданию Западной империи.

Все слои Европы должны осознать, что единство Запада может быть достигнуто только на *одном* основании. С 1940 по 1944 г. была объединена почти вся Европа, и даже конец Второй мировой войны засвидетельствовал перед всем миром европейское единство, поскольку поражение потерпела она целиком, несмотря на коварную попытку заставить некоторые ее части чувствовать себя «победителями». Европейское единство может быть достигнуто только с помощью силы, поскольку это единственное оружие, известное истории. Европа может быть освобождена и вновь объединена тем же способом, которым победили внешние силы. Неважно, примет ли это форму гражданских или межнациональных войн, но фронт останется прежним. По одну сторону — варвары и дистортер, Хаос и Смерть; по другую сторону — Дух времени, прусско-европейская идея.

Эта идея не является «национальной» в прежнем понимании, характерном для XIX века и связанным с паразитической пропагандой, убедительной только для европейцев низкого уровня. Новая идея прорывается сквозь прежнее «национальное» разделение Запада. Сама по себе она есть просто душа, миссия, этическая норма новой нации, население и родина которой совпадает со старыми «национальными» формациями Запада: Испанией, Францией, Италией, Англией и Германией. Но это не федерация, не «таможенный союз», не экономическое средство поддержания Европы на грани выживания, достаточное для предотвращения ее бунта против варвара и дистортера. Это *духовное* единство, которое, естественно, влечет за собой единство экономическое. Однако это духовное единство должно состояться, даже будь оно экономически вредным, поскольку экономика движущей силой истории больше не является.

Imperium

I

История наций в западной культуре развивается по великому принципу Триады. Тезисом было европейское единство времен крестовых походов и периода империи и папства. По большо-

му счету оно продолжало сохраняться как единство перед лицом варвара до самой середины XVIII века. Антитезисом был период политического национализма, совершившего в союзе с материализмом столь мощный рывок, что в один прекрасный момент все подумали, что нации создают культуру, а не наоборот. Наконец, националисты переусердствовали до такой степени, что некоторые лидеры предпочли отдать свои нации в рабство неевропейским силам, вместо того чтобы влиться в объединенный европейский организм. Синтезом выступает грядущий период. Он уже состоялся в умах западного культурного слоя и на короткое время реализовался в своей грубой, предварительной форме во время Второй мировой войны. Это возвращение к тезису, но с сохранением достижений антитезиса, поскольку этот великий синтез не является чистым отрицанием. Никакая европейская «нация» старого образца не должна, согласно этой новой идее, подвергаться каким-либо насильственным попыткам изменить или отменить ее местные особенности. Синтез, будучи духовной реальностью, не достигается с помощью физической силы.

Своими новыми ценностями, возвышенным воображением и творческими силами синтез пронизывает не только национальную сферу, но и все стороны жизни западной цивилизации.

В ходе постепенного и все более радикального разъединения Запада взаимный антагонизм различных идей обострился до маниакального состояния. Торговля против авторитета, третье сословие против общества, протестанты против католиков, Север против Юга, Англия против Испании, Франция против Испании, Англия против Пруссии, наука против религии, рационализм против души, классовая война против авторитета и собственности. Националистическую лихорадку, худшую из всех, повсеместно распространили французские армии под командованием великого Наполеона. Националистический жар его войск, принесший им победу на полях 150 сражений, распространялся потому, что был содержанием духа времени. Этот дух заразил весь Запад и вызвал испанское сопротивление и прусское восстание, которые в итоге его и погасили.

Для столь ужасного финала эпохи национализма, как истребительные войны, внутренних предпосылок не было. В том, что весь Запад докатился до того, что пришельцы начали развязывать войны на его родной почве и проливать его кровь, виновата не судьба, но культурная патология. Однако это случилось, и страшный результат Второй мировой войны заставляет весь культурный слой Запада мыслить по-новому. С другой стороны,

окончательный уход эпохи национализма и истребительных войн связан с внутренней необходимостью. Эта эпоха сменяется великим синтезом — Империумом. Этот синтез объединяет в себе старые компоненты тезиса и антитезиса. Первичные готические инстинкты западной культуры по-прежнему присутствуют в идее Империума. Иначе и быть не может. Сохраняет он и всевозможные идеи, которые эти инстинкты выработали для себя в рамках данной культуры: религии, нации, философии, языки, искусства и науки. Однако они присутствуют уже не как противоположности, а в качестве простых различий.

Навсегда ушло то представление, что в любую из этих идей — национальную, языковую, религиозную, социальную — заложено стремление уничтожить другую идею. Приверженцы империи все еще отличаются от сторонников папства, но это отличие не правит в их умах, поскольку высшей теперь является идея Империума, возвращение к сверхличным корням, а обе эти могучие идеи имеют один и тот же духовный источник. Различия между протестантами и католиками — однажды обострившиеся в *casus belli* — успокаиваются точно так же. Они продолжают существовать, но невозможно представить, чтобы это различие вновь разделило Запад надвое. Существовали также различия по расе и темпераменту между тевтонцами и латинянами, северянами и южанами. В свое время они дополняли историческую мотивацию, но теперь такого уже не будет. И те и другие являются частями Запада, пусть даже разными, а история теперь мотивируется идеей Империума.

Бывшие нации, религии, расы, классы — отныне кирпичи великого здания империи, фундамент которой закладывается сегодня. Культурные, социальные, языковые и другие местные особенности остаются: идея Империума не требует уничтожения своих компонентов — коллективных продуктов тысячелетней западной истории. Напротив, она их все утверждает, в высшем смысле увековечивает, но теперь они ей служат, уже не являясь фокусом истории.

Также не следует путать идею Империума с какой-либо глупой рационалистической доктриной или системой вроде малодушного «золотого века». Империум — не программа, не набор требований, не система права, не юридические прения по вопросу национального суверенитета. Подобно тому, как будущему всегда приходилось сражаться с окопавшимися силами прошлого, так предстоит и этой мощной универсальной идее. Ее первая фаза состоит в духовном завоевании умов и душ носителей за-

падной культуры. Это совершенно неизбежно. Следующей фазой будет внешняя актуализация идеи в новой государственной или национальной форме. На этом этапе могут происходить гражданские войны, возможно даже запоздалые «межнациональные» войны между бывшими западными нациями или освободительные войны против внешних врагов.

Первая фаза уже началась и вошла в медленный, но неодолимый ритм. За ней должны последовать остальные фазы независимо от того, достигнет ли идея окончательного завершения в действительности. Договор в Фонтенбло (1763), заключенный до рождения Наполеона, был чреват для него фатальными последствиями, с которыми он безуспешно боролся по мере их обнаружения. Западу придется сражаться с наследием двух мировых войн, которые сбросили Европу с трона и сделали вассалом варваров и колонистов. Она должна отвоевать мировое господство, пущенное по ветру ничтожными и завистливыми оппонентами Героя.

Единственная надежда на успех зависит от энергичности и тщательности реализации первой фазы — торжества идеи Империи в ведущих умах. Никакая сила внутри цивилизации не способна сопротивляться культурному воссоединению, которое объединит Север и Юг, тевтонцев и латинян, протестантов и католиков, Пруссию, Англию, Испанию, Италию, и Францию для задач, которые ждут своего решения.

II

Для победы над Пришельцем необходимо применение военной силы, потому что он не подчиняется судьбе Запада. Любой незападный политический организм своим существованием отрицает Запад, его судьбу, императив и право на физическое существование. Схватка за власть неизбежна.

Как видим, сложившаяся ситуация обязывает Запад бороться не только за власть, чтобы не оказаться в рабстве у варваров, но также за перспективу биологического существования европейской популяции. Стомиллионное население Европы избыточно для ее территории, но эти миллионы находятся там для выполнения грандиозной жизненной задачи западного организма. До сих пор их жизнь поддерживалась за счет промышленной и технической монополии. Две катастрофические и глупые войны уничтожили эту западную монополию. Труд этих миллионов теперь

не нужен. Им угрожает рассеяние, голод и рабство. Если сегодняшняя ситуация сохранится, такой результат неизбежен. Европу ожидает перспектива Персеполя.

В течение столетия Берлин, Лондон, Рим, Париж, Мадрид могут унаследовать судьбу Теночтитлана, Луксора, Самарры и Тель эль-Амарны, если продолжится нынешнее завоевание Европы. Случится ли это?

В данной работе были изложены духовные предпосылки борьбы. Вся она посвящена обоснованию единственного мировоззрения и единственного внутреннего императива, которому под силу освобождение Запада. Как же освобожденный Запад сможет решить великую задачу спасения своих 100 миллионов жизней? Есть только один ответ, и он — рядом. Сельскохозяйственная территория России обладает ресурсами для сохранения западной популяции, необходимой базой для мирового господства нашей цивилизации и предотвращения угрозы ее уничтожения внешними силами. Поэтому другого решения, кроме военного, нет. Наша торгово-промышленно-техническая монополия закончилась. Но мы сохраняем за собой военно-техническое превосходство, исключительную волю к власти, организационный талант и дисциплину. Славные 1941—1942 гг. показывают, что Запад может противопоставить варвару, несмотря ни на какое численное превосходство последнего. Как и Россия, западная цивилизация расположена в северо-восточном квадранте. Поэтому Россия не обладает перед Западом теми же военными преимуществами, что и перед Америкой. Общая сухопутная граница позволяет Западу обойтись без гигантского флота как предварительного условия для сухопутного сражения. Запад сможет развернуть все свои силы на равнинах, где будет происходить битва за его будущее.

Это военное решение предполагает вначале освобождение и объединение западной культуры. Для начала западная душа должна сбросить власть предателей и паразитов. Я выдвигаю здесь две великие задачи для внутреннего западного императива: во-первых, устранение тирании идей XIX века. Это означает полное очищение западной души от любой формы материализма, рационализма, равенства, социального хаоса, коммунизма, большевизма, либерализма, левизны любого толка, культа денег, демократии, финансового капитализма, засилья торговли, национализма, парламентаризма, феминизма, расовой стерильности, малодушных идеалов наподобие «счастья» и всех форм классовой войны. Заменить эти идеалы должны сильные и мужественные идеи эпохи абсолютной политики: авторитет, дисциплина,

вера, ответственность, долг, этический социализм, фертильность, порядок, государство, иерархия. А это равносильно созданию западной империи.

Во-вторых, речь идет о решении непосредственной жизненно важной проблемы Запада — завоевании на восточных равнинах базы для дальнейшего существования и завершения всемирной миссии западной цивилизации.

III

Позволяет ли нам ситуация 1948 г. хотя бы мечтать о том, что этот великий императив будет исполнен? Пока я это пишу, в Европе миллионы голодают, и никого во внешнем мире это не трогает. Остальные миллионы существуют в нечеловеческих условиях в тюрьмах, концлагерях или как каста неприкасаемых, лишенная человеческого статуса. У Запада нет армии, а его бывшие лидеры, которых еще не повесили, брошены в тюрьмы. Власть в Европе сегодня принадлежит двум типам людей: культурным чужакам и предателям. Может ли это привести к смерти цивилизации? Удастся ли двум аморфным державам удушить культуру, заморить голодом и рассеять ее население?

Данная работа является выражением моей веры в то, что им это не под силу, что непостижимая мощь судьбы превозможет внешний натиск, равно как и внутренние препятствия, связанные с прошлым. Именно в тот момент, когда они празднуют победу и думают, что это навсегда, Европа приходит в движение. Вдохновенная и облагороженная трагедией, поражением и катастрофой, западная душа восстает из руин с прежней волей и невиданной чистотой духовного единства. Великая мечта и цель Лейбница — объединение всех европейских государств — стала ближе благодаря поражению Европы, поскольку в этом поражении она ощущает свое единство. Ни одному европейскому поколению не выпадала на долю столь трудная миссия. Наше поколение должно переломить террор, с помощью которого его заставляют молчать. Оно должно смотреть вперед и верить, что даже если не осталось никакой надежды, надо действовать, сражаться до конца и не уступать, невзирая на неминуемую смерть. Ему помогает знание того, что героический дух одолеет любую материальную силу. Наше поколение должно сражаться за продолжение жизни Запада, как сражались с маврами люди Арагона и Кастилии, как тевтонские рыцари и пруссы сражались со

славянами. В итоге ничто не сможет их победить, кроме внутреннего разложения.

У Запада для этой борьбы есть то, чем не обладают ни варвар, ни паразит: мощнейшая сверхличная судьба, которой не было равных на всем земном шаре. Эта сверхличная идея обладает столь огромной силой, что ни многочисленные виселицы и массовые убийства, ни горы погибших от голода, ни пирамиды черепов с ней не сравнятся.

У Запада впереди два столетия и десятки миллионов жизней грядущих поколений, которые примут участие в войне против варвара и дистортера. У него есть воля, которая не только вышла непобежденной из Второй мировой войны, но теперь еще более выражена по всей Европе и набирает силу с каждым годом, каждым десятилетием. Одно материальное превосходство немногочисленного стоит в войне, которая будет длиться, если понадобится, столетиями. Наполеон знал, и Запад по-прежнему знает о превосходстве духа на поле боя. Земля Европы, освященная потоками крови, которые сделали ее плодородной на целое тысячелетие, будет и дальше омываться кровью, пока варвары и дистортеры не будут изгнаны, а знамя Запада не вознесется над родной землей от Гибралтара до Нордкапа и от скалистых мысов Голуэя до Урала.

Это предрекает не только человеческая решимость, но и высшая Судьба, которую не заботит, какой теперь год: 1950-й, 2000-й или 2050-й. Наша Судьба не знает усталости и поражения, неизменно покровительствуя тем, кто ей верно служит.

Was mich nicht umbringt, macht mich starker.

(То, что не способно меня убить, делает меня сильнее.)

КОНЕЦ

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Августин 119
Агассис, Луи 145
Адамс, Джон 411, 412, 490, 518
Адамс, Сэмюэл 411, 444
Адольф, Густав 528
Адриан VI 337
Аквинский 119, 281, 394
Аламбер 356
Александр VI 118
Александр Великий 138, 285, 286
Аллен, Этан 490
Альба 332, 528
Альберт 119
Ансельм 120, 281, 386
Аристотель 119, 296
Арминий 520
Арнольд Брешианский 524
Атауальпа 523
Аттила 520
- Батлер 267
Бах 368, 408
Баязид 386
Бейнбридж, Уильям 430
Бейтс 143
Беллами 154, 267
Бентам 104
Берджес, Джон У. 439
Бёрк 277, 344
Беркли 399
Берлихинген, Гёц фон 108
Бернгарди 497
Бетховен 138, 276, 368
Биль Габриель 281
- Бисмарк 218, 222, 274, 339, 340,
410, 519, 527, 528
Бодлер 249, 313, 453
Бокль 117, 462
Боливар 257, 430
Болл, Джон 280
Борджиа, Цезарь 110
Боссюэ 252
Брайан 433, 439
Брейзиг 117, 121, 271, 462
Бруно 115, 524
Брут 108, 114
Букстехуде 408
Бульон 528
Буркхардт 117
Бэкон 104, 336, 356, 524
- Вагнер 144, 159, 168, 249, 524
Валленштейн 284, 332, 528
Вашингтон 194, 412, 424, 444, 518
Веблен 157
Вейсман 149
Верцингеторикс 520
Вико 104
Вильгельм Нормандский 528
Вильсон 282, 438, 441, 442, 443,
469
Винкельман 108, 117, 119, 382
Вольтер 117, 240, 258, 524
Вормс, Рене 320
Вульпиус 108
- Гайер, Флориан 108
Галилей 115, 524

- Гамильтон 104, 412, 413, 416, 424, 431, 444, 445, 518
 Гарибальди 294, 524
 Гаусс 115
 Геббель 159
 Гегель 104, 117, 152, 153, 228, 252, 253, 277, 342
 Генри, Патрик 411
 Генрих Лев 323, 347
 Гёте 104, 108, 132, 136, 152, 166, 181, 184, 257, 266, 277, 320, 399, 408
 Гиббон 462
 Гиббонс, Орlando 408
 Гиксосы 174, 301
 Гильдебранд 118
 Гирке, Отто фон 207
 Гоббс 104, 219, 220, 232, 240, 241, 248, 252
 Гобино 298, 299
 Гольбах 104, 240
 Готорн 373, 453
 Готфрид фон Страсбург 404
 Грант, Улисс 286, 426, 519
 Грант, Мэдисон 298, 377
 Григорий VII 193
 Грин, Натаниэль 490
 Гроций 216
- Дарвин 143, 144, 147, 159, 160
 Дарвин, Эразм 143
 Дассель, Райнальд фон 528
 Декарт 104, 166, 243, 273
 Декейтер, Стивен 430
 Демулен 321
 Джеймс, Генри 373
 Джексон, Стонуолл 490
 Джексон, Эндрю 422
 Джефферсон 411, 444, 445, 469
 Достоевский 506, 507
 Дриш 145, 327
 Дюбуа-Реймон 145
 Дюринг 159
- Евгений (Савойский) 337
 Екатерина Великая 315, 507, 508
- Жанна Д'Арк 108, 523, 524
- Зальцер 241
 Зомбарт, Вернер 395, 463, 497
- Ибсен 144, 159, 274, 278
 Идальго 430
 Иоахим Флорский 115
 Ирвинг 373, 453
 Итон, Уильям 430
 Итурбиде 430
- Кабе 153
 Кальб 258, 429
 Кальвин 144, 222, 394, 395, 407
 Кальдерон 126, 406
 Кампанелла 267, 345
 Кант 104, 136, 161
 Карл (эрцгерцог) 286
 Карл I 219, 220, 249, 348, 524
 Карл V 109, 118, 337
 Карл VII 108
 Карл XII 286, 524
 Карл Анжуйский 300
 Карлейль 96, 104, 241, 252, 264, 277, 283, 288, 327, 376, 377, 395, 399
 Карно 107
 Катон 108
 Кидд 271
 Китченер 497
 Клаузевиц 195, 214
 Колумб 524
 Конде 337
 Конрадин 300, 524
 Констан 245
 Конт 117, 153
 Коперник 115, 160, 276
 Копли 452
 Кортес, Доносо, 252
 Крокетт, Дэви 490
 Кромвель 186, 200, 227, 228, 278, 281, 284, 285, 332, 348, 349, 365, 382, 394, 528
 Крюгер 496, 498
 Кьеркегор 276
 Кэд 191, 280, 322, 383
- Лавуазье 524
 Лагард, де 377
 Лайл, Алиса 523
 Лампрехт 117, 271, 462
 Ланге-Эйхбаум 283
 Лассаль 246
 Лаудон 286
 Лафайет 429

- Лебон 320
 Леви 402
 Лейбниц 104, 163, 166, 252, 273,
 399, 485, 535
 Леонардо 336, 406
 Лессинг 396
 Ли, Гомер 434, 490, 497
 Ли, Ричард Генри 490
 Ли, Роберт Э. 490, 519
 Ливий 109
 Линкольн 227, 351, 414, 415, 417,
 441, 450, 469
 Лихтенберг 104
 Локк 104, 137, 240
 Лотарь II 333
 Людвиг II 279
 Людовик XV 190
 Людовик XIV 348, 350
 Людовик XVI 249, 523, 524
- Макиавелли** 104, 191, 215, 252, 253,
 254, 267
 Максимилиан 432, 524
 Мальтус 143, 153, 156
 Маркс 152—155, 157—159, 165, 345,
 267, 400, 415, 463
 Мейер, Эдуард 462
 Мелвилл 453
 Менгс 108
 Мендель 298
 Мерз 117, 271, 462
 Местр 252
 Меттерних 214, 274, 277, 285, 340,
 342, 344
 Меценат 279
 Миль 104, 144, 153, 399, 462
 Митридат 483, 520
 Мольтке 286
 Монтегю 219
 Монтень 104, 165, 251
 Монтесума 310
 Мор 345
 Морган, Даниэль 490
 Мортара 370, 404
 Моцарт 136, 368, 406, 408
 Муссолини 110, 258, 500
 Мюнцер, Томас 280
- Наполеон** 102, 107, 110, 114, 119,
 126, 138, 193, 209, 223, 256—258,
 270, 272, 278, 282, 284—286, 300,
 322, 327, 333, 336, 337, 342, 362,
 368, 369, 387, 398, 408, 410, 421,
 430, 440, 493, 502, 519, 524, 528,
 531, 533, 536
 Неккер 397, 398
 Нельсон 110
 Ницше 91, 104, 108, 117, 128, 144,
 159, 183, 184, 254, 271, 275, 277,
 283, 287, 288, 306, 326, 327, 376,
 462, 467
 Нортклиф 155
 Ньютон 166, 167, 243
- О'Хиггинс** 257
 Оксеншерна 382
 Олденбарневелт 382, 524
 Оливарес 348
 Осборн 298
 Оуэн 153
- Паскаль** 104
 Паунд, Эзра 374
 Пейли 153, 320
 Пейн 241, 411, 444
 Петр Великий 184, 316, 405, 505,
 506, 508
 Пико 119
 Питт 281, 407, 410, 439, 528
 Планк 167
 Платон 119, 267, 345
 Плутарх 108, 109
 По 373, 453, 524
 Помпей 108
 Пребл, Эдвард 430
 Прудон 144, 153, 159, 229
 Пугачев 507—509,
 Пулавский 429
 Пуфендорф 216, 240
- Рейнке** 145
 Рембрандт 276, 406
 Рикардо 153
 Ришелье 332, 348, 528
 Ролло 528
 Рорбах, Пауль 497
 Росас 257
 Росцелин 281
 Ру 149
 Рузвельт 228, 275, 322, 460, 469

Рузвельт, Теодор 404, 474
Руссо 138, 152, 161, 165, 209, 240,
248, 254, 345, 414, 415

Савонарола 119, 274, 278, 524
Сакс (Мориц Саксонский) 337, 528
Светоний 109
Сен-Симон 153
Сервантес 399, 524
Сервет 115
Серторий 520
Синедрион 369
Скот 119
Скотт, Дред 425, 426
Смит, Адам 153, 399, 463
Сократ 273
Сорель 158
Спенсер 104, 143, 153, 252, 399,
462

Сталин 520
Стриндберг 159
Стэнли 126
Стюарт 452
Стюарт, Мария 108
Сулла 118

Теннисон 214
Тайлер, Уот 280, 383
Талейран 202, 339, 396
Тамерлан 326
Тацит 109, 114
Телль, Вильгельм 108
Токвиль 307
Толстой 280
Торо 453, 524
Тэн 117, 252
Тюренн 528

Уистлер 373
Уокер, Уильям 274, 490
Уэйн, Энтони 490
Уэст 452

Филипп Красивый 523
Фихте 252, 253, 342
Фламиний 118
Флоринский 511
Франклин 411, 412, 416, 444, 446
Франсиа 257
Фрейд 160—165

Фрейданк 157
Фридрих II (Великий) 110, 132, 190,
194, 218, 241, 285, 286, 333, 336,
337, 360, 430, 519, 524, 528
Фриз, де 148, 327
Фробергер 337
Фурье 153, 267, 345

Харрис, Фрэнк 373, 439
Хау 430
Хаусхофер 115, 496
Хоквуд 337
Хорн 121
Христос 523
Худ 323
Хэйл, Натан 490
Хэнкок, Джон 411

Цезарь 108, 118, 229
Цицерон 108

Чаттертон 276
Челлен, Рудольф 497
Чемберлен, Джозеф 281, 285
Чемберлен, Х. С. 298
Чингисхан 126, 194, 326, 520

Шастеллен 108
Шварц, Роза 511
Шекспир 108, 276, 406, 456, 524
Шиллер 117
Шопенгауэр 104, 143, 159, 277
Шоу 108, 144, 159
Шпенглер 96, 104, 121, 133, 183,
270, 409, 462, 493
Штейн, Лоренц фон 246, 248
Штейнбах, Эрвин фон 406
Штойбен 429
Штраус 159
Шуберт 276
Шютц 386

Эль-Греко 108
Эмерсон 283, 373
Энгельс 155, 159
Энгиенский (герцог) 523

Юба 520
Югурта 483, 520
Юм 104

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Б. В. Марков. Мессианское время</i>	5
ПРЕДИСЛОВИЕ	93
ИСТОРИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ XX ВЕКА	96
Перспектива	96
Два аспекта истории	107
Относительность истории	109
Смысл фактов	112
Несостоятельность линейных воззрений на историю	115
Структура истории	121
Пессимизм	127
Цивилизационный кризис	136
Дарвинизм	142
Марксизм	151
Фрейдизм	159
Научно-техническое мировоззрение	166
Императив нашей эпохи	174
ПОЛИТИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ XX ВЕКА	183
Введение	183
Природа политики	185
Симбиоз войны и политики	192
Законы тотальности и суверенитета	204
Плюралистическое государство	207
Закон сохранения власти среди организмов	209
Закон сохранения власти внутри организма	211
Политический плюриверсум	213
Лига Наций	215
Внутренний аспект закона суверенитета	219
Политические организмы и война	225

Закон политического насыщения	230
Закон защиты и повиновения	232
Интернационал	235
Две политические антропологии	240
Либерализм	242
Демократия	255
Коммунизм	260
Ассоциация и диссоциация форм мышления и деятельности	262
КУЛЬТУРНЫЙ ВИТАЛИЗМ	270
А) ЗДОРОВЬЕ КУЛЬТУРЫ	270
Введение	271
Морфология культуры	273
Традиция и гений	280
Гений	283
Гений и эпоха абсолютной политики	287
Раса, народ, нация, государство	288
Субъективный смысл расы	302
Горизонтальная и вертикальная концепции расы	308
Раса и политика	310
Народ	319
Нация	327
Нация и история	331
Нация и рационализм	334
Нация в XX веке	341
Государство	345
Б) ПАТОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ	355
Патология культуры	355
Культурный паразитизм	360
Культурная дисторсия	380
Культурная ретардация как форма культурной дисторсии	386
Культурная дисторсия, вызванная паразитической активностью	390
АМЕРИКА	409
Введение	409
Происхождение Америки	410
Американская идеология	413
Война Севера и Юга (1861—1865)	419
Американский способ правления	422
История американского империализма	429
Американский империализм в эпоху истребительных войн	436
Американская революция 1933 года	444
Мировоззрение	451
Негр в Америке	458
Культурная ретардация в Америке	462

Пропаганда	466
Американская внешняя политика после 1933 года	474
Будущее Америки	485
МИРОВАЯ СИТУАЦИЯ	493
Политический мир	493
Первая мировая война	496
Вторая мировая война	500
Россия	505
Япония	512
Америка	515
Террор	519
Бездна	527
<i>Imperium</i>	530
Именной указатель	537

Улик Варандж
(Фрэнсис Паркер Йокки)

IMPERIUM

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ПОЛИТИКИ

Редактор издательства *О. В. Иванова*
Художник *П. Палей*
Компьютерная верстка *О. В. Новиковой*

Подписано к печати 08.03.2017. Формат 60 × 90^{1/16}.
Бумага офсетная. Гарнитура Tinos. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 34.0. Уч.-изд. л. 33.7.
Тип. зак. № 1065.

Издательство «Русский Миръ»
193000, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, 6
ООО «ИПК «Береста»
196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, 28

Фрэнсис Паркер Йоки — американский политический философ ирландского происхождения, продолжатель идей О. Шпенглера, К. Шмитта, Х. С. Чемберлена. Мысль о необходимости объединения Европы для противостояния большевизму и американскому либерализму проводилась Йоки с упорством, зачастую принимавшимся общественностью за проявление экстремизма. Опубликованная под псевдонимом Улик Варандж в 1948 году книга «Imperium. Философия истории и политики» произвела эффект разорвавшейся бомбы и была крайне негативно воспринята послевоенным миром. Сегодня книга Йоки представляет исторический интерес как одна из радикальных концепций интеграции Европы, обескровленной ужасами Второй мировой войны.

Издательство «Русский Мир»